ISSN 0130-6545

5–6.1992

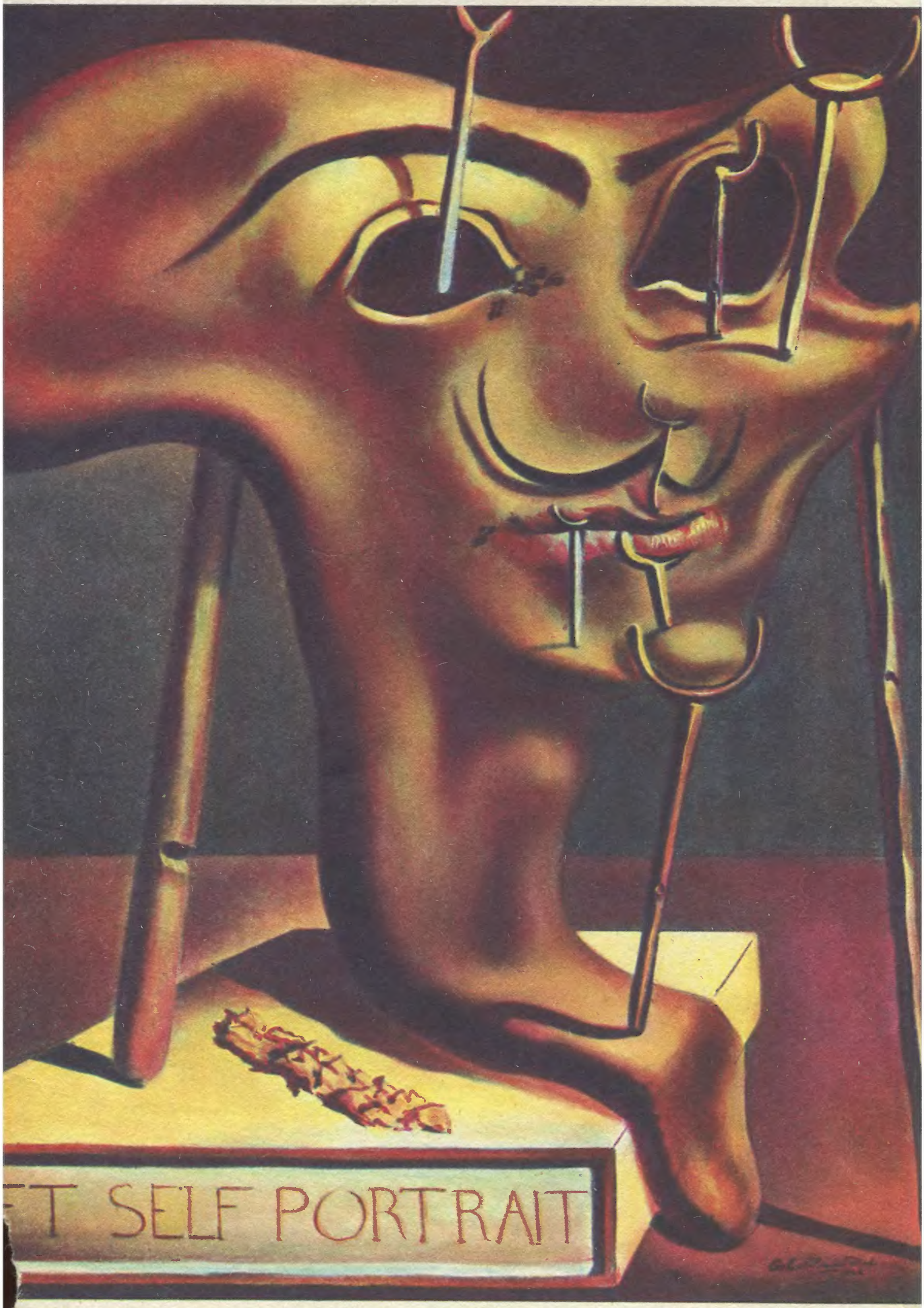
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

МИЛАН КУНДЕРА
Невыносимая легкость бытия

ГРЭМ ГРИН
Конец одного романа

САЛЬВАДОР ДАЛИ
Тайная жизнь Сальвадора Дали


T SELF PORTRAIT

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора,
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ — ответственный секретарь,
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА, В. П. ГОЛЫШЕВ,
Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА, В. Б. ИОРДАНСКИЙ,
А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА,
А. С. МУЛЯРЧИК, В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

май — июнь

5-6

1992

СОДЕРЖАНИЕ

МИЛАН КУНДЕРА — Невыносимая легкость бытия *(Роман. Перевод с чешского Нины Шульгиной)* 5

Литературное наследие

ИССА *(Перевод с японского и предисловие Т. Соколовой-Делюсиной)* 139

ГРЭМ ГРИН — Конец одного романа *(Роман. Перевод с английского Н. Трауберг)* 146

ДЮЛА ИЙЕШ — Одной фразой о тирании *(Стихи. Перевод с венгерского Александра Грибанова. Предисловие В. Середы)* 227

Документальная проза

САЛЬВАДОР ДАЛИ — Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим *(Фрагменты книги, продолжение. Перевод Н. Малиновской)* 232

ЭДВАРД БЭР — Целуй руку, которую не можешь укусить *(Окончание. Перевод с английского И. Прохоровой)* 267

Критика

Религия и художественное сознание

МАРИАМ САЛГАНИК — Гармония ислама. Заметки на полях одной книги 302

У книжной витрины 309

Курьер «ИЛ» 312

Авторы этого номера 317

К нашим читателям 319

© «Иностранная литература», 1992

В следующем номере «ИЛ»

Следующий номер нашего журнала посвящен литературе Англии. Главная публикация номера — роман «Остаток дня». Его автор, молодой писатель японского происхождения КАДЗУО ИСИГУРО, подобно Джозефу Конраду, в совершенстве овладевший искусством слова другой страны, создал один из самых «английских» романов последнего десятилетия. Книга Исигуро стала событием в литературной жизни и получила престижную Букеровскую премию 1989 г.

В разделе прозы читатель найдет также рассказы классиков английской литературы XX века У. С. МОЭМА (два рассказа из автобиографического цикла «Эшенден, или Британский агент»), знаменитого юмориста П. Г. ВУДХАУСА и современных авторов А. С. БАЙЕТТ и Р. ДАЛА.

Фрагмент известного эссе «Англия, ваша Англия» ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА познакомит читателя с особенностями и гранями английского характера.

В номере публикуются иллюстрации известного писателя МЕРВИНА ПИКА к произведениям английских классиков и литературные шаржи художника УИЛЬЯМА БРЭМХОЛЛА, а также краткая библиографическая справка «Английская литература на страницах «ИЛ» (1955—1992)».

На обложке — репродукции картин САЛЬВАДОРА ДАЛИ:
«Роза», «Растекшийся автопортрет», «Великий рукоблуд», «Девушка у окна».

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, а также по поводу полиграфического брака редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47

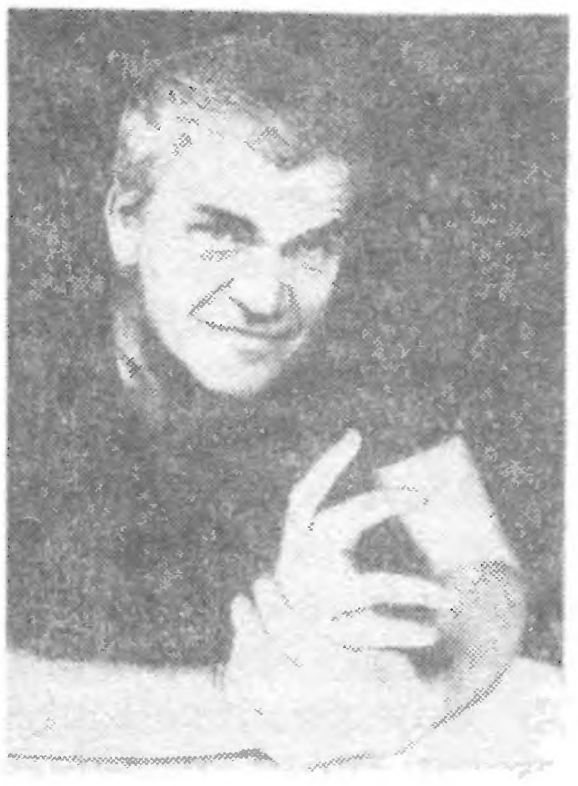
При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 10.03.92. Подписано в печать 29.04.92. Формат 70x108¹/16. Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 28,0. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. 31,55. Заказ 2703.

Тираж 154 570 экз. Цена для подписчиков 7р. 50 к.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



МИЛАН КУНДЕРА

Невыносимая легкость бытия

РОМАН

Перевод с чешского НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

Содержание

Часть первая

«ЛЕГКОСТЬ

И ТЯЖЕСТЬ»

Часть вторая

«ДУША

И ТЕЛО»

Часть третья

«СЛОВА

НЕПОНЯТЫЕ»

Часть четвертая

«ДУША

И ТЕЛО»

Часть пятая

«ЛЕГКОСТЬ

И ТЯЖЕСТЬ»

Часть шестая

«ВЕЛИКИЙ

ПОХОД»

Часть седьмая

«УЛЫБКА

КАРЕНИНА»

Часть первая

ЛЕГКОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ

1

Идея вечного возвращения загадочна, и Ницше поверг ею в замешательство прочих философов: представить только, что когда-нибудь повторится все пережитое нами и что само повторение станет повторяться до бесконечности! Что хочет поведать нам этот безумный миф?

Миф вечного возвращения per negationem [1] говорит, что жизнь, которая исчезает однажды и навсегда, жизнь, которая не повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед и как бы ни была она страшна, прекрасна или возвышенна, этот ужас, возвышенность или красота ровно ничего не значат. Мы должны воспринимать ее не иначе, как, скажем, войну между двумя африканскими государствами в четырнадцатом столетии, ничего не изменившую в облике мира, невзирая на то, что в ней погибло в несказанных мучениях триста тысяч чернокожих.

Изменится ли что-то в войне двух африканских государств в четырнадцатом столетии, повторяйся она бессчетное число раз в вечном возвращении?

Несомненно, изменится: война превратится в вознесшийся на века монолит, и ее нелепость станет непоправимой.

Если бы Французской революции суждено было вечно повторяться, французская историография куда меньше гордилась бы Робеспьером. Но поскольку она повествует о том, что не возвращается, кровавые годы претворились в простые слова, теории, дискуссии и, став легче пуха, уже не вселяют ужаса. Есть бесконечная разница

© 1984 Milan Kundera

[1] В отрицании *(лат.)*

между Робеспьером, лишь однажды объявившимся в истории, и Робеспьером, который вечно возвращался бы рубить французам головы.

Итак, можно сказать: идея вечного возвращения означает определенную перспективу, из ее дали вещи предстают в ином, неведомом нам свете; предстают без облегчающего обстоятельства своей быстротечности. Это облегчающее обстоятельство и мешает нам вынести какой-либо приговор. Как можно осудить то, что канет в Лету? Зори гибели озаряют очарованием ностальгии все кругом; даже гильотину.

Недавно я поймал себя на необъяснимом ощущении: листая книгу о Гитлере, я растрогался при виде некоторых фотографий, они напомнили мне годы моего детства; я прожил его в войну; многие мои родственники погибли в гитлеровских концлагерях; но что была их смерть по сравнению с тем, что фотография Гитлера напомнила мне об ушедшем времени моей жизни, о времени, которое не повторится?

Это примирение с Гитлером вскрывает глубокую нравственную извращенность мира, по сути своей основанного на несуществовании возвращения, ибо в этом мире все наперед прощено и, стало быть, все цинично дозволено.

2

Если бы каждое мгновение нашей жизни бесконечно повторялось, мы были бы прикованы к вечности, как Иисус Христос к кресту. Вообразить такое — ужасно. В мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой ответственности. Это причина, по которой Ницше называл идею вечного возвращения самым тяжким бременем (das schwerste Gewicht).

А коли вечное возвращение есть самое тяжкое бремя, то на его фоне наши жизни могут предстать перед нами во всей своей восхитительной легкости.

Но действительно ли тяжесть ужасна, а легкость восхитительна?

Самое тяжкое бремя сокрушает нас, мы гнемся под ним, оно придавливает нас к земле. Но в любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью мужского тела. Стало быть, самое тяжкое бремя суть одновременно и образ самого сочного наполнения жизни. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь ближе к земле, тем она реальнее и правдивее.

И, напротив, абсолютное отсутствие бремени ведет к тому, что человек делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и бессмысленны.

Так что же предпочтительнее: тяжесть или легкость?

Этот вопрос в шестом веке до Рождества Христова задавал себе Парменид. Он видел весь мир разделенным на пары противоположностей: свет — тьма; нежность — грубость; тепло — холод; бытие — небытие. Один полюс противоположности был для него позитивным (свет, тепло, нежность, бытие), другой негативным. Деление на полюс позитивный и негативный может нам показаться по-детски простым. За исключением одного примера: что же позитивно — тяжесть или легкость?

Парменид ответил: легкость — позитивна, тяжесть — негативна.

Прав ли он был или нет? Вот в чем вопрос. Несомненно одно: противоположность «тяжесть — легкость» есть самая загадочная и самая многозначительная из всех противоположностей.

3

Я думаю о Томаше уже много лет, но лишь в свете этих раздумий увидел его явственно. Увидел, как он стоит у окна своей квартиры, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и не знает, что делать.

Он впервые встретил Терезу три недели назад в одном маленьком чешском городке. Едва ли час провели они вместе. Она проводила его на вокзал и ждала, пока он не сел в поезд. Десятью днями позже она приехала к нему в Прагу. Они познали друг друга еще в тот же день.

Ночью начался у нее жар, и затем она неделю пролежала в гриппе у него дома.

Томаш почувствовал тогда неизъяснимую любовь к этой почти незнакомой девушке; ему казалось, что это ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по реке, чтобы он выловил ее на берег своего ложа.

Она пробыла у него неделю, пока не поправилась, а потом снова уехала в свой городок, что в двухстах километрах от Праги. И тут наступила та минута, о которой я говорил и которая представляется мне ключом к его жизни: он стоит у окна, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и размышляет.

Надо ли ему навсегда позвать ее в Прагу? Он боялся этой ответственности. Позови он ее сейчас, она приедет и предложит ему всю свою жизнь.

Или уж вовсе не напоминать ей о себе? Это значит, Тереза останется официанткой в ресторане того захолустного городка, и он никогда не увидит ее.

Хотел ли он, чтобы она приехала к нему, или не хотел?

Он смотрел поверх двора на супротивные стены и искал ответ.

Вновь и вновь он вспоминал, как она лежала на тахте; она не вызывала в памяти никого из его прошлой жизни. Она не была ни возлюбленной, ни женой. Это был ребенок, которого он вынул из просмоленной корзинки и опустил на берег своего ложа. Она уснула. Он наклонился к ней. Ее горячечное дыхание участилось, раздался слабенький стон. Он прижался лицом к ее лицу и стал шептать ей в сон утешные слова. Вскоре он заметил, что ее дыхание успокаивается, и ее лицо невольно приподнимается к его лицу. Он слышал из ее рта нежное благоухание жара и вдыхал его, словно хотел наполниться доверчивостью ее тела. И вдруг он представил, что она уже много лет у него и что она умирает. Им сразу же овладело отчетливое ощущение, что смерти ее он не вынесет. Ляжет возле и захочет умереть вместе с нею. Растроганный этим воображаемым образом. он зарылся лицом в подушку рядом с ее головой и оставался так долгое время.

Теперь он стоял у окна и воскрешал в памяти ту минуту. Что это могло быть еще, как не любовь, которая вот так пришла к нему заявить о себе?

Но была ли это любовь? Ощущение, что он хочет умереть возле нее было явно преувеличенным: он тогда виделся с ней лишь второй раз в жизни! Уж не истерия ли это человека, осознавшего свою неспособность к любви и потому разыгравшего перед самим собой это чувство? К тому же его подсознание оказалось столь малодушным, что избрало для своей комедии всего-навсего жалкую официантку из захолустного городка, не имевшую почти никакого шанса войти в его жизнь!

Он смотрел поверх двора на грязные стены и понимал, что так до конца и не знает, была ли это истерия или любовь.

И ему было грустно, что в таком положении, когда настоящий мужчина сумел бы не мешкая действовать, он колеблется и лишает самые прекрасные мгновения в жизни (он стоял на коленях у изголовья Терезы, и казалось ему, что он не вынесет ее смерти) их значения.

Он злился на себя, но потом вдруг его осенило, что не знать, чего он хочет, вполне, по сути, естественно.

Мы никогда не можем знать, чего мы должны хотеть, ибо проживаем одну-единственную жизнь и не можем ни сравнить ее со своими предыдущими жизнями, ни исправить ее в жизнях последующих.

Лучше ли быть с Терезой или остаться одному?

Нет никакой возможности проверить, какое решение лучше, ибо нет никакого сравнения. Мы проживаем все разом, впервые и без подготовки. Как если бы актер играл свою роль в спектакле без всякой репетиции. Но чего стоит жизнь, если первая же ее репетиция есть уже сама жизнь? Вот почему жизнь всегда подобна наброску. Но и «набросок» не точное слово, поскольку набросок всегда начертание чего-то, подготовка к той или иной картине, тогда как набросок, каким является наша жизнь,— набросок к ничему, начертание, так и не воплощенное в картину.

Einmal ist keinmal, повторяет Томаш немецкую поговорку. Единожды — все равно что никогда. Если нам суждено проживать одну-единственную жизнь — это значит, мы не жили вовсе.

4

Но как-то раз, в перерыве между двумя операциями, сестра подозвала его к телефону. В трубке он услышал Терезин голос. Звонила она с вокзала. Он обрадовался. К сожалению, на сегодняшний вечер у него уже было назначено свидание, и ему пришлось пригласить ее к себе на следующий день. Но едва он повесил трубку, как стал попрекать себя, что не позвал ее тотчас. Еще было время отменить свидание! Он представил, как Тереза проведет в Праге целых полтора дня до их встречи, и его охватило желание немедля сесть в машину и поехать искать ее на пражских улицах.

Пришла Тереза вечером следующего дня. На плече у нее висела сумка на длинном ремне, и она показалась ему элегантнее, чем в прошлый раз. В руке она держала книгу. Это была «Анна Каренина» Толстого. Вела она себя оживленно, даже несколько шумно и старалась всячески подчеркнуть, что зашла к нему случайно, благодаря особым обстоятельствам: в Праге она по делу, возможно (ее объяснения были весьма туманны), ей удастся найти здесь работу.

Потом они лежали рядом, голые и уставшие, на тахте. Была уже ночь. Он спросил ее, где она поселилась, чтобы отвезти ее туда на машине. Она в растерянности ответила, что гостиницу только собирается поискать и что ее чемодан в камере хранения на вокзале.

Еще вчера он боялся, что позови он ее к себе в Прагу, она приедет и предложит всю свою жизнь. Когда она сейчас сказала ему, что ее чемодан в камере хранения, у него вдруг мелькнула мысль, что в том чемодане ее жизнь и что прежде, чем предложить ему, она ее оставила пока на вокзале.

Он сел с ней в машину, стоявшую перед домом, заехал на вокзал, взял чемодан (большой и невероятно тяжелый) и повез его вместе с ней обратно к себе.

Как же случилось, что он так быстро принял решение, если чуть не две недели колебался и не мог заставить себя послать ей даже открытку?

Он сам был поражен. На этот раз он поступал вопреки своим принципам. Десять лет назад он развелся с женой и переживал развод в праздничном настроении, в каком иные празднуют свадьбу. Он понял, что не создан жить вместе ни с одной женщиной и что может оставаться самим собой лишь в положении холостяка. Он всеми силами старался создать такую систему жизни, при которой уже ни одна женщина не смогла бы поселиться у него с чемоданом. Из этих соображений в его квартире стояла лишь одна тахта. Хотя она и была достаточно широкой, Томаш уверял всех своих возлюбленных, что не способен ни с кем уснуть в одной постели, и после полуночи всегда отвозил их домой. Впрочем, и когда у него впервые оказалась Тереза, больная гриппом, он не лег с нею рядом. Первую ночь он провел в большом кресле, а затем уезжал в больницу, где у него был свой кабинет, а в нем кушетка, которой он пользовался в ночные дежурства.

На этот раз он уснул возле нее. Проснулся рано и обнаружил, что она, все еще продолжая спать, держит его за руку. Неужели они провели так всю ночь? Это казалось ему фантастичным.

Во сне она глубоко дышала, держала его за руку (так крепко, что он не мог высвободиться из этих тисков), а немыслимо тяжелый чемодан стоял возле постели.

Боясь разбудить Терезу, он, не высвобождая своей руки, лишь осторожно повернулся на бок, чтобы лучше видеть ее.

И снова подумалось, что Тереза ребенок, которого положили в просмоленную корзинку и пустили по течению. Но можно ли позволить корзинке с ребенком плыть по бушующей реке?! Если бы дочь фараона не выловила из волн корзинку с младенцем Моисеем, не было бы Ветхого Завета и всей нашей цивилизации! Столько старых мифов начинается с того, что кто-то

спасает подкидыша. Не прими Полиб маленького Эдипа, Софокл не написал бы своей самой прекрасной трагедии!

Томаш тогда еще не понимал, что метафора — опасная вещь. С метафорами шутки плохи. Даже из единственной метафоры может родиться любовь.

5

Он жил с женой менее двух лет и произвел с ней на свет одного ребенка. На бракоразводном процессе суд присудил ребенка матери, а Томаша обязал платить на него треть своего заработка. При этом гарантировал ему право видеть сына каждое второе воскресенье.

Однако всякий раз когда Томаш собирался встретиться с мальчиком, его мать находила какую-нибудь отговорку. Конечно, приноси он им дорогие подарки, свиданий он добивался бы куда легче. Да, за любовь сына надо было платить, а то и переплачивать. Он представлял себе, как в будущем по-донкихотски захочет привить сыну свои взгляды, в корне противоположные взглядам матери, и его уже заранее охватывала усталость. Когда в очередное воскресенье бывшая жена снова в последнюю минуту отказала ему в свидании с сыном, он внезапно решил, что уже никогда в жизни не пожелает его видеть.

Почему, впрочем, он должен был испытывать к этому ребенку, с которым его не связывало ничего, кроме одной неосмотрительной ночи, нечто большее, чем к любому другому? Он будет аккуратно платить алименты, но пусть уж никто не заставляет его бороться за право на сына в угоду каким-то отцовским чувствованиям.

Естественно, такие рассуждения ни у кого не вызвали симпатии. Его собственные родители осудили его и объявили, что коль скоро Томаш отказывается интересоваться своим сыном, то и они, родители Томаша, перестают интересоваться своим. При этом они остались в демонстративно хороших отношениях с невесткой и похвалялись всем и вся своим примерным поведением и чувством справедливости.

Так, в течение короткого времени, ему удалось избавиться от жены, сына, матери и отца. Единственное, что они по себе оставили в нем — это страх перед женщинами. Он желал их, но боялся. Между страхом и желанием ему пришлось создать некий компромисс; он определял его словами «эротическая дружба». Он убеждал своих любовниц: лишь те отношения, при которых нет ни следа сентиментальности и ни один из партнеров не посягает на жизнь и свободу другого, могут принести обоим счастье.

И желая заручиться уверенностью, что так называемая эротическая дружба никогда не перерастет в агрессивность любви, он встречался с каждой из своих постоянных любовниц лишь после весьма длительных перерывов. Он считал этот метод совершенным и пропагандировал его среди друзей. «Следует придерживаться правила тройного числа. Либо видеться с одной женщиной в течение короткого промежутка времени, но при этом не более трех раз. Либо встречаться с ней долгими годами, но при условии, что между свиданиями проходит по меньшей мере три недели».

Эта система давала Томашу возможность не расходиться со своими постоянным любовницами и параллельно иметь множество непостоянных. Его не всегда понимали. Среди подруг с наибольшим пониманием к нему относилась Сабина. Будучи художницей, она говорила: «Я люблю тебя, поскольку ты полная противоположность кича. В империи кича ты считался бы монстром. В любом сценарии американского или русского фильма ты не мог бы представлять собою ничего, кроме примера устрашающего».

Именно к Сабине Томаш обратился за помощью, когда ему понадобилось подыскать для Терезы работу в Праге. Следуя неписаным правилам эротической дружбы, Сабина пообещала ему сделать все, что в ее силах, и вскоре нашла-таки место в фотолаборатории одного иллюстрированного еженедельника. Это место не требовало никакой особой квалификации, однако сразу же возвысило Терезу: от уровня официантки до статуса

сотрудника прессы. Она сама привела Терезу в редакцию, и Томаш тогда говорил себе, что в жизни у него не было лучшей подруги, чем Сабина.

6

Неписаный договор эротической дружбы предполагал, что Томаш исключает любовь из своей жизни. Если бы он нарушил это условие, все прочие его любовницы сразу бы оказались на второстепенных ролях и взбунтовались.

Вот почему он постарался снять для Терезы квартиру, куда ей пришлось отнести свой тяжелый чемодан. Ему хотелось заботиться о ней, оберегать ее, наслаждаться ее присутствием, но у него не было ни малейшего желания изменить свой образ жизни. Никто не должен знать, что Тереза спит в его доме. Общий сон, выходит, был corpus delicti[1] любви.

С другими любовницами он не спал никогда. Посещая их, он мог уйти в любое время. Хуже было, когда они приходили к нему, и он вынужден был им объяснять, что страдает бессонницей, что рядом с другим человеком не может уснуть и потому после полуночи отвезет их домой. Эти объяснения были недалеки от правды, но главная причина крылась в другом, гораздо худшем, и он не осмеливался ее высказать: в минуту, следовавшую за любовной близостью, его охватывало непреодолимое желание остаться одному; пробуждаться посреди ночи рядом с чужим существом ему было неприятно; общее утреннее вставание его отвращало; ему вовсе не хотелось, чтобы кто-то слышал, как в ванной он чистит зубы, не привлекал его и завтрак тет-а-тет.

Поэтому он был так поражен, когда, проснувшись, осознал, что Тереза крепко держит его за руку. Он смотрел на нее и не мог достаточно ясно понять, что случилось. Он вспомнил о только что пережитых часах, и ему казалось: от них исходит запах какого-то неизведанного счастья.

С той поры они оба наслаждались совместным сном. Я бы даже сказал, целью соития был для них не оргазм, а сон, следовавший за ним. И особенно она не могла спать без него. Когда случалось ей оставаться одной в снятой ею квартирке (все больше становившейся лишь алиби), она не могла уснуть всю ночь. А в его объятиях засыпала, какой бы возбужденной она ни была. Он шепотом рассказывал сказки, которые сочинял для нее, молол всякую чепуху или монотонно повторял слова, то успокоительные, то смешные. Эти слова превращались в путаные видения, которые уводили ее в первое забытье. Он полностью владел ее сном, и она засыпала в то мгновение, какое избирал он.

Когда они спали, она держалась за него, как в первую ночь: крепко сжимала его запястье, палец, лодыжку. Если он хотел удалиться, не разбудив ее, ему приходилось пускаться на хитрости. Он высвобождал из ее тисков палец (запястье, лодыжку), что всегда отчасти будило ее, поскольку и во сне она чутко сторожила его. И успокаивалась лишь тогда, когда он всовывал ей в руку вместо пальца какую-нибудь вещь (свернутую пижаму, туфлю, книгу), которую она сжимала затем так же крепко, как если бы это был кусочек его тела.

Однажды, когда он только усыпил ее и она, пребывая еще на первой ступеньке сна, способна была отвечать на его вопросы, он сказал ей: «Так. А теперь я уйду».— «Куда?» — спросила она. «Ухожу отсюда»,— сказал он строгим голосом. «Я иду с тобой!» — сказала она и привстала на постели. «Нет, нельзя. Я ухожу навсегда»,— сказал он и вышел из комнаты в переднюю. Она поднялась и с прищуренными глазами пошла за ним. В одной короткой сорочке, под которой ничего не было. Лицо неподвижное, без выражения, но движения энергичны. Он из передней вышел в коридор (общий коридор многих обитателей дома) и закрыл перед ней дверь. Она тут же отворила ее и пошла за ним, убежденная во сне, что он хочет уйти от нее навсегда и что надо удержать его. Он спустился на лестничную площадку этажом ниже и там подождал ее. Она сошла к нему, взяла его за руку и повела назад в постель.

---

[1] Вещественными доказательствами *(лат.)*

Томаш говорил себе: быть в близких отношениях с женщиной и спать с женщиной — две страсти не только различные, но едва ли не противоположные. Любовь проявляется не в желании совокупления (это желание распространяется на несчетное количество женщин), но в желании совместного сна (это желание ограничивается лишь одной женщиной).

7

Среди ночи Тереза начала стонать во сне. Томаш разбудил ее, но, увидав его лицо, она сказала с ненавистью: «Уходи! Поди прочь!» А чуть погодя рассказала ему, что ей снилось: они вдвоем и Сабина оказались в большой комнате, в центре которой была постель, точно подмостки в театре. Томаш велел ей стоять в углу, а сам у нее на глазах стал любить Сабину. Это зрелище причиняло ей невыносимые страдания. Стремясь перебить боль души болью тела, она стала всаживать себе под ногти иголки. «Было ужасно больно»,— говорила она и сжимала в кулак пальцы, словно они и вправду были изранены.

Он обнял ее, и она медленно (еще долго дрожа) засыпала в его объятиях.

Думая об этом сне на следующий день, он кое-что вспомнил. Он открыл письменный стол и вынул из него пачку писем, которые ему писала Сабина. Он быстро нашел это место: «Я хотела бы любить тебя в своей мастерской, словно это сцена. Вокруг стояли бы люди, не смея приблизиться ни на шаг. Но и глаз они не могли б от нас оторвать...»

И что хуже всего: на письме была дата. Была сравнительно свежей, тогда как Тереза уже долгое время жила у Томаша.

— Ты рылась в моих письмах! — накинулся он на нее.

Не отпираясь, она сказала: — Ну так выгони меня!

Но он не выгнал ее. Он будто видел ее перед глазами: она стоит, прижавшись к стене Сабининой мастерской и вонзает себе иголки под ногти. Он взял ее пальцы, стал гладить их и, поднеся к губам, целовать, словно на них еще были следы крови.

Но с той поры словно все взбунтовалось против него. Почти каждый день она узнавала какие-то новые подробности его тайной интимной жизни.

Поначалу он все отрицал. Если находились доказательства слишком очевидные, он утверждал, что его полигамная жизнь отнюдь не перечеркивает его любви к ней. Правда, он не отличался последовательностью: то отрицал свои измены, то оправдывал их.

Однажды он позвонил какой-то женщине, чтобы договориться о встрече. Когда кончил разговаривать, услышал из соседней комнаты какой-то странный звук, точно у кого-то громко стучали зубы.

Оказалось, Тереза по чистой случайности пришла к нему, а он и не заметил этого. Сейчас она держала пузырек с успокоительным, лила содержимое прямо в рот, и рука ее так тряслась, что пузырек стучал о зубы.

Он бросился к ней, будто хотел спасти утопающую от гибели. Пузырек упал на пол, забрызгав валерьяновыми каплями ковер. Она сопротивлялась, пыталась вырваться, но он чуть ли не четверть часа сжимал ее в объятиях, словно в смирительной рубашке, пока она не успокоилась.

Он понимал, что оказался в положении, которому нет оправдания, ибо оно основано на полном неравенстве.

Еще до того как она обнаружила его переписку с Сабиной, он был с нею и несколькими друзьями в баре. Отмечали новую Терезину должность. Она покинула лабораторию и стала фотографом еженедельника. Поскольку он сам не любил танцевать, Терезой завладел его молодой коллега. Эта пара прекрасно смотрелась на танцевальной площадке бара, и Тереза казалась ему красивей обычного. Он изумленно наблюдал, с какой точностью и послушностью она на какую-то долю секунды предупреждает волю своего партнера. Этот танец словно бы говорил о том, что ее жертвенность, какая-то возвышенная мечта исполнить то, что она читает в глазах Томаша, вовсе не была нерасторжимо связана только с ним, а готова была ответ-

ствовать зову любого мужчины, который встретился бы ей вместо него. Не было ничего проще вообразить себе, что Тереза и его коллега — любовники. Простота этого воображаемого образа больно ранила его! Он вдруг осознал, что Терезино тело без труда представляемо в любовном соитии с другим мужским телом, и впал в уныние. Лишь поздно ночью, когда они вернулись домой, он признался ей в своей ревности.

Эта абсурдная ревность, исходившая всего лишь из теоретической возможности, была доказательством того, что Терезину верность он считал безусловной предпосылкой их любви. Так мог ли он попрекать ее тем, что она ревновала к вполне реальным его любовницам?

8

Днем она старалась (хоть и с частичным успехом) верить тому, что говорил Томаш, и быть веселой, какой была до сих пор. Однако ревность, укрощенная днем, тем безудержнее проявлялась в ее снах, кончавшихся рыданиями, которые он обрывал, лишь разбудив ее.

Сны повторялись, как темы с вариациями или как телевизионные многосерийные фильмы. Ей часто, например, снились сны о кошках, которые прыгали на лицо и впивались когтями в кожу. Мы можем найти для этого достаточно простое объяснение: «кошка» в чешском арго означает красивую женщину. Тереза постоянно чувствовала над собой угрозу, исходившую от женщин, от всех женщин. Все женщины были потенциальными любовницами Томаша, и она боялась их.

В другом цикле снов ее посылали на смерть. Однажды, среди ночи, когда он разбудил ее, кричавшую от ужаса, она стала рассказывать: «Это был большой крытый бассейн. Нас было около двадцати. Одни женщины. Мы все были голые и маршировали вокруг бассейна. Под потолком была подвешена корзина, и в ней стоял мужчина. На нем была широкополая шляпа, затенявшая его лицо, но я знала, что это ты. Ты подавал нам команды. Кричал. В строю мы должны были петь и делать приседания. Стоило какой-нибудь женщине неудачно присесть, ты стрелял в нее из пистолета, и она мертвая падала в бассейн. В ту минуту все начинали смеяться и петь еще громче. А ты не спускал с нас глаз, и если какая снова допускала оплошность, ты убивал ее. Бассейн был полон трупов, они плавали под самой водяной гладью. Я чувствовала, что у меня нет уже сил сделать еще одно приседание и что ты застрелишь меня!»

В третьем цикле снов она была мертвой.

Она лежала на катафалке, таком же большом, как фургон для перевозки мебели. Вокруг нее были одни мертвые женщины. Было их столько, что задние двери не закрывались, и ноги некоторых торчали наружу.

Тереза кричала: «Я же не мертвая! Я все чувствую!»

«Мы тоже все чувствуем»,— смеялись трупы.

Они смеялись совершенно таким же смехом, как и те живые женщины, которые когда-то с радостью убеждали ее, что если у нее будут плохие зубы, больные яичники и морщины, так это в порядке вещей: у них тоже плохие зубы, больные яичники и морщины. С таким же смехом они теперь объясняли ей, что она мертвая и что это совершенно нормально!

Потом ей вдруг захотелось помочиться. Она крикнула: «Мне же хочется по-маленькому! Это доказывает, что я не мертвая!»

А они снова смеялись: «Это нормально, что тебе хочется писать. Все эти ощущения надолго еще останутся. Как если кому отнимают ногу, а он потом еще долго ее чувствует. У нас уже нет мочи, а нам все время хочется по-маленькому».

Тереза прижималась в постели к Томашу: — И все мне говорили «ты», будто издавна знали меня, будто это были мои подруги, и меня обуял ужас, что теперь я останусь с ними навеки!

9

Все языки, восходящие к латыни, образуют слово «сострадание» с помощью приставки «со-» (com-) и корня, который изначально означал «стра-

дание» (поздняя латынь: passio). На другие языки — например, на чешский, польский, немецкий, шведский — это слово переводится существительным, состоящим из приставки того же значения, сопровождаемой словом «чувство» (по-чешски: sou-cit; по-польски: współczucie; по-немецки: Mit-gefühl; по-шведски: med-känsla).

В языках, восходящих к латыни, слово «сострадание» (compassion) означает: мы не можем с холодным сердцем смотреть на страдания другого; или: мы соболезнуем тому, кто страдает. От другого слова, имеющего приблизительно то же значение (от французского pitié, от английского pity, от итальянского pietá и так далее), исходит даже некая снисходительность по отношению к тому, кто страдает. Avoir de la pitié pour une femme означает, что нам лучше, чем женщине, что мы с жалостью склоняемся над ней, снисходим до нее.

Вот причина, по которой слово «сострадание» вызывает определенное недоверие; кажется, что оно выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, имеющее мало общего с любовью. Любить кого-то из сострадания значит не любить его по-настоящему.

В языках, образующих слово «сочувствие» не от корня «страдание» (passio), а от корня «чувство», это слово употребляется приблизительно в том же смысле, но сказать, что оно выражает какое-то худшее, второразрядное чувство, было бы нельзя. Тайная сила этимологии этого слова озаряет его иным светом и придает ему более широкий смысл: сочувствовать (или же иметь сочувствие) значит не только уметь жить несчастьем другого, но и разделять с ним любое иное чувство: радость, тревогу, счастье, боль. Такого рода «сочувствие» (в смысле soucit, współczucie, Mitgefühl, medkänsla) означает, стало быть, максимальную способность эмоционального воображения, искусство эмоциональной телепатии. В иерархии чувств это чувство самое высокое.

Когда Тереза рассказывала Томашу о своем сне, в котором вонзала себе под ногти иголки, она тем самым призналась в том, что украдкой просматривала его ящики. Сделай это какая-нибудь другая женщина, он бы в жизни уже с нею не разговаривал. Тереза это знала и потому сказала ему: «Выгони меня!» Но он не только не выгнал ее, но схватил ее за руку и стал целовать кончики пальцев, ибо в ту минуту сам почувствовал боль под ее ногтями, словно нервы ее пальцев врастали прямо в кору его мозга.

Любой, кто не наделен дьявольским даром, называемым «сочувствие», способен лишь холодно осудить Терезу за ее поступок, ибо личная жизнь другого человека — священна, и ящики с его интимными письмами открывать не положено. Но поскольку сочувствие стало уделом Томаша (или проклятием), ему представилось, что это он сам стоял на коленях перед открытым ящиком письменного стола и не мог оторвать взгляда от фраз, написанных Сабиной. Он понимал Терезу и не только не в состоянии был сердиться на нее, но любил ее еще больше.

10

Ее движения становилась резкими и беспорядочными. С тех пор как она обнаружила его измены, прошло два года, но чем дальше, тем становилось ей хуже. Выхода не было.

В самом деле, неужто он не мог оборвать свои эротические дружбы? Нет, не мог. Это разрушило бы его. У него не было сил перебороть свою тягу к другим женщинам. Да он и не видел в том нужды. Никто не знал лучше, чем он, что все его похождения ничем не угрожают Терезе. Так надо ли отказываться от них? Ему казалось это столь же бессмысленным, как если бы он ни с того ни с сего перестал ходить на футбол.

Но можно ли при этом говорить о радости? Уже в ту минуту когда он уходил к своей очередной любовнице, он испытывал к ней неприязнь и зарекался больше никогда не встречаться с нею. Перед его мысленным взором стояла Тереза, и дабы не думать о ней, он был вынужден оглушать себя алкоголем. Да, с той поры как он познал Терезу, он не мог сблизиться ни с одной женщиной без спиртного. Но именно дыхание, отдававшее алкоголем,

было тем следом, по которому Тереза еще легче дознавалась о его изменах.

За ним захлопнулась ловушка: в минуту, когда он шел к любовнице, он переставал желать ее, но стоило ему остаться хоть на день без женщины, как он уже набирал номер телефона, мечтая о встрече с одной из них.

По-прежнему ему ни с кем не было так хорошо, как с Сабиной. Он знал, что она не болтлива и что не надо опасаться разглашения их тайны. Ее мастерская встречала его как воспоминание о его прошлой жизни, идиллической жизни холостяка.

Он, пожалуй, и сам не сознавал, как изменился: боялся поздно прийти домой, ибо там его ждала Тереза. Сабина однажды даже заметила, что он смотрит на часы во время любовных утех и тщится ускорить их завершение.

Затем, все еще обнаженная, она прошлась ленивым шагом по мастерской, остановилась перед мольбертом с начатой картиной и краем глаза стала наблюдать, как Томаш поспешно одевается.

Вот он уже оделся, хотя одна нога все еще была босая. Он поозирался, потом встал на четвереньки и заглянул под стол.

Сабина сказала: — Смотрю на тебя, и у меня возникает ощущение, что ты превращаешься в вечную тему моих картин. Встреча двух миров. Двойная экспозиция. За силуэтом Томаша-либертина проглядывает удивительное лицо романтического любовника. Или наоборот: сквозь фигуру Тристана, который не думает ни о чем другом, кроме как о своей Терезе, виден прекрасный, отверженный мир либертина.

Томаш выпрямился, рассеянно слушая Сабинины слова.

— Что ты ищешь? — спросила она.

— Носок.

Она вместе с ним оглядела комнату, и он снова встал на четвереньки и посмотрел под стол.

— Нет здесь твоего носка,— сказала Сабина.— Ты, наверное, пришел без него.

— Как я мог прийти без него? — вскричал Томаш и посмотрел на часы.— Не пришел же я в одном носке!

— Не исключено. В последнее время ты ужасно рассеян. Все куда-то торопишься, смотришь на часы и потому неудивительно, что забываешь о носке.

Он уж был готов надеть ботинок на босу ногу.

— На улице холодно,— сказала Сабина.— Возьми мой чулок.

Она подала ему длинный белый модный чулок, вязанный крючком крупными петлями.

Он прекрасно понимал, что это месть за то, что он смотрел на часы, когда они были вместе. Она явно спрятала носок. Было действительно холодно, и ему ничего не оставалось, как подчиниться. Он уходил в носке на одной ноге и в закатанном над щиколоткой белом чулке на другой.

Положение его было отчаянным: для любовниц он был отмечен постыдным клеймом своей любви к Терезе, для Терезы — постыдным клеймом своих любовных похождений.

11

Чтобы приглушить ее страдания, он женился на ней (наконец-то они отказались от найма квартиры, в которой она уже давно не жила) и достал ей щенка.

Родился он у суки породы сенбернар, принадлежавшей коллеге Томаша. Отцом щенят был соседский пес — овчарка. Охотников на маленьких бастардов не нашлось, а хозяину жалко было их убивать.

Выбирая среди щенков, Томаш знал, что те, которых он не выберет, должны будут умереть. Он представлялся себе президентом республики, который стоит перед четырьмя осужденными на смерть и властен помиловать лишь одного. Наконец он выбрал щенка, сучку, телом она походила на овчарку, а головой на мамочку — сенбернара. Принес Терезе. Она подняла песика, прижала его к груди, и он вмиг обмочил ей блузку.

Они взялись подыскивать ему имя. Томаш хотел, чтобы уже по одному

имени было ясно, что собака принадлежит Терезе, и вспомнил о книге, которую она сжимала под мышкой, когда незванно приехала в Прагу. Он предложил назвать щенка Толстым.

— Не может он быть Толстым,— возразила Тереза,— потому что это девочка. Она может быть Анной Карениной.

— Нет, она не может быть Анной Карениной, такая смешная моська не может быть ни у одной женщины,— сказал Томаш.— Это скорее Каренин. Вот именно, Каренин. Точно таким я его и представлял.

— Но если мы станем звать ее Каренин, не повлияет ли это на ее сексуальность?

— Вполне возможно,— сказал Томаш,— что сука, которую хозяйка постоянно называет именем кобеля, будет иметь лесбийские наклонности.

Томашевы слова удивительным образом сбылись. Хотя обычно сука тянется больше к хозяину, чем к хозяйке, Каренин испытывал противоположные чувства. Он решил быть влюбленным в Терезу, и Томаш был ему за это премного благодарен. Гладил его по голове и приговаривал: «Ты молодец, Каренин. Именно этого я и хотел от тебя. Если меня одного ей мало, ты должен мне помочь».

Но даже с помощью Каренина ему не удалось сделать ее счастливой. Он осознал это примерно на десятый день после того, как его страну захватили русские танки. Был август 1968 года, Томашу каждый день звонил из Цюриха директор тамошней клиники, с которым Томаш подружился на одной международной конференции. Он опасался за Томаша и предлагал ему место.

12

Если Томаш и отказывался от предложений швейцарца почти без колебаний, то причиной тому была Тереза. Он предполагал, что ехать туда ей не хотелось бы. Кстати сказать, всю первую неделю оккупации она провела в каком-то экстазе, походившем почти на ощущение счастья. Она сновала по улицам с фотоаппаратом и раздавала пленки заграничным журналистам, которые чуть ли не дрались из-за них. Однажды, когда она вела себя слишком дерзко, пытаясь сфотографировать офицера, нацелившего пистолет на группу людей, ее задержали и оставили на ночь в русской комендатуре. Ей угрожали расстрелом, однако как только отпустили, она снова вышла на улицы и продолжала отщелкивать пленку.

И, конечно, Томаш весьма удивился, услышав от нее на десятый день оккупации такие слова: — Почему ты не хочешь ехать в Швейцарию?

— А почему я должен ехать?

— Здесь они могут свести с тобой счеты.

— С каждым из нас они могут свести счеты,— махнув рукой, сказал Томаш.— А ты согласна была бы жить за границей?

— А почему нет?

— Я видел, как ты рисковала жизнью ради этой страны. Трудно представить, что теперь ты смогла бы покинуть ее.

— С тех пор как Дубчек вернулся, все изменилось,— сказала Тереза. И вправду: та всеобщая эйфория продолжалась лишь первую неделю оккупации. Руководители страны были вывезены русской армией как преступники, никто не знал, где они, все дрожали за их жизнь, и ненависть против пришельцев пьянила, как алкоголь. Это было хмельное торжество ненависти. Чешские города были украшены тысячами нарисованных от руки плакатов со смешными надписями, эпиграммами, стихами, карикатурами на Брежнева и его армию, над которой все потешались, как над балаганом простаков. Однако ни одно торжество не может длиться вечно. Русские принудили чешских государственных деятелей подписать в Москве некое компромиссное соглашение. Дубчек вернулся с ним в Прагу и зачитал его по радио. После шестидневного заключения он был так раздавлен, что не мог говорить, заикался, едва переводил дыхание, прерывая фразы бесконечными, чуть не полминутными паузами.

Компромисс спас страну от самого страшного: от казней и массовых

ссылок в Сибирь, вселявших во всех ужас. Но одно было ясно: Чехия обречена теперь вовек заикаться, запинаться и ловить ртом воздух, как Александр Дубчек. Праздник кончился. Настали будни унижения.

Все это говорила Тереза Томашу; он знал, что это правда, но знал и то, что за этой правдой кроется еще другая, более существенная причина, по какой Тереза хочет уехать из Праги: в прошлом она не была счастлива.

Дни, когда она фотографировала советских солдат на пражских улицах и лицом к лицу встречалась с опасностью, были самыми прекрасными в ее жизни. Это были единственные дни, когда телевизионный сериал ее снов оборвался и ночи ее стали счастливыми. Русские на своих танках принесли ей душевное равновесие. Теперь, когда праздник кончился, она снова стала бояться своих ночей и хотела бы бежать от них. Она поняла, что бывают обстоятельства, при которых она может чувствовать себя сильной и счастливой, и мечтала теперь уехать в другой мир с надеждой, что там снова встретится с чем-то подобным.

— А тебя не волнует,— спросил Томаш,— что Сабина тоже эмигрировала в Швейцарию?

— Женева не Цюрих,— сказала Тереза.— Думаю, там она будет волновать меня меньше, чем волновала в Праге.

Человек, мечтающий покинуть место, где он живет, явно несчастлив. Томаш принял желание Терезы эмигрировать, словно злоумышленник, принимающий приговор. Он покорился ему и в один прекрасный день оказался с Терезой и Карениным в самом крупном городе Швейцарии.

13

В пустую квартиру он купил одну кровать (на другую мебель денег пока не было) и окунулся в работу со всей истовостью человека, начинающего после сорока новую жизнь.

Несколько раз он звонил в Женеву Сабине. Ей повезло: выставка ее картин открылась за неделю до русского вторжения, так что швейцарские меценаты, увлеченные волной симпатии к маленькой стране, раскупили все ее работы.

— Благодаря русским я разбогатела,— смеялась Сабина в трубку. Она позвала Томаша к себе в новую мастерскую, заверив его, что она мало чем отличается от той, которую он знает по Праге.

Томаш, конечно, рад был ее навестить, но никак не мог придумать предлога, каким сумел бы оправдать свою поездку в глазах Терезы. И потому Сабина приехала в Цюрих. Поселилась в гостинице. Томаш пришел туда после работы, позвонил ей из холла и сразу же поднялся к ней в номер. Открыв дверь, она предстала перед ним на своих красивых длинных ногах, полураздетая, в одних трусиках и бюстгальтере. На голове у нее был черный котелок. Она смотрела на него долгим, неподвижным взглядом и не говорила ни слова. И Томаш стоял молча. А потом вдруг понял, как он растроган. Он снял с ее головы котелок и положил на тумбочку у кровати. И тут же, так и не перемолвившись словом, они отдались любви.

Уходя из гостиницы в свою цюрихскую квартиру (уже давно пополнившуюся столом, стульями, креслами, ковром), он не без радости говорил себе, что носит с собой свой образ жизни так же, как улитка — свой домик. Тереза и Сабина являли два полюса его жизни, полюсы отдаленные, непримиримые и, однако, оба прекрасные.

Но именно потому, что систему своей жизни он носил повсюду с собой, словно она приросла к его телу, Терезе продолжали сниться все те же сны.

Они жили в Цюрихе уже месяцев шесть или семь, когда он однажды, вернувшись поздно вечером домой, нашел на столе письмо. Тереза сообщала ему, что уехала в Прагу. Уехала потому, что не в силах жить за границей. Она сознает, что должна была стать здесь опорой ему, но сознает также и свою неспособность к этому. Она наивно полагала, что заграница изменит ее. Верила, что после всего пережитого в дни вторжения она уже не будет мелочна, станет взрослой, умной, сильной, но она переоценила себя. Она в тягость ему и не может больше выносить это. Она обязана сделать из

этого необходимые выводы прежде, чем будет совсем поздно. И просит простить ее, что взяла с собой Каренина.

Он принял сильное снотворное, но уснул только под утро. К счастью, была суббота, и он мог остаться дома. В сотый раз он взвешивал все обстоятельства: граница между его страной и остальным миром уже закрыта, прошли те времена, когда они уезжали. Никакими телеграммами и телефонными звонками Терезу обратно не вызволишь. Власти уже не выпустят ее за границу. Ее отъезд непостижимо бесповоротен.

14

Сознание, что он абсолютно беспомощен, действовало на него, словно палочные удары, но при том, как ни странно, и успокаивало его. Никто не понуждал его принимать то или иное решение. Ему не надо было смотреть на стены супротивного дома и задаваться вопросом, хочет он жить с Терезой или не хочет. Она все решила сама.

Он пошел в ресторан пообедать. Было горестно, но за едой первоначальное отчаяние как бы отступило, как бы утратило свою силу, истаяв в обычную меланхолию. Он оглядывался на годы, которые прожил с Терезой, и ему казалось, что вся их история не могла завершиться удачнее, чем завершилась. Если бы кто-то даже придумал эту историю, то вряд ли мог бы закончить ее иначе: Тереза пришла к нему по собственной воле. Таким же образом в один прекрасный день и ушла. Приехала с одним тяжелым чемоданом. С одним тяжелым чемоданом и уехала.

Он расплатился, вышел из ресторана и стал прохаживаться по улицам, исполненный меланхолии, которая становилась все более и более прекрасной. Позади было семь лет жизни с Терезой, и теперь он убеждался, что те годы в воспоминаниях были прекрасней, чем когда он проживал их в действительности.

Любовь между ним и Терезой была прелестна, но утомительна: он постоянно должен был что-то утаивать, маскировать, изображать, исправлять, поддерживать в ней хорошее настроение, утешать, непрерывно доказывать свою любовь, быть подсудным ее ревности, ее страданиям, ее снам, чувствовать себя виноватым, оправдываться и извиняться. Это напряжение теперь исчезло, а красота осталась.

Суббота клонилась к вечеру, он впервые прогуливался по Цюриху один и вдыхал аромат своей свободы. За углом каждой улицы таилось приключение. Будущее вновь стало тайной. Опять вернулась холостяцкая жизнь, жизнь, которая, как он некогда думал, была ему предначертана; лишь в ней он может оставаться воистину самим собой.

Вот уже семь лет он был привязан к Терезе, ее глаза следили за каждым его шагом. Было так, словно она привязала к его лодыжкам железные гири. А теперь неожиданно его шаг стал гораздо легче. Он чуть не парил в воздухе. Он оказался в магическом поле Парменида: он наслаждался сладкой легкостью бытия.

(Было ли у него желание позвонить в Женеву Сабине? Дать знать о себе кому-то из цюрихских женщин, с которыми он познакомился в последние месяцы? Нет, у него не было такого желания. Он чувствовал, что случись ему встретиться с какой-нибудь женщиной, воспоминание о Терезе мгновенно стало бы невыносимо мучительным).

15

Это особое меланхолическое очарование длилось до самого воскресного вечера. В понедельник все изменилось. Тереза ворвалась в его мысли: он чувствовал, каково ей было, когда она писала ему прощальное письмо; чувствовал, как у нее тряслись руки; видел, как она тащит тяжелый чемодан в одной руке и Каренина на поводке — в другой; он представлял себе, как она отпирает их пражскую квартиру, и собственным сердцем ощущал бесприютность одиночества, пахнувшего ей в лицо, когда она открыла дверь.

В течение тех прекрасных двух дней меланхолии его сочувствие отдыхало. Сочувствие спало, как спит горняк в воскресенье после недели каторжного труда, чтобы в понедельник снова суметь спуститься в шахту.

Он осматривал больного и вместо него видел Терезу. Мысленно он наставлял себя: не думай о ней! не думай о ней! Он говорил себе: именно потому, что я болен сочувствием, хорошо, что она уехала и что я больше не увижу ее. Я должен освободиться не от нее, а от своего сочувствия, от этой болезни, которая была мне неведома, пока Тереза не заразила меня ее вирусом!

В субботу и воскресенье он испытывал сладкую легкость бытия, что приближалась к нему из глубин будущего. Но уже в понедельник навалилась на него тяжесть, какой он не знал прежде.

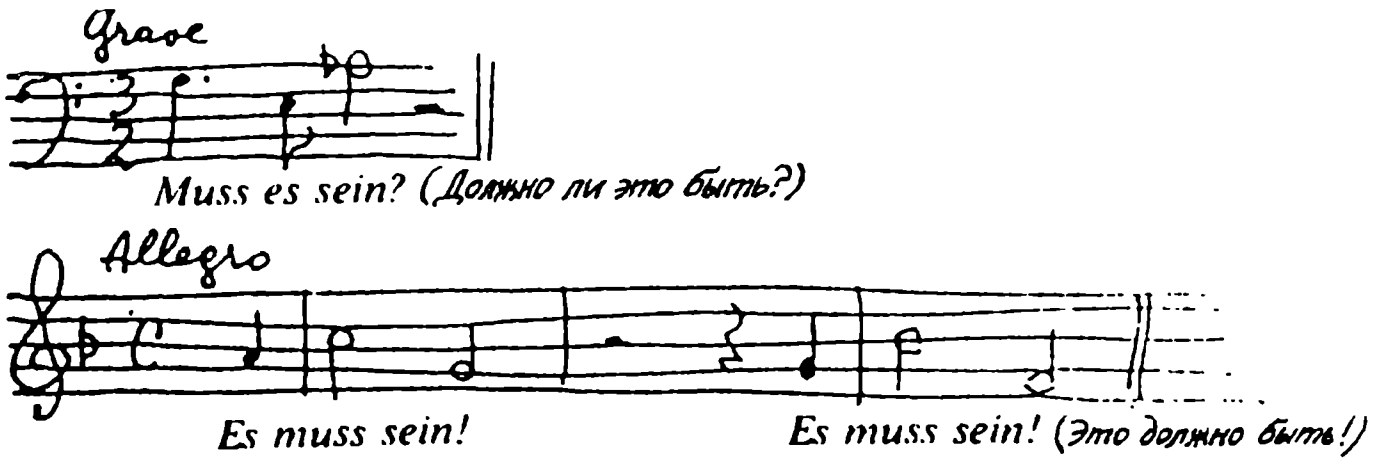
Все тонны стали русских танков не шли с ней в сравнение. Нет ничего более тяжкого, чем сочувствие. Даже собственная боль не столь тяжела, как боль сочувствия к кому-то, боль за кого-то, ради кого-то, боль, многажды помноженная фантазией, продолженная сотней отголосков.

Он убеждал себя не поддаваться сочувствию, и сочувствие слушалось его, склонив голову, словно ощущало себя виноватым. Сочувствие знало, что злоупотребляет своими правами, но все-таки упорствовало исподтишка, и потому на пятый день после ее отъезда Томаш сообщил директору клиники (тому самому, который ежедневно звонил ему в оккупированную Прагу), что немедля должен вернуться на родину. Ему было стыдно. Он знал, что его поведение покажется директору безответственным и непростительным. Нестерпимо хотелось довериться ему и рассказать о Терезе и о письме, что она оставила для него на столе. Но он не сделал этого. С точки зрения швейцарского врача, поступок Терезы выглядел бы истеричным и безобразным. А Томашу не хотелось позволить кому бы то ни было думать о ней дурно.

Директор и в самом деле был обижен.

Пожав плечами, Томаш сказал: — Es muss sein. Es muss sein.

То был намек. Последняя часть последнего Бетховенского квартета написана на эти два мотива:



Чтобы смысл этих слов был совершенно ясен, Бетховен озаглавил всю последнюю часть словами: «der schwer gefasste Entschluss», переводимыми как «тяжко принятое решение».

Этим намеком на Бетховена Томаш уже возвращался к Терезе, так как именно она заставляла его покупать пластинки с Бетховенскими квартетами и сонатами.

Намек оказался более уместен, чем Томаш ожидал, ибо директор был большим любителем музыки. Он слегка улыбнулся и тихо сказал, воспроизводя голосом Бетховенскую мелодию: — Muss es sein?

Томаш сказал еще раз: — Ja, es muss sein!

16

В отличие от Парменида для Бетховена тяжесть была явно чем-то положительным. «Der schwer gefasste Entschluss» (тяжко принятое решение) связано с голосом Судьбы («Es muss sein!»); тяжесть, необходимость и ценность суть три понятия, внутренне зависимые друг от друга: лишь то, что необходимо, тяжело, лишь то, что весит, имеет цену.

Это убеждение родилось из Бетховенской музыки, и хотя возможно

(или даже вероятно), что ответственность за него несут скорее толкователи Бетховена, чем сам композитор, ныне мы все в большей или меньшей степени разделяем его; величие человека мы усматриваем в том, что он *несет* свою судьбу, как нес Атлант на своих плечах свод небесный. Бетховенский герой — атлет по поднятию метафизических тяжестей.

Томаш ехал к швейцарской границе, а в моем воображении сам патлатый и хмурый Бетховен дирижировал оркестром местных пожарников и играл ему на прощание с эмиграцией марш под названием «Es muss sein!».

Затем Томаш пересек чешскую границу и натолкнулся на колонны русских танков. Ему пришлось остановить машину у перекрестка и ждать полчаса, пока они пройдут. Грозный танкист в черной форме стоял на перекрестке и управлял движением, словно все дороги в Чехии безраздельно принадлежали только ему. «Es muss sein!» — мысленно повторял Томаш, потом вдруг засомневался: в самом ли деле это должно было быть?

Да, невыносимо было оставаться в Цюрихе и представлять себе, что Тереза живет в Праге одна.

Но как долго мучило бы его сочувствие? Всю жизнь? Или целый год? Или месяц? Или всего неделю?

Откуда ему было знать? Мог ли он это испробовать?

Любой школьник на уроках физики может поставить опыт, чтобы убедиться в правильности той или иной научной гипотезы. Но человек, проживающий одну-единственную жизнь, лишен возможности проверить гипотезу опытным путем, и ему не дано узнать, должен был он или не должен был подчиниться своему чувству.

Погруженный в эти мысли, Томаш открыл дверь квартиры. Каренин пустился прыгать, норовя лизнуть его в лицо, и тем самым облегчил ему первые минуты встречи. Желание упасть Терезе в объятия (желание, которое обуревало его, еще когда он садился в Цюрихе в машину) совершенно исчезло. Ему казалось, что он стоит напротив нее посреди снежной равнины и что они оба дрожат от холода.

17

С первого дня оккупации русские военные самолеты летали над Прагой ночи напролет. Томаш от этого звука отвык и не мог уснуть.

Ворочаясь с боку на бок возле спящей Терезы, он вспомнил вдруг фразу, сказанную ею когда-то давно посреди пустой болтовни. Они говорили о его приятеле З., и вдруг она обронила: «Если б не встретила тебя, наверняка бы влюбилась в него».

Уже тогда эти слова привели Томаша в состояние странной меланхолии. А теперь он вдруг осознал абсолютную случайность того факта, что Тереза любит его, а не приятеля З. Что кроме ее осуществленной любви к нему в империи возможностей есть еще бесконечное множество неосуществленных влюбленностей в других мужчин.

Мы все не допускаем даже мысли, что любовь нашей жизни может быть чем-то легким, лишенным всякого веса; мы полагаем, что наша любовь — именно то, что должно было быть; что без нее наша жизнь не была бы нашей жизнью. Нам кажется, что сам Бетховен, угрюмый и патлатый, играет нашей великой любви свое «Es muss sein!».

Томаш вспоминал о Терезиной обмолвке насчет приятеля З. и убеждался, что история любви его жизни не откликается никаким «Es muss sein!», скорее «Es könnte auch anders sein»: это могло быть и по-иному.

Семь лет тому в больнице Терезиного городка *случайно* было обнаружено тяжелое заболевание мозга, ради которого для срочной консультации был приглашен главный врач клиники, где работал Томаш. Но у главврача *случайно* оказался ишиас, он не мог двигаться и послал в провинциальную больницу вместо себя Томаша. В городе было пять гостиниц, но Томаш *случайно* напал именно на ту, где работала Тереза. *Случайно* до отхода поезда у него оставалось немного свободного времени, чтобы посидеть в ресторане. *Случайно* была Терезина смена, и она *случайно* обслуживала стол, за которым сидел он. Потребовалось шесть случай-

ностей, чтобы они подтолкнули Томаша к Терезе, словно его самого к ней не тянуло.

Он вернулся в Чехию из-за нее. Столь роковое решение опиралось на любовь столь случайную, какой и вовсе могло не быть, не уложи ишиас семь лет назад его шефа в постель. И эта женщина, это олицетворение абсолютной случайности, лежит теперь рядом с ним и глубоко дышит во сне.

Была уже поздняя ночь. Он почувствовал, что начинаются боли в желудке, как часто случалось у него в минуты душевной подавленности.

Ее дыхание раз-другой перешло в легкое похрапывание. Томаш не ощущал в себе никакого сочувствия. Единственными ощущениями были тяжесть в желудке и отчаяние, что он вернулся.

Часть вторая

ДУША И ТЕЛО

1

Было бы глупо пытаться автору убедить читателя, что его герои жили на самом деле. Они родились вовсе не из утробы матери, а из одной-двух впечатляющих фраз или из одной решающей ситуации. Томаш родился из фразы: Einmal ist keinmal. Тереза из урчания в животе.

Когда она впервые вошла к Томашу в квартиру, у нее вдруг заурчало в животе. И неудивительно: она не обедала, не ужинала, лишь утром на вокзале, прежде чем сесть в поезд, съела бутерброд. Она вся была сосредоточена на своей дерзкой поездке, а про еду и не вспомнила. Но кто не думает о своем теле, тот еще скорее становится его жертвой. Было ужасно стоять перед Томашем и слышать, как громко разговаривают ее внутренности. Ей хотелось плакать. К счастью, Томаш сразу же обнял ее, и она смогла забыть о голосах желудка.

2

Итак, Тереза родилась из ситуации, которая брутально обнажает непримиримую двойственность тела и души, этот основной человеческий опыт.

Когда-то, в давние времена, человек с удивлением прислушивался, как в груди раздается звук размеренных ударов, и не понимал, что это. Он не мог отождествлять себя с чем-то столь чуждым и неведомым, каким представлялось тело. Тело было клеткой, а внутри нее находилось нечто, что смотрело, слушало, боялось, думало и удивлялось; этим нечто, оставшимся за вычетом тела, была душа.

Во времена нынешние тело, конечно, вещь изведанная; мы знаем: то, что стучит в груди,— это сердце, а нос — оконечность трубки, которая выступает из тела, дабы подавать кислород в легкие. Лицо не что иное, как некая приборная панель, куда выводятся все механизмы тела, то бишь пищеварение, зрение, слух, дыхание, мышление.

С тех пор как человек на своем теле может всему дать название, оно тревожит его куда меньше. Мы знаем и то, что душа не что иное, как деятельность серого вещества мозга. Двойственность тела и души окуталась научными терминами, и ныне мы можем весело смеяться над ней, как над старомодным предрассудком.

Но достаточно человеку, влюбленному до безумия, услышать урчанье своих кишок, как единство тела и души, эта лирическая иллюзия века науки, тотчас разрушается.

3

Она стремилась сквозь свое тело увидеть себя. Поэтому так часто останавливалась перед зеркалом. А поскольку боялась, чтобы при этом ее не застигла мать, каждый любопытный взгляд в зеркало носил характер тайного порока.

К зеркалу влекло ее не тщеславие, а удивление тому, что она видит свое «я». Она забывала, что смотрит на приборную панель телесных механизмов. Ей казалось, что она видит свою душу, которая позволяет ей познать себя в чертах лица. Она забывала, что нос — это всего лишь оконечность трубочки для подачи воздуха в легкие. Она видела в нем верное отображение своего характера.

Она смотрела на себя долго и подчас огорчалась, видя на своем лице черты матери. Но тем настойчивее она смотрела на себя и старалась усилием воли отвлечься от материнского облика, вычеркнуть его начисто, дабы в ее лице оставалось лишь то, что представляло ее самое. Когда ей это удавалось, наступала минута опьянения: душа выступала на поверхность тела, как если бы войско, вырвавшись из трюма, заполонило всю палубу, замахало руками небу и ликующе запело.

4

Она не только была физически похожа на мать, но, как мне порой кажется, и жизнь ее была лишь продолжением жизни матери, примерно так, как бег шара на бильярде есть лишь продолжение движения руки игрока.

Где и когда началось это движение, которое позднее превратилось в жизнь Терезы?

Пожалуй, еще в то время, когда Терезин дедушка, пражский торговец, стал во всеуслышанье благоговеть перед красотой своей дочери, Терезиной матери. Было ей тогда года три или четыре, и он любил разглагольствовать о том, как она похожа на образ Рафаэлевой мадонны. Четырехлетняя Терезина мать отлично это усвоила, и позже, сидя в гимназии за партой, вместо того чтобы слушать учителя, думала о том, на какие образы она похожа.

Когда пришло время выходить замуж, у нее объявилось девять претендентов. Все они коленопреклоненно толпились вокруг нее, а она стояла посредине, словно принцесса, и не знала, кого предпочесть: один был красивее, другой остроумнее, третий богаче, четвертый спортивнее, пятый из лучшей семьи, шестой читал стихи, седьмой исколесил весь мир, восьмой играл на скрипке, а девятый был изо всех самый мужественный. Но все они равно стояли перед ней на коленях и равно натерли на них мозоли.

И если в конце концов она выбрала девятого, то вовсе не потому, что он был мужественнее всех, а потому, что когда она шептала ему на ухо в минуты страсти «будь осторожен, будь очень осторожен!», он умышленно не осторожничал, и ей пришлось поспешно выйти за него замуж, ибо вовремя не удалось найти доктора, который сделал бы ей аборт. Так родилась Тереза. Бесчисленная родня съехалась со всех концов страны и, склонясь над коляской, сюсюкала. Терезина мать не сюсюкала. Молчала. Думала об остальных восьмерых поклонниках, и все они казались ей лучше, чем этот девятый.

Она так же, как и ее дочь, любила смотреться в зеркало. В один прекрасный день она обнаружила, что вокруг глаз полно морщин, и сказала себе, что ее брак — сущая нелепица. Она встретила немужественного мужчину, у которого в прошлом было несколько растрат и два расторгнутых брака. Она ненавидела любовников, у которых на коленях были мозоли. Ей непреодолимо хотелось преклонить колени самой. Она упала на колени перед растратчиком и покинула мужа и Терезу.

И неожиданно самый мужественный мужчина сделался самым грустным. Он сделался таким грустным, что ему все стало трын-трава. Он везде и всюду говорил громко все, что думает, и коммунистическая полиция, огорошенная его бредовыми сентенциями, арестовала его, судила и надолго упекла за решетку. Квартиру опечатали, а Терезу отослали к матери.

Самый грустный мужчина вскоре в заключении умер, и мать с растратчиком и Терезой поселилась в маленькой квартирке в подгорном местечке. Терезин отчим служил в конторе, мать была продавщицей в магазине. Родила еще троих. Потом снова поглядела на себя в зеркало и обнаружила, что стала стара и уродлива.

5

Когда она заключила, что все потеряно, то начала искать виноватого. Виноваты были все: виноват был первый супруг, мужественный и нелюбимый, который не послушал ее, когда она шептала ему на ухо, чтобы был он осторожен; виноват был второй супруг, немужественный и любимый, который уволок ее из Праги в маленький городишко и гонялся за каждой юбкой, обрекая ее на невылазную ревность. Против обоих мужей она была бессильна. Единственный человек, который безраздельно принадлежал ей и не мог увильнуть от нее, заложница, вынужденная расплачиваться за всех остальных, была Тереза.

Впрочем, возможно, именно она и вправду была повинна в судьбе матери. Она, то есть та абсурдная встреча спермы самого мужественного с яйцеклеткой самой красивой. В ту роковую секунду, имя которой Тереза, стартовала в беге на длинную дистанцию исковерканная жизнь матери.

Мать не уставая объясняла Терезе, что быть матерью — значит всем жертвовать. Ее слова звучали убедительно, ибо за ними стоял опыт женщины, утратившей все ради своего ребенка. Тереза слушала и верила, что самая большая ценность в жизни — материнство и что оно при этом — великая жертва. Если материнство — воплощенная Жертва, тогда удел дочери — олицетворять Вину, которую никогда нельзя искупить.

6

Тереза, конечно, не знала истории ночи, когда мать шептала на ухо ее отцу, чтобы он был осторожен. Провинность, которую она ощущала, была неясной, сродни первородному греху. Она делала все, чтобы его искупить. Мать забрала ее из гимназии, и она с пятнадцати лет пошла в официантки, отдавая в дом весь свой заработок. Она была готова работать в поте лица, лишь бы заслужить материнскую любовь. Хлопотала по хозяйству, ухаживала за маленькими, все воскресенья убирала и стирала. Обидно было: в гимназии она была самой способной среди одноклассников. Она стремилась куда-то выше, но в этом маленьком городишке никакого «выше» для нее не было. Тереза стирала белье, а возле ванной всегда лежала книжка. Она переворачивала страницы, и на книгу падали капли воды.

В доме не существовало стыда. Мать ходила по квартире в одном белье, подчас без лифчика, а в летнюю пору и вовсе голая. Отчим голым не ходил, зато всегда лез в ванную, когда там купалась Тереза. Однажды она из-за этого заперлась в ванной, и мать закатила скандал: «Ты кого из себя корчишь? За кого ты себя считаешь? Думаешь, он откусит твою красоту?»

(Такие стычки наглядно показывают, что ненависть матери к дочери была сильнее, чем ее ревность к мужу. Вина дочери была бесконечна и вбирала в себя даже мужнины измены. Стремление дочери быть самостоятельной и настаивать на каких-то своих правах — хотя бы на праве запираться в ванной — было для матери более недопустимым, чем предположительный интерес мужа к ней.)

Однажды зимой мать расхаживала голая при зажженной лампе. Тереза торопливо бросилась задергивать шторы, чтобы мать не увидели из дома напротив. За спиной она услышала ее смех. На другой день к матери пришли приятельницы: соседка, сослуживица по магазину, местная учительница и еще две-три женщины, которые по обыкновению регулярно встречались. Тереза вместе с шестнадцатилетним сыном одной из женщин вошла ненадолго к ним в комнату. Мать, воспользовавшись этим, стала рассказывать, как вчера дочь пыталась сберечь ее благопристойность. Она смеялась, и женщины смеялись вместе с ней. Затем мать сказала: «Тереза не хочет смириться с тем, что человеческое тело писает и пукает». Тереза покрылась краской, а мать добавила: «Что в этом такого плохого?» — и сама тут же ответила на свой вопрос: громко выпустила ветры. Все женщины засмеялись.

7

Мать громко сморкается, во всеуслышание рассказывает о своей сексуальной жизни, демонстрирует свой зубной протез. Осклабившись в широкой улыбке, она с поразительной ловкостью умеет поддеть его языком так, что верхняя челюсть падает на нижние зубы и ее лицо внезапно принимает чудовищное выражение.

Ее поведение не что иное, как единый ожесточенный жест, которым она отбрасывает свою красоту и молодость. В пору, когда девять поклонников стояли на коленях вокруг нее, она тщательно оберегала свою наготу. Словно бы мерой стыда хотела выразить меру цены, какую имеет ее тело. И если теперь ничего не стыдится, то делает это нарочито нагло, словно своим бесстыдством хочет торжественно подвести под жизнью черту и выкрикнуть, что молодость и красота, которые она так высоко ставила, на самом деле не стоят ломаного гроша.

Мне кажется, что Тереза и есть продолжение этого жеста, которым мать отбросила далеко назад свою жизнь красавицы.

(И если у самой Терезы нервозные движения, недостаточная плавность жестов, вряд ли можно тому удивляться: этот великий материнский жест, дикий и самоуничтожающий, остался в Терезе, стал Терезой!)

8

Мать требует к себе справедливости и хочет, чтобы виноватый был наказан. Поэтому она настаивает на том, чтобы дочь осталась с ней в мире бесстыдства, где молодость и красота ничего не стоят, где весь мир не что иное, как один огромный концентрационный лагерь тел, похожих одно на другое, а души в них неразличимы.

Теперь нам может быть понятнее смысл тайного Терезиного порока, ее частых и долгих взглядов, бросаемых на себя в зеркало. Это борьба с матерью. Это была мечта не быть телом, похожим на другие тела, а увидеть на поверхности собственного лица войско души, вырвавшееся из трюма на палубу. Нелегко было: Терезина душа, печальная, несмелая, забитая, была спрятана в глубине ее нутра и стеснялась выйти наружу.

Так было именно в тот день, когда она впервые встретила Томаша. Она пробиралась между выпивохами в своем ресторане, тело сгибалось под тяжестью пивных кружек, которые она несла на подносе, а душа была где-то в самом желудке или в поджелудочной железе. И именно тогда Томаш обратился к ней. Это обращение было многозначительным, ибо исходило от того, кто не знал ни ее матери, ни всех этих выпивох, ежедневно бросавших по ее адресу затертые, скабрезные фразочки. Положение человека заезжего возвышало его над остальными.

И еще кое-что возвышало его: на столе перед ним лежала открытая книга. В этом кабаке еще никто никогда не открывал книги. Книга была для Терезы опознавательным знаком тайного братства. Против окружавшего ее мира грубости у нее было лишь единственное оружие: книги, которые она брала в городской библиотеке; особенно романы: она прочитала их уйму — от Филдинга до Томаса Манна. Они давали ей возможность иллюзорного бегства из жизни, неустраивавшей ее, а кроме того, имели для нее значение и некой вещи: она любила, держа книгу под мышкой, прохаживаться по улице. Книги обрели для нее то же значение, что и элегантная трость для денди минувшего века. Они отличали ее от других.

(Сравнение книги с элегантной тростью денди не совсем точно. Трость денди не только отличала его, но и делала современным, модным. Книга отличала Терезу, но делала ее старомодной. Она, конечно, была слишком молода, чтобы осознавать эту свою старомодность. Молодые люди, которые проходили мимо нее с галдящими транзисторами в руке, казались ей тупыми. От нее ускользала их современность.)

Тот, кто обратился к Терезе, был одновременно и посторонним, и чле-

ном общего тайного братства. Он обратился к ней приветливым голосом, и она почувствовала, как ее душа пробивается на поверхность всеми жилами и порами, чтобы показаться ему.

9

Когда Томаш вернулся из Цюриха, ему стало не по себе от мысли, что его встреча с Терезой была порождена шестью неправдоподобными случайностями.

Но не становится ли событие тем значительнее и исключительнее, чем большее число случайностей приводит к нему?

Лишь случайность может предстать перед нами как послание. Все, что происходит по необходимости, что ожидаемо, что повторяется всякий день, то немо. Лишь случайность о чем-то говорит нам. Мы стремимся прочесть ее, как читают цыганки по узорам, начертанным кофейной гущей на дне чашки.

Томаш явился Терезе в ресторане как абсолютная случайность. Он сидел за столом, глядя в открытую книгу. Потом вдруг поднял глаза на Терезу, улыбнулся и сказал: «Рюмку коньяка».

В то время звучала по радио музыка. Тереза, подойдя к стойке за коньяком, повернула рычажок приемника, и музыка зазвучала еще громче. Она узнала Бетховена. Она знала его с тех пор, как в их городе побывал квартет из Праги. Тереза (как известно, мечтавшая о чем-то «высшем») пошла на концерт. Зал пустовал. Кроме нее, в нем был лишь местный аптекарь с женой. На сцене, выходит, был квартет музыкантов, а в зале — трио слушателей, однако музыканты оказались столь любезны, что не отменили концерта и играли весь вечер только для них последние три Бетховенских квартета.

Затем аптекарь пригласил музыкантов на ужин, а вместе с ними и незнакомую слушательницу. С тех пор Бетховен стал для нее символом запредельного мира, мира, о котором она страстно мечтала. И теперь, неся от стойки коньяк для Томаша, она пыталась прозреть в эту случайность: возможно ли, что именно сейчас, когда она несет коньяк незнакомцу, который нравится ей, звучит музыка Бетховена?

Да, именно случайность полна волшебства, необходимости оно неведомо. Ежели любви суждено стать незабываемой, с первой же минуты к ней должны слетаться случайности, как слетались птицы на плечи Франциска Ассизского.

10

Он подозвал ее, чтобы расплатиться. Закрыл книгу (опознавательный знак тайного братства), и ей захотелось спросить его, что он читает.

— Вы могли бы вписать это в счет моего номера? — спросил он.

— Конечно,— сказала она.— Какой у вас номер?

Он показал ей ключ, к которому была привязана деревянная дощечка с нарисованной на ней красной шестеркой.

— Странно,— сказала она,— шестой номер.

— Что же в этом странного? — спросил он.

Она вдруг вспомнила, что пока жила в Праге у все еще не разведенных родителей, их дом был под номером «шесть». Но вслух сказала она нечто другое (и мы можем оценить ее лукавство):

— У вас шестой номер, а у меня работа как раз в шесть кончается.

— А у меня в семь отходит поезд,— сказал незнакомец.

Не зная, что сказать еще, она подала ему счет, чтобы он расписался на нем, и отнесла его в бюро обслуживания. Когда она кончила работу, незнакомец уже не сидел за своим столиком. Понял ли он ее деликатный призыв? Из ресторана выходила она взволнованная.

Напротив гостиницы был небольшой редкий парк, таким жалким бывает только парк в грязном маленьком городке, но для Терезы он всегда

представлял собою островок красоты: газон, четыре тополя, скамейки, плакучая ива и кусты форзиции.

Он сидел на желтой скамейке, откуда был виден вход в ресторан. Именно на этой скамейке она сидела вчера с книгой на коленях! В ту минуту она уже знала (птицы случайностей слетелись ей на плечи), что этот незнакомец предназначен ей судьбой. Он окликнул ее, пригласил присесть рядом. (Войско ее души вырвалось на палубу тела.) Затем она проводила его на вокзал, и на прощание он дал ей свою визитную карточку с номером телефона.— Если вдруг когда-нибудь приедете в Прагу...

11

Гораздо больше, чем визитная карточка, которую он сунул ей в последнюю минуту, значил для нее знак случайностей (книга, Бетховен, число «шесть», желтая скамейка в парке), придавший ей мужества уйти из дому и изменить свою судьбу. Возможно, именно эти несколько случайностей (кстати сказать, совсем скромных, серых, поистине достойных этого захолустного городка) привели в движение ее любовь и стали источником энергии, которую она не исчерпает до конца дней.

Наша каждодневная жизнь подвергается обстрелу случайностями, точнее сказать, случайными встречами людей и событий, называемыми совпадениями. «Со-впадение» означает, что два неожиданных события происходят в одно и то же время, что они сталкиваются: Томаш появляется в ресторане и в то же время звучит музыка Бетховена. Огромное множество таких совпадений человек не замечает вовсе. Если бы в ресторане за столом вместо Томаша сидел местный мясник, Тереза не осознала бы, что по радио звучит Бетховен (хотя встреча Бетховена и мясника тоже любопытное совпадение). Зарождающаяся любовь, однако, обострила в ней чувство красоты, и этой музыки она уже никогда не забудет. Всякий раз, когда услышит ее, она растрогается. Все, что будет происходить в эту минуту вокруг нее, озарится этой музыкой и станет прекрасным.

В начале того романа, который Тереза держала под мышкой, когда пришла к Томашу, Анна встречается с Вронским при странных обстоятельствах. Она на перроне, где только что кто-то попал под поезд. В конце романа бросается под поезд Анна. Эта симметрическая композиция, в которой возникает одинаковый мотив в начале и в конце романа, может вам показаться слишком «романной». Да, могу согласиться, однако при условии, что слово «романный» вы будете понимать отнюдь не как «выдуманный», «искусственный», «непохожий на жизнь». Ибо именно так и компонуются человеческие жизни.

Они скомпонованы так же, как музыкальное сочинение. Человек, ведомый чувством красоты, превращает случайное событие (музыку Бетховена, смерть на вокзале) в мотив, который навсегда останется в композиции его жизни. Он возвращается к нему, повторяет его, изменяет, развивает, как композитор — тему своей сонаты. Ведь могла же Анна покончить с собой каким-то иным способом! Но мотив вокзала и смерти, этот незабвенный мотив, связанный с рождением любви, притягивал ее своей мрачной красотой и в минуты отчаяния. Сам того не ведая, человек творит свою жизнь по законам красоты даже в пору самой глубокой безысходности.

Нельзя, следовательно, упрекать роман, что он заворожен тайными встречами случайностей (подобными встрече Вронского, Анны, вокзала и смерти или встрече Бетховена, Томаша, Терезы и коньяка), но можно справедливо упрекать человека, что в своей повседневной жизни он слеп к таким случайностям. Его жизнь тем самым утрачивает свое измерение красоты.

12

Побуждаемая птицами случайностей, что слетались ей на плечи, она, не сказав ни слова матери, взяла недельный отпуск и села в поезд. Раз за разом выходя в туалет, она смотрелась в зеркало и молила душу в этот реша-

ющий день ее жизни ни на миг не покидать палубу ее тела. В одно из таких посещений туалета она, разглядывая себя в зеркале, вдруг испугалась: почувствовала, что у нее першит в горле. Неужто в решающий день ее жизни ей суждено заболеть?

Но пути назад не было. Она позвонила ему с вокзала, и в ту минуту, когда он открыл ей дверь, у нее страшно заурчало в животе. Стало стыдно. Казалось, что в живот к ней забралась мать и хохочет там, чтобы испортить ей свидание с Томашем.

В первое мгновение она подумала, что из-за этих непристойных звуков он ее наверняка выгонит, но он обнял ее. В благодарность ему, что он не замечает урчания в ее животе, она целовала его так страстно, что туман застилал ей глаза. Не прошло и минуты, как они отдались друг другу. В соитии она кричала. У нее уже была температура. Начинался грипп. Устье трубочки, проводящей кислород в легкие, было забитым и красным.

Затем она приехала во второй раз с тяжелым чемоданом, куда уложила все свои пожитки, решившись никогда не возвращаться в маленький город. Он позвал ее к себе только на следующий вечер. Она провела ночь в дешевой гостинице, утром отнесла чемодан в камеру хранения на вокзале и целый день бродила по Праге с «Анной Карениной» под мышкой. Вечером она позвонила, он открыл дверь, но она все еще не выпускала книгу из рук, словно это был входной билет в мир Томаша. Она сознавала, что кроме этого жалкого входного билета у нее нет ничего, и оттого ей хотелось плакать. Но она не плакала, была болтлива, говорила громко и смеялась. И вскоре он снова обнял ее, и они любили друг друга. Она погрузилась во мглу, в которой ничего не было видно, лишь слышен был ее крик.

13

Это были не вздохи, не стоны, это был поистине крик. Она кричала так, что Томаш отстранял голову от ее лица. Ему казалось, что голос, звучавший у самого его уха, повредит барабанные перепонки. Этот крик не был выражением чувственности. Чувственность — это максимальная мобилизация сознания; человек напряженно следит за своим партнером, стараясь уловить каждый его звук. Ее крик, напротив, имел целью оглушить сознание, помешать ему что-либо видеть и слышать. Это кричал сам наивный идеализм ее любви, стремившейся разрушить все противоположности, разрушить двойственность тела и души и, пожалуй, разрушить само время.

Закрыты ли были ее глаза? Нет, но она никуда не смотрела, вперившись взглядом в пустоту потолка. По временам она резко, из стороны в сторону, поводила головой.

Когда крик затих, она уснула рядом с Томашем и всю ночь держала его за руку.

Еще когда ей было восемь лет, она засыпала, сжимая одну руку другой и представляя себе, что держит мужчину, которого любит, мужчину своей жизни. И если она сжимала во сне руку Томаша с таким упорством, мы можем понять почему: тренируясь с детства, она готовила себя к этому.

14

Девушка, мечтающая приобщиться к «чему-то высокому», но вынужденная меж тем разносить пьянчугам пиво и по воскресеньям стирать грязное белье материнских отпрысков, накапливает в себе великий запас жизнеспособности, какая и не снится тем, кто учится в университетах и зевает над книгами. Тереза прочла куда больше их и знала о жизни куда больше их, но она никогда так и не поймет этого. То, что отличает человека учившегося от самоучки, измеряется не знаниями, а иной степенью жизнеспособности и самосознания. Вдохновение, с каким Тереза окунулась в пражскую жизнь, было одновременно неистовым и зыбким. Она словно ждала, что в один прекрасный день кто-то скажет ей: «Тебе здесь не место!

Вернись, откуда пришла!» Вся ее тяга к жизни висела на единственном волоске: на голосе Томаша, который когда-то вызвал наружу ее душу, пугливо затаившуюся в ее нутре.

Тереза получила место в фотолаборатории, но ей было недостаточно этого. Хотелось фотографировать самой. Приятельница Томаша Сабина дала Терезе три-четыре монографии знаменитых фотографов, встретилась с нею в кафе и по открытым книгам взялась объяснять ей, чем эти фотографии особенно примечательны. Тереза слушала ее с молчаливой сосредоточенностью, какую редко видит учитель на лицах своих учеников.

Поняв с помощью Сабины родственность фотографии и живописи, она стала заставлять Томаша посещать с нею все выставки, устраиваемые в Праге. Вскоре ей удалось напечатать в иллюстрированном еженедельнике собственные фотографии, и она, покинув наконец лабораторию, перешла в цех профессиональных фотографов.

В тот же вечер они пошли с друзьями в бар отметить ее повышение. Танцевали. Томаш впал в уныние и лишь дома, по ее настоянию, признался, что произошло: он приревновал ее, видя, как она танцует с его коллегой.

— В самом деле, ты ревновал меня? — спросила она его раз десять, словно он сообщал, что ей присуждена Нобелевская премия, а она никак не могла в это поверить.

Потом она обняла его за талию и пустилась с ним танцевать. Но это не был тот современный танец, какой час назад она демонстрировала в баре. Это больше походило на деревенскую «скочну» с ее дурашливым подскакиванием: высоко вскидывая ноги, она делала неуклюжие длинные прыжки и волочила его взад-вперед по комнате.

К сожалению, вскоре она начала ревновать сама, и ее ревность была для Томаша отнюдь не Нобелевской премией, а тяжким бременем, от которого он избавился лишь незадолго до смерти.

15

Она маршировала вокруг бассейна голая вместе со множеством других голых женщин. Томаш стоял в корзине, подвешенной под сводом купальни, кричал на них и заставлял петь и делать приседания. Если какая-нибудь женщина неловко приседала, он убивал ее выстрелом из пистолета.

К этому сну я хочу вернуться еще раз. Его ужас начался не в ту минуту, когда Томаш сделал первый выстрел. Сон был ужасен изначала. Маршировать в строю голой для Терезы было самым основным образом ужаса. Когда она жила дома, мать запрещала ей запираться в ванной. Этим она как бы хотела сказать ей: твое тело такое же, как и остальные тела; у тебя нет никакого права на стыд; у тебя нет никакого повода прятать то, что существует в миллиардах одинаковых экземпляров. В материнском мире все тела были одинаковы, и они маршировали друг за другом в строю. Нагота для Терезы с детства была знамением непреложного единообразия концентрационного лагеря; знамением унижения.

И был еще один ужас в самом начале этого сна: все женщины должны были петь! Мало того, что их тела были одинаковы, одинаково не представляющими никакой ценности, мало того, что они были простыми звучащими механизмами без души, но женщины еще тому радовались! Это была радостная солидарность бездушных! Женщины были счастливы тем, что отбросили бремя души, эту смешную гордыню, иллюзию исключительности, и что теперь они подобны друг другу. Тереза пела вместе с ними, но не радовалась. Она пела, потому что боялась: если не будет петь, женщины убьют ее.

Но какой смысл был в том, что Томаш стрелял в них и они, одна за другой, падали мертвые в бассейн?

Женщины, радующиеся своей одинаковости и неразличимости, празднуют, в сущности, свою грядущую смерть, которая сделает их сходство абсолютным. Таким образом, выстрел был лишь счастливой кульминацией

их макабрического похода. После каждого выстрела они начинали смеяться, и по мере того как труп опускался под гладь бассейна, их пение набирало силу.

А почему тот, кто стрелял, был именно Томаш? И почему он хотел застрелить со всеми вместе и Терезу?

Да потому что именно он послал Терезу к ним. Вот что должен сообщить Томашу сон, коли Тереза не может сказать ему это сама. Она пришла к нему, чтобы спастись от материнского мира, где все тела были одинаковы. Она пришла к нему, чтобы ее тело стало исключительным и незаменимым. А он сейчас снова поставил знак равенства между нею и другими: он целует всех одинаково, ласкает одинаково, не делает никакой, ну никакой разницы между телом Терезы и другими телами. Тем самым он послал ее обратно в мир, от которого она хотела спастись. Он послал ее маршировать голой с другими голыми женщинами.

16

Снились ей попеременно три сериала снов: первый, в котором бесновались кошки, рассказывал о ее страданиях в жизни; второй сериал в несчетных вариациях изображал картины ее казни; третий повествовал о ее посмертной жизни, где ее унижение стало вовек не кончающейся мукой.

В этих снах не было ничего, что нуждалось бы в расшифровке. Обвинение, которое они бросали Томашу, было таким очевидным, что ему оставалось лишь молчать и, склонив голову, гладить Терезу по руке.

Эти сны были не только многозначительны, но еще и красивы. Обстоятельство, ускользнувшее от Фрейда в его теории снов. Сон — не только сообщение (если хотите, сообщение зашифрованное), но и эстетическая активность, игра воображения, которая уже сама по себе представляет ценность. Сон есть доказательство того, что фантазия, сновидение о том, чего не произошло, относится к глубочайшим потребностям человека. Здесь корень коварной опасности сна. Не будь сон красивым, о нем можно было бы мигом забыть. Но Тереза к своим снам постоянно возвращалась, повторяла их мысленно, превращала в легенды. Томаш жил под гипнотическим волшебством мучительной красоты Терезиных снов.

— Тереза, Терезочка, куда ты от меня исчезаешь? Тебе ведь каждую ночь снится смерть, словно ты и вправду хочешь уйти...— говорил он ей, когда они сидели друг против друга в винном погребке.

Был день, разум и воля опять одерживали верх. Капля красного вина медленно стекала по стеклу бокала, и Тереза говорила: — Томаш, я не виновата. Я же все понимаю. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что эти измены... это совсем не трагедия...

Она смотрела на него с любовью, но боялась ночи, которая наступит, боялась своих снов. Жизнь раздвоилась. За нее боролись ночь и день.

17

Тот, кто постоянно устремлен «куда-то выше», должен считаться с тем, что однажды у него закружится голова. Что же такое головокружение? Страх падения? Но почему у нас кружится голова и на обзорной башне, обнесенной защитным парапетом? Нет, головокружение нечто иное, чем страх падения. Головокружение — это глубокая пустота под нами, что влечет, манит, пробуждает в нас тягу к падению, которому мы в ужасе сопротивляемся.

Марширующие голые женщины вокруг бассейна, трупы на катафалке, счастливые тем, что Тереза мертва, как и они, все это было то самое «внизу», которого она страшилась, откуда уже однажды сбежала, но которое таинственным образом влекло ее к себе. Это было ее головокружение: ее звало к себе сладостное (почти веселое) отречение от судьбы и души, ее звала к себе солидарность бездушных. И в минуты слабости ей хотелось покориться этому зову и вернуться к матери. Хотелось отозвать войско

души с палубы тела; сесть среди подруг матери и смеяться тому, что одна из них громко выпустила газы; маршировать с ними голой вокруг бассейна и петь.

18

Да, в самом деле, Тереза воевала с матерью вплоть до ухода из дому, но нельзя забывать, что при этом мучительно любила ее. Она готова была сделать для матери все что угодно, стоило той лишь попросить ее голосом любви. И только потому, что этого голоса она ни разу так и не услышала, она нашла в себе силы уйти.

Когда мать поняла, что ее агрессивность утратила над дочерью власть, она принялась писать ей в Прагу письма, полные жалоб. Она сетовала на мужа, на работодателя, на здоровье, на детей и называла Терезу единственным человеком, который есть у нее в жизни. Терезе казалось, что она наконец слышит голос материнской любви, о которой мечтала двадцать лет, и ей захотелось домой. Хотелось домой тем больше, что она чувствовала себя слабой. Измены Томаша вдруг открыли ей ее беспомощность, и из ощущения незащищенности родилось головокружение, беспредельная тяга к падению.

Однажды мать позвонила ей. Сказала, что у нее рак и что жить ей осталось не более нескольких месяцев. Это известие обратило Терезино отчаяние из-за измен Томаша в бунтарство, и она стала упрекать себя, что предала мать ради человека, который не любит ее. Она была готова забыть обо всем, чем когда-то мать досаждала ей. Теперь она могла понять ее. Ведь они обе в одинаковом положении: мать любит отчима, как Тереза любит Томаша, и отчим мучит мать изменами так же, как Томаш мучит Терезу. Если мать и была жестока с Терезой, то лишь потому, что слишком страдала.

Томаш, словно почувствовав, что к матери притягивает ее не что иное, как головокружение, воспротивился ее поездке. Позвонил в больницу этого маленького городка. Учет онкологических обследований проводился в Чехии весьма тщательно, и потому он легко смог установить, что у Терезиной матери не было обнаружено никаких признаков рака и что за последний год она вообще ни разу не обращалась к врачу.

Тереза, послушавшись Томаша, не поехала к матери. Но несколько часов спустя после этого решения она упала на улице и повредила себе колено. Ее походка стала шаткой, что ни день она где-то падала, обо что-то ушибалась или по меньшей мере роняла какую-то вещь, которую держала в руках.

У нее была непреодолимая тяга к падению. Она жила в состоянии постоянного головокружения.

Тот, кто падает, говорит: «Подними меня!» И Томаш терпеливо ее поднимал.

19

«Я хотела бы любить тебя в своей мастерской, словно это сцена. Вокруг стояли бы люди, не смея приблизиться ни на шаг. Но и глаз они не могли б от нас оторвать...»

По мере того как время шло, этот образ утрачивал свою первоначальную жестокость и стал ее возбуждать. Не раз она шепотом рисовала его в подробностях Томашу, когда они отдавались любви.

Ей вдруг пришло в голову, что существует способ, как можно избежать приговора, который виделся ей в изменах Томаша: пусть берет ее с собой! пусть берет ее к своим любовницам! Наверное, таким способом можно было бы ее тело снова сделать первым и единственным изо всех. Ее тело стало бы его alter ego, его помощником, ассистентом.

«Я буду их раздевать для тебя, потом выкупаю в ванне и приведу к тебе...» — шептала она ему, когда они приникали друг к другу. Она

мечтала срастись с ним в одно двуполое существо, и тогда тела других женщин стали бы их общей игрушкой.

20

Стать alter ego его полигамной жизни. Томаш не хочет ее понять, но она не в силах избавиться от этого наваждения. Стремясь сблизиться с Сабиной, она предложила ей сделать ее фотографии.

Сабина позвала ее в мастерскую, и она наконец увидала просторное помещение, посреди которого стояла широкая квадратная тахта, словно подмостки.

— Ужасно, что ты у меня еще не была,— говорила Сабина, показывая ей картины, прислоненные к стене. Она откуда-то вытащила даже старый холст, на котором была изображена стройка металлургического завода. Она писала его в ученические годы, когда в Академии требовали самого точного реализма (нереалистическое искусство, считалось тогда, подрывает устои социализма), и Сабина, увлеченная спортивным духом пари, стремилась быть еще строже своих учителей и писала картины так, что мазки кисти были на них совершенно невидимы, и они становились похожими на фотографии.

— Эту картину я испортила. Капнула на нее красной краской. Сперва я ужасно переживала, а потом пятно мне понравилось, оно походило на трещину. Словно стройка была не настоящей стройкой, а треснувшей театральной декорацией, на которой стройка всего лишь нарисована. Я начала играть с этой трещиной, расширять ее, придумывать, что можно было бы увидеть позади нее. Так я написала свой первый цикл картин, который назвала «Кулисы». Естественно, я никому их не показывала. Меня тотчас бы выгнали из Академии. На первом плане всегда был совершенно реалистический мир, а за ним, словно за разорванным полотном декорации, виднелось что-то другое, таинственное и абстрактное.— Она помолчала и добавила: — Впереди была понятная ложь, а позади непонятная правда.

Тереза слушала ее с той пристальной сосредоточенностью, какую редкий учитель когда-либо встречал на лицах своих учеников, и обнаруживала, что все Сабинины картины, прошлые и нынешние, в самом деле говорят об одном и том же, что все они представляют собой слияние двух тем, двух миров, что они будто фотографии, полученные путем двойной экспозиции. Пейзаж, за которым просвечивает настольная лампа. Рука, которая разрывает сзади полотно идиллического натюрморта с яблоками, орехами и зажженной рождественской елкой.

Тереза была восхищена Сабиной, а поскольку художница вела себя на удивление дружелюбно, это восхищение, свободное от страха или недоверия, превращалось в симпатию.

Она едва не забыла о том, что пришла ее фотографировать. Сабина сама напомнила об этом. Тереза оторвала глаза от картин и вновь увидела тахту, стоявшую посреди комнаты словно подмостки.

21

Возле тахты была тумбочка, и на ней подставка в форме человеческой головы. Точно такая бывает у парикмахеров, на которую они насаживают парики. На Сабининой подставке был не парик, котелок. Сабина улыбнулась: — Это котелок моего дедушки...

Такой котелок, черный, твердый, круглый, Тереза видела только в кино. Чаплин носил такой котелок. Она улыбнулась, взяла его в руки и долго рассматривала. Потом сказала: — Хочешь, я тебя в нем сфотографирую?

Сабина долго смеялась над этой идеей. Тереза отложила котелок, взяла аппарат и начала фотографировать.

По прошествии примерно часа она вдруг сказала:

— А хочешь, я сниму тебя голой?

— Голой? — улыбнулась Сабина.

— Вот именно, голой,— решительно подтвердила Тереза свое предложение.

— Для этого нам надо выпить,— сказала Сабина и открыла бутылку вина.

Тереза почувствовала, как по телу разливается слабость, и сделалась молчаливой, тогда как Сабина, напротив, ходила по комнате с рюмкой вина и рассказывала о дедушке, который был мэром небольшого городка; Сабина не знала его; единственное, что от него осталось — вот этот котелок и еще фотография: на трибуне стоит группа провинциальных сановников, один из которых ее дедушка; что они делают на этой трибуне — совершенно неясно; может, присутствуют на каком-нибудь торжестве, может, на открытии памятника какому-то своему собрату-сановнику, который тоже нашивал котелок по торжественным случаям.

Сабина долго рассказывала о котелке и о дедушке, а когда допила третью рюмку, сказала: — Подожди,— и ушла в ванную.

Вернулась в купальном халате. Тереза взяла фотоаппарат и поднесла его к глазу. Сабина распахнула перед ней халат.

22

Аппарат служил Терезе одновременно и механическим глазом, которым она разглядывала любовницу Томаша, и чем-то вроде вуали, под которой она скрывала от нее лицо.

Сабине потребовалось какое-то время, прежде чем она решилась сбросить халат полностью. Положение, в котором она оказалась, было все же более затруднительным, чем представлялось ей поначалу. После нескольких минут позирования она подошла к Терезе и сказала: — Теперь я буду тебя фотографировать. Разденься.

Слово «разденься» Сабина много раз слышала от Томаша, и оно врезалось ей в память. Это был приказ Томаша, который теперь Томашева любовница адресовала Томашевой жене. Этой магической фразой он соединил обеих женщин. Это был его способ, каким он внезапно переводил невинный разговор с женщинами в атмосферу эроса: отнюдь не поглаживанием, лестью, просьбами, а приказом, который он проговаривал вдруг, неожиданно, тихим голосом, однако настойчиво и властно, причем на определенном расстоянии: в эту минуту он никогда не касался женщины. Он и Терезе часто говорил точно таким же тоном «разденься!», и хотя говорил это тихо, подчас даже шепотом, это был приказ, и она всегда приходила в возбуждение от того, что покорно следует ему. Сейчас, когда она услышала то же слово, ее желание подчиниться стало, пожалуй, еще сильнее, ибо подчиниться кому-то чужому — это особое безумие, безумие в данном случае тем прекрасней, что приказ отдает не мужчина, а женщина.

Сабина взяла у нее аппарат, Тереза разделась. Она стояла перед Сабиной нагая и обезоруженная. В буквальном смысле *обезоруженная:* минутой раньше она не только закрывала аппаратом лицо, но и целилась им, словно оружием, в Сабину. Теперь она была отдана во власть любовницы Томаша. Эта прекрасная покорность опьяняла ее. Она мечтала, чтобы эти мгновения, когда она стояла голая против Сабины, длились вечно.

Думаю, что и Сабину вид стоявшей перед ней нагой жены ее любовника, удивительно покорной и застенчивой, овеял особыми чарами. Два-три раза она щелкнула спуском и, словно испугавшись этого очарования и желая быстро его отогнать, громко рассмеялась.

Тереза тоже засмеялась, и обе женщины оделись.

23

Все предшествующие преступления русской империи совершались под прикрытием тени молчания. Депортация полумиллиона литовцев, убийство сотен тысяч поляков, уничтожение крымских татар — все это сохранилось в памяти без фотодокументов, а следовательно, как нечто недоказуемое,

что рано или поздно будет объявлено мистификацией. В противоположность тому, вторжение в Чехословакию в 1968 году целиком отснято на фото- и кинопленку и хранится в архивах всего мира.

Чешские фотографы и кинооператоры прекрасно осознали, что именно они могут совершить то единственное, что можно еще совершить: сохранить для далекого будущего образ насилия. Тереза всю неделю была на улицах и фотографировала русских солдат и офицеров во всех компрометирующих их ситуациях. Русские не знали, что делать. Они получили точные указания, как вести себя в случае, если в них будут стрелять или бросать камни, но никто не дал им инструкций, что делать, если кто-то нацелит на них объектив аппарата.

Она отсняла уйму пленки. Пожалуй, половину раздала в непроявленных негативах зарубежным журналистам (границы все еще были открыты, приезжавшие из-за кордона репортеры были благодарны за любой материал). Многие фотографии появились в самых разных заграничных газетах: на них были танки, угрожающие кулаки, полуразрушенные здания, мертвые, прикрытые окровавленным красно-сине-белым знаменем, молодые люди на мотоциклах, с бешеной скоростью носящиеся вокруг танков и размахивающие национальными флагами на длинных древках, молодые девушки в невообразимо коротких юбках, возмущавшие спокойствие несчастных, изголодавшихся плотью русских солдат тем, что на глазах у них целовались с незнакомыми прохожими. Как я уже сказал, русское вторжение было не только трагедией, но и пиршеством ненависти, полным удивительной (и ни для кого теперь не объяснимой) эйфории.

24

В Швейцарию она увезла с собой фотографий пятьдесят, которые сама же и проявила со всем тщанием и умением, на какие была способна. Отправилась предложить их в большой иллюстрированный журнал. Редактор принял ее любезно (все чехи еще были окружены ореолом своего несчастья, трогавшего сердца добрых швейцарцев), усадил ее в кресло, просмотрел снимки, похвалил и объяснил ей, что сейчас, когда события уже отдалены определенным временем, нет никакой надежды («несмотря на то, что снимки превосходны!») на их публикацию.

— Но в Праге еще ничего не кончилось! — возразила она и попыталась на плохом немецком объяснить ему, что именно сейчас, когда страна оккупирована, на фабриках, вопреки всему, организуются органы самоуправления, студенты бастуют, требуя вывода русских войск, и вся страна продолжает жить своей жизнью. Именно это и потрясает! А здесь это уже никого не волнует!

Редактор обрадовался, когда в комнату вошла энергичная женщина и прервала их разговор. Она протянула ему папку и сказала: — Репортаж о нудистском пляже.

Будучи человеком тонким, редактор испугался, как бы чешка, фотографировавшая танки, не сочла вид голых людей на пляже слишком фривольным. Поэтому он отодвинул папку достаточно далеко, на край стола, и не мешкая сказал вошедшей женщине: — Хочу представить тебе твою пражскую коллегу. Она принесла превосходные снимки.

Женщина пожала Терезе руку и взяла ее снимки.

— А вы покамест посмотрите мои,— сказала она.

Тереза протянула руку к папке и вытащила из нее фотографии.

— Это прямая противоположность тому, что фотографировали вы,— сказал редактор Терезе едва ли не извиняющимся тоном.

Тереза возразила: — Ну что вы! Это одно и то же.

Никто этой фразы не понял, да и мне совсем нелегко объяснить, что, в сущности, хотела сказать Тереза, приравняв нудистский пляж к русскому вторжению. Просматривая фотографии, она особенно долго задержалась на одной, на которой была изображена семья из четырех человек, стоявших в кружок: голая мать, склонившаяся к детям так, что большие соски свисали

у нее вниз, точно у козы или коровы, а с другой стороны в такой же склоненной позе мужчина, чья мошонка также напоминала миниатюрное вымя.

— Вам не нравится? — спросил редактор.

— Отлично сфотографировано.

— Тема вас, вероятно, шокирует,— сказала фотограф.— По вас сразу видно, что на нудистский пляж вы не пошли бы.

— Нет, конечно,— сказала Тереза.

Редактор улыбнулся: — Что ж, нетрудно догадаться, откуда вы приехали. Коммунистические страны ужасно пуританские.

— Голые тела, что тут особенного! — сказала фотограф с материнской мягкостью.— Нормально. А все, что нормально, красиво!

Тереза вспомнила мать, ходившую голой по квартире. И явственно услышала смех, который раздавался за ее спиной, когда она бежала задернуть шторы, чтобы голую мать не увидели из дома напротив.

25

Фотограф позвала Терезу на чашку кофе в буфет.

— Сделанные вами снимки весьма любопытны. Замечу, что вы обладаете особым чутьем женского тела. Вы понимаете, что я имею в виду? Тех девушек в вызывающих позах!

— Тех, что целуются перед русскими танками?

— Совершенно точно. Вы могли бы стать первоклассным фотографом в области моды. Для этого вам, разумеется, надо объединиться с манекенщицей. Скорее всего с такой, что тоже подыскивает работу. Вы могли бы сделать пробные фотографии для какой-нибудь фирмы. Конечно, потребуется время, чтобы пробиться. А пока я могу оказать вам одну услугу. Познакомить вас с редактором, который ведет рубрику «Наш сад». Возможно, им нужны фото кактусов, роз и всего такого прочего.

— Большое спасибо,— искренне сказала Тереза, чувствуя, что женщина, сидящая напротив, полна желания помочь ей.

Но тут же подумала: с какой стати ей фотографировать кактусы? В самом деле, она вовсе не хочет повторить то, с чем уже однажды столкнулась в Праге: с борьбой за место, за карьеру, за каждую напечатанную фотографию. Она никогда не была честолюбива из гордости. Она просто хотела спастись от мира матери. Да, для нее это было ясно как день: она делала фотографии с великим старанием, но все свое старание она могла бы приложить к любому другому занятию, поскольку фотография была лишь средством прорваться «дальше и выше» и жить рядом с Томашем.

Она сказала: — Видите ли, мой муж врач и обеспечивает меня. Мне не обязательно заниматься фотографией.

Фотограф сказала: — Не понимаю, как вы можете бросить фотографию, делая такие превосходные снимки?

Конечно, фотография в дни вторжения — это было совсем другое. Эти снимки она делала не ради Томаша. Она делала их из одержимости. Причем не из одержимости фотографией, а из одержимости ненавистью. Но такая ситуация уже никогда не повторится. Впрочем, снимки, что она делала из одержимости, уже никому не нужны, ибо они не актуальны. Лишь кактусы — неизменно актуальная тема. Но кактусы не интересуют ее.

Она сказала: — Вы очень добры ко мне. Но лучше я останусь дома. Мне не обязательно работать.

Фотограф сказала: — И вас бы устроило сидеть дома?

Тереза сказала: — Пожалуй, больше, чем фотографировать кактусы.

Фотограф сказала: — Даже если вы фотографируете кактусы — это *ваша* жизнь. Если же вы живете только ради мужа — это *не ваша* жизнь.

Тереза сказала с неожиданным раздражением: — Моя жизнь — это мой муж, а не кактусы.

Фотограф — тоже с раздражением: — Уж не хотите ли вы заверить меня, что вы счастливы?

Тереза сказала (с таким же раздражением): — Конечно, я счастлива!

Фотограф сказала: — Это может утверждать разве что очень...— Она не договорила, о чем подумала.

Тереза закончила ее мысль: — Вы хотите сказать: очень ограниченная женщина.

Фотограф овладела собой и сказала: — Нет, не ограниченная. Старомодная.

Тереза в задумчивости сказала: — Да, вы правы. То же самое говорит обо мне мой муж.

26

Но Томаш целые дни проводил в больнице, а она оставалась дома одна. Хорошо еще, был Каренин, и она могла с ним подолгу гулять! Возвращаясь домой, она садилась за учебники немецкого и французского. Но ей бывало грустно, и она с трудом сосредоточивалась. Часто вспоминалась речь Дубчека, с которой он выступал по радио после своего возвращения из Москвы. Она едва помнила, о чем он говорил, но до сих пор в ушах стоял его прерывистый голос. И она думала: чужие солдаты арестовали его, главу самостоятельного государства, в его собственной стране, уволокли его и держали четыре дня где-то в Карпатах, намекая ему, что его постигнет та же участь, что и его венгерского предшественника Имре Надя двенадцать лет назад. Затем перевезли в Москву, велели выкупаться, побриться, одеться, завязать галстук и сообщили, что казнить его уже не собираются и он может продолжать считать себя главой государства. Его посадили за стол против Брежнева и заставили вести с ним переговоры.

Вернулся он униженным и обратился к униженному народу. Он был так унижен, что не мог говорить. Тереза никогда не забудет те ужасные паузы между фразами. Был ли он изнурен? Болен? Его накачали наркотиками? Или это было просто отчаяние? Даже если после Дубчека ничего не останется, эти долгие паузы, когда он не мог дышать, когда перед всем народом, приникшим к радиоприемникам, ловил ртом воздух, эти паузы останутся после него навсегда. В этих паузах был весь ужас, обрушившийся на их страну.

Шел седьмой день оккупации: она слушала его выступление в редакции одной газеты, превратившейся тогда в орган сопротивления. Все, кто слушал там Дубчека, в ту минуту его ненавидели. Не могли простить ему компромисс, который он допустил; они чувствовали себя униженными его унижением, и его слабость их оскорбляла.

Вспоминая об этой минуте сейчас в Цюрихе, она уже не испытывала к Дубчеку презрения. Слово «слабость» уже не звучит для нее приговором. Когда человек сталкивается с превосходящей силой, он всегда слаб, даже если он такого атлетического сложения, как Дубчек. Та слабость, что казалась тогда им невыносимой, отвратительной и что выгнала их из страны, вдруг стала притягивать ее. Она стала осознавать, что принадлежит к слабым, к лагерю слабых, к стране слабых и что она должна быть верна им именно потому, что они слабы и ловят ртом воздух посреди фразы.

Ее увлекала их слабость, как головокружение. Увлекала ее, поскольку она сама чувствовала себя слабой. Она снова начала ревновать, и у нее уже снова стали дрожать руки, Томаш заметил это и сделал то, что было ей так знакомо: взял ее руки в свои и сжал, чтобы успокоить. Она вырвала их.

— Что с тобой? — спросил он.

— Ничего.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?

— Я хочу, чтобы ты был старый. На десять лет старше. На двадцать лет старше!

Этим она как бы говорила ему: хочу, чтобы ты был слабый. Чтобы ты был такой же слабый, как я.

27

Каренин не одобрял переезда в Швейцарию. Каренин ненавидел перемены. Собачье время не движется по прямой, все дальше и дальше вперед, от одного события к другому. Оно совершается по кругу, подобно времени часовых стрелок, что также не бегут безрассудно куда-то вперед, а вращаются по циферблату, изо дня в день по той же дорожке. Стоило им в Праге купить новый стул или передвинуть вазон, как Каренин тотчас отмечал это с неудовольствием. Это нарушало его чувство времени. Это было, как если бы они дурачили стрелки, без конца изменяя цифры на циферблате.

И все-таки вскоре ему удалось и в цюрихской квартире восстановить старые порядки и ритуалы. Так же, как и в Праге, он вспрыгивал к ним поутру на кровать поздороваться, а затем сопровождал Терезу в магазин за покупками и требовал, как и в Праге, регулярных прогулок.

Он был курантами их жизни. В минуты безнадежности она говорила себе, что должна выдержать хотя бы ради него, поскольку он еще слабей, чем она, пожалуй, еще слабее, чем Дубчек и ее покинутая родина.

Как-то раз, когда она вернулась с прогулки, зазвонил телефон. Тереза подняла трубку и спросила, кто звонит.

Голос был женский и на немецком спрашивал Томаша. Звучал он неприветливо, и Терезе показалось, что от него веет презрением.

Когда Тереза сказала, что Томаша нет дома и неизвестно, в котором часу он вернется, женщина на другом конце провода засмеялась и, не простившись, повесила трубку.

Тереза понимала, что ничего не случилось. Это могла быть сестра из больницы, пациентка, секретарша, бог знает кто. И все-таки она взволновалась и не могла ни на чем сосредоточиться. Она почувствовала вдруг, что потеряла даже те остатки сил, какие были у нее когда-то в Чехии: этот, казалось бы, столь незначительный эпизод она попросту уже не в состоянии вынести.

Быть на чужбине — значит идти по натянутому в пустом пространстве канату без той охранительной сетки, которую предоставляет человеку родная страна, где у него семья, друзья, сослуживцы, где он без труда может договориться на языке, знакомом с детства. В Праге Тереза зависела от Томаша только сердцем. Здесь она зависит от него всем своим существом. Оставь он ее, что бы с ней стало? Неужто ей суждено прожить жизнь в страхе потерять его?

Она говорит себе: Их встреча с самого начала основывалась на ошибке. «Анна Каренина», которую она сжимала под мышкой, была фальшивым документом, которым она обманула Томаша. Они любят друг друга, и все-таки каждый из них превратил жизнь другого в ад. А то, что они любят друг друга, лишь доказывает, что изъян не в них самих, не в их поведении или неустойчивом чувстве, но в том, что они не подходят друг другу; он сильный, а она слабая. Она как Дубчек, который прерывает фразы полуминутными паузами, она как ее родина, которая заикается, ловит ртом воздух и не может говорить.

Но именно слабый должен суметь стать сильным и уйти, когда сильный слишком слаб для того, чтобы суметь причинить боль слабому.

Так Тереза говорила себе, прижимаясь к лохматой Карениновой голове: — Не сердись, Каренин. Придется тебе еще раз сменить квартиру.

28

Тереза сидела, съежившись в уголке купе, тяжелый чемодан над головой, Каренин жался у ног. Она думала о поваре из ресторана, в котором работала, когда жила с матерью. Он пользовался любым случаем, чтобы шлепнуть ее по заду, и всякий раз на людях предлагал ей с ним переспать. Странно было, что сейчас она думала именно о нем. Он был для нее поистине олицетворением того, что внушало ей омерзение. Но теперь она думала только о том, как найдет его и скажет: «Ты говорил, что хочешь со мной переспать. Вот я».

Она мечтала сделать нечто такое, что перечеркнуло бы дорогу назад. Она мечтала грубо изничтожить прошлое своих последних семи лет. Это было головокружение. Одурманивающая, непреодолимая тяга к падению.

Мы могли бы назвать головокружение опьянением слабостью. Человек осознает свою слабость и старается не противиться, а, напротив, поддаться ей. Опьяненный своей слабостью, он хочет быть еще слабее, он хочет упасть посреди площади, передо всеми, хочет быть внизу и еще ниже, чем внизу.

Она убеждала себя, что не останется в Праге и не будет больше заниматься фотографией. Вернется в маленький город, из которого когда-то позвал ее голос Томаша.

Но приехав в Прагу, она вынуждена была задержаться там ненадолго, чтобы уладить кой-какие практические дела. Решила помедлить с отъездом.

На пятый день в квартире вдруг появился Томаш. Каренин долго прыгал, стараясь лизнуть его в лицо, и тем самым избавил их на какое-то время от необходимости объясняться друг с другом. Им казалось, словно они стоят посреди снежной пустыни и дрожат от холода.

Потом они подошли друг к другу, будто любовники, которые до сих пор еще не целовались.

Он спросил: — Здесь все было в порядке?

— Да,— ответила она.

— Ты была в журнале?

— Я звонила туда.

— Ну и...?

— Ничего. Я ждала.

— Чего?

Она не ответила. Она не могла ему сказать, что ждала его.

Мы возвращаемся к моменту, о котором нам уже известно. Томаш был в отчаянии, и у него болел желудок. Уснул он лишь поздно ночью.

Однако вскоре проснулась Тереза. (Русские самолеты кружили над Прагой, и в их гуле нельзя было спать.) Ее первая мысль была: он вернулся ради нее. Ради нее он изменил свою судьбу. Теперь уже не он будет ответственен за нее, теперь она ответственна за него.

Эта ответственность казалась ей непосильной.

Но потом она вдруг вспомнила, что вчера вслед за тем, как он объявился в дверях квартиры, на пражском храме било шесть. Когда они впервые встретились, ее работа тоже кончилась в шесть. Она вышла из гостиницы и увидела его сидевшим напротив, на желтой скамейке, а на башне били колокола.

Нет, это было не суеверием, а чувством красоты, освободившим ее от тоски и наполнившим желанием жить. Птицы случайностей снова слетались ей на плечи. В глазах стояли слезы, и она была невыразимо счастлива, что слышит его дыхание рядом.

Часть третья
СЛОВА НЕПОНЯТЫЕ

1

Женева — город фонтанов, водоемов и парков, где когда-то на эстрадах играли оркестры. За деревьями прячется и университетское здание. Только что кончив утреннюю лекцию, Франц вышел на улицу. Из шлангов струилась на газон вода, и он был в прекрасном настроении: шел к своей возлюбленной. Она жила неподалеку от университета.

Он наведывался к ней часто, но всегда как внимательный друг и никогда как любовник. Если бы он занимался с нею любовью в ее мастерской, то

в течение дня ходил бы от одной женщины к другой, от жены к любовнице и обратно, а поскольку в Женеве супруги спят на французский манер, то есть в общей кровати, это значило бы, что в течение немногих часов он перелезал бы из одной кровати в другую и тем самым, ему казалось, унизил бы и любовницу и жену, а в конечном счете себя самого.

Его чувство к женщине, в которую он влюбился несколько месяцев назад, было для него такой редкостью, что он стремился создать в своей жизни независимое пространство, неприступную территорию чистоты. Его часто приглашали читать лекции в различных зарубежных университетах, и теперь он с жадностью принимал все предложения. Но поскольку их все же было недостаточно, он придумывал еще и несуществующие конгрессы и симпозиумы, дабы оправдаться перед женой в своих отлучках. Его любовница, свободно распоряжавшаяся своим временем, сопровождала его. Он предоставил ей возможность за короткий час повидать много европейских и американских городов.

— Через десять дней, если ты не возражаешь, мы можем поехать в Палермо,— сказал он.

— Предпочитаю Женеву,— ответила она. Она стояла у мольберта перед начатой картиной и разглядывала ее.

— Ты можешь жить и не узнать Палермо? — попытался он пошутить.

— Я знаю Палермо,— сказала она.

— Как так? — спросил он не без ревности.

— Моя знакомая прислала мне оттуда открытку. Я прилепила ее скочем в уборной. Разве ты не заметил?

А потом рассказала ему историю: — В начале века жил один поэт. Был он очень стар, и секретарь выводил его на прогулку. «Маэстро,— воскликнул тот однажды,— посмотрите вверх! Сегодня над городом пролетает первый аэроплан!» — «Я могу себе это представить»,— сказал маэстро своему секретарю и не поднял глаз от земли. Видишь ли, я тоже могу представить Палермо. Там такие же отели и такие же машины, как во всех городах. В моей мастерской по крайней мере все время другие картины.

Франц погрустнел. Он настолько привык к сочетанию любовных утех с заграничными путешествиями, что в свое приглашение «поедем в Палермо!» вкладывал недвусмысленное эротическое содержание. Поэтому заявление «предпочитаю Женеву» имело для него лишь один смысл: его любовница уже не жаждет любви с ним.

Возможно ли, что он перед ней так пасует? У него же нет к тому ни малейшего основания! В самом деле, не он, а она была первой, кто вскоре после их знакомства стал движителем их эротической связи; он был красивый мужчина; он был в зените научной карьеры; он внушал даже страх коллегам своим высокомерием и упрямством, которые проявлял в специальных дискуссиях. Так отчего же всякий день он тревожится, что любовница уйдет от него?

Я могу дать этому лишь единственное толкование: любовь для него была не продолжением его общественной жизни, а ее противоположным полюсом. Для него она означала мечту отдаться любимой женщине безоговорочно. Тот, кто сдается на милость другого, как солдат в плен, должен наперед отбросить любое оружие. А если у него нет никакой защиты против удара, ему трудно удержаться хотя бы от того, чтобы не спрашивать, когда обрушится этот удар. Вот почему можно сказать: для Франца любовь означала постоянное ожидание удара.

В то время как он отдавался своей тревоге, его возлюбленная отложила кисть и вышла в соседнюю комнату. Вернулась с бутылкой вина. Без слова открыла ее и наполнила две рюмки.

У него свалился камень с души, и он слегка посмеялся над собой. Слова «предпочитаю Женеву» вовсе не значат, что она не хочет близости с ним, а как раз наоборот: ей просто опостылело ограничивать минуты любви чужими городами.

Она подняла рюмку и выпила до дна. Франц тоже поднял рюмку и выпил. Он, разумеется, был страшно рад, что ее отказ от поездки

в Палермо на самом деле оказался призывом к любовному акту, но следом ему и немного взгрустнулось: его возлюбленная решила нарушить монастырский устав чистоты, что он внес в их отношения; она не поняла его томительного стремления защитить их любовь от банальности и решительно отграничить ее от его супружеского очага.

Отказываться от плотской близости с художницей в Женеве было, по сути, наказанием, на которое он обрек себя за то, что был женат на другой женщине. Он воспринимал это как некую вину или порок. И пусть эротика в его супружеской жизни не занимала ровно никакого места, супруги все же спали в одной кровати, пробуждались среди ночи от шумного дыхания друг друга и взаимно вдыхали запахи своих тел. Он, разумеется, предпочел бы спать один, однако общая постель оставалась символом супружества, а символы, как мы знаем, неприкосновенны.

Всякий раз, укладываясь возле супруги в постель, он думал о том, что его любовница в эту минуту представляет себе, как он ложится возле своей супруги в постель; и всякий раз при этой мысли ему становилось стыдно. Вот почему он стремился как можно больше отдалить в пространстве постель, где спал с супругой, от постели, где предавался фривольным утехам с любовницей.

Художница снова налила вина, выпила, а потом молча, с какой-то странной безучастностью, будто Франца вовсе тут не было, стала медленно снимать блузку. Она вела себя, точно начинающая актриса, которой задано было показать этюд, убеждающий зрителей, что она одна в комнате и никто не видит ее.

Она осталась только в юбке и бюстгальтере. Затем (словно вдруг заметила, что в комнате она не одна) устремила на Франца долгий взгляд.

Этот взгляд привел его в замешательство; он не понял его. Между всеми любовниками быстро устанавливаются правила игры, которые они не осознают, но действие которых нельзя нарушать. Взгляд, устремленный на него в ту минуту, вырывался из этих правил; он не имел ничего общего со взглядами и движениями, которые обычно предшествовали их любовной близости. В нем не было ни зова, ни кокетства, скорее некий вопрос. Однако Францу было совершенно неясно, о чем же этот взгляд вопрошает.

Потом она сняла юбку. Взяла Франца за руку и повернула его к большому зеркалу, что стояло совсем рядом прислоненным к стене. Она не отпускала его руки и продолжала смотреть в зеркало этим долгим, пытливым взглядом то на себя, то на него.

Близ зеркала на полу стояла подставка, на которую был насажен черный мужской котелок. Она нагнулась к нему и надела на голову. Образ в зеркале мгновенно изменился: в нем теперь отражалась женщина в белье, красивая, недоступная, равнодушная, и на голове у нее был котелок, ужасающе не соответствующий всему ее виду. Она держала за руку мужчину в сером костюме и галстуке.

Он снова улыбнулся тому, насколько он не понимает своей любовницы. Она разделась не для того, чтобы позвать его заняться любовью, а для того, чтобы сыграть какую-то странную шутку, интимный хеппенинг для них двоих. Сейчас он уже понимающе и одобрительно улыбнулся.

Он ждал, что художница ответит на его улыбку улыбкой, но не дождался. Она не отпускала его руки и смотрела в зеркало попеременно то на себя, то на него.

Время хеппенинга перешло всякую грань. Францу показалось, что шутка (хотя он и был готов считать ее очаровательной) слишком затянулась. Он нежно взял котелок двумя пальцами, с улыбкой снял его с головы художницы и положил обратно на подставку. Было так, словно он стер резинкой усы, которые шалунишка пририсовал на иконке Девы Марии.

Еще несколько минут она стояла как вкопанная и смотрела на себя в зеркало. Потом Франц осыпал ее нежными поцелуями и снова попросил поехать с ним на десять дней в Палермо. На этот раз она обещала ему без отговорок, и он ушел.

Франц снова был в отличном настроении. Женева, которую он всю

жизнь проклинал как метрополию скуки, представлялась ему теперь прекрасной и полной приключений. Уже на улице он обернулся и взглянул на широкое окно мастерской. Стояла поздняя весна, жара, над всеми окнами были натянуты полосатые тенты. Франц дошел до парка, в дальнем конце которого возносились золотые купола православного храма, будто позолоченные пушечные ядра; казалось, невидимая сила задержала их там в миг падения и так и оставила висеть в воздухе.

Красиво было. Франц сошел вниз к набережной, чтобы сесть на городской катер и перебраться на северный берег озера, где он жил.

2

Сабина осталась одна. Все еще полуодетая, она снова подошла к зеркалу. Снова нахлобучила котелок и долго вглядывалась в себя, удивляясь тому, что уже столько лет ее преследует одно утраченное мгновение.

Как-то раз, много лет назад, в ее пражскую мастерскую пришел Томаш, и его внимание привлек котелок. Он надел его и стал смотреть на себя в большое зеркало, что так же, как и здесь, стояло прислоненным к стене. Хотелось узнать, пошло ли бы ему быть мэром в прошлом столетии. Когда Сабина начала медленно раздеваться, он надел котелок ей на голову. Они стояли перед зеркалом (они всегда стояли перед ним, когда она раздевалась) и смотрели на свое отражение. Она была в одном белье, а на голове котелок. И вдруг осознала, что они оба встревожены образом, который видят в зеркале.

Как это могло случиться? Еще минуту назад котелок на ее голове выглядел не более чем шуткой. Неужто и вправду от смешного до тревожного один маленький шаг?

Вероятно. Когда в тот день она смотрела на себя в зеркало, то в первые мгновения не видела ничего, кроме забавного зрелища. Но вслед за тем комическое перекрылось тревожным: котелок уже означал не шутку, а насилие; насилие над Сабиной, над ее женским достоинством. Она видела себя с обнаженными ногами, в тонких трусиках, сквозь которые просвечивал треугольник. Белье подчеркивало очарование ее женственности, а твердый мужской котелок эту женственность отрицал, насиловал, представлял в смешном виде. Томаш стоял возле нее одетым, из чего вытекало: суть того, что они оба видят, вовсе не потеха (тогда бы и ему полагалось быть в одном белье и котелке), а унижение. И вместо того чтобы унижение это отринуть, она гордо и вызывающе демонстрировала его, словно разрешала добровольно и принародно себя изнасиловать; и вдруг, не выдержав дольше, она увлекла за собой Томаша на пол. Котелок закатился под стол, а они заметались на ковре у самого зеркала.

Вернемся еще раз к котелку.

Во-первых, он был смутным воспоминанием о забытом дедушке, мэре маленького чешского городка в прошлом столетии.

Во-вторых, был памятью об отце. После похорон ее брат прибрал к рукам все имущество, оставшееся от родителей, и она из гордого протеста отказалась оспаривать свои права. Она с сарказмом объявила, что берет себе котелок, как единственное оставшееся от отца наследство.

В-третьих, котелок был реквизитом любовных игр с Томашем.

В-четвертых, он был знаком ее оригинальности, которую она сознательно культивировала. Она не могла взять с собой в эмиграцию много вещей и если взяла эту объемную и непрактичную вещь, значит, должна была отказаться от других, более практичных.

В-пятых: за границей котелок стал объектом сентиментальности. Отправившись в Цюрих к Томашу, она взяла с собой котелок и надела его на голову, когда открывала ему дверь гостиничного номера. И случилось то, на что она не рассчитывала: котелок уже не смешил и не тревожил, а стал памятью об ушедшем времени. Они оба были растроганы. Они любили друг друга как никогда прежде: для фривольных игр не оставалось места, ибо их встреча была не продолжением эротической связи, когда всякий раз

они придумывали новые маленькие распутства, а рекапитуляцией времени, песней об их общем прошлом, сентиментальным заключением несентиментальной истории, которая исчезала вдали.

Котелок стал мотивом музыкальной композиции, какой была Сабинина жизнь. Этот мотив вновь и вновь возвращался и всякий раз приобретал иное значение; все эти значения плыли по котелку, как вода по речному руслу. И могу сказать, что это было Гераклитово русло: «В одну реку нельзя войти дважды!»; котелок был корытом, по которому всякий раз для Сабины текла иная река, иная *семантическая река*: один и тот же предмет всякий раз вызывал к жизни и рождал иное значение, но вместе с этим значением отзывались (как эхо, как шествие эха) все значения прошлые. Каждое новое переживание звучало все более богатым аккордом. Томаш и Сабина были в цюрихской гостинице растроганы видом котелка и любили друг друга, едва не обливаясь слезами, ибо этот черный предмет был не только воспоминанием об их фривольных играх, но и памятью о Сабинином отце и о дедушке, который жил в столетии без машин и самолетов.

Теперь, пожалуй, мы можем лучше понять пропасть, которая разделяла Сабину и Франца: он жадно слушал историю ее жизни, а она столь же жадно слушала его. Они точно понимали логический смысл произносимых слов, однако не слышали шума семантической реки, что протекала по этим словам.

Поэтому, когда она надела котелок, Франц смешался, словно кто-то обратился к нему на чужом языке. Он не видел в этом никакой пошлости, никакой сентиментальности, это был лишь непонятный жест, который привел его в замешательство из-за отсутствия значения.

Покуда люди еще молоды и музыкальная композиция их жизни звучит всего лишь первыми тактами, они могут писать ее вместе и обмениваться мотивами (так, как Томаш и Сабина обменялись мотивом котелка), но когда они встречаются в более зрелом возрасте, их музыкальная композиция в основном завершена, и каждое слово, каждый предмет в композиции одного и другого означают нечто различное.

Проследи я за всеми разговорами между Сабиной и Францем, я мог бы составить из их непонимания большой словарь. Удовлетворимся, однако, кратким словарем.

3

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ (часть первая)

Женщина

Быть женщиной для Сабины — участь, какой она не выбирала. А то, чего мы не выбираем, нельзя считать ни нашей заслугой, ни нашим невезением. Сабина полагает, что уготованную участь надо принимать с должным смирением. Бунтовать против того, что ты родилась женщиной, так же нелепо, как и кичиться этим.

Однажды, в одну из их первых встреч, Франц сказал ей с особым упором: «Сабина, вы *женщина*». Она не понимала, почему он сообщает ей об этом с торжественным выражением Христофора Колумба, только что узревшего берег Америки. Только позже она поняла, что слово «женщина», которое он подчеркнул особо, значит для него не определение одного из двух человеческих полов, а *достоинство*. Не каждая женщина достойна называться женщиной.

Но если Сабина для Франца *женщина,* что же тогда для него Мария-Клод, его законная жена? Более чем двадцать лет назад, по прошествии нескольких месяцев после их знакомства, она угрожала ему, что покончит с собой, если он покинет ее. Франца эта угроза очаровала. Сама Мария-Клод не так уж ему и нравилась, зато любовь ее представлялась ему восхитительной. Ему казалось, что он недостоин такой большой любви, и чувствовал себя обязанным низко ей поклониться.

Итак, он поклонился Марии-Клод до самой земли и женился на

ней. И хотя она больше никогда не проявляла такой интенсивности чувств, как в минуту, когда угрожала ему самоубийством, в нем глубоко засел живой императив: он не имеет права оскорблять ее и должен уважать в ней женщину.

Эта фраза любопытна. Он не сказал себе «уважать Марию-Клод», а сказал «уважать женщину в Марии-Клод».

Но если Мария-Клод — сама женщина, то кто же та, другая, которая прячется в ней и которую он должен уважать? Быть может, это платоновская идея женщины?

Нет. Это его мама. Ему бы и на ум никогда не пришло сказать, что в матери он уважает женщину. Он боготворил свою матушку, а не какую-то женщину внутри нее. Платоновская идея женщины и его мать были одно и то же.

Францу было двенадцать, когда ее внезапно покинул его отец. Мальчик понимал, что случилось непоправимое, но она окутала драму туманными и нежными словами, дабы не волновать его. В тот день они пошли вместе в город, но при выходе из дому Франц заметил на ногах матери разные туфли. Он растерялся, хотел сказать ей об этом, но испугался, что своим замечанием больно ранит ее. Он провел с нею в городе два часа и все это время не спускал глаз с ее ног. Тогда он впервые стал понимать, что такое страдание.

Верность и предательство

Он любил ее с детства до той самой минуты, пока не проводил на кладбище, любил ее и в воспоминаниях. Отсюда в нем возникло ощущение, что верность — первая из всех добродетелей; верность дает единство нашей жизни, в противном случае она распалась бы на тысячу минутных впечатлений, как на тысячу черепков.

Франц часто рассказывал Сабине о матери, пожалуй, даже с какой-то подсознательной расчетливостью: он предполагал, что Сабина будет очарована его способностью быть верным и тем скорее он завладеет ею.

Он не знал, что Сабину завораживала не верность, а предательство. Слово «верность» напоминало ей отца, провинциального пуританина, который удовольствия ради по воскресеньям рисовал закаты над лесом и розы в вазе. Благодаря ему она начала рисовать еще ребенком. Когда ей было четырнадцать, она влюбилась в мальчика такого же возраста. Папенька ужаснулся и на целый год запретил ей выходить из дому одной. Однажды он показал ей репродукции нескольких картин Пикассо и посмеялся над ними. Если ей запрещалось любить четырнадцатилетнего одноклассника, то она любила хотя бы кубизм. И после окончания школы уехала в Прагу с радостным чувством, что может наконец предать свой отчий дом.

Предательство. С раннего детства отец и господин учитель говорили нам, что это самое худшее, что мы только можем представить себе. Но что такое предательство? Предательство — это желание нарушить строй. Предательство — это значит нарушить строй и идти в неведомое. Сабина не знает ничего более прекрасного, чем идти в неведомое.

Она училась в Академии художеств, но не имела права писать, как Пикассо. Это было время, когда насильственно насаждался так называемый социалистический реализм, и в Академии штамповали портреты коммунистических деятелей страны. Ее жажда предать отца так и осталась неутоленной, ибо коммунизм был вторым отцом, столь же строгим и ограниченным, запрещавшим любовь (время было пуританское!) и Пикассо. Она вышла замуж за плохого актера пражского театра лишь потому, что он снискал славу дебошира и обоим отцам представлялся исчадием ада.

Потом умерла мама. На следующий день, после возвращения с похорон в Прагу, Сабина получила телеграмму: отец с горя покончил с собой.

Ее замучили угрызения совести: Что было плохого в том, что отец рисовал вазы с розами и не любил Пикассо? Заслуживала ли такого осуждения его боязнь, что четырнадцатилетняя дочка придет домой с пузом? Так ли уж было смешно, что он не мог оставаться жить без своей половины?

И снова ею овладела жажда предательства: предать свое собственное предательство. Она сообщила мужу (видя в нем уже не скандалиста, а всего-навсего назойливого выпивоху), что уходит от него.

Но если мы предаем Б, ради которого мы предали А, это вовсе не значит, что мы тем самым умиротворяем А. Жизнь разведенной художницы ничуть не походила на жизнь преданных ею родителей. Первое предательство непоправимо. Оно вызывает цепную реакцию дальнейших предательств, из которых каждое все больше и больше отделяет нас от точки нашего исходного предательства.

Музыка

Для Франца это искусство, которое в наибольшей мере приближается к дионисийской красоте, понимаемой как опьянение. Человек не может быть достаточно сильно опьянен романом или картиной, но может опьянеть от Бетховенской Девятой, от сонаты для двух фортепьяно и ударных инструментов Бартока или от пения «Битлз». Франц не делает различия между серьезной музыкой и музыкой развлекательной. Это различие кажется ему старомодным и ханжеским. Он любит рок и Моцарта в одинаковой степени.

Он считает музыку избавительницей: она избавляет его от одиночества, замкнутости, библиотечной пыли, открывает в его теле двери, сквозь которые душа выходит в мир, чтобы брататься с людьми. Он любит танцевать и сожалеет, что Сабина этой страсти не разделяет.

Они сидят вместе в ресторане и ужинают под шумную ритмичную музыку, рвущуюся из динамика.

Сабина говорит: — Заколдованный круг. Люди глохнут, потому что включают музыку все громче и громче. Но поскольку они глохнут, им ничего не остается, как включать ее еще на большую громкость.

— Ты не любишь музыку? — спрашивает Франц.

— Нет,— говорит Сабина. Затем добавляет: — Возможно, если бы жила в другое время...— и она думает о времени, когда жил Иоганн Себастьян Бах и когда музыка походила на розы, расцветшие на огромной снежной пустыне молчания.

Шум под маской музыки преследует ее с ранней молодости. Ей, как студентке Академии художеств, приходилось все каникулы проводить на так называемых молодежных стройках. Студенты жили в общежитиях и ходили работать на строительство металлургического завода. Музыка гремела из репродукторов с пяти утра до девяти вечера. Ей хотелось плакать, но музыка была веселой, и негде было от нее скрыться ни в уборной, ни в кровати под одеялом: репродукторы были повсюду. Музыка была точно свора гончих псов, науськанных на нее.

Тогда она думала, что только в коммунистическом мире царствует это варварство музыки. За границей она обнаружила, что превращение музыки в шум — планетарный процесс, которым человечество вступает в историческую фазу тотальной мерзости. Тотальный характер мерзости проявился прежде всего как вездесущность акустической мерзости: машины, мотоциклы, электрогитары, дрели, громкоговорители, сирены. Вездесущность визуальной мерзости вскоре последует.

Они поужинали, поднялись в номер, занялись любовью, а уже потом на пороге забытья у Франца начали бродить в уме мысли. Он вспомнил шумную музыку за ужином и подумал: «Шум имеет одно преимущество. В нем пропадают слова». И вдруг осознал, что с молодости, по сути, ничего другого не делает, кроме как говорит, пишет, читает лекции, придумывает фразы, ищет формулировки, исправляет их, и потому слова в конце концов перестают быть точными, их смысл размазывается, теряет содержание, и они, превращаясь в мусор, мякину, пыль, песок, блуждают в мозгу, вызывают головную боль, становятся его бессонницей, его болезнью. И в эти минуты он затосковал, неясно и сильно, по беспредельной музыке, по абсолютному шуму, прекрасному и веселому гаму, который все обоймет, зальет, оглушит и в котором навсегда исчезнет боль, тщета и ни-

чтожность слов. Музыка — это отрицание фраз, музыка — это антислово! Он мечтал оставаться в долгом объятии с Сабиной, молчать, никогда больше не произносить ни единой фразы и дать слиться наслаждению с оргиастическим грохотом музыки. В этом блаженном воображаемом шуме он уснул.

Свет и тьма

Жить для Сабины значит — видеть. Видение ограничено двумя границами: сильным слепящим светом и полной тьмой. Тем, возможно, определяется и Сабинина неприязнь к какому-либо экстремизму. Крайности — это границы, за которыми кончается жизнь, и страсть к экстремизму, в искусстве и политике, суть замаскированная жажда смерти.

Слово «свет» вызывает у Франца представление не о пейзаже, на котором покоится мягкое сияние дня, а об источнике света как таковом: о солнце, лампочке, рефлекторе. В памяти Франца всплывают известные метафоры: солнце правды, ослепляющий свет разума и тому подобное.

Равно как свет, привлекает его и тьма. Он знает, что в наше время считается смешным гасить лампу перед тем, как заняться любовью, и поэтому оставляет гореть маленький ночник над постелью. Но в минуту, когда он проникает в Сабину, он закрывает глаза. Блаженство, которое наполняет его, требует тьмы. Эта тьма совершенная, чистая, без образов и видений, эта тьма не имеет конца, не имеет границ, эта тьма — бесконечность, которую каждый из нас носит в себе. (Да, кто ищет бесконечность, пусть закроет глаза!)

В минуту, когда Франц чувствует, как блаженство разливается по его телу, он вытягивается и истаивает в бесконечности своей тьмы, он сам становится бесконечностью. Но чем больше укрепляется мужчина в своей внутренней тьме, тем больше мельчает его внешний облик. Мужчина с закрытыми глазами — лишь обломки мужчины. Вид Франца неприятен Сабине, и она, стараясь не глядеть на него, тоже закрывает глаза. Но эта тьма означает для нее не бесконечность, а простое несогласие с виденным, отрицание виденного, отказ видеть.

4

Сабина поддалась уговорам и решила навестить общество своих земляков. Снова обсуждался вопрос, надо ли было или не надо было бороться против русских с оружием в руках. Естественно, что здесь, в безопасности эмиграции, все утверждали, что бороться надо было. Сабина сказала: — Так отчего же вы не возвращаетесь туда бороться?

Этого нельзя ей было говорить. Мужчина с седоватыми завитыми волосами наставил на нее длинный указательный палец и сказал: — А вам лучше молчать. Вы все несете ответственность за то, что там произошло. И вы, в частности. Что вы сделали дома против коммунистического режима? Рисовали свои картины, и ни черта больше...

Оценка и проверка граждан есть главная и постоянная социальная деятельность в коммунистических странах. Требуется ли художнику разрешение на открытие выставки или гражданину виза для поездки на каникулы к морю, хочет ли футболист стать членом сборной команды, прежде всего должны быть собраны рекомендации и сведения о данном лице (от дворничихи, от сослуживцев, от полиции, от партийной организации, от профсоюза), а уже потом все они прочитываются, взвешиваются и подытоживаются специально предназначенными для этого дела чиновниками. Однако то, о чем свидетельствуют рекомендации, никоим образом не касается способности гражданина рисовать, играть в футбол или его здоровья, требующего отдыха у моря. Они касаются исключительно того, что называлось «политическим лицом гражданина» (то бишь того, что гражданин говорит, что думает, как ведет себя, как участвует в собраниях или первомайских демонстрациях). Поскольку все (каждодневное существование, продвижение по службе и каникулы) зависит от того, как будет

гражданин оценен, каждый должен (хочет ли он играть в футбол за сборную команду, открыть ли выставку картин или провести каникулы у моря) вести себя так, чтобы получить высший балл.

Именно об этом думала Сабина, слушая седоволосого человека. Его нимало не заботило, хорошо ли его земляки играют в футбол или рисуют (никого из чехов никогда не занимала ее живопись), а весь его интерес сводился к тому, выступали ли они против коммунистического режима активно или только пассивно, по-настоящему или просто для видимости, с самого начала или всего лишь сейчас.

Будучи художником, она любила вглядываться в человеческие лица и еще по Праге знала физиономии тех, чьим призванием было проверять и оценивать других. У них у всех указательный палец был несколько длиннее среднего, и они обычно целили его в того, с кем разговаривали. Кстати, и у президента Новотного, стоявшего у власти в Чехии четырнадцать лет — вплоть до 1968 года,— были такие же завитые парикмахером волосы и самый длинный среди обитателей Центральной Европы указательный палец.

Почтенный эмигрант, услышав из уст художницы, картины которой никогда не видал, что он похож на коммунистического президента Новотного, побагровел, побледнел, еще раз побагровел, еще раз побледнел и, так и не сказав ни слова в ответ, погрузился в молчание. Вместе с ним молчали и все остальные, пока Сабина наконец не поднялась и не вышла из комнаты.

Она была очень расстроена, но уже внизу на тротуаре вдруг подумала: а почему, собственно, она должна встречаться с чехами? Что связывает ее с ними? Пейзаж? Если бы каждому из них случилось сказать, что он представляет себе под названием Чехия, образы, всплывавшие у них перед глазами, были бы совершенно различны и не творили бы никакого единства.

Быть может, культура? Но что это? Дворжак и Яначек? Несомненно. Но каково, если чеху не свойственно чувство музыки? И существо чешскости сразу расплывается.

Или великие мужи? Ян Гус? Никто из этих людей в комнате не прочел ни строчки из его книг. Единственное, что доступно было их дружному пониманию — это пламя, слава пламени, в котором сгорел он как еретик на костре, слава пепла, в который он обратился, так что суть чешскости для них, говорила себе Сабина, именно один пепел, ничего больше. Этих людей связывает лишь их поражение и укоризны, какими они осыпают друг друга.

Она быстро шла по улице. Больше, чем разрыв с эмигрантами, волновали ее теперь собственные мысли. Она сознавала, насколько они несправедливы. Ведь среди чехов были люди и не похожие на этого, с длинным указательным пальцем. Тишина растерянности, воцарившаяся вслед за ее словами, и отдаленно не означала, что все были против нее. Скорее всего, они были сбиты с толку той внезапной ненавистью, тем непониманием, жертвой которого здесь в эмиграции становятся все. Почему бы ей не пожалеть их? Почему она не видит их трогательными и покинутыми?

Мы знаем почему. Уже в ту минуту, когда она предала отца, жизнь открылась перед ней долгой дорогой предательств, и каждое новое предательство влекло ее как порок и как победа. Она не желает и не будет стоять в строю! Она отказывается стоять в строю — все время с одними и теми же людьми, с одними и теми же речами! Вот почему она так встревожена своей несправедливостью. Но эта тревога не вызывает в Сабине неприятного чувства, напротив, ей кажется, будто она одержала над чем-то победу и кто-то невидимый рукоплещет ей за это.

Но вослед этому опьянению отозвался страх: Где-то же должна оборваться эта дорога! Надо же когда-нибудь перестать предавать! Она должна наконец остановиться!

Был вечер, она торопливо шла по перрону. Поезд в Амстердам был подан. Она нашла свой вагон. Открыла дверь купе, куда ее довел любезный проводник, и увидала Франца, сидящего на застланной полке. Он встал, чтобы поздороваться с ней, и она, обняв его, покрыла поцелуями.

Она испытывала непреодолимое желание сказать ему, точно самая банальная из всех женщин: Не отпускай меня, держи меня возле себя, укроти меня, сделай меня своей рабыней, будь сильным! Но это были слова, которые она не могла и не умела произнести.

Выпустив его из объятий, она только и сказала: — Я страшно рада, что я с тобой.— Это было самое большее, что она умела сказать при ее сдержанном нраве.

5

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ (продолжение)

Демонстрации

У людей во Франции или Италии с этим нет сложностей. Если родители принуждали их ходить в церковь, они мстят им тем, что вступают в партию (коммунистическую, маоистскую, троцкистскую и так далее). Однако Сабину отец посылал сначала в церковь, а затем сам же со страху заставил ее вступить в коммунистический Союз молодежи.

Маршируя в колонне на Первое мая, она не умела держать шаг, и шедшая следом девушка прикрикивала на нее и нарочно наступала ей на пятки. Когда в колонне пели песни, она никогда не знала слов и лишь беззвучно открывала рот. Но студентки, заметив это, нажаловались на нее. Смолоду она ненавидела любые демонстрации.

Франц учился в Париже, а поскольку был исключительно одаренным студентом, научная карьера была ему обеспечена с двадцати лет. Он уже тогда знал, что проведет всю свою жизнь в просторах университетского кабинета, общественных библиотек и двух-трех аудиторий; этот воображаемый образ вызывал в нем ощущение удушья. Он мечтал выйти вон из своей жизни, как выходят из квартиры на улицу.

Вот почему он так любил, покуда жил в Париже, ходить на демонстрации. Как славно было что-то праздновать или что-то требовать, против чего-то протестовать, не быть одному, быть под открытым небом и быть с другими. Демонстрации, валившие по бульвару Сен-Жермен или от площади Республики к Бастилии, его завораживали. Марширующая и кричащая толпа была для него образом Европы и ее истории. Европа — это Великий Поход. Поход от революции к революции, от боя к бою, вечно вперед.

Я мог бы сказать это иначе: Францу его жизнь среди книг казалась ненастоящей. Он мечтал о настоящей жизни, о близости идущих бок о бок с ним других людей, об их выкриках. Ему и в голову не приходило, что принимаемое им за ненастоящее (работа в одиночестве кабинета и библиотек) именно и есть его настоящая жизнь, тогда как демонстрации, представлявшиеся ему реальностью, не более чем театр, танец, торжество, иначе говоря: сон.

В студенческие годы Сабина жила в общежитии. Уже ранним утром первого мая всем полагалось отправляться на место сбора демонстрантов. А чтобы никому не повадно было отлынивать, студенты-активисты прочесывали опустевшее здание. Поэтому Сабина пряталась в туалете, и лишь когда все уходили, пробиралась в свою комнату. Наступала такая тишина, о какой она и не мечтала. Только издали доносилась походная музыка. Ей казалось, что она прячется в раковине, а издали шумит море враждебного мира.

Спустя год, другой, после того как покинула Чехию, она по чистой случайности оказалась в Париже как раз в годовщину русского вторжения. В городе проходила манифестация протеста, и она не могла устоять перед тем, чтобы не принять в ней участия. Молодые французы поднимали кулаки и выкрикивали лозунги против советского империализма. Эти лозунги нравились ей, но вдруг она с удивлением обнаружила, что не в состоянии выкрикивать их купно со всеми. Она смогла выдержать среди демонстрантов не больше нескольких минут.

Когда она поделилась своими переживаниями с французскими друзьями, они удивились: «Выходит, ты не хочешь бороться против оккупации твоей родины?» Ей хотелось сказать им, что за коммунизмом, фашизмом, за всеми оккупациями и вторжениями скрывается самое основное и всеобъемлющее зло; образом этого зла для нее навсегда стала марширующая демонстрация людей, вскидывающих руки и выкрикивающих в унисон одинаковые слоги. Но она знала, что не сумела бы это им объяснить. Смешавшись, она перевела разговор на другую тему.

Красота Нью-Йорка

Они бродили по Нью-Йорку часами; с каждым шагом менялись картины, словно они шли извилистой тропой по увлекательной горной местности: преклонив колени посреди дороги, молился юноша, чуть в сторонке, опершись о дерево, дремала прекрасная негритянка, мужчина в черной паре, пересекая улицу, широкими жестами дирижировал невидимым оркестром, в фонтане била вода, а вокруг сидели строительные рабочие и обедали. Железные лесенки карабкались по фасадам безобразных домов красного кирпича, но дома были столь безобразны, что казались прекрасными; по соседству с ними стоял огромный стеклянный небоскреб, и за ним еще один небоскреб, на крыше которого был построен арабский дворец с башенками, галереями и позолоченными столбами.

Она вспомнила свои картины; на них тоже встречались вещи, не соотносившиеся друг с другом: стройка металлургического завода и позади нее керосиновая лампа; или другая лампа: ее старинный абажур из разрисованного стекла разбит на мелкие осколки, что возносятся над опустелым болотистым краем.

Франц сказал: — Европейская красота всегда носила преднамеренный характер. Там существовал эстетический замысел и долговременный план, по которому человек на протяжении десятилетий возводил готический кафедральный собор или ренессансный город. Красота Нью-Йорка имеет совершенно другую основу. Это невольная красота. Она возникла без человеческого умысла, подобно сталактитовой пещере. Формы, сами по себе неприглядные, случайно, без плана попадают в такое немыслимое соседство, что озаряются волшебной поэзией.

Сабина сказала: — Невольная красота. Да. Можно было бы и по-другому сказать: красота по ошибке. Прежде чем красота совсем исчезнет из мира, еще какое-то время она просуществует по ошибке. Красота по ошибке — это последняя фаза в истории красоты.

И она вспомнила свою первую зрелую картину; она возникла потому, что на нее *по ошибке* скапнула красная краска. Да, ее картины были основаны на красоте ошибок, и Нью-Йорк был тайной и истинной родиной ее живописи.

Франц сказал: — Возможно, что невольная красота Нью-Йорка во много раз богаче и пестрее, чем слишком строгая и выстроенная красота человеческого проекта. Но это уже не европейская красота. Это чужой мир.

Так, стало быть, есть что-то, в чем они сходятся?

Нет. И тут есть разница. Чуждость нью-йоркской красоты несказанно привлекает Сабину. Франца она завораживает, но и пугает; пробуждает в нем тоску по Европе.

Сабинина родина

Сабина понимает его неприязненность к Америке. Франц — олицетворение Европы: его мать родилась в Вене, отец был француз, сам же он — швейцарец.

Франц не перестает восхищаться Сабининой родиной. Когда она рассказывает ему о себе и о своих чешских друзьях, Франц слышит слова «тюрьма», «преследование», «танки на улицах», «эмиграция», «листовки», «запрещенная литература», «запрещенные выставки» и испытывает странную зависть, замешанную на ностальгии.

Он делится с Сабиной: — Один философ однажды написал обо мне, что все, что я говорю, бездоказательная спекуляция, и назвал меня «Сократом

умопомрачающим». Я почувствовал себя страшно оскорбленным и ответил ему в яростном тоне. Представь себе! Этот эпизод был самым большим конфликтом, который я когда-либо пережил! Моя жизнь достигла тогда предела своих драматических возможностей! Мы с тобой живем в разных измерениях. Ты вошла в мою жизнь, как Гулливер в страну лилипутов.

Сабина протестует. Конфликт, драма, трагедия, по ее мнению, ровно ничего не значат; в них нет никакой ценности, ничего, что заслуживало бы уважения или восторга. Единственное, что достойно зависти, это работа Франца, которой он мог заниматься в тишине и покое.

Франц качает головой: — Если общество богато, людям не приходится работать руками, они посвящают себя духовной деятельности. Чем дальше, тем больше университетов, чем дальше, тем больше студентов. Чтобы студенты могли закончить университет, придумываются темы дипломных работ. Тем беспредельное множество, поскольку все на свете может стать предметом исследования. Исписанные листы бумаги громоздятся в архивах, более печальных, чем кладбища, ибо в них никто не заходит даже в День поминовения усопших. Культура растворяется в несметном множестве продукции, в лавине букв, в безумии количества. Вот почему я тебе говорю, что одна запрещенная книга на твоей бывшей родине стоит несравнимо больше, чем миллиарды слов, которые изрыгают наши университеты.

В этом плане мы могли бы понять и слабость Франца ко всем революциям. Одно время он симпатизировал Кубе, потом Китаю, и лишь когда жестокость их режимов отвратила его, он меланхолически смирился с тем, что на его долю остается лишь море букв, которые ничего не весят и не имеют ничего общего с жизнью. Он стал профессором в Женеве (где не совершается никаких манифестаций) и в каком-то отречении (в одиночестве, без женщин и шествий) издал с заметным успехом сколько-то научных трудов. Затем в один прекрасный день явилась, как откровение, Сабина; она пришла из страны, где уже давно отцвели всякие революционные иллюзии, но где еще оставалось то, что больше всего в революциях его восхищало: жизнь в масштабности риска, мужества и опасности смерти. Сабина вернула ему веру в величие человеческого жребия. Она была для него тем прекраснее, что за ее фигурой высвечивалась мучительная драма ее страны.

Однако Сабина этой драмы не любила. Слова «тюрьма», «преследование», «запрещенные книги», «оккупация», «танки на улицах» для нее отвратительны, без малейшего следа романтики. Единственное слово, что отзывается в ней ностальгическим воспоминанием о родине, это слово «кладбище».

Кладбище

Кладбища в Чехии подобны садам. Могилы, поросшие травой с яркими цветами. Скромные памятники, затерянные в зелени листьев. Когда смеркнется, кладбище вспыхивает множеством зажженных свечей, и кажется, будто мертвые устроили детский бал. Да, именно детский, ибо мертвые невинны как дети. И какой бы жестокой ни была жизнь, на кладбищах всегда царил мир. И в годы войны, и при Гитлере, и при Сталине, сквозь все оккупации. Когда Сабине бывало грустно, она садилась в машину и укатывала далеко за Прагу — побродить по одному из деревенских погостов, которые любила. Эти погосты на фоне голубых холмов были прекрасны, как колыбельная песня.

Для Франца кладбище было отвратительной свалкой костей и каменьев.

6

— Я никогда не стал бы водить машину. Страшно боюсь аварии. Даже если не разобьешься насмерть, покалечишься на всю жизнь! — сказал скульптор и непроизвольно схватился за указательный палец, который когда-то чуть не отсек себе, отесывая деревянную статую. Палец сохранили ему поистине чудом.

— Выдумки! — сказала Мария-Клод громким голосом. Она была в великолепной форме.— Я попала в тяжелую аварию, но это было прекрасно.

Мне нигде не было так хорошо, как в клинике! Я совершенно не могла спать и потому непрестанно, дни и ночи напролет, читала.

Все смотрели на нее с изумлением, которое явно ее радовало. У Франца ощущение неприязни (он знал, что после упомянутой аварии его жена была ужасно убита и без конца жаловалась) смешивалось со странным восхищением (ее способность преобразовывать все пережитое свидетельствовало о завидной жизнестойкости).

Она продолжала: — Там я начала делить книги на дневные и ночные. В самом деле, есть книги дня и книги, которые можно читать исключительно ночью.

Все изображали восторженное удивление, лишь один скульптор, держась за палец, сильно морщился от неприятного воспоминания.

Мария-Клод обратилась к нему: — В какую группу ты зачислил бы Стендаля?

Скульптор слушал ее вполуха и потому смущенно пожал плечами. Искусствовед, стоящий возле него, заявил, что, на его взгляд, Стендаль — чтение дневное.

Мария-Клод покачала головой и громко объявила: — Как бы не так! Ты глубоко ошибаешься! Стендаль — ночной автор!

Франц участвовал в дискуссии о ночном и дневном искусстве с немалой рассеянностью, ибо занят был только одной мыслью: когда появится Сабина. Не день и не два они вместе раздумывали над тем, стоит ли ей принять приглашение на этот коктейль. Мария-Клод устроила его для всех живописцев и скульпторов, которые когда-либо выставлялись в ее частной галерее. С тех пор как Сабина познакомилась с Францем, она избегала его жены. Однако, опасаясь выдать себя, они в конце концов все же решили, что будет естественнее и менее подозрительно, если она придет.

Поглядывая украдкой в сторону передней, Франц непрерывно при этом слышал звучавший в другом конце салона голос своей восемнадцатилетней дочери Марии-Анн. Покинув группу, где царила жена, он подошел к кружку, в котором первенствовала дочь. Один сидел в кресле, другие стояли, Мария-Анн сидела на полу. Франц был уверен, что Мария-Клод в противоположном конце салона также не преминет вскоре усесться на ковер. Садиться перед гостями на пол в то время было жестом, выражавшим естественность, непринужденность, прогрессивность, общительность и парижский бонтон. Страсть, с какой Мария-Анн садилась повсюду на пол, была такой истовой, что Франц нередко опасался, как бы она не плюхнулась на пол в магазине, куда ходила за сигаретами.

— Над чем вы сейчас работаете, Алан? — спросила Мария-Анн мужчину, у ног которого сидела.

Алан был столь наивен и искренен, что собрался было ответить дочери хозяйки галереи от чистого сердца. Он начал объяснять ей свою новую манеру письма, которая представляла собою сочетание фотографии и живописи. Не успел он произнести и трех фраз, как Мария-Анн принялась свистеть. Художник говорил медленно, сосредоточенно и свиста не слышал.

Франц шепнул: — Можешь мне сказать, почему ты свистишь?

— Потому что не люблю, когда говорят о политике,— ответила она громко.

В самом деле, двое мужчин из этой группки стояли и говорили о предстоящих во Франции выборах. Мария-Анн, чувствуя себя обязанной руководить увеселительной стороной вечера, спросила их, собираются ли они на следующей неделе в театр слушать оперу Россини, которую дает итальянская оперная труппа. Меж тем живописец Алан подыскивал все более точные определения для своей новой манеры письма, и Францу совестно было за дочь. Чтобы заставить ее замолчать, он во всеуслышание объявил, что в опере ему бесконечно скучно.

— Ты ужасен,— сказала Мария-Анн, пытаясь с полу хлопнуть отца по животу.— Главный герой потрясающе хорош! Боже, до чего он хорош! Я видела его два раза и влюбилась по уши!

Франц отметил про себя, что его дочь страшно похожа на мать. Почему на него она не похожа? Но что поделаешь, не похожа, и баста. От Марии-

Клод он слышал уже бессчетное число раз, что она влюблена в того или иного художника, певца, писателя, политика, а однажды даже в одного велогонщика. Разумеется, все это было лишь пустой болтовней ужинов и коктейлей, однако нередко при этом он вспоминал, что двадцать лет назад она то же самое говорила о нем и угрожала самоубийством.

Наконец, в салон вошла Сабина. Мария-Клод, увидев ее, направилась к ней. Дочь продолжала вести разговор о Россини, но Франц прислушивался теперь лишь к тому, о чем говорили две женщины. После двух-трех приветственных фраз Мария-Клод взяла в руку керамическую подвеску, которая была у Сабины на шее, и излишне громко сказала:

— Что это у тебя? Безобразная подвеска!

Эта фраза привлекла внимание Франца. Она не была сказана воинственно, напротив, громкий смех призван был подчеркнуть, что непринятие подвески вовсе ничего не меняет в доброжелательстве, с которым Мария-Клод относится к художнице; и все же эта фраза выпадала из общего стиля, в каком Мария-Клод обычно вела разговор.

— Я сделала ее сама,— сказала Сабина.

— Право, она безобразна,— повторила Мария-Клод чрезвычайно громким голосом.— Тебе не стоит ее носить!

Франц понимал, что его жену нимало не занимает, действительно ли подвеска безобразна. Безобразным было прежде всего то, что она хотела видеть безобразным, а красивым — то, что она хотела видеть красивым. Украшения ее друзей априори были прекрасны. И даже найди она их некрасивыми, она скрыла бы это, ибо лесть давно сделалась ее второй натурой.

Почему же она решила, что подвеску, которую Сабина сама себе сделала, она вправе посчитать безобразной?

Францу стало вдруг совершенно ясно: Мария-Клод объявила Сабинину подвеску только потому безобразной, что могла себе это позволить.

Еще точнее: Мария-Клод объявила Сабинину подвеску безобразной, чтобы дать понять: она может себе позволить сказать Сабине, что ее подвеска безобразна.

Сабинина выставка год назад не имела большого успеха, и Мария-Клод не очень-то добивалась расположения Сабины. Напротив, у Сабины было основание добиваться благосклонности Марии-Клод. Однако на ее поведении это никак не отражалось.

Да, Францу ясно как день: Мария-Клод воспользовалась случаем дать понять Сабине и другим, каково между ними двумя истинное соотношение сил.

7

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТЫХ СЛОВ (окончание)

Старинный собор в Амстердаме

С одной стороны улицы — дома, и за их большими окнами нижнего этажа, похожими на витрины магазинов, маленькие комнатки проституток, что сидят в одном белье у самых стекол в креслицах, выстланных подушками. Они напоминают больших скучающих кошек.

Другую сторону улицы занимает огромный готический собор четырнадцатого века.

Между миром проституток и миром Божьим, как река меж двумя империями, разливается резкий запах мочи.

От старого готического стиля внутри собора остались лишь высокие голые белые стены, колонны, свод и окна. На стенах — ни одной картины, нигде ни одной статуи. Собор пуст, как спортивный зал. Лишь посреди него большим четырехугольником расставлены ряды стульев, окружающих миниатюрный помост со столом для проповедника. Позади стульев — деревянные кабины, ложи для богатых семейств горожан.

Эти стулья и ложи стоят здесь без учета формы стен и расположения колонн, словно возжелали выразить готической архитектуре свое равноду-

шие и презрение. Уже столетия назад кальвинистская вера превратила собор в обыкновенный ангар, единственным назначением которого стало оберегать молитву верующих от дождя и снега.

Франц был очарован: этим огромным залом прошел Великий Поход истории.

Сабина вспомнила, как после коммунистического переворота у нее на родине были национализированы все замки и превращены в ремесленные училища, в дома для престарелых или просто в коровники. В один такой коровник случилось ей заглянуть: в лепные стены были вбиты крюки с железными кругами, а к ним привязаны коровы, мечтательно глядевшие из окон в замковый парк, где бродили куры.

Франц сказал: — Эта пустота очаровывает меня. Люди нагромождают алтари, скульптуры, картины, стулья, кресла, ковры, книги, а потом приходит минута радостного облегчения, когда они сметают все это, как мусор со стола. Ты можешь представить себе Геркулесову метлу, которая вымела бы этот собор?

Сабина указала на деревянную ложу: — Бедные должны были стоять, а богатые сидели в ложах. Но существовало нечто, что связывало банкира и бедняка: ненависть к красоте.

— Что такое красота? — сказал Франц, и перед его глазами всплыл недавний вернисаж, на который ему пришлось сопровождать свою жену. Бесконечная тщета речей и слов, тщета культуры, тщета искусства.

Когда Сабина еще студенткой работала на молодежной стройке, бодрые марши, постоянно звучавшие из репродукторов, так травили ей душу, что однажды в воскресенье она села на мотоцикл и умчалась далеко в горы. Остановилась в незнакомой деревеньке, затерянной среди холмов. Приставила мотоцикл к стене храма и вошла внутрь. Как раз служили мессу. Религия тогда преследовалась режимом, и большинство людей избегало ходить в церковь. На скамьях сидели одни старики и старушки, ибо режима они уже не боялись. Боялись только смерти.

Священник певучим голосом произносил фразу, а люди повторяли ее за ним хором. Это были литании. Одни и те же слова всякий раз возвращались, точно странник, который не может оторвать глаз от пейзажа, или как человек, который не в силах расстаться с жизнью. Она сидела сзади на скамье и то закрывала глаза, чтобы слышать лишь эту музыку слов, то снова их открывала: вверху она видела голубой свод и на нем большие золотые звезды. Она была очарована.

То, что она неожиданно встретила в храме, был не Бог, а красота. Притом она хорошо понимала, что этот храм и эти литании были прекрасны не сами по себе, а именно в сочетании с молодежной стройкой, на которой она проводила дни в гуле песен. Месса была прекрасна потому, что явилась ей внезапно и тайно, как отверженный мир.

С той поры она знала, что красота — это отверженный мир. Мы можем встретить ее лишь тогда, когда гонители по ошибке забудут о ней. Красота спрятана за кулисой первомайского шествия. Если мы хотим найти ее, мы должны разорвать холст декорации.

— Впервые в жизни храм меня так завораживает,— сказал Франц.

Однако восхищение пробудил в нем не дух протестантизма или аскетизма, а нечто другое, нечто совсем особое, о чем он не решался сказать Сабине. Ему казалось, что он слышит голос, который призывает его взять в руку Геркулесову метлу и вымести из своей жизни вернисажи Марии-Клод, певцов Марии-Анн, конгрессы и симпозиумы, пустые речи, пустые слова. Огромный пустой простор амстердамского собора явился ему как образ собственного освобождения.

Сила

В постели одного из многих отелей, где они отдавались любви, Сабина гладила руки Франца и говорила: — Поразительно, какие у тебя мускулы.

Франца порадовала ее похвала. Он встал с постели, взял тяжелый дубовый стул за ножку у самого пола и начал медленно поднимать кверху.

— Тебе бояться нечего,— сказал он,— я защищу тебя при любых обстоятельствах. Я когда-то участвовал в соревнованиях по дзюдо.

Ему удалось, распрямив руку, поднять стул над головой, и Сабина сказала: — Приятно видеть, что ты такой сильный.

Но про себя она добавила еще вот что: Франц сильный, но его сила устремлена лишь вовне. По отношению к людям, с которыми он живет, которых любит, он слаб. Слабость Франца называется добротой. Франц никогда не смог бы ничего приказать Сабине. Он никогда не потребовал бы от нее, как некогда Томаш, положить на пол зеркало и ходить по нему обнаженной. И не то чтобы ему недоставало чувственности, ему недостает силы приказывать. Существуют вещи, которые можно осуществить только насилием. Телесная любовь немыслима без насилия.

Сабина смотрела, как Франц ходит по комнате с высоко поднятым стулом, и это зрелище представлялось ей гротесковым; на нее нашла странная грусть.

Франц поставил стул против Сабины, сел на него и сказал: — Мне совсем неплохо от того, что я сильный, но к чему в Женеве мои мускулы? Я ношу их как орнамент. Как павлиньи перья. Я ни с кем в жизни не дрался.

Сабина продолжала предаваться своим меланхолическим думам: А что, если бы у нее был мужчина, который бы ей приказывал? Долго ли бы она его вынесла? И пяти минут было бы много! Стало быть, ее не устроит ни один мужчина. Ни сильный, ни слабый.

Сабина сказала: — Почему ты никогда не воспользуешься своей силой против меня?

— Потому что любить — значит отказаться от силы,— ответил Франц тихо.

Сабина поняла две вещи: во-первых, эта фраза прекрасна и правдива; во-вторых, этой фразой Франц дисквалифицирует себя в ее эротической жизни.

Жить в правде

Это формула, которую использовал Кафка то ли в своем дневнике, то ли в одном из писем. Франц уже не помнит где. Формула заинтересовала его. Что это, жить в правде? Определить это через отрицание несложно: это значит не лгать, не прятаться, ничего не утаивать. С тех пор как Франц узнал Сабину, он живет во лжи. Он рассказывает жене о конгрессе в Амстердаме и о лекциях в Мадриде, которых и в помине не было, и боится пройтись с Сабиной по женевской улице. И ему даже нравится лгать и скрываться, поскольку он никогда прежде не делал этого. Он приятно возбужден, словно первый ученик в классе, набравшийся смелости хоть раз в жизни прогулять уроки.

Для Сабины «жить в правде», не лгать ни себе, ни другим, возможно лишь при условии, что мы живем без зрителей. В минуту, когда к нашему поведению кто-то приглядывается, мы волей-неволей приспосабливаемся к наблюдающим за нами глазам и уже все, что бы мы ни делали, перестает быть правдой. Иметь зрителей, думать о зрителях — значит жить во лжи. Сабина ни в грош не ставит литературу, где авторы обнажают всю подноготную своей жизни и жизни своих друзей. Человек, утрачивающий свое сокровенное, утрачивает все, думает Сабина. А человек, который избавляется от него добровольно, не иначе как монстр. Поэтому Сабина вовсе не страдает от того, что ей приходится утаивать свою любовь. Напротив, лишь так она может «жить в правде».

Франц, напротив, уверен, что в разделении жизни на частную и общественную сферу заключен источник всяческой лжи: в частной жизни человек один, а в общественной — совсем другой. «Жить в правде» для него значит разрушить барьер между частным и общественным. Франц любит цитировать Андре Бретона, сказавшего, что он хотел бы жить в «стеклянном доме», где нет никаких тайн и куда дозволено заглянуть каждому.

Услыхав, как его жена объявила Сабине: «Безобразная подвеска!», он понял, что дальше жить во лжи он не может. В ту минуту ему, естественно,

полагалось бы заступиться за Сабину. Но он не сделал этого лишь потому, что боялся выдать их тайную близость.

Назавтра после коктейля он предполагал уехать с Сабиной на два дня в Рим. В ушах у него все еще звучала фраза: «Безобразная подвеска!», заставившая его увидеть свою жену совсем в ином свете, чем в прошлые годы. Ее агрессивность, неуязвимая, шумная и темпераментная, снимала с его плеч бремя доброты, которое он терпеливо нес все двадцать три года супружества. Он вспомнил огромный внутренний простор старинного собора в Амстердаме и снова почувствовал особый, непостижимый восторг, какой пробуждала в нем его пустота.

Он упаковывал свой саквояж, когда в комнату к нему вошла Мария-Клод; рассказывая о вчерашних гостях, она категорично одобряла одни суждения, услышанные от них, и с издевкой отметала другие.

Франц долго смотрел на нее, а потом сказал: — В Риме не будет никакой конференции.

Она поняла не сразу: — Тогда зачем ты туда едешь?

Он сказал: — Уже девять месяцев, как у меня любовница. Я не хочу встречаться с нею в Женеве. Вот почему так часто разъезжаю. Я подумал, что ты должна об этом знать.

После первых произнесенных слов он испугался; изначальная смелость покинула его. Он отвел глаза, чтобы не видеть на лице Марии-Клод отчаяния, которое предполагал вызвать у нее своими словами.

После небольшой паузы раздалось: — Да, я тоже думаю, что мне надо об этом знать.

Голос звучал уверенно, и Франц поднял глаза: Мария-Клод не выглядела уничтоженной. Она по-прежнему походила на ту женщину, которая вчера громким голосом сказала: «Безобразная подвеска!»

Она продолжала: — Коль уж ты набрался храбрости сообщить мне, что девять месяцев обманываешь меня, можешь сказать хотя бы с кем?

Он всегда убеждал себя, что не имеет права оскорбить Марию-Клод и должен уважать в ней женщину. Но куда девалась эта женщина в Марии-Клод? Иными словами, куда делся образ матери, который он связывал со своей женой? Мама, его грустная и израненная мама, у которой на ногах были разные туфли, ушла из Марии-Клод, а может, вовсе и не ушла из нее, ибо в ней никогда не была. Он осознал это с внезапной ненавистью.

— У меня нет никакой причины это утаивать,— сказал он.

Если ее не ранила его неверность, то наверняка ее ранит весть о том, кто ее соперница. И потому, глядя ей прямо в лицо, он стал говорить о Сабине.

Чуть позже он встретился с Сабиной на аэродроме. Самолет взмыл вверх, и ему с каждой минутой становилось легче. Он говорил себе, что по истечении девяти месяцев он наконец снова живет в правде.

8

Сабине казалось, будто Франц грубо взломал двери ее интимности. Будто вдруг просунулась внутрь голова Марии-Клод, голова Марии-Анн, голова художника Алана и скульптора, постоянно сжимавшего палец, головы всех тех, кого она знала в Женеве. Вопреки своей воле она становится соперницей женщины, которая ее вовсе не занимает. Франц наконец разведется, и она займет место рядом с ним на широкой супружеской кровати. Все будут издали или вблизи наблюдать за этим, и ей придется на людях разыгрывать комедию; вместо того чтобы быть Сабиной, она будет вынуждена играть роль Сабины и еще придумывать, как играть эту роль. Обнародованная любовь тяжелеет, становится бременем. Сабина уже заранее съеживалась в ощущении этой воображаемой тяжести.

Они ужинали в римском ресторане и пили вино. Она была молчалива.

— Ты правда не сердишься? — спрашивал Франц.

Она уверила его, что не сердится. Она все еще была растеряна и не знала, радоваться ли ей или нет. Вспомнила их встречу в спальном вагоне

поезда на пути в Амстердам. Тогда ей хотелось пасть перед ним на колени и умолять его даже силой держать ее при себе и никуда не отпускать. Она мечтала, чтобы уж раз и навсегда кончилась эта опасная дорога предательства. Она мечтала остановиться.

Теперь она старалась вспомнить как можно явственнее свою тогдашнюю мечту, воскресить ее, опереться на нее. Тщетно. Ощущение неприязни было сильнее.

Возвращались они в отель вечерней улицей. Итальянцы вокруг шумели, кричали, жестикулировали, и потому они могли идти рядом без слов, даже не слыша своего молчания.

Потом Сабина долго умывалась в ванной, а Франц ждал ее под одеялом. По обыкновению горела маленькая лампочка.

Сабина пришла из ванной и погасила ее. Сделала она это впервые, и Францу полагалось бы заметить этот жест. Но он не обратил на него достаточного внимания, ибо свет не имел для него значения. Как мы знаем, он предпочитал заниматься любовью с закрытыми глазами.

Но именно эти закрытые глаза и заставили Сабину погасить лампочку. Ей уже ни на миг больше не хотелось видеть этих опущенных век. В глазах, говорится, и душа как в окне видна. Тело Франца, что всегда металось на ней с закрытыми глазами, было для нее телом без души. Оно напоминало слепого кутенка, беспомощно попискивающего от жажды. Мускулистый Франц в соитии был точно огромный щенок, сосущий ее грудь. Да он и вправду держал во рту ее сосок, словно сосал молоко! Этот образ Франца, зрелого мужчины внизу и кормящегося грудью детеныша наверху, вызывал в ней чувство, будто она совокупляется с грудным младенцем, чувство, граничащее с омерзением. Нет, она уже никогда не захочет видеть, как он отчаянно бьется на ней, нет, она уже никогда не подставит своей груди, как сука щенку, сегодня это в последний раз, в последний раз — бесповоротно!

Она, конечно, понимала, что ее решение — верх несправедливости, что Франц самый лучший из всех мужчин, какие ей встречались в жизни: он интеллигентен, разбирается в ее живописи, красивый, добрый, но чем больше она сознавала это, тем больше тянуло ее изнасиловать эту интеллигентность, эту добросердечность, тянуло изнасиловать эту беспомощную силу.

Она любила его в эту ночь яростнее, чем когда-либо прежде, ибо ее возбуждало сознание, что это в последний раз. Она любила его, но была уже где-то далеко отсюда. Она уже снова слышала, как вдали звучит золотой горн предательства, и знала, что это голос, перед которым ей не устоять. Ей казалось, что перед нею еще необозримый простор свободы, и его ширь возбуждала ее. Она любила Франца так исступленно, так дико, как никогда не любила его.

Франц всхлипывал на ее теле и был уверен, что все понимает: Сабина за ужином была молчалива и ни слова не сказала о его решении, зато сейчас она отвечает ему. Сейчас она выражает ему свою радость, свою страсть, свое согласие, свое желание навсегда остаться с ним.

Он казался себе всадником, скачущим на коне в великолепную пустоту, пустоту без супруги, без дочери, без домашних обязанностей, в великолепную пустоту, выметенную Геркулесовой метлой, в великолепную пустоту, которую заполонит своей любовью.

Каждый из них скакал на другом, как на коне, и оба мчались в дали своей мечты. Оба были опьянены предательством, которое освободило их. Франц скакал на Сабине и предавал свою жену, Сабина скакала на Франце и предавала Франца.

9

На протяжении более двадцати лет он видел в жене свою мать, существо слабое, нуждающееся в защите; этот образ слишком укоренился в нем, чтобы суметь избавиться от него за каких-то два дня. Возвращаясь домой, он мучился угрызениями совести, боялся, что после его отъезда жена впала в отчаяние и что он найдет ее истомленной печалью. Он робко

открыл дверь и прошел в свою комнату. Постоял тихо, прислушался: да, она была дома. После минутного колебания он пошел по обыкновению поздороваться с ней.

В наигранном удивлении она подняла брови и сказала: — Ты *пришел сюда?*

«А куда я должен был идти?» — хотелось ему спросить (в удивлении неподдельном), но он не сказал ни слова.

Она продолжала: — Между нами все должно быть ясно. Я ничего не имею против того, чтобы ты переехал к ней, причем немедля.

Когда в день отъезда он во всем признался ей, у него не было никакого определенного плана действий. Он настроен был по возвращении домой обсудить все их дела в дружеской обстановке и тем смягчить нанесенную ей обиду. Он никак не рассчитывал на то, что Мария-Клод сама станет холодно и упорно настаивать на его уходе.

Это, конечно, облегчало его положение, однако не избавляло от разочарования. Всю жизнь, боясь ранить ее, он добровольно подчинял себя дисциплине отупляющей моногамии, и сейчас, после двадцати лет, он вдруг обнаруживает, что его расчеты были совершенно не нужны и что он поступился другими женщинами лишь по нелепому недоразумению!

После обеда у него была лекция, а затем он пошел прямо к Сабине. Хотел попросить ее разрешить ему остаться у нее на ночь. Позвонил, но ему никто не открыл. Он зашел в кабачок напротив и долго смотрел на подъезд ее дома.

Был уже поздний вечер, и он не знал, что делать. Всю жизнь он спал с Марией-Клод в одной кровати. Если сейчас он вернется домой, куда ему лечь? Он, конечно, мог бы постелить себе на тахте в соседней комнате. Но не покажется ли этот жест чересчур вызывающим? Не будет ли это выглядеть проявлением враждебности? Он ведь хочет и впредь оставаться другом своей жены! Однако улечься рядом тоже было бы дикостью. Он уже мысленно слышал ее вопрос, почему он не отдает предпочтения Сабининому ложу. И он нашел номер в гостинице.

Назавтра он столь же тщетно звонил у Сабининых дверей в течение целого дня.

На третий день он зашел к консьержке. Не сумев ничего объяснить ему сама, она направила его к хозяйке, сдававшей Сабине мастерскую. Он позвонил ей и узнал, что Сабина еще позавчера выехала из мастерской.

Он наведывался еще несколько дней к Сабининому дому, надеясь застать ее там, пока однажды не нашел квартиру открытой, а в ней — трех мужчин в синих спецовках, которые грузили мебель и картины в большой фургон, стоявший перед домом.

Он спросил их, куда повезут мебель.

Они ответили, что у них есть строгий наказ держать адрес в секрете.

Он уж было хотел сунуть им несколько банкнот и все-таки узнать этот секрет, как внезапно почувствовал, что у него нет для этого сил. Печаль совершенно оглушила его. Он ничего не понимал, ничего не мог объяснить, он знал лишь одно: этот удар он ожидал с первой минуты, как встретил Сабину. Случилось то, что должно было случиться. Франц не защищался.

Он подыскал для себя маленькую квартирку в старом городе. В часы, когда, по его убеждению, ни дочери, ни жены не было дома, он зашел в свою бывшую квартиру взять одежду и самые необходимые книги. Причем мучительно остерегался взять то, чего впоследствии могло бы недоставать Марии-Клод.

Однажды он увидел ее за окном кофейни. Она сидела там еще с двумя дамами, и ее лицо, давно изборожденное от необузданной мимики морщинами, было в состоянии крайнего возбуждения. Дамы слушали ее и не переставая смеялись. Франц не мог избавиться от впечатления, что она рассказывает о нем. Ей было несомненно известно, что Сабина исчезла из Женевы в то самое время, когда Франц решил соединиться с ней. Поистине

смешная история! И надо ли было удивляться, что он стал предметом насмешек для приятельниц его жены.

Он вернулся в свою новую квартиру, куда каждый час доносился колокольный звон собора Сен Пьер. Как раз в тот день ему привезли из магазина стол. Он забыл о Марии-Клод и ее приятельницах. Забыл на время и о Сабине. Сел к столу. Радовался, что сам его выбрал. Все двадцать лет он жил среди мебели, которую не выбирал. Всем управляла Мария-Клод. Наконец-то он перестал чувствовать себя мальчиком и зажил по своему усмотрению.

На следующий день, пригласив столяра, он заказал ему книжные полки, какие уже не одну неделю вычерчивал, рассчитывал и обдумывал, где поставить.

И он вдруг с изумлением обнаружил, что вовсе не так уж несчастен. Физическая близость с Сабиной оказалась для него менее важной, чем он предполагал. Много важнее был для него тот золотой, тот волшебный след, который она оставила в его жизни и который никому не удастся отнять. Прежде чем исчезнуть с его горизонта, она успела вложить ему в руку Геркулесову метлу, коей он вымел из своей жизни все, чего не любил. Неожиданное счастье, спокойствие, радость свободы и новой жизни — это был дар, который она поднесла ему.

Впрочем, Франц всегда отдавал предпочтение нереальному перед реальным. И насколько он чувствовал себя лучше в колонне демонстрантов (что, как я сказал, всего лишь театр и сон), чем за кафедрой, откуда читал лекции студентам, настолько он был счастливее с Сабиной, претворившейся в незримую богиню, чем с Сабиной, которая сопровождала его по свету и за любовь которой он постоянно опасался. Подарив ему нежданную свободу мужчины, живущего в одиночестве, она тем самым окружила его и ореолом привлекательности. Он вдруг стал притягивать женщин; одна из его студенток влюбилась в него.

И так внезапно, в течение немыслимо короткого времени, совершенно изменился обиход его жизни. Еще недавно обитавший в большой буржуазной квартире со служанкой, дочерью и супругой, он теперь занимает маленькую квартирку в старом городе и чуть ли не каждый вечер проводит с молодой любовницей. Ему не нужно ездить с ней по гостиницам мира, он может любить ее в собственном доме, на собственной постели, в присутствии своих книг и своей пепельницы на ночном столике.

Девушка не была ни дурна, ни хороша собой, но зато настолько моложе Франца! И восхищалась им так же, как еще совсем недавно он восхищался Сабиной. Естественно, это отнюдь не тяготило его. И если замену Сабины очкастой студенткой он мог, пожалуй, считать неким падением, доброты его хватало на то, чтобы окружить новую любовницу нежностью и поистине отцовской любовью, кстати, не полностью удовлетворенной, ибо Мария-Анни вела себя не как дочь, а скорее как вторая Мария-Клод.

Однажды он наведался к своей жене и сказал ей, что хотел бы снова жениться.

Мария-Клод покачала головой.

— Развод ничего не изменит! Ты ничего от этого не потеряешь! Я оставляю тебе все имущество!

— Имущество не волнует меня! — сказала она.

— А что же волнует тебя?

— Любовь,— улыбнулась она.

— Любовь? — удивился он.

— Любовь есть борьба,— продолжала улыбаться Мария-Клод.— Я буду бороться долго. До самого конца.

— Любовь — борьба? У меня нет ни малейшего желания бороться,— сказал Франц и ушел.

10

После четырех лет, проведенных в Женеве, Сабина поселилась в Париже, но не могла спастись от уныния. Если бы ее спросили, что произошло с ней, она не нашла бы для ответа слов.

Жизненную драму всегда можно выразить метафорой тяжести. Мы говорим: на нас навалилась тяжесть. Мы вынесем эту тяжесть или не вынесем, рухнем под нею или поборемся, проиграем или победим. Но что, в сущности, случилось с Сабиной? Ничего. Она покинула одного мужчину, поскольку хотела его покинуть. Преследовал он ее впоследствии? Мстил ей? Нет. Ее драма была не драмой тяжести, а легкости. На Сабину навалилась вовсе не тяжесть, а невыносимая легкость бытия.

До сих пор предательство наполняло ее возбуждением и радостью от того, что перед нею расстилается новая дорога и в конце ее — новый вираж предательства. Но что, если однажды эта дорога кончится? Можно предать родителей, мужа, любовь, родину, но когда уже нет ни родителей, ни мужа, ни любви, ни родины, что еще остается предать?

Сабина ощущает вокруг себя пустоту. А что, если именно эта пустота была целью всех ее предательств?

Естественно, до сих пор она не осознавала этого: цель, которую человек преследует, всегда скрыта. Девушка, мечтающая о замужестве, грезит о чем-то совершенно для нее неведомом. Молодой человек, жаждущий славы, не знает, что такое слава. То, что дает смысл нашим поступкам, всегда для нас нечто тотально неведомое. И Сабина также не знала, какая цель скрывается за ее жаждой предательств. Невыносимая легкость бытия — это ли цель? По отъезде из Женевы Сабина значительно к ней приблизилась.

Она жила уже три года в Париже, когда получила письмо из Чехии. Писал ей сын Томаша. Каким-то образом узнав о ней, он нашел ее адрес и обратился к ней как к «самой близкой подруге» отца. Сообщил ей о смерти Томаша и Терезы. Писал, что в последние годы они жили в деревне, где Томаш работал водителем пикапа. Время от времени они вместе ездили в соседний город и останавливались там на ночь в дешевой гостинице. Дорога туда шла серпантином через взгорки, и пикап рухнул с высокого откоса. Их тела разнесло вдребезги. Полиция задним числом установила, что тормоза были катастрофически изношены.

Сабина не могла прийти в себя после этого известия. Последняя нить, которая еще связывала ее с прошлым, была оборвана.

По старой привычке ей захотелось для успокоения прогуляться по кладбищу. Ближайшим было Монпарнасское кладбище. Оно все состояло из хрупких домишек — миниатюрных часовенок, возведенных над каждой могилой. Сабина понять не могла, почему мертвым хочется иметь над собой эту имитацию дворцов. Кладбище, по сути, было тщеславием, обращенным в камень. Вместо того чтобы после смерти стать разумнее, его обитатели оказывались еще более безрассудными, чем при жизни. На памятниках они демонстрировали свою значимость. Здесь покоились не отцы, братья, сыновья или бабушки, а сановники и общественные деятели, обладатели званий, чинов и почестей; почтовый чиновник и тот выставлял напоказ свое положение, свое общественное значение — свое достоинство.

Бродя по кладбищу, она заметила в стороне от аллеи группу людей, собравшихся для похорон. Церемониймейстер держал полную охапку цветов и каждому провожавшему покойного давал по одному цветку. Дал и Сабине. Она присоединилась к процессии. Обогнув несколько памятников, все пошли к могиле, с которой был отвален надгробный камень. Сабина наклонилась над ней. Она была бездонно глубокой. Сабина бросила цветок, и он легкими кругами опустился на гроб. В Чехии таких глубоких могил не бывает. А в Париже могилы столь же глубоки, сколь высоки дома. Взгляд ее упал на камень, лежавший отваленным возле могилы. Камень наполнил ее ужасом; она поспешила домой.

Целый день мысль об этом камне не покидала ее. Почему он так ее ужаснул?

Она попыталась ответить себе: если могила прикрыта камнем, мертвый уже никогда не сможет выбраться из нее.

Но мертвый из нее так или иначе не выберется! Стало быть, не все ли равно, прикрыт он землей или камнем?

Нет, не все равно: когда мы заваливаем могилу камнем, это значит, мы не хотим, чтобы мертвый вернулся. Тяжелый камень говорит мертвому: «Останься там, где ты есть!»

Сабина вспомнила могилу отца. Над его гробом земля, из земли растут цветы и клен, протягивающий к гробу свои корни; и можно представить себе, что по этим корням и цветам мертвый выбирается из могилы наружу. Если бы отец был прикрыт камнем, она никогда уже не смогла бы разговаривать с ним после его кончины, никогда не смогла бы услышать в кроне дерева его голос, который посылал ей прощение.

Как выглядит кладбище, где лежат Тереза с Томашем?

Она снова начала о них думать. Подчас они ездили в соседний городок и проводили там ночь. Эта деталь заинтересовала ее. Она свидетельствовала о том, что они были счастливы. Сабина вновь представила себе Томаша, как если бы он был одним из ее холстов: на переднем плане Дон Жуан точно мнимая декорация, написанная художником-примитивистом; в трещине этой декорации виден Тристан. Томаш погиб как Тристан, но не как Дон Жуан. Сабинины родители умерли в одну и ту же неделю. Томаш с Терезой в одну и ту же секунду. Она неожиданно затосковала по Францу.

Когда она рассказывала ему о своих блужданиях по кладбищам, он передергивался от отвращения и называл кладбище свалкой костей и каменьев. В такие минуты между ними открывалась пропасть непонимания. Только здесь, на Монпарнасском кладбище, она поняла, что он имел в виду. Ей жаль, что она была нетерпима. Быть может, останься они вместе подольше, они постепенно начали бы понимать произнесенные ими слова. Их словари стыдливо и медленно приблизились бы друг к другу, как излишне робкие любовники, и музыка одного из них начала бы переплетаться с музыкой другого. Но уже поздно.

Да, поздно, и Сабина знает, что в Париже она не останется, что пойдет дальше, еще дальше, потому что умри она здесь, ее завалили бы камнем, а для женщины, нигде не находящей пристанища, невыносимо представить себе, что ее бегство будет навсегда остановлено.

11

Все друзья Франца знали о Марии-Клод, все знали и о его студентке в огромных очках. Только о Сабине никто не знал. Франц ошибался, думая, что о ней рассказывала его жена своим приятельницам в кофейне. Сабина была красивой женщиной, и Марии-Клод совсем не улыбалось, чтобы люди мысленно сравнивали их лица.

Боясь выдать их тайну, Франц ни разу не попросил у Сабины ни картины, ни рисунка, ни даже ее фотографии. И случилось так, что она исчезла из его мира бесследно. Не осталось ни одного осязаемого доказательства, что он провел с ней самый дивный год своей жизни.

Тем больше ему нравилось сохранять ей верность.

Когда он со своей молодой любовницей оказывается в комнате наедине, она нет-нет да и оторвется от книги и уставит пытливый взгляд на него.

— О чем ты думаешь? — спрашивает она.

Франц сидит в кресле, воздев глаза к потолку. Что бы он ни ответил ей, ясно одно: он думает о Сабине.

Когда он публикует статью в специальном журнале, его студентка — первый читатель, и ей ужасно хочется поговорить с ним на эту тему. Но он думает о том, как отнеслась бы к статье Сабина. Все, что он делает, он делает ради Сабины и делает так, чтобы Сабине понравилось.

Это очень невинная измена, и она точно скроена по размеру Франца, который никогда не посмел бы обидеть свою очкастую студентку. Культ Сабины он лелеет в себе, скорее, как религию, чем как любовь.

Впрочем, из теологии этого вероисповедания вытекает, что его молодая любовница была ему послана именно Сабиной. Поэтому между его земной и неземной любовью царит абсолютный мир. И если таки неземная любовь содержит обязательно (поскольку она неземная) значительную долю необъяснимого и непонятного (вспомним словарь непонятых слов, сей длинный список недопониманий!), его земная любовь основана на истинном понимании.

Студентка много моложе Сабины, музыкальная композиция ее жизни едва набросана, и она с благодарностью включает в нее мотивы, позаимствованные у Франца. Великий Поход — и ее вероисповедание. Музыка для нее, как и для него, дионисийское опьянение. Они часто ходят вместе танцевать. Они живут в правде, и все, что бы ни делали, ни для кого не должно быть тайной. Они тянутся к обществу друзей, коллег, студентов и вовсе незнакомых людей, они любят посидеть с ними, выпить и поболтать. Они нередко отправляются на прогулки в Альпы. Франц нагибается, девушка вскакивает ему на спину, и он бегает с ней по лугам, выкрикивая вдобавок длинное немецкое стихотворение, какому в детстве его научила мама. Девушка смеется и, обхватив его за шею, восхищается его ногами, плечами и легкими.

И разве что смысл той особой симпатии, которую Франц питает к стране, оккупированной русской империей, от нее ускользает. В годовщину вторжения одно чешское общество устраивает в Женеве вечер воспоминаний. В зале мало народу. У оратора седые, завитые парикмахером волосы. Он произносит долгую речь, навевающую скуку и на тех немногих энтузиастов, которые пришли его послушать. Говорит он по-французски без ошибок, но с чудовищным акцентом. Время от времени, желая подчеркнуть свою мысль, он поднимает указательный палец, как бы угрожая присутствующим.

Очкастая девушка сидит рядом с Францем и превозмогает зев. Зато Франц блаженно улыбается. Он смотрит на седовласого мужа, который симпатичен ему даже со своим диковинным указательным пальцем. Ему кажется, что этот мужчина — тайный посланник, ангел, что поддерживает связь между ним и его богиней. Он закрывает глаза, как закрывал их на Сабинином теле в пятнадцати европейских и одном американском отеле.

Часть четвертая
ДУША И ТЕЛО

1

Вернувшись в полвторого ночи, Тереза прошла в ванную, надела пижаму и легла возле Томаша. Он спал. Она наклонилась над его лицом и, целуя, уловила в его волосах странный запах. Принюхалась к ним еще и еще раз. Обнюхивая его, словно собака, она наконец поняла: это был запах женского лона.

В шесть часов зазвонил будильник. Начиналось время Каренина. Он просыпался немного раньше, чем они, но тревожить их не осмеливался. Терпеливо ждал звонка, дававшего ему право вспрыгнуть к ним на постель, ступать по их телам и тыкаться в них головой. Когда-то в прошлом они пытались сопротивляться ему и сбрасывали его с постели, но он был упрямее их и в конце концов отстоял свои права. Впрочем, в последнее время Терезе было даже приятно осознавать, что Каренин зовет ее войти в день. Для него минута пробуждения была настоящим счастьем: полный наивного и глупого удивления, что вновь живет на свете, он искренно радовался. Она же, напротив, просыпалась без удовольствия, мечтая продлить ночь и не открывать глаз.

Сейчас Каренин стоял в передней и смотрел вверх на вешалку, где висел его ошейник с поводком. Тереза застегнула ему на шее ошейник, и они

вместе отправились в магазин. Она купила молока, хлеба, масла и неизменный рогалик для него. Обратно он шел рядом с ней и нес рогалик во рту. Он гордо глядел по сторонам и, должно быть, испытывал большое удовлетворение, что привлекает внимание прохожих.

Дома он ложился с рогаликом на пороге комнаты и ждал, когда Томаш заметит его и, согнувшись в три погибели, начнет ворчать и делать вид, что хочет отнять у него рогалик. Это происходило каждый день: минут пять, по крайней мере, они гонялись по квартире, пока Каренин не залезал под стол и вмиг не уплетал свой рогалик.

Но на этот раз он тщетно добивался утренней церемонии. Перед Томашем на столе стоял маленький транзистор, и он весь обратился в слух.

2

По радио шла передача о чешской эмиграции. Это был монтаж тайно подслушанных частных разговоров, записанных каким-то чешским сексотом, что втерся в среду эмигрантов и затем с великой помпой вернулся в Прагу. Это была малозначащая болтовня, в которой время от времени проскакивало острое словцо об оккупационном режиме в Чехословакии, а также фразы, в каких один эмигрант обзывал другого идиотом или мошенником. Но в репортаже именно эти фразы занимали основное место: они призваны были доказать не только то, что люди дурно говорят о Советском Союзе (в Чехии это никого не поражало), но что они и поносят друг друга, не гнушаясь при этом самой грубой брани. Удивительно, люди сквернословят с утра до вечера, но если они слышат по радио, как выражается знакомый, уважаемый человек, как он после каждой фразы вставляет «иди в жопу», то чувствуют себя глубоко оскорбленными.

— Все началось с Прохазки,— сказал Томаш, вслушиваясь в передачу.

Ян Прохазка, чешский романист, обладавший в свои сорок бычьей жизнестойкостью, еще до 1968 года взялся громогласно критиковать общественные порядки в стране. Он был одной из самых популярных фигур «Пражской весны», той самой головокружительной либерализации коммунизма, которая завершилась русским вторжением. Вскоре после вторжения все газеты затеяли травлю Прохазки, но чем больше науськивали на него людей, тем больше люди любили его. Шел 1970 год, и по радио начали передавать целый цикл частных разговоров, которые Прохазка вел два года назад (то бишь весной 1968) с университетским профессором Вацлавом Черным. Тогда никто из них и думать не думал, что в профессорской квартире вмонтировано подслушивающее устройство и что за каждым их шагом уже давно установлена слежка! Прохазка всегда любил потешать своих друзей разного рода гиперболами и несуразностями, и сейчас эти несуразности определенными порциями звучали по радио. Тайная полиция, организовавшая передачу, делала особый упор на те фразы, в которых романист смеялся над своими друзьями — над Дубчеком, например. Люди, хоть сами и песочат своих друзей при всяком удобном случае, теперь возмущались любимым Прохазкой больше, чем тайной полицией.

Томаш выключил радио и сказал: — Тайная полиция существует повсюду на свете. Но чтобы передавать свои ленты публично по радио — такого, пожалуй, не существует нигде, кроме Чехии! Нет ничего равного этому!

— Как бы не так,— сказала Тереза,— когда мне было четырнадцать, я тайно писала дневник. Меня охватывал ужас при мысли, что он может попасть кому-то в руки. Я прятала его на чердаке. Мама выследила. Однажды за обедом, когда мы все сидели, склонившись над супом, она вытащила его из кармана и сказала: «Ну-ка послушайте!» И стала читать, и вслед за каждой фразой прыскала со смеху. Все смеялись так, что даже есть не могли!

3

Он все пытался уговорить ее позволить ему завтракать одному, а самой продолжать спать. Тереза не поддавалась на уговоры. Томаш работал с семи до четырех, а она — с четырех до полуночи. Не завтракай она с ним, они могли бы общаться друг с другом только по воскресеньям. Поэтому она вставала одновременно с ним и лишь после его ухода, снова ложась, засыпала.

На этот раз она боялась уснуть, ибо в десять часов собралась сходить в сауну, что в деревянной купальне на Жофинском острове. Желающих было много, места мало, и можно было попасть туда разве что по знакомству. В кассе, к счастью, сидела жена профессора, выброшенного после 1968 года из университета. Профессор был другом бывшего пациента Томаша. Томаш сказал пациенту, пациент — профессору, профессор — жене, и Терезу всегда раз в неделю ждал отложенный билет.

Тереза шла пешком. Она ненавидела трамваи, вечно битком набитые, где в объятиях, полных ненависти, теснились люди, оттаптывали друг другу ноги, срывали с пальто пуговицы и бранились на чем свет стоит.

Моросило. Поспешавшие прохожие раскрыли над головой зонтики, и на тротуарах сразу вдруг началась толчея. Своды зонтиков натыкались один на другой. Мужчины были вежливы и, проходя мимо Терезы, поднимали зонт высоко над головой, чтобы она смогла пройти под ним. Но женщины не уступали дороги. Они сурово смотрели перед собой, и каждая ждала, что встречная признает себя более слабой и посторонится. Встреча зонтов была испытанием сил. Тереза сначала уступала дорогу, но поняв, что ее вежливость остается без взаимности, сжала зонт в руке так же крепко, как и другие. Случалось, она резко налетала зонтом на встречный, но никто ни разу не сказал «извините». По большей части не раздавалось ни единого слова, раза два-три она услышала «корова!» и «пошла в задницу!».

Женщины, вооруженные зонтами, были молодыми и старыми, но самыми суровыми воительницами оказались как раз молодые. Тереза вспомнила дни вторжения. Девушки в мини-юбках ходили с национальными флагами на шестах. Это было неким сексуальным покушением на солдат, обреченных на многолетнюю половую аскезу. Они, должно быть, чувствовали себя в Праге, как на планете, выдуманной писателями-фантастами, на планете невообразимо элегантных женщин, которые демонстративно выражали свое презрение, вышагивая на длинных красивых ногах, каких не увидишь в России последние пять или шесть столетий.

Тереза сделала тогда массу снимков этих молодых женщин на фоне танков. Она восхищалась ими! А сегодня те же самые женщины шли против нее, дерзкие и злые. Вместо флагов они держали зонты, но держали их с той же гордостью. Они готовы были бороться против чужой армии так же упорно, как и против зонта, не желающего уступить им дорогу.

4

Она дошла до Староместской площади со строгим Тынским храмом и барочными зданиями, поставленными неправильным четырехугольником. Старая ратуша четырнадцатого столетия, которая когда-то целиком занимала одну сторону площади, уже двадцать седьмой год пребывала в развалинах. Варшава, Дрезден, Берлин, Кёльн, Будапешт были чудовищно разрушены последней войной, но их жители подняли их из руин, в основном бережно восстановив старые исторические кварталы. Пражане испытывали комплекс неполноценности перед этими городами. Единственным достопримечательным зданием, уничтоженным у них войной, была Староместская ратуша. И они решили оставить ее до скончания века в руинах, чтобы какому-нибудь поляку или немцу не вздумалось упрекнуть их, что они мало страдали. Перед знаменитыми руинами, которые должны были на вечные времена осудить войну, была сооружена из металлических брусьев трибуна на случай той или иной манифестации, куда коммунистическая партия гнала вчера или погонит завтра жителей Праги.

Тереза смотрела на разрушенную ратушу, и она вдруг напомнила ей мать: эту ее извращенную потребность выставлять напоказ свои руины, хвастаться своим безобразием, демонстрировать свое горе, обнажать культю ампутированной руки и принуждать весь мир смотреть на нее. В последнее время все напоминает ей мать. Ей кажется, что материн мир, из которого десять лет тому она вырвалась, возвращается к ней и со всех сторон обступает ее. Потому-то утром она и рассказала о том, как мать, потешая семью, читала за обедом ее интимный дневник. Если частный разговор всенародно транслируется по радио, так может ли это означать что-либо иное, кроме того, что мир превратился в концлагерь?

Тереза пользовалась этим словом чуть ли не с детства, когда хотела выразить, какой представляется ей жизнь в ее семье. Концентрационный лагерь — это мир, где люди живут бок о бок постоянно, денно и нощно. Жестокости и насилие лишь второстепенная (и вовсе не обязательная) его черта. Концентрационный лагерь — это полное уничтожение личной жизни. Прохазка, который не мог поговорить со своим приятелем за рюмкой вина в безопасности интима, жил (даже не сознавая того — и это была его роковая ошибка!) в концлагере. Тереза жила в концлагере, когда находилась у матери. С той поры она знает, что концентрационный лагерь — не что-то исключительное, вызывающее удивление, напротив — это нечто данное, основное, это мир, в который мы рождаемся и откуда можем вырваться лишь при величайшем усилии.

5

На трех скамьях, расположенных террасами, женщины сидели так плотно, что касались друг друга. Рядом с Терезой потела дама лет тридцати с очень красивым лицом. Под плечами у нее свисали две неимоверно большие груди, покачивавшиеся при малейшем движении. Дама встала, и Тереза обнаружила, что ее ягодицы подобны двум огромным торбам и не имеют к лицу никакого отношения.

Эта женщина, пожалуй, тоже часто стоит перед зеркалом, смотрит на свое тело и сквозь него пытается прозреть душу, как с детства к тому стремится Тереза. Возможно, и эта женщина когда-то наивно полагала, что может использовать тело как вывеску души. Но какой чудовищной должна быть душа, если она походит на это тело, на эту вешалку с четырьмя торбами?

Тереза поднялась и пошла под душ. Потом вышла наружу, под открытое небо. Беспрестанно моросил дождь. Она стояла на деревянном настиле над Влтавой, несколько квадратных метров которой были обнесены здесь высоким забором, защищавшим дам от взоров города. Посмотрев вниз, она увидала на речной глади лицо женщины, о которой только что думала.

Женщина улыбалась ей. У нее был тонкий нос, большие карие глаза и детский взгляд.

Женщина стала подниматься по лестнице, и под нежными чертами лица снова показались две торбы, что, покачиваясь, разбрызгивали вокруг себя мелкие капли холодной воды.

6

Тереза пошла одеться. Встала перед большим зеркалом.

Нет, в ее теле не было ничего ужасного. Под плечами были не мешки, а довольно маленькие груди. Мать смеялась, что груди у нее не такие, каким положено быть, и Тереза страдала комплексами, от которых избавил ее только Томаш. Но если она готова была теперь смириться с их размером, то большие и слишком темные круги вокруг сосков убивали ее. Имей она возможность сама сотворить свое тело, она сделала бы соски незаметными, нежными, чтобы они легко пронзали свод груди и по цвету лишь чуть-чуть отличались от остальной кожи. Эта большая темно-красная мишень казалась ей будто нарисованной деревенским художником, который стремится создавать эротическое искусство для бедных.

Глядя на себя, она попыталась вообразить, что ее нос с каждым днем увеличивается на миллиметр. За сколько дней лицо стало бы неузнаваемым?

А если бы разные части тела стали увеличиваться или уменьшаться, и Тереза просто-напросто перестала бы походить на самое себя, это все еще была бы она, это все еще была бы Тереза?

Конечно. Даже сделайся Тереза совсем не похожей на Терезу, ее душа внутри оставалась бы той же самой и лишь в ужасе взирала на то, что происходит с телом.

Но какая же в таком случае взаимосвязь между Терезой и ее телом? Имеет ли ее тело вообще право зваться Терезой? А если она не имеет такого права, то к чему тогда относится имя? Лишь к чему-то нетелесному, нематериальному?

(Все это вопросы, что вертятся в голове у Терезы уже с детства. Ибо поистине серьезными вопросами бывают лишь те, которые может сформулировать и ребенок. Лишь самые наивные вопросы по-настоящему серьезны. Это вопросы, на которые нет ответа. Вопрос, на который нет ответа,— барьер, через который нельзя перешагнуть. Другими словами: именно теми вопросами, на которые нет ответа, ограничены людские возможности, очерчены пределы человеческого существования.)

Тереза оцепенело стоит перед зеркалом и смотрит на свое тело, словно на чужое; чужое и все-таки предназначенное именно ей. Она питает к нему отвращение. Этому телу недостало сил, чтобы сделаться для Томаша единственным в его жизни. Это тело обмануло ее и предало. Сегодня всю ночь ей пришлось дышать запахом чужого женского лона, исходившим от его волос!

Она мечтает уволить свое тело, как прислугу. Остаться лишь одной душой с Томашем, а тело прогнать в мир: пусть там оно ведет себя так же, как и прочие женские тела с телами мужскими! Раз Терезино тело не смогло стать единственным для Томаша и проиграло самое крупное сражение ее жизни, то пусть убирается на все четыре стороны!

7

Вернувшись домой, она без аппетита пообедала в кухне. В полчетвертого взяла на поводок Каренина и отправилась с ним (опять же пешком) в свою гостиницу, где работала барменшей. Из еженедельника ее выгнали спустя месяц-другой после их возвращения из Цюриха, не простив ей, конечно, того, что целую неделю она фотографировала на пражских улицах русские танки. Место в гостинице получила она не без помощи друзей: кроме нее, нашли там прибежище еще несколько человек, выброшенных с работы. В бухгалтерии сидел бывший профессор теологии, в бюро обслуживания — бывший посланник.

Она снова тревожилась за свои ноги. Еще работая в ресторане маленького городка, она с ужасом смотрела на икры своих сотоварок, изборожденные варикозными жилами. Это была болезнь всех официанток, вынужденных проводить жизнь на ходу, на бегу или стоймя с тяжким грузом в руках. И все же теперешняя работа была более сносная, чем когда-то в том маленьком городишке. До открытия бара ей, правда, приходилось таскать почти неподъемные ящики с пивом и минеральной водой, но зато потом она уже стояла за стойкой, наливала посетителям спиртное и меж тем мыла рюмки в маленькой раковине, установленной с краю бара. Каренин все это время терпеливо лежал у ее ног.

Было глубоко за полночь, когда она, подсчитав выручку, отнесла ее директору гостиницы, а затем зашла еще попрощаться с посланником, остававшимся на ночное дежурство. Позади бюро обслуживания была дверь в маленькую комнатку, где на узкой кушетке можно было даже вздремнуть. Над кушеткой в рамке висели фотографии: повсюду он был в обществе каких-то людей; они или улыбались в аппарат, или пожимали ему руки, или сидели возле него за столом и что-то подписывали. Некото-

рые фотографии были украшены подписями с посвящением. На самом видном месте висела фотография, на которой рядом с головой посланника улыбалось лицо Джона Ф. Кеннеди.

На этот раз посланник разговаривал не с американским президентом, а с незнакомым мужчиной, лет шестидесяти, который, завидя Терезу, тотчас умолк.

— Это наш друг,— сказал посланник,— можешь спокойно продолжать.— Потом он обратился к Терезе: — Сегодня осудили его сына на пять лет.

Тереза узнала, что сын этого человека вместе с товарищами в первые дни оккупации держал под наблюдением вход в здание, где размещалась особая служба русской армии. Ему было ясно, что чехи, выходящие оттуда, были тайными агентами русской разведки. Он с товарищами выслеживал их, устанавливал номера их машин и сообщал о том сотрудникам подпольной чешской радиостанции, предупреждавшим, в свою очередь, население. Одного из таких предателей он вместе с товарищами избил.

Незнакомец сказал: — Эта фотография была единственным corpus delicti. Он отрицал все до той минуты, пока ему не показали ее.

Он вынул из нагрудного кармана газетную вырезку: — Появилось это в «Таймс» осенью 1968-го.

На фотографии был молодой человек, сжимавший за горло другого человека, а вокруг толпились люди и смотрели. Под фотографией была надпись: Наказание коллаборанта.

Тереза вздохнула с облегчением. Нет, это не ее фотография.

Потом она шла с Карениным по ночной Праге и думала о тех днях, когда фотографировала танки. Безумцы, они считали, что рискуют ради отечества жизнью, а на деле, не ведая о том ни сном ни духом, работали на русский сыск.

Она пришла домой в половине второго. Томаш уже спал. Его волосы пахли женским лоном.

8

Что такое кокетство? Пожалуй, можно было бы сказать, что это такое поведение, цель которого дать понять другому, что сексуальное сближение с ним возможно, однако возможность эта никогда не должна представляться бесспорной. Иными словами, кокетство — это обещание соития без гарантии.

Тереза стоит за стойкой бара, и посетители, которым она наливает спиртное, кокетничают с ней. Неприятен ли ей этот постоянный приток комплиментов, двусмысленностей, анекдотов, предложений, улыбок и взглядов? Отнюдь нет. Ее обуревает неодолимая жажда подставить свое тело (это чужое тело, которое она хочет выгнать в мир) под этот прибой.

Томаш постоянно убеждает ее, что любовь и физическая близость — вещи абсолютно разные. Она отказывалась это понимать. Теперь она окружена мужчинами, к которым не питает ни малейшей симпатии. Каково было бы спать с ними? Ей хочется попробовать это хотя бы в форме того негарантированного обещания, которое называется кокетством.

Дабы не ошибиться, Тереза не хочет за что-то мстить Томашу. Она просто хочет найти выход из тупика. Она знает, что стала ему в тягость: она слишком серьезно относится ко всему, изо всего делает трагедию, не умеет понять легкость и увлекательную бездумность физической любви. Она хотела бы научиться легкости! Она мечтает, чтобы кто-нибудь отучил ее быть старомодной!

Если для других женщин кокетство — вторая натура, малозначащая искушенность, для Терезы кокетство стало предметом серьезного изучения, которое должно открыть ей, на что она способна. Но именно потому, что оно для нее так важно и серьезно, ее кокетству совершенно чужда легкость, оно натужно, деланно, преувеличенно. Равновесие между обещанием и его негарантированностью (именно здесь-то и коренится истинная виртуоз-

ность кокетства) у нее нарушено. Она обещает слишком усердно, не подчеркивая достаточно ясно негарантированность обещания. Иными словами, любому она кажется чрезвычайно доступной. Когда же мужчины требуют исполнения того, что представлялось им обещанным, они наталкиваются на резкое сопротивление, которое объясняют исключительно тем, что Тереза коварна и зла.

9

На свободный стульчик у стойки бара присел парень лет шестнадцати. Он отпустил две-три наглые фразы, что остались в разговоре, как остается неправильная линия в рисунке, какую нельзя ни продолжить, ни стереть.

— У вас красивые ноги,— сказал он ей.

Она отсекла: — Как вам удается увидеть это сквозь деревянную перегородку?

— Я видел вас на улице,— объяснил он, но она уже успела отвернуться от него и заняться другим гостем. Парень потребовал налить ему коньяку. Она отказалась.

— Мне уже восемнадцать,— возразил он.

— В таком случае покажите удостоверение,— сказала Тереза.

— Не покажу,— сказал парень.

— Тогда пейте лимонад,— сказала Тереза.

Парень встал со стульчика у стойки и без слова ушел. Примерно через полчаса вернулся и снова подсел к бару. Его движения были размашистыми, и от него за версту несло алкоголем.

— Лимонаду,— потребовал он.

— Вы пьяны! — сказала Тереза.

Парень указал на печатное объявление, висевшее позади Терезы: *Лицам до восемнадцати лет отпускать спиртное строго воспрещается.*

— Вам запрещено отпускать мне спиртное,— сказал он и, широко размахнувшись, нацелил руку в Терезу,— но нигде не написано, что мне запрещено выпить!

— Где вы так набрались? — спросила Тереза.

— В кабаке напротив,— рассмеялся он и вновь потребовал лимонаду.

— Почему же вы там не остались?

— Потому что хочу на вас смотреть,— сказал парень.— Я люблю вас!

Когда он это говорил, его лицо странным образом исказилось. Тереза не понимала: он смеется над ней? заигрывает? шутит? или просто не знает, что говорит под пьяную лавочку?

Она поставила перед ним лимонад и занялась другими посетителями. Фраза «я люблю вас» словно бы исчерпала парня. Не говоря больше ни слова, он положил на стойку деньги и исчез, прежде чем Тереза обратила взгляд в его сторону.

Как только он ушел, отозвался небольшой человечек с плешью, опорожнивший уже третью рюмку водки: — Пани, вы не можете не знать, что несовершеннолетним запрещено отпускать спиртное.

— Никакого спиртного я ему не дала! Он получил лимонад!

— Я прекрасно видел, что́ вы влили ему в этот лимонад!

— Не выдумывайте! — крикнула Тереза.

— Еще рюмку,— потребовал плешивый и добавил: — Я уже давно за вами слежу!

— Вот и скажите спасибо, что можете смотреть на красивую женщину, и заткните-ка лучше рот! — отозвался высокий мужчина, за минуту до этого подошедший к стойке и наблюдавший всю сцену.

— А вы не суйтесь, куда не надо! Не ваше дело! — не успокаивался плешивый.

— А вам какое до этого дело, объясните, пожалуйста? — спросил высокий.

Тереза налила плешивому человечку еще рюмку водки, он залпом выпил ее, заплатил и ушел.

— Спасибо,— сказала Тереза высокому мужчине.
— Не стоит,— сказал высокий мужчина и тоже ушел.

10

Несколькими днями позже он снова появился у стойки бара. Тереза улыбнулась ему как другу: — Хочу вас еще раз поблагодарить. Этот плешивый часто ходит сюда. Ужасно противный.
— Забудьте о нем.
— Почему он хотел меня оскорбить?
— А, просто ничтожный пьянчужка. Еще раз очень прошу вас: забудьте о нем.
— Ну что ж, если вы просите, я так и сделаю.
Высокий мужчина, глядя ей в глаза, спросил: — Обещаете мне?
— Обещаю.
— Рад слышать, что вы мне что-то обещаете,— сказал мужчина, продолжая смотреть ей в глаза.
Кокетство тут было явно налицо: поведение, которое должно дать понять другому, что сексуальное сближение с ним возможно, однако возможность эта остается негарантированной и чисто теоретической.
— Каким чудом в этом безобразнейшем пражском квартале может встретиться такая женщина, как вы?
И она: — А вы? Что вы делаете в этом безобразнейшем пражском квартале?
Он сказал, что живет поблизости, что он инженер и прошлый раз зашел сюда после работы чисто случайно.

11

Она смотрела на Томаша, но ее взгляд устремлен был не в его глаза, а сантиметров на десять выше, на его волосы, которые пахли чужим лоном.
Она говорила: «Томаш, я больше не могу вынести. Я знаю, что не должна жаловаться. С тех пор как ты вернулся ради меня в Прагу, я запретила себе ревновать. Я не хочу ревновать, но я недостаточно сильна, чтобы сопротивляться этому. Помоги мне, прошу тебя!»
Он взял ее под руку и повел в парк, куда несколько лет назад они часто ходили гулять. В парке были голубые, желтые, красные скамейки. Они сели на одну из них, и Томаш сказал: «Я понимаю тебя. Я знаю, что ты хочешь. Я все устроил. Ты пойдешь сейчас на Петршин».
Ее вдруг охватила тревога: «На Петршин? Почему на Петршин?»
«Ты взойдешь на гору и все поймешь».
Ей страшно не хотелось идти. Ее тело было таким слабым, что она не могла подняться со скамейки. Но, не умея возражать Томашу, она с усилием встала.
Оглянулась. Он все еще сидел на скамейке и улыбался ей почти весело. Он сделал жест рукой, которым хотел побудить ее идти дальше.

12

Подойдя к подножию Петршина, этой зеленой, возвышающейся посреди Праги горы, Тереза с удивлением обнаружила, что там нет людей. А ведь обычно здесь непрерывно прохаживались толпы пражан. Как странно! Сердце ее сжалось от страха, но гора была такой тихой и тишина такой миротворной, что она не сопротивлялась и полностью вверила себя объятиям горы. Она поднималась вверх и, часто останавливаясь, оглядывалась: под ней было множество башен и мостов; святые грозили кулаками и возводили к небесам каменные очи. Это был самый красивый город в мире.
Она дошла до самой вершины. За киосками с мороженым, открытками и печеньем (в них не было ни одного продавца) далеко простиралась

лужайка, поросшая редкими деревами. На ней было несколько мужчин. По мере того как она приближалась к ним, она замедляла шаг. Мужчин было шестеро. Они стояли или очень медленно прохаживались, словно игроки на площадке для гольфа, что осматривают местность, взвешивают в руке клюшку и стараются взбодрить себя перед состязанием.

Она подошла к ним. Из шести человек она безошибочно выделила троих, которым была уготована та же роль, что и ей: вконец растерянные, они, казалось, хотят задать много разных вопросов, но, боясь быть назойливыми, молчат и лишь озирают все кругом пытливым взглядом.

Трое других излучали снисходительную любезность. В руке одного из них было ружье. Увидав Терезу, он с улыбкой сказал ей: «Да, ваше место здесь».

Она ответила кивком головы, ей было невыразимо страшно.

Мужчина добавил: «Чтобы не произошла ошибка, скажите, это *по вашему желанию*?»

Ей ничего не стоило сказать: «Нет, нет, это не по моему желанию», но разве она могла даже представить себе, что разочарует Томаша? Чем бы она оправдалась, вернувшись домой? И потому сказала: «Да. Конечно. Это по моему желанию!»

Мужчина с ружьем продолжал: «Вы должны понять, почему я спрашиваю. Мы делаем это лишь в том случае, когда полностью уверены, что люди, которые приходят к нам, определенно сами пожелали умереть. Мы только оказываем им услугу».

Он поглядел на Терезу испытующе, и ей снова пришлось уверить его: «Нет, не опасайтесь. Я сама пожелала этого».

«Вы хотите быть первой в очереди?» — спросил он.

Чтобы хоть сколько-нибудь отдалить казнь, она сказала: «Нет, прошу вас, не надо. Если можно, я хочу быть самой последней».

«Как вам будет угодно»,— сказал он и отошел к остальным. Двое его помощников были без оружия и присутствовали здесь лишь для того, чтобы окружать заботой тех, кто пришел умирать. Подхватив их под руки, они прогуливались с ними по лужайке. Травяное пространство было обширным и простиралось в необозримые дали. Осужденным на казнь разрешали самим выбрать для себя дерево. Они останавливались, оглядывались и долго не могли решиться. Двое из них выбрали наконец для себя два платана, но третий шел все дальше и дальше, словно ни одно дерево не представлялось ему достаточно подходящим для его смерти. Помощник, нежно держа его под руку, терпеливо сопровождал его, пока тот наконец, уже не осмеливаясь идти дальше, не остановился у развесистого клена.

Помощники всем троим повязали глаза лентой.

Так на просторной лужайке оказалось трое мужчин, прижатых спиной к трем деревам: глаза каждого были повязаны лентой, а лица обращены к небу.

Мужчина с ружьем прицелился и выстрелил. Кроме пенья птиц, ничего не было слышно. Ружье было снабжено глушителем. Она лишь увидела, как человек, прижатый к клену, начал падать.

Не сходя с места, мужчина с ружьем повернулся в другую сторону, и человек, прижатый спиной к платану, в полной тишине тоже рухнул наземь; а чуть спустя (мужчина с ружьем снова сделал поворот на месте) упал на лужайку и третий осужденный на смерть.

13

Один из помощников молча подошел к Терезе, держа в руке синюю ленту.

Она поняла: он хочет завязать ей глаза. Она покачала головой и сказала: «Нет, я хочу все видеть».

Но вовсе не по этой причине Тереза отказала ему. В ней не было ничего от героев, готовых бесстрашно смотреть в глаза палачам. Она лишь хотела отдалить смерть. Ей казалось, что, как только ей завяжут глаза лентой, она сразу же очутится в преддверии смерти, откуда нет дороги назад.

Мужчина ни к чему не принуждал Терезу; взяв ее под руку, он пошел с ней по просторной лужайке, но она долго не могла выбрать дерево. Никто не торопил ее, но она знала, что ей все равно не уйти. Впереди нее стоял цветущий каштан, она подошла к нему. Опершись спиной о ствол, запрокинула голову: увидала пронизанную солнцем зелень и услыхала отдаленные звуки города, слабенькие и сладкие, словно он отзывался тысячами скрипок.

Мужчина поднял ружье.

Тереза чувствовала, что мужество покидает ее. Она пришла в отчаяние от своей слабости, но не могла побороть ее. Она сказала: «Но это было не *мое* желание».

Он тут же опустил ствол ружья и сказал необыкновенно мягко: «Если это было не *ваше* желание, мы не можем это сделать. У нас нет на это права».

И его голос был ласковым, словно он извинялся перед Терезой за то, что не может застрелить ее, раз она сама не желает этого. Эта ласковость разрывала ей сердце; она уткнулась лицом в кору дерева и расплакалась.

14

Все ее тело сотрясалось от плача, и она обнимала дерево, словно это было не дерево, а был ее отец, которого она потеряла, ее дедушка, которого она никогда не знала, ее прадедушка, ее прапрадедушка, какой-то ужасно старый человек, который пришел из отдаленнейших глубин времени, чтобы подставить ей свое лицо в подобии шершавой коры дерева.

Потом она повернулась. Трое мужчин были уже далеко — они бродили по лужайке, словно игроки в гольф, и ружье в руке одного из них действительно походило на клюшку.

Она спускалась вниз тропами Петршина, и душу ее сжимала тоска по тому мужчине, который собирался ее застрелить и не сделал этого. О, как она мечтала о нем! Должен же кто-то помочь ей! Томаш не поможет. Томаш посылает ее на смерть. Помочь ей может кто-то другой!

Чем ближе она подходила к городу, тем больше тосковала по тому мужчине и тем больше боялась Томаша. Он не простит ей, что она не исполнила своего обещания. Он не простит ей, что она не была достаточно мужественна и предала его. Она уже пришла на улицу, где они жили, и знала, что минутой позже увидит его. И оттого на нее напал такой страх, что сжались внутренности и стало позывать на рвоту.

15

Инженер приглашал ее зайти к нему домой. Два раза она отказывалась, а на третий согласилась. Пообедала, как обычно, стоя на кухне и пошла. Не было еще двух.

Подходя к его дому, почувствовала, что ноги, помимо ее воли, сами замедляют шаг.

А потом ей вдруг подумалось, что это, в сущности, Томаш посылает ее к нему. Это ведь он без устали втолковывал ей, что любовь и сексуальность не имеют ничего общего, и сейчас она идет разве что проверить и подтвердить его слова. Она мысленно слышит его голос: «Я тебя понимаю. Я знаю, что ты хочешь. Я все устроил. Взойдешь на самую вершину и все увидишь».

Да, она не делает ничего другого, кроме как исполняет приказы Томаша.

Она хочет зайти к инженеру лишь на минуту; только выпить чашечку кофе; только узнать, что это значит: дойти до самой грани неверности. Она хочет вытолкнуть свое тело на эту грань, оставить его там немного постоять, как у позорного столба, а потом, если инженер захочет его обнять, сказать, как сказала мужчине с ружьем на Петршине: «Но это не мое желание!»

И тогда мужчина опустит ствол ружья и скажет приветливым голосом:

«Если это не ваше желание, то с вами ничего не может случиться. У меня нет на это права».

И она повернется к стволу дерева и расплачется.

16

Это был окраинный многоквартирный дом, выстроенный в начале столетия в рабочем квартале Праги. Она вошла в подъезд с грязными, белеными стенами. Истертая каменная лестница с железными перилами привела ее на второй этаж. Там, у второй двери слева, без таблички и без звонка, она остановилась. Постучала.

Он открыл.

Вся квартира состояла из одного-единственного помещения, первые два метра которого были отгорожены занавеской и создавали некое подобие передней; в ней стояли стол с плиткой и холодильник. Пройдя за занавеску, она увидала удлиненный прямоугольник окна в конце узкой, вытянутой комнаты; с одной стороны были книжные полки, с другой — тахта и одно кресло.

— Квартира у меня крайне простая,— сказал инженер,— надеюсь, это вас не смущает.

— Нет, что вы,— сказала Тереза, глядя на стену, всю забранную книжными полками. У этого человека нет обыкновенного стола, но зато сотни книг. Это приятно удивило Терезу, и тревога, с которой она шла сюда, чуть затихла. С самого детства она считает книгу знаком тайного братства. Человек, у которого дома такая библиотека, не может ее обидеть.

Он спросил, что он может ей предложить. Вина?

Нет, нет, вина она не хочет. Уж если что-то, так кофе.

Он вышел за занавеску, она подошла к книжным полкам. Одна из книг заинтересовала ее. Это был перевод Софоклова «Эдипа». Удивительно, что здесь эта книга! Много лет назад Томаш дал Терезе прочесть ее и долго о ней рассуждал. Затем он изложил свои размышления письменно и послал в газету, и эта статья перевернула вверх дном всю их жизнь. Но теперь, глядя на корешок этой книги, Тереза успокаивалась. Ей казалось, будто Томаш умышленно оставил здесь свой след, подавая ей знак, что все устроил он. Она вытащила книгу, раскрыла ее. Когда инженер вернется в комнату, она спросит его, почему у него эта книга, читал ли он ее и что о ней думает. Этой хитростью она переместит разговор с опасной территории чужой квартиры в сокровенный мир мыслей Томаша.

Потом она почувствовала на плече руку. Инженер взял у нее книжку, без слова положил на полку и повел ее к тахте.

Ей снова вспомнилась фраза, которую она сказала палачу с Петршина. Теперь она произнесла ее вслух: — Но это не мое желание!

Она верила, что эта волшебная формула тотчас изменит положение, однако в этой комнате слова утратили магическую силу. Мне даже кажется, они побудили мужчину к большей решительности: прижав Терезу к себе, он положил руку ей на грудь.

Удивительная вещь: это прикосновение сразу же избавило ее от страха. Этим прикосновением инженер указал на ее тело, и она осознала, что речь идет вовсе не о ней (о ее душе), а исключительно о ее теле. О теле, которое предало ее и которое она выгнала в мир к другим телам.

17

Он расстегнул ей пуговицу на блузке и дал понять, чтобы остальные расстегнула она сама. Но она не исполнила его указания. Она выгнала в мир свое тело, но не хотела нести за него никакой ответственности. Она не сопротивлялась, но и не помогала ему. Душа таким образом стремилась сказать, что хоть она и не согласна с происходящим, но решила оставаться нейтральной.

Он раздевал ее, и она была почти неподвижна. Когда он поцеловал ее,

губы ее не ответили на его прикосновение. Но вскоре она вдруг почувствовала, что лоно ее увлажнилось; она испугалась.

Возбуждение, которое она испытывала, было тем сильнее, что возникло против ее желания. Душа уже тайно согласилась со всем происходящим, но сознавала и то, что это сильное возбуждение продлится лишь в том случае, если ее согласие останется невысказанным. Скажи она вслух свое «да», захоти добровольно участвовать в любовной игре, возбуждение ослабнет. Ибо душу возбуждало как раз то, что тело действует вопреки ее желанию, предает ее, и она смотрит на это предательство со стороны.

Потом он стянул с нее трусики, и Тереза осталась совершенно голой. Душа видела голое тело в объятиях чужого мужчины, и это представлялось ей таким же невероятным, как если бы она разглядывала планету Марс с близкого расстояния. В освещении этой невероятности тело впервые утратило для души свою банальность; душа впервые смотрела на него очарованно; на передний план выступила вся его особенность, неповторимость, непохожесть. Оно было уже не самым обычным среди всех прочих тел (каким она видела его до сих пор), а самым необычным. Душа не могла оторвать взгляд от родимого пятна, круглого, коричневого, помещенного прямо над ворсистостью лобка; это пятно казалось ей не чем иным, как печатью, которую она сама (душа) поставила на тело, и в кощунственной близости этой святой печати двигался теперь чужой член.

А потом, взглянув в лицо инженера, Тереза осознала, что никогда не давала согласия на то, чтобы тело, на котором ее душа поставила свой знак, оказалось в объятиях кого-то, кого она не знает и не хочет знать. Ее наполнила одурманивающая ненависть. Она собрала во рту слюну, чтобы плюнуть в лицо этому чужаку. Но тот следил за ней так же жадно, как и она за ним; он заметил ее ярость, и движения его участились. Тереза чувствовала, как к ней издалека приближается оргазм, и начала кричать «нет, нет, нет»; она противилась его наступлению, а поскольку противилась, задержанное наслаждение долго разливалось по ее телу, не находя для себя выхода; оно распространялось по ней, точно морфий, впрыснутый в вену. Она металась в его объятиях, била вокруг себя руками и плевала ему в лицо.

18

Унитазы в современных ванных поднимаются от пола, словно белые цветы водяной лилии. Архитекторы делают все возможное, чтобы тело забыло о своем убожестве и человек не знал, что происходит с отбросами его утробы, когда над ними зашумит вода, резко спущенная из резервуара. Канализационные трубы, хоть и протягивают свои щупальца в наши квартиры, тщательно сокрыты от наших взоров, и мы даже понятия не имеем о невидимой Венеции экскрементов, над которой воздвигнуты наши ванные, спальни, танцевальные залы и парламенты.

Уборная старого окраинного дома в пражском рабочем квартале была менее ханжеской; от пола, покрытого серым кафелем, унитаз поднимался широко и убого. Его форма не походила на цветок водяной лилии, а выглядела тем, чем была: расширенной оконечностью трубы. На нем не было даже деревянного сидения, и Терезе пришлось сесть на холодящую эмалированную жесть.

Она сидела на унитазе, и жажда опростать внутренности, внезапно овладевшая ею, была жаждой дойти до конца унижения, стать телом по возможности больше и полнее, тем самым телом, чье назначение, как говаривала мать, лишь в том, чтобы переваривать и выделять. Тереза опрастывает свои внутренности, объятая ощущением бесконечной печали и одиночества. Нет ничего более жалкого, чем ее нагое тело, сидящее на расширенной оконечности сточной трубы.

Ее душа утратила любопытство зрителя, свое злорадство и гордыню: она уже снова была где-то глубоко в теле, в самых дальних уголках его нутра, и отчаянно ждала, не позовет ли ее кто выйти наружу.

19

Она встала с унитаза, спустила воду и вошла в переднюю. Душа дрожала в теле, в ее голом и отвергнутом теле. Она все еще ощущала на заднем проходе прикосновение бумаги, которой вытерлась.

И тут произошло нечто незабываемое: она вдруг ужасно захотела пойти к нему в комнату и услышать его голос, его слова к ней. Обратись он к ней тихим, глубоким голосом, душа осмелилась бы выйти на поверхность тела, и Тереза бы заплакала. Она обняла бы его так, как во сне обнимала широкий ствол каштана.

Она стояла в передней и старалась перебороть это безмерное желание расплакаться перед ним. Она знала, что если не совладает с собой, произойдет то, чего бы ей не хотелось. Она влюбится в него.

В эту минуту из комнаты донесся его голос. Когда она услыхала этот голос сам по себе (не видя при этом высокой фигуры его обладателя), он поразил ее: был тонкий и пронзительный. Как она прежде не осознала этого?

Пожалуй, лишь это впечатление от его голоса, неожиданное и неприятное, помогло ей отогнать соблазн. Она вошла в комнату, нагнулась к брошенной одежде, быстро оделась и ушла.

20

Она возвращалась из магазина с Карениным, который нес во рту свой рогалик. Было холодное утро, легкий мороз. Шли они мимо поселка, где на просторных площадках между домами жители устроили маленькие огородики и садочки. Каренин вдруг остановился и уставился в том направлении. Она тоже поглядела туда, но ничего особенного не обнаружила. Каренин потащил ее за собой; она послушно пошла. И только тогда заметила над мерзлой землей пустой грядки черную головку вороны с большим клювом. Головка без тела слегка двигалась, а из клюва изредка вырывался печальный, хриплый звук.

Каренин был так растревожен, что выронил рогалик. Опасаясь, как бы он не причинил вреда вороне, Тереза привязала его к дереву. Затем опустилась на колени и попыталась раскопать утоптанную вокруг заживо погребенной птицы землю. Нелегко было. Она до крови сломала ноготь.

В эту минуту неподалеку от нее упал камень. Она обернулась и заметила за углом дома двух мальчиков лет девяти-десяти. Она встала. Увидев ее движение и собаку у дерева, мальчики убежали.

Она снова опустилась на колени и снова стала разгребать землю, пока наконец не вытащила ворону из ее могилы. Но птица была хромая: не могла ни ходить, ни взлететь. Тереза завернула ее в красную косынку, повязанную на шее, и прижала к себе левой рукой; правой — отвязала от дерева Каренина. Ей пришлось употребить немало сил, чтобы усмирить его и заставить идти рядом.

В дверь она позвонила, не имея возможности найти в кармане ключ: обе руки были заняты. Томаш открыл. Она отдала ему поводок с Карениным и, проговорив только: «Подержи его!», понесла ворону в ванную. Положила ее на пол под умывальник. Ворона билась, но не могла сдвинуться с места. Из нее текла какая-то густая желтая жидкость. Тереза постелила под умывальником старые тряпки, чтобы она не стыла на холодном кафеле. Птица отчаянно махала сломанным крылом, и ее клюв укоризной торчал вверх.

21

Она сидела на краю ванны и не могла отвести глаз от умирающей птицы. В ее сиротской покинутости она видела образ собственной доли и не раз повторяла: во всем мире у меня нет никого, кроме Томаша.

Убедила ли ее история с инженером, что случайные авантюры не имеют

ничего общего с любовью? Что они легки и ничего не весят? Стало ли ей спокойнее?

Ничуть.

Перед ее мысленным взором возникает сцена: она вышла из уборной, и ее тело в передней стояло нагим и отвергнутым. Душа дрожала, испуганно затаившись в глубинах нутра. Если бы в ту минуту мужчина, который был в комнате, окликнул ее душу, она бы расплакалась, она бы упала ему в объятия.

Она представила себе, что вместо нее в передней возле уборной стоит какая-нибудь любовница Томаша, а вместо инженера в комнате находится Томаш. Он говорит девушке одно-единственное слово, и та в слезах обнимает его.

Тереза знает, что такой бывает минута, когда рождается любовь: женщина не может устоять перед голосом, который вызывает наружу ее испуганную душу; мужчина не может устоять перед женщиной, чья душа чутко откликается на его голос. Томаш нигде не застрахован от приманок любви, и Тереза опасается за него ежечасно, ежеминутно.

Какое у нее есть оружие? Только ее верность. Она предложила ему ее сразу, с самого начала, с первого дня, словно сознавала, что ничего другого не может ему дать. Их любовь удивительно асимметричная архитектура: она держится на абсолютной незыблемости ее верности, как гигантский дворец на одном столбе.

Вскорости ворона уже не двигала крыльями и лишь время от времени вздрагивала пораненной, сломанной лапкой. Терезе не хотелось покидать ее, словно она бодрствовала у постели умирающей сестры. Наконец она все-таки вышла в кухню, чтобы наскоро пообедать.

Когда вернулась, ворона была мертва.

22

В первый год любви Тереза при соитии кричала, и этот крик, как я уже сказал, стремился ослепить и оглушить сознание. С течением времени она кричала меньше, но ее душа была по-прежнему ослеплена любовью и ничего не видела. Лишь плотские утехи с инженером при полном отсутствии любви помогли ее душе прозреть.

Тереза вновь была в сауне. Она стояла перед зеркалом, смотрела на себя и пыталась воскресить в памяти сцену телесной любви в квартире инженера. То, что помнилось ей, к любовнику совсем не относилось. Откровенно говоря, она бы даже не смогла его описать, она, пожалуй, и не заметила, как выглядел он голый. То, что она помнила (и на что сейчас, возбужденная, смотрела в зеркале), было ее собственное тело; ее лобок и круглое родимое пятно над ним. Эта родинка, что до сих пор была для нее лишь чисто прозаическим дефектом кожи, теперь будоражила ее мысли. Ей хотелось снова видеть ее в невообразимом соседстве с чужим мужским членом.

Не могу не подчеркнуть еще раз: ей не хотелось видеть член чужого мужчины. Ей хотелось видеть свое межножье в соседстве с чужой мужской плотью. Она не тосковала по телу любовника. Она тосковала по собственному телу, нежданно явленному, самому близкому и самому постороннему и более всего возбуждающему.

Она смотрела на свое тело, усыпанное мелкими каплями, оставшимися на нем после душа, и думала о том, что в ближайшие дни инженер опять зайдет к ней в бар. Она хотела, чтобы он пришел, хотела, чтобы он позвал ее к себе! О, как она мечтала об этом!

23

Каждый день она тревожилась, что инженер объявится у бара и что она не в силах будет сказать «нет». Но по мере того как проходили дни, опасение, что он придет, вытеснялось страхом, что он не придет.

Прошел месяц, но инженер не объявился. Терезе казалось это необъяснимым. Обманутая мечта отошла на задний план и сменилась беспокойством: *почему* он не пришел?

Она обслуживала посетителей. Среди них снова был тот плешивый, который обвинил ее, что она наливает спиртное несовершеннолетним. Он шумно рассказывал скабрезный анекдот, точно такой же, какой она уже раз сто слышала от пьянчуг, которым когда-то подносила пиво в маленьком городке. Ей казалось, что материнский мир возвращается к ней, и она весьма нелюбезно оборвала плешивого.

Тот оскорбился: — А вы мне не указывайте. Скажите спасибо, что мы вас еще терпим за этой стойкой.

— Кто *мы?* Кто это *мы?*

— Мы,— сказал мужчина и заказал себе еще водки.— И запомните — я не потерплю от вас никаких оскорблений!

Потом он указал на Терезину шею, обмотанную ожерельем из дешевого жемчуга, и крикнул: — Откуда у вас этот жемчуг? Уж не хотите ли вы сказать, что вам его подарил ваш муж? Мойщик окон! Где ему взять на такие подарки? Это вам клиенты дают, не так ли? За что же они вам это дают?

— Замолчите сию же минуту,— прошипела Тереза.

Мужчина, пытаясь пальцами схватить ожерелье, крикнул:

— Зарубите себе на носу — проституция у нас запрещена!

Каренин поднялся, оперся передними лапами о стол и зарычал.

24

Посланник сказал: — Это был сексот.

— Сексот вел бы себя, скорей всего, неприметно,— возразила Тереза.— Что ж это за секретная полиция, если она перестала быть секретной!

Посланник сел на кушетку и, подложив ноги под себя, принял позу, освоенную на занятиях йогой. Над ним в рамке улыбался Кеннеди, по-особому освящая его слова.

— Дорогая Терезочка,— сказал он по-отцовски,— у сексотов бывает несколько ролей. Первая — классическая. Они слушают, что люди говорят между собой, и докладывают о том своим шефам.

Вторая роль — устрашение. Они дают нам понять, что мы в их руках; они хотят заставить нас бояться. Именно этого добивался ваш плешивый.

Третья роль сводится к тому, что они норовят создать ситуации, которые скомпрометировали бы нас. Прошло время, когда они силились обвинить нас в антигосударственных кознях; это снискало бы нам лишь еще большую симпатию. Они, скорее, постараются найти у нас в кармане гашиш или доказать нам, что мы растлили двенадцатилетнюю девочку. За девочкой, что подтвердит это, дело не станет.

Терезе опять вспомнился инженер. Почему он так и не появился больше?

Посланник продолжал: — Им нужно заманить людей в ловушку, чтобы использовать их в своих целях, а уж затем с их помощью расставить следующие ловушки для следующих лиц, и так исподволь втянуть весь народ в единую организацию осведомителей.

Тереза не думала уже ни о чем другом: да, инженера подослали к ней фараоны. Кто был тот странный парень, что напился в кабаке напротив и объяснялся ей в любви? Плешивый стукач из-за него налетел на нее, а инженер заступился. Все трое играли свою роль в заранее подготовленном сценарии, целью которого было расположить ее к мужчине, призванному ее соблазнить.

Как же это ей сразу не пришло в голову? Ведь та квартира была очень странной и совсем не вязалась с этим человеком! Мог ли этот элегантно одетый инженер жить в такой убогой квартире? Да и инженер ли это был? Будь он инженером, разве мог бы он освободиться от работы в два часа дня? И разве читал бы инженер Софокла? Нет, эта библиотека отнюдь не

инженера! Все помещение походило, скорее, на конфискованную квартиру арестованного интеллектуала. Когда ей было десять лет и арестовали ее отца, точно так же конфисковали их квартиру со всей библиотекой. Бог весть, в каких целях использовали затем эту квартиру.

Теперь, выходит, понятно, почему он больше ни разу не появился. Он выполнил свое задание. Какое? Пьяный стукач невольно выдал его, когда крикнул: «Зарубите себе на носу — проституция у нас запрещена!» Этот мнимый инженер засвидетельствует, что она переспала с ним и просила у него денег! Они будут угрожать ей скандалом, если она откажется доносить на людей, которые пьют у ее стойки!

— Не беспокойтесь, в вашей истории нет ничего опасного,— успокаивал ее посланник.

— Может, и так,— сказала она сдавленным голосом, уходя с Карениным в ночные улицы Праги.

25

Люди по большей части убегают от своих страданий в будущее. На дороге времени они проводят воображаемую черту, за которой их нынешнее страдание перестанет существовать. Но Тереза подобной черты не видит перед собой. Утешение может прийти к ней, только если она кинет взгляд в прошлое. Снова было воскресенье. Они сели в машину и поехали далеко за Прагу.

Томаш был за рулем, Тереза рядом с ним, а Каренин, сидя сзади, то и дело тянулся к ним и лизал им уши. Через два часа они доехали до маленького курортного городишка, где лет шесть назад провели несколько дней. Думали заночевать там.

Они остановили машину на площади и вышли. Ничего не изменилось. Напротив была гостиница, в которой они когда-то жили. Перед ней — та же старая липа. Влево от гостиницы тянулась старая деревянная колоннада, а в конце ее бил в мраморную чашу источник, к которому, как и в прошлый раз, склонялись люди со стаканчиками в руках.

Томаш снова указал на гостиницу. И все-таки что-то изменилось! Когда-то она называлась «Гранд», теперь на ней была надпись «Байкал». На углу здания была табличка: Московская площадь. Затем они прошлись по всем знакомым улицам, просматривая их новые названия: Сталинградская улица, Ленинградская улица, Ростовская улица, Новосибирская улица, Киевская улица, Одесская улица; были там санаторий «Чайковский», санаторий «Толстой» и санаторий «Римский-Корсаков»; были там отель «Суворов», кинотеатр «Горький» и кафе «Пушкин». Все названия были взяты из русской географии или русской истории.

Тереза вспомнила первый день вторжения. Люди во всех городах снимали таблички с названиями улиц и убирали с дорог указатели, на которых были написаны названия городов. Страна в одну ночь стала безымянной. В течение семи дней русская армия блуждала по местности и не знала, где находится. Офицеры искали здания редакций, телевидения, радио, чтобы захватить их, но не могли найти. И к кому бы они ни обращались с вопросом, те пожимали плечами или указывали ложные адреса, ложное направление.

Спустя время вдруг начинаешь понимать, что эта анонимность для страны не была безопасной. Улицы и дома уже не вернулись к своим исконным названиям. Так один чешский курортный городок неожиданно стал некой маленькой иллюзорной Россией, и прошлое, которое Тереза приехала искать сюда, оказалось конфискованным. Им было противно остаться там на ночь.

26

Они возвращались к машине молча. Она думала о том, что все вещи и люди предстают взору переодетыми. Старый чешский город прикрылся русскими именами. Чехи, фотографировавшие вторжение, на самом деле

работали для секретной полиции. На лице человека, посылавшего ее умирать, была маска Томаша. Стукач выступал под именем инженера, и инженер хотел играть роль мужчины с Петршина. Знамение книги в его квартире было фальшивым и имело целью совратить ее с пути истинного.

Вспомнив о книге, которую тогда держала в руках, она вдруг осознала что-то и залилась краской: Как это было? Инженер сказал, что принесет кофе. Она подошла к книжной полке и вытащила оттуда Софоклова «Эдипа». Инженер вернулся. Но без кофе!

Вновь и вновь она возвращалась к этой сцене: Как долго его не было, когда он ушел за кофе? По меньшей мере минуту, может, две, а то и три. И что он делал в этой крохотной передней? Был в уборной? Тереза пытается вспомнить, слышала ли она, как хлопнула дверь или как зашумела спущенная вода? Нет, шум воды она определенно не слышала, это она бы помнила. Да и дверь тоже не хлопала, в этом она почти уверена. Что же он делал в передней?

И вдруг все прояснилось перед ней. Если ее хотят заманить в ловушку, одного свидетельства инженера им недостаточно. Им требуется доказательство, какое нельзя было бы опровергнуть. В течение этого подозрительно долгого времени инженер наверняка устанавливал в передней камеру. Или, что еще правдоподобнее, впустил в квартиру кого-то с фотоаппаратом, и тот, прячась за занавеской, фотографировал их.

Еще сколько-то недель назад она смеялась над Прохазкой, не понимавшим, что живет в концентрационном лагере, где не существует ничего интимного. А она что? Выскользнув из-под материнского крова, она по простоте душевной полагала, что раз и навсегда станет хозяином своей личной жизни. Но материнский кров простирается надо всем миром и повсюду настигает ее. Терезе никогда не избавиться от него.

Они спускались по лестнице между садами к площади, где оставили машину.

— Что с тобой? — спросил Томаш.

Прежде чем она успела ответить, кто-то поздоровался с Томашем.

27

Это был пятидесятилетний крестьянин с обветренным лицом, которого Томаш когда-то оперировал. С тех пор его ежегодно посылали на этот курорт для лечения. Он пригласил Томаша и Терезу на стаканчик вина. Поскольку в Чехии собакам вход в общественные места запрещен, Терезе пришлось отвести Каренина в машину, а мужчины тем временем расположились в кофейне. Когда Тереза присоединилась к ним, крестьянин говорил: — У нас полный покой. Два года тому меня даже избрали председателем кооператива.

— Поздравляю,— сказал Томаш.

— Ясное дело, деревня. Люди оттуда бегут. Те, что наверху, должны радоваться, что кто-то еще хочет оставаться в деревне. С работы нас гнать им ни к чему.

— Это было бы для нас идеальное место,— сказала Тереза.

— Скучали бы вы там, пани. Нету там ничего. Право слово, ничегошеньки нету.

Тереза не отрывала глаз от обветренного лица земледельца: до чего мил был ей этот человек! После столь долгого времени ей снова кто-то был мил! Перед глазами всплыл образ сельской жизни: деревня с колокольней, поле, лес, заяц, бегущий по борозде, охотник в зеленой шляпе. Она никогда не жила в деревне. Этот образ запал к ней в душу по рассказам. Или по книгам. Или его запечатлели в ее подсознании какие-то далекие предки. Но он виделся ей таким же ясным и четким, как фотография прабабушки в семейном альбоме или старинная гравюра.

— У вас есть еще какие-то жалобы? — спросил Томаш.

— Иной раз болит здесь.— Крестьянин коснулся того места на шее, где череп срастается с позвоночником.

Не сходя со стула, Томаш ощупал место, на которое жаловался бывший пациент, а затем выслушал его самого. Потом сказал: — К сожалению, я уже не имею права выписывать лекарства. Но своему лечащему врачу скажите, что говорили со мной и я посоветовал вам употреблять вот это.— Он вытащил из бумажника блокнот, вырвал из него листок и большими буквами написал на нем название лекарства.

28

Они возвращались в Прагу.

Тереза думала о фотографии, на которой инженер обнимает ее нагое тело. Она пыталась успокоить себя: даже если и существует такая фотография, Томаш никогда не увидит ее. Фотография имеет для них какую-то цену до тех пор, пока они могут с ее помощью шантажировать Терезу. Но как только они отошлют эту фотографию Томашу, она утратит для них всякий смысл.

Но что, если полиция со временем придет к выводу, что Тереза не представляет для нее никакого интереса? В таком случае фотография станет в их руках простой забавой, и уже никто не помешает кому-то из них, хотя бы шутки ради, вложить ее в конверт и послать Томашу.

А что будет, если Томаш получит такую фотографию? Выгонит ее? Может, и нет. Скорей всего, нет. Но хрупкое строение их любви окончательно рухнет. Ибо это строение держится на ее верности, как на единственном столбе, а любови — они как империи: если погибнет идея, на которой они были основаны, рухнут и они.

Перед ее взором был образ: заяц, бегущий по борозде, охотник в зеленой шляпе и колокольня над лесом.

Она хотела сказать Томашу, что хорошо бы им уехать из Праги. Уехать прочь от детей, зарывающих живьем в землю ворон, прочь от сексотов, прочь от девиц, вооруженных зонтиками. Она хотела сказать ему, что хорошо бы им уехать в деревню. Что это единственная спасительная дорога.

Она повернула к нему голову. Но Томаш молчал и смотрел на шоссе перед собой. Она не смогла преодолеть барьер молчания, который разделял их. Ей было так же, как тогда, когда она спустилась с Петршина. Она чувствовала тяжесть, и ее позывало на рвоту. Томаш пугал ее. Он был для нее слишком сильный, а она слишком слабой. Он подавал ей приказы, которых она не понимала. Она старалась исполнить их, но у нее не получалось.

Она хотела вернуться снова на Петршин и попросить мужчину с ружьем разрешить ей завязать лентой глаза и опереться о ствол каштана. Ей хотелось умереть.

29

Она проснулась и обнаружила, что одна дома.

Она вышла на улицу и направилась к набережной. Хотелось поглядеть на Влтаву. Хотелось стоять на берегу и долго смотреть на волны, потому что вид текущей воды успокаивает и лечит. Река течет из века в век, и человеческие истории совершаются на берегу. Совершаются, чтобы назавтра же быть забытыми, а реке продолжать свое течение.

Опершись о парапет, она смотрела на воду. Это была окраина Праги. Влтава уже оставила позади великолепие Градчан и соборов и была словно актриса после спектакля, усталая и задумчивая. Текла она меж грязных берегов, огороженных заборами и стенами, за которыми виднелись фабрики и опустелые спортплощадки.

Она долго смотрела на воду, казавшуюся здесь более печальной и темной, и вдруг посреди реки увидела какой-то предмет, красный предмет, да, это была скамейка. Деревянная скамейка на металлических ножках, каких полно в пражских парках. Она медленно плыла по середине реки. А за ней

еще одна скамейка. И еще и еще, и только сейчас Тереза увидела, что по течению плывут скамейки из города, из пражских парков, их много и становится все больше и больше, они плывут по Влтаве, как осенью листья, унесенные водой из лесов, они красные, желтые, голубые.

Она оглянулась назад, словно хотела спросить прохожих, что все это значит. Почему уплывают по воде скамейки из пражских парков? Но все они шли мимо нее равнодушно, нисколько не заботясь, что какая-то река течет из века в век по их бренному городу.

Она снова загляделась на реку. Ей было бесконечно грустно. Она понимала: то, что она видит, это разлука.

А когда большинство скамеек исчезло из виду, появилось еще несколько запоздалых, одна желтая, а потом еще одна, голубая, последняя.

Часть пятая
ЛЕГКОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ

1

Когда Тереза нежданно приехала к Томашу в Прагу, он занялся с нею любовью, как я уже писал в первой части романа, еще в тот же день, вернее, в тот же час, а вслед за тем у нее подскочила температура. Она лежала на его постели, и он стоял над ней в непреодолимом ощущении, что это дитя, которое положили в корзинку и пустили к нему по течению.

Образ подкидыша стал поэтому дорог ему, и он часто раздумывал о старых мифах, где он встречался. Это был, вероятно, и скрытый повод, отчего он однажды взял в руки Софоклова «Эдипа».

История Эдипа хорошо известна: пастух, найдя подброшенного младенца, отнес его своему царю Полибу, и тот воспитал его. Уже будучи взрослым юношей, Эдип повстречал на горной тропе повозку, в которой ехал незнакомый вельможа. Между ними вспыхнула ссора, и Эдип вельможу убил. Спустя время он стал супругом царицы Иокасты и властителем Фив. Он и предположить не мог, что человек, которого он убил когда-то в горах, был его отец, а женщина, с которой он сожительствует, его мать. Между тем рок обрушился на его подданных и стал терзать их смертными недугами. Когда же Эдип понял, что именно он повинен в их страданиях, он застежками от платья выколол себе глаза и слепым ушел из Фив.

2

От тех, кто считает коммунистические режимы в Центральной Европе исключительно делом рук преступников, ускользает основная истина: преступные режимы были созданы не преступниками, а энтузиастами, убежденными, что открыли единственную дорогу в рай. И эту дорогу они так доблестно защищали, что обрекли на смерть многих людей. Однако со временем выяснилось, что никакого рая нет и в помине, и так энтузиасты оказались убийцами.

Тогда все с криком обрушились на коммунистов: Вы ответственны за беды страны (она оскудела и опустела), за утрату ее самостоятельности (она подпала под власть России), за казни безвинных!

А те, обвиняемые, отвечали: Мы не знали! Мы были обмануты! Мы верили! Но в глубине своей души мы неповинны!

Итак, спор в конце концов свелся к единственному вопросу: В самом ли деле они не знали или всего лишь прикидываются, что не знали?

Томаш вникал в этот спор (как, впрочем, и весь десятимиллионный чешский народ) и приходил к мысли, что, несомненно, были люди не столь уж несведущие (не могли же они не знать об ужасах, что творились и продолжают твориться в послереволюционной России). Однако вполне вероятно и то, что большинство коммунистов действительно были в полном неведении.

И он сказал себе: Не суть важно, знали они или не знали; основной вопрос ставится иначе — можно ли считать человека неповинным лишь на том основании, что он не знает? Разве глупец, сидящий на троне, освобожден от всякой ответственности лишь потому, что он глупец?

Попробуем допустить, что чешский прокурор, требующий в начале пятидесятых годов смерти для безвинного, был обманут русской секретной службой и правительством своей страны. Но сегодня, когда мы уже знаем, сколь абсурдны были обвинения и сколь невинны казненные, вправе ли тот самый прокурор защищать безгрешность своей души и бить себя в грудь, восклицая: Моя совесть чиста, я не знал! я верил! Разве в его «я не знал! я верил!» не сокрыта непоправимая вина?

И тогда Томаш вновь вспомнил историю Эдипа: Эдип не знал, что он сожительствует с собственной матерью, и все-таки, познав правду, не почувствовал себя безвинным. Он не смог вынести зрелища горя, порожденного его неведением, выколол себе глаза и слепым ушел из Фив.

Слыша, как коммунисты во весь голос защищают свою внутреннюю чистоту, Томаш размышлял: Виною вашего неведения эта страна, возможно, на века потеряла свободу, а вы кричите, что не чувствуете за собой вины? Как же вы можете смотреть на дело рук ваших? Как вас не ужасает это? Да есть ли у вас глаза, чтобы видеть? Будь вы зрячими, вам следовало бы ослепить себя и уйти из Фив!

Это сравнение так увлекло Томаша, что он нередко использовал его в разговорах с друзьями, и с течением времени его формулировки становились все более точными и изысканными.

В те годы он, как и прочие интеллектуалы, читал еженедельник, издаваемый Союзом чешских писателей тиражом до 300 000 экземпляров. Достигший довольно заметной независимости внутри режима, еженедельник освещал темы, каких иные публичные издания касаться не осмеливались. Писательская пресса, естественно, не обходила вопроса и о том, кто и насколько повинен в судебных убийствах на политических процессах, отметивших начало коммунистического правления.

Во всех этих спорах постоянно повторялся один и тот же вопрос: Знали они или не знали? Поскольку Томашу этот вопрос представлялся второстепенным, он однажды решил письменно изложить свои размышления об Эдипе и послать их в еженедельник. Спустя месяц получил ответ — его приглашали в редакцию. Когда он явился туда, его встретил редактор, маленький ростом, но прямой, словно аршин проглотил, и предложил ему изменить порядок слов в одной фразе. Вскоре текст был действительно опубликован на предпоследней странице, в рубрике «Письма читателей».

Но Томаш этому ничуть не обрадовался. В редакции сочли нужным пригласить его лишь затем, чтобы заручиться его согласием на изменение порядка слов в одной фразе, тогда как впоследствии, уже без его ведома, текст сократили настолько, что все его рассуждения свелись к основному тезису (причем достаточно схематичному и агрессивному) и полностью ему разонравились.

Произошло это весной 1968 года. У власти тогда был Александр Дубчек, а рядом с ним те коммунисты, которые чувствовали себя виноватыми и готовы были сделать все, чтобы свою вину искупить. Однако иные коммунисты — те, что кричали о своей невиновности,— боялись суда разгневанного народа. И потому что ни день отправлялись жаловаться русскому послу и просить у него поддержки. Когда вышло в свет письмо Томаша, они кричали: Посмотрите, как далеко дело зашло! Они уже публично пишут, что нам надо выколоть глаза!

Двумя-тремя месяцами позже русские решили, что свободные дискуссии в их губернии недозволительны, и в течение одной ночи их войска захватили родину Томаша.

3

Вернувшись из Цюриха, Томаш по-прежнему стал работать в своей клинике. Но вскоре его пригласил к себе главный врач.

— Вы прекрасно знаете, пан коллега,— сказал ему тот,— что вы никакой не писатель, не журналист, не спаситель народа, а врач и ученый. Я не хочу терять вас и сделаю все, чтобы сохранить вас в клинике. Но лишь с тем условием, что вы откажетесь от своей статьи об Эдипе. Она вам очень дорога?

— По правде сказать, пан доктор, я никогда ни к чему не относился с таким безразличием,— ответил Томаш, вспомнив, как на треть урезали его текст.

— Вы, конечно, понимаете, о чем речь,— заметил главный врач.

Томаш понимал: на весах лежали две вещи — на одной чаше его честь (опиравшаяся на то, что он не станет отрекаться от своих слов), на другой — все, что он привык считать смыслом своей жизни (работу ученого и врача).

Главный врач продолжал: — В их требовании — публично отречься от сказанного — есть нечто средневековое. Что такое вообще «отречься»? Может ли кто-нибудь заявить, что мысль, высказанная им ранее, больше недействительна? В нынешнее время мысль можно опровергнуть, но не отречься от нее. Отречься от мысли, пан коллега,— нечто невозможное, чисто словесное, формальное, магическое, и, стало быть, я не вижу причины, почему бы вам не сделать того, чего от вас требуют. В обществе, управляемом террором, любые заявления лишены вескости, они вынужденные, и обязанность каждого порядочного человека не принимать их всерьез, пропускать мимо ушей. Повторяю, пан коллега, в моих интересах и в интересах ваших пациентов, чтобы вы продолжили свою работу.

— Вы, пожалуй, правы,— сказал Томаш и скорчил огорченную физиономию.

— В чем же дело? — Главврач пытался отгадать его мысли.

— Боюсь, мне будет стыдно.

— Стыдно? Перед кем? Неужто вы такого высокого мнения о ваших коллегах, что обеспокоены тем, как они отнесутся к вам?

— Нет, я вовсе не такого высокого о них мнения,— ответил Томаш.

— Впрочем,— добавил главный врач,— меня заверили, что ни о каком публичном выступлении и речи нет. Обыкновенные бюрократы. Им нужно, чтобы где-то в их досье было свидетельство, что вы не противник режима. Чтобы тем самым они смогли защитить себя, если кто-то станет их обвинять, что они оставили вас на прежней работе. Мне обещали, что ваше заявление не получит огласки. Они отнюдь не намерены публиковать его.

— Ну что ж, дайте мне неделю на размышление,— завершил Томаш их разговор.

4

Томаш считался лучшим хирургом клиники. Поговаривали даже, что главный врач, приближавшийся к пенсионному возрасту, вскоре уступит ему свое место. Когда разнесся слух, что вышестоящие органы требуют от Томаша покаянного заявления, никто не сомневался, что он подчинится.

И эта уверенность поразила его в первую очередь: хотя он никому не давал повода сомневаться в его честности, люди охотнее делали ставку на его пороки, чем на его добродетели.

С другой стороны, поражала их реакция на его всего лишь предполагаемое решение. Я мог бы разделить ее на два основных типа.

Первый тип реакции исходил от тех, которые сами (они или их близкие) вынуждены были в свое время от чего-то отречься, выразить свое согласие с оккупационным режимом или готовы были пойти на это (пусть даже без удовольствия; никто не шел на это с охотой).

Эти люди улыбались ему особой улыбкой, какой он никогда не замечал ранее: робкой улыбкой заговорщицкого согласия. Она была подобна улыбке двух мужчин, встретившихся в борделе: им чуточку стыдно, но одновременно и радостно оттого, что их стыд взаимен; между ними возникают узы некоего братства.

Они улыбались ему с тем большим удовольствием, что он никогда не слыл конформистом. Его предполагаемое согласие с предложением главного врача было своего рода доказательством, что малодушие постепенно и определенно становится нормой поведения и в скором времени перестанет восприниматься тем, чем есть на самом деле. Эти люди никогда не были его друзьями. И Томаш с испугом представлял себе, что сделай он заявление, о котором его просил главный врач, они непременно зазовут его на стаканчик вина и станут набиваться в приятели.

Второй тип реакции касался тех, которые сами (они или их близкие), подвергаясь преследованиям, отказывались идти на какой-либо компромисс с оккупационными властями или которые были убеждены, что никогда бы не пошли на него, хотя пока еще никто от них никакого компромисса (или заявления) и не требовал (возможно, потому, что они были слишком молоды, чтобы успеть влипнуть в какую-нибудь передрягу).

Один из них, весьма даровитый молодой врач С., спросил Томаша:

— Ну как, ты им уже написал?

— Прости, что ты имеешь в виду? — спросил Томаш.

— Ну ясно, твое отречение,— сказал С. Говорил он без всякой злобы. Даже улыбался. Но опять-таки это была уже совершенно иная улыбка, из некоего пухлого гербария улыбок: улыбка удовлетворенного нравственного превосходства.

Томаш сказал: — Послушай-ка, что ты знаешь о моем отречении? Ты читал его?

— Нет,— сказал С.

— Так чего же ты мелешь? — спросил Томаш.

С. по-прежнему удовлетворенно улыбался: — Видишь ли, мы все отлично знаем, как оно водится. Такое заявление пишется в форме письма директору или министру или бог весть еще кому, а тот обещает, что письмо опубликовано не будет — пусть его автор не чувствует себя униженным. Не так ли?

Томаш, пожав плечами, продолжал слушать.

— Заявление преспокойненько покоится в столе у адресата, но написавший его знает, что в любой момент оно может быть обнародовано. И потому уже боится пикнуть, покритиковать что-нибудь или против чего-то выступить, он знает, что в таком случае его заявление будет опубликовано и его доброе имя в глазах всех опорочено. Но в конечном счете это вполне терпимый метод. Можно представить себе и худший.

— Да, на редкость терпимый метод,— сказал Томаш.— Но любопытно, откуда ты взял, что я уже согласился им воспользоваться?

Коллега пожал плечами, но улыбка так и не сошла с его лица.

Томаша поразило еще одно странное наблюдение: *Все* улыбались ему, *все* хотели, чтобы он написал покаянное заявление, тем самым он *всем* доставил бы радость! Люди с первым типом реакции порадовались бы тому, что инфляция малодушия делает их поведение общепринятым и возвращает им утраченную честь. А люди со вторым типом реакции привыкли считать свою собственную добродетель особой привилегией, от которой не желают отказываться. И потому к трусу питают тайную любовь: без него их мужество стало бы обычным и напрасным усилием, каким уже никто не восхищался бы.

Томаш не мог выносить эти улыбки, ему казалось, что он видит их повсюду, даже на лицах прохожих на улице. Он лишился сна. С чего бы это? Разве он придает этим людям такое значение? Вовсе нет. Зная им цену, он и сам на себя злится, что их взгляды столь тревожат его. В этом нет никакой логики. Возможно ли, что он так зависит от мнения людей, которых так мало уважает?

Его глубокое недоверие к людям (его сомнения в их праве решать его судьбу и выносить ему приговор) повлияло, пожалуй, в свое время и на выбор профессии, исключающей необходимость подвергаться суду публики. Человек, избравший, к примеру, стезю политика, добровольно отдает себя на суд публики, наивно и искренно веруя, что заслужит ее признание.

Возможное разочарование толпы лишь подстегивает его активность, подобно тому, как Томаша воодушевляла сложность диагноза.

Врач (в отличие от политика или актера) подвержен суду разве что своих пациентов или самых ближайших коллег, а следовательно, суду в четырех стенах, с глазу на глаз. Взгляды тех, кто судит его, он мог бы тотчас отпарировать собственным взглядом, объясниться или защититься. Но сейчас Томаш оказался в положении (впервые в жизни), когда устремленных на него взглядов было куда больше, чем он способен был уловить. Он не мог ответить им ни собственным взглядом, ни словом. Он был отдан на их произвол. О нем говорили в клинике и вне клиники (в то время нервозная Прага делилась вестями о том, кто не оправдал надежд, кто предал, кто стал коллаборационистом, с непостижимой быстротой африканского тамтама), он знал об этом, но был бессилен с этим бороться. Он и сам поражался, насколько это было ему нестерпимо и в какое смятение повергло его. Интерес всех этих людей к нему был омерзителен, как давка или прикосновения тех, кто в наших страшных снах срывает с нас одежду.

Он пришел к главному врачу и сказал, что ничего не напишет.

Главный врач пожал ему руку гораздо сильнее, чем когда бы то ни было, и сказал, что предвидел его решение.

— Пан доктор, пожалуй, вы могли бы оставить меня в клинике и без такого заявления,— сказал Томаш, желая намекнуть главному врачу, что для этого достаточно было бы всем коллегам пригрозить уходом с работы, если его, Томаша, вынудят покинуть клинику.

Но никому из коллег и в голову не пришло пригрозить своим уходом с работы, и он некоторое время спустя (главврач пожал ему руку еще сильнее, чем в предыдущий раз; на ней еще долго синели следы) вынужден был проститься с клиникой.

5

Поначалу он оказался в деревенской больнице, километрах в восьмидесяти от Праги. Добирался от туда ежедневно поездом и возвращался смертельно усталым. Год спустя ему посчастливилось найти место более выгодное — хотя и более зависимое — в пригородной амбулатории. Здесь он уже не мог заниматься хирургией и практиковал как врач-терапевт. Приемная была всегда переполнена пациентами, и потому каждому из них он способен был уделить не более пяти минут; он прописывал аспирин, выписывал больничные листы работающим и, считая себя уже скорее чиновником, чем врачом, посылал их на обследование к специалистам.

Однажды в конце приема к нему зашел человек лет пятидесяти; умеренная полнота сообщала ему достоинство. Он представился сотрудником министерства внутренних дел и пригласил Томаша в кабачок напротив.

Он заказал бутылку вина, но Томаш запротестовал: — Я на машине. Если меня остановят фараоны и обнаружат, что я выпил, прощай мои водительские права.

Человек из министерства внутренних дел улыбнулся: — Случись что, вам достаточно сослаться на меня,— и подал Томашу свою визитную карточку, где была его фамилия (разумеется, вымышленная) и министерский номер телефона.

Затем он долго распространялся о том, как он ценит Томаша и как все в министерстве сожалеют, что такой блестящий хирург вынужден теперь прописывать аспирин в пригородной амбулатории. Всякими околичностями он давал Томашу понять, что спецслужба, хоть об этом и не говорится вслух, не согласна с чересчур жесткими методами, какими специалисты изгоняются со своих рабочих мест.

Поскольку Томашу уже давно никто не пел хвалы, он внимательно слушал этого толстячка и не переставал удивляться, как тот правильно и до мельчайших подробностей осведомлен о его профессиональных достоинствах. До чего мы беззащитны против лести! Томаш не мог устоять и не отнестись к словам человека из министерства на полном серьезе.

Но причиной тому было не только самолюбие. Более важную роль сыграла тут неопытность. Когда вы сидите лицом к лицу с кем-то, кто весьма любезен, учтив, вежлив, очень трудно непрестанно сознавать, что во всем, что он говорит, нет *ничего* от правды, *ничего* от искренности. Неверие (постоянное и систематическое, без тени колебания) требует колоссального усилия и тренировки, иными словами, частых полицейских допросов. Такой тренировки у Томаша не было.

Человек из министерства продолжал: — Мы знаем, пан доктор, что в Цюрихе у вас было блестящее положение. И мы очень ценим, что вы вернулись. С вашей стороны это благородный шаг. Вы знали, что ваше место здесь.— И затем, словно в чем-то упрекая Томаша, добавил: — Но ваше место у операционного стола!

— Не могу не согласиться с вами,— сказал Томаш.

Наступила короткая пауза, после которой человек из министерства проговорил опечаленным голосом: — Однако скажите мне, пан доктор, вы действительно думаете, что коммунистам надо выколоть глаза? Не кажется ли вам странным, что это говорите вы, именно тот, кто уже стольким людям вернул здоровье?

— Это же полнейшая чушь,— защищался Томаш.— Прочтите внимательно, что я написал.

— Я читал,— сказал человек из министерства внутренних дел голосом, которому положено было звучать очень грустно.

— По-вашему, выходит, я написал, что коммунистам надо выколоть глаза?

— Так поняли все,— сказал человек из министерства, и голос его прозвучал еще печальнее.

— Если бы вы прочли мой текст целиком, в том виде, в каком я его написал, вам этого не показалось бы. Он вышел несколько сокращенным.

— Как это? — напряг слух человек из министерства.— Они опубликовали ваш текст не в том виде, в каком вы его написали?

— Его сократили.

— Значительно?

— Примерно на треть.

Человек из министерства, похоже, был искренно огорчен: — Это, конечно, не было честной игрой с их стороны.

Томаш пожал плечами.

— Вы должны были протестовать! Потребовать немедленного исправления текста!

— Вскоре за тем пришли русские. У нас у всех были другие заботы,— сказал Томаш.

— Зачем же людям думать о вас, что вы, врач, хотите, чтобы людей ослепили?

— Послушайте, эта моя статейка была напечатана где-то в самом конце журнала, среди писем. Ее никто особенно и не приметил. Разве что русское посольство, которому она пришлась очень кстати.

— Зачем вы так, пан доктор! Я лично беседовал со многими людьми, которые говорили о вашей статье и поражались, как вы могли такое написать. Но теперь, когда вы мне объяснили, что статья вышла в ином виде, чем вы ее написали, многое для меня прояснилось. Это они предложили вам ее написать?

— Нет,— сказал Томаш,— я сам ее послал им.

— Вы знакомы с этими людьми?

— С какими?

— С теми, что напечатали вашу статью.

— Нет.

— Вы никогда не разговаривали с ними?

— Однажды меня вызвали в редакцию.

— Зачем?

— По поводу статьи.

— И с кем же вы разговаривали?

— С каким-то редактором.

— Как его звали?

Только сейчас Томаш понял, что его допрашивают. Ему представилось вдруг, что каждым своим словом он подставляет кого-то под удар. Он, конечно, знал имя редактора, но не назвал его: — Нет, я не знаю.

— Однако, пан доктор,— сказал толстяк тоном, исполненным возмущения по поводу явной неискренности Томаша,— он же представился вам!

Ну не трагикомично ли, что именно наше хорошее воспитание становится союзником секретной полиции! Мы не умеем лгать. Императив «говори правду!», сызмальства внушаемый нам мамой и папой, срабатывает так автоматически, что мы стыдимся за свою ложь даже перед фараоном, нас допрашивающим. Для нас куда как проще спорить с ним, оскорблять его (что, кстати, абсолютно бессмысленно), чем лгать ему в глаза (а ведь это и есть то единственное, что нам полагается делать).

Когда человек из министерства упрекнул его в неискренности, Томаш почувствовал себя до некоторой степени виноватым: ему пришлось преодолеть в себе какой-то барьер, чтобы продолжать отстаивать свою ложь.— Возможно, он и представился мне,— сказал Томаш,— но поскольку его имя ничего не говорило мне, оно тут же вылетело из головы.

— Как он выглядел?

Редактор, разговаривавший тогда с ним, был мал ростом, светловолос и стрижен ежиком. Томаш постарался наделить его чертами прямо противоположными: — Высокий. С длинными черными волосами.

— Так, так,— сказал чиновник из министерства,— и с большой бородой!

— Вот именно,— сказал Томаш.

— Сутуловатый.

— Да, да,— еще раз согласился Томаш и понял, что лишь сейчас человек из министерства установил, о ком идет речь. Томаш не только донес на какого-то редактора, но его донос ко всему еще и ложен.

— Но почему он позвал вас? О чем вы говорили?

— Им хотелось изменить порядок слов в предложении.

Это прозвучало не более как смешной отговоркой. Человек из министерства вновь возмущенно заудивлялся, что Томаш не хочет сказать ему правду: — Послушайте, пан доктор, минутой раньше вы утверждали, что ваш текст сократили на треть, а теперь говорите, что с вами беседовали об изменении порядка слов! Где же, однако, логика?!

Томашу сразу стало легче отвечать на вопросы, благо то, что он говорил сейчас, было сущей правдой.— Логики никакой, но это именно так,— смеялся он.— Меня попросили разрешить им изменить порядок слов в одной фразе, а затем треть статьи вообще выбросили.

Человек из министерства снова покачал головой, словно не мог взять в толк такого безнравственного поведения, и сказал: — Эти люди отнеслись к вам весьма некорректно.

Он допил стакан вина и заключил: — Пан доктор, вы стали жертвой шантажа. Было бы жаль, если бы из-за этого пострадали вы и ваши пациенты. Мы, пан доктор, прекрасно осведомлены о ваших достоинствах. Посмотрим, что можно будет сделать для вас.

Прощаясь, он сердечно потряс Томашу руку.

Затем, выйдя из кабачка, каждый пошел к своей машине.

6

После этой встречи Томаш впал в ужасную хандру. Как он мог допустить столь непринужденный тон разговора? Уж коль он сразу не отказался беседовать с полицейским агентом (ибо не был готов к такой ситуации и не знал, что дозволяет ему закон, а что нет), то по крайней мере не должен был пить с ним в кабаке вино, словно они были на дружеской ноге. А если бы его увидел тот, кто знает этого человека? Он обязательно

решил бы, что Томаш сотрудничает с полицией! И зачем он вообще сказал ему, что его статью сократили? Зачем он без всякой надобности сообщил ему об этом? Он был чрезвычайно недоволен собой.

Две недели спустя человек из министерства пришел снова. Как и в прошлый раз, он намеревался пойти в кабачок, но Томаш попросил его остаться в приемной.

— Я понимаю вас, пан доктор,— улыбаясь, сказал он.

Эта фраза привлекла внимание Томаша. Человек из министерства произнес ее как шахматист, который дает понять противнику, что тот допустил ошибку в предыдущем ходу.

Они сидели друг против друга, разделенные письменным столом Томаша. Минут через десять, в течение которых разговор вертелся вокруг свирепствовавшей в то время эпидемии гриппа, человек из министерства сказал:

— Мы много думали о вашем деле, пан доктор. Если бы речь шла только о вас, все было бы проще. Но приходится считаться с общественным мнением. Преднамеренно или нет, но своей статьей вы подлили масла в антикоммунистическую истерию. Не скрою, нам было даже предложено привлечь вас к суду за вашу статью. Это предусмотрено законом. Публичное подстрекательство к насилию.

Человек из министерства помолчал, пристально глядя Томашу в глаза. Томаш пожал плечами. Тот опять перешел на успокоительный тон: — Мы отклонили это предложение. Какова бы ни была ваша ответственность в этом деле, в интересах общества вы должны работать там, где ваши способности могут найти для себя наиболее полное применение. Ваш главный врач очень ценит вас. У нас есть и отзывы ваших пациентов. Вы блестящий специалист, пан доктор! Кто может требовать от врача, чтобы он разбирался еще в политике? Вы дали себя обвести вокруг пальца. Пора все расставить по своим местам. Вот почему мы решили предложить вам текст заявления, который, по нашему общему мнению, вы могли бы предоставить в распоряжение прессы. А уж наше дело позаботиться о том, чтобы он был вовремя опубликован,— и он протянул Томашу бумагу.

Томаш прочел, что там было написано, и пришел в ужас. Это было несравнимо хуже того, что требовал от него два года назад главный врач. Это было уже не просто отречение от статьи об Эдипе, здесь содержались фразы о любви к Советскому Союзу, о верности коммунистической партии, было здесь и осуждение интеллектуалов, стремившихся якобы ввергнуть страну в пучину гражданской войны, но самое страшное — здесь был донос на редакторов писательского журнала, в том числе и на высокого сутуловатого редактора (Томаш с ним никогда не встречался и знал его лишь по фамилии и фотографиям), которые преднамеренно злоупотребили его статьей, придав ей иной смысл и превратив ее в контрреволюционную прокламацию; они были, дескать, слишком трусливы, чтобы написать такую статью собственноручно, и потому решили спрятаться за спину наивного доктора.

Человек из министерства увидел страх в глазах Томаша. Он нагнулся и по-дружески хлопнул его под столом по колену: — Пан доктор, это не более как предложение! Вы подумайте, и если захотите изменить ту или иную формулировку, само собой, мы сможем обо всем договориться. В конце концов это *ваш* текст!

Томаш тут же протянул бумагу агенту полиции, словно боялся лишнюю секунду держать ее в руках. Словно подумал, что на этой бумаге когда-нибудь станут искать отпечатки его пальцев.

Вместо того чтобы взять бумагу, человек из министерства в наигранном удивлении воздел руки (подобным жестом римский папа благословляет с балкона толпу): — Помилуйте, пан доктор, зачем же вы это мне возвращаете? Оставьте у себя. Подумайте об этом на досуге дома.

Качая головой, Томаш терпеливо держал бумагу в протянутой руке. Наконец человек из министерства перестал изображать из себя благословляющего папу и взял-таки бумагу назад.

Томаш намеревался сказать ему достаточно резко, что никакого текста он никогда не напишет и не подпишет, но в последнюю минуту переменил тон. И сказал вполне мирно: — Как-никак грамоте я обучен. С какой стати мне подписывать то, чего я сам не написал?

— Хорошо, пан доктор, мы можем избрать иную последовательность. Сперва вы сами напишете, а уж затем мы вместе с вами посмотрим. То, что вы сейчас прочли, может служить вам хотя бы образцом.

Почему Томаш с ходу, решительно не отверг предложения полицейского агента?

В голове у него мелькнула мысль: помимо того что подобные заявления призваны деморализовать весь народ целиком (в этом, вероятно, заключается генеральная русская стратегия), в его случае полиция, должно быть, преследует и некую конкретную цель; возможно, готовится процесс над редакторами еженедельника, в котором Томаш опубликовал свою статью. Если так, то заявление Томаша может быть использовано как доказательство, необходимое для судебного разбирательства и для той грязной кампании, какую развяжут в прессе против редакторов. Откажись он сейчас от заявления принципиально и энергично, он подставит себя под удар: полиция распорядится опубликовать подготовленный текст за его поддельной подписью. И никогда никакая газета не поместит его опровержения! Уже никому на свете он не докажет, что не писал и не подписывал ничего подобного! Он давно понял, что люди испытывают слишком большое удовольствие при виде ближнего в моральном унижении, чтобы позволить ему испортить это удовольствие каким-то объяснением.

Оставив полиции надежду, что он напишет собственный текст, Томаш тем самым выиграл время. Он сразу же, на другой день, подал заявление об уходе, предполагая (правильно!), что с той минуты, как он спустится на самую нижнюю ступеньку общественного положения (куда, впрочем, спустились тысячи интеллектуалов из разных областей), полиция утратит над ним власть и начисто перестанет им интересоваться. В таком случае они уже никакой текст от его имени не смогут опубликовать по той простой причине, что это выглядело бы совершенно неправдоподобно. Позорные публичные заявления связаны всегда с продвижением по службе, но никак не с падением подписантов.

Надо заметить, врачи в Чехии — государственные служащие, и государство вольно действовать по своему усмотрению: освобождать их от должности или нет. Чиновник, с которым Томаш говорил о своем уходе, знал его имя и высоко ценил его качества. Он попытался уговорить Томаша остаться на прежнем месте, и Томаш вдруг усомнился в правильности принятого решения. Однако он чувствовал себя уже связанным с ним какой-то невысказанной клятвой верности и настоял на своем. Так он стал мойщиком окон.

7

Уезжая несколько лет тому из Цюриха в Прагу, Томаш тихо говорил себе «Es muss sein!» и думал о своей любви к Терезе. Но уже в тот же день, как только пересек границу, он стал сомневаться, так ли это должно было быть. А ночью, лежа рядом со спящей Терезой, он вдруг осознал, что к ней привела его лишь цепь происшедших с ним семь лет назад смешных случайностей (ишиас его шефа был в начале цепи) и что именно они возвратили его в клетку, из которой ему уже не уйти.

Значит ли это, что никакого «Es muss sein!», никакой великой необходимости в его жизни не было?

Мне думается, она все-таки была. Но то была не любовь, а профессия. К медицине привела его не случайность, не рассудочные соображения, а глубокая внутренняя устремленность.

Коль скоро можно делить людей по каким-то категориям, то прежде всего по тем глубоким пристрастиям, что в течение всей жизни нацеливают их на ту или иную деятельность. Каждый француз неповторим. Но все

актеры во всем мире похожи друг на друга — и в Париже, и в Праге, и в любом провинциальном театре. Актер — это тот, кто сызмальства и на всю жизнь соглашается выставлять себя на обозрение анонимной публики. Без этого исходного согласия, которое никак не связано с талантом, которое гораздо глубже, чем талант, нельзя стать актером. Под стать тому и врач; он также соглашается всю жизнь заниматься человеческими телами и всем тем, что из этого следует. Это исходное согласие (а вовсе не талант и не умение) дает ему возможность войти на первом курсе в прозекторскую, а спустя шесть лет стать врачом.

Хирургия доводит основной императив профессии медика до самой крайней грани, где человеческое уже соприкасается с божественным. Если вы сильно трахнете кого-нибудь дубинкой по башке, он рухнет и испустит дух навсегда. Но ведь однажды он все равно испустил бы дух. Такое убийство лишь несколько опережает то, что чуть позже Бог обстряпал бы сам. Бог, надо полагать, считался с убийством, но не рассчитывал на хирургию. Он и думать не думал, что кто-то дерзнет сунуть руку в нутро механизма, который он сотворил, тщательно завернул в кожу, запечатал и сокрыл от глаз человеческих. Когда Томаш впервые приставил скальпель к коже спящего под наркозом мужчины, а потом энергичным жестом проткнул эту кожу и распорол ее ровной и точной линией (словно это был лоскут неживой материи, пальто, юбка, занавес), он испытал мимолетное, но ошеломляющее ощущение святотатства. И именно это увлекало его. Это было тем глубоко укоренившимся в нем «Es muss sein!», к которому привела его вовсе не случайность, вовсе не ишиас главврача — ничего внешнего.

Но как же случилось, что он так быстро, решительно и легко освободился от чего-то, столь глубоко сидящего в нем?

Он ответил бы нам, что сделал это во избежание того, чтобы полиция злоупотребила его именем. Но, откровенно говоря, даже если это теоретически и возможно (и такие случаи имели место), мне представляется маловероятным, чтобы полиция распорядилась опубликовать подложное заявление за его подписью.

Человек, естественно, волен бояться и той опасности, что маловероятна. Допустим. Допустим также, что он злился на самого себя, на свою неловкость и хотел избежать дальнейших столкновений с полицией, которые усилили бы в нем ощущение беспомощности. И допустим даже, что он так или иначе потерял бы свою профессию, ибо механическая работа в амбулатории, где он прописывал аспирин, и отдаленно не соответствовала его представлениям о медицине. Но несмотря на все, поспешность его решения представляется мне странной. Не скрывается ли за ней нечто другое, более глубокое, что ускользнуло от его отвлеченных рассуждений?

8

Хотя Томаш благодаря Терезе и полюбил Бетховена, в музыке он особенно не разбирался, и я не уверен, знал ли он подлинную историю знаменитого Бетховенского мотива «Muss es sein? Es muss sein!».

А было так: некий господин Дембшер задолжал Бетховену пятьдесят флоринов, и композитор, у которого вечно не было ни гроша за душой, напомнил ему о них. «Muss es sein?» — вздохнул опечаленно господин Дембшер, и Бетховен бурно рассмеялся: «Es muss sein!» — и тотчас эти слова и их мелодию положил на ноты и сочинил на этот реалистический мотив небольшой канон для четырех голосов: три голоса поют: «Es muss sein, es muss sein, ja, ja, ja!» (это должно быть, это должно быть, да, да, да), а четвертый голос вступает: «Heraus mit dem Beutel!» (Вытащи-ка портмоне!).

Тот же мотив годом позже стал основой четвертой части его последнего квартета, опус 135. Тогда Бетховен уже не думал о портмоне Дембшера. Слова «Es muss sein!» звучали для него все более и более торжественно, словно их изрекала сама Судьба. В языке Канта даже «Добрый день!», сказанное соответствующим образом, может обрести подобие метафизического тезиса. Немецкий — язык *тяжелых* слов. И «Es muss sein!» стало уже

вовсе не шуткой, а «der schwer gefasste Entschluss» (тяжко принятым решением).

Итак, Бетховен легковесное вдохновение превратил в серьезный квартет, шутку в метафизическую правду. Это любопытный пример превращения легкого в тяжелое (или же, согласно Парменидy: пример превращения позитивного в негативное). Как ни удивительно, такое превращение нас не поражает. Напротив, нас огорчило бы, преврати Бетховен серьезность своего квартета в легкую шутку четырехголосного канона о портмоне Дембшера. И тем не менее, в таком случае он поступил бы поистине в духе Парменида: превратил бы тяжелое в легкое, то бишь негативное в позитивное! Вначале (как незавершенный эскиз) была бы великая метафизическая правда, а в конце (как завершенное сочинение) была бы легковесная шутка! Однако нам уже не дано мыслить так, как мыслил Парменид!

Мне кажется, то агрессивное, торжественно строгое «Es muss sein!» втайне уже давно раздражало Томаша, и в нем жила глубокая мечта, следуя духу Парменида, превратить тяжелое в легкое. Вспомним о том, как он в одночасье отказался от встреч со своей первой женой и сыном или с каким чувством облегчения воспринял разрыв с родителями. Было ли это нечто иное, чем резкий и недостаточно осознанный жест, которым он отбросил все, что представлялось ему тяжелой обязанностью, его «Es muss sein!»?

Тогда, конечно, это было внешнее «Es muss sein!», определенное общественными условностями, в то время как «Es muss sein!» его любви к медицине шло изнутри. Тем хуже. Внутренний императив еще сильнее и потому тем настойчивее зовет к бунту.

Быть хирургом — значит вспарывать поверхность вещей и смотреть, что сокрыто внутри. Возможно, именно поэтому у Томаша и возникло желание узнать, что же таится *по ту сторону* «Es muss sein!»; иными словами: что останется от жизни, если человек сбросит с себя то, что до сих пор считал своим призванием.

И тем не менее, когда он, представившись благожелательной заведующей пражского предприятия «Мойка витрин и окон», воочию увидел результат своего решения во всей реальности и неотвратимости, ему стало страшновато. В таком состоянии он прожил первые дни своей новой работы. Но как только преодолел (пожалуй, за неделю) обескураживающую непривычность своего преображения, понял вдруг, что вступил в пору долгих каникул.

Он делал вещи, на которые ему было плевать, и это было прекрасно. Он внезапно понял счастье людей (до сих пор он всегда их жалел), занимающихся профессиями, к которым не принуждает их никакое внутреннее «Es muss sein!» и о которых, покинув свое рабочее место, они могут тотчас забыть. Никогда прежде он не знал этого благостного безразличия. Когда, бывало, что-то не вполне удавалось ему на операционном столе, он приходил в отчаяние и не мог уснуть. Зачастую он терял даже вкус к женщинам. «Es muss sein!» его профессии было своего рода вурдалаком, высасывавшим у него кровь.

Теперь он ходил по Праге с шестом для мытья витрин и не без удивления обнаруживал, что чувствует себя на десять лет моложе. Продавщицы больших магазинов величали его «пан доктор» (пражский тамтам действовал отлично) и спрашивали его советов касательно своих насморков, больных поясниц и нерегулярных менструаций. Они смотрели на него чуть ли не со стыдом, когда он, полив стекла водой и насадив щетку на шест, начинал мыть витрину. О, если бы они только могли бросить покупателей в магазине и, отобрав у него из рук шест, вымыть за него стекла!

Томаша приглашали, в основном, большие магазины, но предприятие часто посылало его и к частным лицам. Массовое преследование чешских интеллектуалов еще тогда возбуждало в людях некую эйфорию солидарности. Бывшие пациенты Томаша, узнав, что он моет окна, звонили к нему на предприятие и приглашали именно его. Затем встречали его с бутылкой шампанского или сливовицы и, записав ему в квитанцию

тринадцать вымытых окон, два часа толковали с ним и пили за его здоровье. И Томаш уходил в следующую квартиру или магазин в великолепном расположении духа. Семьи русских офицеров размещались по стране, по радио неслись угрожающие речи чиновников министерства внутренних дел, сменивших изгнанных редакторов, а он бродил в подпитии по Праге, и ему казалось, что он идет с одного праздника на другой. Это были его долгие каникулы.

Он возвращался назад во времена своего холостяцкого житья. То есть из его жизни вдруг совсем исчезла Тереза. Встречался он с ней только ночью, когда она приходила из ресторана, и он едва пробуждался от полусна, а утром, когда уже она с трудом открывала глаза, торопился на работу. В его распоряжении вдруг оказалось шестнадцать часов, столь неожиданно обретенный простор свободы. А простор свободы с ранней молодости для Томаша значил: женщины.

9

Когда друзья, случалось, спрашивали его, сколько у него было в жизни женщин, он отвечал уклончиво, но если они наседали на него, он говорил: «Ну что ж, их могло быть сотни две». Иные завистники считали, что он преувеличивает. Он защищался: «Разве это так много? Мои связи с женщинами длятся лет двадцать пять. Разделите две сотни на двадцать пять, и у вас получится каких-нибудь восемь новых женщин в год. Не так уж это и много».

Однако с тех пор как он стал жить с Терезой, его эротическая активность наталкивалась на организационные трудности; ей он мог отвести лишь узкую полоску времени (между операционным залом и домом), которое, как бы интенсивно он его ни использовал (подобно земледельцу, ревностно возделывающему свою делянку в горах), не идет, однако, ни в какое сравнение с простором в шестнадцать часов, нежданно ему подаренным. (Я говорю шестнадцать часов, поскольку и те восемь часов, когда он мыл окна, были наполнены узнаванием новых продавщиц, служащих, домашних хозяек, каждая из которых могла стать объектом его эротического интереса.)

Что он искал в них? Что его влекло к ним? Разве любовный акт — не вечное повторение одного и того же?

Отнюдь нет. Всегда остается маленькая доля невообразимого. Когда он видел женщину в платье, он, конечно, умел приблизительно вообразить себе, как она будет выглядеть обнаженной (здесь его опыт медика дополнял опыт любовника), но между приблизительностью воображения и точностью реальности всегда оставался маленький зазор невообразимого, не дававшего ему покоя. Погоня за невообразимым не кончается, однако, открытием наготы, но продолжается дальше: как женщина будет вести себя, когда он разденет ее? Что будет говорить, когда он будет обладать ею? В какой тональности будут звучать ее вздохи? Какой гримасой исказятся ее черты в минуту экстаза?

Своеобразие «я» скрыто как раз в том, что есть в человеке невообразимого. Представить себе мы можем лишь то, что у всех людей одинаково, что общо. Индивидуальное «я» — лишь то, что отличается от общего, иначе говоря, то, что нельзя предугадать и вычислить, что необходимо лишь обнажить, открыть, завоевать.

Томаш, который последние десять лет своей врачебной практики занимался исключительно человеческим мозгом, знает, что нет ничего более труднопостижимого, чем «я». Между Гитлером и Эйнштейном, между Брежневым и Солженицыным гораздо больше сходства, чем различия. Если это выразить числами, то можно было бы сказать, что между ними одна миллионная доля непохожего и девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять миллионных сходного.

Томаш одержим страстью открывать и овладевать этой одной миллионной долей, и ему кажется, что в этом — смысл его одержимости жен-

щинами. Он одержим не женщинами, он одержим тем, что в каждой из них есть невообразимого, иными словами, он одержим той миллионной долей непохожего, которая отличает одну женщину от других.

(Здесь, пожалуй, соприкасались его страсть хирурга со страстью бабника. Он не выпускал из руки воображаемого скальпеля, даже когда бывал с любовницами. Он мечтал овладеть чем-то, что запрятано глубоко в них и ради чего необходимо разъять их поверхность.)

Мы можем, конечно, по праву спросить, почему он искал эту миллионную долю непохожего именно в сексе? Разве он не мог найти ее, допустим, в походке, в кулинарных причудах либо в художественных увлечениях той или иной женщины?

Несомненно, миллионная доля непохожести присутствует во всех сферах человеческой жизни, однако в любой из них она общедоступна, ее не нужно открывать, она не требует скальпеля. Одна женщина на десерт предпочитает сыр пирожному, другая не выносит цветной капусты, и хоть каждая из них тем самым демонстрирует свою оригинальность, эта оригинальность тотчас обнаруживает свою полную пустоту и никчемность и убеждает нас в том, что нет никакого смысла примечать ее и искать в ней какую-то ценность.

Исключительно в сексуальности миллионная доля несхожести являет собой нечто редкостное, ибо недоступна публике и должна быть завоевана. Еще полвека назад для такого завоевания требовалась уйма времени (недели, а то и месяцы!), и стоимость завоеванного была пропорциональна времени, затраченного на это завоевание. Однако и сейчас, хотя время, необходимое для завоевания, неизмеримо сократилось, сексуальность все еще продолжает оставаться металлической шкатулкой, в которой сокрыто таинство женского «я».

Итак, то была не жажда наслаждения (наслаждение приходило сверх всего, как некая премия), а жажда овладеть миром (разъять своим скальпелем распростертое тело мира); именно она увлекала Томаша в погоню за женщинами.

10

Среди мужчин, гоняющихся за множеством женщин, мы можем легко различить две категории. Одни ищут во всех женщинах свой особый, субъективный и всегда один и тот же сон о женщине. Другие движимы желанием овладеть безграничным разнообразием объективного женского мира.

Одержимость первых — *лирическая:* они ищут в женщинах самих себя, свой идеал, но их всякий раз постигает разочарование, ибо идеал, как известно, нельзя найти никогда. Разочарование, которое гонит их от женщины к женщине, привносит в их непостоянство некое романтическое оправдание, и потому многие сентиментальные дамы способны даже умиляться над их упорной полигамностью.

Вторая одержимость — *эпическая,* и женщины не находят в ней ничего трогательного: мужчина не проецирует на женщин никакого своего субъективного идеала; поэтому его занимает все и ничто не может разочаровать. Именно эта неспособность быть разочарованным и несет в себе нечто предосудительное. В представлении людей одержимость эпического бабника не знает искупления (искупления разочарованием).

Поскольку лирический бабник преследует все время один и тот же тип женщин, никто даже не замечает, что он сменяет любовниц; друзья постоянно ставят его в затруднительное положение тем, что не могут различить его подруг и все время называют их одним и тем же именем.

Эпические бабники (и к ним, конечно, относится Томаш) в своей погоне за познанием все больше отдаляются от банальной женской красоты, коей быстро пресыщаются, и неотвратимо кончают как собиратели диковин. Они знают за собой этот грех, немного стыдятся его и, дабы не смущать друзей, не показываются с любовницами на людях.

Томаш уже около двух лет работал мойщиком окон, когда однажды его пригласила к себе новая заказчица. Ее причудливость привлекла его тотчас, как только он увидел ее в открытой двери квартиры, но причудливость эта была деликатной, неброской, ограниченной рамками приятной банальности (увлеченность Томаша диковинами не имела ничего общего с увлеченностью Феллини монстрами). Женщина была чрезвычайно высокой, заметно выше его, и лицо ее с тонким и очень длинным носом было до такой степени необычным, что ее нельзя было назвать красивой (никто с этим не согласился бы!), хотя и некрасивой (во всяком случае, в глазах Томаша) она не была. В брюках и белой блузе она производила впечатление удивительного сочетания нежного мальчика, жирафа и аиста.

Женщина смотрела на него долгим, внимательным, пытливым взглядом, не лишенным и проблеска умной иронии.

— Пойдемте дальше, пан доктор,— сказала она.

Он понял, что женщина знает, кто он. Однако, не желая показывать это, он спросил: — Куда можно налить воды?

Она открыла дверь ванной. Перед ним были умывальник, ванна, унитаз; перед ванной, умывальником и унитазом лежали маленькие розовые коврики.

Женщина, похожая на жирафа и аиста, улыбалась, глаза ее щурились, и потому все, что она говорила, казалось исполненным тайного смысла или иронии.

— Ванная полностью в вашем распоряжении, пан доктор,— сказала она.— Можете в ней делать все что угодно.

— И выкупаться могу? — спросил Томаш.

— Вы любите купаться? — ответила она вопросом.

Он наполнил ведро теплой водой и вернулся в гостиную.

— Откуда прикажете начать?

— Это зависит только от вас,— пожала она плечами.

— Я мог бы посмотреть окна в остальных комнатах?

— Вы хотите познакомиться с моей квартирой? — улыбнулась она, словно мытье окон было просто его прихотью, не имевшей к ней никакого отношения.

Он вошел в соседнюю комнату. Это была спальня с одним большим окном, двумя придвинутыми вплотную кроватями и картиной, изображавшей осенний пейзаж с березами и заходящим солнцем.

Когда он вернулся, на столе стояла открытая бутылка вина и две рюмки.

— Не хотите ли взбодриться перед нелегкой работой? — спросила она.

— С удовольствием,— сказал Томаш и сел.

— Для вас, должно быть, это любопытное занятие, бывать во многих домах,— сказала она.

— Да, в этом что-то есть,— сказал Томаш.

— Везде вас ждут женщины, мужья которых на работе.

— Гораздо чаще бабушки и свекрови,— сказал Томаш.

— А вы не тоскуете по вашей настоящей работе?

— Скажите мне лучше, откуда вы знаете о моей работе?

— Ваше предприятие хвастается вами,— сказала женщина, похожая на аиста.

— Все еще? — удивился Томаш.

— Когда я туда позвонила и попросила прислать кого-нибудь вымыть окна, мне предложили вас. Сказали, что вы известный хирург, которого выгнали из больницы. Меня, конечно, это заинтересовало.

— Вы ужасно любопытная,— сказал он.

— Это заметно по мне?

— Да, по вашему взгляду.

— А как я смотрю?

— Щурите глаза. И все время задаете вопросы.

— Вы не любите отвечать?

Благодаря ей разговор с самого начала приобрел игривое очарование.

Ничто из того, что она говорила, не касалось окружающего мира, все слова были обращены исключительно к ним одним. А поскольку главной темой разговора сразу стали он и она, не было ничего естественнее, как дополнить слова прикосновениями: Томаш, говоря о ее щурящихся глазах, не преминул погладить ее. А она принялась каждый его жест повторять своим жестом и делала это не полуосознанно, а скорее с какой-то нарочитой последовательностью, словно играла в игру «что сделаете вы мне, то и я сделаю вам». Так они сидели друг против друга, и руки одного касались тела другого.

И только когда Томаш попытался коснуться ее лона, она воспротивилась. Ему трудно было определить, насколько серьезно это сопротивление, но в любом случае прошло уже достаточно времени — через десять минут ему полагалось быть у следующего клиента.

Он встал и объяснил ей, что должен уйти. Лицо у нее горело.

— Позвольте подписать вам заказ,— сказала она.

— Но я же ничего не сделал,— возразил он.

— Это моя вина,— сказала она и затем добавила тихим, медленным, невинным голосом: — Мне придется снова попросить вас зайти и докончить то, что по моей вине вы не смогли даже начать.

Когда Томаш отказался дать ей подписать бланк, она сказала ласково, словно просила его о какой-то услуге: — Прошу вас, дайте мне.— А потом добавила, щуря глаза: — Плачу же не я, а мой муж. И платят не вам, а государственному предприятию. Эта сделка нас вовсе не касается.

11

Странная несоразмерность женщины, похожей на жирафа и аиста, возбуждала его и в воспоминаниях о ней: сочетание кокетства с неловкостью; откровенное сексуальное влечение, сопровождаемое иронической улыбкой; вульгарная ординарность квартиры и неординарность ее хозяйки. Какой она будет, когда они займутся любовью? Но как ни пытался он вообразить себе это, ничего не получалось. Несколько дней он ни о чем другом и думать не мог.

Когда она пригласила его во второй раз,бутылка вина и две рюмки уже ждали на столе. Однако сейчас все шло очень быстро. Вскоре они стояли друг против друга в спальне (на картине с березами заходило солнце) и целовались. Он сказал ей свое обычное «разденьтесь!», но она, вместо того чтобы подчиниться, попросила его: «Нет, сначала вы!»

Для него это было столь непривычным, что привело его в смущение. Она стала расстегивать ему брюки. Он еще раз, другой приказал ей (с комическим неуспехом) «разденьтесь», однако ему ничего не оставалось, как пойти на компромисс: следуя правилам игры, которые она в прошлый раз ему навязала («что сделаете вы мне, то и я сделаю вам»), она сняла с него брюки, а он с нее — юбку, затем она сняла с него рубашку, а он с нее — блузку, и так до тех пор, пока они не оказались друг перед другом совсем голыми. Его рука была на ее влажном межножье, а затем он продвинул пальцы дальше, к заднему проходу, к месту, которое особенно любил на теле всех женщин. У этой дамы он был необычайно выпуклым, упорно вызывая представление о долгом пищеварительном тракте, что кончался здесь, слегка выпирая. Ощупывая этот крепкий, здоровый кружок, этот самый прекрасный из всех перстней на свете, на медицинском языке именуемый «сфинктер», он неожиданно почувствовал и ее пальцы на своем собственном теле, в том же месте. Она повторяла все его движения с точностью зеркала.

Как я сказал, он познал сотни две женщин (а с тех пор, как мыл окна, их число заметно увеличилось), и все-таки с ним никогда не случалось, чтобы перед ним стояла женщина, выше его ростом, щурясь смотрела на него и ощупывала его анус. Дабы преодолеть смущение, он резко толкнул ее на кровать.

Его движение, столь стремительное, застигло ее врасплох. Ее высокая

фигура стала падать навзничь, лицо, покрытое алыми пятнами, выражало испуг человека, потерявшего равновесие. Стоя перед ней, он подхватил ее под колени и поднял чуть раздвинутые ноги вверх — они вдруг стали походить на воздетые руки солдата, сдающегося в страхе перед нацеленным на него оружием.

Неловкость в сочетании с усердием, усердие в сочетании с неловкостью необыкновенно распалили Томаша. Они любили друг друга очень долго. При этом он неотрывно глядел в ее лицо, покрытое алыми пятнами, и искал в нем испуганное выражение женщины, которой подставили ногу, и она падает, это неподражаемое выражение, что минутой раньше вогнало ему в голову кровь возбуждения.

Потом он пошел умыться в ванную. Она провожала его туда, обстоятельно объясняя, где мыло, где губка и как пустить горячую воду. Ему было странно, почему она так подробно растолковывает ему вещи столь простые. В конце концов он сказал, что все понимает, и намекнул, что хочет остаться в ванной один.

Она сказала просительно: «Не разрешите ли мне присутствовать при вашем туалете?»

Наконец ему удалось выставить ее из ванной. Он умывался, мочился в умывальник (известная привычка чешских врачей), но ему все время казалось, что она нетерпеливо снует перед дверью и раздумывает, как ей проникнуть внутрь. Когда он закрыл воду и в квартире наступила полная тишина, у него возникло ощущение, что она откуда-то наблюдает за ним. Он был почти уверен, что в двери ванной просверлена дырка и она прижимает к ней свой красивый прищуренный глаз.

Он уходил от нее в великолепном настроении. Он старался удержать в памяти самую суть этой женщины, вывести из своих воспоминаний некую химическую формулу, которой можно было бы определить ее исключительность (миллионную долю непохожести). Наконец он пришел к формуле, состоявшей из трех показателей:

1) неловкость в сочетании с усердием;

2) испуганное лицо того, кто потерял равновесие и падает;

3) ноги, поднятые вверх, точно руки солдата, который сдается перед нацеленным на него оружием.

Повторяя это, он наполнялся счастливым ощущением, что снова овладел какой-то частицей мира; что со своим воображаемым скальпелем вырезал полоску материи из бесконечного полотна вселенной.

12

Примерно в то же время с ним случилась такая история: он несколько раз встретился с молодой девушкой в квартире, которую предоставлял ему ежедневно, до самой полуночи, один его старый приятель. Однажды, спустя месяц, другой, девушка напомнила ему об одной их встрече: они якобы занимались любовью на ковре, меж тем как на дворе вспыхивали молнии и гремел гром. Они любили друг друга в течение всей грозы, и это было незабываемо прекрасно!

Томаш тогда почти испугался: да, он помнил, что любил ее на ковре (в квартире приятеля был лишь узкий диван, казавшийся Томашу неудобным), но о грозе напрочь забыл! Удивительное дело: он мог вспомнить каждую из тех нескольких встреч с этой девушкой, явственно помнил даже способ, каким они любили друг друга (она отказалась отдаться ему сзади), помнил слова, какие она произнесла во время соития (она непрестанно просила, чтобы он крепко сжимал ее бедра, и не хотела, чтобы он смотрел на нее), помнил даже фасон ее белья, а вот гроза совершенно стерлась в его памяти.

Из всех его любовных историй память сохраняла лишь крутую и узкую трассу сексуального завоевания: первую словесную атаку, первое прикосновение, первую непристойность, которую он сказал ей, а она — ему, все те мелкие извращения, к которым он постепенно склонял ее, и те, что она отвергла. Все остальное из памяти было (почти с какой-то педантичностью)

вычеркнуто. Он забывал даже место, где впервые увидел ту или иную женщину, ибо это мгновение предшествовало его сексуальному штурму.

Девушка говорила о грозе, мечтательно улыбалась, а он смотрел на нее с удивлением и чуть не сгорал от стыда: она переживала нечто прекрасное, а он был далек от ее чувствований. В двояком способе, каким их память отзывалась на вечернюю грозу, заключалась вся разница между любовью и нелюбовью.

Словом «нелюбовь» я вовсе не хочу сказать, что к этой девушке Томаш относился цинично, что в ней, как говорится, он не видел ничего, кроме сексуального объекта; напротив, он по-дружески любил ее, ценил ее характер и утонченность и готов был прийти к ней на помощь, если бы ей таковая понадобилась. Это не он относился к ней плохо, плохо относилась к ней его память, которая сама, без его участия, исключила ее из сферы любви.

Похоже, будто в мозгу существует совершенно особая область, которую можно было бы назвать *поэтической памятью* и которая отмечает то, что очаровало нас, тронуло, что сделало нашу жизнь прекрасной. С тех пор как он узнал Терезу, уже ни одна женщина не имела права запечатлеть в этой части мозга даже самый мимолетный след.

Тереза деспотически завладела его поэтической памятью и замела в ней следы иных женщин. Это было несправедливо, ибо, к примеру, девушка, которую он познавал на ковре, была ничуть не менее достойна поэзии, чем Тереза. Она кричала: «Закрой глаза, стисни мне бедра, держи меня крепко!»; она не могла вынести, что у Томаша в минуты любовной близости открыты глаза, сосредоточенные и наблюдающие, и что его тело, слегка приподнятое над ней, не прижимается к ее коже. Она не хотела, чтобы он изучал ее. Она хотела увлечь его в поток очарования, в который нельзя вступить иначе, чем с закрытыми глазами. Поэтому она и отказалась стать на четвереньки: в такой позе их тела и вовсе не соприкасались бы, и он смотрел бы на нее чуть не с полуметрового расстояния. Она ненавидела это расстояние. Ей хотелось слиться с Томашем. И потому, упорно глядя ему в глаза, она твердила, что не испытала наслаждения, хотя ковер был явно орошен ее оргазмом. «Я не ищу наслаждения,— говорила она,— я ищу счастья, а наслаждение без счастья — не наслаждение». Иными словами, она стучалась в ворота его поэтической памяти. Но ворота были заперты. В его поэтической памяти для нее не было места. Место для нее было разве что на ковре.

Его приключение с Терезой началось как раз там, где приключения с иными женщинами кончались. Оно разыгрывалось на другой стороне императива, который побуждал его завоевывать женщин. В Терезе он не хотел ничего открывать. Он получил ее открытой. Он сблизился с нею раньше, чем успел взять в руки свой воображаемый скальпель, которым вспарывал распростертое тело мира. Еще раньше, чем он успел спросить себя, какой она будет, когда они займутся любовью, он уже любил ее.

История любви началась лишь потом: у Терезы поднялась температура, и он не смог отослать ее домой, как, бывало, отсылал других женщин. Он стоял на коленях у постели, где она спала, и ему вдруг подумалось, что кто-то пустил ее к нему по воде в корзинке. Я уже сказал, что метафоры опасны. Любовь начинается с метафоры. Иными словами: любовь начинается в ту минуту, когда женщина своим первым словом впишется в нашу поэтическую память.

13

Несколько дней назад Тереза снова запала ему в душу: как обычно, она вернулась утром домой с молоком, и когда он открыл дверь, она стояла и прижимала к груди ворону, завернутую в красную косынку. Так в охапке держат цыганки своих детей. Он никогда не забудет этого: огромный печальный клюв вороны возле ее лица.

Она нашла ее зарытой в землю. Так когда-то поступали казаки с пленными недругами. «Это сделали дети»,— сказала она, и в этой фразе была не

только простая констатация, но и неожиданная брезгливость к людям. Он вспомнил, как недавно она сказала ему: «Я становлюсь благодарной тебе, что ты никогда не хотел иметь детей».

Вчера она жаловалась ему, что в баре к ней приставал какой-то мужчина. Он тянул руку к ее дешевенькому ожерелью и твердил, что она заработала его не иначе как проституцией. Она была очень встревожена этим. Больше, чем полагалось бы, подумал Томаш. И вдруг ужаснулся, как мало виделся с ней в последние два года и как редко доводилось ему сжимать в ладонях ее руки, унимая их дрожь.

С такими мыслями он отправился утром в контору. Служащая, распределявшая на весь день наряды для мойщиков, сказала ему, что некий частный заказчик упорно настаивал на том, чтобы окна в его квартире вымыл именно Томаш. По этому адресу он пошел с неохотой, опасаясь, что его снова пригласила к себе какая-то женщина. Погруженный в мысли о Терезе, он не испытывал ни малейшей потребности в очередном приключении.

Когда открылась дверь, Томаш облегченно вздохнул, увидев перед собой высокую сутуловатую мужскую фигуру. У мужчины была большая борода, и он кого-то напоминал Томашу.

— Пойдемте, пан доктор,— сказал он с улыбкой и повел Томаша в комнату.

В комнате стоял молодой человек. Краска заливала ему лицо. Он смотрел на Томаша, пытаясь улыбаться.

— Вас двоих, пожалуй, не надо представлять друг другу,— сказал мужчина.

— Не надо,— сказал Томаш и, не отвечая улыбкой на улыбку, протянул молодому человеку руку. Это был его сын.

Только тогда представился ему и мужчина с большой бородой.

— Я ведь понял, что вы кого-то напоминаете мне! — сказал Томаш.— Еще бы! Разумеется, я знаю вас. По имени.

Они сели в кресла по разные стороны низкого журнального столика. Томаш вдруг осознал, что оба сидевших напротив него человека являются его же невольными творениями. Сына принудила его создать первая жена, а черты этого высокого мужчины он по принуждению нарисовал полицейскому агенту, который его допрашивал.

Чтобы отогнать эти мысли, он сказал: — Так с какого же окна мне начинать?

Мужчины напротив от души рассмеялись.

Да, было ясно, что ни о каком мытье окон речь не идет. Его позвали не мыть окна, его заманили в ловушку. Он никогда и словом не перемолвился с сыном и только сегодня впервые пожал ему руку. Он знал его лишь по виду и не хотел знать иначе. Он не желал ничего о нем знать и хотел, чтобы это желание было обоюдным.

— Прекрасный плакат, не правда ли? — кивнул редактор на большой обрамленный рисунок, висевший на стене против Томаша.

Только сейчас Томаш оглядел комнату. На стенах были любопытные картины, много фотографий и плакатов. Рисунок, на который указал редактор, был напечатан в 1969 году в одном из последних номеров еженедельника, прежде чем русские запретили его. Это была имитация известного плаката времен гражданской войны 1918 года в России, который призывал к набору в Красную Армию: солдат с красной звездой на шлеме чрезвычайно строгим взглядом смотрит вам в глаза и протягивает руку с нацеленным на вас указательным пальцем. Изначальный русский текст гласил: «Ты записался добровольцем?» Этот текст был заменен чешским текстом: «Ты подписал две тысячи слов?»

Отличная шутка! «Две тысячи слов» был первым знаменитым манифестом весны 1968 года, призывавшим к радикальной демократизации коммунистического режима. Его подписала масса интеллектуалов, затем приходили и подписывали простые люди; в конце концов подписей оказалось такое множество, что впоследствии их так и не смогли подсчитать. Когда

в Чехию вторглась советская армия и начались политические чистки, один из вопросов, задаваемых гражданам, был: «Ты тоже подписал две тысячи слов?» Кто признавался в своей подписи, того без разговоров вышвыривали с работы.

— Прекрасный рисунок. Помню его,— сказал Томаш.

— Надеюсь, этот красноармеец не слушает, о чем мы говорим,— с улыбкой сказал редактор.

А потом добавил уже серьезным тоном: — Для полной ясности, пан доктор. Это не моя квартира. Это квартира приятеля. Стало быть, нет полной уверенности, что полиция подслушивает нас в эту минуту. Это можно лишь предполагать. Пригласи я вас к себе, сомневаться не приходилось бы.

Затем он снова перешел на более легкий тон: — Но я исхожу из того, что нам нечего утаивать. Впрочем, представьте себе, какое везение ждет чешских историков в будущем! Они найдут в полицейских архивах записанную на магнитофонную пленку жизнь всех чешских интеллектуалов! Знаете, сколько усилий требуется от историка литературы представить себе in conkreto сексуальную жизнь, допустим, Вольтера, или Бальзака, или Толстого? Относительно чешских писателей не будет никаких сомнений. Все записано. Каждый вздох.

Потом он повернулся к воображаемым микрофонам в стене и сказал громче: — Господа, как обычно в подобных обстоятельствах, я хочу поддержать вас в вашей работе и поблагодарить от своего имени и от имени будущих историков.

Все трое посмеялись немного, а затем редактор стал рассказывать, как был запрещен его еженедельник, что делает рисовальщик, придумавший эту карикатуру, и каково приходится другим чешским художникам, философам, писателям. После русского вторжения все они были выброшены с работы и сделались мойщиками окон, сторожами автостоянок, ночными вахтерами, истопниками общественных зданий и в лучшем случае, не без протекции, таксистами.

Все, что говорил редактор, было достаточно интересно, но Томаш не в силах был сосредоточиться. Он думал о своем сыне. Припомнил, что вот уже в течение нескольких месяцев встречает его на улице и, видимо, не случайно. Его поразило, что сейчас он видит его в обществе преследуемого редактора. Первая жена Томаша была ортодоксальной коммунисткой, и Томаш полагал, что сын, естественно, находится под ее влиянием. Он ведь ничего не знал о нем. Конечно, он смог бы сейчас прямо спросить сына, каковы его отношения с матерью, но такой вопрос в присутствии чужого человека представлялся ему бестактным.

Наконец редактор перешел к существу дела. Он сказал, что все больше и больше людей попадают за решетку лишь по той причине, что отстаивают собственные взгляды, и в заключение объявил: — Вот почему мы пришли к выводу, что надо действовать.

— Как же вы собираетесь действовать? — спросил Томаш.

Тут вступил в разговор его сын. Томаш впервые услышал, как он говорит. И с удивлением обнаружил, что сын заикается.

— У нас есть сведения, что политзаключенные содержатся в тяжелых условиях. Состояние некоторых из них поистине катастрофическое. Поэтому мы решили обратиться с петицией, которую могли бы подписать самые известные чешские интеллектуалы, чьи имена еще имеют кой-какой вес.

Впрочем, нет, он не заикался, скорее лишь слегка запинался, что замедляло поток его речи, и потому каждое произнесенное им слово помимо его воли как бы подчеркивалось и удлинялось. Он явно осознавал это, и его щеки, за минуту до этого побледневшие, теперь вновь стали красными.

— Вы хотите получить от меня совет, к кому обратиться в моей области? — спросил Томаш.

— Нет,— засмеялся редактор.— Нам не нужен ваш совет. Нам нужна ваша подпись!

Он снова почувствовал себя польщенным! Он снова обрадовался, что

кто-то еще не забыл, что он хирург! И если сопротивлялся, то лишь из скромности: — Помилуйте! То, что меня вышвырнули с работы, еще не доказательство, что я признанный врач!

— Мы не забыли, что вы написали в наш еженедельник! — улыбнулся Томашу редактор.

С каким-то восторгом, который, возможно, ускользнул от Томаша, сын вздохнул: — Конечно!

Томаш сказал: — Я не уверен, что мое имя на некой петиции может помочь политзаключенным. Не лучше ли было бы взять подписи у тех, кто до сих пор еще не в опале и сохранил хоть минимальное влияние на предержащие власти?

Редактор засмеялся: — Разумеется, лучше!

Сын Томаша тоже засмеялся; это был смех человека, который уже многое понял на своем веку: — Одно плохо — те никогда ее не подпишут!

Редактор продолжал: — Это вовсе не значит, что мы не ходим к ним за подписью! Мы не так обходительны, чтобы избавить их от неловкости,— смеялся он.— Послушали бы вы их отговорки! Потрясающие!

Сын одобрительно смеялся.

Редактор продолжал: — Естественно, они в один голос твердят, что целиком с нами согласны, только, дескать, желательно все делать иначе: тактичнее, разумнее, деликатнее. Они до дрожи боятся подписать петицию и в то же время не хотят, чтобы мы думали о них плохо, если они не подпишут.

Сын и редактор снова дружно рассмеялись.

Редактор подал Томашу лист бумаги с коротеньким текстом, в котором довольно уважительным тоном была изложена президенту просьба амнистировать политзаключенных.

Томаш пытался быстро сообразить: амнистировать политзаключенных? Но будут ли они амнистированы лишь на том основании, что люди, отвергнутые режимом (стало быть, новые потенциальные политзаключенные), просят об этом президента? Такая петиция скорее приведет к тому, что политзаключенные амнистированы не будут, даже если их сейчас и захотели бы вдруг амнистировать!

Его раздумья оборвал сын: — Речь идет главным образом о том, чтобы дать понять, что в этой стране есть еще горстка людей, которые не испытывают страха. И, кроме того, показать, кто по какую сторону баррикады. Отделить плевелы от пшеницы.

Томаш подумал: Что ж, справедливо, однако какое это имеет отношение к политзаключенным? Речь идет или о том, чтобы добиться их амнистирования, или же о том, чтобы отделить плевелы от пшеницы. Это совсем разные вещи.

— Вы колеблетесь, пан доктор? — спросил редактор.

Да. Он колебался. Но боялся об этом сказать. Против него на стене был изображен солдат, который грозил ему пальцем и спрашивал: «Ты еще не решился вступить в Красную Армию?» Или: «Ты еще не подписал две тысячи слов?» Или: «Ты тоже подписал две тысячи слов?» Или: «Ты не хочешь подписать петицию об амнистии?» Но о чем бы солдат ни спрашивал, он угрожал.

Редактор только что высказал свое мнение о людях, которые, хоть и соглашаются с требованием амнистии для политзаключенных, приводят тысячи доводов против того, чтобы подписать петицию. Однако такие рассуждения, на его взгляд, не более чем отговорки, за которыми скрывается трусость. Что Томашу оставалось сказать?

Он вдруг рассмеялся, оборвав установившуюся тишину, и указал на рисунок на стене: — Этот солдат, угрожая мне, спрашивает, подпишу я или нет. Под его взглядом тяжело думается!

Все трое немного посмеялись.

Затем Томаш сказал: — Хорошо. Подумаю. Мы могли бы увидеться где-нибудь в ближайшие дни?

— Я всегда рад видеть вас,— сказал редактор,— но что касается этой петиции — время не терпит. Мы хотим завтра вручить ее президенту.

— Завтра? — Томаш вдруг вспомнил, как толстяк-полицейский протянул ему бумагу с составленным текстом, содержащим донос как раз на этого высокого редактора с большой бородой. Все принуждают его подписывать тексты, которых он сам не писал.

Сын сказал: — Тут и раздумывать не о чем.

Слова были агрессивны, но тон почти умоляющий. Они сейчас смотрели друг другу в глаза, и Томаш заметил, как сын, сосредоточивая взгляд, чуть приподнимает левый уголок верхней губы. Эту гримасу он знал по собственному лицу, она появлялась, когда он внимательно разглядывал себя в зеркале, проверяя, хорошо ли выбрит. И сейчас он не мог удержаться от какого-то тошнотворного ощущения, увидев эту гримасу на чужом лице.

Когда родители живут с детьми с их младенчества, они привыкают к такой схожести, она представляется им чем-то банальным и, временами подмечая ее, они могут даже забавляться ею. Но Томаш разговаривал со своим сыном впервые в жизни! И сидеть против собственного искривленного рта было ему непривычно!

Представьте себе: вам ампутировали руку и пересадили ее на другого человека. И вот этот человек сидит против вас и жестикулирует этой рукой под самым вашим носом! Вы смотрели бы на эту руку, как на пугало. И хоть это была бы ваша собственная, столь родная вам рука, вас обуял бы ужас при мысли, что она коснется вас!

Сын продолжал: — Ты все-таки на стороне тех, кого преследуют!

Все это время Томаш думал о том, будет ли сын обращаться к нему на «ты» или на «вы». До сих пор сын строил фразы так, чтобы уйти от этого выбора. Сейчас он наконец решился. Он говорил ему «ты», и Томаш вдруг понял, что в этой сцене речь идет не об амнистии политзаключенных, а о сыне: если он подпишет, их судьбы соединятся, и Томашу придется в большей или меньшей степени сблизиться с ним. Если не подпишет, их отношения по-прежнему останутся на нуле, но на сей раз уже не по его воле, а по воле сына, который отречется от отца из-за его трусости.

Томаш был в ситуации шахматиста, у которого не осталось ни одного хода, каким он мог бы избежать поражения, и он вынужден признать себя побежденным. Подпишет он петицию или нет — какая разница. Это ничего не изменит ни в его судьбе, ни в судьбе политзаключенных.

— Дайте-ка сюда,— сказал он и взял бумагу.

14

Словно желая отблагодарить его за такое решение, редактор сказал: — Об Эдипе вы написали превосходно.

Сын подал ему авторучку и добавил: — Некоторые мысли имели силу разорвавшейся бомбы.

Похвала, высказанная редактором, его порадовала, но метафора, которую использовал сын, показалась ему преувеличенной и неуместной. Он сказал: — К сожалению, эта бомба угодила только в меня. Из-за этой статьи я не могу оперировать своих больных.

Это прозвучало холодно и почти враждебно.

Стремясь, видимо, приглушить этот небольшой диссонанс, редактор сказал (и это похоже было на извинение): — Но ваша статья помогла многим людям!

Уже с детства под словами «помогать людям» Томаш представлял себе лишь единственную форму деятельности: врачевание. Но может ли какая-то статья помочь людям? В чем эти двое хотят его убедить? Они свели всю его жизнь к одной маленькой мысли об Эдипе, да, собственно, к чему-то еще более малому: к одному примитивному «нет!», которое он бросил в лицо режима.

Он сказал (и голос его звучал столь же холодно, хотя он и не осознавал этого): — Я не знаю, действительно ли моя статья помогла кому-то. Но как хирург я спас нескольким людям жизнь.

Снова наступила минутная тишина. Ее нарушил сын: — Мысли тоже могут спасти людям жизнь.

Глядя на свои собственные губы на лице сына, Томашу подумалось: до чего же странно видеть, как твои губы заикаются.

— Одна вещь в твоей статье была замечательной,— продолжал сын, и было заметно, с каким усилием он говорит.— Твоя бескомпромиссность. Ясное ощущение, что такое добро и что такое зло. Мы перестаем различать это. Нам уже неведомо, что значит чувствовать себя виноватым. Коммунисты отговариваются тем, что их обманул Сталин. Убийца оправдывается тем, что его не любила мать и что он подвержен фрустрации. А ты вдруг взял и сказал: не существует никакого оправдания. Никто не был в глубине души своей более невинен, чем Эдип. И все-таки он сам себя наказал, когда увидел, что совершил.

Томаш с трудом оторвал взгляд от своего рта на сыновьем лице и попытался смотреть на редактора. Он был раздражен и горел желанием поспорить с ними. Он сказал: — Видите ли, все это недоразумение. Границы между добром и злом невероятно стерты. Наказывать кого-то, кто не ведал, что творил, не что иное, как варварство. Миф об Эдипе прекрасен. Но трактовать его так...— Он хотел еще что-то сказать, но вдруг подумал, что комната, возможно, прослушивается. Его ничуть не тревожила честолюбивая мечта быть цитируемым историками будущих веков. Он лишь опасался, что его может цитировать полиция. Разве не требовала она от него именно отречения от собственной статьи? Тягостно было даже подумать, что полиция могла это услышать теперь из его уст. Он знал: все, что человек в этой стране говорит, рано или поздно может быть передано по радио. Он умолк.

— Что вас заставило так изменить свои взгляды? — спросил редактор.

— Я скорее задаюсь вопросом, что заставило меня написать эту статью...— сказал Томаш и тотчас вспомнил: она приплыла к его постели, точно дитя, пущенное в корзинке по волнам. Да, поэтому он и брал в руки эту книгу: он возвращался к легендам о Ромуле, о Моисее, об Эдипе. И вот она уже снова с ним. Он видел ее перед собой, прижимающей к своей груди завернутую в красную косынку ворону. Этот образ принес ему утешение. Он словно явился сказать, что Тереза жива, что сейчас она в том же городе, что и он, и что все остальное не имеет никакого значения.

Редактор нарушил молчание.— Я понимаю вас, пан доктор. Мне также чужда идея наказания. Однако мы не требуем наказания,— улыбнулся он,— мы требуем отмены наказания.

— Я знаю,— сказал Томаш. Он уже смирился с тем, что в ближайшие минуты он сделает нечто, что, быть может, благородно, но наверняка абсолютно бессмысленно (поскольку политзаключенным это не поможет), а лично ему неприятно (поскольку все это происходит в навязанной ему обстановке).

Сын добавил (почти просительно): — Твоя обязанность подписать это!

Обязанность? Сын будет напоминать ему о его обязанности? Это было самым худшим словом, какое кто-либо мог ему сказать! Снова перед глазами возник образ Терезы, держащей в объятиях ворону. Он вспомнил, что вчера в баре приставал к ней шпик. Снова у нее трясутся руки. Она постарела. Кроме нее, для него ничего не имеет значения. Она, рожденная шестью случайностями, она, цветок, распустившийся из ишиаса главврача, она по другую сторону всех «Es muss sein!», она — то единственное, что ему дорого.

Почему он еще раздумывает, должен ли он или не должен подписывать? Существует лишь единый критерий всех его решений: он не должен делать ничего из того, что могло бы ей навредить. Томаш не может спасти политзаключенных, но может сделать Терезу счастливой. И даже это ему не удается. Но подпиши он петицию, почти наверняка к ней еще чаще будут наведываться шпики и еще сильнее будут трястись у нее руки.

Он сказал: — Гораздо важнее вырыть из земли закопанную ворону, чем посылать петицию президенту.

Он знал, что фраза невразумительна, но тем больше она ему нравилась. Он переживал минуты какого-то внезапного и неожиданного опьянения.

Это было такое же черное опьянение, какое он испытывал, когда однажды торжественно сообщил своей жене, что не хочет больше видеть ни ее, ни своего сына. Это было такое же черное опьянение, какое он испытывал, когда опускал в ящик письмо, в котором навсегда отрекался от профессии врача. Он вовсе не был уверен, что поступает правильно, но был уверен, что поступает так, как хочет поступать.

Он сказал: — Не сердитесь. Я не подпишу.

15

Несколькими днями позже он уже смог прочитать о петиции во всех газетах.

Нигде, конечно, не упоминалось о том, что это было вежливое прошение, ходатайствующее об освобождении политзаключенных. Ни одна газета не процитировала ни единой фразы из этого короткого текста. Напротив, пространно, неясно и угрожающе говорилось о каком-то антигосударственном воззвании, которое должно было стать основой для новой борьбы против социализма. Перечислялись те, кто подписал текст, и их имена сопровождались клеветой и нападками, от которых у Томаша мороз подирал по коже.

Несомненно, это было можно предвидеть. В то время любое общественное выступление (собрание, петиция, митинг на улице), не организованное коммунистической партией, автоматически считалось противозаконным, и над теми, кто принимал в нем участие, нависала угроза. Это знали все. Но, пожалуй, тем больше он досадовал на себя, что не подписал петиции. Почему, собственно, он не подписал ее? Теперь он даже не может отчетливо вспомнить, чем было вызвано его решение.

И вновь я вижу его в той же позе, в какой он предстал передо мной в самом начале романа. Он стоит у окна и смотрит поверх двора на стены супротивных домов.

Это образ, из которого он родился. Как я уже сказал, герои рождаются не как живые люди из тела матери, а из одной ситуации, фразы, метафоры; в них, словно в ореховой скорлупе, заключена некая основная человеческая возможность, которую, как полагает автор, никто еще не открыл или о которой никто ничего существенного не сказал.

Но разве не правда, что автору не дано говорить ни о чем ином, кроме как о самом себе?

Смотреть беспомощно поверх двора и не знать, что делать; слышать настойчивое урчание собственного живота в минуту любовного возбуждения; предавать и не уметь остановиться на прекрасном пути предательств; поднимать кулак в толпе Великого Похода; щеголять своим остроумием перед тайными микрофонами полиции — все эти ситуации я познал и пережил сам, и все-таки ни из одной из них не вырос персонаж, которым являюсь я сам со своим curriculum vitae[1]. Герои моего романа — мои собственные возможности, которым не дано было осуществиться. Поэтому я всех их в равной мере люблю и все они в равной мере меня ужасают; каждый из них преступил границу, которую я сам лишь обходил. Именно эта преступаемая граница (граница, за которой кончается мое «я») меня и притягивает. Только за ней начинается таинство, о котором вопрошает роман. Роман — не вероисповедание автора, а исследование того, что есть человеческая жизнь в западне, в которую претворился мир. Но довольно. Вернемся к Томашу.

Он один в квартире и смотрит поверх двора на грязную стену супротивного дома. Он тоскует по тому высокому мужчине с большой бородой и по его друзьям, которых он не знал и к которым не принадлежал. У него такое ощущение, будто он встретил на перроне красивую незнакомку, но прежде чем он успевает окликнуть ее, она садится в спальный вагон поезда, уходящего в Стамбул или Лиссабон.

---

[1] Путем жизни *(лат.)*

Затем он попытался снова обдумать, как было бы правильнее поступить. И хотя он старался устранить все, что относилось к области чувств (восхищение, какое он испытывал перед редактором, и раздражение, какое в нем вызывал сын), он по-прежнему не был уверен, должен ли был подписать текст, который ему предложили.

Правильно ли поднять свой голос в защиту того, кому затыкают рот? Несомненно.

Но с другой стороны: Почему газеты отвели столько места этой петиции? Печать (тотально манипулируемая государством) вполне могла все это дело с петицией замолчать, и никто бы о ней не узнал. Если же она о ней говорит, стало быть, правителям страны она пришлась весьма кстати! Она свалилась на них, точно манна небесная, и теперь они смогут развязать и оправдать новую мощную волну репрессий.

Как же в таком случае правильнее было поступить? Подписывать или не подписывать?

Возможна и иная формулировка вопроса: Лучше ли кричать и тем ускорить свой конец? Или молчать и тем оплатить более медленное умирание?

Существует ли вообще ответ на эти вопросы?

И вновь приходит к нему мысль, которая нам уже известна: Человеческая жизнь свершается лишь однажды, и потому мы никогда не сможем определить, какое из наших решений было правильным, а какое — ложным. В данной ситуации мы могли решить только один-единственный раз, и нам не дано никакой второй, третьей, четвертой жизни, чтобы иметь возможность сопоставить различные решения.

В этом смысле история подобна индивидуальной жизни. История чехов лишь одна. В один прекрасный день она кончится так же, как и Томашева жизнь, и ее уже нельзя будет повторить во второй раз.

В 1618 году чешские сословия, собравшись с духом и решив защищать свои религиозные свободы, обрушили свой гнев на императора, сидевшего на троне в Вене, и выкинули из окна Пражского града двух высоких чиновников. Так началась Тридцатилетняя война, которая привела почти к полному уничтожению чешского народа. Должны ли были тогда чехи проявить больше осторожности, чем смелости? Ответ кажется простым, однако его нет.

Триста двадцать лет спустя, в 1938 году, после мюнхенской конференции, весь мир решил принести их страну в жертву Гитлеру. Должны ли были они попытаться бороться в одиночку против восьмикратно превосходящих их сил противника? В отличие от 1618 года чехи тогда проявили больше осторожности, чем смелости. С их капитуляции началась вторая мировая война, которая привела к окончательной потере свободы их народа на много десятилетий, а то и столетий. Должны ли были они проявить тогда больше смелости, чем осторожности? Что они должны были делать?

Если бы история чехов могла повторяться, несомненно, было бы полезно всякий раз испробовать ту, иную, возможность, а потом сравнить оба результата. Без такого опыта все рассуждения суть лишь игра гипотез.

Einmal ist keinmal. Единожды — все равно что никогда. История чехов во второй раз уже не повторится, равно как и история Европы. История чехов и Европы является двумя набросками, которые нарисовала роковая неискушенность человечества. История столь же легка, как и отдельная человеческая жизнь, невыносимо легка, легка, как пух, как вздымающаяся пыль, как то, чего завтра уже и в помине не будет.

С какой-то ностальгией, даже чуть ли не с любовью Томаш еще раз вспомнил высокого сутуловатого редактора. Этот человек поступал так, будто история была не наброском, а уже готовой картиной. Он поступал так, словно все, что происходит, должно повторяться в вечном возвращении бессчетное число раз, и был уверен, что в своих поступках никогда не узнает сомнений. Он был убежден в своей правоте и считал это знаком отнюдь не ограниченности, а добродетели. Этот человек жил в иной истории, чем Томаш: в истории, которая не была (или которая не знала того, что была) всего лишь наброском.

16

Несколькими днями позже ему пришла в голову мысль, которую я привожу здесь в дополнение к предыдущей главе: во вселенной существует планета, где все люди рождаются во второй раз. При этом они полностью осознают свою жизнь, проведенную на Земле, и весь приобретенный там опыт.

И существует, возможно, еще одна планета, где все мы рождаемся на свет в третий раз уже с опытом двух предыдущих жизней.

И, быть может, существуют еще и еще другие планеты, где человечество всегда рождается на одну ступень (на одну жизнь) более зрелым.

Это Томашева версия вечного возвращения.

Здесь на Земле (на планете номер один, на планете неискушенности) мы можем, конечно, лишь весьма туманно домыслить, что стало бы с человеком на последующих планетах. Мудрее ли был бы человек? Под силу ли ему зрелость вообще? Может ли человек достичь ее повторением?

Лишь в перспективе этой утопии можно было бы с полным обоснованием пользоваться понятиями «пессимизм» и «оптимизм»: оптимист — тот, кто полагает, что на планете номер пять история человечества будет менее кровавой. Пессимист — тот, кто так не думает.

17

Знаменитый роман Жюля Верна, который Томаш любил еще в детстве, назывался *«Два года каникул»,* и действительно, два года — максимальный срок для каникул. Мойщиком окон Томаш был уже третий год.

Как раз в эти дни он осознал (отчасти грустя, отчасти тихо смеясь над собой), что он устал физически (каждый день у него был один, а то и два любовных турнира), что, даже не теряя вкуса к женщинам, он овладевает ими в напряжении последних сил. (Добавлю: не сексуальных, а именно физических сил; трудности возникали у него не с половым членом, а с дыханием, и в этом было что-то комическое.)

Как-то раз он пытался организовать на после обеда свидание, но не сумел дозвониться ни к одной женщине, и день грозил остаться пустым. Раз десять, например, он названивал одной девушке, на редкость очаровательной студентке театральной школы, чье тело с такой равномерностью загорело где-то на нудистских пляжах Югославии, что казалось, ее там медленно вращал на вертеле необычайно точный механизм.

Он безуспешно звонил ей из всех магазинов, в которых мыл окна, но когда, закончив к четырем работу, возвращался в контору отдать подписанные заказы, его вдруг на улице в центре Праги остановила незнакомая женщина. Улыбаясь, она сказала: «Пан доктор, куда вы пропали? Я совсем потеряла вас из виду!»

Томаш стал усиленно вспоминать, откуда он знает эту женщину. Может, бывшая пациентка? Она вела себя так, словно они были задушевными друзьями. И он старался так строить свои ответы, чтобы она не заметила его забывчивости. Он стал уж было подумывать о том, как затащить ее в квартиру приятеля, ключ от которой был у него в кармане, как вдруг по ее случайному замечанию понял, что именно ей, этой чудесно загорелой начинающей актрисе, он сегодня столь упорно названивал.

Этот эпизод позабавил его, но и напугал: да, он изнурен не только физически, но и психически; два года каникул не могут продолжаться до бесконечности.

18

Каникулы без операционного стола были одновременно и каникулами без Терезы: шесть дней в неделю они лишь мельком виделись и только по воскресеньям бывали вместе. И хотя оба они страстно желали друг друга, каждому из них приходилось проделывать долгий путь к сближению — не

меньший, чем в тот вечер, когда он вернулся к ней из Цюриха. Любовный акт приносил им наслаждение, но вовсе не утешение. Она уже больше не кричала, и в минуты оргазма ее лицо, казалось, выражает боль и странную отрешенность. Лишь каждую ночь во сне они бывали связаны узами нежности. Они держались за руки, и она забывала о пропасти (пропасть дневного света), которая их разделяла. Но этих ночей было недостаточно, чтобы он смог защитить ее и позаботиться о ней. Когда он утром видел ее, у него от страха сжималось сердце: она выглядела плохо, нездорово.

Однажды в воскресенье она попросила его поехать на машине куда-нибудь под Прагу. Они доехали до курортного городка, улицы которого были переименованы на русский лад, и встретили бывшего пациента Томаша. Эта встреча огорчила его. Вдруг снова кто-то заговорил с ним как с врачом, и он почувствовал, как издалека возвращается к нему его прошлая жизнь со своей приятной размеренностью: обследования больных, их полные доверия взгляды, которые, хотя он как бы старался не замечать, в действительности радовали его и которых теперь так ему недоставало.

Потом они ехали на машине домой, и Томаш думал о том, что их возвращение из Цюриха в Прагу было роковой ошибкой. Он судорожно впивался глазами в дорогу, стараясь не смотреть на Терезу. Он был полон злобы к ней. Ее присутствие рядом с ним представлялось ему во всей своей невыносимой случайности. Почему она здесь возле него? Кто положил ее в корзинку и пустил по воде? И почему пустил именно на берег *его* постели? И почему именно ее, а не какую-то другую женщину?

На протяжении всей дороги ни один из них не обронил ни слова.

Вернувшись домой, они молча поужинали.

Молчание лежало между ними как страдание. С каждой минутой оно становилось все тягостнее. Чтобы избавиться от него, они быстро пошли спать. Но среди ночи он разбудил ее: она плакала.

— Меня похоронили,— рассказывала она ему.— Меня уже давно похоронили. Ты ходил ко мне каждую неделю. Ты всегда стучал в могилу, и я выходила оттуда. Глаза у меня были полны земли.

Ты говорил: «Ты же так ничего не видишь» — и вынимал из глаз землю.

А я тебе говорила: «Я все равно не вижу. У меня ведь вместо глаз дыры».

А потом однажды ты уехал надолго, и я знала, что ты с какой-то чужой женщиной. Проходили недели, а ты не появлялся. Я боялась тебя пропустить и поэтому совсем не спала. Наконец ты снова постучал в могилу, но я была так обессилена целым месяцем бессонных ночей, что долго не могла к тебе выйти. Когда наконец мне это удалось, я увидела, что ты разочарован. Ты сказал, что я плохо выгляжу. Я чувствовала, что я страшно не нравлюсь тебе: у меня впалые щеки и резкие движения.

Я извинялась перед тобой: «Не сердись, я ведь не спала все это время».

И ты сказал притворным, успокоительным голосом: «Вот видишь. Тебе надо отдохнуть. Хорошо бы тебе взять на месяц отпуск».

А я прекрасно понимала, что ты имеешь в виду под этим отпуском. Я знала, что целый месяц ты не захочешь меня видеть, поскольку будешь с какой-то другой женщиной. Ты ушел, а я спустилась вниз в могилу, зная точно, что снова не буду целый месяц спать, боясь пропустить тебя, и что когда ты придешь спустя месяц, я стану еще безобразнее, чем сегодня, и ты еще больше во мне разочаруешься.

Он никогда не слышал ничего более мучительного, чем этот рассказ.

Он сжимал Терезу в своих объятиях и, чувствуя, как она дрожит всем телом, думал о том, что ему не под силу вынести свою любовь.

Пусть земной шар содрогался бы от взрывов бомб, пусть его родину что ни день разоряли бы другие орды, а всех жителей с соседней улицы волокли бы на казнь — все это легче было бы ему вынести, чем решиться на признание. Печаль же, скрытая в одном Терезином сне, была для него непереносима.

Он старался погрузиться в глубины сна, о котором она ему рассказала. Он представлял себе, как он гладит ее по лицу и незаметно для нее выбирает

землю из глазных впадин. Потом он слышал, как она говорит ему эти невообразимо мучительные слова: «Я все равно не вижу. Вместо глаз у меня дыры».

Сердце сжималось у него так, что казалось, вот-вот разорвется.

Тереза снова спала, но он не мог уснуть. Он представлял себе ее смерть. Она мертва, и снятся ей ужасные сны; но поскольку она мертва, он не может ее разбудить. Да, это смерть: Тереза спит, снятся ей ужасные сны, и он не может ее разбудить.

19

За те пять лет, что прошли со времени вторжения русской армии на родину Томаша, Прага неузнаваемо изменилась: он встречал на улицах других людей, чем когда-то. Половина его знакомых эмигрировала, а из той половины, что осталась, еще половина умерла. Этот факт не будет зафиксирован ни одним историком: годы после русского вторжения были периодом похорон; частота смертей была несравнимо выше, чем когда-либо прежде. Я не говорю лишь о случаях (скорее редких), когда люди были затравлены до смерти, подобно писателю Яну Прохазке. Спустя две недели после того как радио стало ежедневно передавать его частные разговоры, он слег в больницу. Раковая опухоль, которая, вероятно, еще раньше дремала в его теле, внезапно расцвела, как роза. Оперировали его в присутствии полиции; но узнав, что романист приговорен к смерти, она тотчас потеряла к нему интерес и оставила его умирать на руках жены. Однако умирали и те, кого никто не преследовал открыто. Безнадежность, что овладела страной, проникала через души к телам и сокрушала их. Некоторые в отчаянии спасались от благосклонности режима, пытавшегося одарить их почестями и тем самым принудить встать на сторону новых правителей. Так, спасаясь от любви партии, умер поэт Франтишек Грубин. Министр культуры, от которого он отчаянно скрывался, настиг его уже лежавшим в гробу. Он произнес над поэтом речь о его любви к Советскому Союзу. Возможно, этой нелепостью он хотел воскресить Грубина. Но мир был столь омерзителен, что никому не хотелось вставать из мертвых.

Томаш пошел в крематорий, чтобы присутствовать на похоронах известного биолога, изгнанного из университета и Академии наук. На извещении о смерти не был указан даже час погребения, ибо власти боялись, что сей обряд может вылиться в демонстрацию; лишь в последнюю минуту близкие узнали, что он будет кремирован в полседьмого утра.

Войдя в зал крематория, Томаш не сразу осознал, что происходит: зал был освещен, словно съемочная площадка. Он огляделся и обнаружил, что в трех местах размещены камеры. Нет, это было не телевидение, это была полиция, которая снимала похороны, чтобы доподлинно знать всех участников. Старый коллега мертвого ученого, все еще член Академии наук, имел смелость говорить у гроба. Он и не предполагал, что с этого дня станет киноактером.

Когда обряд кончился и все уже успели выразить соболезнование семье покойного, Томаш увидел в уголке зала группку людей, а среди них — высокого сутуловатого редактора. Он снова остро почувствовал, как его тянет к этим людям, которые ничего не боятся и, несомненно, связаны между собою большой дружбой. Он направился к редактору, улыбнулся, хотел поздороваться, но тот сказал: — Осторожно, пан доктор, вам лучше не подходить.

Фраза была непростой. Томаш мог истолковать ее как искреннее дружеское предупреждение («Будьте осторожны, нас фотографируют, если заговорите с нами, возможно, одним допросом у вас будет больше») или же она могла быть сказана с иронией («Если вам не хватило смелости подписать петицию, будьте последовательны и не общайтесь с нами!»). Но какое бы из этих значений не было истинным, Томаш послушался и удалился. У него было ощущение, будто он видит красивую женщину, входящую в спальный вагон экспресса дальнего следования, и в минуту, когда он

собирается выразить ей свое восхищение, она подносит палец к губам и не позволяет ему говорить.

20

В тот же день, после обеда, у него произошла еще одна занятная встреча. Он мыл витрину большого обувного магазина, когда рядом с ним остановился молодой человек. Наклонившись к витрине, тот стал разглядывать ценники.

— Подорожало, — сказал Томаш, не переставая собирать своим инструментом струи воды, стекавшие по стеклу.

Молодой человек обернулся. Им оказался коллега Томаша по клинике, которого я обозначил буквой С., тот самый, что когда-то с насмешкой негодовал из-за того, что Томаш якобы написал покаянное заявление. Томаш обрадовался встрече (той простой наивной радостью, которую приносят нам события неожиданные), но уловил во взгляде коллеги (еще до того, как С. успел овладеть собой) неприятное изумление.

— Как поживаешь? — спросил С.

Прежде чем Томаш сумел ответить, он заметил, что С. устыдился своего вопроса. В самом деле, не глупо ли врачу, продолжающему практиковать, спрашивать «Как поживаешь?» врача, моющего витрины.

Чтобы избавить его от смущения, Томаш ответил как можно веселее: «Превосходно!», но тотчас почувствовал, что это «превосходно» против его воли (и как раз потому, что он старался произнести это весело) прозвучало с горькой иронией.

И он поспешил добавить: — Что нового в клинике?

С. ответил: — Ничего. Все нормально.

И этот ответ, при всей его нейтральности, был совершенно неуместным, и оба это знали, как знали и то, что оба это знают: как это «все нормально», когда один из них моет витрины?

— А главный врач? — спросил Томаш.

— Ты с ним не видишься? — спросил С.

— Нет,— сказал Томаш.

Это была правда: с тех пор как Томаш покинул клинику, он ни разу не виделся с главным врачом, несмотря на то что когда-то они тесно сотрудничали и даже склонны были считать себя друзьями. И как бы Томаш ни старался произнести свое «нет», оно заключало в себе нечто печальное, и он почувствовал, что С. сердится, что задал ему этот вопрос, ибо сам С., подобно главному врачу, ни разу не поинтересовался, как Томаш живет и не нуждается ли в чем.

Разговор между двумя бывшими коллегами явно не клеился, хотя оба и сожалели об этом, а Томаш — в особенности. Он не таил обиды на своих коллег за то, что они забыли о нем. И сейчас охотно объяснил бы это молодому человеку. Если бы он мог сказать ему: «Не смущайся! Все в полном порядке, и вполне нормально, что наши пути разошлись! Не переживай зря! Я рад тебя видеть!», но он и это боялся сказать, ибо все, что говорил до сих пор, звучало иначе, чем хотелось ему, и даже в этой искренней фразе коллега мог бы заподозрить агрессивную иронию.

— Не сердись,— сказал наконец С.,— ужасно спешу,— и он протянул Томашу руку.— Позвоню тебе.

В ту пору когда коллеги смотрели на него свысока за его предполагаемую трусость, все улыбались ему. Сейчас, когда они уже не могут презирать его, когда вынуждены даже уважать его, они избегают встречи с ним.

Впрочем, и бывшие пациенты уже больше не приглашали к себе Томаша и не угощали его шампанским. Положение деклассированных интеллектуалов перестало быть исключительным; оно стало чем-то постоянным и неприятным на взгляд.

21

Он пришел домой, лег и уснул раньше обычного. Но примерно час спустя проснулся от боли в желудке. Это был его старый недуг, который всегда давал о себе знать в минуты депрессии. Он отворил аптечку и чертыхнулся. Никаких лекарств там не было. Он напрочь забыл запастись ими. Он попытался подавить приступ волевым усилием, и ему даже удалось это, однако снова уснуть уже не мог. Когда Тереза в половине второго ночи вернулась домой, ему захотелось потолковать с ней. Он стал рассказывать о похоронах и о том, как редактор отказался говорить с ним; рассказал и о встрече с коллегой С.

— Прага стала омерзительна,— сказала Тереза.

— Да, стала,— сказал Томаш.

Чуть погодя Тереза тихо сказала: — Самое лучшее было бы уехать отсюда.

— Наверное,— сказал Томаш,— но некуда ехать.

Он сидел на кровати в пижаме, она подсела к нему и обняла сбоку за плечи.

Она сказала: — В деревню.

— В деревню? — удивился он.

— Там мы были бы одни. Там ты не встречался бы ни с редактором, ни со своими бывшими коллегами. Там другие люди и там природа, которая осталась такой же, какой была всегда.

Томаш снова почувствовал слабые боли в желудке; он вдруг ощутил себя старым, и ему стало казаться, что он уже ни о чем не мечтает, кроме покоя и тишины.

— Может, ты и права,— сказал он с трудом; боли не давали ему свободно дышать.

Тереза продолжала: — У нас был бы там домик и маленький сад. По крайней мере, Каренину было бы где вволю побегать.

— Пожалуй,— сказал Томаш.

Он представил себе, что будет, если они и впрямь уедут из Праги. В деревне трудно будет каждую неделю находить другую женщину. И его эротическим авантюрам там наверняка придет конец.

— В деревне, правда, ты скучал бы со мной,— сказала Тереза, словно читая его мысли.

Боли снова усилились. Он не мог говорить. Ему подумалось, что его погоня за женщинами тоже своего рода «Es muss sein!», императив, который порабощал его. Он мечтал о каникулах. Но о каникулах полноценных, то есть об отдыхе от *всех* императивов, от *всех* «Es muss sein!». Если он смог отдохнуть (и навсегда) от операционного стола больницы, почему бы ему не отдохнуть от того операционного стола мира, на котором он открывал воображаемым скальпелем шкатулку, где женщины скрывали иллюзорную миллионную долю своей непохожести?

— У тебя желудок болит! — только сейчас догадалась Тереза.

Он подтвердил.

— Ты сделал укол?

Он покачал головой: — Забыл достать лекарства.

Она сердилась на него за невнимание к себе и гладила его по лбу, слегка увлажненному от боли.

— Сейчас немного легче,— сказал он.

— Ложись,— сказала она и прикрыла его одеялом. Потом ушла в ванную, а спустя немного легла рядом с ним.

Он повернул к ней на подушке голову и ужаснулся: печаль, которую излучали ее глаза, была непереносима.

Он сказал: — Тереза, скажи мне. Что с тобой? В последнее время с тобой что-то происходит. Я это чувствую. Я знаю.

Она покачала головой: — Нет, со мной ничего.

— Не отпирайся!

— Все то же самое,— сказала она.

«Все то же самое» означало ее ревность и его измены.

Томаш продолжал упорствовать: — Нет, Тереза. На этот раз что-то другое. Так плохо тебе еще никогда не было.

Тереза сказала: — Ну, хорошо, скажу. Ступай вымой волосы.

Он не понял ее.

Она сказала грустно, без всякой враждебности, почти нежно: — Твои волосы уже несколько месяцев невозможно пахнут. Пахнут срамным местом какой-то женщины. Я не хотела говорить тебе об этом. Но уже много ночей я дышу срамом твоей любовницы.

Как только она сказала это, у него тут же снова заболел желудок. Он пришел в отчаяние. Он же так тщательно моется! Он без конца трет себя губкой, все тело, руки, лицо, чтобы нигде не оставалось и следа чужого запаха. Он избегает пахучего мыла в чужих ванных, повсюду носит только свое, простое. А вот о волосах забыл! Нет, ему даже в голову не пришло подумать о волосах!

И он вспомнил женщину, которая садится ему на лицо и хочет, чтобы он любил ее лицом и теменем. Сейчас он ненавидел ее! Что за идиотские выдумки! Он видел, что отрицать что-либо бесполезно и что ему остается лишь, глупо улыбаясь, отправиться в ванную и вымыть голову.

Она снова погладила его по лбу: — Лежи. Это уже не имеет значения. Я привыкла.

У него болел желудок, и он мечтал о покое и тишине.

Он сказал: — Я напишу больному, которого мы встретили на курорте. Ты знаешь тот край, где его деревня?

— Нет, не знаю,— сказала Тереза.

Томашу трудно было говорить. Его хватило лишь произнести: — Лес... холмы...

— Хорошо, так и сделаем. Уедем отсюда. Но теперь помолчи,— и она продолжала гладить его по лбу. Они лежали друг возле друга и уже ни о чем не говорили. Боль постепенно отпускала его. Скоро оба уснули.

22

Посреди ночи он проснулся и с удивлением вспомнил, что снились ему одни эротические сны. Ясно помнил он только последний: в бассейне на спине плавала огромная голая женщина, по крайней мере раз в пять больше его самого, и ее живот был сплошь — от межножья до пупка — покрыт густыми волосами. Он смотрел на нее с настила бассейна и испытывал сильнейшее возбуждение.

Однако мог ли он испытывать возбуждение, в то время как боли в желудке столь изнурили его тело? И мог ли он возбудиться от вида женщины, которая наяву наверняка вызвала бы в нем лишь отвращение?

Он подумал: В часовом механизме головы друг против друга вращаются два зубчатых колесика. На одном из них видения, на другом — реакция тела. Зубец, на котором изображено видение нагой женщины, касается противоположного зуба, на который нанесен императив эрекции. Если по какому-то недоразумению колесики сдвинутся и колесико возбуждения войдет в контакт с зубцом, на котором нарисован образ летящей ласточки, наш половой член станет вытягиваться при виде ласточки.

Кстати сказать, Томаш знаком был с работой одного своего коллеги, изучавшего человеческий сон, в которой утверждалось, что у мужчины при *любом* сне наступает эрекция. Это значит, что соединение эрекции и голой женщины есть один из тысячи способов, каким Создатель мог завести часовой механизм в голове мужчины.

Но что общего со всем этим имеет любовь? Ничего. Если каким-то образом сдвинется колесико в голове Томаша и он возбудится от одного вида ласточки, на его любви к Терезе это никак не отразится.

Если возбуждение — механизм, которым забавлялся наш Создатель, то любовь, напротив, принадлежит только нам, с ее помощью мы ускользаем от Создателя. Любовь — это наша свобода. Любовь лежит по ту сторону «Es muss sein!».

Но даже это не полная правда. Хотя любовь есть нечто иное, чем часовой механизм секса, которым забавлялся Создатель, она все же связана с этим механизмом. Она связана с ним так же, как и нежная нагая женщина с маятником огромных часов.

Томаш думает: Связать любовь с сексом — это была одна из самых причудливых идей Создателя.

А потом он подумал еще вот о чем: Единственный способ, каким можно было бы защитить любовь от нелепости секса,— это завести часы в нашей голове по-другому и возбуждаться при виде ласточки.

С этой сладостной мыслью он засыпал. И на пороге полного забытья в этой волшебной стране сумбурных представлений он вдруг обрел уверенность, что неожиданно нашел решение всех загадок, ключ к тайне, новую утопию, рай: мир, где человек возбуждается при виде ласточки и где он, Томаш, может любить Терезу, не терзаясь агрессивной нелепостью секса.

Он уснул.

23

Там было несколько полуголых женщин, они вились вокруг него, но он чувствовал себя усталым. Чтобы спастись от них, он открыл дверь в соседнюю комнату. На диване, прямо перед собой, он увидел девушку. Она тоже была полуголая, в одних трусиках. Она лежала на боку, опершись о локоть, и смотрела на него с улыбкой, будто знала, что он придет.

Он приблизился к ней, переполненный ощущением бесконечного счастья, что наконец нашел ее и что может быть с нею. Он сел рядом и стал что-то говорить ей, а она что-то говорила ему. Она излучала спокойствие. Жесты ее руки были медленными и плавными. Он всю жизнь мечтал об этих покойных движениях. Именно этого женского покоя ему недоставало всю жизнь.

Однако в эту минуту началось скольжение из сна в явь. Он очутился в той no man's land, ничейной земле, где человек уже не спит и еще не бодрствует. Ужасаясь, что девушка исчезает из виду, он говорил себе: Господи, я не имею права ее потерять! Он отчаянно пытался припомнить, кто эта девушка, где он, собственно, встретил ее, что пережил с ней. Возможно ли, что он забыл это, когда так хорошо знает ее? Он обещал себе рано утром ей позвонить. Но как только подумал об этом, испугался, поняв, что позвонить ей не сможет, потому что забыл ее имя. Но как он мог забыть имя той, которую так хорошо знает? Потом он уже почти совсем проснулся, открыл глаза и спрашивал себя: где я? да, я в Праге, но эта девушка, из Праги ли она вообще? не встречал ли я ее где-то еще? не из Швейцарии ли она? Прошла еще минута, прежде чем он осознал, что не знает этой девушки, что она не из Швейцарии, не из Праги, эта девушка из сна и ниоткуда больше.

Он был этим так удручен, что сел на постели. Тереза глубоко дышала возле него. Он думал о том, что эта девушка из сновидения не похожа ни на одну из женщин, которых он встречал в жизни. Девушка, которая казалась ему ближайшей *знакомой,* была как раз совсем *незнакомой.* Но именно по ней он всегда тосковал. Если бы существовал какой-то его собственный Рай, то в этом Раю он должен был бы жить вместе с ней. Эта женщина из сновидения — «Es muss sein!» его любви.

Он вспомнил знаменитый миф из Платонова «Пира»: люди сначала были андрогинами, и Бог разделил их на две половинки, которые с тех пор блуждают по свету и ищут друг друга. Любовь — это мечта найти затерянную половину нас самих.

Допустим, что это так; что у каждого из нас где-то на свете есть партнер, который некогда составлял с нами одно тело. И второй половиной Томаша была как раз та девушка, которая снилась ему. Однако человеку не дано найти вторую половину самого себя. Вместо этого Томашу посылают по воде в корзинке Терезу. Но что случится, если когда-нибудь он и вправду познает женщину, которая была ему суждена, познает вторую половину

самого себя? Кому он отдаст предпочтение? Женщине из корзинки или женщине из Платонова мифа?

Он представил себе, что живет в идеальном мире с девушкой из сновидения. Мимо открытых окон их особняка идет Тереза. Она одна, она останавливается на тротуаре и смотрит на него оттуда бесконечно печальным взглядом. И этого взгляда он не выдерживает. Он уже снова ощущает ее боль в своем собственном сердце! Он уже снова во власти сочувствия и погружается на дно ее души. Он выпрыгивает из окна на улицу, но она с печалью велит ему остаться там, где он чувствует себя счастливым; и у нее все те же резкие, неровные движения, что всегда мешали и не нравились ему. Он хватает эти нервные руки и, чтобы успокоить их, сжимает в своих ладонях. И он знает, что в любую минуту он оставит дом своего счастья, что в любую минуту оставит свой Рай, где живет с девушкой из сновиденья, что предаст «Es muss sein!» своей любви ради того, чтобы уйти с Терезой, женщиной, рожденной из шести смешных случайностей.

Он все еще сидел на кровати и смотрел на женщину, которая лежала рядом и во сне сжимала его руку. Он испытывал к ней невыразимую любовь. Ее сон, должно быть, в эту минуту был очень хрупким, потому что она открыла глаза и испуганно уставилась на него.

— Куда ты смотришь? — спросила она.

Он знал, что надо не будить ее, а усыпить снова; поэтому он старался ответить так, чтобы его слова сотворили в ее воображении образ нового сна.

— Я смотрю на звезды,— сказал он.

— Не лги, что ты смотришь на звезды. Ты смотришь вниз.

— Потому что мы в самолете. Звезды под нами,— ответил Томаш.

— Аа, в самолете,— сказала Тереза. Она еще крепче сжала Томашеву руку и снова уснула. Томаш знал, что сейчас Тереза смотрит вниз в круглое окошечко самолета, который летит высоко над звездами.

Часть шестая
ВЕЛИКИЙ ПОХОД

1

Лишь в 1980 году мы смогли прочесть в «Санди таймс», как умер сын Сталина, Яков. Взятый в плен во время второй мировой войны, он был помещен в немецкий лагерь вместе с английскими офицерами. У них был общий сортир. Сын Сталина обычно оставлял его после себя загаженным. Англичанам не по нутру было видеть сортир, измазанный говном, хотя это и было говно сына самого могущественного тогда человека в мире. Они попрекнули его. Он оскорбился. Они продолжали попрекать его и принуждали чистить сортир. Яков возмутился, рассорился с ними, затеял драку. В конце концов попросил у начальника лагеря выслушать его. Хотел, чтобы тот рассудил их. Но спесивый немец не пожелал говорить о говне. Сын Сталина не смог снести унижения. Исторгая в небо страшную русскую брань, он бросился к заряженной электрическим током колючей проволоке, ограждавшей лагерь. И угодил прямо в цель. Его тело, которому уже никогда больше не суждено было загадить англичанам сортир, так и осталось висеть на проволочном заграждении.

2

Сыну Сталина пришлось нелегко. Отец произвел его на свет с женщиной, которую затем, по всем свидетельствам, застрелил. Молодой Сталин, таким образом, был сыном Божьим (ибо его отец был почитаем как Бог), но одновременно был и отвержен им. Люди боялись его вдвойне: он мог навредить им своей властью (он был все-таки сыном Сталина), равно как

и своей благосклонностью (вместо отверженного сына отец мог покарать его друзей).

Отверженность и привилегированность, счастье и несчастье — никто другой не почувствовал на себе конкретнее, чем Яков, как взаимозаменимы эти противоположности и как короток шаг от полюса к полюсу человеческого существования.

Затем, в самом начале войны, его взяли в плен немцы, и в лагере другие пленные, принадлежавшие к народу, который был ему всегда органически противен своей непостижимой замкнутостью, обвинили его в нечистоплотности. Мог ли он, кто нес на своих плечах драму наивысшего порядка (он был сыном Божьим и одновременно падшим ангелом), быть теперь судим отнюдь не за нечто возвышенное (касающееся Бога и ангелов), а за говно? И ужели расстояние от самой высшей драмы до самой низшей столь головокружительно близко?

Головокружительно близко? Разве близость может вызвать головокружение?

Может. Когда северный полюс вплотную приблизится к южному, земной шар исчезнет, и человек окажется в пустоте, что закружит ему голову и поманит кинуться вниз.

Если отверженность и привилегия — одно и то же, если нет разницы между возвышенным и низменным, если сын Божий может быть судим за говно, то человеческое существование утрачивает свои размеры и становится невыносимо легким. Когда сын Сталина побежал к заряженной электрическим током проволоке, чтобы бросить на нее свое тело, это проволочное заграждение было той чашей весов, что жалобно торчала высоко в небе, поднятая бесконечной легкостью мира, утратившего свои размеры.

Сын Сталина отдал жизнь из-за говна. Но смерть из-за говна не лишена смысла. Немцы, которые жертвовали жизнью ради того, чтобы расширить территорию своей империи дальше на восток, русские, которые умирали ради того, чтобы могущество их отечества простерлось дальше на запад,— да, эти умирали ради нелепости, их смерть была лишена смысла и всеобщей законности. Напротив, смерть сына Сталина посреди всеобщей нелепости войны была единственной метафизической смертью.

3

Когда я был маленький и рассматривал Ветхий Завет, изданный для детей с гравюрами Гюстава Доре, я видел там Господа Бога на облаке. Это был старый человек с глазами, носом, с длинной бородой, и я говорил себе: если у него имеется рот, то он должен есть. А если он ест, то у него должны быть кишки. Но эта мысль тотчас пугала меня, ибо я. хоть и был ребенком из семьи скорее неверующей, все же чувствовал, что представление Божьих кишок — святотатство.

Непроизвольно, без всякой теологической подготовки, я, стало быть, уже ребенком понимал несовместимость испражнений и Бога, а отсюда и сомнительность основного тезиса христианской антропологии, согласно которой человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Либо одно, либо другое: либо человек сотворен по образу Божьему, и тогда у Бога есть кишки, либо у Бога нет кишок, и человек не подобен ему.

Древние гностики чувствовали это так же хорошо, как и я в свои пять лет. Уже во втором веке великий мастер гностики Валентин, пытаясь разрешить этот проклятый вопрос, утверждал, что Иисус «ел, пил, но не испражнялся».

Говно — более сложная теологическая проблема, чем зло. Бог дал человеку свободу, и мы можем в конце концов допустить, что он не ответственен за человеческие преступления. Однако ответственность за говно в полной мере несет лишь тот, кто человека создал.

4

Святой Иероним в четвертом столетии напрочь отметал мысль, что Адам с Евой в Раю совокуплялись. Напротив, Иоанн Скот Эриугена, величайший теолог девятого столетия, такую мысль допускал. Однако представлял себе, что половой член у Адама мог подниматься примерно так, как поднимается рука или нога, то есть когда он хотел и как хотел. Не станем искать за этим воображаемым образом извечный сон мужчины, одержимого страхом импотенции. Мысль Скота Эриугены наполнена иным содержанием. Если можно поднять фаллос по простому приказу мозга, то возбуждение, выходит, вещь на свете ненужная. Фаллос поднимается не потому, что мы возбуждены, а потому, что мы приказываем ему это. Великому теологу несовместимым с Раем представлялось не совокупление и связанное с ним наслаждение. Несовместимым с Раем было возбуждение. Запомним это четко: в Раю существовало наслаждение, но не возбуждение.

В рассуждении Скота Эриугены мы можем найти ключ к некоему теологическому оправданию (иначе сказать — теодицее) говна. Пока человеку дозволено было оставаться в Раю, он либо (подобно Иисусу в понятиях Валентина) не испражнялся, либо (что представляется более правдоподобным) испражнения не воспринимались как нечто отвратительное. Тогда, когда Бог изгнал человека из Рая, он дал ему познать отвращение. Человек начал скрывать то, чего стыдится, но, сняв покров, был тотчас ослеплен великим сиянием. Так, вслед за познанием отвращения, он познал и возбуждение. Без говна (в прямом и переносном смысле слова) не было бы сексуальной любви такой, какой мы ее знаем: сопровождаемой сердцебиением и ослеплением рассудка.

В третьей части романа я рассказывал о том, как полуобнаженная Сабина в котелке на голове стояла возле одетого Томаша. Кое о чем я тогда умолчал. Когда она смотрела на себя в зеркало, возбужденная видом собственной комичности, ей вдруг представилось, что вот так, с котелком на голове, Томаш посадит ее на унитаз, и она перед ним опорожнится. В эту минуту у нее забилось сердце, замутилось сознание, она увлекла Томаша на ковер и сразу же зашлась криком наслаждения.

5

Спор между теми, кто утверждает, что мир был сотворен Богом, и теми, кто убежден, что он возник сам по себе, упирается в нечто, превышающее границы нашего разумения и опыта. Гораздо реальнее различие между теми, кто сомневается в бытии, какое было дано человеку (пусть уж как угодно и кем угодно), и теми, кто безоговорочно принимает его.

За всеми европейскими вероисповеданиями, религиозными и политическими, стоит первая глава книги Бытия, из которой явствует, что мир был сотворен справедливо, что бытие прекрасно, а посему нам до́лжно размножаться. Назовем эту основную веру *категорическим согласием с бытием*.

Если еще до недавнего времени слово «говно» обозначалось в книгах отточием, происходило это не из нравственных соображений. Мы же не станем утверждать, что говно безнравственно! Несогласие с говном чисто метафизического свойства. Минуты выделения фекалий — каждодневное доказательство неприемлемости Создания. Одно из двух: или говно приемлемо (и тогда мы не запираемся в уборной!), или мы созданы неприемлемым способом.

Из этого следует, что эстетическим идеалом *категорического согласия с бытием* есть мир, в котором говно отвергнуто и все ведут себя так, словно его не существует вовсе. Этот эстетический идеал называется *кич*.

«Кич» — немецкое слово, которое родилось в середине сентиментального девятнадцатого столетия и распространилось затем во всех языках. Однако частое употребление стерло его первоначальный метафизический

смысл: кич есть абсолютное отрицание говна в дословном и переносном смысле слова; кич исключает из своего поля зрения все, что в человеческом существовании по сути своей неприемлемо.

6

Первый Сабинин бунт против коммунизма носил не этический, а эстетический характер. Но отвращала ее не столько уродливость коммунистического мира (уничтоженные замки, превращенные в коровники), сколько та маска красоты, которую он надевал на себя, иными словами, коммунистический кич. Модель этого кича — праздник, именуемый Первомаем.

Она видела первомайские демонстрации в годы, когда люди еще были полны энтузиазма или еще старательно изображали его. Женщины, одетые в красные, белые, голубые блузы, составляли всевозможные фигуры, хорошо различимые с балконов и из окон: пятиконечные звезды, сердца, буквы. Между отдельными частями колонны шли маленькие оркестры, играющие марши. Когда колонны приближались к трибуне, даже самые скучающие лица освещались улыбкой, словно хотели доказать, что они радуются положенным образом или, точнее: положенным образом *соглашаются*. И речь шла не о простом политическом согласии с коммунизмом, а о согласии с бытием как таковым. Праздник Первого мая черпал вдохновение из глубокого колодца *категорического согласия с бытием*. Неписаный, невысказанный лозунг демонстрации был не «Да здравствует коммунизм!», а «Да здравствует жизнь!». Сила и коварство коммунистической политики коренились в том, что она присвоила этот лозунг себе. Именно эта идиотическая тавтология («Да здравствует жизнь!») вовлекала в коммунистическую демонстрацию даже тех, кому тезисы коммунизма были полностью безразличны.

7

Десятью годами позже (она жила уже в Америке) приятель ее друзей, один американский сенатор, вез ее в своем огромном автомобиле. На заднем сиденье жались друг к дружке его четверо детей. Сенатор остановился; дети вышли и побежали по широкому газону к зданию стадиона, где был искусственный каток. Сидя за рулем и мечтательно глядя вслед четырем бегущим фигуркам, сенатор обратился к Сабине: — Посмотрите на них... — Описав рукой круг, который должен был охватить стадион, газон и детей, он добавил: — Это я называю счастьем.

За этими словами была не только радость от того, что дети бегают и трава растет; здесь было и проявление глубокого понимания в отношении женщины, явившейся из страны коммунизма, где, по убеждению сенатора, трава не растет и дети не бегают.

А Сабина как раз в эти минуты представляла себе этого сенатора на трибуне пражской площади. Улыбка на его лице была совершенно такой же, какую коммунистические государственные деятели посылали с высоты своей трибуны гражданам, точно так же улыбающимся в колоннах внизу.

8

Откуда этот сенатор знал, что дети означают счастье? Разве он заглядывал им в души? А что, если в ту минуту, когда они скрылись из виду, трое из них набросились на четвертого и стали его бить?

У сенатора был лишь один аргумент в пользу такого утверждения: свое чувство. Там, где говорит сердце, разуму возражать не пристало. В империи кича властвует диктатура сердца.

Чувство, которое порождает кич, должно быть, без сомнения, таким, чтобы его могло разделить великое множество. Кич поэтому не может строиться на необычной ситуации, он держится на основных образах, запечатленных в людской памяти: неблагодарная дочь, заброшенный отец,

дети, бегущие по газону, преданная родина, воспоминание о первой любви.

Кич вызывает две слезы растроганности, набегающие одна за другой. Первая слеза говорит: Как это прекрасно — дети, бегущие по газону!

Вторая слеза говорит: Как это прекрасно — умилиться вместе со всем человечеством при виде детей, бегущих по газону!

Лишь эта вторая слеза делает кич кичем.

Братство всех людей на земле можно будет основать только на киче.

9

Никто не знает этого лучше, чем политики. Когда рядом случается фотоаппарат, они тотчас бегут к близстоящему ребенку, чтобы поднять его повыше и чмокнуть в лицо. Кич суть эстетический идеал всех политиков, всех политических партий и движений.

В обществе, где существуют различные политические направления и тем самым их влияние взаимно исключается или ограничивается, мы можем еще кое-как спастись от инквизиции кича; личность может сохранить свою индивидуальность, художник — создать неожиданные произведения. Однако там, где одно политическое движение обладает неограниченной властью, мы мгновенно оказываемся в империи *тоталитарного* кича.

Если я говорю «тоталитарного», это значит, что все, нарушающее кич, исторгается из жизни: любое проявление индивидуализма (ибо всякое различие — плевок, брошенный в лицо улыбающегося братства), любое сомнение (ибо тот, кто начнет сомневаться в пустяке, кончит сомнением в жизни как таковой), ирония (ибо в империи кича ко всему нужно относиться предельно серьезно) и даже мать, покинувшая семью, или мужчина, предпочитающий мужчин женщинам и тем угрожающий священному лозунгу «любите друг друга и размножайтесь».

С этой точки зрения мы можем считать так называемый гулаг некой гигиенической ямой, куда тоталитарный кич бросает отходы.

10

Первое десятилетие после второй мировой войны было временем чудовищного сталинского террора. Именно тогда из-за сущей чепухи арестовали Терезиного отца и десятилетнюю девочку выгнали на улицу. В те же годы двадцатилетняя Сабина училась в Академии изобразительных искусств. Профессор марксизма объяснял ей и ее сокурсникам известный тезис социалистического искусства: советское общество шагнуло так далеко, что основной конфликт в нем уже не между хорошим и плохим, а между хорошим и лучшим. Говно (то есть все, что по сути своей неприемлемо) могло существовать, стало быть, только «на другой стороне» (хотя бы в Америке) и лишь оттуда, извне, как нечто чужеродное (хотя бы в подобии шпионов) проникать в мир «хороших и лучших».

В самом деле, советские фильмы, запрудившие именно в те жесточайшие годы кинематографы всех коммунистических стран, были пронизаны несказанной невинностью. Любовное недоразумение — вот самый острый конфликт, который мог произойти между двумя русскими: он считал, что она его уже не любит, а она о нем думала то же самое. Под конец они падали друг другу в объятия и обливались слезами счастья.

Общепринятая трактовка этих фильмов сегодня такова: они высвечивали коммунистический идеал, в то время как коммунистическая реальность была хуже.

Сабина против такой трактовки восставала. Когда она представляла себе, что мир советских кичей должен стать реальностью и она должна будет жить в ней, ее мороз подирал по коже. Она без малейшего колебания предпочла бы жизнь в реальном коммунистическом режиме даже при всех преследованиях и очередях за мясом. В реальном коммунистическом мире можно жить. В мире же осуществленного коммунистического идеала, в ми-

ре улыбающихся идиотов, с которыми она не могла бы и словом перемолвиться, она в одну неделю умерла бы от ужаса.

Мне кажется, что чувство, вызываемое в Сабине советским кичем, было сродни ужасу, который испытывала Тереза во сне, когда маршировала с голыми женщинами вокруг бассейна и вынуждена была петь веселые песни. Под гладью воды всплывали трупы. Ни одной женщине Тереза не могла сказать слова, задать вопроса. В ответ она услышала бы лишь следующий куплет песни. Ни одной из них она не могла даже подмигнуть украдкой. Они тотчас бы указали на нее мужчине, стоявшему в корзине над бассейном, чтобы он застрелил ее.

Терезин сон обнажает истинную функцию кича: кич — это ширма, прикрывающая смерть.

11

В империи тоталитарного кича ответы даны заранее и исключают любой вопрос. Из этого следует, что подлинным противником тоталитарного кича является человек, который задает вопросы. Вопрос словно нож, разрезающий полотно нарисованной декорации, чтобы можно было заглянуть, что скрывается за ней. Так, впрочем, когда-то Сабина объяснила Терезе смысл своих картин: впереди доступная ложь, а за ней проступает недоступная правда.

Однако те, кто борется против так называемых тоталитарных режимов, едва ли могут бороться вопросами и сомнениями. Им тоже нужны уверенность и простые истины, которые были бы доступны как можно большему числу людей и вызывали бы коллективные слезы.

Однажды некая политическая организация устроила Сабине в Германии выставку. Когда Сабина взяла в руки каталог, первое, что она увидела, была ее фотография с нарисованной поверх нее колючей проволокой. Внутри была помещена ее биография — ни дать ни взять жизнеописание мучеников и святых: она страдала, она боролась против несправедливости, она вынуждена была покинуть истерзанную родину, она продолжает бороться. «Своими картинами она борется за свободу» — была последняя фраза этого текста.

Она протестовала, но ее не поняли.

Разве не правда, что при коммунистическом режиме современное искусство преследуется?

Она раздраженно сказала: «Мой враг не коммунизм, а кич!»

С тех пор она стала окутывать свою биографию мистификациями и, оказавшись позже в Америке, постаралась даже утаить, что она чешка. Это была отчаянная мечта спастись от кича, в который люди хотели превратить ее жизнь.

12

Она стояла перед мольбертом с незаконченным холстом. Позади нее сидел в кресле старик и следил за каждым мазком ее кисти.

Взглянув наконец на часы, он сказал: — Пожалуй, нам пора.

Она отложила палитру и пошла в ванную умыться. Старик встал с кресла и, наклонившись, взял прислоненную к столу палку. Двери мастерской выходили прямо на лужайку. Смеркалось. В двадцати метрах напротив стоял белый деревянный дом с освещенными на первом этаже окнами. Эти два окна, бросавшие свет в угасающий день, растрогали Сабину.

Всю жизнь она твердит, что кич — ее злейший враг. Но разве она сама не носит его в душе? Ее кич — это образ родного очага, спокойного, сладостного, гармоничного, где надо всем витает дух доброй матери и мудрого отца. Этот образ родился в ней после смерти родителей. Чем меньше ее жизнь походила на этот сладостный сон, тем чувствительнее она была к его чарам и не раз умилялась до слез, когда ей случалось видеть

сентиментальный фильм, в котором неблагодарная дочь обнимала покинутого отца и окна дома, где обитало счастливое семейство, лили свет в угасающий день.

Со стариком Сабина познакомилась в Нью-Йорке. Он был богат, любил картины и жил с женой, того же возраста, на загородной вилле. Напротив виллы стояла старая конюшня. Он оборудовал ее под мастерскую, пригласил туда Сабину и целыми днями следил за движениями ее кисти.

Сейчас они все вместе ужинают. Старушка называет Сабину «моя доченька!», но по всем признакам как раз наоборот: Сабина здесь как мать с двумя детьми, что виснут на ней, восхищаются ею и готовы слушаться ее, только захоти она ими командовать.

Что же, выходит, на пороге старости Сабина нашла родителей, из рук которых когда-то, еще девушкой, выскользнула? Или она нашла наконец детей, которых у нее самой никогда не было?

Она прекрасно понимала, что это иллюзия. Ее пребывание у стариков не что иное, как короткая остановка. Старик серьезно болен, и его жена, как только останется без него, уедет к сыну в Канаду. Сабинина дорога предательств продолжится, и в невыносимую легкость бытия время от времени из глубины души ее будет изливаться сентиментальная песня о двух светящихся окнах, за которыми обитает счастливое семейство.

Эта песня умиляет ее, но Сабина к своему умилению не относится серьезно. Она слишком хорошо знает, что эта песня — красивая ложь. В ту минуту когда кич осознается как ложь, он оказывается в контексте не-кича. Теряя свою авторитарную силу, он становится трогательным, как любая иная человеческая слабость. Ибо никто из нас не представляет собой сверхчеловека, чтобы полностью избежать кича. И как бы мы ни презирали кич, он неотделим от человеческой участи.

13

Источник кича — категорическое согласие с бытием.

Но что есть основа бытия? Бог? Человек? Борьба? Любовь? Мужчина? Женщина?

Поскольку взгляды на этот счет разные, то существуют и разные кичи: католический, протестантский, иудейский, коммунистический, фашистский, демократический, феминистский, европейский, американский, национальный, интернациональный.

Со времен Французской революции Европа раскололась на две половины: одних стали называть *левыми,* других — *правыми.* Однако определять одних или других какими-то теоретическими принципами, от которых бы они отталкивались, почти невозможно. И ничего удивительного: политические движения строятся не на рациональных подходах, а на представлениях, образах, словах, архетипах, которые все вместе создают тот или иной *политический кич.*

Образ Великого Похода, которым дает себя опьянить Франц,— политический кич, связывающий левые силы всех времен и направлений. Великий Поход — это блистательная дорога вперед, дорога к братству, к равенству, к справедливости, к счастью, она простирается все вперед и вперед, невзирая ни на какие преграды, ибо преграды не могут не быть, коли поход должен быть Великим Походом.

Диктатура пролетариата или демократия? Отрицание потребительского общества или требование расширенного производства? Гильотина или отмена смертной казни? Все это вовсе не имеет значения. То, что левого делает левым, есть не та или иная теория, а его способность претворить какую угодно теорию в составную часть кича, называемого Великим Походом.

14

Франц, разумеется, не приверженец кича. Образ Великого Похода играет в его жизни примерно ту же роль, что и сентиментальная песня о двух освещенных окнах в жизни Сабины. За какую же политическую партию Франц голосует? Боюсь, что он не голосует вовсе и в день выборов предпочитает отправляться в горы. Это, впрочем, не означает, что Великий Поход не тревожит больше его воображения. Как приятно мечтать о том, что мы часть марширующей веками колонны, и Франц не перестает видеть этот прекрасный сон.

Однажды ему позвонили друзья из Парижа. Они сообщили, что организуют поход в Камбоджу, и пригласили его присоединиться к ним.

Камбоджа к тому времени пережила гражданскую войну, американские бомбардировки, бесноватость отечественных коммунистов, сокративших народ страны на одну пятую, и наконец оккупацию соседним Вьетнамом, который сам в те годы был уже не чем иным, как орудием в руках России. В Камбодже свирепствовал голод, и люди умирали из-за отсутствия медицинской помощи. Международная организация врачей много раз обращалась с требованием разрешить ей въезд в страну, но вьетнамцы не соглашались. Тогда группа видных западных интеллектуалов решила пешком отправиться к камбоджийским границам и этим великим спектаклем, разыгранным на глазах у всего мира, добиться того, чтобы врачам был наконец разрешен вход на оккупированную территорию.

Друг, позвонивший Францу, был одним из тех, с которыми он вместе когда-то маршировал по парижским улицам. Сперва он пришел в восторг от приглашения, но затем взгляд его упал на студентку в больших очках. Она сидела напротив в кресле, и ее глаза за круглыми стеклами казались еще больше. Франц чувствовал, что эти глаза просят его никуда не уезжать. И потому, извинившись, отказался.

Но как только повесил трубку, тотчас пожалел о своем решении. В самом деле, он пошел навстречу своей земной возлюбленной, но пренебрег небесной любовью. Разве Камбоджа не то же самое, что и Сабинина родина? Страна, оккупированная соседней коммунистической армией! Страна, на которую опустился кулак России! Францу вдруг представилось, что его полузабытый друг звонил ему по тайному Сабининому указанию.

Небесные создания все видят и все знают. Прими он участие в этом походе, Сабина бы смотрела на него и радовалась. Она поняла бы, что он остался ей верен.

— Ты очень рассердишься, если я все-таки туда поеду? — спросил он свою очкастую девицу, которая сожалела о каждом дне, проведенном без него, но не решалась ему об этом сказать.

Несколькими днями позже он сидел в большом самолете на парижском аэродроме вместе с двадцатью врачами и примерно пятьюдесятью интеллектуалами (профессорами, писателями, депутатами, певцами, актерами и мэрами); их всех сопровождали четыреста журналистов и фотографов.

15

Самолет приземлился в Бангкоке. Четыреста семьдесят врачей, интеллектуалов и журналистов направились в большой зал интернационального отеля, где их уже поджидали другие врачи, артисты, певцы, профессора-лингвисты, а с ними еще несколько сот журналистов с блокнотами, магнитофонами, фотоаппаратами и кинокамерами. В зале на сцене стоял продолговатый стол, а за ним сидело примерно двадцать американцев, уже приступивших к руководству собранием.

Французские интеллектуалы, с которыми Франц вошел в зал, почувствовали себя обойденными и униженными. Поход в Камбоджу был их идеей, а тут вдруг объявились американцы и мало того что с завидной естественностью стали всем верховодить, они еще и говорят по-английски, нисколько не заботясь о том, что иной француз или датчанин может не

понимать их. Поскольку датчане давно забыли, что когда-то составляли нацию, французы были единственными из всех европейцев, кто решился выразить свой протест. Причем они были настолько принципиальны, что даже отказались протестовать по-английски и обратились к восседавшим на сцене американцам на родном языке. Американцы, не понимая ни слова, реагировали на их выступление лишь вежливыми и утвердительными улыбками. В конце концов французам ничего не оставалось, как выразить свое несогласие по-английски: «Почему собрание проходит исключительно на английском языке, тогда как в зале присутствуют и французы?»

Американцы были крайне изумлены столь странным возражением, но, не переставая улыбаться, согласились с тем, чтобы все выступления давались на двух языках. Прежде чем продолжить собрание, пришлось долго искать переводчика. Теперь каждая фраза звучала по-английски и по-французски, так что собрание стало в два, если не более, раза дольше, ибо все французы, зная английский, прерывали переводчика, поправляли его и спорили с ним по каждому слову.

Собрание достигло своего апогея, когда на сцену взошла известная американская актриса. Ради нее в зал ввалилась большая толпа фотографов и операторов, и каждый слог, который она изрекала, сопровождался щелчком аппарата. Актриса говорила о страдающих детях, о варварстве коммунистической диктатуры, о праве человека на безопасность, об угрозе, нависшей над традиционными ценностями цивилизованного общества, о неприкосновенной свободе человеческой личности и о президенте Картере, который глубоко опечален тем, что творится в Камбодже. Последние слова она произнесла сквозь рыдания.

В эту минуту встал молодой французский врач с рыжими усами и начал выкрикивать: — Мы здесь для того, чтобы идти лечить умирающих людей! Мы здесь не ради славы президента Картера! Мы не допустим, чтобы это стало обычным трюком американской пропаганды. Мы пришли сюда не протестовать против коммунизма, а лечить больных!

К усатому врачу в момент присоединились и другие французы. Напуганный переводчик уже не решался переводить то, что они говорили. И потому двадцать американцев снова смотрели на них с улыбкой, полной симпатии, и многие утвердительно кивали головой. Один даже поднял вверх кулак, поскольку знал, что европейцы любят поднимать свои кулаки в минуты коллективной эйфории.

16

Но возможно ли, чтобы левые интеллектуалы (ибо врач с рыжими усами был именно таковым) готовы были выступить против интересов той или иной коммунистической страны? Ведь коммунизм всегда рассматривался как часть левого движения.

Когда преступления страны, именуемой Советским Союзом, стали слишком скандальными, перед левыми открылась двоякая возможность: либо плюнуть на свою прошлую жизнь и перестать маршировать, либо считать (с большими или меньшими сомнениями) Советский Союз одним из препятствий Великого Похода и маршировать далее.

Я уже сказал: то, что левого делает левым, есть кич Великого Похода. Идентичность кича обусловливается не политической стратегией, а образами, метафорами, словами. Стало быть, можно нарушить обыкновение и маршировать против интересов той или иной коммунистической страны, но нельзя заменить одно слово другими словами. Можно грозить кулаком вьетнамской армии, но нельзя выкрикнуть в ее адрес «Позор коммунизму!». Ибо «Позор коммунизму!» — лозунг врагов Великого Похода, и тот, кто не хочет потерять свое лицо, должен остаться верным чистоте собственного кича.

Я говорю это лишь затем, чтобы объяснить недоразумение между французским врачом и американской актрисой, которая в своем эгоцентризме полагала, что стала жертвой зависти или женофобии. На самом же деле

француз проявил тонкое эстетическое чутье: слова «президент Картер», «наши традиционные ценности», «варварство коммунизма» принадлежали словарю *американского кича* и не имели ничего общего с кичем Великого Похода.

17

На следующий день утром все сели в автобусы и поехали через весь Таиланд к камбоджийским границам. Вечером они добрались до маленькой деревушки, где было снято несколько домиков, стоявших на сваях. Река, грозящая наводнениями, заставляла людей жить наверху, тогда как внизу, между сваями, теснились поросята. Франц спал в комнате с еще четырьмя профессорами. В его сон снизу врывалось хрюканье кабанов, сбоку — храп известного математика.

Утром все снова расселись по автобусам. Уже за два километра до границы проезд был запрещен. К пограничному переходу отсюда вела узкая дорога, охраняемая войсками. Здесь автобусы остановились. Выйдя, французы тотчас обнаружили, что американцы снова их опередили: построившись в ряды, они уже успели стать во главе колонны. Наступил самый тяжкий момент. Снова был призван переводчик, и разгорелась долгая перепалка. Наконец пришли к соглашению: во главе колонны стал один американец, один француз и камбоджийская переводчица. За ними двинулись врачи и лишь потом все остальные; американская актриса оказалась в самом хвосте.

Дорога была узкой, а по сторонам — минное поле. Они поминутно натыкались на заграждение: два бетонных блока и между ними тесный проход. Пришлось идти гуськом.

Метрах в пяти перед Францем шел известный немецкий поэт и поп-певец, написавший уже девятьсот тридцать песен за мир и против войны. Он нес на длинном древке белый флаг, который прекрасно сочетался с его черной бородой и усами и выделял его из толпы.

Вдоль длинной колонны туда-сюда сновали фотографы и кинооператоры. Щелкая и жужжа своими аппаратами, они убегали вперед, останавливались, отступали на шаг-другой, приседали на корточки и, опять распрямившись, неслись далее. Они то и дело окликали по имени какую-нибудь знаменитость мужского или женского пола, и когда та невольно оборачивалась в их сторону, нажимали на спуск.

18

Что-то неотвратимое висело в воздухе. Люди, замедляя шаг, оглядывались назад.

Американская актриса, оттесненная в хвост колонны, не пожелала более сносить унижение и решила пойти в атаку. Она бросилась вперед. Это было похоже на пятикилометровый забег, когда бегун, до поры до времени экономивший силы и остававшийся в конце пелетона, вдруг вырывается вперед и опережает всех участников соревнования.

Мужчины, растерянно улыбаясь, отступали, дабы обеспечить прославленной бегунье победу, но женщины кричали: — Встаньте в строй! Это вам не парад кинозвезд!

Актриса не дала себя запугать и продолжала бежать вперед вместе с пятью фотографами и двумя кинооператорами.

Вдруг одна француженка, профессорша-лингвистка, схватила актрису за запястье и сказала ей (на чудовищном английском): — Это колонна врачей, которые намерены лечить смертельно больных камбоджийцев, а не спектакль для кинозвезд!

Актрисе недоставало сил вырвать свое запястье, зажатое в руке профессорши-лингвистки.

Она сказала (на прекрасном английском): — Не порите чушь! Я участвовала уже в сотне таких шествий! Самое главное, чтобы были видны звезды! Это наша работа! Это наш моральный долг!

— Говно,— сказала профессорша-лингвистка (на отличном французском).

Американская актриса поняла ее и расплакалась.

— Прошу, не двигайся,— крикнул ей кинооператор и опустился перед ней на колени. Актриса долгим взглядом уставилась в его объектив, и по ее щекам скатывались слезы.

19

Наконец профессорша-лингвистка отпустила запястье американской актрисы. В тот же миг ее окликнул немецкий певец с черной бородой.

Американская актриса никогда о нем не слыхала, но поскольку в минуту унижения стала более чуткой к проявлениям симпатии, чем обычно, подбежала к нему. Певец перебросил древко флага в левую руку, а правой обхватил ее за плечи.

Вокруг актрисы и певца продолжали прыгать фотографы и операторы. Известный американский фотограф старался поймать видоискателем оба их лица вместе с флагом, но ничего не выходило: древко было слишком длинным. Он задом отбежал на рисовое поле. И случайно наступил на мину. Раздался взрыв, и его тело, разорванное в клочья, разлетелось во все стороны, обдавая душем крови европейских интеллектуалов.

Певец и актриса были так потрясены, что не могли сдвинуться с места. Наконец оба подняли глаза к флагу. Он был забрызган кровью, и вид его снова наполнил их ужасом. Затем они еще раз-другой робко поглядели вверх и стали улыбаться. Их постепенно заливала особая и доселе не изведанная гордость, что флаг, который они несут, освящен кровью. Они снова двинулись в поход.

20

Границу обозначала маленькая речка, но ее не было видно, поскольку вдоль нее тянулась длинная стена высотой в полтора метра, заваленная мешками с песком для защиты таиландских стрелков. В одном месте стена обрывалась, там через речку был перекинут мост. На другой стороне реки были вьетнамские части, также невидимые: их позиции были отлично замаскированы. Но сомнений не оставалось: кто бы ни вступил на мост, невидимые вьетнамцы тотчас бы открыли огонь.

Участники шествия, приблизившись к стене, стали приподниматься на цыпочки. Франц, припав к щели между двумя мешками, тоже попытался что-то увидеть. Но не успел: его сразу же оттеснил один из фотографов, чувствовавший себя в большем праве занять это место.

Франц оглянулся. В могучей кроне одинокого дерева, как стая огромных ворон, сидело семь фотографов, вперив взгляд в другой берег.

В эту минуту переводчица, которая шла во главе колонны, приставила ко рту широкую трубу и на кхмерском языке прокричала тем, кто был на другой стороне реки: Здесь врачи; они просят разрешить им вступить на территорию Камбоджи и оказать там медицинскую помощь; их намерения не имеют ничего общего с политическим вмешательством; ими руководит лишь беспокойство за жизни людей.

С другой стороны реки отозвалась невообразимая тишина. Тишина настолько абсолютная, что на всех напала тоска. Эту тишину нарушало лишь щелканье фотоаппаратов, походившее на пение какого-то заморского насекомого.

У Франца вдруг возникло ощущение, что Великий Поход приблизился к концу. Вокруг Европы границы тишины смыкаются, и пространство, на котором совершается Великий Поход, всего лишь маленький помост посреди планеты. Толпы, что некогда теснились вокруг помоста, уже давно рассеялись, и Великий Поход продолжается в одиночестве и без зрителей. Да, говорит себе Франц, Великий Поход продолжается, невзирая на равнодушие мира, но становится нервозным и чахоточным: вчера против амери-

канцев, оккупирующих Вьетнам, сегодня против Вьетнама, оккупирующего Камбоджу, вчера за Израиль, сегодня за палестинцев, вчера за Кубу, завтра против Кубы, но всегда против Америки; во все времена против бойни и во все времена в поддержку другой бойни; Европа марширует, и для того, чтобы поспеть за ритмом событий и ни одно не пропустить, ее шаг чем дальше, тем больше ускоряется, и Великий Поход становится походом подпрыгивающих, спешащих людей, а сцена — все сокращается, пока в один прекрасный день не стянется в ничтожную безразмерную точку.

21

Переводчица во второй раз прокричала свое обращение в рупор. И в ответ снова отозвалась невообразимая и беспредельно равнодушная тишина.

Франц огляделся. Это молчание на другой стороне реки хлестнуло всех по лицу, как пощечина. И певец с белым флагом, и американская актриса были подавленны, растерянны и, похоже, не знали, что делать дальше.

Франц вдруг понял, что все они смешны, он и другие, но осознание этого вовсе не отделяло его от них, не наполняло иронией, напротив, именно сейчас он испытывал к ним бесконечную любовь, какую мы испытываем к людям осужденным. Да, Великий Поход близится к концу, но разве это повод для Франца предать его? Разве его собственная жизнь также не близится к концу? Надо ли смеяться над эксгибиционизмом тех, кто сопровождал мужественных врачей к границе? Что могут делать все эти люди, кроме как разыгрывать спектакль? Есть ли у них лучший выбор?

Франц прав. Я не могу не вспомнить редактора, организовавшего кампанию по сбору подписей в защиту политзаключенных в Праге. Он прекрасно понимал, что эта кампания заключенным не принесет пользы. Его истинной целью было не освободить заключенных, а показать, что есть еще люди, которые не испытывают страха. То, что он делал, был спектакль. Но у него не было иной возможности. У него не было выбора между поступком и театральным действом. У него был выбор: или разыграть спектакль, или бездействовать. Существуют ситуации, когда люди *обречены* разыгрывать спектакль. Их борьба с молчаливой силой (с молчаливой силой на другой стороне реки, с полицией, превращенной в молчаливые микрофоны в стене) есть борьба театральной труппы, которая отважилась сразиться с армией.

Франц увидел, как его приятель из Сорбонны поднял кулак и стал грозить тишине на другой стороне реки.

22

Переводчица в третий раз прокричала в рупор свое обращение.

Тишина, которая снова ответила ей, вдруг обратила тоску Франца в дикое бешенство. Он стоял чуть в стороне от моста, разделявшего Таиланд и Камбоджу, и вдруг загорелся неодолимым желанием взбежать на него, огласить небо ужасной бранью и умереть в бесконечном гудении пуль.

Это внезапное желание Франца кое о чем напоминает нам; да, оно напоминает нам о сыне Сталина, который бросился на заряженную электрическим током проволоку, чтобы покончить с собой, когда не стало сил смотреть, как полюсы человеческого существования вплотную приблизились друг к другу, и потому уже не было разницы между возвышенным и низким, между ангелом и мухой, между Богом и говном.

Франц не мог смириться с мыслью, что слава Великого Похода равноценна комичному тщеславию марширующих в нем, что блистательный шум европейской истории умирает в беспредельной тишине, и потому уже нет разницы между историей и молчанием. В эту минуту он хотел положить на весы свою собственную жизнь, чтобы доказать, что Великий Поход весит больше, чем говно.

Человеку, однако, не дано доказать ничего такого. На одной чаше весов было говно, на другую — сын Сталина налег всей своей тяжестью, и весы не покачнулись.

Вместо того чтобы дать себя застрелить, Франц опустил голову и пошел со всеми остальными, гуськом направлявшимися к автобусам.

23

Нам всем нужно, чтобы на нас кто-то смотрел. Нас можно было бы разделить на четыре категории согласно тому, под какого рода взглядом мы хотим жить.

Первая категория мечтает о взгляде бесконечного множества анонимных глаз, иными словами — о взгляде публики. Это случай немецкого певца, американской актрисы, а также редактора с большой бородой. Он привык к своим читателям, и когда однажды русские закрыли его еженедельник, у него возникло ощущение, будто он очутился во стократно разреженном воздухе. Никто не мог заменить ему взгляд незнакомых глаз. Ему казалось, он задохнется. Но в один прекрасный день он понял, что на каждом шагу его преследует полиция, что прослушивают его телефонные разговоры и даже тайно фотографируют на улице. Анонимные глаза вдруг стали повсюду сопровождать его, и он снова мог дышать! Он был счастлив! Он театрально обращал свои речи к микрофонам в стене. В полиции он обрел утраченную публику.

Вторую категорию составляют те, кому жизненно необходимы взгляды многих знакомых глаз. Это неутомимые устроители коктейлей и ужинов. Они счастливее людей первой категории, ибо те, когда теряют публику, испытывают ощущение, будто в зале их жизни погасли лампы. Почти с каждым из них такое случается раньше или позже. Люди второй категории, напротив, уж каким-никаким нужным взглядом сумеют разжиться всегда. К ним относится Мария-Клод и ее дочь.

Затем существует третья категория: это те, кому нужно быть на глазах любимого человека. Их положение столь же небезопасно, как и положение людей первой категории. Однажды глаза любимого человека закроются, и в зале наступит тьма. К таким людям относятся Тереза и Томаш.

И есть еще четвертая, редчайшая, категория; эти живут под воображаемым взглядом отсутствующих людей. Это мечтатели. Например, Франц. Он ехал к камбоджийским границам исключительно ради Сабины. Автобус трясется по таиландской дороге, а он чувствует, как в него впивается ее долгий взгляд.

К той же категории относится и сын Томаша. Назову его Шимон. (Он обрадуется, что у него, как и у отца [1], библейское имя.) Глаза, о которых он мечтает, это глаза Томаша. После того как он ввязался в кампанию по сбору подписей, его выгнали из университета. Девушка, с которой он встречался, была племянницей деревенского приходского священника. Он женился на ней, стал трактористом в кооперативе, верующим католиком и отцом. Потом от кого-то узнал, что Томаш тоже живет в деревне, и возрадовался: судьба расположила их жизни в симметрии! Это вдохновило его написать письмо. Ответа он не ждал. Хотел только, чтобы Томаш окинул его жизнь своим взглядом.

24

Франц и Шимон — мечтатели этого романа. В отличие от Франца Шимон никогда не любил матери. С детства он искал отца. Он готов был поверить, что несправедливость, причиненная отцу, предваряет и объясняет несправедливость, какую отец допускает по отношению к нему. Он никогда не держал сердца на отца, поскольку не хотел стать союзником матери, неустанно очернявшей его.

---

[1] Томаш — *библ.* Фома: Шимон — *библ.* Симон.

Он жил с ней до восемнадцати лет, а после получения аттестата зрелости уехал учиться в Прагу. В ту пору Томаш уже мыл окна. Шимон нередко поджидал его на улице, чтобы разыграть случайную встречу. Но отец так ни разу и не остановился потолковать с ним.

И если Шимон примкнул к бывшему редактору с большой бородой, то лишь по той причине, что его судьба напоминала ему судьбу отца. Редактор никогда не слышал имени Томаша. Статья об Эдипе была забыта, и редактор узнал о ней только от Шимона, который попросил его пойти и уговорить Томаша подписать петицию. Редактор согласился лишь потому, что хотел доставить радость парню, которого любил.

Когда бы Шимон ни вспоминал об этой встрече, он стыдился своего тогдашнего волнения. Отцу он явно не нравился. Зато отец нравился ему. Он помнил каждое его слово и со временем все больше убеждался, что отец был прав. Особенно врезалась ему в память фраза: «Наказывать тех, кто не ведал, что творил, это варварство». Когда дядя его невесты сунул ему в руку Библию, его внимание приковали слова Иисуса: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Он знал, что его отец неверующий, но в подобии обеих фраз видел тайное знамение: отец соглашается с той дорогой, которую он выбрал.

Он жил в деревне примерно третий год, когда получил письмо от Томаша, в котором тот звал его в гости. Встреча была радушной, Шимон чувствовал себя свободно и совсем не заикался. Пожалуй, он даже не осознал, что они не очень-то и поняли друг друга. Месяца через четыре ему пришла телеграмма. Томаш и его жена погибли, раздавленные грузовиком.

В то время он узнал о женщине, которая когда-то была любовницей отца и жила во Франции. Он нашел ее адрес. Поскольку отчаянно нуждался в воображаемом глазе, который продолжал бы следить за его жизнью, он от случая к случаю писал ей длинные письма.

25

От этого грустного деревенского письмописца Сабина будет получать их до конца жизни. Многие из них останутся непрочитанными, ибо страна, откуда они приходят, интересует ее все меньше и меньше.

Старик умер, и Сабина переселилась в Калифорнию. Еще дальше на Запад, еще дальше от Чехии.

Она удачно продает свои картины и Америку любит. Но лишь поверхностно. Мир, что под поверхностью, ей чужд. Там у нее нет ни дедушки, ни бабушки. Она боится, что ее запрут в гроб и опустят в американскую землю.

Вот почему она однажды написала завещание, в котором потребовала, чтобы ее мертвое тело было сожжено и пепел развеян. Тереза и Томаш умерли под знаком тяжести. Сабина хочет умереть под знаком легкости. Она станет легче воздуха. По Парменидy, это есть превращение негативного в позитивное.

26

Автобус остановился перед отелем в Бангкоке. Уже никому не хотелось устраивать собрание. Люди группками разошлись по городу, одни отправились осматривать храмы, другие — в бордель. Приятель из Сорбонны предлагал Францу провести с ним вечер, но Франц предпочел остаться один.

Смеркалось, когда он вышел на улицу. Не переставая он думал о Сабине и чувствовал на себе ее долгий взгляд, который всегда вызывал в нем неуверенность: он никогда не знал, чем на самом деле полны мысли Сабины. И на этот раз ее взгляд привел его в смущение. Уж не смеется ли она над ним? Не считает ли культ, который он создал из нее, полным безумием? Не хочет ли она сказать ему, что пора наконец стать взрослым и целиком посвятить себя возлюбленной, которую она сама же ему и послала?

Он представил себе лицо в больших круглых очках. И понял, как он

счастлив со своей студенткой. Поездка в Камбоджу показалась ему вдруг смешной и бессмысленной. Зачем он вообще ехал сюда? Теперь он это знает. Он ехал сюда, чтобы наконец понять, что вовсе не демонстрации, вовсе не Сабина, а эта очкастая девушка и есть его настоящая жизнь, единственная настоящая жизнь! Он ехал сюда, чтобы понять, что действительность больше, чем сон, много больше, чем сон!

Вдруг из сумрака вынырнула какая-то фигура и что-то сказала ему на непонятном языке. Он смотрел на незнакомца с каким-то сочувственным недоумением, пока тот кланялся, улыбался и о чем-то с упорством тараторил. Что он ему говорит? Похоже — куда-то зовет. Незнакомец взял его за руку и повел. Францу подумалось, что кому-то понадобилась его помощь. Может, он все же не впустую приехал сюда? Может, он все же призван кому-то помочь здесь?

А потом вдруг возле этого неумолкающего человека оказались еще двое, и один из них по-английски попросил у него денег.

В эту минуту очкастая девушка улетучилась из его мыслей, и на него снова смотрела Сабина, нереальная Сабина со своей великой судьбой, Сабина, перед которой он чувствовал себя таким маленьким. Ее глаза взирали на него гневно и недовольно: Он снова дал себя одурачить? Снова кто-то пользуется его идиотской добротой?

Он резко вырвался от мужчины, державшего его за рукав. Он знал, что Сабина всегда восхищалась его силой. Он схватил руку, которую протягивал к нему другой мужчина. Крепко сжал ее и отличным приемом дзюдо враз перебросил его через себя.

Теперь Франц был доволен собой. Сабинины глаза все еще пронизывали его. Она уже никогда не увидит его униженным! Она уже никогда не увидит его уступчивым! Он уже никогда не будет мягким и сентиментальным!

Его охватила почти веселая ненависть к этим людям, что хотели посмеяться над его наивностью. Он стоял, слегка пригнувшись и не спуская ни с одного из них глаз. Но вдруг что-то тяжело ударило его по голове, и он упал. Он еще смутно успел осознать, что его куда-то несут. Потом он стал падать в пустоту. Вдруг — резкий толчок, и он потерял сознание.

Очнулся он в женевской больнице. Над его койкой склонялась Мария-Клод. Он хотел сказать ей, что не в силах видеть ее здесь. Он хотел, чтобы немедленно известили о нем студентку в больших очках. Он думал только о ней. Он хотел кричать, что, кроме нее, не вынесет никого рядом. Но вдруг в ужасе понял, что не может говорить. Он смотрел на Марию-Клод с бесконечной ненавистью и пытался отвернуться к стене. Но не мог пошевельнуть телом. Может, хотя бы голову отвернуть? Но и головой не мог двинуть. Он закрыл глаза, чтобы не видеть ее.

27

Мертвый Франц наконец принадлежит своей законной жене так, как никогда прежде не принадлежал ей. Мария-Клод вершит всем: она взялась за организацию похорон, рассылает извещения о смерти, покупает венки, шьет себе черное платье, а на самом деле — платье свадебное. Да, только мужнины похороны для жены ее истинная свадьба; завершение жизненного пути; награда за все страдания.

Пастор, кстати, это прекрасно понимает и над могилой говорит о верной супружеской любви, какой суждено было пройти многими испытаниями, чтобы до конца жизни остаться для покойного надежной гаванью, куда он мог в последнюю минуту вернуться. И коллега Франца, которого Мария-Клод попросила взять слово над гробом, прежде всего воздал должное мужественной жене покойного.

Где-то сзади, поддерживаемая подругами, стояла девушка в больших очках. Множество проглоченных таблеток и подавленные рыдания вызвали у нее судороги еще до окончания похоронного обряда. Схватившись за живот, она согнулась в три погибели, и подругам пришлось увести ее с кладбища.

28

Получив от председателя кооператива телеграмму, он сразу же вскочил на мотоцикл и приехал. Занялся похоронами. На памятнике под отцовским именем велел поместить эпитафию: *Он хотел Царствия Божия на земле*..

Он хорошо знает, что отец никогда не определил бы свою жизнь такими словами. Но он уверен, что эпитафия точно выражает именно то, что отец хотел. Царствие Божие на земле значит справедливость. Томаш мечтал о мире, где царствовала бы справедливость. Разве нет у Шимона права выразить жизнь отца своим собственным словарем? Это же извечное право всех близких покойного!

Возвращение после долгого блуждания — написано на памятнике над гробом Франца. Эпитафию можно толковать как религиозный символ: блуждание в земной юдоли, возвращение в объятия Божии. Но посвященные знают, что фраза одновременно имеет и свой, совершенно светский, смысл. Мария-Клод, впрочем, говорит об этом каждый день:

Франц, дорогой, добрый Франц, он не выдержал кризиса своих пятидесяти лет. Попал в лапы этой жалкой девицы! Ведь ее даже красивой не назовешь! (Ох уж мне эти огромные очки, за которыми ее почти не видно!) Но пятидесятилетний (мы все это знаем!) душу продаст за толику молодого тела. И лишь его собственная жена знает, как он страдал от этого! Для него это были настоящие нравственные муки! Ведь Франц в глубине души был честным и добрым. А как иначе объяснить эту бессмысленную, отчаянную поездку куда-то в Азию? Он отправился туда за своей смертью. Да, Мария-Клод это знает совершенно точно: Франц сознательно искал смерти. В последние дни, когда умирал и не чувствовал необходимости лгать, он не хотел никого видеть, кроме нее. Он не мог говорить, но какая благодарность была в его взгляде. Одними глазами он просил у нее прощения. И она простила ему.

29

Что осталось от людей, умиравших в Камбодже?

Одна большая фотография американской актрисы, которая держит на руках желтого ребенка.

Что осталось от Томаша?

Эпитафия: Он хотел Царствия Божия на земле.

Что осталось от Бетховена?

Хмурый, с неправдоподобной гривой человек, вытягивающий глухим голосом: «Es muss sein!»

Что осталось от Франца?

Эпитафия: Возвращение после долгого блуждания.

И так далее, и так далее. Прежде чем нас предадут забвению, мы будем обращены в кич. Кич — пересадочная станция между бытием и забвением.

Часть седьмая
УЛЫБКА КАРЕНИНА

1

Из окна открывался вид на косогор, поросший кривыми телами яблонь. Над косогором лес закрывал горизонт, и кривая холма убегала в дали. Под вечер, когда на бледном небе показывалась белая луна, Тереза выходила на порог. Луна, висящая на все еще не стемневшем небе, напоминала ей лампу, которую поутру забыли погасить и которая целый день светила в комнате мертвых.

Кривые яблони росли на косогоре, и ни одна из них не могла сдвинуться с места, куда вросла корнями, так же как ни Тереза, ни Томаш уже

никогда не смогут покинуть эту деревню. Они продали машину, телевизор, радио, чтобы купить здесь маленький домик у крестьянина, который переселялся в город.

Жизнь в деревне была единственной возможностью бегства: при постоянном недостатке людей жилья здесь было более чем достаточно. И ни у кого не возникло желания копаться в политическом прошлом тех, кто готов был пойти работать в поле или в лес; им никто не завидовал.

Тереза была счастлива, что они покинули город с пьяными посетителями бара и неизвестными женщинами, оставлявшими в Томашевых волосах запах своего лона. Полиция перестала интересоваться ими, а эпизод с инженером сливался у нее теперь в нечто единое со сценой на Петршине, и она уже едва различала, где сон, а где явь. (Впрочем, был ли инженер в самом деле на службе у тайной полиции? Может, был, а может, и нет. Мужчины, что пользуются для встреч чужими квартирами и предпочитают не заниматься любовью с одной и той же женщиной более раза, не столь уж редки.)

Итак, Тереза была счастлива, она испытывала ощущение, что наконец достигла цели: они с Томашем вместе и они одни. Одни? Я должен выразиться точнее: «одни» означало лишь, что они прервали всякие связи со своими прежними друзьями и знакомыми. Они перерезали свою жизнь, словно это был кусок ленты. Однако они чувствовали себя достаточно хорошо в обществе сельчан, с которыми вместе работали и подчас наведывались друг к другу в гости.

В тот день, когда в курортном городке с русскими названиями улиц Тереза узнала председателя здешнего кооператива, она вдруг обнаружила в себе образ деревни, запечатленный в ней книжными воспоминаниями или ее предками. Это был мир соборности, в котором все — одна великая семья, связанная общими интересами и привычками: ежевоскресное богослужение в церкви, трактир, где сходятся мужики без женщин, и зал в том же трактире, где по субботам играет оркестрик и вся деревня танцует.

Но при коммунизме деревня уже совсем не похожа на этот стародавний образ. Церковь была в соседнем селе, и никто туда не ходил, трактиры превратились в конторы, мужикам негде было собираться и пить пиво, молодым негде танцевать. Отмечать церковные праздники воспрещалось, государственные — никого не занимали. Кинотеатр был в городе в двадцати километрах. И вот после рабочего дня, наполненного в минуту отдыха веселым перекрикиванием и болтовней, люди запирались в четырех стенах домишек, обставленных современной мебелью, от которой несло безвкусием как сквозняком, и глядели в светящийся экран телевизора. Они уже не приглашали друг друга в гости, разве что, бывало, заскакивали на два-три слова к соседу перед ужином. Все мечтали лишь об одном: уехать в город. Деревня не предлагала ничего такого, что походило бы на мало-мальски привлекательную жизнь.

И, пожалуй, именно потому, что в деревне никто не хотел осесть навсегда, государство утратило над нею власть. Земледелец, которому уже не принадлежит земля и он лишь рабочий, возделывающий поле, не дорожит ни родным краем, ни своей работой, ему нечего терять, не за что бояться. Однако благодаря этому равнодушию деревня сохранила заметную самостоятельность и свободу. Председателя здешнего кооператива не назначили со стороны (как назначаются директора в городах). Он был избран крестьянами, он был одним из них.

Поскольку все хотели покинуть деревню, Тереза и Томаш оказались в исключительном положении: они приехали сюда по доброй воле. И если деревенские использовали любую возможность, чтобы хоть на день выбраться в какой-нибудь окрестный город, Тереза и Томаш мечтали только об одном: быть там, где они были, и потому за короткое время узнали сельчан лучше, чем те — друг друга.

Особенно подружились они с председателем кооператива. У него была жена, четверо детей и свинья, которую он муштровал, точно собаку. Свинью звали Мефисто, и была она гордостью и забавой всей деревни.

Чистенькая и розовая, она выполняла команды хозяина и ходила на своих копытцах, словно толстозадая женщина на высоких каблуках.

Увидев Мефисто впервые, Каренин взбудоражился, долго вертелся вокруг нее и обнюхивал. Но вскоре подружился с ней и предпочитал ее деревенским псам, которые ничего, кроме его презрения, не заслуживали: привязанные у своих будок, они лаяли глупо, непрестанно и без всякого повода. Каренин по достоинству оценил такое редкостное существо, и я не ошибусь, если скажу, что своей дружбой со свиньей весьма дорожил.

Председатель кооператива был рад, что сумел помочь своему бывшему хирургу, хотя и огорчался при этом, что не в силах сделать для него больше. Томаш стал водителем пикапа, на котором развозил на поля земледельцев и сельскохозяйственный инвентарь.

У кооператива было четыре больших коровника и небольшой хлев с сорока телками. Терезе было поручено обихаживать их и дважды в день выгонять на пастбище. Поскольку ближние и легкодоступные луга предназначались под косьбу, Терезе приходилось ходить со стадом на окрестные холмы. Телки постепенно объедали траву на все более дальних пастбищах, и Тереза таким образом обошла с ними за год всю округу. И как когда-то в своем маленьком городе, она всегда брала с собой какую-нибудь книгу, на лугах открывала ее и читала.

Каренин неизменно сопровождал ее. Он научился лаять на молодых коровок, когда они, не в меру развеселившись, норовили отбиться от стада. Он делал это с очевидной радостью, и из них троих был явно самым счастливым. Никогда прежде его должность «стража курантов» не была столь почитаема, как здесь. В деревне ни для какой импровизации не оставалось возможности: время, в котором жили теперь Тереза и Томаш, приближалось к регулярности его времени.

Однажды после обеда (когда у Терезы и Томаша выдавался час свободного времени) они втроем пошли прогуляться по косогору позади своего дома.

— Не нравится мне, как он бегает,— сказала Тереза.

Каренин припадал на заднюю ногу. Томаш нагнулся к нему и, ощупав лапу, обнаружил на ляжке небольшой желвак.

На следующий день он посадил его рядом с собой на сиденье пикапа и отправился в соседнюю деревню к ветеринару. Неделю спустя снова заехал к нему и вернулся домой с известием, что у Каренина рак.

Тремя днями позже Томаш в присутствии ветеринара оперировал Каренина. Когда он привез пса домой, тот еще не очнулся после наркоза. Он лежал возле их постели на ковре с открытыми глазами и стонал. На ляжке, выбритой догола, был виден шов с шестью защипами.

Наконец Каренин попытался подняться. Не смог.

Тереза страшно испугалась, что он уже никогда не сможет ходить.

— Не волнуйся,— сказал Томаш,— он все еще одурманен наркозом.

Тереза попыталась поднять пса, но он цапнул ее. Такого еще не бывало, чтобы он хотел ее укусить!

— Он не понимает, кто ты,— сказал Томаш,— не узнает тебя.

Они подняли его к себе на постель, где он быстро уснул. Уснули и они.

Было три часа ночи, когда он вдруг разбудил их. Вертел хвостом, вскарабкивался на них и ластился к ним буйно и ненасытно.

И такого никогда не случалось! Он прежде никогда не будил их, а всегда ждал, пока кто-нибудь проснется, и только потом вскакивал на кровать.

Но на этот раз, придя в полное сознание среди ночи, не мог сдержать себя! Кто знает, с какими призраками он боролся! И вдруг увидел, что он дома, узнал своих близких и во что бы то ни стало захотел поделиться с ними своей несказанной радостью, радостью возвращения и возрождения.

2

В начале книги Бытия сказано, что Бог сотворил человека, дабы дать ему власть над птицами, рыбами и всякими животными,пресмыкающимися по земле. Конечно, Бытие написал человек, а вовсе не лошадь. Нет никакой уверенности, что Бог действительно дал человеку власть над другими созданиями. Скорее, похоже на то, что человек выдумал Бога, чтобы власть над коровой и лошадью, узурпированную им, превратить в дело священное. Да, право убить оленя или корову — единственное, на чем братски сходится все человечество даже в период самых кровавых войн.

И право это представляется нам естественным лишь по той причине, что на вершине иерархии находимся мы. Но достаточно было бы вступить в игру кому-то третьему, допустим, гостю с иной планеты, чей Бог сказал бы: «Ты будешь владычествовать над тварями всех остальных планет», как вся бесспорность «Бытия» стала бы сразу сомнительной. Человек, запряженный в повозку марсианином или запеченный на вертеле существами с Млечного Пути, возможно, и вспомнил бы тогда о телячьей отбивной, которую привык резать на тарелке, и принес бы корове свои (запоздалые!) извинения.

Тереза идет за стадом телок, гонит их перед собой и то и дело какую приструнивает, потому что молодые коровки резвятся и убегают с дороги в поля. Каренин сопровождает ее. Вот уже два года, как он ежедневно ходит с ней на пастьбу. Его всегда ужасно забавляло, что он может быть с телками строгим, облаивать их и ругать. (Его Бог доверил ему власть над коровами, и он очень гордился этим). Но сейчас Каренин двигался с огромным трудом, прыгая на трех лапах; на четвертой у него — кровоточащая рана. Тереза поминутно к нему нагибается и гладит по спине. Уже две недели спустя после операции выяснилось, что опухоль продолжает расти и что Каренину будет все хуже и хуже.

Дорогой они встречают соседку, в резиновых сапогах поспешающую в коровник. Соседка останавливается: «Что это ваш песик? Вроде хромает!» Тереза говорит: «У него рак. Он обречен» — и чувствует, как сжимается горло и нет сил говорить. Соседка, видя Терезины слезы, чуть ли не возмущается: «Господи, не хватает вам только реветь из-за пса!» Говорит она это беззлобно, она добрая женщина, просто хочет по-своему утешить Терезу. Тереза знает это, впрочем, она здесь, в деревне, уже довольно давно, чтобы понять: люби крестьяне каждого кролика так, как она любит Каренина, они ни одного не смогли бы забить и вскорости умерли бы с голоду вместе со своими животными. И все-таки ей кажется, слова соседки звучат недружелюбно. «Я понимаю»,— говорит она покорно, но быстро поворачивается к ней спиной и продолжает путь. В своей любви к собаке она чувствует себя одинокой. С печальной улыбкой она говорит себе, что должна скрывать ее больше, чем скрывала бы измену. Любовь к собаке возмущает людей. Узнай соседка, что Тереза неверна Томашу, она в знак тайного согласия разве что весело шлепнула бы ее по спине.

Итак, идет Тереза дальше со своими телочками, что трутся друг о друга боками, и думает о том, какие это премилые животные. Спокойные, бесхитростные, подчас ребячливо веселые, они похожи на толстых пятидесятилетних баб, которые делают вид, что им четырнадцать. Нет ничего трогательнее, чем коровы, когда они играют. Тереза смотрит на них с симпатией и говорит себе (эта мысль уже в течение двух лет неотступно к ней возвращается), что человечество паразитирует на коровах, как солитер на человеке: оно присосалось к их вымени, слово пиявки. Человек — паразит коровы, так бы определил человека в своем учебнике зоологии не-человек.

Конечно, это определение мы можем считать простой шуткой и принять его со снисходительной улыбкой. Но когда Тереза серьезно задумывается над ним, почва уходит у нее из-под ног: ее мысли становятся опасными и отдаляют ее от человечества. Уже в «Бытии» сказано, что Бог дал человеку власть над животными, но мы можем понять это и так, что Он

лишь *вверил* их его *попечению*. Человек был не собственником планеты, а всего только ее управителем, которому однажды придется отвечать за свое управление. Декарт сделал решительный шаг вперед: он понимает человека как «господина и хозяина природы». Но явно есть некая глубокая зависимость между этим шагом и тем фактом, что именно он окончательно отказал животным в душе: человек — господин и хозяин, тогда как животное, по утверждению Декарта, не более чем автомат, оживленная машина, «machina animata». Если животное стонет, это не стон, а скрип плохо работающего механизма. Когда колесо телеги скрипит, это не значит, что телега страдает, а значит, что она просто не смазана. Точно так мы должны воспринимать и плач животного и не огорчаться из-за собаки, когда в виварии ее заживо потрошат.

Телочки пасутся на лугу, Тереза сидит на пеньке, а Каренин жмется к ней, положив голову на ее колени. И Тереза вспоминает, как однажды, лет десять назад, она прочла в газете коротенькое (в две строчки) сообщение о том, что в одном русском городе перестреляли всех собак. Это сообщение, неприметное и на вид незначительное, заставило ее впервые содрогнуться перед этой слишком большой соседней страной.

Это сообщение было предвестием всего, что пришло потом. В первые годы после русского вторжения еще нельзя было говорить о терроре. Поскольку практически весь народ противостоял оккупационному режиму, русским должно было среди чехов найти какие-то исключения и продвинуть их к власти. Но где искать таких людей, когда вера в коммунизм и любовь к России были мертвы? Искали среди тех, кто жаждал за что-то мстить жизни. Их агрессивность нужно было взращивать, объединять и удерживать в боевой готовности. И поначалу — направить на цель временную. Такой целью оказались животные.

Газеты стали тогда печатать целые циклы статей и организовывать письма читателей. В них требовали, например, истребить в городах голубей. И голуби таки были истреблены. Но главный удар был направлен против собак. Люди еще не пришли в себя после катастрофы оккупации, а газеты, радио и телевидение уже не трубили ни о чем другом, кроме как о собаках: они пакостят тротуары и парки и тем угрожают здоровью детей, проку от них никакого, а кормить изволь... Такой начался психоз, что Тереза стала тревожиться, как бы науськанный сброд не отыгрался на Каренине. Накопленная (и на животных отточенная) злоба лишь позже ударила по своей истинной цели: по людям. Пошли увольнения с работы, аресты, судебные процессы. Животные наконец смогли вздохнуть с облегчением.

Тереза все время гладит Каренина по голове, тихо покоящейся на ее коленях. И про себя говорит, пожалуй, так: Нет никакой заслуги в том, чтобы хорошо относиться к другому человеку. Тереза должна быть порядочной по отношению к односельчанам, а иначе она не могла бы и жить в деревне. И даже к Томашу она *обязана* относиться любовно, потому как Томаш ей нужен. Нам никогда не удастся установить с полной уверенностью, насколько наше отношение к другим людям является результатом наших чувств — любви, неприязни, добросердечности или злобы — и насколько оно предопределено равновесием сил между нами и ими.

Истинная доброта человека во всей ее чистоте и свободе может проявиться лишь по отношению к тому, кто не обладает никакой силой. Подлинное нравственное испытание человечества, то наиглавнейшее испытание (спрятанное так глубоко, что ускользает от нашего взора) коренится в его отношении к тем, кто отдан ему во власть: к животным. И здесь человек терпит полный крах, настолько полный, что именно из него вытекают и все остальные.

Одна из телок приблизилась к Терезе, остановилась и долго смотрела на нее большими коричневыми глазами. Тереза знала ее и называла Маркетой. Тереза с радостью дала бы имена всем своим телкам, но не могла. Их было слишком много. Когда-то давно, а точнее, сорок лет назад у всех коров в этой деревне были имена. (А поскольку имя есть знак души, могу

сказать, что, вопреки Декарту, душа у них была.) Но потом деревни превратили в большие кооперативные фабрики, и коровы проживали уже всю свою жизнь на двух метрах коровника. С тех пор у них нет имен, и они стали «machinae animatae». Мир согласился с Декартом.

У меня все время перед глазами Тереза: она сидит на пеньке, гладит Каренина по голове и думает о крахе человечества. В эту минуту вспоминается мне другая картина. Ницше выходит из своего отеля в Турине и видит перед собой лошадь и кучера, который бьет ее кнутом. Ницше приближается к лошади, на глазах у кучера обнимает ее за шею и плачет.

Это произошло в 1889 году, когда Ницше тоже был уже далек от мира людей. Иными словами: как раз тогда проявился его душевный недуг. Но именно поэтому, мне думается, его жест носит далеко идущий смысл. Ницше пришел попросить у лошади прощения за Декарта. Его помешательство (то есть разлад с человечеством) началось в ту самую минуту, когда он заплакал над лошадью.

И это тот Ницше, которого я люблю так же, как люблю Терезу, на чьих коленях покоится голова смертельно больного пса. Я вижу их рядом: оба сходят с дороги, по которой человечество, «господин и хозяин природы», маршем шествует вперед.

3

Каренин родил два рогалика и одну пчелу. Пораженный, он не спускал глаз со своего странного потомства. Рогалики вели себя смирно, но пчела шаталась как пьяная, а потом взлетела и скрылась из виду.

Это был сон, который снился Терезе. Пробудившись, она тотчас рассказала его Томашу, и они оба старались найти в нем какое-то утешение; этот сон обратил Каренинову болезнь в беременность, а драму рождения в нечто одновременно смешное и нежное: в два рогалика и одну пчелу.

Ее вновь охватила нелогичная надежда. Она встала, оделась. И здесь, в деревне, ее день начинался с того, что она шла в магазин купить молока, хлеба, рогаликов. Но когда она позвала с собой Каренина, он едва поднял голову. Это впервые он отказался участвовать в обряде, которого прежде сам безоговорочно добивался.

Итак, Тереза пошла одна. «А где ж Каренин?» — спросила продавщица, заранее приготовившая для него рогалик. На этот раз Тереза уносила его в своей кошелке сама. Еще в дверях она вытащила рогалик и показала Каренину. Думала, он подойдет и возьмет его. Но Каренин лежал, не двигаясь.

Томаш заметил, как расстроена Тереза. Он взял рогалик в рот и встал против Каренина на четвереньки. Потом медленно начал приближаться к нему.

Каренин смотрел на него, в его глазах, казалось, сверкнул какой-то проблеск интереса, но он не поднялся. Томаш вплотную приблизил лицо к его морде. Даже не двинув телом, Каренин взял в пасть конец рогалика, торчавший изо рта Томаша. Томаш отпустил рогалик, чтобы он весь достался псу.

Затем, все еще на четвереньках, он попятился, изогнул спину и начал ворчать, делая вид, что собирается бороться за рогалик. И пес ответил хозяину ворчанием. Наконец! Это было именно то, чего они ждали! Каренину захотелось играть! Каренину еще хочется жить!

Это ворчание было улыбкой Каренина, и им хотелось, чтобы эта улыбка длилась как можно дольше. Поэтому Томаш снова подполз к нему на четвереньках и схватил зубами кусок рогалика, который торчал из его пасти. Их головы были теперь совсем рядом, Томаш чувствовал запах песьего дыхания, и его лицо щекотали длинные шерстинки, что росли вокруг морды Каренина. Пес еще раз заворчал и дернул пасть. У каждого в зубах осталось по половинке рогалика. Тут Каренин допустил старую тактическую ошибку: он бросил свой кусок рогалика и попытался цапнуть ту часть, что была во рту хозяина. И как случалось всегда, он забыл, что

Томаш не собака и что у него есть руки. Томаш, не выпуская рогалика изо рта, поднял с полу брошенную половинку.

— Томаш,— крикнула Тереза,— не отбирай же у него весь рогалик!

Томаш бросил обе половинки на пол перед Карениным, который быстро проглотил одну, а вторую демонстративно долго держал в пасти, похваляясь перед супругами своей победой.

Они смотрели на него и снова говорили себе, что Каренин улыбается и что покуда он улыбается, у него все еще есть повод жить, хотя он и обречен на смерть.

Впрочем, на следующий день им показалось, что состояние его улучшилось. Они пообедали. После обеда у них оставался часок свободного времени, и обычно они с Карениным отправлялись гулять. Он знал это и всегда беспокойно носился вокруг них. Но на этот раз, когда Тереза взяла в руку поводок и ошейник, он лишь долго смотрел на них и не шевелился. Они стояли против него и старались быть (при нем и ради него) веселыми, чтобы хоть немного взбодрить его. Только чуть погодя, словно смилостивившись над ними, он прискакал к ним на трех ногах и дал надеть на себя ошейник.

— Тереза,— сказал Томаш,— я знаю, как ты с некоторых пор ненавидишь фотоаппарат. Но сегодня возьми его с собой.

Тереза послушалась. Она открыла шкаф, чтобы найти в нем засунутый куда-то и забытый аппарат, и Томаш добавил: — Когда-нибудь эти фотографии немало порадуют нас. Каренин был частью нашей жизни.

— Как это *был?* — вскричала Тереза, словно ее ужалила змея. Аппарат лежал перед ней на дне ящика, но она не нагибалась к нему: — Не возьму его. Не хочу думать, что Каренина не будет. Ты говоришь о нем уже в прошедшем времени!

— Не сердись,— сказал Томаш.

— Я не сержусь,— сказала Тереза спокойно.— Я и сама не раз ловила себя на том, что думаю о нем в прошедшем времени. Уже не раз одергивала себя. И именно поэтому не возьму аппарат.

Они шли по дороге и не разговаривали. Не говорить — это был единственный способ не думать о Каренине в прошедшем времени. Они не спускали с него глаз и постоянно были с ним. Ждали, когда он улыбнется. Но он не улыбался, просто шел рядом и все время на трех ногах.

— Он это делает только ради нас,— сказала Тереза.— Ему не хотелось гулять. Пошел только, чтобы доставить нам радость.

То, что она сказала, было печально, и все-таки, даже не сознавая того, они были счастливы. И были счастливы совсем не вопреки печали, а благодаря печали. Они держались за руки, и перед глазами у них был один и тот же образ: образ хромающего пса, который являл собою десять лет их жизни.

Они прошли еще сколько-то. Потом, к их большому огорчению, Каренин остановился и повернул обратно. Пришлось возвращаться.

В тот же день, а может, на следующий Тереза, неожиданно войдя в комнату к Томашу, застала его за чтением письма. Услышав стук двери, Томаш отодвинул письмо в сторону, к другим бумагам. Она заметила это. А при уходе не ускользнуло от нее и то, как он украдкой засовывает письмо в карман. Однако про конверт он забыл. Оставшись дома одна, она разглядела его. Адрес был написан незнакомой рукой, очень изящной и, похоже, женской.

Когда они позднее увиделись, она как бы невзначай спросила его, пришла ли почта.

— Нет,— сказал Томаш, и Терезу охватило отчаяние, отчаяние тем более сильное, что она уже отвыкла от него. Нет, она не думает, что у Томаша здесь есть какая-то тайная любовница. Это практически невозможно. Она знает о каждой его свободной минуте. Но вполне вероятно, что у него осталась какая-то женщина в Праге, о которой он думает и которая волнует его, хотя уже и не может оставить запах своего лона в его волосах. Тереза не думает, что Томаш способен покинуть ее ради этой женщины, но

ей кажется, что счастье двух последних лет их жизни в деревне снова обесценено ложью.

К ней возвращается старая мысль: Ее дом не Томаш, а Каренин. Кто будет заводить куранты их дней, когда его здесь не станет?

Уносясь мыслями в будущее, в будущее без Каренина, Тереза чувствовала себя в нем одинокой.

Каренин лежал в уголке и стонал. Тереза пошла в сад. Она осмотрела траву меж двумя яблонями и представила себе, что там они похоронят Каренина. Она врылась каблуком в землю и прочертила им в траве прямоугольник. На этом месте будет его могила.

— Ты что делаешь? — спросил ее Томаш, заставший ее за этим занятием так же врасплох, как и она его за чтением письма двумя-тремя часами раньше.

Она не ответила. Он заметил, что у нее после долгого времени снова дрожат руки. Он взял их в свои. Она вырвалась.

— Это могила для Каренина?

Она не ответила.

Ее молчание раздражало его. Он вскипел: — Ты упрекаешь меня, что я думаю о нем в прошедшем времени! А что ты сама делаешь? Ты хочешь уже его похоронить!

Она повернулась и пошла в дом.

Томаш ушел в свою комнату, хлопнув за собой дверью.

Тереза открыла дверь и сказала: — Ты думаешь только о себе, но хотя бы сейчас ты подумал бы и о нем. Он спал, а ты разбудил его. Он опять начнет стонать.

Она понимала, что несправедлива (пес не спал), что ведет себя, как самая вульгарная баба, которая хочет ранить и знает как.

Томаш на цыпочках вошел в комнату, где лежал Каренин. Но она не хотела оставлять его с псом. Они оба склонились над ним, она с одной, он — с другой стороны. Но в этом общем движении не было примирения. Напротив. Каждый из них был сам по себе. Тереза со своим псом, Томаш со своим.

Я боюсь, что вот так, разделенные, каждый сам по себе, они останутся с ним до его последнего часа.

4

Почему для Терезы так важно слово «идиллия»?

Воспитанные на мифологии Ветхого Завета, мы могли бы сказать, что идиллия есть образ, который сохранился в нас как воспоминание о Рае: Жизнь в Раю не походила на бег по прямой, что ведет нас в неведомое, она не была приключением. Она двигалась по кругу среди знакомых вещей. Ее однообразие было не скукой, а счастьем.

Покуда человек жил в деревне, на природе, окруженный домашними животными, в объятиях времен года и их повторения, с ним постоянно оставался хотя бы отблеск этой райской идиллии. Поэтому Тереза, встретившись в курортном городе с председателем кооператива, вдруг увидела перед глазами образ деревни (деревни, в какой никогда не жила и какую не знала) и была очарована. Было так, как если бы она смотрела назад, в направлении Рая.

Адам в Раю, наклонившись над источником, не знал еще, что то, что он видит, он сам. Он не понимал бы Терезы, когда она еще девушкой, стоя перед зеркалом, старалась разглядеть сквозь тело свою душу. Адам был как Каренин. Тереза часто забавлялась тем, что подводила пса к зеркалу. Он не узнавал своего отражения и относился к нему с полным безразличием и невниманием.

Сравнение Каренина с Адамом приводит меня к мысли, что в Раю человек не был еще человеком. Точнее сказать: человек не был еще выброшен на дорогу человека. Мы же давно выброшены на нее и летим сквозь пустоту времени, совершаемого по-прямой. Но в нас постоянно присутству-

ет тонкая нить, которая связывает нас с далеким мглистым Раем, где Адам склоняется над источником, и, нисколько не похожий на Нарцисса, не осознает даже, что это бледное желтое пятно, появившееся на водной глади, и есть он сам. Тоска по Раю — это мечта человека не быть человеком.

Еще ребенком, натыкаясь на материны вкладыши, запачканные менструальной кровью, Тереза всегда испытывала отвращение и ненавидела мать за то, что ей не хватало стыда скрывать их. Но у Каренина, который на самом деле был сукой, тоже случалась менструация. Она приходила раз в полгода и продолжалась две недели. Чтобы он не пачкал квартиру, Тереза клала ему между ног большой кусок ваты и надевала старые трусы, ловко привязывая их длинной лентой к телу. И все эти две недели она не переставала смеяться над его экипировкой.

Отчего же получалось, что менструация собаки вызывала в ней веселую нежность, тогда как собственная менструация была ей омерзительна? Ответ представляется мне несложным: собака никогда не была изгнана из Рая. Каренин ничего не знал о дуализме тела и души, как и не знал, что такое омерзение. Поэтому Терезе с ним так хорошо и спокойно. (И поэтому так опасно превратить животное в «machina animata», а корову в автомат для производства молока: Человек таким образом перерезает нить, которая связывала его с Раем, и в его полете сквозь пустоту времени уже ничто не в состоянии будет ни остановить его, ни утешить.)

Из туманной путаницы этих идей возникает кощунственная мысль, от какой Тереза не может избавиться: Любовь, которая соединяет ее с Карениным, лучше, чем та, что существует между нею и Томашем. Лучше, отнюдь не больше. Тереза не хочет обвинять ни Томаша, ни себя, не хочет утверждать, что они могли бы любить друг друга *больше*. Скорее, ей кажется, человеческие пары созданы так, что их любовь a priori худшего сорта, чем может быть (по крайней мере в ее лучших примерах) любовь между человеком и собакой, это, вероятно, не запланированное Создателем чудачество в человеческой истории.

Такая любовь бескорыстна: Тереза от Каренина ничего не хочет. Даже ответной любви от него не требует. Она никогда не задавалась вопросами, которые мучат человеческие пары: он любит меня? любил ли он кого-нибудь больше меня? он больше меня любит, чем я его? Возможно, все эти вопросы, которые обращают к любви, измеряют ее, изучают, проверяют, допытывают, чуть ли не в зачатке и убивают ее. Возможно, мы не способны любить именно потому, что жаждем быть любимыми, то есть хотим чего-то (любви) от другого, вместо того чтобы отдавать ему себя без всякой корысти, довольствуясь лишь его присутствием.

И вот что: Тереза приняла Каренина таким, каким он был, она не хотела переделывать его по своему подобию, она наперед согласилась с его собачьим миром, она не пыталась отнять его у него, не ревновала его к каким-то тайным уловкам. Она воспитывала его не для того, чтобы переделать (как муж хочет переделать жену, а жена — мужа), а лишь для того, чтобы обучить его элементарному языку, который позволил бы им понимать друг друга и вместе жить.

И еще одно: любовь к собаке — чувство добровольное, никто не принуждает Терезу любить Каренина. (Она снова думает о матери и сожалеет обо всем, что произошло между ними: будь мать одной из незнакомых женщин в деревне, ее веселая грубость, возможно, казалась бы ей симпатичной! Ах, была бы мать чужой женщиной! С детства Тереза стыдилась того, что мать оккупировала черты ее лица и конфисковала ее «я». Но самое худшее, что извечный приказ «люби отца и мать!» принудил ее согласиться с этой оккупацией и эту агрессию называть любовью! Мать неповинна в том, что Тереза разошлась с ней. Она разошлась с ней не потому, что мать была такой, какой была, а потому, что была матерью.)

Но самое главное: Ни один человек не может принести другому дар идиллии. Это под силу только животному, благо оно не было изгнано из Рая. Любовь между человеком и собакой — идиллическая любовь. В ней нет конфликтов, душераздирающих сцен, в ней нет развития. Каренин

окружил Терезу и Томаша своей жизнью, основанной на повторении, и ожидал от них того же.

Если бы Каренин был человеком, а не собакой, он наверняка давно бы сказал Терезе: «Послушай, мне уже надоело каждый день носить во рту рогалик. Не можешь ли ты придумать для меня чего-нибудь новенького?» В этой фразе заключено всяческое осуждение человека. Человеческое время не обращается по кругу, а бежит по прямой вперед. И в этом причина, по которой человек не может быть счастлив, ибо счастье есть жажда повторения.

Да, счастье — жажда повторения, говорит себе Тереза.

Когда председатель кооператива отправляется после работы прогулять своего Мефисто и встречает Терезу, он никогда не упускает случая сказать: «Тереза, почему он не появился в моей жизни раньше? Мы бы вместе за девчатами бегали! Какая ж бабенка устоит перед двумя хряками!» Он выдрессировал своего кабанчика так, что после этих слов тот начинал хрюкать. Тереза смеялась, хотя уже за минуту до этого знала, что скажет председатель. Шутка в повторении не утрачивала своего очарования. Напротив. В контексте идиллии даже юмор подчинен сладкому закону повторения.

5

У собаки по сравнению с людьми нет особых преимуществ, но одно из них стоит многого: эвтаназия в ее случае законом не возбраняется; животное имеет право на милосердную смерть. Каренин ходил на трех ногах и все больше и больше времени проводил в закутке. Стонал. Супруги, Тереза и Томаш, были заодно в том, что нельзя заставлять его понапрасну страдать. Однако, соглашаясь с этим в принципе, они не могли избавиться от томительной неуверенности: как отгадать мгновение, когда страдание уже излишне? Как определить минуту, когда жить уже не имеет смысла?

Не был бы хоть Томаш врачом! Тогда можно было бы спрятаться за кого-то третьего. Можно было бы пойти к ветеринару и попросить его сделать собаке инъекцию.

Как это страшно — взять на себя роль смерти! Томаш долго настаивал на том, что сам он никакой инъекции делать Каренину не станет, а позовет ветеринара. Но потом вдруг понял, что может предоставить псу привилегию, которая не доступна ни одному человеку: смерть придет к нему в образе тех, кого он любил.

Каренин стонал всю ночь. Утром, ощупав его, Томаш сказал Терезе: — Ждать больше не будем.

Было утро, вскоре оба должны были уйти из дому. Тереза вошла в комнату посмотреть на Каренина. До сих пор он лежал безучастно (даже не обращая внимания на то, что Томаш осматривал его ногу), но сейчас, услышав, что открывается дверь, поднял голову и посмотрел на Терезу.

Она не могла вынести этот взгляд, чуть ли не испугалась его. Так Каренин никогда не смотрел на Томаша, так он смотрел только на нее. Но никогда с таким напряжением, как на этот раз. Это не был отчаянный или грустный взгляд, нет. Это был взгляд страшной, невыносимой доверчивости. Этот взгляд выражал собою жадный вопрос. Всю жизнь Каренин ждал Терезиного ответа и сейчас сообщал ей (гораздо настойчивее, чем когда-либо), что он по-прежнему готов узнать от нее правду. (Все, что исходит от Терезы, для него — правда: и когда она говорит ему «садись!» или «ложись!» — это тоже правды, с которыми он полностью соглашается и которые дают его жизни смысл.)

Этот взгляд ужасной доверчивости был совсем коротким. Минутой позже он снова положил голову на лапы. Тереза знала, что *вот так* на нее уже никто не посмотрит.

Они никогда не давали ему сладостей, но два-три дня назад Тереза купила для него несколько плиток шоколаду. Сейчас она развернула их, вынула из фольги, разломала и положила рядом. Подставила к ним и миску

с водой, чтобы у него было все, когда он останется на какое-то время один. Взгляд, которым он только что посмотрел на нее, словно бы утомил его. Он уже не поднял головы, хотя весь был обложен шоколадом.

Она легла к нему на пол и обняла его. Он очень медленно и устало обнюхал ее и раз, другой лизнул. Она приняла это облизывание с закрытыми глазами, точно хотела навсегда запомнить его. Она повернула голову, чтобы он лизнул ее и в другую щеку.

Потом ей пришлось уйти к своим телкам. Вернулась она только после обеда. Томаша дома не было. Каренин лежал, все еще окруженный шоколадными плитками, и, хоть слышал, что она пришла, головы не поднял. Его больная нога отекла, и опухоль лопнула в новом месте. Под шерстью появилась светло-красная (не похожая на кровь) капелька.

Она снова легла к нему на пол. Обняла его одной рукой и закрыла глаза. Потом услышала, что кто-то стучится в дверь. Раздалось: «Пан доктор, пан доктор, здесь кабанчик и его председатель!» Она не в силах была ни с кем говорить. Не шевельнулась, не открыла глаз. Послышалось опять: «Пан доктор, хряки пришли!» — и затем снова воцарилась тишина.

Томаш появился только через полчаса. Он молча прошел прямо в кухню и стал готовить инъекцию. Когда он вошел в комнату, Тереза уже стояла, а Каренин с трудом поднимался с полу. Увидев Томаша, он слегка вильнул хвостом.

— Посмотри,— сказала Тереза,— он все еще улыбается!

Она сказала эту фразу с мольбой, словно хотела ею еще попросить о небольшой оттяжке, но не настаивала на этом.

Тереза медленно постелила на тахте простыню. Простыня была белая, усеянная маленькими лиловыми цветочками. Впрочем, все уже было у нее подготовлено и продумано, словно смерть Каренина она представляла себе за много дней наперед. (Ах, как это ужасно, мы, собственно, заранее мечтаем о смерти тех, кого любим!)

У Каренина уже не было сил вспрыгнуть на тахту. Они обхватили его и вместе подняли. Тереза положила его на бок, Томаш осмотрел его ногу. Искал место, где вена выступала бы явственнее всего. В этом месте он ножницами выстриг шерсть.

Тереза стояла на коленях у тахты и держала голову Каренина у самого своего лица.

Томаш попросил ее как можно крепче сжать заднюю ногу над веной, слишком тонкой для того, чтобы ввести иглу. Тереза держала лапу Каренина, не отстраняя лица от его головы. Она не переставала тихо разговаривать с ним, и он не думал ни о чем, кроме нее. Ему не было страшно. Он еще два раза лизнул ее в лицо. А она шептала ему: — Не бойся, не бойся, там у тебя ничего не будет болеть, там тебе будут сниться белки и зайцы, там будут коровки, и Мефисто там будет, не бойся...

Томаш ввел иглу в вену и нажал поршень. Каренин чуть дернул ногой, задышал учащенно, а через несколько секунд дыхание внезапно оборвалось. Тереза стояла на коленях у тахты и прижималась лицом к его голове.

Потом им снова пришлось уйти на работу, а пес остался лежать на тахте на белой простыне в лиловых цветочках.

Вечером они вернулись. Томаш пошел в сад. Нашел между двумя яблонями четыре линии прямоугольника, который несколькими днями раньше прочертила там каблуком Тереза. Стал копать, точно придерживаясь предписанного размера. Хотел, чтобы все было так, как желала Тереза.

Она осталась дома с Карениным. Боялась, как бы не похоронили его живым. Она приложила ухо к его носу, и ей показалось, что она слышит слабенькое дыхание. Чуть отойдя, увидела, что его грудь слегка вздымается.

(Нет, это она слышала собственное дыхание, приводившее в незаметное движение ее тело, и потому у нее создалось впечатление, что двигается грудь собаки.)

Она нашла в сумке зеркальце и приставила его к носу Каренина. Зеркальце было таким захватанным, что ей почудилось, будто оно запотело от его дыхания.

— Томаш, он жив! — закричала она, когда Томаш в грязных ботинках вернулся из сада.

Он наклонился к нему и покачал головой.

Каждый из них взял с разных концов простыню, на которой лежал пес. Тереза у ног, Томаш у головы. Они подняли его и понесли в сад. Он с лужицей пришел в нашу жизнь и с лужицей ушел из нее, подумала Тереза и порадовалась, что чувствует в руках эту влажность, последний песий поклон.

Они донесли его до яблонь и опустили в яму. Тереза наклонилась над ней и расправила простыню так, чтобы она покрывала его целиком. Ей казалось невыносимым, чтобы земля, которой сейчас забросают Каренина, упала на его *голое* тело.

Потом она ушла в дом и возвратилась с ошейником, поводком и горстью шоколада, так и остававшимся с утра нетронутым на полу. Все это она бросила к нему в яму.

Возле ямы была куча свежевырытой земли. Томаш взял в руку лопату.

Тереза вспомнила свой сон: Каренин родил два рогалика и одну пчелу. Эта фраза прозвучала вдруг как эпитафия. Она представила себе здесь между двумя яблонями памятник с надписью: «Здесь лежит Каренин. Он родил два рогалика и одну пчелу».

В саду был полумрак, время между днем и вечером, на небе стояла бледная луна, лампа, забытая в комнате мертвых.

В заляпанных грязью ботинках они относили заступ и лопату в чулан, где были уложены орудия: грабли, кирки, мотыги.

6

Он сидел в своей комнате, где обычно читал книгу. В такие минуты Тереза подходила сзади, склонялась к нему, прижималась щекой к его лицу. Проделав сегодня то же самое, она увидела, что Томаш смотрит вовсе не в книгу. Перед ним лежало письмо, и, хоть оно состояло из пяти напечатанных на машинке строк, он не сводил с него неподвижного взгляда.

«Что это?» — спросила Тереза, охваченная тревогой.

Не поворачивая головы, Томаш взял письмо и подал ей. В письме говорилось, что еще тем же днем он обязан прибыть в соседний город на аэродром.

Наконец он повернулся к Терезе, и она прочла в его глазах тот же ужас, что испытывала и она.

«Я поеду с тобой»,— сказала она.

Он покачал головой: «Они вызывают только меня».

«Нет, я поеду с тобой»,— повторяла она.

Поехали они на Томашевом пикапе. За минуту оказались на взлетном поле. Стоял туман. Сквозь него едва вырисовывались несколько самолетов. Они ходили от одного к другому, но все были с запертыми дверями и недоступны. Наконец у одного из них вход наверху оказался открытым, к нему вела приставная лестница. Они взошли по ней, в двери появился стюард и пригласил их пройти внутрь. Самолет был маленький, от силы — пассажиров на тридцать, и совершенно пустой. Они вошли в проход между креслами, все время держась друг за друга и не проявляя особого интереса к окружающему. Сели на два кресла рядом, и Тереза положила голову на плечо Томаша. Первоначальный ужас рассеивался, вытесняясь грустью.

Ужас — это шок, минута полного ослепления. Ужас лишен даже малейшего следа красоты. Мы не видим ничего, кроме резкого света неведомого события, какое ждет нас впереди. Грусть, напротив, предполагает то, что мы знаем. Томаш и Тереза знали, что их ожидает. Свет ужаса утратил свою резкость, и мир купался в голубом нежном сиянии, в котором все вокруг становилось красивее, чем было раньше.

Читая письмо, Тереза не испытывала к Томашу никакой любви, она просто знала, что ни на минуту не смеет покинуть его: ужас подавил все остальные чувства и ощущения. Теперь, когда она прижималась к нему

(самолет плыл в тучах), испуг прошел, и она внимала своей любви, осознавая, что эта любовь без границ и без меры.

Наконец, самолет приземлился. Они встали и пошли к двери, которую открыл стюард. По-прежнему обнимая друг друга за талию, они остановились наверху перед трапом. Внизу увидели трех мужчин в масках на лицах и с ружьями в руках. Колебания были напрасны, выхода не было. Они стали медленно спускаться и как только ступили на площадку аэродрома, один из мужчин поднял ружье и прицелился. Никакого выстрела не последовало, но Тереза почувствовала, как Томаш, только что прижимавшийся к ней и обнимавший ее за талию, падает наземь.

Она привлекла его к себе, но удержать не смогла: он упал на бетон посадочной площадки. Она склонилась над ним. Ей хотелось кинуться на него и прикрыть его своим телом, но тут произошло нечто поразительное: у нее на глазах его тело стало быстро уменьшаться. Это было так невообразимо, что она оторопела и застыла как вкопанная. Томашево тело становилось все меньше и меньше, вот оно уже совсем не походило на Томаша, от него осталось что-то ужасно маленькое, и это маленькое начало двигаться и, ударившись в бегство, помчалось по летному полю.

Мужчина, что выстрелил, снял маску и приветливо улыбнулся Терезе. Потом повернулся и побежал за этой маленькой вещицей, которая сновала туда-сюда, словно увертывалась от кого-то и отчаянно искала укрытия. Мужчина гонялся за ней, пока не бросился вдруг на землю: погоня на этом прекратилась.

Потом он встал и направился к Терезе. В руках у него было какое-то маленькое существо, дрожавшее от страха. Им оказался заяц. Мужчина протянул его Терезе. В эту минуту испуг и грусть отпустили ее, и она почувствовала себя счастливой, что держит зверушку в объятиях, что эта зверушка ее и она может прижимать ее к телу. От счастья она расплакалась. Она плакала и плакала, не видя ничего сквозь слезы, и уносила зайчика домой с ощущением, что теперь она у самой цели, что она там, где хотела быть, там, откуда уже не убегают.

Она шла по пражским улицам и без труда отыскала свой дом. Она жила там с мамой и папой, когда была маленькой. Но ни мамы, ни папы там не было. Встретили ее там лишь два старых человека, которых она никогда не видела, но знала, что это прадедушка и прабабушка. У обоих лица были морщинистые, как кора деревьев, и Тереза обрадовалась, что будет жить с ними. Но теперь ей хотелось побыть совсем одной со своей зверушкой. Она безошибочно нашла комнату, в которой жила с пяти лет, когда родители решили, что она уже достойна иметь свою детскую.

Там были тахта, столик и стул. На столике стояла зажженная лампа, что ждала ее все это время. На лампе сидела бабочка с раскрытыми крыльями, на которых были нарисованы два больших глаза. Тереза знала, что она у цели. Она легла на тахту и прижала зайчика к лицу.

7

Он сидел у стола, где обычно читал книги. Перед ним лежал открытый конверт с письмом. Он говорил Терезе: — Я время от времени получаю письма, о которых не хотел тебе говорить. Пишет мне сын. Я всегда стремился, чтобы моя и его жизнь никогда не пересекались. А посмотри, как судьба отомстила мне. Уже несколько лет, как его выгнали из университета. Он тракторист в какой-то деревне. Хоть наши жизни и не соприкоснулись, но шли в одном направлении, как две параллельные прямые.

— А почему об этих письмах ты не хотел говорить? — спросила Тереза, почувствовав в себе великое облегчение.

— Не знаю. Было как-то неприятно.

— Он часто пишет тебе?

— Время от времени.

— И о чем?

— О себе.

— И это интересно?

— Вполне. Мать, как ты знаешь, была ярая коммунистка. Он давно разошелся с ней. Подружился с людьми, которые оказались в том же положении, что и мы. Все они тянулись к политической деятельности. Некоторые из них сейчас арестованы. Но он и с ними порвал. Смотрит теперь на них со стороны, как на «вечных революционеров».

— Значит, он смирился с режимом?

— Вовсе нет. Он верует в Бога и полагает, что в этом — ключ ко всему. Мы все, дескать, должны в своей каждодневной жизни держаться норм, данных религией, и режим вообще не принимать во внимание. Полностью игнорировать. Веруя в Бога, мы способны, на его взгляд, в любых обстоятельствах личным поведением сотворить то, что он называет «царствием Божиим на земле». Он объясняет мне, что церковь в нашей стране — единственное добровольное сообщество людей, которое ускользает от контроля государства. Любопытно, то ли он примкнул к церкви, чтобы легче было сопротивляться режиму, то ли действительно верует в Бога.

— Ну спроси его об этом!

Томаш продолжал: — Я всегда восхищался верующими. Думал, что у них какой-то особый дар сверхчувственного восприятия, в котором мне отказано. Что-то вроде ясновидцев. Но теперь вижу по своему сыну, что верить довольно просто. Когда ему было плохо, за него вступились католики, и этого ему оказалось достаточно, чтобы обратиться к вере. Может, он решил верить из благодарности. Человек принимает решения на удивление просто.

— Ты ни разу не ответил ему на письма?

— Он не дал мне обратного адреса.

Но затем добавил: — На почтовом штемпеле, правда, есть название деревни. Можно было бы послать письмо на адрес тамошнего кооператива.

Терезе стало стыдно перед Томашем за свои подозрения, и она постаралась искупить вину торопливой мягкостью к его сыну:

— Почему ты ему не напишешь? Почему не позовешь?

— Он похож на меня,— сказал Томаш.— Когда говорит, кривит верхнюю губу точно так же, как я. Видеть, как мой рот говорит о Господе Боге, для меня было бы крайне странно.

Тереза рассмеялась.

Томаш посмеялся вместе с ней.

Тереза сказала: — Не будь ребячливым, Томаш! Это такая старая история. Ты и твоя первая жена. Что мне до этого? Что у меня с этим общего? Почему тебе надо обижать кого-то только потому, что в молодости у тебя был дурной вкус?

— Сказать откровенно, встреча с ним пугает меня. Это главная причина, почему я не стремлюсь к ней. Не знаю, чем вызвано было такое упрямое нежелание видеться с ним. Подчас придешь к какому-то решению, даже сам не понимая как, а потом это решение существует уже в силу собственной инерции. И год от года его труднее изменить.

— Позови его,— сказала Тереза.

В тот день, возвращаясь из коровника после обеда домой, она услыхала с дороги голоса. Подойдя ближе, увидела пикап Томаша. Согнувшись, он отвинчивал колесо. Несколько мужчин толпились вокруг, глазели и ждали, покуда Томаш управится с починкой.

Тереза стояла и не могла отвести взгляд: Томаш казался старым. У него поседели волосы, и неловкость, с какой он работал, была не неловкостью врача, ставшего шофером, а неловкостью человека уже немолодого.

Она вспомнила свой недавний разговор с председателем. Он говорил ей, что машина Томаша в чудовищном состоянии. Говорил это в шутку, вовсе не жаловался, скорее выглядел озабоченным. «Томаш лучше разбирается в том, что внутри тела, чем в том, что внутри мотора»,— смеясь сказал он. Потом признался, что уже не раз и не два просил у властей разрешить

Томашу снова врачебную практику в здешнем районе. Однако убедился, что полиция этого никогда не позволит.

Она отошла за ствол дерева, чтобы никто из этих людей у машины не увидел ее, и продолжала смотреть на Томаша. Сердце ее сжималось от укоров: из-за нее он покинул Прагу. И даже здесь она не дает ему покоя, еще над умирающим Карениным мучила его тайными подозрениями.

Она всегда мысленно упрекала его, что он недостаточно ее любит. Свою собственную любовь она считала чем-то, что исключает всякое сомнение, а его любовь — простой снисходительностью.

Теперь она видит, что была несправедлива: Если бы она и впрямь любила Томаша великой любовью, она должна была бы остаться с ним за границей! Там Томаш был бы счастлив, там перед ним открылась бы новая жизнь! А она уехала и бросила его там! Правда, она была тогда убеждена, что делает это из великодушия, не желая быть ему в тягость. Но не было ли это великодушие просто-напросто увертkой? В действительности же она знала, что он вернется к ней! Она увлекала его за собой все ниже и ниже, подобно вилам, что заманивают сельчан в болота и топят там. Воспользовавшись минутой, когда у него болел желудок, она вынудила у него обещание уехать вместе в деревню! Какой коварной она умела быть! Она заманивала его за собой, словно вновь и вновь хотела проверить, любит ли он ее, она заманивала его так долго, пока он не оказался здесь: седой и усталый, с искореженными руками, которые уже никогда не смогут держать скальпель.

Они очутились там, откуда уже никуда не уйти. Куда они могут уйти? За границу их не выпустят. В Прагу нет возврата, никакой работы им там не дадут. А перебраться в другую деревню — какой толк?

Бог мой, неужто и вправду надо было дойти до самого края, чтобы поверить, что он любит ее?

Наконец ему удалось надеть колесо. Он сел за руль, мужчины вскочили в кузов, раздался шум мотора.

Придя домой, Тереза решила принять ванну. Она лежала в горячей воде и размышляла о том, что всю жизнь пользовалась своей слабостью во вред Томашу. Мы все склонны считать силу виновником, а слабость — невинной жертвой. Но Тереза сейчас понимает: в их жизни все было наоборот! И ее сны, словно зная о единственной слабости этого сильного человека, выставляли перед ним напоказ ее страдания, чтобы принудить его пасовать! Терезина слабость была агрессивной и принуждала его постоянно капитулировать, пока наконец он перестал быть сильным и превратился в зайчика на ее руках! Она непрерывно думала о своем сне.

Она встала из ванны и пошла надеть свое самое красивое платье. Ей хотелось понравиться Томашу, доставить ему радость.

Она едва успела застегнуть последнюю пуговицу, как Томаш шумно ввалился в дом вместе с председателем и необычайно бледным молодым крестьянином.

— Быстро,— кричал Томаш,— крепкой водки!

Тереза бросилась и принесла бутылку сливовицы. Налила рюмку, и молодой человек залпом выпил ее.

Меж тем она узнала, что произошло: парень на работе вывихнул руку в плече и выл от боли; никто не знал, чем помочь ему, и потому позвали Томаша, который одним движением вправил руку в сустав.

Парень опрокинул в себя еще одну рюмку и сказал Томашу: — Твоя хозяйка сегодня чертовски хороша!

— Балда,— сказал председатель,— пани Тереза всегда хороша!

— Что она всегда хороша, дело известное,— сказал парень,— но сегодня она и одета отлично. На вас еще никогда не было этого платья. Вы куда-то собираетесь?

— Нет, не собираюсь. Надела его ради Томаша.

— Доктор, красиво живешь,— смеялся председатель.— Моей старухе и на ум не придет ради меня расфуфыриться.

— Вот потому-то ты и ходишь гулять со свиньей, а не с женой,— сказал парень и сам долго смеялся.

— А как поживает Мефисто? — спросил Томаш.— Я не видел его по меньшей мере... — он задумался,— по меньшей мере целый час!

— Скучает обо мне,— сказал председатель.

— Смотрю на вас в этом платье, и хочется с вами потанцевать,— сказал парень Терезе.— Пан доктор, отпустили бы вы ее со мной танцевать?

— Поедемте все потанцуем,— сказала Тереза.

— Ты поехал бы? — спросил молодой человек Томаша.

— А куда? — спросил Томаш.

Молодой человек назвал соседний город, где в гостинице был бар с танцевальной площадкой.

— Поедешь с нами! — повелительным тоном сказал он председателю, а поскольку опрокинул в себя уже три рюмочки сливовицы, добавил: — А коли Мефисто скучает, возьмем и его с собой! Привезем туда двух кабанчиков! Все бабоньки обомлеют от страсти, как увидят эту парочку!

— Если не будете стыдиться Мефисто, так я еду с вами,— сказал председатель, и все они сели в пикап Томаша. Томаш — за руль, возле него Тереза, а мужчины расположились позади них, прихватив с собой початую бутылку сливовицы. Уже за деревней председатель вспомнил, что они забыли про Мефисто. Крикнул Томашу, чтобы вернулись.

— Не надо, одного кабана хватит,— сказал парень, и председатель успокоился.

Смеркалось. Дорога вела серпантином вверх.

Они доехали до города и остановились перед гостиницей. Тереза с Томашем никогда здесь не были. Они спустились по лестнице в полуподвальный этаж, где был бар со стойкой, площадка для танцев и несколько столиков. Человек лет шестидесяти играл на фортепьяно, и такого же возраста дама — на скрипке. Играли сорокалетней давности шлягеры. На площадке танцевало пар пять.

Молодой человек огляделся и сказал: — Тут ни одной нет для меня,— и тотчас пригласил танцевать Терезу.

Председатель сел с Томашем за свободный столик и заказал бутылку вина.

— Мне нельзя! Я за рулем! — напомнил ему Томаш.

— Ерунда,— сказал председатель,— останемся тут ночевать,— и пошел заказать два номера.

Когда Тереза с молодым человеком вернулась к столику, ее тут же пригласил танцевать председатель, а уж потом наконец она пошла с Томашем.

Танцуя, она сказала ему: — Томаш, все зло в твоей жизни исходит от меня. Ради меня ты попал даже сюда. Так низко, что ниже уже и некуда.

Томаш сказал ей: — Что ты с ума сходишь? О каком «*низко*» ты говоришь?

— Останься мы в Цюрихе, ты оперировал бы больных.

— А ты была бы фотографом.

— Нелепое сравнение,— сказала Тереза.— Твоя работа для тебя значила все, тогда как я могу делать что угодно, мне это совершенно безразлично. Я не потеряла абсолютно ничего. Ты же потерял все.

— Тереза,— сказал Томаш,— ты разве не заметила, что я здесь счастлив?

— Твоим призванием была хирургия,— сказала она.

— Тереза, призвание — чушь. У меня нет никакого призвания. Ни у кого нет никакого призвания. И это огромное облегчение — обнаружить, что ты свободен, что у тебя нет призвания.

В искренности его голоса сомневаться было нельзя. Припомнилась сцена, которую она наблюдала сегодня после обеда: он чинил машину и казался таким старым. Она достигла желанной цели: она же всегда мечтала, чтобы он был старым. Снова вспомнился ей зайчик, которого она прижимала к лицу в своей детской.

Что значит стать зайчиком? Это значит потерять всякую силу. Это значит, что ни один из них уже не сильнее другого.

Они двигались танцевальными шагами под звуки фортепьяно и скрипки. Тереза склонила голову на его плечо. Точно так на его плече лежала ее голова, когда они вместе были в самолете, уносившем их сквозь туман. Она испытывала сейчас такое же удивительное счастье и такую же удивительную грусть, как и тогда. Грусть означала: мы на последней остановке. Счастье означало: мы вместе. Грусть была формой, счастье — содержанием. Счастье наполняло пространство грусти.

Они вернулись к столу. Она еще два раза танцевала с председателем и один раз с молодым человеком, который был уже так пьян, что упал с ней на танцевальной площадке.

Потом они все поднялись наверх и разошлись по своим номерам.

Томаш повернул ключ и зажег люстру. Она увидела две придвинутые вплотную кровати, у одной из них ночной столик с лампой, из-под абажура которой выпорхнула спугнутая светом большая ночная бабочка и закружила по комнате. Снизу чуть слышно доносились звуки фортепьяно и скрипки.

Литературное наследие

ИССА

Перевод с японского
Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

От переводчика

Лети же сюда.
С тобой поиграем вместе,
Воробышек-сирота!

Уже в этом стихотворении, сочиненном шестилетним крестьянским мальчиком Ятаро Кобаяси, вошедшим впоследствии в историю японской поэзии под псевдонимом Исса, проявились те черты, которые придают такое своеобразие творческому методу последнего великого мастера хайку.

Исса принадлежит к числу тех немногих японских поэтов старого времени, в творчестве которых в полной мере отразилась их человеческая судьба. Японская классическая поэзия, как правило, бежала непосредственности и конкретности в изображении действительности. Основным для нее всегда был путь от сердца к слову, а не от действительности к слову. Мастерство поэта определялось прежде всего умением в канонических образах передавать каноническое же, то есть одобренное и закрепленное предыдущей литературной традицией, состояние души. Индивидуальность проявлялась в тончайших нюансах и поворотах трактовки канона. Между творчеством и конкретным жизненным опытом всегда существовала определенная дистанция. Исса одним из первых если и не уничтожил полностью, то значительно сократил эту дистанцию. Читая его стихи, его прозу, мы ощущаем своеобразие не только его поэтического таланта, но и человеческой личности. Не случайно поэтому о нем известно гораздо больше, чем о его предшественниках и современниках.

Исса родился в 1763 году в глухой горной провинции Синано, в деревушке Касивабара. Он был первенцем зажиточного крестьянина Ягохэя Кобаяси. Рано лишился матери, изведал горькую долю нелюбимого пасынка. Подростком Исса был отторгнут от родного очага и отправлен в далекую столицу Эдо. Там, не оправдав ожиданий отца, надеявшегося увидеть сына преуспевающим торговцем или ремесленником, Исса сделался профессиональным поэтом и, подобно другим своим собратьям, бродил по разным провинциям, зарабатывая на жизнь сочинением хайку. В тридцать девять лет он вернулся в родную деревню, где застал тяжело больного отца, вскоре скончавшегося на его руках. Началась долгая и мучительная тяжба с мачехой и младшим братом из-за наследства. Только через двенадцать лет, получив наконец свою долю, Исса (к тому времени ему было уже за пятьдесят) смог обзавестись семьей. Оставив Эдо, он поселился в деревне, обрабатывал небольшое поле и давал уроки хайку. У него родились дети — четыре сына и дочь, но все они умерли в малолетстве, а вскоре за ними последовала и любимая жена Кику. Исса никогда не забывал ее, хотя женился еще дважды. Он скончался в 1827 году, и единственный ребенок, продолживший его род, родился уже после его смерти.

Творческое наследие Иссы велико — около двадцати тысяч хайку, несколько произведений в жанре хайбун (дневники, путевые заметки, эссе), из которых наиболее значительным является книга прозы и стихов «Моя весна». Сохранились также хайга Иссы, органично соединяющие в себе поэзию, каллиграфию и живопись. (Образцы всех трех жанров представлены в нашей публикации.)

У Иссы были поклонники и подражатели и в Эдо, и в Касивабара, но своей школы он не создал и стоит в истории японской поэзии особняком. Исса вышел на поэтическое поприще в те годы, когда жанр хайку (при его быстро растущей популярности среди самых широких слоев населения) начал приходить в упадок, превращаясь из провозглашенного великим Басё (1644—1694) высокого искусства в стихотворчество чисто развлекательного характера — полупоэзию, полуигру. В хайку начинают цениться чисто внешние эффекты, залогом успеха становятся парадоксальность и комическая окраска образов. В поэтическом обиходе появляются просторечья и диалектизмы. Вместе с тем поэты все чаще осмеливаются пренебрегать многими канонами и правилами стихосложения, которые прежде считались незыблемыми.

Отдавая дань всем веяниям своего времени, Исса тем не менее не поддался распространенной в те годы тенденции к «принижению высокого». Он нашел свой путь в поэзии, переосмыслив провозглашенную еще Басё идею «возвышения низкого», и вернул хайку в русло подлинного искусства. Причем, если для Басё поэзия была средством познания мира, проникновения в его сокровенные глубины, раскрытия внутренних, недоступных взору связей между отдельными явлениями, то Исса в своих стихах (да и в прозе тоже) стремится прежде всего з а п е ч а т л е т ь окружающую его действительность и свои собственные ощущения, запечатлеть с максимальной точностью и полнотой. Басё смотрел на мир глазами мыслителя, а Исса описывает мир с безыскусным простодушием, как бы без оглядки на литературную традицию. Хайку Иссы заставляют увидеть трогательную прелесть привычных, неотъемлемых от жизни каждого человека пустяков, на которые, кажется, никто и внимания не обратит. Он делает предметом поэзии все то, что старательно избегалось его предшественниками, и, соединяя в рамках одного стихотворения низкое и высокое, утверждает значительность и необходимость каждой малости, каждой твари, этому миру принадлежащих. «Жизнь всех существ и тварей, даже блох и вшей, должно ценить наравне с человеческой»,— заявляет Исса в книге «Моя весна».

Интерес к творчеству Иссы велик в Японии и сегодня. Надеемся, что простота и непосредственность его поэзии привлекут и наших читателей.

*

Новый год
Все никак войти не решится
В лавку старьевщика.

*

Седьмой день года [1]

Грязь под ногтями.
Перед свежей петрушкой и то
Как-то неловко.

*

Тает снег.
В небе ночном — умытая
Пухленькая луна.

*

Голубь — сове...

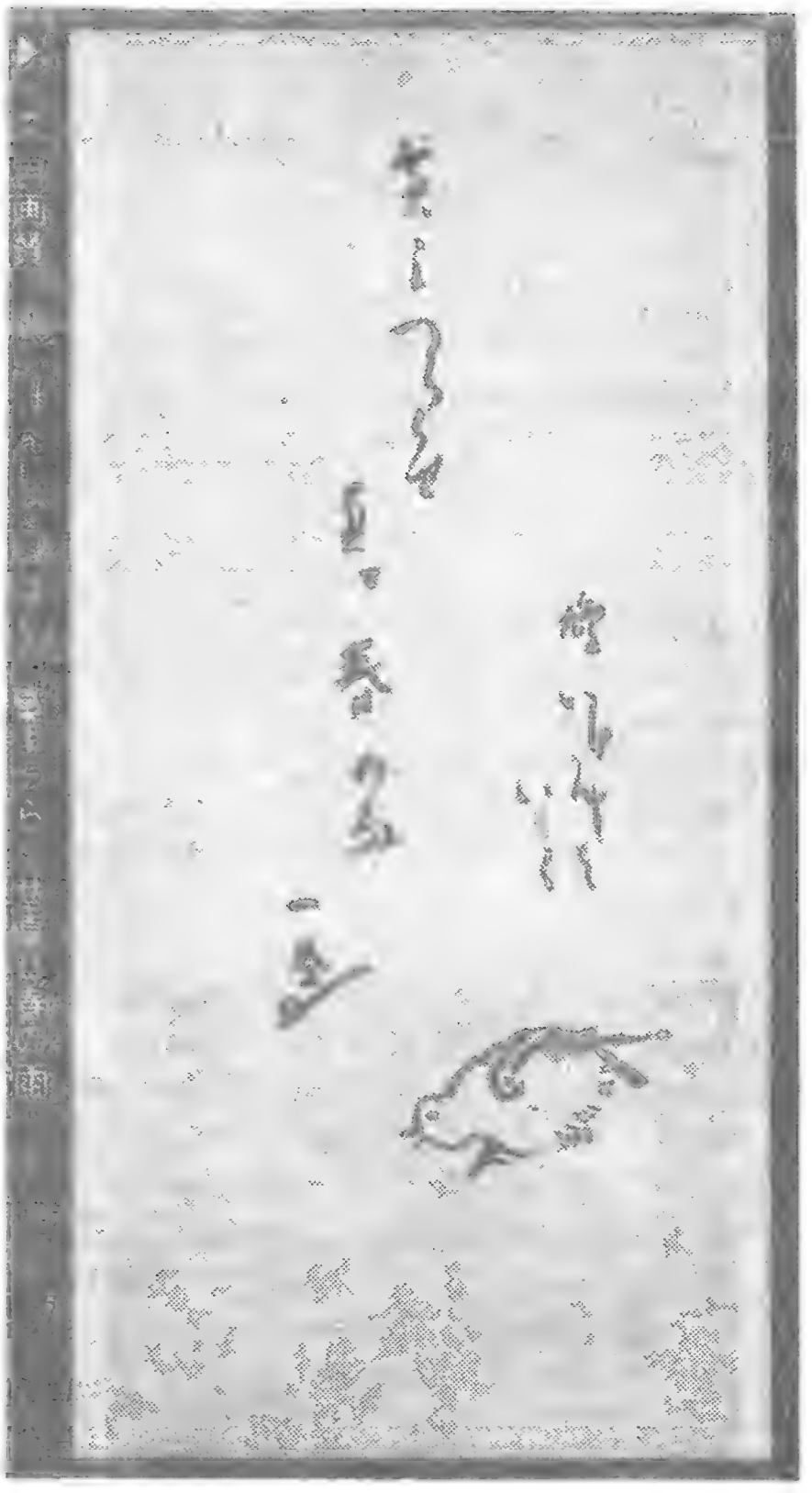
Эй, сова,
Гляди веселее. Льется
Весенний дождь.

*

Вот радость-то!
Первый день года, и первый комар
Меня укусил.

*

Растаял снег.
Смотрится в лужи, таракда глаза,
Шалунья-луна.



Голубь — сове...

[1] На седьмой день года принято было вкушать суп из первых весенних трав, в число которых входила и петрушка. По поверью, такой суп приносил долголетие. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

*

Снова весна.
Приходит новая глупость
Старой на смену.

*

Жемчужиной светлой
Новый год засиял и для этой
Маленькой вошки.

*

Кровельщик.
Зад ему обвевает
Весенний ветер.

*

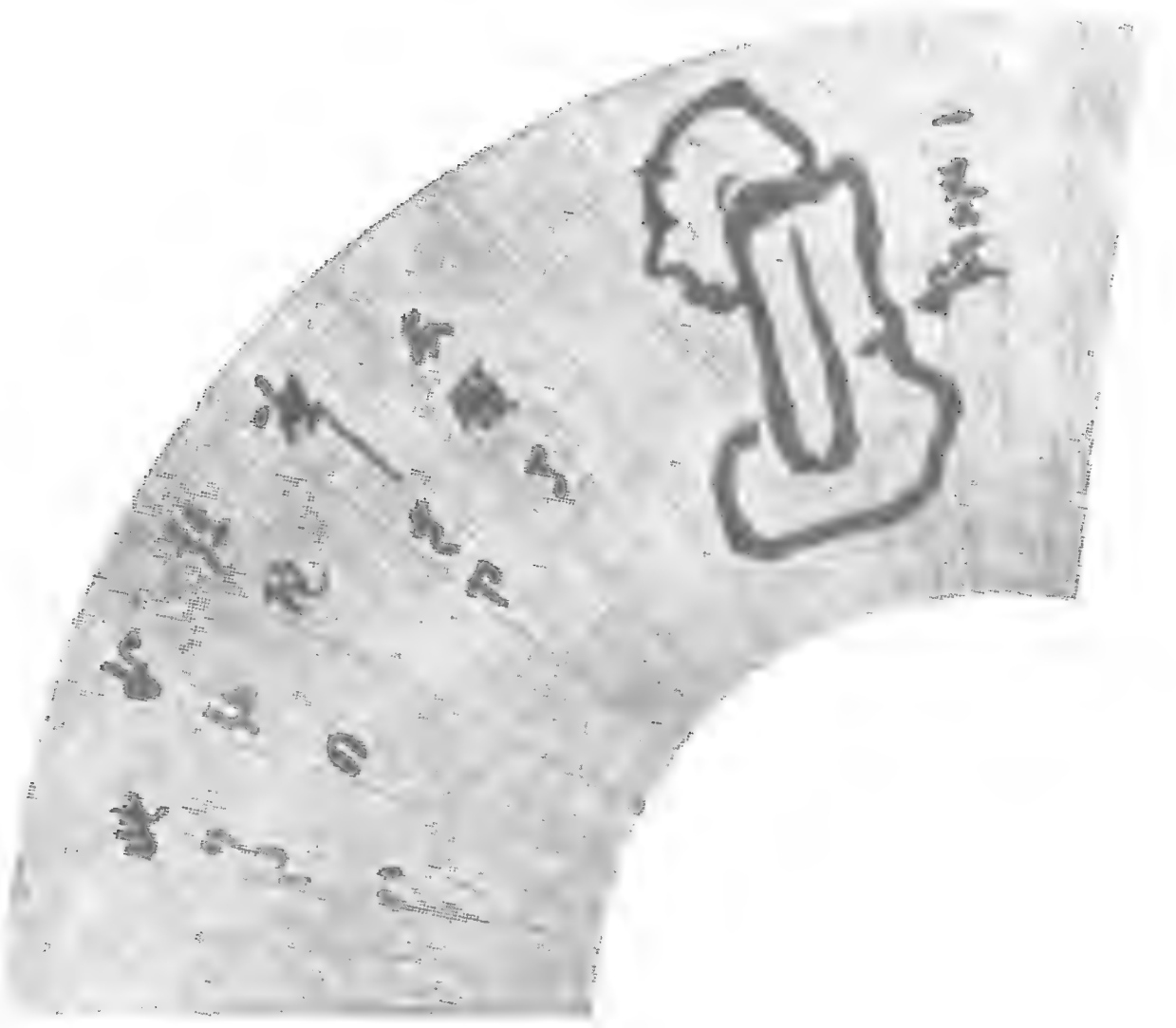
Первая бабочка.
Всю ночь она проспала
В миске собачьей.

*

Пчелка в траве,
И в следующий раз родись
На меня непохожей.

*

Прохладно!
Ведь мне еще так далеко
До Амида-будды.



Прохладно

*

Беззаботно-бездумно
Кружатся в воздухе бабочки,
А скряга сидит один.

*

Громко пукнув,
Лошадь подбросила кверху
Светлячка.

*

От людских голосов
Пугливо вздрагивают по вечерам
Красавицы вишни.

*

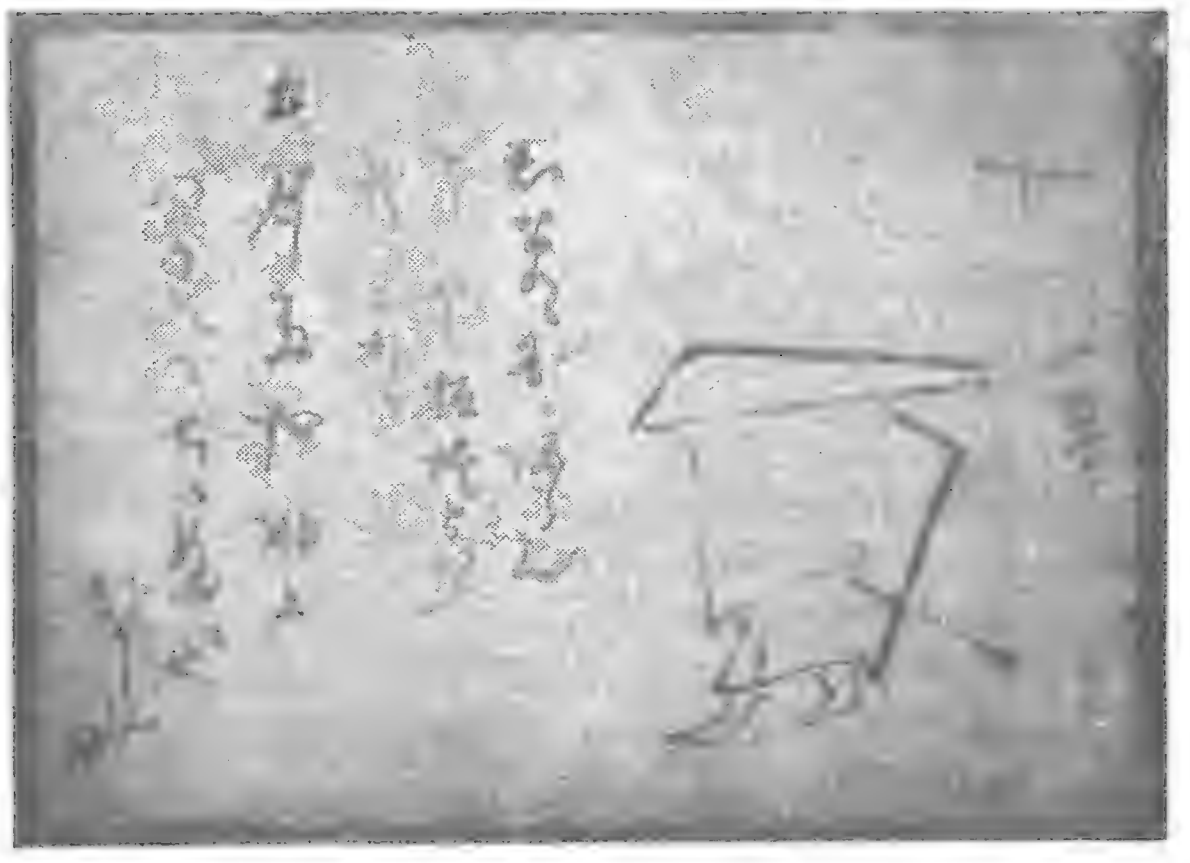
Прохладный ветер,
Пригнувшись к земле, изловчился
Достать и меня.

*

Тишина.
На дне озера белеет
Облаков гряда.

*

Летний дождь.
Горы Титибу увижу вдали —
Сжимается сердце [1].



Летний дождь...

*

После ванны
К голому заду прилип
Листик аира.

*

Глянь-ка, монах
В поле справляет нужду,
Прикрываясь зонтом.

*

Если гость забредет,
Поскорее прикинься лягушкой,
Спелая дыня.

*

В полуденный час
Растворяюсь — один-одинешенек —
В лазурном небе.

*

Как на ветру
Лепестки мака, колышутся
Передние зубы.

*

Белые росы
Решительно топчет ногами
Большая ворона.

---

[1] Горы Титибу находятся недалеко от Касивабара, родины Иссы.

*

За пятьдесят лет ни одного дня не прожил в довольстве, но вот этой весною взял себе жену...

Эй, кукушка,
Не стукнись, смотри, головою
О месяца серп!

*

Лунная ночь.
Нагишом воздушные ванны
Принимают улитки.

*

«Во-от такой!» —
Разводит дитя руками,
Показывая пион.

*

Снова напрасно
Клюв широко раскрывает
Птенец неродной.

*

Осенний вечер!
За иголку, вздохнув, берется
Путник усталый.

*

Деревня в горах.
В каждой миске с похлебкой —
Полная луна.

*

Снова зарница.
Даже ночью спрятать непросто
Свои морщины.

*

Кузнечики,
Усы по плечам распустив,
Звонко стрекочут.

*

Побережье Сото-но хама [1]

Стали сегодня
Вы японскими. Спите спокойно,
Дикие гуси!

*

Сегодня утром
Тихонько упал на землю
С дерева лист.

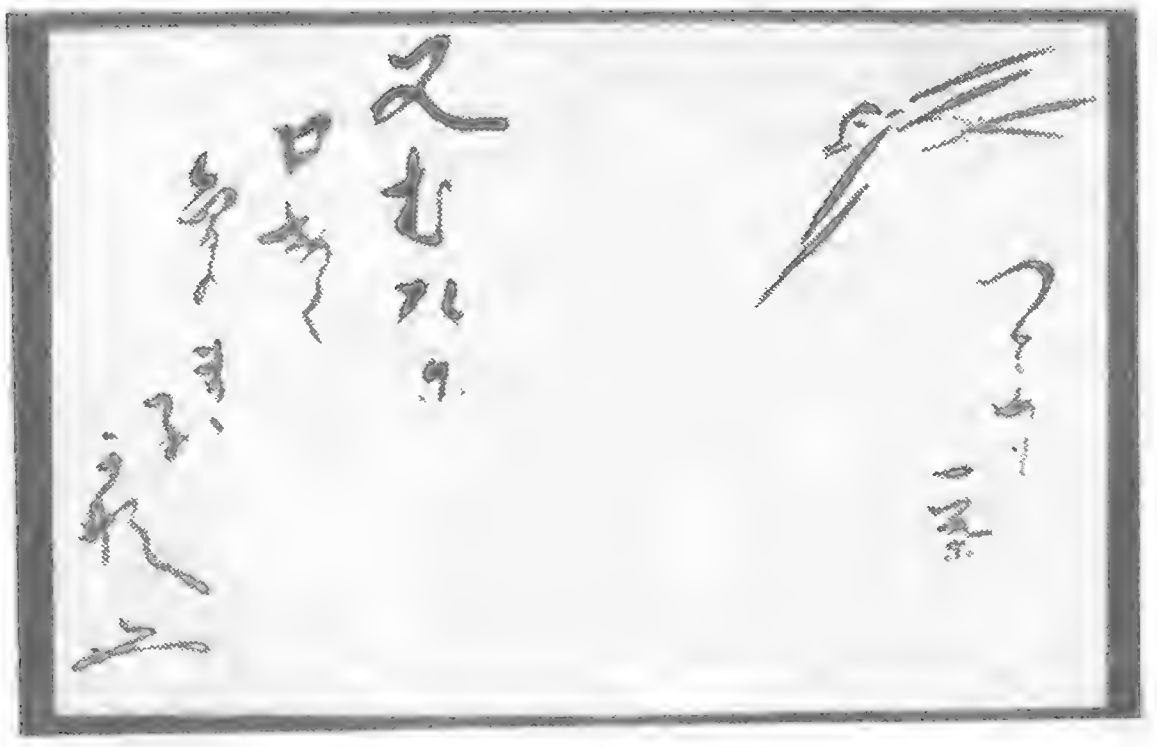
*

Тсс... Хоть на миг
Замолчите, сверчки луговые.
Начинается дождь.

*

Пути мирские опаснее горных и водных...

Холодный ветер.
Ночь на скрещенье дорог встречает
Нищий певец.



Снова напрасно...

Побережье Сото-но хама

*

Ради людей
Под зимним дождиком мокнет
Великий Будда.

*

Первый иней.
С прошлого года не по зубам
Соленая редька.

*

Первый снег.
С веранды упали не землю
Старые дзори [2].

---

[1] Побережье на крайнем севере острова Хонсю, считавшееся «краем» японской земли.
[2] Соломенные сандалии.

*

Первый снег
Лежит, всеми забытый,
На заднем дворе.

*

Ночью под снегом
Спят, прижавшись друг к другу,
Горы Синано.

*

К задней стене
Прильнули — авось не прогонят —
Нищенки-снежинки.

*

Круглится
Ямка от струйки мочи.
Снег у ворот.

*

Клюв свой раскрыв,
Запеть не успел крапивник.
Кончился день.

*

Тлеют угли.
Вода — тин-тин — в котелке.
Ночной дождь.

Из книги «Моя весна»

*

Луна в горах
Льет свой свет благосклонно
На крадущих цветы.

*

Перед храмом Дзэнкодзи

На чумазых котят
Так похожи сережки ивы,
А ведь тоже цветы!

*

«Вишни, вишни цветут!» —
И об этих старых деревьях
Пели когда-то...

*

Будда изволит
Почивать, а тут этот шум —
Деньги, цветы...

*

В монастыре Мёсэндзи был мальчик-монах по имени Такамару. В нынешнем году ему исполнилось одиннадцать. Так вот, этот мальчик на седьмой день третьей луны, воспользовавшись тем, что погода стоит теплая и ясная, отправился в Араисака; сопровождал его монах по имени Канрё, человек крепкого телосложения, грубый и сильный. В Араисака собирали они омежник, пастушью сумку и другие травы, как вдруг с горы Иидзуна налетел ветер и хлынули черными потоками талые воды, бурля и полня окрестности диким ревом. Не знаю уж, как это случилось, но только, проходя по мосту, мальчик внезапно оступился и упал в реку. Над водой то показывалась его голова и слышались крики: «Эй, Канрё, помоги, помоги!» — то, уже в другом месте, появлялась рука, но голос был все слабее и очень скоро, подобно комариному писку, замер вдали. Таково было последнее проявление его в этом мире. Печально, право! Поглощенный бурным потоком, мальчик исчез, будто и не было его. С громкими криками поспешили к месту несчастья жители ближайшей деревни, зажгли факелы, стали искать повсюду и в конце концов обнаружили зажатое утесами тело. Когда, вынеся мальчика на берег, они всевозможными средствами пытались вернуть его к жизни, из рукава платья выпало несколько ростков подбела. Многие сразу же представили себе, как, вернувшись домой живым и невредимым, мальчик принес бы эти ростки своим домашним,— и даже грубые жители гор, которым сам черт не страшен, все как один принялись выжимать враз промокшие от слез рукава. Однако делать нечего — положили они тело на носилки и поздно ночью принесли в монастырь. Отец и мать мальчика выбежали навстречу: «Наконец-то!» — но тут же зарыдали громко, глаз людских не стыдясь.

Вот так, перед лицом несчастья, даже тот, кто неустанно проповедует людям тщетность всего мирского, сам оказывается во власти земных привязанностей, мешающих ему достичь душевной чистоты. Утром этот мальчик, смеясь, вышел за ворота, а вечером его принесли обратно бездыханным. Разве можно было остаться ко всему этому равнодушным?

На девятый день состоялся обряд погребения, и я тоже шел вслед за гробом.

Думал ли я,
Что увижу, как в дым обратится
Нежный росток,
Едва развернуть успевший
Первый зеленый лист?

Подбел, одуванчики долгие дни и луны прятались под снегом и вот, дождавшись первого весеннего ветерка, весело подняли над проталинами свои головки навстречу свету этого мира, но безжалостная рука оборвала их. Право, их жалко не меньше, чем родителей мальчика-монаха Такамару. Ведь Учение гласит, что просветления могут достичь и травы, и деревья, и земля, и камни. Значит, все они таят в себе частицу Будды.

*

Лягушка
В гляделки, наверно, решила
Со мной поиграть.

*

Толстый кот,
Лениво хвостом шевеля,
Дразнит бабочек.

*

Чтоб соловья
Достойно принять, с ограды
Сметаем пыль.

*

Первую дыню
Крепко сжимая в объятьях,
Уснуло дитя.

*

В доме удача.
Посиди же, муха, на рисе
Еще немного.

*

За старца глухого
Меня принимает, должно быть, комар —
Звенит у самого уха.

*

Нежным вьюнком
Нос вытирает старуха,
Громко сморкаясь.

*

В хижине этой
Так мало жильцов, и мух
Тоже немного.

*

Прошел слух, будто в саду у моего друга Набути расцвели пионы невиданной красоты. О местных жителях я уже и не говорю — со всех концов страны люди устремились сюда, утруждая ноги свои единственно для того, чтобы полюбоваться этими пионами. С каждым днем множилось число приходящих. Я тоже как-то зашел к нему и увидел, что по саду протяженностью всего в пять кэнов [1] расставлены изящные, современной работы экраны и навесы от дождя, пионы же — белые, красные, лиловые — цветут повсюду, да так пышно, что и листьев не видно. Более того, есть среди них и желтые, и черные — словом, такие диковинные, что все просто немеют от изумления. Однако когда, немного успокоившись, я вгляделся пристальнее, цветы эти разом утратили для меня всю свою прелесть. Воистину, рядом с другими неряшливо цветущими, шелестящими на ветру пионами они были подобны разукрашенным трупам рядом с цветущими девами. Хозяин забавы ради смастерил их из бумаги и аккуратно привязал к веткам, желая ввести людей в заблуждение. Причем он вовсе не рассчитывал обогатиться, взимая с приходящих плату, наоборот, он сам тратился на вино и чай для всех. Что им двигало? Думая об этом, не устаю восхищаться.

Бумажный мусор
Цветами пиона прикинулся
Под сенью листвы.

*

Невозмутимо
Снизу вверх смотрит на горы
Лягушка.

*

Капли воды
С головы стряхивает лапкой
Толстая жаба.

*

В провинции Синано, в местечке Сусака, жил аптекарь по имени, кажется, Накамура. Его отец однажды забавы ради убил спаривающихся змей. С той ночи у него в тайном месте стала расти болезненная опухоль, которая постепенно превратилась в страшный нарыв, и однажды, упав без памяти, он в одночасье скончался.

Сын унаследовал дело отца, его звали Сантэцу. Отличался он тем, что имел редкостный, прямо сказать, превосходный мужской признак, с виду словно гриб мацутакэ. И вот взял он себе жену; когда же впервые собрался соединиться с ней, крепкая дубинка его вдруг опала, став маленькой и мягкой, словно фитиль лампы, и никакого толку от нее не было. Он и конфузился, и раздражался, и негодовал, а в конце концов решил: «Переменю-ка я жену, может, с другой больше повезет». Сменил он их сотню, но так ничего и не достиг. Он впал в безумную ярость и теперь живет один.

Я-то думал, что такое бывает только в «Собрании подобранных сокровищ Удзи» [2] или в других древних книгах, но самому быть свидетелем... Люди тихонько шептались, что такова, верно, была месть тех змей — пресечь его род.

Жизнь всех существ и тварей, даже блох и вшей, должно ценить наравне с человеческой. Убивать же спаривающихся животных — самый большой грех.

---

[1] Кэн — мера длины (1,81 м).

[2] Сборник японских легенд и сказаний (XIII в.).

*

Вишни и те
Могут противными стать
Под писк комаров.

*

Муравьиная тропка
Не от той ли гряды облаков
Берет начало?

*

На коже девичьей
Следы от блошиных укусов
И те прелестны.

*

«Дайте-дайте!» —
Плача, ручки тянет дитя
К светлой луне.

*

Тоскливо становится сиротке, когда дети распевают всем известную песню: «С пальцем во рту у ворот стоит...» Он не играет с другими детьми, а целыми днями сидит, сжавшись в комок, один-одинешенек под кучей хвороста или мисканта. И так ему грустно...

Лети же сюда.
С тобой поиграем вместе,
Воробышек-сирота!

Ятаро, 6 лет

*

Дурачат людей,
Только приблизишься — нет их,
Светлячки на лугу.

*

Вечерний туман.
Помнит каждую щель моста
Умная лошадь.

*

Флейте-манку
Вторит — «Послушай, как надо!» —
Из чащи олень.

*

В мире людей
Даже луна почему-то кажется
Немного хворой.

*

Дикие гуси,
Ссориться вам не стоит,
Все хороши!

*

Хижина трезвенника!
Что толку, что рядом цветут
Хризантемы?

*

Когда радостей слишком много, неизменно приходит беда, таков удел нашего бренного мира. Но как примириться с тем, что эта малышка, которой жить бы еще и жить, с сосной вековечной равняясь годами, этот маленький зеленый росток, который и успел-то выпустить всего два веселых листика, волею случая — так вода попадает внезапно в ухо спящему — была избрана жертвой страшного бога оспы, и по всему ее телу высыпала сыпь. Мучительно горько смотреть, как нежный цветок блекнет под грязным дождем.

Прошло три дня, и сыпь стала подсыхать. Обрадовавшись, мы поспешили смастерить «соломенного монаха», чтобы, окропив его вином, выпроводить бога оспы. Но малютка продолжала слабеть, с каждым днем надежд оставалось все меньше, и наконец на двадцать первый день шестой луны она, вместе с цветами «утренний лик», покинула этот мир. Мать, припав к ее мертвому лицу, громко рыдала, но увы...

В такие минуты хотя и делаешь вид, что смиряешься, говоря: «Жаль, что бегущая вода не поворачивает вспять, а цветы, упавшие на землю, не возвращаются обратно на ветки»,— но как же трудно рвать путы желаний и чувств, привязывающие тебя к миру.

Век росинки —
Он и есть век росинки, не более,
И все же, и все же...

ГРЭМ ГРИН

Конец одного романа

РОМАН

Перевод с английского Н. ТРАУБЕРГ

В сердце человеческом есть места,
которых еще нет, и страдание входит
в них, чтобы они обрели жизнь.

Леон Блуа

Книга первая

1

У повести нет ни начала, ни конца, и мы произвольно выбираем миг, из которого смотрим вперед или назад. Я говорю «мы» с недолжной гордостью писателя, которого (если замечали) хвалили за мастерство; а выбрал я, своей волей выбрал темный январский вечер 1946 года, Коммон, Генри Майлза в потоках дождя — или образы эти меня выбрали? По законам моего ремесла прилично, правильно начать отсюда, но если бы я верил хоть в какого-то бога, я бы поверил и в руку, которая тронула меня за локоть, и в голос, сказавший: «Заговори с ним, он тебя не видит».

И впрямь, почему я с ним заговорил? Если «ненависть» — не слишком сильное слово для нас, людей, я ненавидел и его, и жену его Сару. Наверное, после этого вечера он возненавидел меня, как ненавидел иногда жену и того, другого, в которого мы, на наше счастье, не верили. Так что это рассказ скорее о ненависти, чем о любви, и если я похвалю Генри или Сару, можете мне верить — я пишу наперекор себе, ибо горжусь как писатель, что предпочитаю посильную правду даже своей непосильной ненависти.

Я удивился, зачем Генри вышел в такую погоду,— он любил удобства, и, в конце концов, у него была Сара (так я думал). Мне удобства и уют неприятны — одинокому легче, когда ему не слишком хорошо. Мне было чересчур уютно даже в моей комнате на плохой, южной стороне, среди чужой, старой мебели; и я прикинул: не прогуляться ли под дождем, не выпить ли? Наш маленький холл был полон чьих-то шляп, пальто, и я по ошибке взял чужой зонтик — к жильцу со второго этажа пришли гости. Потом я закрыл за собой стеклянную дверь и осторожно спустился по лестнице; она пострадала от бомбы в 1944 году, и ее все не чинили. По некоторым причинам я помнил, что в ту бомбежку толстое, безобразное викторианское стекло выдержало удар, как выдержали бы наши деды.

Выйдя, я обнаружил, что зонтик не мой,— он протекал, вода лила на макинтош; и тут я увидел Генри. Мне было так легко пройти мимо — он не захватил зонтика и буквально ослеп от дождя. Черные, голые деревья защитить не могли, они торчали как сломанные трубы, и вода лилась прямо на его темную шляпу, на строгое чиновничье пальто. Если бы я прошел мимо, он бы меня не заметил, и уж точно бы не заметил, отойди я фута на два; но я сказал:

— Генри, вы прямо как чужой! — и увидел в свете фонаря, что глаза его засветились, словно мы давно и близко дружим.

— Бендрикс! — обрадовался он, хотя многие сочли бы, что это он меня должен ненавидеть, не я его.

— Куда это вы в такой дождь? — спросил я. Есть люди, которых так и хочется поддеть — наверное, это те, кто наделен неведомыми нам достоинствами.

— Подышать захотелось...— уклончиво сказал он и едва успел схватить шляпу, которую неожиданный шквал чуть не унес на северную сторону.

— Как Сара? — спросил я.

Он мог бы удивиться, если бы я не спросил, а вот я бы очень обрадовался, если бы она оказалась несчастной, больной, при смерти. Тогда я думал, что от ее страданий мне будет легче, смерть ее меня освободит. Если бы она умерла, думал я, я мог бы даже полюбить бедного, глупого Генри.

Он сказал:

— Она куда-то ушла.— И я снова стал терзаться, вспомнив те дни, когда он отвечал так другим, а я, я один знал, где она.

— Выпить не хотите? — спросил я, и он, к моему удивлению, пошел рядом со мной. Раньше мы пили только дома, у него.

— Давно я вас не видел, Бендрикс,— сказал он.

Почему-то все называли меня по фамилии, словно у меня нет имени, хотя мои изысканные родители дали мне вульгарное имя «Морис».

— Давно.

— Больше года...

— С июня сорок четвертого.

— Так долго?

«Дурак ты дурак,— подумал я,— хоть удивился бы, что я исчез на полтора года!» От северной стороны до южной — меньше пятисот ярдов. Неужели ни разу не спросил: «Сара, как там Бендрикс? Может, позовем его?» — а ответы не показались ему странными, уклончивыми, подозрительными? Я провалился куда-то, словно камень — в воду. Наверное, всплески волны огорчали Сару не больше недели, ну с месяц, но Генри не видел ничего. Я ненавидел его слепоту и раньше, когда ею пользовался,— я знал, что и другие могут воспользоваться ею.

— Пошла в кино? — спросил я.

— Нет-нет, она не ходит.

— Раньше ходила.

«Герб Понтефрактов» был еще разукрашен серпантином и бумажными бантами, а под оранжево-розовыми остатками продажного веселья молодая хозяйка, навалившись грудью на стойку, презрительно разглядывала посетителей.

— Как мило,— сказал Генри, хотя этого не думал, и робко, растерянно огляделся, где бы повесить шляпу. Мне показалось, что он не бывал в баре, это — не кафе, где он завтракал с коллегами.

— Что будете пить?

— Можно виски...

— Нет, нельзя. Тут только ром.

Мы сели к столику, стали крутить бокалы — я не знал, о чем говорить с ним. Вряд ли я познакомился бы с Генри и с Сарой, если бы не начал в 1939 году роман о крупном чиновнике. Как-то, споря с Уолтером Безантом, Генри Джеймс сказал, что настоящей писательнице достаточно пройти мимо казармы, чтобы написать роман о гвардейцах; я же думаю, что рано или поздно ей надо с гвардейцем переспать. Конечно, с Генри я не спал, но сделал, что мог. В первый же вечер, когда я повел Сару в ресторан, я твердо и холодно решил расспросить как следует жену чиновника. Она этого не знала; она думала, что я искренне интересуюсь ее жизнью, и, наверное, из-за этого я ей понравился. Я спрашивал, когда Генри завтракает, как ездит на службу — в метро, в автобусе, в такси? — приносит ли домой работу, есть ли у него портфель с гербом. Так мы подружились — она была рада, что кто-то всерьез относится к Генри. Он человек значительный, как значителен слон,— он крупный чиновник; но есть значительность, к которой очень трудно относиться всерьез. Служил он в министерстве социального обес-

печения, которое называли министерством домашнего очага, и позже я смеялся над этим в те минуты, когда по злобе хватаешь любое оружие. Я нарочно сказал Саре, что спрашивал про Генри только для книги, чтобы его описать, а персонаж — нелепый, комический. Тогда и разлюбила она мой роман. Она была на редкость предана мужу, ничего не скажешь, и в темные часы, когда бес овладевал моим разумом, я злился на безобидного Генри, выдумывал сцены, которые стыдно записать. Однажды Сара провела у меня целую ночь (я ждал этого, как ждет писатель последнего слова книги), и моя случайная фраза испортила то, что иногда казалось нам полным счастьем. Часа в два я уснул, проснулся в три и разбудил Сару, положив ей руку на плечо. Наверное, я хотел все уладить, пока моя жертва не повернула ко мне прелестное заспанное лицо. Она глядела доверчиво, она забыла ссору, и даже это разозлило меня. Какие мы, люди, плохие, а еще говорят, что нас создал Бог! Мне трудно представить Бога, который не прост, как уравнение, не ясен, как воздух. Я сказал ей: «Лежу, думаю о пятой главе. Жует Генри кофе перед важным заседанием?» Она покачала головой и тихо заплакала, а я, конечно, сделал вид, что удивляюсь — чтó тут такого, я думаю о моем герое, Генри обидеть не хотел, самые симпатичные люди жуют кофейные зерна, и так далее. Она выплакалась и уснула. Она вообще крепко спала, и даже на это я сердился.

Генри быстро выпил ром, печально глядя на розовые и оранжевые ленты. Я спросил:

— Как провели Рождество? — И он ответил:

— Очень мило, очень мило.

— Дома?

Генри посмотрел на меня, как будто удивился, что я произношу это слово.

— Конечно.

— А Сара в порядке?

— Да.

— Еще рому?

— Теперь я закажу.

Пока он заказывал, я пошел в уборную. Стены были исписаны. Я прочитал: «Чтоб ты лопнул со своей грудастой бабой!», «Доброй вам гонореи, счастливого сифилиса»,— и поскорей вернулся к веселому серпантину. Иногда я слишком ясно вижу себя в других, и беспокоюсь, и очень хочу поверить в святость, в высокую добродетель.

Чтобы огорчить Генри, я повторил ему надписи, но он просто сказал:

— Страшная штука ревность.

— Это вы про грудастую бабу?

— Про все. Когда нам плохо, мы завидуем чужому счастью.

Я никак не думал, что такому можно научиться в министерстве. Вот и снова я пишу с горечью. Какая скучная, мертвая эта горечь! Если бы я мог, я бы писал с любовью, но если бы я умел писать с любовью, я был бы другим и любви не потерял. Но вдруг над блестящей плиткой столика что-то коснулось меня — не любовь, просто жалость к несчастному; и я сказал Генри:

— Вам плохо?

— Бендрикс, я очень беспокоюсь.

— Расскажите.

Вероятно, он не стал бы говорить, если бы не выпил рому, а может, он все-таки подозревал, что я о нем очень много знаю? Сара не предала бы его, но когда люди так близки, как мы с нею, поневоле что-нибудь да узнаешь. Я знал, что у него родинка слева на животе, потому что мое родимое пятно как-то напомнило об этом Саре; знал, что он близорук, но при посторонних очков не носит (а я был достаточно посторонним); знал, что он пьет чай в десять часов; знал даже, как он спит. Может быть, он понимал это и думал, что лишний факт ничего не изменит?

— Я беспокоюсь о Саре,— сказал он.

Дверь открылась, и я увидел, как льется дождь. Какой-то веселый человечек сунул голову в бар и крикнул:

— Эй, как вы там?!

Но никто ему не ответил.

— Она болеет? — спросил я.— Вы вроде сказали...

— Нет, не болеет. Наверное, нет.— Он с неудовольствием огляделся, он не привык к таким местам. Я заметил, что глаза у него красные. Может быть, ему надо бы чаще носить очки — посторонних всегда много; а может, он плакал.

— Бендрикс,— сказал он,— здесь я говорить не могу,— словно привык говорить со мной хоть где-то.— Пойдем куда-нибудь.

— Сара еще не вернулась?

— Скорее всего — нет.

Я заплатил и снова подумал, как же он расстроен — он очень не любил одолжений. В такси он раньше всех вынимал деньги. На улице все еще шел дождь, но дом его был близко. Он отпер дверь под оконцем в стиле времен королевы Анны и позвал: «Сара, Сара!» Я ждал и боялся ответа, никто не отозвался, и он сказал:

— Она еще не пришла. Зайдем в кабинет.

Я никогда не был в кабинете. Я был Сариным другом и его видел только у нее, где все так не подходило одно к другому, мебель была самая разная, а не какая-нибудь «старая», вообще казалось, что вещи — сегодняшние, Сара не признавала ни былых вкусов, ни былых чувств. Она держала только то, что ей нужно; а здесь, наверное, никто не трогал ничего. Томики Гиббона навряд ли открывали, томики Скотта, должно быть, принадлежали когда-то отцу, как и бронзовая копия «Дискобола». А все же он был счастливей меня в своей ненужной комнате — в *своей*. И я подумал с завистью и грустью, что если ты владеешь чем-то, ты можешь этим не пользоваться.

— Виски? — спросил он, а я вспомнил его глаза и подумал: не пьет ли он лишнего? И впрямь, налил он нам щедро.

— О чем вы беспокоитесь, Генри? — Роман о чиновнике я забросил, в материале не нуждался.

— О Саре,— сказал он.

Испугался бы я, если бы он так сказал ровно два года назад? Нет, обрадовался бы — очень уж устаешь от обмана. Я был бы рад открытой борьбе хотя бы потому, что он мог оступиться, ошибиться, и я бы, как это ни дико, выиграл. Ни раньше, ни позже я не мечтал так о победе. Я даже о хорошей книге так сильно не мечтал.

Он поднял на меня красноватые глаза и признался:

— Мне страшно, Бендрикс.

Теперь я не мог относиться к нему свысока — он поступил в школу страданья, в мою школу, и я впервые подумал о нем как о равном. Помню, на столе у него стояла коричневатая старая фотография, и я удивился, как похож он на своего отца (тот снимался в таком же возрасте, лет за сорок) и как не похож. Дело не в усах — отец был по-викториански спокоен, он был дома в этом мире, он все знал; и снова я ощутил, что мы с Генри — товарищи. Он нравился мне больше, чем понравился бы отец (работавший в казначействе). Мы оба с ним были чужими, изгоями, странниками.

— Что ж вам страшно?

Он сел так резко, словно его толкнули, и с трудом сказал:

— Бендрикс, я всегда думал худшее, нет, самое худшее...

В то, былое время, наверное, я бы места себе не находил. Как незнакомо и как бесконечно тоскливо спокойствие невинности!

— Вы же знаете, Генри,— сказал я,— мне вы можете довериться.— И подумал: вполне возможно, что у нее осталось письмо, хотя я мало ей писал. Это наш профессиональный риск. Женщины могут преувеличивать значимость своего возлюбленного и уж никак не предвидят того унизительного дня, когда нескромное письмо появится в каталоге автографов ценою в пять шиллингов.

— Посмотрите,— сказал Генри.

Он протянул мне письмо, не мое.

— Читайте, читайте,— сказал он.

Какой-то его друг писал: «Человек, которому вы хотите помочь, должен обратиться к Сэвиджу, на Виго-стрит, 159. Он хорошо работает, хранит тайну, а сыщики у него не такие мерзкие, как обычно».

— Не понимаю.

— Я ему написал, что один мой знакомый спрашивает о частном сыске. Как это страшно, Бендрикс! Наверное, он все понял.

— Вы думаете...

— Я еще ничего не делал, но вот письмо, лежит, напоминает. Глупо, правда? Я совершенно уверен, что она его не прочтет, хотя заходит сюда раз десять в день. Я даже не убрал его в ящик. И все-таки — не доверяю. Сейчас она пошла гулять. *Гулять,* Бендрикс.

Дождь добрался и до него — теперь он сушил рукав у газовой горелки.

— Как неприятно...

— Вы всегда дружили с ней, Бендрикс. Часто говорят, что муж хуже всех знает свою жену. Когда я вас сегодня увидел, я подумал: если я расскажу вам и вы засмеетесь, я сожгу письмо.

Он сидел у камина, вытянув мокрую руку, и не смотрел на меня. Меньше всего на свете мне хотелось смеяться, но я бы засмеялся, если бы мог.

— Что же тут смешного? — сказал я.— Хотя и подумать странно...

— Да, очень странно,— сказал он.— Наверное, вы считаете, что я дурак?

Только что я был бы рад засмеяться, а сейчас, хотя мне нужно было только солгать, вернулась былая ревность. Неужели муж с женой так едины, что приходится ненавидеть и мужа? Вопрос этот снова напомнил о том, как легко обманывать Генри. Иногда мне казалось, что он просто вводит Сару в соблазн (ведь если оставишь деньги в номере, соблазняешь вора), и я ненавидел его за то, что когда-то мне помогало.

От рукава поднимался пар. Не глядя на меня, Генри повторил:

— Да, считаете, что я дурак.

Тут вмешался бес.

— Нет,— сказал я,— не считаю.

— Значит, по-вашему, это... мыслимо?

— Конечно. Сара — человек, не ангел.

Он рассердился.

— А я думал, вы ей друг,— сказал он, словно это я написал письмо.

— Конечно,— сказал я,— вы знаете ее гораздо лучше, чем я.

— В каком-то смысле да,— мрачно ответил он, и я понял, что он думает, в каком смысле *я* знал ее лучше.

— Вы спросили, Генри, не считаю ли я вас дураком, а я сказал, что в самой мысли нет ничего глупого. Я ничем не обидел Сару.

— Да, Бендрикс, я знаю. Я очень плохо сплю. Проснусь и думаю, что делать с этим письмом.

— Сожгите его.

— Если б я мог!

Он еще держал письмо, и я решил было, что он собирается его сжечь.

— Или пойдите к Сэвиджу,— сказал я.

— Он не поверит, что это не для меня. Представьте, Бендрикс,— сидеть в кресле, где сидело столько ревнивых мужей, рассказывать то же самое, что они... Интересно, есть там приемная, чтобы мы не видели друг друга?

«Странно,— подумал я,— он не лишен воображения!» Чувство превосходства пошатнулось, мне снова захотелось поддеть его, и я сказал:

— Может, мне пойти?

— Вам?

Я подумал, не далеко ли я зашел, не заподозрит ли что-нибудь даже Генри.

— Да,— сказал я, играя с опасностью. Что такого, если он узнает немного о прошлом? Ему же лучше, научится смотреть за женой.—

Я притворюсь ревнивым любовником,— сказал я.— Они не так смешны, как мужья. Литература их поддерживает. Они — герои трагедии, а не комедии. Например, Троил. Мое самолюбие в безопасности.

Рукав просох, но Генри не убрал руку, и ткань уже тлела.

— Вы правда готовы на это для меня? — сказал он, и я увидел слезы, словно он не ждал или не заслужил такого благородства.

— Конечно, Генри. У вас рукав горит.

Он посмотрел на рукав, будто тот горел не у него.

— Поразительно,— сказал он.— Нет, о чем я только думал! Рассказать вам и просить... об этом. Нельзя шпионить за женой через друга, да еще чтобы друг притворялся ее любовником.

— Да, это не принято,— сказал я.— И соблазнять не принято, и красть, и дезертировать, но это ведь все время делают. Без этого нет нынешней жизни. Кое-что я делал и сам.

— Вы хороший человек,— сказал Генри.— Мне нужно было выговориться, и все.

Сейчас он действительно поднес письмо к огню. Когда он ссыпал пепел в пепельницу, я сказал:

— Сэвидж, Виго-стрит, сто пятьдесят девять или сто шестьдесят девять.

— Забудьте,— сказал Генри.— Забудьте, что я говорил. Это все чушь. У меня часто болит голова. Надо сходить к доктору.

— Дверь стукнула,— сказал я.— Это Сара.

— Нет,— сказал он.— Служанка, наверное. Она ходила в кино.

— Шаги Сарины.

Он пошел к двери, открыл ее, и лицо его стало приветливым, нежным. Меня всегда раздражала эта автоматическая реакция, она ничего не значила — нельзя всегда радоваться какой-то женщине, даже если ты влюблен, а Сара говорила (и я ей верил), что они никогда не были влюблены друг в друга. Куда честней, да и пылче, думал я, мое недоверие и моя ненависть. Во всяком случае, для меня она была полноправной личностью, а не частью дома, как статуэтка, с которой надо осторожно обращаться.

— Са-ра! — позвал он.— Са-ра! — фальшиво до невыносимости.

Что мне сделать, чтобы незнакомый увидел, как остановилась она в холле, у лестницы, и обернулась к нам? Я всегда считал, что не надо навязывать своих представлений, поставлять готовые иллюстрации. Вот меня и подвело мое мастерство — ведь я не хочу, чтобы вместо Сары видели другую женщину, мне надо, чтобы видели ее большой лоб, смелый рот, ее скулу, но изобразить я могу только неопределенное создание в мокром плаще.

— Да, Генри? — сказала Сара, а потом: — *Вы*?

Она всегда говорила мне «вы» по телефону — «Это вы?», «Вы можете?», «Вы сделаете?»,— а я думал, как дурак, хотя бы несколько минут, что на свете — один только «вы», и это я.

— Очень рад, очень рад,— сказал я, ненавидя ее.— Выходили погулять?

— Да.

— Погода плохая,— назидательно заметил я, а Генри прибавил, явно беспокоясь:

— Ты вся промокла, Сара. Смотри, простудишься насмерть.

Привычный оборот, во всей своей мирской мудрости, пронзает порой беседу, как голос рока. Но даже если бы мы знали, что Генри сказал правду, вряд ли кто-нибудь из нас двоих испугался бы — так были мы измучены недоверием и ненавистью.

2

Не могу сказать, сколько прошло дней. Старые страданья вернулись, а в этой тьме не легче считать дни, чем слепому замечать оттенки света. Через неделю или через три я решил, что́ делать. Теперь, через три года,

я плохо помню, как сторожил со своей стороны сада, глядел на их дом издали, от пруда или из портика церковки, построенной веке в восемнадцатом, надеясь, что откроется дверь и Сара спустится по целым, хорошо вымытым ступенькам. Я ждал — и не дождался. Дождей больше не было, по ночам подмораживало, но ни Сара, ни Генри не появлялись, словно дом вымер. Я больше не встречал Генри. Наверное, он стыдился того, что сказал мне, он ведь очень почитал условности. Пишу это — и усмехаюсь, а сам, если подумать, только восхищаюсь такими людьми и доверяю им, как восхищаешься деревушками, когда едешь мимо них в машине, столько мира в их черепице и камне, столько покоя.

Помню, в те мрачные дни — или недели — мне часто снилась Сара. Иногда я просыпался страдая, иногда — радуясь. Когда думаешь о женщине весь день, не надо бы видеть ее во сне. Я пытался писать, ничего не получалось. Я выполнял свою норму, пятьсот слов в день, но персонажи никак не оживали. Наше дело очень зависит от того, как мы живем. Можно ходить по магазинам, считать налоги, болтать, а поток подсознания течет, как тек, решая твои проблемы, строя планы. Сядешь к столу пустым-пустой, и вдруг откуда-то берутся слова, выходят из тупика трудные сцены, работа сделана во сне, в магазине, во время беседы. Подозрения, ненависть, страсть к разрушению — глубже книги, и подсознание работало на них, пока однажды я не проснулся, твердо зная, что пойду днем к Сэвиджу.

Быть тем, кому доверяют,— странная профессия. Люди доверяют адвокату, врачу, наверное — священнику, а теперь я прибавил к ним частного сыщика. Генри ошибся, клиенты друг на друга не смотрели. Здесь было две приемных, меня провели в одну из них. Совсем не этого ждал я от такой конторы; затхлый запах в передней напоминал об адвокатах, свежие журналы в приемной — о зубном враче. Там лежали и «Харперс базар», и «Лайф», и французские журналы мод, а человек, проводивший меня, был слишком учтив и слишком элегантен.

Он подвинул кресло к огню, осторожно закрыл дверь, и я почувствовал себя пациентом. Я и был пациентом, больным, который решил излечиться от ревности при помощи этой хваленой шоковой терапии.

Увидев мистера Сэвиджа, я прежде всего заметил галстук, видимо, представлявший какое-то старое товарищество. Потом я подумал, как чисто он выбрит, даже чуть-чуть припудрен; потом обратил внимание на его лоб с залысинами, так и сверкавший сочувствием, пониманием, желанием принести пользу. Когда он здоровался со мной, он как-то странно пожал мне руку. Наверное, он был масон, и если бы я тоже так пожал, он бы обращался со мной иначе.

— Мистер Бендрикс? — сказал он.— Садитесь. Здесь удобней.

Он взбил для меня подушку кресла и заботливо стоял возле меня, пока я как следует не уселся. Потом он сел рядом на стул, словно собирался щупать мне пульс.

— Расскажите мне все своими словами,— предложил он. Просто не знаю, чьими еще словами мог я рассказывать. Я растерялся и огорчился — не за сочувствием шел я сюда, я хотел купить действенную помощь. И я спросил:

— Сколько стоит слежка?

Мистер Сэвидж мягко погладил свой полосатый галстук.

— Не беспокойтесь, мистер Бендрикс,— сказал он.— За предварительную беседу мы берем три гинеи, но если вы не захотите продолжать, мы не возьмем ничего, буквально ничего. Лучшая реклама — довольный клиент.

Избитую фразу он сунул в разговор, как термометр.

Наверное, в бытовой ситуации все мы ведем себя похоже, все употребляем одни и те же слова. Я сказал:

— Случай очень простой.— И с раздражением понял, что он знает все, хотя я ничего не говорил. Никакие мои откровения его не удивят, он все открыл и переоткрыл десятки раз даже в этом, нынешнем году. Врач и тот иногда удивляется, но мистер Сэвидж лечил одну болезнь и знал каждый симптом.

— Слушаю вас, мистер Бендрикс,— с невыносимой мягкостью сказал он.

Я смутился, как смущаются все его клиенты.

— Тут не о чем и говорить,— сказал я.

— Это моя работа,— сказал он.— Я должен ощутить настроение, атмосферу. Речь идет о миссис Бендрикс?

— Не совсем.

— Вы не женаты официально?

— Нет, вы не поняли. Она — жена моего друга.

— Он послал вас?

— Нет.

— Может быть, вы... связаны с этой дамой?

— Нет. Я с сорок четвертого года видел ее всего один раз.

— Простите, я не совсем понял. Вы сказали, вам нужна слежка.

До этой минуты я не понимал, как он меня раздражает. Я сорвался.

— Что ж, по-вашему,— резко сказал я,— нельзя так долго любить или ненавидеть? Да, я — один из ваших ревнивых клиентов. Такой же самый, как все, только с отсрочкой.

Мистер Сэвидж положил руку на мой рукав, словно успокаивал ребенка.

— Ревности незачем стыдиться, мистер Бендрикс. Ревность — знак истинной любви, я ее уважаю. Так вот, дама, о которой мы говорим... У вас есть основания считать, что она... с кем-то связана?

— Ее муж так думает. Она куда-то ходит. Она ему лжет. У нее... ну, тайны.

— А, да, тайны!

— Конечно, ничего может и не быть.

— Поверьте моему опыту, мистер Бендрикс, в сущности — не может.

Словно он подготовил меня и теперь приступает к делу, мистер Сэвидж сел за стол и приготовился писать. Фамилия. Имя. Адрес. Занятие мужа. Подняв карандаш, он осведомился:

— Мистер Майлз знает о нашей встрече?

— Конечно нет.

— Это создает дополнительные сложности.

— Может быть, я позже покажу ему отчеты. Не знаю.

— Расскажите, пожалуйста, о ее доме. Есть у нее служанка?

— Да.

— Возраст?

— Откуда мне знать? Лет тридцать восемь.

— Поклонники у служанки?..

— Не знаю. И фамилии бабушки не знаю.

Мистер Сэвидж кротко улыбнулся. Я подумал было, что он выйдет из-за стола и снова меня погладит.

— Вижу, мистер Бендрикс,— сказал он,— вы не привыкли к таким беседам. Служанка очень важна. Она может много рассказать о своей хозяйке... если захочет. Вы не поверите, как много вещей очень нужны для самой простой слежки.

Это он доказал, исписав кучу листов мелкими, неразборчивыми буквами. Вдруг он спросил, прервав допрос:

— Возражаете ли вы, если наш человек зайдет к вам?

Я ответил, что мне все равно, но тут же почувствовал себя так, словно бы нарочно чем-то заразился, и сказал:

— Лучше не надо.

— Конечно,— откликнулся он.— Как же, как же, понимаю,— и, думаю, он вправду все понял. Я мог бы сказать, что «его человек» будет как пыль на мебели, как сажа на книгах,— и он бы не обиделся. Я очень люблю писать на чистой, белой бумаге — если на нее капнул чай, вообще если она запачкалась, я ее выбрасываю. И дикая мысль пришла мне: надо будет запереть бумагу в стол.

— Пусть он хотя бы меня предупредит,— сказал я.

— Как же, как же, но это не всегда возможно. Ваш адрес, телефон?

— Телефон — не мой. Спаренный с хозяйкой.

— Мои люди исключительно осторожны. Отчеты хотите раз в неделю или общий, в самом конце?

— Раз в неделю. Конца может и не быть. Или выяснять нечего.

— Часто вы бывали у врача и ничего не находили? Если человек в нас нуждается, мистер Бендрикс, это значит почти всегда, что материал есть.

Наверное, мне повезло с мистером Сэвиджем. В том письме говорилось, что он — не такой противный, как другие сыщики, но меня просто передернуло от его уверенности. В сущности, занятие это не такое уж приличное, здесь следят за невинными, в чем любовники провинились? Они не совершили преступления, они не знают за собой вины, они всегда готовы повторить: «Кому я вреж́у, кроме себя?» — а любовь извиняет все, им так кажется, и мне так казалось в те дни, когда я любил.

Дошли до платы, и мистер Сэвидж оказался на удивление скромным: три гинеи в день и расходы, «с вашего разрешения, конечно». Он объяснил: «Знаете, лишний кофе, а иногда и поставить...» Я пошутил было, что не люблю виски, но он шутки не заметил.

— Был случай,— сообщил он,— когда месячная слежка провалилась бы, если бы наш человек не угостил кого надо. Конечно, виски — самое дешевое.

Еще он прибавил, что некоторые предпочитают ежедневный отчет, но я сказал, что с меня хватит еженедельного.

Словом, все прошло хорошо — когда я вышел на Виго-стрит, я едва ли не верил, что такие беседы рано или поздно бывают у всех.

3

Помню, мистер Сэвидж сказал: «Если будет что-нибудь важное, не сообщите ли мне?» Сыщик, как писатель, должен собрать свой будничный материал прежде, чем он найдет ключ. Но как трудно выбрать самое важное! Внешний мир давит так, словно тебя пытают. Теперь, когда я записываю все, что со мною было, и придумывать не должен, проблема — та же самая, только хуже: прибавилось очень много фактов. Сумею ли я вычленить человека из нагромождения деталей — газет, еды, машин в Баттерси, чаек, прилетающих с Темзы в поисках хлеба, раннего лета в парке, где дети пускают лодочки? (Стояло последнее лето перед войной, тогда каждое лето было ясным, погожим, черт их дери.) Интересно, прикидывал я, если долго думать, можно ли догадаться, кто из тогдашних гостей стал ее любовником? Мы впервые увидели друг друга на вечеринке в ее доме, где пили плохой южноафриканский херес, ведь шла война в Испании. Наверное, я заметил Сару потому, что она была счастлива,— в те годы ощущение счастья потихоньку умирало. Счастливыми бывали пьяные, дети, больше никто. Сара сразу понравилась мне, когда сказала, что прочла мои книги — и все, больше про них не говорила; наконец во мне увидели человека, а не писателя! Я и не думал в нее влюбляться — она была красива, а красивые женщины, если они еще и умны, как-то принижают меня. Не знаю, есть ли в психологии «комплекс короля Кофетуа», но меня не тянуло к женщинам, если я не ощущал, что я выше их. Тогда, в первый раз, я заметил, что Сара красива и счастлива, и еще — что она трогает собеседника рукой, словно он ей очень дорог. Из всего, что она говорила, помню одну фразу: «Видно, вы многих не любите». Наверное, я ругал писателей. Не помню.

Какое было лето!.. Месяца не назову, и не пытаюсь — чтобы это вспомнить, надо пройти сквозь толщу боли, но я запомнил, как, перепив этого хереса, я покинул жаркую, набитую комнату и вышел вместе с Генри. Солнце светило прямо сверху, трава казалась белой. Дома вдалеке были как на старой гравюре — четкие, тихие, маленькие; где-то плакал ребенок. Церковка восемнадцатого века стояла, словно игрушка, на островке газона — игрушка, которую можно оставить во тьме, на сухой жаре. В такой час хочется открыть душу чужому.

Генри сказал:

— Мы могли быть такими счастливыми!..

— Да,— ответил я.

Он очень понравился мне, когда стоял под деревьями, покинув своих гостей, и в глазах у него блестели слезы.

— Красивый у вас дом,— сказал я.

— Это жена выбрала.

Познакомились мы за неделю до этого, тоже в гостях. Он служил в министерстве, и я пристал к нему, чтобы собрать материал. Через два дня пришло приглашение. Позже я узнал, что это Сара посоветовала меня позвать.

— Вы давно женаты? — спросил я.

— Десять лет.

— У вас очаровательная жена.

— Она мне очень помогает,— сказал он.

Бедный Генри!.. А почему, собственно, бедный? Ведь у него остались лучшие карты — доверие, смирение, нежность.

— Мне пора вернуться,— сказал он.— Нельзя все бросать на нее,— и тронул мой рукав, словно мы давно знакомы. У нее он научился, что ли? Муж и жена становятся похожи. Мы вернулись, и, когда открылась дверь, я увидел в зеркале, как женщина целует мужчину. Женщина была Сара. Я посмотрел на Генри. Он ее не заметил или не обратил внимания. «А если заметил,— подумал я,— какой же он несчастный!»

Счел бы это важным мистер Сэвидж? Позже я узнал, что с Сарой стоял не любовник, а сослуживец Генри, от которого сбежала жена. Сара познакомилась с ним в тот самый день, и вряд ли именно он сейчас целует ее. У любви не такой долгий инкубационный период.

Хотел бы я не трогать тех времен — когда я пишу о них, ненависть возвращается. Видимо, ее вырабатывают те же самые железы, что и любовь,— результаты такие же. Если бы нас не учили, как понимать Страсти Христовы, догадались бы мы, кто́ любил Христа — ревнивый Иуда или трусливый Петр?

4

Когда я пришел домой и хозяйка сказала, что мне звонила миссис Майлз, я обрадовался, как радовался прежде, услышав в передней ее шаги. Безумная надежда посетила меня — я подумал, что новая встреча разбудила пусть не любовь, но какое-то чувство, какую-то память, их ведь можно разбудить. Мне показалось, что если мы хоть раз будем вместе — ненадолго, наспех, как-нибудь,— я наконец успокоюсь, избавлюсь от наваждения и брошу ее, не она меня.

Странно было через полтора года набирать 77-53, еще удивительней, что пришлось посмотреть в книжку — я усомнился в последней цифре. Слушая гудки, я гадал, вернулся ли Генри со службы, и думал, что сказать, если ответит он. Потом я понял, что теперь лгать не надо. Без лжи мне стало так одиноко, словно она — мой единственный друг.

Голос идеальной служанки произнес:

— Слушаю.

— Можно попросить миссис Майлз? — спросил я.

— Миссис Майлз?

— Это семьдесят семь пятьдесят три?

— Да.

— Я хотел бы поговорить с миссис Майлз.

— Вы перепутали номер,— и она повесила трубку. Мне и в голову не приходило, что такие пустяки тоже меняются со временем.

Я посмотрел в телефонной книге, номер был прежний — она устарела не меньше чем на год,— и решил узнать по справочной, как вдруг зазвонил телефон, и это была Сара.

— Алло...— растерянно сказала она. Сара никогда не называла меня

ни по имени, ни по фамилии, и теперь, когда исчезли ласковые прозвища, не знала, как быть. Я ответил:

— Бендрикс у телефона.

— Это я, Сара. Вам не передали, что я звонила?

— А, я как раз собирался позвонить. Сперва хотел кончить статью. Кстати, я забыл ваш номер. В книге он есть?

— Нет, еще нету. Он теперь другой, шестьдесят два ноль четыре. Я хотела спросить...

— Да?

— Вы не пугайтесь! Я хотела позавтракать с вами, вот и все.

— Конечно, очень рад. Когда именно?

— Завтра нельзя?

— Нет. Завтра — нет. Понимаете, статью кончаю...

— А в среду?

— Может, в четверг?

— Хорошо,— сказала она, и я сумел расслышать обиду. Так обманывает нас гордость.

— Значит, в час, в кафе «Ройял».

— Спасибо,— сказала она, и я понял, что она благодарит искренне.— До четверга.

— До четверга.

Я сидел с трубкой в руке, и ненависть вдруг показалась мне уродкой и дурой, которую я знать не хочу. Когда я набрал номер, Сара, наверное, еще не отошла от телефона.

— Сара,— сказал я.— Да, завтра. Там же. В час.

И подумал: «А, помню, помню! Это — надежда».

5

Я положил газету на стол и несколько раз подряд прочитал одну и ту же страницу, чтобы не смотреть на дверь, хотя люди все время входили, и не я один выдал бы глупое волнение, если бы поднял голову. Чего мы ждем, почему так стыдимся разочарования? В газете, как обычно, были убийство и парламентские споры о нормах на сахар. Она опаздывала, прошло пять лишних минут.

Вошла она, когда я взглянул на часы, так уж мне везет. Я услышал ее голос.

— Простите,— сказала она.— Автобуса долго не было.

— На метро быстрее,— сказал я.

— Да, конечно, но я не хотела спешить.

Она часто удивляла меня правдивостью. Когда мы любили друг друга, я очень хотел, чтобы она приврала — сказала, что мы никогда не расстанемся, что мы поженимся. Я бы ей не поверил, мне просто хотелось это услышать, может быть — чтобы возразить. Но она не играла, не притворялась, а потом вдруг поражала меня такими нежными, такими щедрыми словами... Помню, я как-то совсем загрустил (она спокойно сказала, что когда-нибудь мы расстанемся непременно) и услышал в несказанной радости: «Я никогда никого так не любила и не полюблю». Конечно, думал я, она сама не знает, что играет в ту же игру.

Сара села рядом со мной и спросила бокал светлого пива.

— Я заказал столик в «Рулз»,— сказал я.

— А здесь нельзя остаться?

— Мы обычно туда ходили.

— Да.

Наверное, мы держались странно — на нас смотрел человек, сидевший неподалеку на диване. Я стал на него глядеть, он отвернулся. У него были длинные усы, робкие глаза. Отворачиваясь, он задел локтем свое пиво, кружка упала на пол, он совсем смутился. Мне стало стыдно — в конце концов, он мог узнать меня по фотографиям, мог читать мои книги. Рядом с ним сидел мальчик, а как жестоко унизить отца при сыне! Мальчик

страшно покраснел, когда официант подбежал к ним и отец стал слишком усердно просить прощения.

Я сказал Саре:

— Конечно, если хотите завтракать здесь...

— Понимаете,— сказала она,— я больше там не бывала.

— Вы не очень любили этот ресторан, да?

— А вы туда часто ходите?

— Мне там нравится. Раза два в неделю.

Она резко встала, произнесла: «Пойдемте» — и вдруг закашлялась. Странно было, что такой сильный кашель сотрясает такое хрупкое тело. Лоб у нее вспотел.

— Что ж это вы,— сказал я.

— Ничего, простите.

— Такси возьмем?

— Я бы лучше прошлась.

На Мейден-лейн, по левой стороне, есть дверь и решетка. Мы молча их миновали. После того, первого обеда, когда я расспрашивал ее про Генри и заинтересовался ею, я поцеловал ее здесь по пути к метро, сам не знаю почему — может быть, вспомнил отражение в зеркале. Я не думал за ней ухаживать, я даже не думал снова увидеться с ней. Она была слишком красива, чтобы оказаться доступной.

Когда мы сели за столик, один из старых официантов сказал мне:

— Давно вы у нас не были, сэр,— и я пожалел, что солгал Саре.

— Теперь я обедаю наверху,— ответил я.

— А вы, мэм, давно не заходили...

— Почти два года,— сказала она с той точностью, которую я иногда ненавидел.

— Вы всегда заказывали светлое пиво.

— Какая у вас память, Альфред,— сказала она, и он расплылся. Ей всегда удавалось ладить с ними.

Подали еду, мы прервали наш скучный разговор, и только когда мы поели, она заговорила.

— Я хотела с вами позавтракать,— сказала она,— хотела поговорить про Генри.

— Про Генри? — повторил я, стараясь не выказать разочарования.

— Я беспокоюсь. Как он вам тогда показался? Вы ничего не заметили странного?

— Нет, не заметил,— сказал я.

— Я хотела спросить... да, вы заняты, но... не могли бы вы как-нибудь к нему зайти? Мне кажется, ему одиноко.

— С вами?

— Вы же знаете, он меня толком не замечает. Очень давно.

— Может быть, он вас замечает, когда вас нет?

— Я редко ухожу,— сказала она,— теперь...— и, к счастью, закашлялась. Когда приступ кончился, она уже продумала будущие ходы — а раньше не любила избегать правды.

— Вы пишете новую книгу? — спросила она, как чужая, как в гостях. Так она не говорила даже тогда, когда мы пили южноафриканский херес.

— Да, конечно.

— Последняя мне не очень понравилась.

— Трудно было писать. Война кончалась...

Надо бы сказать «начиналась».

— Я все боялась, что вы приметесь за тот замысел. Многие так бы и сделали.

— Книгу я пишу целый год. Слишком тяжкий труд для мести.

— Если бы вы знали, что и мстить-то не за что...

— Конечно, я шучу. Нам было хорошо вместе, мы оба взрослые, мы знали, что это когда-нибудь кончится. А теперь вот можем сидеть, говорить про Генри.

Я заплатил, мы вышли, через двадцать ярдов была решетка.

— Вы к Стрэнду? — спросил я.
— Нет, мне на Лестер-сквер.
— А мне на Стрэнд.
Она стояла у двери, на улице никого не было.
— До свиданья,— сказал я.— Рад был повидаться.
— Да.
— Позвоните как-нибудь.
Я чувствовал ногой решетку. Я сделал шаг и сказал:
— Сара...
Она быстро отвернулась, словно смотрела, не идет ли кто, успеем ли мы... но тут снова закашлялась. Кашляла и кашляла, согнувшись, глаза у нее покраснели. В своей меховой шубке она была похожа на загнанного зверька.
— Простите.
— Надо бы полечиться,— сказал я с горечью, словно у меня что-то украли.
— Ничего, я просто кашляю,— она протянула мне руку и прибавила: — До свиданья... Морис.
Услышав свое имя, я обиделся и не взял протянутой руки. Я ушел быстро, не оборачиваясь, чтобы она подумала, что я занят и рад освободиться, а когда снова раздался кашель, пожалел, что не могу засвистеть что-нибудь веселенькое, бойкое, наглое. У меня плохой слух.

6

Когда в молодости создаешь свои рабочие привычки, кажется, что они продержатся всю жизнь и выдержат любую беду. Больше двадцати лет я писал по пятьсот слов в день, пять дней в неделю. Роман я пишу за год, остается время все перечитать и выправить после машинки. Норму я выполнял всегда, а выполнив — кончал работу, хоть бы и на половине сцены. Иногда я останавливаюсь, подсчитываю и отмечаю на рукописи, сколько сделал. Типографии ничего подсчитывать не надо, я пишу на первой странице цифры — скажем, 83764. В молодости даже свидания мне не мешали, я не назначал их раньше часу и, как бы поздно ни лег (если спал у себя, конечно), перечитывал то, что сделал утром. Не помешала мне и война. На фронт меня не послали, я хромой, а товарищи по гражданской обороне только радовались, что меня не привлекают спокойные утренние дежурства. В конце концов стали считать, что я — убежденный, серьезный человек, тогда как серьезно я относился только к письменному столу, к листу бумаги, к отмеренному числу слов, стекающих с пера. Одна лишь Сара смогла разрушить мое самодельное правило. И первые бомбежки, и «фау-1» 1944 года бывали ночью. Сара могла прийти только утром, позже к ней ходили люди — отоварившись, они почти всегда хотели поболтать до вечерней сирены. Иногда она забегала между двумя очередями, и мы любили друг друга, скажем, между бакалеей и мясом.
Но я и тогда мог потом сесть за работу. Пока ты счастлив, ты выдержишь любой распорядок, это горе сломало мои рабочие правила. Когда я заметил, как часто мы ссоримся, как часто я мучаю Сару своей раздражительностью, я понял, что наша любовь обречена — она превратилась в любовную связь, у которой есть начало, есть и конец. Я мог сказать, в какой миг она началась, и понял однажды, что могу сказать, в какой час она кончится. Расставшись с Сарой, я не начинал работать, я вспоминал, что мы говорили друг другу, и сердился или каялся, но всегда знал, что ускоряю ход событий, гоню и выталкиваю из моей жизни единственное, что люблю. Пока я верил, что любовь жива, я был счастлив, я не раздражался, вот она и тянулась. Если же ей суждено умереть, я хотел, чтобы она умерла побыстрее. Все было так, словно любовь — какой-то зверек, попавший в ловушку: ему очень плохо, он истекает кровью, надо закрыть глаза и его убить.
Работать я не мог. Я уже говорил, что работа наша свершается

в подсознании, последнее слово написано там прежде, чем первое появится на бумаге. Мы вспоминаем, а не сочиняем. Война не тревожила этих глубин, но конец любви был намного важнее и войны, и книги. Я творил этот конец: слово, из-за которого Сара плакала, казалось бы — такое внезапное, рождалось в подводных пещерах. Книга не ладилась, любовь спешила к концу, гонимая вдохновением.

Ничуть не удивляюсь, что Саре книга не понравилась. Я писал ее без музы, без помощи, без всякой причины — просто так, чтобы жить дальше. Критики говорили, что это — работа мастера; да, только мастерство и осталось от былой страсти. Я надеялся, что страсть вернется, когда я стану писать другую книгу,— разволнуюсь и вспомню то, чего и не знал. Но целую неделю после встречи с Сарой я вообще не мог работать. Вот, опять «я» да «я», словно речь обо мне, а не о Саре, о Генри и, конечно, о том, кого я ненавидел, не зная, даже в него не веря.

Я попробовал писать с утра, ничего не вышло. За обедом я слишком много выпил, до вечера работать не мог. Когда стемнело, я стал у окна, не зажигая света, и смотрел на освещенные окна по ту сторону. Было очень холодно, я мог согреться только у самой печки, а там сильно припекало. Редкие хлопья снега медленно проплыли мимо фонарей и коснулись стекла мокрыми пальцами. Я не услышал, что внизу звонят. Хозяйка постучалась и сказала: «К вам какой-то Паркис», подчеркивая самим словом невысокий ранг посетителя. Я не знал, кто это такой, но сказал, чтобы она его впустила.

Когда он вошел, я подумал, где же я видел этот кроткий, виноватый взгляд, эти старомодные усы, мокрые от снега. Я зажег настольную лампу, он подошел к ней и, близоруко щурясь, пытался разглядеть меня в полумгле.

— Мистер Бендрикс? — спросил он.

— Да.

— А я Паркис,— сказал он, словно это что-то для меня значило, и прибавил: — От мистера Сэвиджа, сэр.

— А, конечно,— сказал я.— Садитесь. Вот сигареты.

— Нет, что вы,— сказал он.— На службе не курю. Разве что для виду.

— Вы сейчас на службе?

— Ну, все-таки. Меня только отпустили на полчаса, для отчета. Мистер Сэвидж сказал, вы хотите каждую неделю.

— Есть новости?

Я толком не знал, рад я или разочарован.

— Кое-что есть,— с удовольствием сказал он и вытащил из кармана немыслимое количество бумажек и конвертов.

— Присядьте,— сказал я.— А то неудобно как-то.

— Как хотите, сэр,— сказал он, сел и, видимо, разглядел меня лучше.— Простите, мы с вами не встречались?

И вынул из конверта листок. Там были записаны расходы четким, аккуратным, как у школьника, почерком.

— У вас прекрасный почерк,— сказал я.

— Это не я, это сын,— сказал Паркис.— Учу его, готовлю.— И тут же быстро прибавил: — Он ничего не знает, сэр, только дежурит, как вот сейчас.

— Он сейчас дежурит?

— Пока я у вас, сэр.

— Сколько ему лет?

— Начало двенадцатого,— сказал он, словно я спросил, который час.— Он пользу приносит, а расходов никаких, разве что комикс ему купишь. Его никто не замечает. Мальчики прямо созданы для нашего дела.

— Странная работа для ребенка.

— Ну, сэр, он ведь не понимает. Если надо будет в спальню войти, я его не возьму.

Я прочитал:

«18 января.

Две вечерних газеты 2 п.
Домой на метро 1/8 п.
Кофе 2/-»

Он смотрел на меня, пока я читал.

— Кафе оказалось дорогое,— сказал он.— Пришлось хоть это спросить, а то бы обратили внимание.

«19 января.
Метро 2/4 п.
Пиво (бутылка) 3/-
Коктейль 2/6 п.
Пиво 1/6 п.»

Он снова заговорил:

— С пивом я виноват, сэр. Разбил, понимаете, кружку. Разволновался, был материал. Знаете, иногда неделями ждешь, а тут на второй день.

Конечно, я вспомнил и его, и смущенного мальчика. (Я сразу увидел, что за 18 января какие-то незначительные записи.) Под «19 янв.» я прочитал: «Особа N отправилась автобусом на Пиккадилли-серкус. По-видимому, взволнована. Прошла по Эйр-стрит до кафе «Ройял», где ее ожидал мужчина. Мы с мальчиком...»

Он не давал мне читать.

— Видите, сэр, почерк другой. Мальчик никогда не пишет, если данные частного характера.

— Бережете его,— сказал я и прочитал:

«Мы с мальчиком сели поближе. Особа N и мужчина сидели рядом, обращались друг с другом попросту. Возможно — один раз он взял ее за руку под столом. Это неточно, но левая рука N и правая рука мужчины исчезли, что обычно свидетельствует о таких действиях. После недолгой интимной беседы прошли пешком в небольшой ресторан, где сели не за столик, а в кабинку и заказали отбивные».

— Про отбивные тоже важно?

— Бывает важно, сэр, чтобы опознать человека, если он их часто заказывает.

— Значит, вы его не опознали?

— Читайте, сэр, сами увидите.

«Когда я услышал про отбивные, я подошел к стойке и спросил коктейль, но ни от официантов, ни от буфетчицы ничего не узнал про мужчину. Хотя я спрашивал небрежно, они насторожились, и я решил замолчать. Однако, завязав знакомство со швейцаром театра «Водевиль», я мог наблюдать за рестораном».

— Как же вы завязали знакомство? — спросил я.

— В баре, сэр, когда я увидел, что они заказывают отбивные. Потом я проводил его до театра, там служебный вход...

— Я это место знаю.

— Понимаете, сэр, я старался писать только самое важное.

— Правильно.

Я читал дальше: «После завтрака прошли по Мейден-лейн, простились у бакалейной. Видимо, очень волновались, и мне пришло в голову, что они прощаются навсегда. Конечно, тогда кончится и само дело».

Он снова прервал меня:

— Простите, я скажу о себе?

— Пожалуйста.

— Дело есть дело, а чувства, сэр,— это чувства. Мне очень понравилась дама, то есть особа N .

«Сперва я не знал, за кем из них идти, но решил, что слежу я все же за ней. Она направилась к Черинг-кросс, очень волновалась. Потом зашла в Национальную портретную галерею, но пробыла там минут пять...»

— Больше ничего важного нет?

— Нет, сэр. Я думаю, она хотела тихо посидеть, потому что потом она зашла в церковь.

— В церковь?

— В католическую, сэр, на Мейден-лейн. Она не молилась. Просто сидела.

— Откуда вы знаете?

— Я тоже туда зашел, сэр. Стал на колени, чтобы все было как следует. Она не молилась, это точно. Она не из католиков, сэр?

— Нет.

— Просто посидела в темноте, пока не успокоилась.

— Может, она кого-то ждала?

— Нет, сэр, она минут пять посидела, ни с кем не разговаривала. По-моему, она хотела поплакать.

— Все может быть. А насчет рук вы ошиблись.

— Насчет рук, сэр?

Я придвинулся к свету.

— Мы не держали друг друга за руки.

И тут же я пожалел об этой шутке — пожалел, что еще больше пугаю такого робкого человека. Он глядел на меня, приоткрыв рот, словно ему стало больно и он ждет следующего приступа.

— Наверное, так часто бывает,— сказал я.— Мистер Сэвидж должен был нас познакомить.

— Нет, сэр,— растерянно сказал он,— это я виноват.

Он наклонил голову и сидел, глядя на свою шляпу. Мне захотелось его подбодрить.

— Ничего,— сказал я.— Даже забавно, если взглянуть со стороны.

— Я-то внутри, сэр,— сказал он, крутя на коленях шляпу. Голос его был печален, как вид за окном.— Мистер Сэвидж не рассердится, он поймет... Я из-за мальчика.— Он виновато, запуганно улыбнулся.— Знаете, какие они книжки читают. Ник Картер там, то да се...

— А вы ему не говорите.

— С детьми надо честно, сэр. Он всегда спрашивает. Он захочет узнать, как и что, он ведь учится делу.

— Скажите, что я этого человека знаю и он меня не интересует.

— Спасибо, что предложили, сэр, но вы посудите сами. А вдруг он вас встретит, пока мы с ним работаем?

— Может, и не встретит.

— А может, и встретит, сэр.

— Оставьте его дома, не берите с собой.

— Так будет хуже, сэр. У него матери нет, а сейчас каникулы. Мы всегда на каникулах учимся, мистер Сэвидж разрешил. Нет. Свалял дурака — плати. Если бы он не был такой серьезный! Очень он горюет, когда я промажу. Как-то мистер Прентис, это мистера Сэвиджа помощник, крутой человек,— так вот, сказал он: «Опять вы промазали, Паркис», а мальчик-то услышал. Тогда он и понял про меня.

Он встал, очень смело (кто мы, чтобы измерять чужую храбрость?), и сказал:

— Простите, сэр, я все о своем.

— Мне было очень приятно, мистер Паркис,— сказал я и не солгал.— Не беспокойтесь. Мальчик, наверное, похож на вас.

— Он умный, в мать,— печально сказал Паркис.— Пойду, задержался. Холодно ему там, хотя я приискал хорошее местечко, где посуше. Только он очень бойкий, обязательно вылезет. Вы не подпишете счетик, если все так?

Я смотрел в окно, как он идет, подняв воротник, опустив поля шляпы. Снег стал гуще, и под третьим фонарем Паркис уже походил на маленького грязноватого снеговика. Вдруг я с удивлением понял, что минут десять не думаю ни о Саре, ни о ревности. Я стал таким человечным, что думал о чужих бедах.

7

Ревность, так думал я, возникает лишь там, где есть любовь. Авторы Ветхого Завета часто говорили о ревности Божьей — может быть, они пытались, грубо и косвенно, выразить веру в то, что Бог человека любит.

Но любовь бывает разная. Теперь я скорее ненавидел, чем любил, а Сара давно сказала мне, что Генри не испытывает к ней вожделенья, и все же сейчас он ревновал не меньше моего. Он хотел не страсти, а дружбы. Почувствовав впервые, что Сара с ним не делится, он заволновался и пал духом, гадая, чтó же происходит или произойдет. Неуверенность мучила его, и в этом смысле ему было хуже, чем мне,— я твердо знал, что у меня ничего нет. Я все потерял, у него многое осталось: она обедала вместе с ним, целовала его в щеку, он слышал ее шаги на лестнице, стук двери — вот и все, наверное, но если ты умираешь от голода, это очень много. Да, ему хуже, чем мне, я никогда ни в чем уверен не был, он — был. Чтó там, когда Паркис шел к их дому, Генри вообще не знал, что мы любили друг друга. Я написал эти слова, и, против воли, разум мой вернулся обратно, к тому мигу, с которого началась боль.

После того, как я поцеловал Сару на Мейден-лейн, я не звонил ей целую неделю. Еще за обедом она сказала, что Генри не любит кино, они туда редко ходят. Как раз шел фильм по одной моей книге, и я пригласил Сару к Уорнеру — отчасти из тщеславия, отчасти из вежливости, отчасти же потому, что меня по-прежнему занимала жизнь крупного чиновника.

— Генри звать не стоит? — спросил я.

— Конечно нет.

— Может, он потом с нами пообедает?

— Он берет домой очень много работы. Какой-то чертов либерал сделал запрос о вдовах, на той неделе ждет ответа.

Можно сказать, что либерал (кажется, депутат от Уэльса, по фамилии Льюис) постелил нашу первую постель.

Картина была плохая, иногда я просто не мог смотреть, как сцены, такие живые для меня, превращались в киношные клише, и жалел, что не пригласил Сару еще куда-нибудь. Сперва я сказал ей: «Понимаете, я совсем не то писал»,— но нельзя же повторять это все время. Сара ласково тронула мою руку, и мы сидели потом, взявшись за руки, словно дети или влюбленные. Вдруг неожиданно, всего на несколько минут, фильм ожил. Я забыл, что это я сам и выдумал, создал эти фразы,— так умилила меня сцена в ресторанчике. «Он» заказал мясо с луком, «она» боялась есть лук, потому что муж не любит этого запаха, «он» обиделся, догадавшись, почему она не решается, и представив себе, как муж поцелует ее, когда она вернется домой. Да, хорошая была сцена — я хотел изобразить страсть без пылких слов, без жестов, и это мне удалось. Несколько секунд я был счастлив, ни о чем не помнил, кроме своей удачи. Мне хотелось пойти домой, перечитать это место, написать еще что-нибудь — и я очень, очень жалел, что пригласил Сару Майлз в ресторан.

Позже, в ресторане, когда нам подали мясо, Сара сказала:

— Вот одна сцена точно ваша.

— Где лук?

— Да.

И в эту минуту нам подали лук. Мне и в голову ничего не пришло, я просто спросил:

— Генри не рассердится?

— Он лук терпеть не может. А вы?

— Я очень люблю.

Она положила луку и мне, и себе.

Можно влюбиться над блюдом лука? Вроде бы нет, но, честное слово, со мной было именно так. Конечно, дело не только в луке — я увидел Сару как она есть, увидел ту искренность, которая позже так радовала и так терзала меня. Незаметно, под столиком, я положил ей руку на колено, она мою руку удержала. Я сказал:

— Хороший бифштекс.

И услышал, словно стихи:

— Никогда таких не ела!

Я не ухаживал за ней, не соблазнял ее. Мы не доели мясо, не допили

вино и вышли на улицу, думая об одном и том же. Точно там, где в первый раз, мы поцеловались, и я сказал:

— Я влюбился.

— И я,— сказала Сара.

— Домой не пойдем.

— Да.

У метро «Черинг-кросс» мы взяли такси, и я велел шоферу ехать на Арбакл авеню. Так окрестили сами шоферы несколько гостиниц у Паддингтонского вокзала с шикарными названиями — «Ритц», «Карлтон» и прочее. Двери там не закрывались, и вы могли взять номер в любое время — на час, на два. Недавно я там был. Половины гостиниц нет, одни развалины, а на том самом месте, где мы любили друг друга,— дырка, пустота. Называлась гостиница «Бристоль», в холле стоял вазон с папоротником, хозяйка (волосы у нее были голубые) отвела нам лучший номер, в стиле начала века, с золоченой двуспальной кроватью, красными бархатными портьерами и огромным зеркалом. (Те, кто приходил в эти гостиницы, никогда не требовали двух кроватей.) Я прекрасно помню ничтожные подробности — хозяйка спросила, останемся ли мы на ночь, номер стоил пятнадцать шиллингов, электрический счетчик брал только шиллинги, а у нас их не было — и не помню, какой была Сара, что мы делали. Знаю только, что мы очень волновались. Главное было в том, что мы *начали,* перед нами лежала вся жизнь. У дверей нашей комнаты («нашей», через полчаса!) я снова ее поцеловал и сказал, что подумать о Генри не могу, а она ответила:

— Не волнуйся, он занят вдовами.

— Какой ужас,— сказал я,— что он тебя поцелует!

— Не поцелует,— сказала она.— Он ненавидит лук.

Я проводил ее домой. У Генри в кабинете горел свет, мы с ней пошли наверх, в гостиную. Мы никак не могли расстаться.

— Он сюда придет,— сказал я.

— Мы услышим,— сказала Сара и прибавила страшно и просто: — Одна ступенька всегда скрипит.

Я так и не снял пальто. Мы целовались, когда услышали скрип. Генри вошел, и я с болью увидел, как спокойно ее лицо. Она сказала:

— Мы думали, ты нам предложишь чего-нибудь выпить.

— Конечно,— сказал Генри.— Что вам налить, Бендрикс?

Я сказал, что пить не буду, собираюсь поработать.

— А я думал,— сказал он,— что вы по вечерам не работаете.

— Так, ерунда,— сказал я.— Рецензия.

— На интересную книгу?

— Нет, не особенно.

— Хотел бы я... Ну, писать, как вы.

Сара проводила меня до дверей, и мы опять поцеловались. В ту минуту я любил не ее, а Генри. Мне казалось, что все мужчины, какие были, и все, какие будут, бросают на нас тени.

— Что с тобой? — спросила она. Она всегда и сразу понимала, что́ за поцелуем, слышала шепот души.

— Ничего,— сказал я.— Утром позвоню.

— Лучше я позвоню,— сказала она, а я подумал, как ловко и легко ведет она любовную связь, и вспомнил про скрипучую ступеньку. Она сказала: «Всегда».

Книга вторая

1

Рассказать о печали гораздо легче, чем рассказать о радости. Когда нам плохо, мы осознаем нашу жизнь, хотя бы и до ужаса себялюбиво — это *я* страдаю, это *мои* нервы измотаны. Счастье уничтожает нас, мы себя не чувствуем. Словами обычной, земной любви святые выражали свою лю-

бовь к Богу, и, наверное, мы можем прибегнуть к словарю молитвы, размышления, созерцания, чтобы объяснить, как сосредоточенно и напряженно мы любим женщину. Мы тоже отдаем память, разум, разумение, тоже знаем «темную ночь», noche oscura[1], и тоже обретаем взамен особый покой. Соитие называли малой смертью; любовники познают иногда что-то вроде малого блаженства. Странно, что я это все пишу, словно люблю,— ведь я ненавижу. Иногда я не понимаю собственных мыслей. Что я знаю о «темной ночи» или о молитве? У меня одна молитва, одна мольба. Я унаследовал эти слова как муж, которому достались ненужные платья, духи, кремы. И все же этот покой был.

Так вспоминаю я первые месяцы войны — быть может, то был пустой мир, как пустою стала война? Он будто бы простер покров над временем неясных ожиданий, но все-таки уже и тогда бывали и горести, и подозрения. В тот первый вечер я шел домой не счастливый, а грустный и растерянный, и потом каждый день я возвращался домой, все больше убеждаясь, что я — один из многих. Сейчас она выбрала меня. Я так любил ее, что, просыпаясь ночью, тут же вспоминал и больше спать не мог. Вроде бы она отдала мне все свое время, но я ей не доверял. Когда мы были вместе, я становился властным; когда, оставшись один, я смотрелся в зеркало и видел худое лицо, хромую ногу, я думал: «Почему же меня?» Часто мы не могли встретиться — она шла в парикмахерскую, или к зубному врачу, или сидела с Генри. Тщетно говорил я себе, что там, дома, она не может изменить мне (с каким эгоизмом употреблял я это слово, как будто речь шла о долге!), пока Генри занимается вдовами, а потом — противогазами и карточками: я прекрасно знал, что никакие обстоятельства не помешают, была бы только страсть. Чем большего ты добился, тем сильнее подозреваешь. Да что там, второе наше свидание было поистине невозможным.

Проснулся я, огорчась ее последней, осторожной фразе, но через три минуты это развеял голос в телефоне. Ни раньше, ни позже не знал я женщины, которая могла бы изменить все простым телефонным разговором, а когда она приходила ко мне или касалась меня, я ей полностью верил до тех пор, пока мы не расставались.

— Алло,— сказала она.— Вы не спите?

— Нет. Когда мы увидимся? Сегодня утром?

— Генри простудился. Он дома.

— Если бы вы могли прийти ко мне...

— Я должна отвечать на звонки.

— Из-за какой-то простуды?

Вчера я пожалел Генри, сейчас он стал врагом, над которым можно глумиться, ненавидеть его, топтать.

— Он совсем охрип.

Мне было приятно, что у него такая нелепая болезнь — крупный чиновник охрип, еле шепчет, не может заниматься вдовами.

— А вас нельзя увидеть? — спросил я.

— Конечно можно.

Она замолчала, и я подумал, что нас прервали. Я стал кричать «Алло! Алло!», но она просто думала, быстро прикидывая, чтобы поточнее ответить.

— В час дня я отнесу ему поднос. Мы с вами можем поесть сандвичей наверху в гостиной. Я ему скажу, что вы хотите поговорить о картине... или о вашей книге.

Спокойствие мое и доверие тут же исчезли — я подумал: сколько раз она прикидывала вот так? Звоня у ее дверей, я был ей врагом или сыщиком, следящим за ее словами, как через несколько лет следили за ней самой Паркис и его сын. Тут дверь открылась, доверие вернулось.

В те дни мы не думали, меня ли к ней тянет, ее ли ко мне,— мы были вместе. Она отнесла Генри поднос (он сидел в зеленом халате, подложив под спину две подушки), и тут же, на твердом полу, не закрыв двери, мы

[1] Термин из мистического учения кармелитского богослова XVI века Св. Иоанна (Хуан де ла Крус). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

обняли друг друга. Мне пришлось понежнее прикрыть ей рукою рот, чтобы Генри не услышал странного, печального, сердитого крика.

Скрючившись рядом с ней, я глядел на нее и глядел, словно никогда не увижу русых волос, разлившихся по полу, капелек пота на лбу, не услышу тяжелого дыхания, будто она бежала наперегонки, победила и не может отдышаться.

И тут заскрипела ступенька. Секунду-другую мы не двигались. Нетронутые сандвичи стояли на столе, пустые бокалы. Она прошептала: «Пошел вниз...» — села в кресло, взяла на колени тарелку.

— А вдруг он слышал? — сказал я.

— Он не поймет, что это.

Наверное, я глядел недоверчиво, и она сказала неприятно нежным тоном:

— Бедный Генри! За десять лет такого не было.

Но я не успокоился, и мы сидели тихо, пока опять не скрипнула ступенька. Собственный голос показался мне фальшивым, когда я громко сказал:

— Я рад, что вам понравилась сцена с луком.

Тут Генри заглянул в комнату. Он нес грелку в сером фланелевом чехле.

— Здравствуйте, Бендрикс,— просипел он.

— Я бы принесла,— сказала Сара.

— Я не хотел тебя беспокоить.

— А мы говорим о вчерашней картине.

Он посмотрел на мой бокал.

— Ты бы лучше дала бордо двадцать третьего года,— проговорил он своим одномерным голосом и ушел, прижимая грелку в чехле.

— Как, ничего? — спросил я; она покачала головой.

Сам не знаю, что я имел в виду; наверное, подумал, что при виде Генри ей стало не по себе, но она умела, как никто, прогонять угрызения совести. В отличие от всех нас, она не знала вины. Она считала: что сделано, то сделано, чего же угрызаться? Если бы Генри нас застал, она бы решила, что ему не с чего сердиться. Говорят, католики после исповеди освобождаются от греха — что ж, в этом смысле она была истинной католичкой, хотя верила в Бога не больше, чем я. Нет, так я думал тогда, теперь — не знаю.

Если книга моя собьется с курса, это потому, что сам я заблудился — у меня нет карты. Иногда я думаю, пишу ли я хоть капельку правды? В тот день я беспредельно доверял ей, когда она вдруг сказала мне, хоть я ни о чем не спрашивал: «Я никогда и никого не любила так, как тебя»,— словно, сидя в кресле, держа недоеденный сандвич, она отдалась мне вся, целиком, как пять минут назад на полу. Кто из нас решится говорить вот так, без оглядки? Мы помним, предвидим, колеблемся. Она сомнений не знала. Ей было важно одно — что происходит сейчас. Говорят, вечность — не бесконечное время, но отсутствие времени, и мне иногда кажется, что, забывая себя, Сара касалась этой математической точки, у которой нет измерений, нет протяженности. Что значило время — все прошлое, все мужчины, которых она время от времени (вот оно, снова!) знала, или будущее, когда она могла бы точно с той же правдивостью сказать то же самое? Я ответил, что и я так люблю, и солгал, ибо я никогда не забываю о времени. Для меня нет настоящего — оно либо в прошлом году, либо на будущей неделе.

Не лгала она и тогда, когда сказала: «Никого так не полюблю». Просто у времени есть противоречия, у математической точки их нет. Она любила гораздо лучше, чем я,— ведь я не мог отгородить настоящее, я всегда помнил, всегда боялся. Даже в самый миг любви я, словно сыщик, собирал улики еще не совершенных преступлений, и через четыре с лишним года, когда я открыл письмо Паркиса, память о них умножила мою скорбь.

2

«С удовольствием сообщаю, сэр,— писал Паркис,— что и я, и мой мальчик завязали знакомство со служанкой из дома 17, что ускорит наши изыскания, т. к. я теперь могу заглянуть в записную книжку особы N, а также исследовать содержимое мусорной корзины, из которой мне удалось изъять ценную улику (прошу вернуть с замечаниями). Особа N несколько лет ведет дневник, но служанка, которую я в целях осторожности буду впредь называть «наш друг», не смогла добыть его, т. к. особа N запирает его в стол, что само по себе подозрительно. Кроме того, предполагаю, что особа N не всегда делает то, что значится в записной книжке, пользуясь ею для отвода глаз, хотя и не желал бы искажать догадками расследование, в котором прежде всего требуется истинная правда».

Не только трагедия ранит нас — у нелепости тоже есть жалкое, смешное оружие. Иногда я очень хотел сунуть в рот мистеру Паркису эти дурацкие, уклончивые донесения, и непременно — при его мальчике. Все было так, словно, пытаясь поймать Сару (зачем? чтобы ранить Генри, чтобы ранить себя?), я подпустил шута к нашей с нею связи. Связи... И это слово — из его писем. Написал же он как-то: «Хотя у меня нет доказательств связи с лицом, проживающим на Седар-роуд, 16, особа N явно проявляет склонность к обману». Но это было потом. Из этого, первого письма я узнал только, что Сара пошла не к зубному врачу и не в парикмахерскую, а проследить, где же она была, не удалось. И тут, перевернув листок (лиловые буквы на дешевой бумаге), я увидел чистый и смелый почерк Сары. Я не думал, что сразу узнаю его через два года без малого.

К донесению был приколот обрывок бумажки. Паркис пометил его красным «А» и приписал: «Важно на случай суда, прошу вернуть». Он вынул это из корзины и расправил бережно, как любовник. Конечно, обращалась она к любовнику: «Мне незачем тебе писать или говорить с тобой, ты все знаешь раньше, чем я скажу, но когда любишь, хочешь говорить и писать, как всегда, как прежде. Я еще только начинаю любить, но мне надо отдать все и всех, кроме тебя, и мешают мне только страх и привычка. Дорогой мой...» И все. Записка вызывающе глядела на меня, а я думал, как же это я не запомнил каждую букву, каждый знак того, что она писала мне. Если бы ее записки были *такими,* я бы их хранил, но она именно боялась, что я сохраню их, и писала очень осторожно, чтобы я читал «между строк». А эта любовь сломала клетку строк, не могла скрываться. Помню, у нас было кодовое слово — «лук». Означало оно все то, что связывало нас. Любовь стала луком, даже соитие было луком. «...надо отдать все и всех, кроме тебя» — и лук, с ненавистью подумал я. Лук, вот что было в мое время.

Я написал: «Замечаний нет», положил клочок в конверт, но когда проснулся ночью, мог повторить все, с начала до конца, а слово «отдать» вызвало к жизни целые картины. Спать я не мог, лежал в темноте, образы сменялись: волосы на паркете, топкая лужайка за городом, в стороне от дороги, где изморозь сверкала под ее головой, а в самый последний момент появился трактор, и тракторист даже не обернулся. Почему ненависть не убивает страсти? Я бы все отдал, чтобы заснуть. Я бы вел себя как мальчишка, если б думал, что это ее заменит. Но я уже искал замену, и это не помогло.

Я человек ревнивый — глупо это писать, когда тут все о ревности, и к Генри, и к Саре, и к тому, кого Паркис так нелепо выслеживал. Теперь все в прошлом, я ревную к Генри, только если очень уж живо воспоминание (были бы мы женаты, нам бы хватило счастья на всю жизнь, с моей-то страстью, с ее верностью!), а вот к сопернику ревную страшно. «Соперник»... Этому слову из мелодрамы не выразить той мучительной радости, того доверия, того счастья, которые выпали ему. Порой мне кажется, что он бы меня и не заметил, и я хочу крикнуть: «Нет, я есть! Я тут! Что бы потом ни случилось, она любила меня».

Мы с Сарой подолгу спорили о ревности. Я ревновал и к прошлому,

она мне честно о нем говорила при случае — романы эти ничего не значили для нее (разве что она подсознательно стремилась к тому содроганью, которого не узнала с Генри). Любовникам она была верна, как мужу,— и мне, конечно, но даже это не утешало, а злило меня. Когда-то она смеялась над моей злостью, не верила в мою искренность, как не верила в свою красоту, а я злился, что она не ревнует меня ни к прошлому, ни к будущему. Я не верил, что можно любить иначе, я измерял любовь ревностью, и получалось, что она совсем меня не любит.

Доводы были всегда одни и те же, и я опишу лишь тот разговор, когда они кончились действием — глупым действием, оно не привело ни к чему, разве что к тому сомнению, которое приходит, только я начну писать: а вдруг права она, не прав — я?

Помню, я сердито сказал:

— Это все остатки твоей фригидности. Фригидные женщины не ревнуют. Ты просто еще не научилась нормальным человеческим чувствам.

Я злился, что она не спорит.

— Может, ты прав. Я только хочу, чтобы ты был счастлив. Мне очень тяжело, когда ты страдаешь. Если ты отчего-то счастлив, вот и хорошо, я не против.

— Нет, постой. Если я с кем-нибудь сплю, ты думаешь, что и тебе можно.

— Да нет, я хочу тебе счастья, вот и все.

— Значит, постелила бы мне постель?

— Наверное.

Для любовника нет ничего хуже неуверенности — самый скучный, бесстрастный брак и то кажется лучше. Она искажает слова, отравляет доверие. В осажденном городе каждый страж — возможный предатель. Еще до Паркиса я пытался следить за ней — ловил на мелкой лжи, на уклончивости, которая значила только, что она меня боится. Каждую ложь я раздувал в измену, даже в самых ясных словах искал скрытый смысл. Я просто подумать не мог, что она — с другим, и все время этого боялся, подозревая дурное в случайных движениях руки.

— Разве ты не хочешь, чтобы я была счастливой, а не несчастной? — с невыносимой логичностью спросила она.

— Я скорее бы умер или тебя увидел мертвой,— сказал я,— чем с другим мужчиной. Это простая человеческая любовь. Спроси кого хочешь. Всякий так скажет... если любит. Кто любит, тот и ревнует.

Мы были у меня. Стояла весна, смеркалось, времени у нас было много, а я завел ссору, и ничего не вышло. Она села на кровати и сказала:

— Прости. Я не хотела тебя злить. Наверное, ты прав.

Но я не отстал. Я ненавидел ее, я хотел думать, что она меня не любит, хотел вышвырнуть ее из моей жизни. Что мне было нужно, зачем я к ней прицепился? Ну, любит, не любит — она не изменяла мне почти год, терпела мои обиды, мне было с ней очень хорошо, а что я ей дал, кроме мгновенных наслаждений? Роман я начал здраво, я знал, что когда-то он кончится, но неуверенность давила меня, как депрессия, я думал и выводил, что ждать мне нечего, и мучил ее, мучил, торопя будущее — нежеланного, незваного гостя. Любовь и страх заменили мне совесть. Если бы мы верили в грех, мы навряд ли вели бы себя иначе.

— Генри бы ты ревновала,— сказал я.

— Что ты! Нет. Это глупо.

— Если бы что-нибудь грозило твоему браку...

— Этого не будет,— печально сказала она, а я обиделся и быстро вышел на улицу. «Конец? — думал я, играя перед самим собой.— Возвращаться не надо. Если я выключу ее из жизни, что ж, я не найду тихой, доброй жены? Ревновать я не буду, ведь не буду так любить, доверяю — и все». Жалость к себе и ненависть шли рука об руку через сад, словно два сумасшедших без санитара.

Когда я начал писать, я сказал, что это — о ненависти, а теперь не знаю. Быть может, я ненавижу так же плохо, как люблю. Сейчас я поднял

глаза, увидел себя в зеркале над столом и подумал: «Неужели ненависть — вот такая?» Я вспомнил лицо, которое все мы детьми видим в окне лавки, затуманенном нашим дыханием, когда тоскливо взираем на яркие, недоступные предметы.

Кажется, этот наш спор был в мае 1940 года. Война во многом нам помогла, и я почти что видел в ней нечестного, ненадежного сообщника нашей связи (я намеренно думал именно так, «связь», чтобы растравить себя каустической содой слова, подразумевающего начало и конец). Германия вроде бы уже заняла Нидерланды, и весна пахла сладковато и мерзко, будто труп, но мне были важны только две вещи: Генри работал допоздна, а моя хозяйка перебралась в подвал, боясь бомбежек, и не выглядывала проверить, кто идет. Моя собственная жизнь не изменилась, я ведь хромой (одна нога короче — упал в детстве), только с началом бомбежек решил ходить на дежурства. Тогда я был как бы выключен из войны.

В тот вечер я все еще ненавидел и сомневался, когда дошел до Пикадилли. Больше всего на свете хотел я уязвить Сару. Я хотел привести к себе женщину и лечь с ней на ту же самую кровать; я как будто бы знал, что Саре станет больно, только если станет больно мне. На улице было темно и тихо, хотя по безлунному небу бродили лучи прожекторов. Женщины стояли у дверей и у входа в бомбоубежище, но лиц я различить не мог. Им приходилось светить фонариками, словно светлячкам, и до самой Сэквил-стрит двигались огоньки. Я подумал: что же делает Сара, ушла домой или ждет меня?

Женщина с фонариком сказала:

— Пойдем, миленький?

Я покачал головой. Дальше девица говорила с мужчиной; когда она посветила себе в лицо, я увидел, что она смуглая, юная, даже счастливая — зверек, не понимающий, что он в ловушке. Сперва я прошел мимо, потом вернулся. Мужчина как раз отошел.

— Выпьем? — предложил я.

— А домой пойдем?

— Да.

— Я бы хлебнула.

Мы пошли в кабачок, я заказал два виски, она пила, а я не мог видеть ее лицо, видел Сару. Она была моложе, конечно,— лет девятнадцати, не больше, красивей, мало того — невинней, но лишь потому, что нечего было портить. Она была мне нужна не больше, чем кошка или собака. Рассказывала она, что у нее есть хорошая квартирка совсем недалеко. Она сообщила, сколько платит, и сколько ей лет, и где она родилась, и как работала целый год в кафе. Она заверила, что ходит не со всяким, но сразу видит приличного мужчину. Она поведала, что у нее есть канарейка по имени Джонс — в честь джентльмена, который ее подарил. Она завела речь о том, как трудно устроиться в Лондоне. А я думал: если Сара еще у меня, я могу позвонить ей. Девица спросила, буду ли я вспоминать про канарейку, и прибавила: «Ничего, что я интересуюсь?»

Глядя на нее поверх стакана, я думал, как странно, что меня совершенно к ней не тянет, словно после всех этих распутных лет я вдруг стал взрослым. Любовь моя к Саре навсегда убила похоть. Больше я не смогу получать наслаждение без любви.

И уж никак не любовь привела меня в этот кабак. «Не любовь, а ненависть»,— говорил я себе тогда, говорю и сейчас, когда пишу, пытаясь выключить Сару из жизни,— ведь я всегда считал, что, умри она, я ее забуду.

Я вышел на улицу, оставив девушку с виски и фунтовой бумажкой, чтобы не обижалась, и по Нью-Барлингтон-стрит добрался до телефонной будки. Фонарика у меня не было, пришлось чиркать спичками, пока я набирал номер. Услышав гудки, я представил телефон на столе. Я точно знал, сколько шагов надо сделать Саре, если она сидит в кресле или лежит в кровати. Но телефон звонил с полминуты в пустой комнате. Тогда я набрал уже Сарин номер, и служанка сказала, что ее нет. Я представил,

как она идет в темноте через сад — там было не слишком спокойно. Взглянув на часы, я подумал, что, будь я поумней, мы провели бы вместе еще три часа. Потом я вернулся домой, пытался читать, телефон все не звонил. Сам я из гордости звонить не мог. Наконец я лег спать и принял две таблетки, так что проснулся от ее голоса, спокойного, как ни в чем не бывало.

Никогда не понимал, почему люди могут проглотить такую несообразность, как Бог, а в дьявола не верят. Уж я-то знал, как действует он в моем воображении. Что бы Сара ни сказала, у него находились доводы, хотя обычно он ждал, пока она уйдет. Он готовил задолго наши ссоры; он был врагом не Саре, но любви, а ведь его таким и считают. Если был бы любящий Бог, дьявол волей-неволей мешал бы самому слабому, самому жалкому подобию любви. Разве не боялся бы он, что привычка к любви укоренится, разве не стал бы склонять нас к предательству, не помогал гасить любовь? Если Бог использует нас и создает святых из такого материала, чем дьявол хуже? Вполне может быть, что даже из меня, даже из бедняги Паркиса он мечтает сделать *своих* святых, готовых разрушить любовь, где б они ее ни нашли.

3

В следующем донесении Паркиса я, кажется, и впрямь различил искреннюю страсть к бесовской игре. Наконец он почуял любовь и травил ее, а сын шел за ним, как охотничья собака. Паркис открыл, где проводит Сара столько времени; мало того, он знал точно, что свидания — тайные. Приходилось признать, что он умелый сыщик. Ему удалось (с помощью мальчика) выманить служанку на Седар-роуд как раз тогда, когда «особа N» шла к дому 16. Сара остановилась, заговорила с нею — у той был свободный день — и познакомилась с Паркисом-младшим. Потом она свернула за угол, а там притаился Паркис-старший. Он видел, как она прошла немного и вернулась. Когда она убедилась в том, что мальчика и служанки нет, она позвонила в дверь шестнадцатого дома, а Паркис-отец принялся выяснять, кто же в нем живет. Это оказалось нелегко, там были квартиры, а он еще не узнал, какой из трех звонков нажала Сара. Окончательные сведения он обещал добыть за несколько дней. Он собирался обогнать Сару и припудрить все три звонка. «Конечно, кроме улики «А», у нас нет доказательств неверности. Если потребуется для суда, придется через должное время последовать за особой N в помещение. Тогда нам будет нужен второй свидетель, дабы опознать ее. Заставать ее за самим делом — не обязательно: волнения и беспорядка в одежде достаточно для суда».

Ненависть похожа на вожделение — она нарастает, потом спадает. Бедная Сара, думал я, читая все это, ибо приступ ненависти прошел, я успокоился. Я мог жалеть ее, загнанную. Она ничего не сделала, только полюбила, а Паркис с сыном следят за каждым ее движением, заводят интриги с ее служанкой, припудривают звонки, хотят ворваться туда, где, быть может, она только и обретает покой. Я чуть было не порвал письмо и не отменил слежку. Наверное, я так бы и сделал, если бы не открыл в своем клубе «Тэтлер» и не увидел Генри на фотографии. Теперь он преуспевал, к последнему дню рождения короля он получил орден за свою службу, он был председателем Королевской комиссии — и вот, пожалуйста, он на премьере фильма «Последняя сирена», бледный, таращится от яркого света, под руку с Сарой. Она опустила голову, чтобы не видеть вспышки, но я бы где угодно узнал густые волосы, сопротивлявшиеся пальцам. Мне вдруг захотелось потрогать их (и другие волосы, тайные), мне захотелось, чтобы Сара лежала рядом со мной, а я мог повернуть голову на подушке и поговорить с ней. Я жаждал едва уловимого запаха и вкуса ее кожи, но Генри был с нею, глядел в камеру самодовольно и уверенно, как начальник.

Я уселся под оленьей головой, которую подарил в 1898 году сэр Уолтер Безант, и написал Генри. Писал я, что у меня есть важные новости, надо обсудить их, пообедаем тут, в моем клубе, пусть он выберет любой день

будущей недели. Конечно, он сразу позвонил и предложил пообедать у него — в жизни не видел человека, который так не любил бы ходить к кому-то. Не помню, какой был предлог, но тогда я рассердился. Кажется, он сказал, что у них какое-то особенное вино, но на самом деле он не хотел быть обязанным, даже в такой мелочи. Он и не догадывался, как мало он мне обязан. Выбрал он субботу, в этот день у нас в клубе никого нет. Журналисты не собирают материал, учителя уезжают к себе в Бромли или Стритэм, а священники не знаю, чем заняты — наверное, сидят дома, пишут проповеди. Что до писателей (для кого клуб и был основан), почти все они висят на стене — Конан Дойл, Чарльз Гарвис, Стенли Уэймен, Нэт Гульд, еще какие-то знаменитые и знакомые лица. Живых можно сосчитать на пальцах одной руки. Я любил этот клуб, потому что там очень мало шансов встретить коллегу.

Помню, Генри, по простодушию, выбрал венский бифштекс. Наверное, он думал, что это вроде шницеля по-венски. Он был не у себя, слишком смущался, чтобы удивиться вслух, и как-то протаранил сырое розовое мясо. Я вспоминал, какой важный он на фотографии, и промолчал, когда он заказал пудинг «Кабинет». За этим мерзким обедом (клуб превзошел себя в тот день) мы старательно говорили о пустяках. Генри изо всех сил придавал секретность делам своей комиссии, о которых писали во всех газетах. Пить кофе мы пошли в гостиную и оказались уж совсем одни, перед камином, на черном волосяном диване. Я подумал, что рога на стенах очень к месту, и, положив ноги на старомодную решетку, прочно загнал Генри в угол. Помешивая кофе, я спросил:

— Как Сара?

— Спасибо, хорошо,— сказал уклончиво Генри. Вино он потягивал осторожно; видимо, не забыл венского бифштекса.

— Вы еще беспокоитесь? — спросил я.

Он невесело отвел взгляд.

— Беспокоюсь?

— Ну, как тогда. Вы же сами говорили.

— Не помню. Она хорошо себя чувствует,— неловко объяснил он, словно я справился о здоровье.

— Вы не ходили к этим сыщикам?

— Я надеялся, вы забыли. Понимаете, я устал, комиссия... Переработал.

— Помните, я предложил пойти туда вместо вас?

— Мы оба немножко утомились.— Он глядел вверх, щурясь, чтобы разглядеть, кто подарил рога.— У вас тут много голов,— глупо прибавил он.

Я не отставал:

— Через несколько дней я был у него.

Он поставил стакан.

— Бендрикс, вы не имеете права...

— Расходы несу я.

— Какая наглость!

Он встал, но не мог бы выйти, не толкнув меня, а насилия он не любил.

— Вы же хотели снять подозрения? — сказал я.

— Подозрений и нет.

— Вам бы надо прочитать отчеты.

— Не собираюсь...

— Тогда я лучше прочитаю вам про тайные свидания. Любовное письмо я вернул, им нужны улики. Дорогой Генри, вас обманули.

Он, кажется, и впрямь чуть меня не ударил. Тогда я с великой радостью дал бы сдачи, не ему, супружеским узам, которые Сара так нелепо чтила, но тут вошел секретарь клуба, высокий, седой, бородатый, в закапанном супом жилете. Выглядел он как викторианский поэт, а на самом деле писал печальные воспоминания о собаках. Повесть «Прощай, Фидо» имела большой успех в 1912 году.

— А, Бендрикс! — сказал он.— Давненько вас тут не видел.

Я познакомил их, и он сказал поспешно, как парикмахер:

— Каждый день читаю отчеты.

— Какие отчеты? — испугался Генри. Впервые в жизни он не сразу подумал о службе.

— Королевской комиссии.

Когда он ушел наконец, Генри сказал:

— Прошу вас, дайте мне отчеты и пропустите меня.

Я представил себе, сколько он передумал, пока тут был секретарь, и вручил ему последний отчет. Он немедленно бросил его в огонь, проткнув кочергой для верности. Как-никак, в этом было достоинство.

— Что вы будете делать? — спросил я.

— Ничего.

— С фактами не поспоришь.

— К черту факты.

Никогда не слышал, чтобы он ругался.

— Я всегда могу дать вам копию.

— Вы меня пропустите или нет?

Дьявол сделал свое дело, яд мой исчез. Я убрал ноги с решетки. Генри тут же ушел из клуба, оставив шляпу, черную хорошую шляпу, которую я увидел на Коммон, под дождем, много веков, а не сколько-то недель назад.

4

Я думал его догнать или хотя бы увидеть еще до Уайтхолла и взял эту шляпу, но его нигде не было, и я повернул обратно, не зная, куда идти. Теперь у нас столько лишнего времени, просто сил никаких. Я заглянул в книжную лавочку у метро «Черинг-кросс» и прикинул: вполне возможно, что в этот самый миг Сара нажимает припудренную кнопку звонка на Седар-роуд, а Паркис караулит за углом. Если бы я мог обратить время вспять, я бы не подошел к Генри, пускай его идет один под дождем. Но что-то я не уверен, способно ли какое-либо из моих действий изменить ход событий. Теперь мы с Генри — союзники, на свой, особый лад, но боремся ли мы оба с неутомимым течением?

Я перешел дорогу, прошел мимо лотков с фруктами и нырнул в Виктория-гарденс. День был ветреный, серый, на скамейках сидело мало народу, и я почти сразу увидел Генри. В саду, без шляпы, он был одним из обездоленных, безымянных, тех, кто приехал из бедного пригорода и никого тут не знает, как старик, кормящий воробьев, или женщина с бумажным пакетом, на котором написано «Суон энд Эдгар». Он сидел, опустив голову, глядел на свои ботинки. Я так долго жалел себя, себя одного, что не умел пожалеть противника. Тихо положив шляпу рядом с ним, я хотел было уйти, но он поднял голову, и я увидел, что он плачет. Наверное, он прошел немалый путь. Слезы — не в том мире, в каком заседает комиссия.

— Простите,— сказал я.— Мне очень жаль.

Как легко мы верим, что условное сочувствие смоет любую обиду!

— Садитесь,— приказал он властью слез, и я повиновался.— Я думал. Вы были ее любовником?

— С чего вы взяли...

— Это единственное объяснение.

— Я не понимаю, о чем вы?

— И единственное оправдание, Бендрикс. Разве вы не видите, что ваш поступок... чудовищен?

Он вертел в руках шляпу, разглядывал фамилию шляпника.

— Наверное, вы думаете, какой я дурак, если сам не догадался. Почему она меня не бросила?

Неужели надо объяснять ему, какая у него жена? Яд заработал снова. Я сказал:

— У вас хороший, верный доход. Она к вам привыкла. С вами надежнее.

Он слушал серьезно, внимательно, словно я — свидетель в его комиссии. Я злобно продолжал:

— Вы мешали нам не больше, чем другим.

— Были и другие?

— Иногда я думал, вы все знаете, вам все равно. Иногда хотел поговорить начистоту, вот как сейчас, когда уже поздно. Я хотел сказать, что́ о вас думаю.

— Что же вы думали?

— Что вы сводник. Свели ее со мной, свели с ними, теперь — с этим, последним. Вечно со всеми сводите. Почему вы не разозлитесь?

— Я не знал.

— Вот этим и сводили. Сводили тем, что не умели с ней спать, ей приходилось искать на стороне. Сводили тем, что не мешали... Тем, что вы зануда и дурак, а тот, кто не дурак и не зануда, сейчас с ней на Седар-роуд.

— Почему она вас оставила?

— Потому что я тоже стал скучным и глупым. Но я таким не был, Генри. Это вы сделали. Она не бросала вас, вот я и стал занудой, докучал ей жалобами и ревностью.

— Ваши книги многим нравятся,— сказал он.

— А про вас говорят, что вы государственный деятель. При чем тут наша работа? Такая ерунда...

— Разве? — сказал он, печально глядя на серую тучу.— Для меня это самое важное.

Человек, кормивший воробьев, ушел, ушла и женщина с пакетом, а продавцы фруктов кричали, как звери в тумане, у станции. Было так, словно опустили затемнение.

— То-то я удивлялся, что вы к нам не ходите,— сказал Генри.

— Наверное... наверное, мы дошли до конца любви. Нам больше нечего было делать вместе. С вами она могла стряпать, отдыхать, засыпать рядом, а со мной только одно — заниматься любовью.

— Она к вам очень хорошо относится,— сказал он, будто это я плачу и его дело — утешать.

— Этим сыт не будешь.

— Я был.

— А я хотел, чтобы она меня любила всегда, вечно...

Никогда ни с кем, кроме Сары, я не говорил так, но ответил он по-другому, чем ответила бы она. Он сказал:

— Человеку это не свойственно. Надо смиряться...

Сара не сказала бы так; и, сидя рядом с Генри в саду, глядя на гаснущий день, я вспоминал конец нашего романа.

5

Она сказала мне (это были чуть ли не последние ее слова до тех пор, пока она, вся мокрая, не вошла в свой дом со свидания), она сказала: «Ты не бойся, любовь не кончается. Если мы друг друга не видим...» Она уже все решила, но узнал я только назавтра, когда телефон молчал так, словно кто-то умер.

— Дорогой мой дорогой,— сказала она.— Люди ведь любят Бога, а не видят, правда?

— У нас не такая любовь.

— Иногда я думаю, другой не бывает.

Надо было понять, что кто-то влияет на нее, раньше она так не говорила. Когда-то мы радостно согласились, что в нашем мире Бога нет. Я светил ей фонариком, она шла по развороченному холлу и снова сказала:

— Все будет хорошо. Если мы очень любим.

— Куда уж больше,— сказал я.— Все тебе отдал.

— Ты не знаешь,— сказала она.— Не знаешь.

Стекло хрустело под ногами. Только викторианский витраж над две-

рью выдержал. Давленое стекло белело, как лед, который растоптали дети в сырых полях или у дорог, и она повторила:

— Не бойся.

Я понимал, что она имеет в виду не странные новые снаряды, которые и через пять часов упорно жужжали где-то на юге, словно пчелы.

Той ночью, в июне 1944-го, на нас впервые посыпались «фау-1». Мы отвыкли от бомбежек. Крупных не было с февраля 1941-го, и только недавно, в феврале, была одна, небольшая. Когда завыли сирены и появились снаряды, мы решили, что несколько самолетов прорвалось через противовоздушный барьер. Если через час нет отбоя, становится не по себе. Помню, я сказал Саре: «Наверное, сирена разладилась, отвыкли». И тут в темноте с моей кровати мы увидели первый снаряд — он пролетел прямо над Коммон. Мы думали, это горящий самолет, а странно, глухо жужжит мотор без управления. Потом появился второй, потом — третий, и мы переменили мнение о зенитках. «Их же стреляют как голубей,— сказал я.— Они с ума сошли, если не уймутся». Но они не унялись, не унимались часами, даже когда рассвело, и тут мы поняли, что это не самолеты.

Когда объявили тревогу, мы только легли. Нам было все равно. Мы не думали о смерти в эти часы, поначалу я даже молил о ней — исчезнешь начисто, не надо будет вставать, одеваться, смотреть, как ее фонарик мелькает за окном, словно уезжает медленная машина. Я думал иногда: не продолжает ли вечность самый миг смерти? Если это так, я охотно умер бы в миг полного доверия и полной радости, когда невозможно поссориться, ибо невозможно думать. Я жалуюсь на ее осторожность, я горько сравниваю наш «лук» с тем, что написала она на клочке, который раздобыл Паркис, но я бы меньше завидовал неведомому преемнику, если бы не знал, как умеет она забыться. «Фау-1» не беспокоили нас, пока мы не пришли в себя. Опустошенный вконец, я лежал головой на ее животе, ощущая во рту неуловимый, словно вода, вкус ее кожи, когда снаряд взорвался совсем рядом и мы услышали, как здесь, на южной стороне, посыпались стекла.

— Надо бы в подвал,— сказал я.

— Там твоя хозяйка. Не могу я видеть чужих.

В такую минуту приходит нежность ответственности, и ты забываешь, что ты — только любовник, не отвечающий ни за что. Я сказал:

— Может, ее и нет. Пойду посмотрю.

— Не ходи,— сказала Сара.— Пожалуйста, не ходи.

— Я на минутку.

Мы говорили так, хотя и знали, что минутка может обратиться в вечность. Я надел халат, взял фонарик. Он не был мне нужен, небо уже посерело, и я видел в полумраке Сарино лицо.

Она сказала:

— Ты поскорей.

Сбегая по ступенькам, я услышал жужжание, потом наступила тишина. Мы еще не знали, что это самое опасное, тут надо быстро ложиться, и подальше от стекол. Взрыва я так и не слышал, а через пять секунд или через пять минут очнулся в другом мире. Я думал, что я стою, и удивился, почему так темно. Кто-то вдавливал мне в щеку холодный кулак, во рту было солоно. Сперва я ощутил только усталость, словно я долго шел. О Саре я не помнил, ничего не боялся, не сомневался, не ревновал, не испытывал ненависти — разум мой стал белым листом бумаги, на котором кто-то сейчас написал весть о радости. Я был уверен, что память вернется, а весть останется, я буду счастлив.

Но память вернулась иначе. Сначала я понял, что лежу на спине, а надо мной, закрывая свет, висит входная дверь, какие-то обломки держат ее чуть повыше моего тела. Как ни странно, потом оказалось, что я весь в ссадинах, словно меня ранила ее тень. В щеку впивалась фарфоровая ручка, она и выбила два зуба. Тут я вспомнил Сару и Генри и страх, что кончится любовь.

Я вылез из-под двери и отряхнулся. Я крикнул, но в подвале никого не было. Сквозь разбитую дверь я видел серый утренний свет, за порогом

было как-то слишком пусто — и я понял, что исчезло большое дерево, да так, что и ствола не осталось. Довольно далеко дежурные свистели в свистки. Я пошел наверх. Первый пролет был усыпан штукатуркой, перила обваливались, но дом, по тогдашним понятиям, не слишком пострадал, удар пришелся по соседнему. У меня была распахнута дверь, я из коридора увидел Сару, скорчившуюся на полу, и подумал, что это от страха. Она была до нелепости юной, как голая девочка. Я сказал:

— Рядом упало.

Она быстро обернулась и испуганно воззрилась на меня. Я не знал, что халат в клочьях, весь белый от штукатурки, и волосы белые, а лицо в крови.

— О Господи! — сказала она.— Ты живой.

— Ты как будто разочарована.

Она встала и пошла туда, где лежала одежда. Я сказал:

— Зачем уходить сейчас? Скоро отбой.

— Мне надо идти,— сказала она.

— Две бомбы не падают в одно место,— сказал я машинально, ибо знал, что это просто поверье.

— Ты ранен.

— Два зуба выбило, вот и все.

— Иди, я тебя умою.

Она оделась раньше, чем я успел возразить ей,— в жизни не видел женщины, которая бы так быстро одевалась,— и медленно, бережно умыла меня.

— Что ты делала на полу? — спросил я.

— Молилась.

— Кому это?

— Чему-то, что, может, и есть.

— Лучше бы пошла вниз.

Меня пугала такая серьезность. Я хотел раздразнить Сару.

— А я ходила,— сказала она.

— Не слышал.

— Там никого не было. Я тебя не видела, пока не заметила руку. Я думала, ты убит.

— А ты бы проверила.

— Я хотела проверить. Дверь не могла поднять.

— Там был зазор. Она меня не придавила.

— Никак не пойму. Я точно знала, что ты мертвый.

— Тогда и молиться не о чем, верно? — дразнил я ее.— Разве что о чуде.

— Когда надежды нет,— сказала она,— и о чуде помолишься. Чудеса ведь бывают у несчастных, а я была несчастна.

— Не уходи до отбоя.

Она покачала головой и вышла из комнаты. Я проводил ее вниз и, сам того не желая, стал донимать ее:

— Сегодня придешь?

— Нет, не могу.

— А завтра?..

— Генри вернется.

Генри, Генри, Генри — это имя вечно мешало радоваться, или смеяться, или любить, напоминая, что любовь смертна, что побеждают привычка и привязанность.

— Ты не бойся,— сказала она,— любовь не кончается...

И почти два года прошло, пока я не встретил ее и она не вскрикнула: «Вы?»

6

После этого я, конечно, еще надеялся. Когда не отвечал телефон, я думал, что это случайность; когда же через неделю я встретил служанку и узнал, что Майлзы уехали куда-то в деревню, я сказал себе, что в военное

время письма часто теряются. Утро за утром слышал я, как кладут почту в ящик, и нарочно сидел наверху, пока все не принесет хозяйка. Письма я не разбирал, откладывал разочарование, берёг надежду. Я читал их по порядку и, только дойдя до последнего, убеждался, что от Сары ничего нет. Потом я кое-как жил до четырехчасовой почты, и все, опять начиналась ночь.

Почти неделю я не писал ей из гордости, но как-то утром, оставив все это, написал сердитое, тревожное письмо с пометкой «Срочно! Перешлите, пожалуйста». Ответа не было, и тут я потерял надежду и вспомнил в точности, что она сказала: «Люди ведь любят Бога, а не видят». Я с ненавистью думал: «Всегда ей надо хорошо выглядеть в зеркале. Она смешивает веру с предательством, чтобы казаться себе благородной. Не хочет просто признать, что теперь ей больше нравится спать с Х».

Это время было хуже всего. Ремесло мое — воображать, думать образами; пятьдесят раз на дню и ночью, как только я проснусь, занавес поднимался, начиналась пьеса, все одна и та же — Сара в постели, Сара с этим Х делала то же самое, что делали мы с ней. Она целовала его на свой, особый манер, изгибалась, кричала, как от боли, забывала себя. Я принимал таблетки, чтобы сразу заснуть, но не нашел таких, от которых бы я спал до утра. Одни лишь «фау» отвлекали меня — несколько секунд, от тишины до взрыва, я не думал о Саре. Через три недели образы ничуть не померкли, им не было конца, и я начал всерьез размышлять о самоубийстве. Я даже назначил число и стал с какой-то надеждой копить таблетки. «В сущности,— думал я,— так жить незачем». День настал, я отложил задуманное, игра тянулась и тянулась. Не трусость, а память останавливала меня — я вспоминал, как разочарована была Сара, когда я вошел после взрыва в комнату. Наверное, она надеялась, что я умер,— тогда не так совестно крутить любовь с этим Х, ведь есть же у нее элементарная совесть... Если я убью себя, ей будет незачем беспокоиться, а так — беспокоится же она, хоть когда-то. Я не собирался облегчать ей жизнь. Я бы хотел, чтобы она мучилась как можно сильнее, но не знал, что для этого сделать, и еще больше злился. Я ненавидел ее.

Однако у ненависти есть конец, как есть конец у любви. Через полгода я заметил, что не думал о Саре целый день и неплохо себя чувствовал. Это был еще не конец — я купил открытку и хотел написать что-нибудь такое, чтобы причинить хоть мгновенную боль; но когда я вывел адрес, причинять боль мне расхотелось, и я бросил открытку на тротуар. Странно, что ненависть ожила, когда я встретил Генри. Помню, распечатывая новый отчет, я подумал: «Если бы так ожила любовь...»

Паркис поработал на славу, квартиру узнал — на верхнем этаже, живет в ней мисс Смитт с братом Ричардом. Я подумал: «Так ли удобна сестра, как был удобен муж?» — и весь мой скрытый снобизм взыграл при такой фамилии, через два «т», подумать только! «Неужели,— возмущался я,— она докатилась до этого?» Кто он, последний из любовников, с которыми она была эти два года,— или, когда я его увижу (а я твердо решил убедиться во всем сам), передо мной будет тот, к кому она ушла от меня в июне 1944-го?

— Позвонить мне и войти, как оскорбленному супругу? — спросил я Паркиса, который назначил свидание в кондитерской, потому что не мог повести мальчика в бар.

— Нет, сэр, не надо,— сказал он, накладывая в чай сахар. Мальчик сидел подальше, за столиком, пил оранжад и ел пышку. Он разглядывал всех, кто войдет. Люди отряхивали мокрый снег с пальто и шляп, а он смотрел на них острыми карими глазами, словно собирался писать отчет. Может, так и было, он же учился у отца. Тот говорил:

— Понимаете, сэр, если вы хотите давать показания, это осложнит дело.

— До суда не дойдет.

— Порешите миром?

— Нечего решать,— сказал я.— Нельзя волноваться из-за человека по фамилии Смитт. Просто хочу на него поглядеть, вот и все.

— Лучше всего сказать, что проверяете счетчик.

— Не могу я надеть форменную фуражку.

— Понимаю, сэр. Я тоже таких вещей избегаю. И хотел бы, чтоб мальчик избегал, когда подрастет.— Он следил печальным взором за каждым движением сына.— Он просил мороженого, сэр, но я отказал, холодно.— И он вздрогнул, словно бы от одной мысли. Я не сразу понял, что он имеет в виду, когда он добавил: — У каждого дела своя честь.

— Вы не отпустите сына со мной? — спросил я.

— Если вы пообещаете, сэр, что ничего дурного не будет,— неуверенно ответил он.

— Я не хочу заходить, когда миссис Майлз там.

— При чем тут мальчик, сэр?

— Я скажу, ему стало плохо. Мы спутали адрес. Им придется пустить его ненадолго.

— Это он может,— гордо сказал Паркис.— Перед Лансом никто не устоит.

— Его зовут Ланс?

— Ланселот, сэр. Как рыцарь Круглого Стола.

— Удивительно! Такой неприятный эпизод...

— Этот рыцарь нашел Грааль, сэр.

— Нет, то Галахад. Ланселота застали с Гиневрой.

Почему нам хочется дразнить невинных? Из зависти? Паркис печально проговорил, глядя на сына так, словно тот его предал:

— Не слыхал...

7

На следующий день, вопреки воле отца, я купил мальчику мороженое по дороге к Седар-роуд. У Генри были гости, так сообщил Паркис, и я мог не беспокоиться. Паркис вручил мне сына, почистив его как следует. Тот был в самом лучшем, он ведь впервые выходил на сцену вместе с клиентом, а я — в самом худшем. Земляничное мороженое упало ему на пиджак, получилось пятно. Я сидел тихо, пока он не съел все до капли, потом спросил:

— Еще порцию?

Он кивнул.

— Земляничного?

— Ванильного,— ответил он, и прибавил: — Пожалуйста.

Вторую порцию он ел осторожно, облизывал ложку, словно удалял отпечатки пальцев. Я взял его за руку, и мы пошли на Седар-роуд как отец с сыном. «Ни у меня, ни у Сары нет детей,— думал я.— Разве семья, дети, тихая, скучная жизнь не лучше вороватой похоти, и ревности, и этих доносов?»

Я нашел звонок верхней квартиры и сказал мальчику:

— Помни, тебе худо.

— Если они мне дадут мороженое...— начал он. Паркис научил его прикидывать заранее.

— Не дадут.

Видимо, двери открыла мисс Смитт, женщина средних лет с седыми тусклыми волосами, как на благотворительных базарах. Я спросил:

— Мистер Уилсон тут живет?

— Нет. Простите, вы, наверное...

— Вы часом не знаете, он не на первом этаже?

— Здесь никакого Уилсона нет.

— О Господи! — сказал я.— Тащил мальчика в такую даль, ему худо...

На мальчика я взглянуть не решался, но мисс Смитт смотрела так, что я знал: тихо и верно он исполняет свою роль. Мистер Сэвидж был бы рад принять его в свою команду.

— Пускай зайдет посидит,— сказала она.

— Спасибо вам большое.

Думал я о том, часто ли Сара входила в эту тесную переднюю. Я был у Х. Наверное, коричневая шляпа на вешалке принадлежала ему. Его пальцы — те пальцы, которыми он трогал Сару,— каждый день поворачивали эту ручку, открывали дверь, за которой желтым пламенем горел газ, лампы под розовыми абажурами светили сквозь снежно-серый сумрак, стоял диван в ситцевом чехле.

— Дать вашему сыну воды? — спросила мисс Смитт.

— Спасибо вам большое.

Я вспомнил, что уже говорил это.

— Может, апельсинового соку?

— Не беспокойтесь.

— Соку,— твердо сказал мальчик, подумал и прибавил: — Пожалуйста.

Она вышла. Мы остались одни, и я на него взглянул. Он скрючился на диване и в самом деле выглядел плохо. Если бы он не подмигнул мне, я бы подумал, что... Мисс Смитт принесла сок, я сказал:

— А где спасибо, Артур?

— Его зовут Артур?

— Артур Джеймс.

— Какое старинное имя!

— У нас старомодная семья. Его мать обожала Теннисона.

— Она?..

— Да, ее нет.

Мисс Смитт с состраданием посмотрела на мальчика.

— Наверное, он очень утешает вас.

— И беспокоит,— сказал я. Мне становилось стыдно — она всему верила. Зачем я пришел? Этого Х я навряд ли увижу, и стану ли я счастливей, если встречусь с ним лицом к лицу? Я изменил тактику.

— Надо мне представиться,— сказал я.— Бриджес.

— Смитт.

— Мне кажется, я вас где-то видел.

— Навряд ли. У меня память на лица.

— Может быть, на Коммон?

— Да, я там бываю с братом.

— Не Джон ли Смитт?

— Нет, Ричард. Как мальчику, лучше?

— Хуже,— сказал Паркис-младший.

— Температуру измерить не хотите?

— А можно мне еще соку?

— Это ведь не повредит? — сказала она.— Бедный мальчик. Наверное, простудился.

— Мы и так вас замучили.

— Брат никогда не простил бы, если бы я вас не пригласила. Он очень любит детей.

— Он дома?

— Вот-вот придет.

— С работы?

— Вообще-то он работает по воскресеньям...

— Священник? — не без ехидства спросил я и с удивлением услышал:

— Не совсем.

Какая-то озабоченность разделила нас, словно занавес, и за ним осталась мисс Смитт со своими домашними делами. Тут входная дверь открылась и вошел Х. В полумраке передней он показался мне красивым, как актер (такие люди часто смотрятся в зеркало), и пошловатым. Я подумал, печально, совсем без злорадства: «Какой же у нее плохой вкус...» Смитт вошел в круг света; на щеке его, как знак отличия, багровели огромные пятна. Я был к нему несправедлив, навряд ли он смотрелся в зеркало.

Мисс Смитт сказала:

— Мой брат Ричард. Мистер Бриджес. У мистера Бриджеса сыну плохо. Я их пригласила зайти.

Он пожал мне руку, глядя на мальчика. Рука была сухая, горячая.

— Вашего сына я видел,— сказал он.

— На Коммон?

— Вполне возможно.

Он был слишком властен для этой комнаты, он не подходил к ситцу. Интересно, сестра тут и сидит, когда они в другой комнате, или ее куда-нибудь отсылают?

Ну вот, я его увидел. Оставаться было незачем... Но возникли новые вопросы. Где они познакомились? Кто заговорил первым? Что она в нем нашла? Как давно, как часто они друг с другом? Я знал наизусть ее слова «...только начинаю любить, но мне надо отдать все и всех, кроме тебя», и смотрел на пятна, и думал, что защиты нет — у горбуна, у калеки есть то, что приводит в действие любовь.

— Зачем вы сюда пришли? — вдруг спросил он.

— Я говорил мисс Смитт, мой знакомый, Уилсон...

— Я не помню вас, но помню вашего сына.

Он протянул и убрал руку, словно хотел коснуться мальчика. Глаза у него были какие-то отрешенно-ласковые.

— Не бойтесь меня,— сказал он.— Я привык, что сюда ходят. Поверьте, я хочу помочь вам.

Мисс Смитт объяснила:

— Люди часто робеют.

Я уже совершенно ничего не понимал.

— Один мой знакомый, Уилсон...

— Вы знаете, что я знаю, что никакого Уилсона нет.

— Если вы мне дадите книгу, я найду его адрес.

— Садитесь,— сказал он, невесело глядя на мальчика:

— Да я пойду. Артуру получше, а Уилсон...

Я ничего не понимал, мне было не по себе.

— Идите, если хотите, а мальчика оставьте тут... на полчасика, хорошо? Я бы с ним поговорил.

Мне пришло в голову, что он узнал его и хочет допросить.

— Что ж говорить с ним? Спрашивайте меня.

Всякий раз, как он поворачивался чистой щекой, я злился, увидев больную — затихал и ничему не верил, как не верил, что здесь, рядом с этим ситцем, рядом с мисс Смитт, может существовать вожделение. Но отчаяние всегда найдет слова, и оно спросило: «А что, если это не вожделение, а любовь?»

— Мы слишком взрослые,— сказал он.— *Его* учителя и священники только начали портить ложью.

— Ни черта не понимаю,— сказал я и быстро прибавил: — Простите, мисс Смитт.

— Вот, вот! — сказал он.— Помянули черта. Могли бы сказать: «О Господи!»

Я решил, что он шокирован. Может быть, он нонконформист-священник, она же сказала: работает по воскресеньям. Как странно, однако, что Сара связалась с таким! Она как будто стала не так важна, ведь роман ее — анекдот какой-то, и над ней можно посмеяться где-нибудь в гостях. На секунду я от нее освободился. Мальчик сказал:

— Мне плохо. Можно еще соку попить?

— Нет, надо его уводить,— сказал я.— Спасибо вам большое.— Я старался не терять пятен из виду.— Простите, если я вас обидел. Я не хотел. Понимаете, я не разделяю ваших религиозных взглядов...

Он удивленно посмотрел на меня.

— Каких взглядов? Я ни во что не верю.

— Мне показалось...

— Я ненавижу эти ловушки. Простите, я захожу слишком далеко, но иногда я боюсь, что даже пустые, условные слова напомнят — скажем,

«спасибо». Если бы я был уверен, что для моего внука слово «Бог» — как слово на суахили!

— У вас есть внук?

— У меня нет детей,— мрачно сказал он.— Я вам завидую. Великий долг, великая ответственность!

— О чем вы хотели его спросить?

— Я хотел, чтобы он чувствовал себя как дома. Он ведь может вернуться. Столько всякого надо сказать ребенку... Как возник мир. И о смерти. Вообще, освободить от всей лжи, которой заражают в школе.

— За полчаса не успеешь.

— Семя посеять можно.

Я коварно сказал:

— Да, как в Евангелии.

— Ах, и я отравлен, сам знаю.

— Люди и правда приходят к вам?

— Вы и не представляете,— сказала мисс Смитт.— Людям так нужна надежда.

— Надежда?

— Да,— сказал Смитт.— Разве вы не видите, что было бы, если бы все узнали, что есть только вот это, здешнее? Ни загробных воздаяний, ни мук, ни блаженства.— Когда та щека не была видна, лицо его становилось каким-то возвышенным.— Мы создали бы рай на земле.

— Сперва надо многое объяснить,— сказал я.

— Показать вам мои книги?

— У нас самая лучшая атеистическая библиотека на весь южный Лондон,— пояснила мисс Смитт.

— Меня обращать не надо. Я и сам ни во что не верю. Разве что иногда...

— Это самое опасное.

— Странно то, что именно тогда я надеюсь.

— Гордость притворяется надеждой. Или себялюбие.

— Нет, навряд ли. Это накатывает внезапно, без причин. Услышишь запах...

— А! — сказал Смитт.— Строение цветка, часы, часовщик... Знаю этот довод. Он устарел. Швениген опроверг его двадцать пять лет назад. Сейчас я докажу вам...

— Потом. Мне надо отвести домой мальчика.

Он снова протянул и убрал руку, словно отвергнутый любовник. Я вдруг подумал, сколько умирающих прогоняло его. Мне захотелось тоже дать ему надежду, но он повернулся, и я увидел только наглое, актерское лицо. Он больше нравился мне жалким, нелепым, старомодным. Теперь в моде Айер, Рассел, но я сомневался, много ли в его библиотеке логических позитивистов. Он любил воителей, а не разумных.

В дверях я сказал его чистой щеке:

— Вас надо познакомить с моей приятельницей, миссис Майлз. Она как раз интересуется...— и остановился. Выстрел попал в цель. Пятна побагровели (он быстро отвернулся), и я услышал голос мисс Смитт:

— О Господи!

Да, я причинил ему боль — но и себе. Теперь я жалел, что не промазал.

На улице мальчика вырвало в канаву. Я стоял рядом и думал: «Неужели он ее потерял? Неужели этому нет конца? Что ж мне, искать Y?»

8

Паркис сказал:

— Это было совсем просто, сэр. Пришло столько народу, миссис Майлз думала, я из его сослуживцев, а он — что я из ее друзей.

— Хорошо там было? — спросил я, вспомнив снова, как я в первый раз был у них и как целовала она кого-то в передней.

— Прекрасный прием, сэр, только миссис Майлз немножко не по себе. Очень сильно кашляет.

Я слушал с удовольствием — быть может, хоть тут не целовались и не обнимались. Он положил мне на стол пакет и гордо сказал:

— Служанка говорила мне, как к ней пройти. Если бы меня заметили, я бы спросил, где туалет. Вот, из стола взял, наверное, она в тот день писала. Может, она и не все напишет — осторожность, сэр, но я с дневниками работал, в них всегда что-нибудь найдешь. Выдумывают свой шифр, его разобрать нетрудно. Или что-то пропускают, догадаться тоже легко.— Пока он говорил, я развернул дневник и открыл.— Такие уж мы люди, сэр,— если ведешь дневник, хочешь все запомнить. А то зачем его вести?

— Вы его читали? — спросил я.

— Раскрыл, сэр, проверил. Сразу понял, что она не из осторожных.

— Он не за этот год,— сказал я,— за позапрошлый.

Он на секунду опешил.

— Мне подойдет,— сказал я.

— Да, сэр, он сгодится... если считать уликой все измены.

Дневник она вела в большой счетной книге, знакомые смелые буквы не считались с красными и синими линейками. Писала она не каждый день, и я успокоил Паркиса:

— Тут за несколько лет.

— Наверное, она зачем-то вынула его, почитать.

«Может быть,— подумал я,— в этот самый день она меня вспомнила, что-то ее обеспокоило?»

— Спасибо,— сказал я.— Очень хорошо. Собственно, на этом и кончим.

— Надеюсь, вы довольны, сэр.

— Вполне.

— Вы напишите мистеру Сэвиджу. Клиенты пишут жалобы, а вот похвалить не похвалят. Если клиент доволен, он норовит все забыть, как нас и не было. Что ж, оно понятно.

— Я напишу.

— И еще спасибо за мальчика, сэр. Он немножко прихворнул, но я-то знаю, как это, когда он хочет мороженого. Прямо выбивает из вас.

Я думал только о дневнике, но Паркис не уходил. Может, он не верил, что я не забуду, напишу в контору, и давил на мою память этим собачьим взглядом, этими жалкими усами.

— Очень рад был сотрудничать с вами, сэр, если можно тут говорить о радости. Не всегда работаешь для джентльменов, даже когда клиент с титулом. Был у меня один лорд, он страшно рассердился, когда я дал ему свой отчет, как будто это я виноват. Трудно с такими, сэр. Чем больше сделаешь, тем больше они хотят от тебя избавиться.

Я очень хотел от него избавиться и устыдился. Нельзя же его гнать! Он сказал:

— Простите, сэр, хотел бы я вам сделать подарочек на память, но вы ведь не примете.

Как странно, когда тебя любят! Не захочешь, а чувствуешь ответственность. И я солгал ему:

— Мне было с вами очень приятно.

— А началось плохо, сэр. Я так глупо ошибся.

— Вы мальчику сказали?

— Да, сэр, только не сразу, после корзинки. Это большой успех, ему легче было.

Я посмотрел вниз, прочел: «Так хорошо. М. завтра приедет»,— и не сразу понял, кто такой «М». Странно, непривычно думать, что тебя любили, что день был счастливым или несчастным, смотря по тому, здесь ли ты.

— Если б вы приняли, сэр...

— Что вы, Паркис!

— Очень занятная вещица, сэр, и полезная.

Он вынул из кармана что-то завернутое в папиросную бумагу и робко подвинул ко мне. Я развернул и увидел дешевую пепельницу с надписью: «Отель «Метрополь», Брайтлингси».

— Это целая история, сэр,— сказал он.— Помните дело Болтон?

— Не совсем.

— Большой шум был, сэр. Леди Болтон, горничная и мужчина. Всех застали вместе. Пепельница стояла возле кровати. С той стороны, где леди Болтон.

— У вас, наверное, целый музей.

— Надо бы отдать мистеру Сэвиджу, он особенно интересовался этим делом, но сейчас я рад, что не отдал. Друзья ваши будут спрашивать, почему такая надпись, а вы им и ответите: «Дело Болтон». Тогда они захотят узнать, как и что.

— Поразительно!

— Таков человек, сэр, такова любовь. Хотя я-то удивился. Не думал, что их трое. И номер маленький, бедный. Миссис Паркис была еще жива, но я не хотел ей рассказывать. Она очень огорчалась.

— Буду хранить,— сказал я.

— Если бы пепельница умела говорить, сэр!

— Вот именно.

Даже Паркис не мог ничего прибавить к этой глубокой мысли. Мы пожали друг другу руки (у него ладонь была липкая — наверное, общался с Лансом), и он ушел. Он был не из тех, кого хочется увидеть снова. Я открыл Сарин дневник. Сперва я думал посмотреть тот июньский день, когда все кончилось, но потом понял, что узнаю точно из других записей, как же исчезла ее любовь. Я относился бы к дневнику как к свидетельству в деле — одном из дел Паркиса,— но не хватало спокойствия: я увидел совсем не то, чего ждал. Ненависть, подозрительность, зависть далеко завели меня, и я читал ее слова так, словно в любви объяснялся кто-то чужой. Я ждал улик против нее — разве не ловил я ее на лжи? — и вот передо мною лежал ответ, которому я мог поверить, хотя не верил ее голосу. Сначала я прочитал последние две страницы, в конце перечитал их для верности. Странно узнать и поверить, что тебя любят, тогда как сам ты знаешь, что любить тебя могут только родители да Бог.

Книга третья

1

...ничего не осталось, кроме Тебя. Ни у кого из нас. Я ведь могла бы всю жизнь крутить романы. Но уже тогда, в первый раз, в Паддингтоне, мы растратили все, что у нас было. Ты был там, Ты учил нас не скупиться, как богатого юношу, чтобы когда-нибудь у нас осталась только любовь к Тебе. Но Ты ко мне слишком добр. Когда я прошу боли, Ты даешь мир. Дай и ему. Дай ему, забери от меня, ему нужнее!

12 февраля 1946.

Два дня назад мне было так хорошо, так спокойно. Я знала, что снова буду счастлива, но вот вчера видела во сне, что иду по длинной лестнице к Морису. Я еще радовалась — я знала, что, когда я дойду, мы будем любить друг друга,— и крикнула, что сейчас приду, но ответил чужой голос, гулкий, как сирена в тумане. Я решила, что Морис переехал, и теперь неизвестно, где он, пошла вниз, но почему-то оказалась по грудь в воде, и в холле был густой туман. Тут я проснулась. Мир и покой исчезли. Я не могу без Мориса, как тогда. Я хочу есть с ним вместе сандвичи. Я хочу пить с ним у стойки. Я устала, я больше не хочу страдать. Мне нужен Морис. Мне нужна простая, грешная любовь. Господи, дорогой мой, я бы хотела, чтобы мне хотелось страдать, как Ты, но не сейчас. Забери это ненадолго, дай попозже.

После этого я стал читать с начала. Она писала не каждый день, и я не хотел читать все записи. Ходила с Генри в театр, в ресторан, в гости — нет, эта жизнь, неизвестная мне, еще слишком меня мучила.

2

12 июня 1944.

Иногда я устаю убеждать, что я его люблю и буду всегда любить. Он придирается к каждому слову, как в суде, все переиначивает. Я знаю, он боится пустыни, в которой окажется, если мы разлюбим друг друга, и никак не поймет, что я тоже очень боюсь. То, что он говорит вслух, я говорю про себя, пишу здесь. Что построишь в пустыне? Когда мы бывали с ним много раз на дню, я думала иногда, можно ли исчерпать это совсем, и он, конечно, тоже об этом думает и боится той точки, с которой начинается пустыня. Что нам делать там, если мы друг друга потеряем? Как после этого жить?

Он ревнует к прошлому, и к настоящему, и к будущему. Его любовь как средневековый пояс целомудрия: ему спокойно только тогда, когда он тут, со мной, во мне. Если бы я могла его успокоить, мы бы любили друг друга спокойно, счастливо, а не как-то дико, и пустыня бы исчезла. Может, и навсегда.

Если веришь в Бога, есть ли эта пустыня?

Я всегда хотела, чтобы меня любили, чтобы мной восхищались. Я так теряюсь, когда на меня сердятся, когда со мной ссорятся. Я не хочу поссориться и с мужем. Я хочу, чтобы у меня было все, всегда, везде. Я боюсь пустыни. В церкви говорят, Бог — это все, и Он нас любит. Тем, кто в это верит, восхищения не надо, им не надо ни с кем спать, им спокойно. Но я не могу выдумать веры.

Морис целый день был добрым со мной. Он часто говорит, что никого так не любил. Он думает, если это все время повторять, я поверю. А я верю просто потому, что люблю его точно так же. Если бы я его разлюбила, я бы не верила, что он меня любит. Если бы я любила Бога, я бы поверила, что Он любит меня. Нуждаться в этом — мало. Сначала надо полюбить, а я не знаю как. Но я нуждаюсь в этом, очень нуждаюсь.

Он был добрым целый день. Только один раз стал глядеть куда-то, когда я упомянула мужское имя. Он думает, я сплю с другими, а если бы и спала, так ли это важно? Если он иногда с кем-то спит, я же не жалуюсь. Я бы не стала лишать его спутников в пустыне. Иногда мне кажется, тогда он и воды мне не даст. Он бы хотел, чтобы я была совсем одна, совершенно одна, как отшельник, хотя они-то никогда одни не бывали,— во всяком случае, так о них пишут. Ничего не пойму. Что мы делаем друг с другом? Я ведь знаю, что делаю с ним точно то же, что он со мной. Иногда мы так счастливы — и никогда такими несчастными не были. Словно мы создаем одну и ту же статую, я — из его боли, он — из моей. Но я даже не знаю, какой она должна быть.

17 июня 1944.

Вчера я пошла к нему, и мы делали то же, что всегда. Не могу об этом писать, а хотела бы, ведь сейчас уже другой день, а я боюсь расстаться с тем, вчерашним. Пока я пишу это, еще сегодня, и мы еще вместе.

Когда я ждала его, тут у нас выступали всякие люди — лейборист, и коммунист, и просто шутник какой-то, и еще один человек ругал христианство. Общество южнолондонских рационалистов или что-то в этом роде. Он красивый, только пятна по всей щеке. Его почти никто не слушал, никто не спрашивал. Он ругал то, что и так кончилось, и я все удивлялась, зачем он старается. Я постояла, послушала — он спорил против доказательств бытия Божьего. Не знала, что они есть,— разве вот это, что я чувствую, когда мне страшно одной.

Я испугалась, а вдруг Генри передумал и прислал телеграмму, что едет домой? Никогда не знаю, чего я больше боюсь — что я расстроюсь или что Морис расстроится. И тогда, и тогда выходит одно и то же, мы ссоримся. Я сержусь на себя, он — на меня. Я пошла домой, телеграммы не было, Морис ждал лишних десять минут, я рассердилась, что он там сердится, а он вдруг был очень добрый.

Мы никогда не бывали вместе так долго, а еще впереди была ночь. Мы

купили салату, булочек, выкупили по карточкам масло — много есть мы не хотели, было очень тепло. Сейчас тоже тепло, все скажут: «Ах, какое лето!» — а я еду в деревню, к Генри, и все навсегда кончилось. Мне страшно — это и есть пустыня, вокруг никого, ничего, на много миль. Если бы я осталась в Лондоне, меня могли бы быстро убить, но в Лондоне я бы пошла и набрала единственный номер, который я знаю наизусть. Я часто забываю свой — наверное, Фрейд сказал бы, что я его хочу забыть, потому что это еще и номер Генри. Но я Генри люблю, я желаю ему счастья. Я только сегодня его не люблю, потому что он счастлив, а мы с Морисом — нет, и он об этом не узнает. Он скажет, что у меня усталый вид, и решит, что это обычные дела, ему теперь не нужно считать, когда они.

Сегодня завыли сирены — то есть, конечно, вчера, но какая разница? В пустыне времени нет. Но я могу из пустыни уйти, когда захочу. Могу сесть завтра в поезд, поехать домой, позвонить ему — Генри, наверное, в город не поедет, и мы проведем вместе ночь. Обет — еще не самое главное, да и дала я обет кому-то, кого толком не знаю, в кого не верю. Никто и не узнает, что я его нарушила, только я и Он, а Его нет, ведь нет же? Не может Его быть. Не могут быть и милостивый Бог, и это мучение.

Если я вернусь, что с нами будет? То же самое, что было вчера, пока сирены не завыли, и год назад. Мы будем сердиться друг на друга, боясь конца и гадая, что нам делать, как жить, когда ничего не останется. Теперь мне гадать не надо, больше бояться нечего. Вот он, конец. Господи, дорогой, что же мне делать, я хочу любить!

Почему я пишу «дорогой»? Он мне совсем не дорог. Если он есть, это он внушил мне такую мысль, и я его за это ненавижу. Ненавижу. Каждые пять минут мимо проплывает серая каменная церковь или кабачок. В пустыне очень много кабаков и церквей. И пабов, и мужчин на велосипедах, и травы, и коров, и фабричных труб. Глядишь на них сквозь песок, как рыба в аквариуме — сквозь воду. И Генри ждет в аквариуме, чтобы я его поцеловала.

Мы не обращали на сирены внимания. Какое нам до них дело? Мы никогда не боялись так умереть. Но бомбежка все не кончалась. Она какая-то особенная — в газетах писать нельзя, но все это знают. Что-то новое, нас давно предупреждали. Морис пошел вниз посмотреть, есть ли кто в убежище — он за меня боялся, а я — за него. Я знала, что-то случится.

Не прошло и двух минут, как на улице раздался взрыв. Его комната — сзади, ничего не случилось, только посыпалась штукатурка и дверь открылась, но он-то был внизу, у выхода. Я пошла вниз, лестница была вся в обломках, в мусоре, холл совсем засыпало. Сперва я не увидела Мориса, потом увидела руку под дверью. Я ее тронула, она была мертвая. Когда люди так связаны, им не скрыть, если кто из них целует без нежности,— мне ли не различить, живая рука или нет? Я знала, если я возьму ее, я ее выну из-под двери, саму руку. Теперь я понимаю, что это была истерика. Он ведь не умер. Разве можно держать слово, если ты дала его в истерике? Что ты нарушишь тогда? Я и сейчас в истерике, когда пишу. Никому и никогда не могу я сказать, что мне плохо; спросят почему, пристанут, и я сдамся. Мне нельзя сдаваться, я должна беречь Генри. А, ладно, черт с ним! Пусть кто-нибудь примет всю правду про меня и не нуждается в моей помощи. Вот кто мне нужен. Я потаскуха и врунья, неужели никто таких не любит?

Я опустилась на колени — с ума, наверное, сошла, я и в детстве такого не делала, родители молились не больше, чем я. Я не знала, что сказать. Морис умер. Души нет. Даже то жалкое счастье, которое я ему давала, вытекло из него, как кровь. Больше он счастливым не будет, ни с кем. Кто-то, наверное, сделал бы его счастливей, чем я могла, но теперь — все. Стоя на коленях, я положила голову на кровать и подумала, как хорошо бы верить. «Господи, дорогой,— сказала я (нет, почему «дорогой»?),— сделай так, чтобы я в Тебя поверила. Я не умею. Помоги. Я потаскуха и врунья, я себя ненавижу. Я ничего не могу с собой сделать. Сделай Ты!» Я зажмурилась покрепче, вонзила ногти в ладони, чтобы ничего не чувствовать, кроме

боли, и сказала: «Я хочу верить. Оживи его, и я *поверю*. Дай ему еще попробовать. Пусть будет счастлив. Сделай это, и я поверю». Но этого было мало. Верить не больно. И я сказала: «Я его люблю, и я сделаю, что хочешь, если он будет жив». Я говорила очень медленно: «Я брошу его навсегда, только оживи, дай попробовать»,— и вонзала ногти, и вонзала, проколола кожу, и сказала еще: «Можно любить друг друга и не видеть, правда, Тебя ведь любят всю жизнь и не видят»,— и тут он вошел, он был жив, и я подумала: «Теперь надо жить без него, начинается горе»,— и захотела, чтобы он снова лежал мертвый под дверью.

9 июля 1944.

Сели с Генри в поезд, 8.30. Первый класс, пустое купе. Генри читал вслух отчет Королевской комиссии. Схватила такси у Паддингтона, Генри вышел у министерства. Обещал к ночи прийти домой. Таксист ошибся, повез меня на южную сторону, к дому 14. Дверь починили, окна заделали досками. Страшно быть мертвой. Каждому хочется жить. У нас, на северной стороне, лежали старые письма, их не пересылали, я просила ничего не пересылать. Каталоги, счета, конверт с надписью «Срочно! Перешлите пожалуйста». Я чуть не вскрыла его, не посмотрела, жива ли я еще,— и порвала вместе с каталогами.

3

10 июля 1944.

Я подумала, я не нарушу слово, если случайно встречу Мориса, и вышла после завтрака, и после ленча, и под вечер; и все ходила, но его не встретила. После шести я выйти не могла — у Генри гости. Снова выступали какие-то люди, как тогда, в июне, человек с пятнами ругал христианство, никто не слушал. Я подумала: «Если бы он только убедил меня, что не надо держать слово, которое ты дал тому, в кого не веришь! Если бы убедил, что чудес не бывает...» — и пошла послушала, но все время оглядывалась, нет ли где Мориса. Он говорил, что самое раннее Евангелие написано лет через сто после того, как Христос родился. Я и не знала, что так рано, но никак не могла понять, какая разница, раз уж легенда создана. Потом он сказал, что Христос в Евангелии не называл себя Богом, но был ли вообще Христос и что такое Евангелие, когда такая мука смотреть и смотреть, а Мориса нет. Седая женщина раздавала карточки, там было напечатано: «Ричард Смитт» — и адрес, Седар-роуд, и всех приглашали зайти, поговорить с ним. Одни карточек не брали и спешили уйти, словно женщина проводила подписку, другие бросали на газон (я видела, как она поднимала,— наверное, экономии ради). Все это было так печально — страшные пятна, ненужная речь, выброшенные карточки,— словно он предлагает дружбу, а ее не берут. Я положила карточку в карман, надеясь, что он увидит.

К обеду пришел сэр Уильям Мэллок, очень старый и важный. Он был одним из советников Ллойд Джорджа по государственному страхованию. Генри, конечно, уже не ведает пенсиями, но интересуется ими и любит вспоминать старые дни. Не пенсиями ли для вдов он занимался, когда мы с Морисом обедали в первый раз и все началось? Генри завел длинный спор с Мэллоком о том, сравняются ли вдовьи пенсии с тем, что было десять лет назад, если прибавить шиллинг. Они сыпали цифрами, спорили, сколько теперь что стоит,— чисто академический спор, ведь оба они говорили, что стране этого не потянуть. Мне тоже надо было поболтать с начальником Генри, а ничего не приходило в голову, кроме «фау-1», и вдруг мне страшно захотелось всем рассказать, как я спустилась вниз и увидела Мориса под обломками. Я хотела сказать: «Сама я была голая, конечно, когда мне было одеться?» Интересно, шевельнулся бы сэр Уильям, услышал бы Генри? Он умеет слышать только то, что относится к делу, а к делу относились цены 1943 года. «Я была голая,— сказала бы я,— потому что мы с Морисом полдня не вставали с постели».

Я посмотрела на этого начальника, Данстана. У него кривой нос,

а лицо такое, словно горшечник его плохо вылепил, на продажу не годится. «Он бы улыбнулся,— подумала я,— он не нагрубит, не отвернется, просто все примет как должное». Я чувствовала,— стоит мне двинуться, и он отзовется. А что? Почему не убежать из пустыни хоть на полчасика? Я ничего про других не обещала, только про Мориса. Не могу же я быть одна всю остальную жизнь, с Генри, чтобы никто не восхищался мной, никто меня не любил, а я бы слушала, как Генри говорит с другими, и превращалась в камень под капелью слов, как эта шляпа в Чеддарских пещерах.

15 июля 1944.
Завтракала с Данстаном в «Жарден де Гурме». Он сказал...

21 июля 1944.
Выпила с Д. у нас, пока он ждал Генри. Все шло к тому...

22 июля 1944.
Обедала с Д. Потом зашел к нам выпить. Не помогло, ничего не помогает.

23 — 30 июля 1944.
Звонил Д. Сказала, что меня нет дома. Поехала с Генри по стране. Оборона на юге Англии. Встречи с уполномоченными и инженерами. Говорят о сиренах, об укрытиях. А я думаю о том, как притвориться живой. Мы с Генри спим рядом, ночь за ночью, словно скульптуры на усыпальнице. В новом бомбоубежище, в Бигуэлл-он-Си, уполномоченный поцеловал меня. Генри ушел в другую комнату с мэром и инженером, а я тронула уполномоченного за руку и стала спрашивать про стальные койки, какую-то чушь, почему нет двуспальных, для мужа и жены. Я поняла, что он хочет меня поцеловать. Он и поцеловал, прижал к этой койке, мне было больно и след на спине остался. Потом он так удивился, что я засмеялась и сама его поцеловала. Не помогло. Неужели больше никогда не поможет? Мэр и Генри вернулись. Мэр сказал: «Если что, мы разместим двести человек». Вечером, когда Генри ушел на какой-то званый обед, я заказала по междугородной Мориса. Я лежала и ждала. Я говорила Богу: «Шесть недель я держу слово. Я в тебя не верю. Я не могу тебя любить, но слово держала. Если я не оживу, я стану поблядушкой, да, поблядушкой. Я нарочно себя гублю. С каждым годом я буду хуже. Неужели тебе это больше понравится, чем нарушенное слово? Я буду как женщины в баре, которые слишком много смеются, а вокруг — трое мужчин, все чужие, и все ее лапают. Я и так разваливаюсь на куски».

Трубку я приткнула к плечу, и голос сказал: «Набираем номер». Я сказала Богу: «Если он подойдет, я завтра уеду». Я точно знаю, где у него телефон — около кровати. Как-то я столкнула его во сне, ударила кулаком. Ответила девушка: «Алло!» Я хотела, чтобы он был счастлив, но не так же быстро! Меня подташнивало, пока логика не пришла на помощь и не стала спорить со мной: «А почему, собственно? Ты его бросила, ты желаешь ему счастья». Я сказала: «Попросите, пожалуйста, мистера Бендрикса». Но все уже было не так. Может быть, он и не хочет, чтобы я нарушила слово,— может быть, он кого-то нашел, кто будет с ним вместе жить, обедать, завтракать, ходить повсюду, спать каждую ночь по-домашнему, попросту, отвечать на звонки. Тут голос сказал: «Мистера Бендрикса нет дома. Он уехал на месяц, квартиру снимаю я».

Я повесила трубку. Сперва я очень обрадовалась, потом опять загоревала. Я не знала, где он. Мы ничего не знали друг о друге. Оба — в пустыне, оба ищем воду, а увидеть один другого не можем. Ведь если бы мы были вместе, это была бы не пустыня. Я сказала Богу: «Значит, вот так? Начинаю в Тебя верить, а если поверю — я Тебя возненавижу. Я могу нарушить слово, когда хочу, верно? Но толку все равно нет. Ты даешь мне позвонить, а потом закрываешь передо мной дверь. Ты даешь грешить, а плоды греха отнимаешь. Ты даешь спастись с этим Д., а я не спасаюсь, не радуюсь. Ты

вынуждаешь изгнать любовь, а потом забираешь и похоть. Чего Ты теперь ждешь от меня, куда мне отсюда идти?»

В школе я учила, что какой-то король — один из Генрихов, тот, что убил Бекета,— увидел, что сгорел его родной город, и поклялся: «Ты украл у меня то, что я люблю больше всего на свете,— город, где я родился и вырос,— и я у Тебя украду то, что Ты любишь во мне». Странно, за шестнадцать лет не забыла. Король поклялся верхом на коне, семьсот лет назад, а я клянусь теперь, в гостиничном номере. Я украду у Тебя, Господи, то, что Ты особенно во мне любишь. Я никогда не знала наизусть «Отче наш», а вот это помню — молитва это или нет? То, что Ты во мне любишь.

Что же Ты любишь? Если бы я верила в Тебя, я бы верила в бессмертную душу, но ее ли Ты любишь? Видишь ли ее сквозь тело? Даже Бог не может любить то, чего нет,— то, чего Ему не увидеть. Когда Он смотрит на меня, видит ли Он то, чего я не вижу? Чтобы Он ее любил, она должна быть хорошей, а во мне ничего хорошего нет. Я хочу, чтоб мужчины мной восхищались, но этому учишься в школе — повела глазами, понизила голос, коснулась плеча. Если они думают, что ты от них в восторге, они будут в восторге от твоего вкуса, будут восхищаться, и хоть на время покажется, что в тебе есть что-то хорошее. Всю жизнь я пыталась жить такой иллюзией — этот наркотик помогает забыть, что ты потаскуха и врунья. Что же ты любишь во врунье и потаскухе? Где ты находишь эту душу, о которой столько говорят? Что ты видишь хорошего во мне, вот в этой? Ну, в Генри, я бы поняла — не в короле Генрихе, в моем муже. Он добрый, деликатный, терпеливый. Или в Морисе. Он думает, что ненавидит, а сам любит и любит. Врагов, и тех. Но в этой потаскухе и врунье что Ты можешь любить?

Скажи мне, пожалуйста, Боже, и это я у Тебя украду.

Да, что ж такое сделал король? Никак не вспомню. Ничего не помню; разве что он велел монахам сечь его на могиле Бекета. Вроде бы не то. Что-нибудь другое, раньше.

Генри опять сегодня ушел. Если я спущусь в бар, и подцеплю мужчину, и поведу его к морю, и лягу с ним прямо на песке, украду я у Тебя то, что Ты особенно любишь? Но это ведь не помогает. Больше не помогает. Как же я Тебя обижу, если мне нет никакой радости? С таким же успехом я могла бы втыкать в себя булавки, как пустынник. Да, я ведь и живу в пустыне. Надо сделать что-то такое, отчего мне будет лучше. Тогда я Тебя обижу. А так — это какое-то умерщвление плоти. Оно ведь бывает у тех, кто верит в Тебя. А я, поверь Ты мне, еще не верю, еще в Тебя не верю.

4

12 сентября 1944.

Завтракала в «Питере Джонсе» и купила для Генри новую лампу. Очень чопорный завтрак, одни женщины. Ни одного мужчины. Как женский полк. От этого как-то спокойней. Потом пошла в «Хронику» на Пиккадилли, смотрела развалины в Нормандии и как приехал какой-то американский политик. Нечего делать до семи, когда Генри вернется. Выпила одна немножко. Это зря. Неужели я еще и сопьюсь? Но если я откажусь от всего, как мне жить? Я любила Мориса, нравилась мужчинам, любила капельку выпить. Вот это и называлось «я». Если все это бросить, что от меня останется? Пришел Генри, очень довольный. Он явно хотел, чтобы я спросила, чем он доволен, но я не спросила. Тогда он сказал сам: «Меня представили к четвертой степени».

Я спросила: «А что это такое?»

Он чуть не обиделся, что я не знаю, и объяснил, что это орден Британской империи. Через год-другой, когда он возглавит отдел, дадут вторую степень, а когда выйдет в отставку — первую.

— Совсем запуталась,— сказала я.— Ты не объяснишь?

— Хочешь быть леди Майлз? — спросил Генри, а я сердито подумала, что я хочу только одного — быть миссис Бендрикс, а этого не будет

никогда. Леди Майлз — не пьет, ни с кем не спит, только говорит о пенсиях с сэром Уильямом. Где же буду я?

Ночью я смотрела на Генри. Пока я, по закону, была «виновной стороной», я могла смотреть на него нежно, как будто он ребенок и я должна его беречь. А теперь я «невинна» и просто вынести его не могу. У него есть секретарша, она иногда звонит сюда. Она говорит: «Миссис Майлз, а Г. М. дома»? Все секретарши так говорят, это просто ужас какой-то, не по-дружески, а развязно. Я смотрела, как он спит, и думала: «Г. М., Господи Милостивый...» Иногда он улыбался во сне — быстро, скромно, словно говорил: «Да, очень мило, а теперь вернемся к делам».

Как-то я сказала ему:

— У тебя был роман с какой-нибудь секретаршей?

— Роман?

— Ну, любовная связь.

— Что ты! Почему ты так думаешь?

— Я не думаю. Я просто спросила.

— Я никого другого не любил,— сказал он и уткнулся в газету. А я все гадала, неужели мой муж такой неинтересный, что ни одна женщина на него не польстилась? Кроме меня, конечно. На что-то он был мне нужен, но я забыла, и я была слишком молода, не знала, что делаю. Это нечестно. Пока я любила Мориса, я любила Генри, а теперь, когда я «хорошая», я не люблю никого. А Тебя — меньше всех.

5

8 мая 1945.

Пошли в Сент-Джеймсский парк посмотреть, как празднуют Победу. Между дворцом и Казармами конной гвардии, у освещенной воды, было совсем тихо. Никто не пел, не кричал, никто не напился. Все сидели парами на траве, держась за руки. Наверное, они очень радовались, что теперь мир и нет бомбежек. Я сказала Генри:

— Мне мир не нравится.

А он сказал:

— Интересно, куда меня переведут?

— В министерство информации? — сказала я, чтобы он подумал, будто мне это важно.

— Нет-нет, туда я не пойду. Там полно временных чиновников. Как тебе министерство внутренних дел?

— Что угодно, Генри, только б ты был доволен,— сказала я. Тут королевская семья вышла на балкон, и все негромко запели. Это были не вожди, вроде Гитлера, Сталина, Черчилля, Рузвельта, а просто семья, которая никому ничего плохого не сделала. Я хотела, чтобы рядом со мной был Морис. Я хотела все начать сызнова. Я хотела, чтобы у меня была семья.

— Очень трогательно, правда? — сказал Генри.— Что ж, теперь мы можем спокойно спать.— Словно мы хоть что-нибудь другое делали по ночам.

16 сентября 1945.

Надо быть умнее. Позавчера я вынимала все из старой сумки. Генри подарил мне новую, «по случаю Победы», наверное, страшно потратился,— так вот, вынимала и нашла карточку «Ричард Смитт, Седар- роуд, 16, с 4 до 6 ежедневно. Частная беседа. Рады всем, кто придет». И я подумала: хватит. Теперь я сделаю иначе. Если он убедит меня, что ничего не было, что мой обет — пустой, я напишу Морису и попрошу, если он хочет, чтобы все шло как раньше. Может быть, я даже уйду от Генри, не знаю. Только сперва стану поумнее. Не впаду больше в истерику. Буду жить разумно. Так что я пошла на Седар-роуд.

Теперь я стараюсь вспомнить, что там было. Мисс Смитт подала чай, а потом ушла, и я осталась с ее братом. Он спросил, в чем мои трудности.

Я села на диван, обитый ситцем, он — на стул и взял кошку на колени. Он ее гладил, у него красивые руки, мне они не понравились. Мне даже пятна нравились больше, но он сел так, чтобы я видела другую щеку.

Я сказала:

— Объясните, пожалуйста, почему вы так уверены, что Бога нет?

Он гладил кошку, смотрел на свои руки, и я пожалела его, ведь он ими гордится. Если бы не было пятен, наверное, не было бы и гордости.

— Вы слышали, как я говорил?

— Да.

— Там приходится упрощать. Надо, чтобы люди сами думали. Вы стали думать?

— Да, вероятно...

— В какой конфессии вы воспитаны?

— Ни в какой.

— Значит, вы не христианка?

— Наверное, меня крестили. Это ведь принято, правда?

— Если вы не верите в Бога, зачем вам моя помощь?

И впрямь, зачем я пришла? Не могу же я ему рассказать про Мориса под обломками и про мой обет. *Пока* не могу. Потом, это не все, мало я в жизни нарушала обещаний! Почему *вот это* осталось, как уродливая ваза, которую вам подарили, и вы не дождетесь, чтобы служанка ее разбила, а она бьет все подряд, только ваза цела? Я не могла ответить, и он спросил снова.

Я сказала:

— Не знаю, может, и верю. Только верить не хочу.

— Расскажите мне все,— сказал он, и забыл про руки, и повернулся той щекой, забыл о себе, чтобы мне помочь, так что я заговорила — и про ту ночь, и про бомбу, и про дурацкий обет.

— Вы действительно верите, что?..— начал он.

— Да,— ответила я.

— Подумайте, сейчас молятся тысячи и ничего не получают.

— Тысячи умирали, когда Лазарь...

— Мы же не верим этой басне? — сказал он, словно мы сообщники.

— Нет, конечно, но очень многие верят. Им кажется разумным...

— Они не ждут разумности, если их что-то тронуло. Ведь влюбленные неразумны.

— Вы и любовь можете объяснить? — спросила я.

— Как же! — сказал он.— У одних это — вроде жадности, хотят чем-то владеть. Другие хотят подчиниться, снять с себя ответственность. Третьи жаждут восхищения. Многим нужно выговориться перед кем-то, кто не заскучает. Многим недостает матери или отца. Ну и, конечно, биологические мотивы.

«Все так,— думала я,— но неужели ничего больше нет?» Я копнула себя, Мориса, но лопата не ударилась о камень. И я спросила:

— А любовь к Богу?

— То же самое. Человек создал Бога по своему подобию, так что естественно его любить. Вы видели кривые зеркала? А мы создали зеркало, в котором видим себя хорошими, сильными, справедливыми, мудрыми. Так мы думаем о себе. Так легче себя узнать, легче себя любить.

Когда он говорил про зеркала, я забыла свой вопрос, я думала только о том, сколько раз с самого детства смотрел он в зеркало и хотел выглядеть в нем получше. Я думала, почему он не отрастил бороду — волосы там не растут или он ненавидит обман? Наверное, он и впрямь любит правду... вот, опять «любит», а ведь яснее ясного, как объяснить эту его любовь. Хочет возместить свою беду, хочет властвовать, хочет, чтобы им восхищались, особенно потому, что его бедное лицо никого не привлечет. Мне страшно захотелось тронуть эту щеку, приласкать, утешить. Все было как тогда, когда Морис лежал мертвый. Вот бы и теперь помолиться, предложить очень большую жертву, только бы он вылечился, но мне жертвовать нечем.

— Дорогая моя,— сказал он,— Бог тут ни при чем, вы поверьте. Все дело в муже и любовнике. Не путайте живых людей с призраками.

— Как же мне решить,— спросила я,— если любви тоже нет?

— Решите, что ведет к счастью.

— Вы верите в счастье?

— Я не верю в отвлеченные понятия.

«Вот его единственное счастье,— поняла я.— Думать, что он утешит, поможет, посоветует, что он кому-то нужен. Из-за этого он каждую неделю идет туда, к нам, говорит, его не слушают, не спрашивают, бросают карточки на газон. Часто ли кто-нибудь приходит, как я вот пришла?» И я спросила:

— К вам часто приходят?

— Нет,— сказал он. Любовь к правде была сильнее гордости.— Вы первая... за долгое время.

— Мне вы очень помогли,— сказала я.— Все стало гораздо яснее.

Больше я никак не могла его утешить. Он робко сказал:

— Если у вас есть время, мы бы начали с начала и дошли до самой сути. Я имею в виду философские доводы, исторические свидетельства.

Наверное, я что-то ответила вроде «нет», потому что он стал настаивать:

— Это очень важно. Нельзя презирать врагов. У них тоже есть доводы.

— Есть и у них?

— Неразумные. Ну, разумные на первый взгляд. Обманчивые.

Он испуганно смотрел на меня. Он думал, наверное, не из тех ли я, кто уходит, и нервно сказал:

— Часок в неделю. Это вам очень поможет,— а я подумала: «Я же теперь совершенно свободна. Могу пойти в кино, могу взять книгу, только я не читаю и не помню фильмов. Я слепа и глуха от горя. Сегодня я ненадолго забыла и горе, и себя».

— Да, приду. Спасибо, что уделили мне время,— сказала я, отдавая ему всю надежду, моля Бога, от которого он обещал меня вылечить: «Дай мне ему помочь!»

2 октября 1945.

Сегодня было очень жарко, накрапывал дождь, и я зашла в темную церковь на углу Парк-роуд немножко посидеть. Генри был дома, я не хотела его видеть. Я стараюсь быть доброй за завтраком и за обедом, если он дома, а иногда я все-таки забываю, он один добрый. Два человека, добрых друг к другу всю жизнь... Когда я вошла и присела и огляделась, я увидела, что церковь — католическая, всюду эти жуткие статуи, реалистические какие-то. Я просто смотреть не могла и на них, и на распятие, опять человеческое тело, а я хочу бежать от него и от всего, что ему нужно. Я думала, что могла бы поверить в такого Бога, который никак с нами не связан, расплывчатого, неопределенного, космического — я ему что-то обещала, он дал мне что-то взамен, словно могучая струя пара ворвалась на минуту в нашу жизнь, в наши комнаты, где стоят столы и стулья. Когда-нибудь и я стану таким вот паром, уйду в него от себя. А тут, в темной церкви на Парк-роуд, столько всяких тел, на всех алтарях жуткие гипсовые статуи со сладкими лицами, и я вспомнила, что христиане верят в воскресение плоти, той плоти, которую я хотела навеки уничтожить. Я сделала ею столько зла, как же мне хотеть, чтобы она сохранилась в вечности. И тут я вспомнила слова Ричарда о том, что мы выдумываем доктрины, чтоб удовлетворить свои желания, и удивилась, насколько же он не прав. Если бы доктрину выдумывала я, я бы выдумала, что тело не воскреснет, что оно сгниет, как прошлогодняя падаль. Странно, как наш ум качается туда-сюда, от крайности к крайности. Может быть, истина в какой-то точке, через которую маятник пролетает, не там, где он уныло висит, как флаг без ветра, а к краю поближе? Если бы маятник чудом остановился под углом в 60 градусов, я бы поверила, что истина — здесь. Сегодня маятник не останавливался, и я думала о теле Мориса, не о своем. Я думала

о морщинках, которые жизнь прорезала на его лице, таких же неповторимых, как его почерк. Думала о свежем шраме на плече, которого бы не было, если бы он не защитил другое тело от падающей стены. Он не говорил мне, почему лежал три дня в больнице, Генри сказал. Этот шрам — часть его характера, как ревность. Я подумала: хочу я, чтобы это тело обратилось в пар? (мое — да, конечно, а *это*?) — и я поняла, что шрам должен быть всю вечность. Хорошо, а мой пар сможет его любить? Тут я стала любить и свое ненавистное тело, но только за то, что оно может любить шрам. Неужели любит душа — и все, ничто больше? Любовь всегда и везде, даже ногти любят, даже платье, одежда, один рукав чувствует другой.

«Ричард прав,— подумала я,— мы выдумали воскресение, потому что тела нам нужны»,— и как только я решила, что это сказка, которой мы друг друга утешали, статуи совершенно перестали меня раздражать. Они были как плохие картинки к Андерсену, как плохие стихи, кому-то ведь надо их писать — тому, кто не так горд, чтобы их прятать. Я обошла церковь, разглядывая их. Перед самой ужасной — не знаю, кто же это — молился пожилой человек. Рядом стояла шляпа, а в ней лежал сельдерей, завернутый в газету.

Конечно, было *оно* и на алтаре, такое знакомое. Я знала его лучше, чем тело Мориса, но никогда не думала, что это ведь тело, у него есть все, даже то, что прикрыто. Я вспомнила распятие в одной испанской церкви, мы там были с Генри. Красная краска шла от глаз и от рук, меня затошнило. Генри хотел, чтобы я восхитилась колоннами XII века, но меня тошнило, я вышла поскорей на воздух. Я думала: «Как они любят жестокость!» Пар не испугает кровью и криками.

Когда я опять была на площади, я сказала Генри:

— Видеть не могу эти нарисованные раны.

Генри ответил разумно, он всегда разумен:

— Конечно, вера у них материалистическая. Сплошная магия...

— Разве магия — это материализм? — спросила я.

— Да. «Глаз тритона, лапка жабы, палец мертвого младенца». Куда уж материальней! Они верят, что во время мессы хлеб превращается в тело.

Я и сама знала, но думала, что этого, собственно, уже нет после Реформации, только бедные в это верят. Генри поправил меня (как часто он приводил в порядок мои запутанные мысли!).

— Нет, не одни бедные,— сказал он.— Умнейшие люди верили в это — Паскаль, Ньюмен. Такие тонкие во всем, такие суеверные в этом. Когда-нибудь мы узнаем, в чем тут дело. Возможно, что-то эндокринное.

И вот я смотрела на материальное тело, на материальный крест, думая, как же распяли пар. Конечно, пару не больно, ему и хорошо не бывает. Я просто из суеверия решила, что он может ответить на молитву. «Господи, дорогой»,— сказала я, а надо бы: «Дорогой пар». Я говорила, что его ненавижу, а можно ли пар ненавидеть? Можно ненавидеть такое тело на кресте, оно требует благодарности — «Вот что Я вынес за тебя»,— но пар... А Ричард и в пар не верит. Он ненавидит басню, борется с басней, принял ее всерьез. Я не могла бы ненавидеть Ханса и Гретель или их сахарный домик, как он ненавидит миф о небесах. В детстве я не любила злую королеву из «Белоснежки», но он ведь не беса ненавидит. Да, бесов нет, если нет Бога, но он-то ненавидит добрую сказку, а не злую. Почему? Я подняла глаза на слишком знакомое тело, искривленное выдуманной болью. Голова у него упала, как у спящего. Я подумала: «Иногда я ненавидела Мориса, но я бы и ненавидеть не могла, если бы я его не любила. Господи, если бы я могла Тебя ненавидеть, чтобы это значило?»

«Может быть,— думала я,— я и сама материалистка? Может, и у меня что-нибудь эндокринное, раз меня не интересуют важные, здравые вещи — благотворительный комитет, или уровень жизни, или калории для рабочих? Я материалистка, потому что я верю, что отдельно, сами по себе существуют и человек, и шляпа с сельдереем, и металл креста, и мои руки, которые я не могу сложить для молитвы? Предположим, что Бог есть. Пред-

положим, что он — вот такое тело. Что ж тут плохого, если поверить, что его тело существует, как мое? Разве мог бы кто-нибудь любить его или ненавидеть, если бы у него не было тела? Не могу я любить пар, который раньше был Морисом. Это дико, это грубо, это материализм — все знаю, но почему мне не быть дикой, грубой материалисткой? Я пошла к выходу очень злая, и в пику Генри, в пику всем умным и разумным, сделала то, что делали в Испании: окунула палец в эту их святую воду и вроде бы перекрестилась.

6

10 января 1946.

Не могла сидеть дома, вышла, хотя идет дождь. Я вспомнила, как я впилась ногтями в ладони, и не знала, что Ты испытал такую самую боль. Тогда я сказала: «Сделай, чтобы он был жив», не веря в Тебя, но Тебе это было все равно. Ты принял мое неверие в Свою любовь — принял как дар, а сегодня у меня промокли насквозь и пальто, и платье, я дрожала, и в первый раз было так, словно я Тебя почти люблю. Я ходила под дождем под его окнами и проходила бы всю ночь, чтобы показать, что и я учусь любви, и я больше не боялась пустыни, потому что в ней — Ты. Я вернулась, а у нас был Морис. Ты вернул его мне во второй раз. В первый я Тебя за это ненавидела, но Ты принял мою ненависть в Свою любовь, как принял неверие, и сохранил, чтобы потом показать, и мы бы вместе посмеялись — как смеялись с Морисом и говорили: «Помнишь, вот было глупо?..»

7

18 января 1946.

Первый раз за два года я завтракала с Морисом — позвонила ему, попросила со мной встретиться, а мой автобус застрял в пробке у Стокуэлла, и я опоздала на десять минут. Сперва я испугалась, я раньше всегда пугалась, как бы что-нибудь не случилось, не испортило день и он бы на меня не рассердился. Сама я теперь сердиться не могу, я и это потеряла. Я хотела поговорить про Генри, тот теперь какой-то странный. Раньше бы он не стал пить в баре с Морисом. Он пьет только дома и в клубе. Я подумала, может, он говорил с Морисом. Странно, если он из-за меня волнуется. С самой нашей свадьбы не было меньше причин. Когда я была с Морисом, с кем я еще могла быть? Про Генри я ничего не узнала. Морис несколько раз пытался меня обидеть, и обидел, он ведь мучил себя, а я не могу на это смотреть.

Нарушила я обет? Год назад я так бы подумала, а теперь не думаю. Тогда я все принимала буквально, потому что я боялась и не знала, что к чему, и не верила любви. Мы завтракали, и я была счастлива, что мы сидим вместе. Только немножко расстроилась, когда мы прощались на решетке и я думала, он меня поцелует, и очень этого хотела, и тут закашлялась, время и ушло. Я знаю, он думал всякую чушь, и мучился, и я мучилась, раз ему плохо.

Я хотела поплакать одна, зашла в Галерею, но там были студенты, масса народу, и я пошла по Мейден-лейн до церковки, в ней темно и никто не увидит. Я села на скамейку. Кроме меня, никого не было, только небольшой человечек, он зашел потом и тихо молился на задней скамье. Я вспомнила, как я в первый раз была в церкви и как все ненавидела. Я не молилась. Что ж все молиться? Я сказала Богу, как сказала бы отцу, если бы его помнила: «Дорогой Бог, я устала».

3 февраля 1946.

Сегодня я видела Мориса, а он меня не видел. Он шел в свой «Герб Понтефрактов», а я шла за ним. Я была целый час на Седар-роуд — все старалась разобраться в доводах бедного Ричарда, и выходило, что он

как-то вывернуто верит. Можно ли так серьезно, так пылко спорить о легенде? Я и поняла, и узнала только странные факты, которые ничего не доказывают. Например, свидетельства о том, что Христос действительно был. Ухожу я от него совсем разбитая и расстроенная. Я к нему пошла, чтобы избавиться от суеверия, но всякий раз оно становится сильнее из-за его одержимости. Я ему помогала, а он мне не помог. Или помог? Целый час я почти не думала о Морисе, и тут он появился сам, переходил улицу.

Я пошла за ним. Мы столько раз бывали в «Гербе». Я знала, к какой стойке он подойдет, что закажет. Я думала: может, тоже зайти, спросить пива, а он обернется, и все начнется сначала? Утром я буду надеяться, потому что смогу позвонить, когда Генри уйдет, а иногда Генри скажет, что не вернется к вечеру. И вообще, я могу уйти от Генри. Я сделала, что могла. Денег у меня нет, Морис сам еле перебивается, книги дают немного, но мы сэкономим на одной машинистке фунтов пятьдесят в год. Бедности я не боюсь. Иногда легче перебиваться, чем жить, как жила.

Я стояла в дверях и смотрела, как он идет к стойке. Я сказала Богу: «Если он обернется, увидит меня, я войду»,— но он не обернулся. Я пошла домой и все о нем думала. Мы чужие почти два года. Я не знала все это время, что́ он делает в тот или иной час, но теперь он — не чужой, я ведь знаю, как раньше, где он. Он выпьет еще пива и пойдет туда, к себе, писать. Привычки у него такие же, и я люблю их, как любят старое пальто. Мне спокойней с ними. Я не хочу и не люблю ничего нового.

И еще я думала, каким счастливым я бы могла его сделать. Это очень легко. Мне так хотелось снова увидеть, как он смеется от счастья. Генри дома не было. Он собирался пойти с кем-то в ресторан после работы и звонил, что не придет до семи. Я решила подождать до половины седьмого, а потом позвонить Морису. Я бы сказала: «Я приду на ночь, и на все ночи. Я устала без тебя». Я бы сложила вещи в большой синий чемодан и в маленький коричневый. Надо взять платьев на месяц. Генри — порядочный человек, через месяц все формальности уладятся, первая горечь пройдет и можно будет спокойно взять все, что нужно. Да горечи особой и не будет, мы же не влюбленные. Брак превратился в дружбу, а дружить очень скоро можно будет по-прежнему.

Вдруг я почувствовала, что счастлива и свободна. «Больше не буду о тебе думать,— сказала я Богу, когда вышла на Коммон,— есть ты или нет, дал ты Морису попытаться снова или я все выдумала. Может, это я для него и просила. Он будет счастлив со мной. Вот мой второй обет, Господи. Останови меня, если можешь, останови, если можешь».

Я пошла наверх к себе и стала писать Генри. «Милый Генри»,— написала я, но мне показалось, что это лицемерно, не мил он мне. Тогда я написала, как знакомому: «Дорогой Генри, я боюсь, что ты очень расстроишься, но вот уже пять лет я люблю Мориса Бендрикса. Почти два года мы не виделись, даже не писали друг другу, но это не помогло. Я не могу без него жить и от тебя ухожу. Я знаю, я давно тебе плохая жена, и романов у меня не было с июня 1944 года, так что всем только хуже. Я думала когда-то, что в романе ничего плохого нет, он тихо-мирно сам собой угаснет, но ничего не вышло. Я люблю Мориса больше, чем в 1939 году. Наверное, я была очень глупая, а теперь я знаю, что рано или поздно надо выбирать, а то больше все запутаешь. До свиданья, храни тебя Бог». Насчет Бога я вычеркнула, совсем зачеркнула, чтобы не было видно. Все ж как-то слащаво, и потом, Генри в Бога не верит. Я хотела приписать «Любящая Сара», но это не подходит, хотя на самом деле так оно и есть. Я люблю Генри на свой, нелепый лад.

Письмо я положила в конверт и надписала «Лично». Я подумала, тогда Генри не откроет его при чужих — ведь он может привести домой приятеля, а я не хочу, чтобы видели его унижение. Потом я вытащила чемодан, стала укладывать вещи и вдруг забыла, куда же я положила письмо? Я его сразу нашла, но тут подумала: «А вдруг я в спешке не положу его в передней и Генри будет ждать, когда я приду?» И я понесла письмо вниз. Я почти все уложила, осталось вечернее платье, а Генри должен был прийти не раньше чем еще через полчаса.

Только я положила письмо на столик, поверх вечерней почты, как в двери заворочался ключ. Я схватила письмо, сама не знаю почему, и вошел Генри. У него был больной, расстроенный вид. Он сказал:

— А, ты здесь? — и прошел мимо меня в кабинет.

Я подождала чуть-чуть и пошла за ним. Я думала: «Сейчас дам письмо, вот соберусь с духом». Когда я открыла дверь, он сидел в своем кресле у незажженного камина и плакал.

— Генри, что с тобой? — спросила я.

Он сказал:

— Ничего, голова разболелась.

Я разожгла камин для него и сказала:

— Сейчас принесу таблетку.

— Не беспокойся,— сказал он.— Уже получше.

— Что ты делал сегодня?

— То же, что всегда. Устал немного.

— С кем ты обедал?

— С Бендриксом.

Я переспросила:

— С Бендриксом?

— А что такого? Он пригласил меня в свой клуб, очень плохо кормили.

Я подошла к нему сзади и положила ему руку на лоб. Странно, ведь я собиралась от него уйти. Он клал мне руку на лоб, когда мы поженились и у меня часто болела голова, потому что все у нас шло плохо. На минуту я забыла, что притворялась тогда, будто мне лучше. Он взял мою руку и прижал крепче.

— Я тебя люблю,— сказал он.— Ты это знаешь?

— Да,— сказала я. Ну что это такое, будто чего-то требует! «Если бы ты правда меня любил,— подумала я,— ты бы себя вел как оскорбленный муж. Ты бы сердился, и это бы меня освободило».

— Я без тебя не могу,— сказал он. «Можешь, можешь,— подумала я.— Неудобно тебе будет, но можешь. Как-то ты стал выписывать другую газету — и ничего, привык. Это все слова, приличные слова приличного мужа, они ничего не значат». И я увидела в зеркале его лицо, он опять плакал.

— Генри,— спросила я,— что случилось?

— Ничего, я же тебе сказал.

— Неправда. На службе что-нибудь?

Он сказал с непривычной горечью:

— Что там может случиться?

— Тебя Бендрикс расстроил?

— Ну что ты!

Я хотела, чтобы он убрал руку, но он не убирал. Я боялась, что́ он еще скажет, боялась такого тяжкого бремени. Морис, наверное, уже дома. Если бы Генри не вернулся, я бы через пять минут была у него. Я бы видела счастье, а не горе. Если не видишь, как горюют, в это не веришь. Очень легко огорчать на расстоянии. Генри сказал:

— Дорогая моя, дорогая, я был плохим мужем.

— Не понимаю,— сказала я.

— Я такой скучный. И друзья у меня скучные. Сама знаешь, мы... мы давно не были вместе.

— Так всегда,— сказала я,— у всех. Мы с тобой хорошие друзья.

«Когда он согласится,— думала я,— я дам ему письмо и все скажу и уйду». Но он не согласился, и вот я здесь, опять дверь закрылась. Только теперь я Бога не виню. Я сама закрыла ее. Генри сказал:

— Какие там друзья! Без друга можно жить,— и он повернулся ко мне.— Не уходи от меня! Потерпи еще немного. Я постараюсь...— Он не придумал, что́ же он постарается сделать. Почему я не бросила его давно, нам обоим было бы лучше! Я не могу его ударить, когда он рядом, а он всегда будет рядом, потому что я увидела, как он плачет.

Я сказала:

— Что ты, я тебя не брошу!

Вот и еще одно обещание, надо его держать, а ведь я просто не могла больше быть с ним. Он победил, Морис проиграл, я ненавидела за это Генри. Ненавидела бы я Мориса, если бы победил он? Я пошла наверх и порвала письмо на такие мелкие клочки, что никто бы их не сложил, и запихала чемодан под кровать, я очень устала, чтобы распаковывать. И вот сижу пишу. Морис выписывает свою боль, так и слышишь, как ему плохо. Что ж, если боль можно выписать, буду учиться этому и я. Морис, как бы я хотела с тобой поговорить! Я не могу говорить с Генри. Ни с кем говорить не могу. Господи, дорогой, дай мне поговорить с ним!

Вчера я купила распятие, дешевое, некрасивое — я спешила. Когда я спросила его, я покраснела. Меня могли увидеть в этом магазине. Им бы надо вставить в дверь матовое стекло, как в лавочках, где продают презервативы. Когда я закрываю двери у себя, я могу его вынуть из шкатулки с драгоценностями, оно там в самом низу. Хотела бы я знать молитву без этих «мне». «Помоги *мне*!», «Дай *мне* счастья!», «Пошли *мне* смерть!» Мне, мне, мне.

Сделай так, чтобы я думала про пятна у Ричарда на щеке. Сделай так, чтобы я видела, как Генри плачет,— Господи, дорогой, вот я старалась любить и так напутала! Если бы я любила Тебя, я бы умела любить всех. Я верю в легенду. Я верю, что Ты родился. Я верю, что Ты умер за нас. Я верю, что Ты Бог. Научи меня любить. Пускай мне будет плохо, это ничего. Я не могу, чтобы им было плохо. Сделай так, чтобы мне было хуже и хуже, а им — лучше! Господи, дорогой, Ты не можешь сойти с креста, чтобы *я* была на кресте вместо Тебя? Если бы я страдала, как Ты, я бы, как Ты, и помогала.

4 февраля 1946.

Генри не пошел на работу — не знаю почему. Он повел меня в кафе и в Национальную галерею, мы пообедали дома, а потом пошли в театр. Он — как отец, который взял ребенка из школы. Но ребенок-то он.

5 февраля 1946.

Генри думает поехать весной за границу, только не знает куда, на Луару или в Германию, он там может сделать доклад о том, как вели себя немцы во время бомбежек. Хоть бы весна не пришла! Как бы я этого хотела! Ну, вот опять — «хочу», «не хочу»... Если б я любила Тебя, я бы сумела любить Генри. Ты же стал человеком — и Генри с его близорукостью, и Ричардом с пятнами, не только Морисом. Если бы я любила прокаженных, я ведь сумела бы любить скучных, правда? Да что там, я бы убежала от прокаженного, окажись он здесь, как я бегу от Генри! Все мне надо событий. Я возомнила, что выдержу боль от гвоздей, а не могу выдержать одни сутки карт и справочников! Господи, дорогой, я ни на что не гожусь. Я такая же потаскуха и врунья, как раньше. Убери Ты меня с дороги!

6 февраля 1946.

Сегодня было очень плохо у Ричарда. Он говорил мне о том, как противоречат друг другу разные конфессии, а я старалась слушать, но не сумела, и он это заметил. Он вдруг спросил:

— Зачем вы сюда ходите?

А я не подумала и сказала:

— Чтобы видеть вас.

— Я думал, вы ходите учиться,— сказал он. И я объяснила, что это я и имела в виду.

Я знала, что он не верит мне, и боялась, что он обидится, рассердится, но он совсем не рассердился. Он встал с кресла и сел рядом на диван, чистой щекой ко мне. Он сказал:

— Мне очень важно, что вы приходите.

И тут я поняла, что сейчас он будет за мной ухаживать. Он взял мою руку и спросил:

— Я вам не нравлюсь?

— Конечно, нравитесь,— сказала я.— А то бы я тут не была.

— Вы не выйдете за меня замуж? — спросил он, из гордости — так, словно спрашивал, не выпью ли я чаю.

— Генри обидится,— сказала я, стараясь обратить это в шутку.

Он спросил:

— Вы ни за что от него не уйдете?

А я сердито подумала: «Если я из-за Мориса не ушла, какого черта уходить из-за вас?»

— Я за ним замужем.

— Для нас с вами это ничего не значит.

— О нет, значит! — сказала я.— Я верю в Бога,— надо же когда-нибудь сказать.— Это вы меня научили. Вы с Морисом.

— Я не понял.

— Вы всегда говорили, что священники отняли у вас веру. Бывает и наоборот.

Он посмотрел на свои руки и сказал:

— Мне все равно, во что вы верите. Верьте во что хотите. Я вас люблю, Сара.

— Очень жаль,— сказала я.

— Я люблю вас сильнее, чем ненавижу веру. Если бы у нас были дети, я бы разрешил вам их портить.

— Ну, зачем вы!

— Я не богат. Больше мне нечем вас подкупить.

— Я люблю другого, Ричард.

— Не так уж вы его любите, если связаны этим дурацким обетом.

— Я все делала, чтоб его нарушить,— сказала я.— Ничего не выходит.

— Вы думаете, я дурак? — спросил он.

— Что вы, почему?

— Потому что жду, чтобы вы полюбили *такого,*— он повернулся ко мне больной щекой.— Вы верите в Бога. Это легко. Вы красивая. Вам не на что жаловаться, а мне за что его любить, если он дал вот это ребенку?

— Ричард,— сказала я,— дорогой, это совсем не страшно...— и закрыла глаза, и поцеловала пятна. На минутку меня затошнило, я ведь боюсь уродства, а он сидел тихо, не двигался, и я подумала : «Я целую горе, оно — Твое, не то что счастье. Значит, я люблю Тебя». Я почти ощутила вкус железа и соли и подумала: «Какой Ты добрый! Ты бы мог убить нас счастьем, а дал нам быть с Тобой в горе».

Я почувствовала, что Ричард резко отодвинулся, и открыла глаза. Он сказал:

— Прощайте.

— До свиданья, Ричард,— сказала я.

— Не приходите больше,— сказал он.— Я не вынесу вашей жалости.

— Это не жалость.

— Я очень глупо себя вел.

И я ушла, незачем было оставаться. Я не могла ему сказать, что я ему завидую, ведь он носит знак горя и каждый день видит в зеркале Тебя, а не ту унылую, земную штуку, которую мы зовем красотой.

10 февраля, 1946.

«Мне незачем Тебе писать или говорить с Тобой»,— так я начала недавно письмо, и мне стало стыдно, я его порвала, очень глупо Тебе писать, Ты же знаешь все прежде, чем я подумаю. Любила ли я толком Мориса раньше, чем полюбила Тебя? Или Тебя я и любила все время, касалась Тебя, когда касалась его? Могла бы я Тебя коснуться, если бы сперва не коснулась его, как никого не касалась, ни Генри, ни одного человека? И он любил меня, как никого не любил. Меня — или Тебя? Ведь он ненавидел во мне то, что и Ты ненавидишь. Он был на Твоей стороне, но этого не знал. Ты хотел, чтобы мы с ним расстались,— и он хотел. Он добивался разрыва и злостью, и ревностью, и любовью. Он ведь меня так

любил, и я его так любила, что мы все растратили, у нас ничего не осталось, кроме Тебя. Ни у кого из нас. Я ведь могла бы всю жизнь крутить романы. Но уже тогда, в первый раз, в Паддингтоне, мы растратили все, что у нас было. Ты был там, Ты учил нас не скупиться, как богатого юношу, чтобы когда-нибудь у нас осталась только любовь к Тебе. Но Ты ко мне слишком добр. Когда я прошу боли, Ты даешь мир. Дай и ему. Дай ему, забери от меня, ему нужнее!

12 февраля 1946.

Два дня назад мне было так хорошо, так спокойно. Я знала, что снова буду счастлива, но вот вчера видела во сне, что иду по длинной лестнице к Морису. Я еще радовалась — я знала, что когда я дойду, мы будем любить друг друга,— и крикнула, что сейчас приду, но ответил чужой голос, гулкий, как сирена в тумане. Я решила, что Морис переехал и теперь неизвестно, где он, пошла вниз, но почему-то оказалась по грудь в воде, и в холле был густой туман. Тут я проснулась. Мир и покой исчезли. Я не могу без Мориса, как тогда. Я хочу есть с ним вместе сандвичи. Я хочу пить с ним у стойки. Я устала, я больше не хочу страдать. Мне нужен Морис. Мне нужна простая, грешная любовь. Господи, дорогой мой, я бы хотела, чтобы мне хотелось страдать, как Ты, но не сейчас. Забери это ненадолго, дай попозже.

Книга четвертая

1

Больше я читать не мог. Снова и снова пропускал я совсем уж невыносимые места. Я хотел выяснить про Данстана, хотя и не столько, но теперь это куда-то ушло, словно скучная дата. Теперь это было не важно. Если я опоздал, то на неделю. «Мне нужен Морис. Мне нужна простая, грешная любовь».

«Что же еще я могу дать? — думал я.— Я ничего не знаю о другой любви. Но если ты думаешь, что я все растратил, ты ошиблась. Осталось достаточно на нашу жизнь»,— и я подумал о том дне, когда она паковала вещи, а я тут работал и не знал, что счастье так близко. Хорошо, что не знал; хорошо, что знаю. Теперь я могу действовать. Данстан — это чепуха. Тот уполномоченный — тоже. Я подошел к телефону и набрал ее номер.

Ответила служанка. Я сказал:

— Говорит Бендрикс. Можно попросить миссис Майлз?

Она сказала: «Подождите»,— а я перевел дух, словно долго бежал. Я ждал ее голоса, но снова услышал служанкин — та говорила, что миссис Майлз нет дома. Не знаю, почему я ей не поверил. Я подождал пять минут, потом натянул на трубку платок и позвонил еще раз.

— Попросите, пожалуйста, миссис Майлз.

— Ее нет дома.

— Когда ее можно застать? Это сэр Уильям Мэллок.

Она ответила очень скоро.

— Алло! Это я.

— Знаю,— сказал я.— Я знаю твой голос.

— Вы... А я думала...

— Сара,— сказал я,— я сейчас приду.

— Нет, Морис, не надо. Я лежу.

— Тем лучше.

— Не говорите глупостей. Я болею.

— Значит, надо увидеться. Что с тобой?

— Да ерунда. Простудилась. Морис...— она говорила четко, как гувернантка, и это бесило меня.— Пожалуйста, не надо приходить.

— Сара, я тебя люблю и приду.

— А я уйду. Встану.

«Если я побегу,— подумал я,— я там буду через пять минут, она еще не оденется». Она сказала:

— Я велю служанке никого не пускать.
— Она не похожа на вышибалу. Меня придется выталкивать.
— Морис, пожалуйста... Я очень прошу... Я давно ничего не просила.
— Только позавтракать вместе.
— Морис, я не могу. Я просто не могу сегодня. На той неделе...
— Много было недель. Я хочу видеть тебя сейчас. Сегодня.
— Почему?
— Ты меня любишь.
— Откуда вы знаете?
— Неважно. Я хочу, чтобы ты ко мне ушла. Уйдешь?
— Морис, я могу ответить так, по телефону. Нет.
— По телефону нельзя тебя коснуться.
— Морис, дорогой, пожалуйста! Обещай, что не придешь.
— Приду.
— Морис, мне очень плохо. Очень больно. Я не хочу вставать.
— И не вставай.
— Я непременно встану, и оденусь, и уйду из дому, если...
— Это гораздо важнее для нас, чем простуда.
— Морис, Морис, пожалуйста. Генри скоро вернется.
— Пускай.— И я повесил трубку.

Погода была хуже, чем месяц назад, когда я встретил Генри. Теперь шел дождь со снегом, и острые снежинки словно проникали в петли макинтоша. Они облепили фонари, бежать было трудно, я вообще плохо бегаю, я хромой. Я пожалел, что не взял фонарика — пришлось добираться целых восемь минут. Только я ступил на мостовую перед домом, открылась дверь и вышла Сара. «Ну вот,— обрадовался я.— Поймал». Я знал точно, что еще до ночи мы снова будем с ней вместе. А тогда уж — всякое может быть. Никогда я не знал ее лучше, никогда так сильно не любил. «Чем больше знаешь, тем больше любишь»,— подумал я. Я вернулся на землю доверия.

Она так спешила, что не увидела меня сквозь снег и дождь. Она свернула налево и быстро куда-то пошла. «Где-нибудь она да присядет,— думал я,— тут я ее и поймаю». Я пошел за ней ярдах в двадцати, она не оглядывалась. Она прошла мимо пруда, мимо разбомбленной книжной лавочки, как будто направлялась к метро. Что ж, если надо, я мог с ней говорить в переполненном вагоне. Она спустилась вниз, но не взяла сумки и обнаружила, что в карманах нет денег, даже тех, которые дали бы ей ездить хоть до полуночи. Тогда она взбежала вверх, перешла трамвайные пути. Одно не вышло, она вспомнила другое. Я торжествовал. Она боялась, но не меня же, а себя и того, что будет, когда мы встретимся. Значит, я выиграл и даже мог пожалеть свою жертву. Я хотел сказать: «Не волнуйся, бояться нечего, мы будем счастливы, кошмар почти кончился».

И тут я потерял ее из виду. Я слишком успокоился и дал ей уйти слишком далеко. Она перебежала дорогу (я отстал еще из-за ноги), между нами прошел трамвай, и она исчезла. Она могла свернуть налево, на Хай-стрит, или пойти прямо, к Парк-роуд. Я ее не видел. Я не очень беспокоился — не поймаю сейчас, поймаю завтра. Теперь я знаю про этот идиотский обет, я уверен, что она меня любит, уверен в ней. Если двое любят друг друга, они друг с другом спят, это формула, доказанная всем человеческим опытом.

На Хай-стрит была булочная, я заглянул туда, ее не нашел. Тогда я вспомнил про церковь на углу Парк-роуд и понял сразу, что она там. Конечно, я оказался прав — она сидела в боковом проходе, рядом с жуткой статуей Девы. Она не молилась, просто сидела, закрыв глаза. Я разглядел ее в свете свечей у статуи (в церкви было очень темно) и сел сзади, как Паркис. Я стал ждать. Я бы годами ждал, раз уж узнал, чем все кончится. Я был продрогший, мокрый, счастливый. Я даже мог смотреть на алтарь, жалеть того, кто висит там. «Она любит нас обоих,— думал я,— но если надо выбирать между мифом и человеком, ясно, кто победит». Я мог положить руку ей на бедро, поцеловать ее — он заключен в алтаре и не может за себя постоять.

Вдруг она закашлялась и прижала к боку ладонь. Я знал, что ей больно, и не мог ее так оставить. Я сел рядом с ней и положил ей руку на колено. Когда приступ прошел, она сказала:

— Пожалуйста, оставьте меня.

— Я никогда тебя не оставлю.

— Что с вами, Морис? В ресторане вы таким не были.

— Я не знал, что ты меня любишь.

— Почему вы думаете, что люблю? — спросила она, но не сняла мою руку. Тогда я рассказал ей про Паркиса и про дневник — я не хотел ее обманывать.

— Это нехорошо,— сказала она.

— Да.

Она опять закашлялась и от слабости прислонилась плечом ко мне.

— Сара,— сказал я,— все кончилось. Нам больше не надо ждать. Мы будем всегда вместе.

— Нет,— сказала она.

Я обнял ее и тронул ее грудь, где сердце.

— Отсюда и начнем,— сказал я.— Я плохо любил тебя, Сара. Понимаешь, я не был в тебе уверен. Я тебе не доверял. Я мало знал о тебе. А теперь доверяю.

Она ничего не сказала, но и не отодвинулась, словно соглашаясь. Я сказал:

— Вот что, иди домой, полежи дня два, нельзя ездить с такой простудой. Я буду звонить каждый день, справляться. Когда тебе станет лучше, я приду и помогу сложить вещи. Мы тут не останемся. У меня есть двоюродный брат в Дорсете, у него стоит пустой коттедж. Поживем там месяц-другой, отдохнем. Я кончу книгу. К юристам пойдем позже. Нам обоим надо отдохнуть. Я устал, я ужасно устал без тебя, Сара.

— И я,— она говорила так тихо, что я бы не услышал, если бы ее не знал, но слова эти были как музыкальный ключ ко всей нашей истории, начиная с той паддингтонской гостиницы. «И я» — горевала, разочаровывалась, отчаивалась, радовалась, хотела быть всегда вместе.

— Денег мало,— сказал я,— но все ж не очень. Мне заказали биографию генерала Гордона, и мы проживем на аванс месяца три. К тому времени я предложу новый роман и получу аванс под него. Обе книги выйдут в этом году, мы продержимся до следующей. Когда ты рядом, я могу работать. Ну и распишусь я! У меня будет самый вульгарный успех, и нам обоим это не понравится, но мы всего накупим, будем сорить деньгами и радоваться, ведь мы с тобой, вместе.

Вдруг я понял, что она спит. Измучилась от борьбы и заснула у меня на плече, как бывало столько раз в такси, в автобусе, на скамейке. Я сидел тихо, чтобы ей не помешать. Ничто не могло разбудить ее в темной церкви. Пламя свечей едва колыхалось перед статуей, мы были одни. Она давила мне на руку, и я никогда не знал такого наслаждения, как эта боль.

Говорят, если нашепчешь что-нибудь спящему ребенку, это на него повлияет; и я начал шептать, негромко, чтобы ее не разбудить, но все же надеясь, что слова проникнут в подсознание. «Сара,— шептал я,— я тебя люблю. Никто никогда тебя так не любил. Мы будем с тобой счастливы. Генри переживет, мы ведь только раним его гордость, а она заживает быстро. Он найдет, чем тебя заменить,— ну, будет собирать античные монеты. Мы уедем, Сара, уедем. Этому не помешаешь. Ты любишь меня, Сара»,— и я замолчал, думая, надо ли покупать новый чемодан. Тут она проснулась и закашлялась.

— Я заснула,— сказала она.

— Иди домой, Сара. Тебе холодно.

— Это не дом, Морис,— сказала она.— Я не хочу отсюда уходить.

— Тут холодно.

— Ничего. Тут темно. В темноте я во что угодно поверю.

— Поверь в нас.

— Вот именно.

Она опять закрыла глаза, а я взглянул на алтарь и сказал, как сопернику: «Видишь, какие побеждают доводы».

— Ты устала? — спросил я.

— Да, очень.

— Не надо было от меня бежать.

— Это не от тебя.— Она пошевелила плечом.— Пожалуйста, Морис, теперь ты уйди.

— А ты иди ложись.

— Да, сейчас. Я не хочу выходить с тобой. Я хочу тут попрощаться.

— Обещай, что скоро ляжешь.

— Обещаю.

— И позвонишь?

Она кивнула, но смотрела она на свою руку, словно брошенную на колени. Я заметил, что пальцы скрещены, и подозрительно спросил:

— Ты не лжешь?

Потом я разнял ее пальцы и спросил снова:

— Ты хочешь опять от меня убежать?

— Морис, дорогой,— сказала она,— у меня нет сил.— И она заплакала, прижимая кулачки к глазам, как ребенок.— Прости,— сказала она.— Уходи, пожалуйста, Морис, пожалей ты меня!

Сколько можно приставать к человеку! Как настаивать после такой мольбы? Я поцеловал спутанные волосы, и соленые, влажные губы тронули уголок моего рта.

— Храни тебя Бог,— сказала она, и я подумал: «Она это вычеркнула, когда писала Генри». Если ты не Смитт, отвечаешь так же, как попрощались с тобой, и я машинально сказал то, что сказала она; но, выходя, увидел, как она сидит у самой кромки света, словно нищий, который зашел погреться, и представил, что Бог и впрямь ее хранит — или просто любит. Когда я стал записывать, что с нами было, я думал, я пишу про ненависть, но та куда-то ушла, и я знаю одно: Сара ошиблась, она меня бросила, и все же она лучше многих. Пусть хоть кто-то из нас двоих верит в нее — она в себя не верила.

2

Следующие дни мне было очень трудно сохранять благоразумие. Теперь я работал ради нас двоих. Утром я устанавливал минимум, семьсот пятьдесят слов, но уже к одиннадцати получалась тысяча. Удивительно, что творит надежда,— роман целый год едва тащился, а теперь подходил к концу. Я знал, что Генри уходит на службу примерно в половине десятого, и Сара могла звонить до половины первого. Он стал приходить к ленчу (это мне сказал Паркис), и до трех она звонить не могла. Я решил до 12.30 перечитывать то, что сделал накануне, а потом, когда ждать не надо,— ходить в Британский музей, собирать материал по Гордону. Читать и выписывать проще, чем писать,— не так поглощает, и мысли о Саре становились между мной и миссией в Китае. Я часто думал, почему мне предложили написать именно эту биографию. Лучше бы выбрали того, кто верит в Бога, как Гордон. Я мог понять, что он упорно сидел в Хартуме, здесь его ненавидели политики, но Библия на столе — это чужой мир, не мой. Может быть, издатель надеялся и на то, что мое циничное отношение к его Богу принесет скандальный успех. Что ж, я ему угождать не собирался — это и Сарин Бог, а я не буду побивать каменьями даже миф, даже призрак, раз она его любит. В те дни я не питал к нему ненависти — ведь победил-то я.

Как-то я ел свои сандвичи (почему-то я всегда пачкал их химическим карандашом) и вдруг услышал знакомый голос, тихий, чтобы не помешать читателям:

— Надеюсь, сэр, теперь все хорошо, простите за нескромность.

Я поднял глаза и увидел незабвенные усы.

— Очень хорошо, Паркис, спасибо. Сандвич хотите?

— Нет, сэр, что вы...

— Ладно, ладно. Считайте, это мои расходы.

Он робко взял сандвич, посмотрел и сказал так, словно получил монету, а она оказалась золотая:

— Настоящая ветчина!

— Издатель прислал из Америки.

— Спасибо, сэр.

— У меня стоит ваша пепельница,— прошептал я, ибо мой сосед сердито глядел на меня.

— Она дешевая, просто я к ней привык,— шепотом ответил он.

— Как ваш мальчик?

— Живот побаливает, сэр.

— Не думал вас тут увидеть. Работа? За нами следите?

Я никак не мог представить, что унылые читатели — какие-то люди в шляпах и шарфах для тепла, один индус, с трудом одолевающий собрание сочинений Джордж Элиот, человек, каждый день засыпавший за одной и той же стопкой книг,— участвуют в драме ревности.

— Нет, сэр. Это не работа. У меня выходной, а мальчик уже в школе.

— Что ж вы читаете?

— Судебные отчеты в «Таймс». Сегодня вот дело Рассела. Помогает, сэр, создает фон. Лучше видишь. Отвлекаешься от мелочей. Я служил с одним из свидетелей, сэр. Мы вместе служили. Теперь он прославился, а я — куда там!

— Кто его знает, Паркис.

— Я знаю. То-то и плохо. Дело Болтон, вот мой предел. Когда вышел закон, что по бракоразводным делам нам нельзя давать показания, для моей специальности это был конец. Судьи никогда нас не называют, они вообще нас не любят.

— Никогда об этом не думал,— сказал я как можно теплее.

Паркис и тот может тронуть сердце. Теперь, увидев его, я думаю о Саре. Я поехал домой на метро, надеясь, что ее увижу, и сидел, и ждал звонка, и понял — нет, не сегодня. В пять я набрал ее номер, услышал короткие гудки и положил трубку: Генри мог вернуться пораньше, а как мне с ним говорить, я ведь победил, Сара любит меня, она от него уходит. Но если победа откладывается, вынести это не легче, чем затянувшееся поражение.

Телефон зазвонил через восемь дней — совсем не в то время, раньше девяти. Я сказал: «Алло» — и услышал голос Генри.

— Это вы, Бендрикс? — спросил он. Голос был очень странный, и я подумал: «Неужели сказала?»

— Да, это я.

— Очень страшная вещь случилась. Вам надо знать. Сара умерла.

Как неестественно мы себя ведем в такие минуты! Я сказал:

— Сочувствую, Генри, сочувствую.

— Вы свободны сейчас?

— Да.

— Приходите, выпьем. Я не могу один.

Книга пятая

1

Ночь я провел у Генри. Я впервые спал у него. Сара лежала в комнате для гостей (она ушла туда за неделю, чтобы не мешать Генри кашлем), и я спал на тахте в той самой комнате, где мы любили друг друга на полу. Я не хотел оставаться на ночь, он упросил.

Наверное, мы выпили больше бутылки виски. Помню, он сказал:

— Как странно, Бендрикс, мертвых ревновать нельзя. Она только что умерла, а я уже позвал вас.

— К чему и ревновать? Это давно кончилось.

— Не утешайте меня, Бендрикс. Это не кончалось ни у нее, ни у вас. Мне повезло. Я все время был с ней. Вы меня ненавидите?

— Не знаю, Генри. Думал — да, а теперь не знаю.

Мы сидели в кабинете, без света. Газ в камине горел так слабо, что мы друг друга не видели, и я мог понять, когда он плачет, только по голосу. «Дискобол» метил в нас из темноты. Я спросил:

— Как это было, Генри?

— Помните, мы встретились перед домом? Недели три-четыре назад? Она в тот вечер простудилась. Лечиться не хотела. Я даже не знал, что затронуты легкие. Она никому ничего не говорила.

«Даже дневнику»,— подумал я. Там не было ни слова о болезни. Ей некогда было болеть.

— В конце концов она слегла,— сказал Генри,— но не вылежала и не хотела доктора, она им вообще не верит. Неделю назад она встала и вышла, Бог знает зачем. Сказала, надо пройтись. Я вернулся, а ее нет. Пришла в девять, совсем промокшая — хуже, чем тогда. Наверное, не один час гуляла под дождем. Ночью у нее был жар, она бредила. Не знаю, с кем она говорила — не с вами, не со мной. Я уговорил вызвать врача. Он сказал, если бы начать пенициллин на неделю раньше, можно было бы ее спасти.

Нам оставалось пить виски. Я думал о Том, кого выследил Паркис по моей воле,— да, Он победил. «Нет, я Генри не ненавижу. Я ненавижу Тебя, если Ты есть». Я вспомнил, как она сказала этому Смитту, что я научил ее верить. Не знаю уж, каким образом, но я и себя ненавижу, когда подумаю, что́ потерял!

— Она умерла в четыре, под утро,— сказал Генри,— меня там не было. Сестра не позвала.

— Где сестра?

— Все прибрала и ушла. У нее срочный случай.

— Я бы хотел вам помочь.

— Вы и помогаете, вы ведь сидите со мной. Какой был страшный день, Бендрикс! Я всегда думал, я умру первым,— я ведь не знаю, как быть, когда кто-то умер, а Сара знала бы. Если бы осталась со мной, конечно. В сущности, это женское дело, как роды.

— Наверное, доктор помог?

— У него очень много дел. Он вызвал служащего из конторы. Я бы не знал, куда идти, у нас нет справочника. Но доктор не скажет, куда девать вещи. Полные шкафы. Духи, пудра — ведь не выбросишь... Если бы у нее была сестра...

Он вдруг замолчал, потому что дверь открылась и закрылась, как тогда, когда он сказал: «Это служанка», а я: «Это Сара». Мы прислушались к служанкиным шагам, она шла наверх. Удивительно, какой дом пустой, хотя в нем трое! Мы выпили, я налил еще.

— У меня его много,— сказал он,— Сара нашла...— и он снова остановился. Она была в конце любой тропы. Мы не могли обойти ее никак. Я подумал: «Почему Ты это с нами сделал? Если бы она в Тебя не верила, она была бы жива, мы с ней так и были бы вместе». Странно и печально, что мне еще что-то не нравилось. Я бы прекрасно делил ее сейчас с Генри. Я спросил:

— А похороны?

— Бендрикс, я не знаю, как быть. Случилась очень странная вещь. Когда она бредила, сама себя не понимала, сестра слышала, что она зовет священника. Во всяком случае, она говорила: «Отец, отец!» — а отца у нее нет. Конечно, сестра знала, что мы не католики. Она разумная женщина. Она ее успокоила. Но я не знаю, как быть, Бендрикс.

Я злобно, горько подумал: «Бедного Генри Ты бы мог не трогать. Мы без Тебя обходились. Зачем Ты вмешался в нашу жизнь, как дальний родственник с края света?»

Генри сказал:

— Когда живешь в Лондоне, кремация — проще всего. Я думал похоронить на Голдерз-Грин, сестра все объяснила. Этот служащий звонил в крематорий. Они могут назначить на послезавтра.

— Она бредила,— сказал я.— Не надо обращать внимания.

— Я думал, не спросить ли священника. Она так много скрывала. Вполне может быть, она стала католичкой. Она была странная последнее время.

— Нет, Генри, она ни во что не верила. Не больше нас с вами,— сказал я. Я хотел, чтобы ее сожгли. Я хотел сказать: «Воскреси это тело, если можешь». *Моя* ревность не кончилась с ее смертью. Все было так, словно она жива, словно она с другим — с тем, кого она предпочла мне. Как я хотел бы послать Паркиса, чтобы он помешал им в вечности!

— Вы уверены?

— Совершенно уверен.

Я думал: «Надо быть осторожным. Я — не Ричард Смитт, я не должен ненавидеть, я ведь тогда поверю, а это — Твоя и ее победа». Неделю назад я должен был только сказать ей: «Помнишь, как у меня не было шиллинга для счетчика?» — и мы бы сразу оба все увидели. Теперь могу увидеть я один. Она потеряла навсегда все наши воспоминания, словно, умерев, украла у меня часть личности. Вот он, первый мой шаг к смерти — воспоминания отваливаются, как гангренозная рука.

— Терпеть не могу этих молитв, могильщиков,— сказал Генри.— Но Сара так хотела, я попытаюсь все устроить.

— Она выходила замуж не в церкви,— сказал я.— Зачем же ее в церкви хоронить?

— Да, верно.

— Гражданский брак и кремация,— сказал я,— одно к другому,— и Генри поднял голову в темноте, словно заподозрил насмешку.— Поручите все мне,— сказал я у того самого камина, в той самой комнате, где предлагал пойти за него к Сэвиджу.

— Спасибо, Бендрикс,— сказал он и очень бережно вылил в стаканы остаток виски.

— Первый час,— сказал я,— вам пора спать. Если сможете.

— Доктор дал таблетки.

Но он не хотел остаться один. Я знал, что́ он чувствует — после дня с Сарой я старался, сколько мог, не сидеть один в комнате.

— Все забываю, что она умерла,— сказал Генри.

И у меня это было целый год, несчастный 45-й,— проснусь и не помню, что мы не вместе, что может позвонить кто угодно, только не она. Тогда она была такая же мертвая, как сейчас. В этом году месяц-другой призрак мучил меня надеждой, но призрак исчез, боль скоро пройдет. С каждым днем я буду умирать понемногу. Как я хотел задержать эту боль! Пока ты страдаешь, ты жив.

— Идите ложитесь, Генри.

— Я боюсь увидеть ее во сне.

— Примите пилюли, не увидите.

— Вам не надо?

— Нет.

— Вы не останетесь на ночь? Погода плохая.

— Ничего.

— Я вас очень прошу.

— Ну, конечно останусь.

— Я принесу белье.

— Не беспокойтесь, Генри,— сказал я, но он ушел. Я глядел на паркет и вспоминал точно, как звучит ее крик. На ее письменном столике лежали всякие вещи, и каждая что-то значила для меня, словно код. Я думал: «Она даже камешек не выбросила. Мы смеялись, какой он странной формы, и вот лежит, как пресс-папье. Что с ним сделает Генри, и с крохотной бутылочкой ликера, и со стеклышком, которое отшлифовало море, и с деревянным кроликом, которого я нашел в Ноттингеме? Забрать их? Ведь выбросят в корзину, когда Генри сможет убирать. Но как жить с ними рядом?»

Я смотрел на них, когда Генри принес белье.

— Забыл сказать, Бендрикс. Может, вы хотите взять что-нибудь? Наверное, она не оставила завещания.

— Спасибо.
— Я благодарен теперь всем, кто ее любил.
— Если вы не против, я возьму камень.
— Она хранила такие странные вещи. Вот вам моя пижама.

Он забыл принести наволочку, и, лежа прямо на подушке, я думал, что ощущаю Сарин запах. Спать я не мог. Я впился ногтями в ладони, как она, чтобы боль не давала мне думать. Маятник желаний устало качался туда-сюда — я хотел забыть и помнить, умереть и пожить еще. Наконец я уснул. Я шел по Оксфорд-стрит, волновался, что мне надо купить подарок, а в магазинах — дешевые безделушки, сверкающие в скрытом свете. Иногда мне казалось, что вот что-то хорошее, я подходил к витрине, но опять была дешевка — скажем, уродливая зеленая птица с красными глазами, которые издали были как рубины. Времени оставалось мало, я спешил. Вдруг из одного магазина вышла Сара, и я понял, что она мне поможет.

«Ты что-нибудь купила?» — спросил я.

«Не здесь,— сказала она.— Подальше есть красивые бутылочки».

«У меня нет времени,— сказал я.— Помоги мне. Надо что-то купить, завтра день рождения».

«Не волнуйся,— сказала она.— Все всегда улаживается. Не страдай». И я успокоился.

Улица уходила в поле, в серый туман, я шел босой по росе, споткнулся на колее и проснулся, еще слыша: «Не страдай»,— словно шепот, словно летний звук, оставшийся с детства.

Генри еще спал, когда подкупленная Паркисом служанка принесла мне кофе и тосты. Она раздвинула занавески, теперь шел только снег. Я еще не проснулся толком, очарование сна не исчезло, и удивился, что глаза у нее красные от слез.

— Что случилось, Мод? — сказал я.

Она резко поставила поднос, выскочила, и тут я совсем проснулся в пустом доме, в пустом мире. Я пошел наверх, к Генри. Он спал тяжелым, неестественным сном, улыбаясь, как пес, и я ему позавидовал. Потом я вернулся и попробовал съесть тосты.

Зазвонил звонок, служанка повела кого-то наверх — человека из бюро, наверное, ведь они пошли в комнату для гостей. Он видит Сару, я — нет, но я и не хотел, это все равно что увидеть ее с другим. Некоторых это возбуждает, только не меня. Я собрался с силами и стал думать: «Теперь все и впрямь кончено, надо начинать сначала. Когда-то я влюбился, надо влюбиться опять». Ничего не вышло, словно я стал бесполым.

Опять позвонили. Сколько в доме дел, пока Генри спит! На сей раз Мод зашла ко мне. Она сказала:

— Там человек спрашивает мистера Майлза, а я не хочу его будить.
— Кто именно?
— Это приятель миссис Майлз,— так выдала она, что принимала участие в наших жалких кознях.
— Ведите его сюда,— сказал я. Я чувствовал, насколько я выше Смитта здесь, в ее гостиной, в пижаме Генри. Я столько знаю о нем, он обо мне не знает. Он смущенно глядел на меня, стряхивая снег. Я сказал:
— Мы как-то встречались. Я друг миссис Майлз.
— С вами был мальчик.
— Да, был.
— Я хочу повидать мистера Майлза,— сказал он.
— Вы уже слышали?
— Потому я и пришел.
— Он спит. Врач дал ему таблетки. Это большой удар для нас,— глупо прибавил я.

Смитт оглядывался. На Седар-роуд Сара приходила ниоткуда, у нее не было измерений, как во сне. Здесь она уплотнилась. Комната — это тоже Сара. Снег медленно стекал на порог, словно земля с лопаты. Комнату хоронили, как Сару.

Он сказал:

— Я еще приду,— и уныло повернулся, той щекой ко мне. Я подумал: «Вот что тронули ее губы». Ее всегда было легко разжалобить.

Он глупо повторил:

— Я пришел повидать мистера Майлза. Выразить...

— В таких случаях пишут.

— Я думал, я могу помочь,— тихо сказал он.

— Мистера Майлза обращать не надо.

— Обращать?

— Убеждать, что от нее ничего не осталось. Что это конец. Совершеннейший.

Вдруг он сорвался:

— Я хочу ее видеть, вот и все.

— Мистер Майлз ничего о вас не знает. Зря вы пришли сюда, Смитт.

— Когда похороны?

— Завтра, на Голдерз-Грин.

— Она была бы против,— неожиданно сказал он.

— Она ни во что не верила,— сказал я.

Он сказал:

— Разве вы оба не знаете? Она хотела стать католичкой.

— Чепуха какая.

— Она мне писала. Она решила твердо. Я не мог ее убедить. Она проходила... катехизацию. Так у них говорят?

«Значит, у нее и сейчас есть тайны,— подумал я.— Об этом она не писала, как и о болезни. Что же еще предстоит узнать?» Мысль эта была как отчаяние.

— Вы очень огорчились, да? — спросил я, пытаясь перенести на него свою боль.

— Конечно, я рассердился. Но ведь нельзя всем верить в одно и то же.

— Раньше вы не так говорили.

Он посмотрел на меня, словно удивился, что я так злюсь. Он сказал:

— Вас не Морис зовут?

— Именно так.

— Она мне про вас говорила.

— А я про вас читал. Она нас обоих оставила в дураках.

— Я себя глупо вел,— сказал он.— Как вы думаете, смогу я ее увидеть?

И я услышал тяжелые шаги человека из бюро. Скрипнула та самая ступенька.

— Она лежит наверху. Первая дверь слева.

— А мистер Майлз...

— Его вы не разбудите.

Когда он пришел опять, я уже оделся. Он сказал:

— Благодарю вас.

— Не благодарите,— ответил я.— Она не моя, как и не ваша.

— Я не вправе просить,— сказал он,— но я бы хотел... Вы ведь любили ее.— И он прибавил, словно проглотил горькую пилюлю: — Она вас любила.

— Что вы пытаетесь сказать?

— Я бы хотел, чтобы вы для нее...

— Для нее?

— Пусть ее похоронят по-церковному. Она бы об этом просила.

— Какая теперь разница?

— Никакой, наверное. Но всегда лучше быть добрым.

«Ну, это уж слишком! — подумал я.— Чепуха какая»,— и мне захотелось расшевелить похороненную комнату смехом. Я сел на тахту и стал просто трястись. Наверху — мертвая Сара, спящий Генри, а поклонник с пятнами и любовник, нанявший сыщика, обсуждают похороны. Паркис из-за меня пудрил у него звонок! Слезы текли по щекам, так я смеялся. Однажды я видел человека, который смеялся у развалин дома, где погибли его жена и дети.

— Не понимаю,— сказал Смитт. Он сжал правый кулак, словно думал защищаться. Мы столько всего не понимали... Боль, будто взрыв, бросила нас друг к другу.

— Я пойду,— сказал он и нащупал левой рукой ручку двери. Я не думал, что он левша, и странная мысль меня посетила.

— Простите,— сказал я.— Я не в себе. Мы все не в себе,— и протянул ему руку. Он не сразу тронул ее левой рукой.

— Смитт,— сказал я,— что вы там взяли? Вы ведь что-то взяли у нее?

Он разжал ладонь, я увидел прядь волос.

— Вот,— сказал он.

— Какое вы имели право?

— Теперь она никому не принадлежит,— сказал он, и вдруг я увидел, что́ она теперь — падаль, которую надо убрать. Хочется взять волосы — берите, или обрезки ногтей, если вам нужно. Можно делить ее мощи, как со святыми. Скоро ее сожгут, почему ж не расхватать что требуется? Нет, какой я дурак, три года думал, что она — моя! Мы не принадлежим никому, даже самим себе.

— Простите,— сказал я.

— Вы знаете, что она мне написала? — спросил он.— Только четыре дня назад,— и я горько подумал, что у нее было время писать ему, но не было, чтобы звонить мне.— Она написала: «Молитесь обо мне». Странно, правда,— чтобы *я* молился за *нее?*

— Что же вы сделали?

— Когда я услышал, что она умерла, я помолился.

— Вы знаете молитвы?

— Нет.

— Хорошо ли молиться тому, в кого не веришь?

Я вышел вместе с ним — незачем было ждать, пока Генри проснется. Рано или поздно он поймет, что он совсем один, как понял я. Глядя, как Смитт идет впереди, я думал: «Истерик. Неверие может быть истерическим, как вера». Ботинки у меня промокли в растоптанном снегу, и я вспомнил росу из сна, но когда я захотел вспомнить голос, говоривший: «Не страдай»,— я не смог, я не помню звуков. Я бы не мог и передразнить ее — пытаюсь припомнить, а слышу просто голос, никакой, ничей, разве что женский. Вот, начал ее забывать. Надо хранить пластинки, как мы храним фотографии.

Я поднялся в холл по разбитым ступенькам. Все теперь было другое, чем тогда, только старинное стекло осталось. Сара действительно верила, что конец начался, когда она увидела мое тело. Она не признала бы, что он начался давно — меньше было звонков по самым нелепым причинам, я ссорился с ней, почуяв, что любовь кончается. Мы стали заглядывать за край любви, но знал это я один. Упади снаряд раньше на год, она бы такого не пообещала. Она бы ногти содрала, вытаскивая меня из-под двери. Когда покончишь с человеком, с людьми, приходится думать, что веришь в Бога,— так гурману непременно нужно что-нибудь остренькое. Я оглядел холл, чистый, словно камера, выкрашенный мерзкой зеленой краской, и подумал: «Она хотела, чтобы я попробовал снова, и вот вам — пустая жизнь, чистая, без заразы, без запаха, как в тюрьме»,— и обвинил ее, будто ее молитвы действительно все переменили: «За что ты приговорила меня к жизни?» Ступеньки и перила были совсем новые. Она никогда не ходила по этой, такой лестнице. Даже ремонт и тот помогал забыть ее. Когда все меняется, чтобы помнить, нужен Бог, обитающий вне времени. Любил я еще или только жалел о любви?

Я вошел к себе, и на столе лежало письмо от Сары. Двадцать четыре часа ее нет, сознание она потеряла еще раньше. Как же это письмо так долго пересекало Коммон? Тут я заметил, что она спутала номер дома, и былая горечь едва не вернулась ко мне. Два года назад она бы номер не забыла.

Видеть ее почерк было так трудно, что я чуть не сжег письмо, но любопытство подчас сильнее боли. Писала она карандашом — видимо, потому, что не могла встать с постели.

«Морис, дорогой,— писала она,— я хотела написать вчера, как только ты ушел, но дома мне стало плохо, и Генри всполошился. Я пишу, а не звоню. Я не могу услышать, какой у тебя будет голос, когда я скажу, что не уйду к тебе. Я ведь не уйду, Морис, дорогой, дорогой. Я тебя люблю, но не смогу опять увидеть. Не знаю, как я буду жить в такой тоске и в горе, и молю Бога, чтобы он меня пожалел, забрал отсюда. Морис, я хочу и невинность соблюсти, и капитал приобрести, как все люди. За два дня до того, как ты позвонил, я пошла к священнику и сказала, что я обратилась. Я рассказала ему про тебя и про обет. Я сказала, мы ведь с Генри больше не женаты — я с ним не сплю с тех пор, как мы с тобой, и вообще это не брак, мы же не венчались в церкви. Я спросила, нельзя ли мне стать католичкой и выйти за тебя замуж. Я знала, что ты на это согласишься. Каждый раз, как я спрашивала, я надеялась, будто открываешь ставни в новом доме и ждешь, что пейзаж красивый, а за окном — глухая стена. Он говорил: «Нет», «нет», «нет», я не могу выйти замуж, я не могу с тобой видеться, если стану католичкой. Я подумала: «Ну их к черту!» — и ушла, и хлопнула дверью, чтобы он знал, как я отношусь к священникам. «Они стоят между нами и Богом,— подумала я,— Бог милостивей их»,— и тут я увидела распятие и подумала: «Конечно, Он-то милостив, только странная это милость, иногда кажется — Он скорее наказывает...» Морис, дорогой, у меня страшно разболелась голова, я просто мертвая. Ах, если бы я не была такая сильная, как лошадь! Я не хочу без тебя жить, и, конечно, я тебя встречу как-нибудь между твоим домом и моим и плюну на Генри, на Бога, на все. Но что толку? Я верю, что Бог есть,— теперь я верю в кучу разных вещей, я во что хочешь верю, пусть делят Троицу на двенадцать частей, я поверю. Пусть найдут доказательства, что Христа выдумал Пилат, чтобы выслужиться, я все равно верю. Я заболела, подхватила веру, как подхватывают заразу. Вот про любовь говорят — «влюбилась», а про веру? Я никого не любила до тебя и ни во что не верила до сих пор. Когда ты вошел, на лице у тебя была кровь, я и поверила, раз и навсегда, хотя тогда сама о том не знала. Я боролась с верой дольше, чем с любовью, теперь бороться не могу.

Морис, дорогой, не сердись. Пожалей меня, только не сердись. Я ломака, я врунья, но тут я не ломаюсь и не обманываю.

Раньше я думала, что я знаю себя, различаю добро и зло, а ты научил меня не быть такой уверенной. Ты забрал всю мою ложь, весь самообман, чтобы они не мешали подойти ко мне, вот Он и пришел, ты же сам расчистил дорогу. Когда ты пишешь, ты стараешься писать правду, и меня научил искать ее. Ты говорил мне, если я лгала. Ты спрашивал: «Ты в самом деле так думаешь или тебе это кажется?» Вот видишь, это все ты, Морис, ты и виноват. Я молю Бога, чтобы Он не оставил меня жить так, как сейчас».

Больше ничего не было. Видно, на ее молитвы отвечали раньше, чем она помолится, ведь она стала умирать, когда вышла в дождь, а потом застала меня с Генри. Если бы я писал роман, я бы его здесь кончил — я всегда думал, что роман можно кончать где угодно, но теперь мне кажется, что я никаким реалистом не был, ведь в жизни ничто не кончается. Химики говорят, что материя не исчезает, математики — что если делить шаги надвое, мы не дойдем до другой стены; каким же я был бы оптимистом, если бы решил, что роман тут и кончится! Сара жалела, что она сильная, как лошадь,— вот и я тоже.

2

На похороны я опоздал. Я поехал в город, чтобы повидаться с неким Уотербери, который думал написать обо мне статью для небольшого журнала. Я все прикидывал, встречаться с ним или нет — я и так знал, какие пышные фразы он напишет, какой откроет подтекст, неведомый мне самому, какие ошибки, от которых я сам устал. Под конец он снисходительно отведет мне место — ну, чуть повыше Моэма, ведь Моэм популярен, а я еще до этого не унизился.

Почему я, собственно, прикидывал? Я не хотел встречаться с ним и уж точно не хотел, чтоб обо мне писали. Дело в том, что я больше не интересуюсь своим делом и никто не может угодить мне хвалой, повредить хулой. Когда я начинал тот роман про чиновника — интересовался, когда Сара меня бросила, понял, что работа моя — чепуховый наркотик, вроде сигареты, который помогает влачить дни и годы. Если смерть уничтожит нас (я еще стараюсь в это верить), велика ли разница, оставили мы несколько книг или флакончики, платья, безделушки? Если же права Сара, как не важно все это важное искусство! Наверное, я гадал — идти или нет — просто от одиночества. Мне нечего было делать до похорон, я хотел выпить — можно забыть о работе, но не об условностях, нельзя же сорваться на людях.

Уотербери ждал в баре на Тоттнем-Корт-роуд. Он носил черные вельветовые брюки, курил дешевые сигареты и привел какую-то слишком красивую, высокую девицу. Девица эта, очень молодая, звалась Сильвией. Сразу было видно, что она проходит долгий курс, начавшийся с Уотербери, и пока что во всем подражает учителю. Глаза у нее были живые, добрые, волосы — золотые, как на старинных картинках, и я думал: докуда же она дойдет? Вспомнит ли она через десять лет Уотербери и этот бар? Я пожалел его. Он так важничал, так покровительственно смотрел на нас, а ведь слабый-то он. «Да что там,— подумал я, когда он разглагольствовал о потоке сознания,— вот она глядит на меня, я бы и сейчас мог ее увести». Его статьи печатались в дешевых журнальчиках, мои книги выходили отдельными томиками. Она знала, что от меня научится более важным вещам. А он, бедняга, еще одергивал ее, когда она вставляла какую-нибудь простую человеческую фразу! Я хотел его предупредить, но вместо этого выпил еще хересу и сказал:

— Я спешу. Надо на похороны, на Голдерз-Грин.

— Голдерз-Грин! — восхитился Уотербери.— Совсем в вашем духе! Ведь вы бы выбрали это кладбище, верно?

— Не я его выбрал.

— Жизнь подражает искусству!

— Это ваш друг? — участливо спросила Сильвия, и Уотербери с упреком взглянул на нее.

— Да.

Я видел, что она гадает, кто это, друг или подруга, и был тронут. Значит я для нее — человек, а не писатель. Человек, у которого умирают друзья, он их хоронит, страдает, радуется, даже нуждается в утешении, а не умелый мастер, получше Моэма. «но все же мы не вправе ставить его так высоко, как...».

— Какого вы мнения о Форстере? — спросил Уотербери.

— О Форстере? Простите, пожалуйста. Я думал, долго ли ехать до кладбища.

— Минут сорок,— сказала Сильвия.— Поезда редко ходят.

— Форстер...— сердито повторил Уотербери.

— От станции идет автобус,— сказала Сильвия.

— Сильвия, мистер Бендрикс пришел не для того, чтоб говорить об автобусах.

— Прости, Питер. Я думала...

— Прежде, чем думать, сосчитай до шести. Так вот, Форстер...

— Да Бог с ним,— сказал я.

— Нет, это важно, ведь вы принадлежите к разным школам...

— Он принадлежит к школе? А про себя и не знал... Вы что, учебник пишете?

Сильвия улыбнулась, и он это заметил. Теперь он меня не пощадит, понял я, но мне было все равно. Гордость и равнодушие похожи, и он, наверное, подумал, что я горд. Я сказал:

— Мне действительно пора.

— Да вы просидели здесь пять минут,— сказал он.— Очень важно, чтобы в статье все было правильно.

— Очень важно не опоздать на похороны.
— Не понимаю почему.
Сильвия сказала:
— Мне самой надо в Хампстед. Я покажу вам, как ехать.
— В Хампстед? — ревниво спросил Уотербери.— Не знал.
— Я же всегда езжу к маме по средам.
— Сегодня вторник.
— Значит, завтра не поеду.
— Спасибо,— сказал я.— Очень рад.
— Вы использовали поток сознания,— отчаянно заспешил Уотербери.— Почему вы бросили этот прием?
— Понятия не имею. Почему мы меняем квартиру?
— Вы разочаровались в нем?
— Я во всех своих книгах разочаровался. Ну, до свиданья.
— Статью я вам пришлю,— угрожающе сказал он.
— Спасибо.
— Не задерживайся, Сильвия. В полседьмого мы идем на Бартока.
Мы углубились в улочки Тоттнем-Корт-роуд. Я сказал:
— Спасибо, что увели.
— Да, я видела, что вы хотите уйти.
— Как ваша фамилия?
— Блейк.
— Сильвия Блейк. Хорошо. Даже слишком.
— Это близкий друг?
— Да.
— Женщина?
— Да.
— Какая жалость,— сказала она, и мне показалось, что ей вправду жаль. Многому надо ей учиться — литературе, музыке, беседе, но не доброте. Она влезла вместе со мной в переполненное метро, и мы ухватились за поручни. Ее прижало ко мне, и я вспомнил, что такое желание. Неужели теперь всегда так будет? Не желание, только память о нем. Она пропустила человека, вошедшего на «Гудж-стрит», и я ощутил, что ее нога прижимается к моей,— ощутил так, словно это было очень давно.
— Я никогда не бывал на похоронах,— сказал я, чтобы завязать разговор.
— Значит, ваши родители живы?
— Отец жив. Мать умерла, когда я был в школе, не в городе. Я думал, меня отпустят, но отец решил, что это слишком тяжелое зрелище. Так что ничего и не было. Только разрешили не готовить уроки в тот день.
— Я бы не хотела, чтоб меня сожгли,— сказала она.
— Предпочитаете червей?
— Да.
Мы были так близко, что могли не повышать голоса, но не могли посмотреть друг на друга, люди мешали. Я сказал:
— А мне что так, что так,— и тут же удивился, зачем я лгу, мне ведь совсем не все равно, это же я убедил Генри.

3

Вчера вечером Генри проявил слабость, он позвонил мне, попросил прийти. Удивительно, как сблизила нас Сарина смерть. Теперь он зависел от меня, как прежде — от Сары, все же я знал их дом. Я даже думал, не предложит ли он жить вместе и что я ему отвечу. Забыть Сару трудно и в том доме, и в этом, она связана с ними обоими.
Когда я пришел, он еще не совсем проснулся после снотворного, иначе мне было бы с ним труднее. В кабинете на краю кресла сидел священник — видимо, из этих редемптористов [1], которые по воскресеньям служат чёрту

[1] Редемптористы — монашеский орден, основанный в XVIII веке св. Альфонсом Лигуори.

в темной церковке, где я расстался с Сарой. Лицо у него было хмурое, кислое. Он явно спорил с Генри.

— Это мистер Бендрикс, вы знаете, писатель,— сказал Генри.— Отец Кромптон. Мистер Бендрикс очень дружил с моей женой.

Мне показалось, что Кромптон и сам это знает. Нос тянулся по его лицу, как контрфорс по стене. Может быть, этот самый человек захлопнул перед Сарой дверь надежды.

— Добрый день,— сказал священник так неприветливо, что я ощутил, как близко колокола и свечи.

— Мистер Бендрикс очень помог мне с похоронами,— объяснил Генри.

— Я бы тоже помог.

Когда-то я ненавидел Генри. Что за чушь! Генри — жертва, как и я, а победитель — вот этот мрачный человек в дурацком воротничке. Я сказал:

— Навряд ли. Вы ведь против кремации.

— Я бы похоронил ее по-христиански.

— Она не христианка.

— Она собиралась ею стать.

— Разве этого достаточно?

Отец Кромптон выложил формулу как банкноту:

— Мы признаем крещение намерения.

Банкнота лежала перед нами, ждала, что мы ее подберем. Никто не шевельнулся. Священник сказал:

— Вы еще успеете все отменить. Остальное я возьму на себя.

Говорил он так, словно увещевал леди Макбет, обещая ей, чтобы отмыть руки, нечто лучшее, чем все аравийские благовония.

— Неужели и впрямь это так важно? — вдруг сказал Генри.— Конечно, я не католик, но я не понимаю...

— Она была бы счастливей...

— Да почему же?

— Церковь дает свои блага, мистер Майлз, и берет на себя многие обязанности. Есть заупокойные службы, постоянные молитвы. Мы помним наших мертвых,— добавил он, а я подумал: «Как вы их помните? Теории у вас хорошие. Вы говорите, что каждый человек важен. Волосы сочтены — но я просто чувствую рукой ее волосы, я не забыл тонкий пушок пониже затылка, когда она лежала на моей кровати лицом вниз. Мы тоже помним своих мертвых».

Заметив, что Генри поддается, я бестрепетно солгал:

— У нас нет совершенно никаких оснований думать, что она обратилась.

— Правда, сестра сказала...— начал Генри, но я не дал ему кончить:

— Она бредила перед смертью.

Отец Кромптон сказал:

— Я бы никогда не посмел вмешаться, мистер Майлз, если бы у меня не было серьезных оснований.

— За несколько дней до смерти,— сказал я,— миссис Майлз написала мне. Когда вы ее видели?

— Примерно тогда же. Дней пять-шесть назад.

— Очень странно, что она об этом не пишет.

— Возможно... да, возможно, она не вполне доверяла вам.

— Возможно, вы спешите с выводами. Многие интересуются вашей верой, расспрашивают о ней, но совсем не собираются стать католиками.— Я быстро обернулся к Генри: — Глупо все менять. Распоряжение отдали, народ пригласили. Сара не была фанатичной. Кто-кто, а она бы не хотела никого беспокоить из-за прихоти. В конце концов,— я глядел на Генри,— все может быть вполне по-христиански. Конечно, Сара не христианка. Мы не видели никаких признаков. Но вы дадите отцу Кромптону денег на мессу...

— Не нужно. Я утром отслужил.— Он впервые шевельнулся, повел

рукой, словно увидел, что покачнулась стена, и пригнулся, хотя бомба уже упала.— Я буду поминать ее каждый день.

— Спасибо, отец,— с облегчением сказал Генри, как будто это все улаживало. И подвинул сигареты.

— Не совсем удобно говорить это, мистер Майлз, но, видимо, вы не понимаете, какой хороший человек ваша жена.

— Я ее очень любил,— сказал Генри.

— Многие любили ее,— сказал я.

Отец Кромптон взглянул на меня как учитель, которого перебил самый сопливый ученик с задней парты.

— Быть может, недостаточно,— сказал он.

— Что ж,— сказал я,— если вернуться к нашей теме, переиграть уже нельзя. Потом, это вызовет толки. Вы не хотите толков, Генри?

— Ни в коем случае!

— В «Таймс» есть объявление. Пришлось бы писать снова. Люди замечают такие вещи. Пойдут сплетни. Вы не кто-нибудь, Генри. И телеграммы придется посылать. Многие отправили в крематорий венки. Вы понимаете...

— Не совсем.

— То, о чем вы просите, неразумно.

— Мне кажется, мистер Бендрикс, у вас очень странная система ценностей.

— Вы же не верите, что кремация не даст телу воскреснуть?

— Конечно, не верю. Я свои доводы привел. Если мистеру Майлзу их недостаточно, говорить не о чем.

Он встал, и только тут я увидел, как он уродлив. Сидя он хотя бы казался величественным, но у него были слишком короткие ноги. Он был маленький и словно бы отошел куда-то далеко.

Генри сказал:

— Если бы вы пришли чуть пораньше, отец... Прошу вас, не думайте...

— Я ничего плохого не думаю о вас, мистер Майлз.

— Наверное, думаете обо мне? — с вызовом спросил я.

— Не беспокойтесь, мистер Бендрикс. Вы уже не можете ей повредить.

Наверное, наслушавшись исповедей, легко опознать ненависть. Он протянул Генри руку, повернувшись ко мне спиной. Я хотел сказать: «Вы неправы. Не ее я ненавижу. И насчет Генри вы ошиблись. Он развратил ее, не я». Я хотел себя защитить: «Я любил ее»,— но ведь, наслушавшись исповедей, они умеют различить и любовь.

4

— Следующая — Хампстед,— сказала Сильвия.

— Вам надо к матери?

— Я выйду на Голдерз-Грин, покажу дорогу. По вторникам я к ней не хожу.

Она проводила меня до станции и хотела уйти. Я все удивлялся, зачем она так беспокоится. Никогда не видел в себе ничего, что может понравиться женщинам, а теперь — тем более. Горе и досада — как ненависть, человек становится уродливым от жалости к себе. И каким эгоистом к тому же! Я не мог стать для Сильвии учителем, я ничего не мог ей дать, но я боялся того, что меня ждет в ближайшие полчаса. Если я буду один, за мной будут шпионить, пытаясь понять, кем я был Саре, кто кого бросил. С красивой Сильвией — дело другое.

— Как же я пойду, я так одета!..— запротестовала она. Я видел, что она польщена. Я знал, что могу увести ее от Уотербери. Его карта бита. Если я захочу, он будет слушать Бартока один.

— Мы станем сзади,— сказал я.— Может быть, вы просто шли мимо.

— Спасибо, хоть черные,— сказала она про брюки. В такси я положил ей впрок руку на колено, но дальше действовать не хотел. Труба в крематории дымилась, на посыпанных гравием дорожках полузастыли лужи. На-

встречу шло много людей, с других похорон, и вид у них был такой бодрый, словно они сбежали из скучных гостей.

— Вот тут,— сказала Сильвия.

— Вы хорошо знаете эти места.

— Папу хоронили, два года назад.

Когда мы пришли в часовню, все расходились. Расспросы про поток сознания слишком задержали меня. Боль как-то странно, условно меня кольнула. Я так и не увидел мертвую Сару и тупо подумал, что это ее дым стлался над пригородными садами. Генри шел один, ничего не различая; он плакал и меня не заметил. Других я не знал, кроме Мэллока, тот был в цилиндре. С неудовольствием взглянув на меня, он быстро прошел мимо. Человек пять были, видимо, чиновниками. Был ли среди них Данстан? Но это не очень важно. С мужьями шли жены. Кому-кому, а им церемония понравилась, я понимал это даже по их шляпам. Когда Сары нет, женам как-то легче.

— Простите,— сказала Сильвия.

— Вы не виноваты.

Я думал: «Если бы мы ее набальзамировали, женам никогда бы не знать покоя. Их можно было бы сравнивать и с мертвым телом».

Вышел Смитт и быстро зашлепал по лужам, ни с кем не заговаривая. Какая-то дама сказала:

— Картеры нас пригласили на уик-энд.

— Уйти мне? — спросила Сильвия.

— Нет, нет,— сказал я.— Мне с вами лучше.

Я подошел к часовне и заглянул туда. Дорожка к печи была сейчас пуста, одни венки вынесли, другие вносили. В углу молилась старая женщина, словно актер из другой пьесы, оказавшийся на сцене, когда вдруг подняли занавес. Сзади послышался знакомый голос:

— Печальная встреча, сэр. Рад вас встретить там, где все обиды кончаются.

— И вы тут, Паркис! — воскликнул я.

— Увидел объявление в «Таймс», сэр, и отпросился у мистера Сэвиджа.

— Вы всегда провожаете досюда своих подопечных?

— Она была очень хорошая, сэр,— с упреком сказал он.— Как-то она спросила у меня дорогу. А у них, на этой вечеринке, дала мне бокал хереса.

— Южноафриканского? — жалобно спросил я.

— Не знаю, сэр, но как она его давала... Мало таких, как она. И мальчик, он тоже... Все время о ней говорит.

— Как он?

— Хворает, сэр. Совсем расхворался. Живот болит.

— Врач был?

— Нет еще, сэр. Я верю в природу. До поры до времени, конечно.

Я оглядел чужих людей, знавших Сару, и спросил:

— Кто они, Паркис?

— Девицу я не знаю, сэр.

— Она со мной.

— Простите. Вон сэр Уильям Мэллок.

— Его я знаю.

— Джентльмен, который обошел лужу,— начальник отдела.

— Данстан?

— Именно, сэр.

— Сколько вы знаете, Паркис!

Я думал, ревности нет, я соглашался разделить ее с кем угодно, только бы она жила, но тут проснулась былая ненависть.

— Сильвия! — позвал я, словно Сара меня слышит.— Где вы сегодня обедаете?

— Я обещала Питеру...

— Питеру?

— Ну, Уотербери.

— Плюньте.

«Здесь ты? — спросил я Сару.— Смотришь ты на меня? Видишь, я без тебя обхожусь. Это нетрудно». Ненависть могла верить в посмертную жизнь; только любовь знала, что Сара мертва, как мертвая птица.

Входили новые люди, и женщина у перилец растерянно встала. Она чуть не влезла в чужие похороны.

— Я бы хотела позвонить...

Ненависть, словно скука, застилала вечер. Теперь, не любя, я должен был играть любовь и чувствовал вину еще до преступления — зачем я втянул в свой лабиринт невинную жертву? Половой акт может быть полной ерундой, но в мои годы знаешь, что он может стать и всем на свете. Я-то в безопасности, а вот в этом ребенке вдруг да и сработает какой-нибудь невроз. В конце вечера я буду очень неловок, и сама эта неловкость (или даже бессилие) может тронуть ее, а если я проявлю прыть, и это способно тронуть. Я попросил Сару: «Вызволи меня, вызволи, ради нее, не ради меня».

Сильвия сказала:

— Я скажу, мама больна.

Вот, готова солгать. Питеру конец. Бедный он бедный! Теперь мы с ней сообщники. Она стояла в черных штанах, среди подмерзших луж, а я думал: «Тут и начнется долгое будущее...» — и попросил Сару: «Вызволи! Я не хочу ее обижать. Я не могу любить никого. Кроме тебя». Седая женщина спешила ко мне по лужам.

— Вы не мистер Бендрикс? — спросила она.

— Да.

— Сара мне говорила...— сказала она и замялась, а я глупо понадеялся, что она что-то передаст мне, что мертвые могут говорить.— Она говорила, что вы ее лучший друг.

— Один из друзей.

— А я ее мать.

Я даже не помнил, что мать жива. У нас было столько тем, что целые страны нашей жизни оставались белыми, как на карте,— потом закрасим...

— Вы и не слыхали обо мне?

— В сущности...

— Генри меня не любил, так что я держалась подальше.

Она говорила разумно, спокойно, а слезы лились сами собой. Мужья с женами ушли, чужие люди проходили мимо нас троих в часовню. Паркис думал, видимо, что чем-то может помочь мне, но стоял в стороне, как он бы сказал — знал свое место.

— Я хочу попросить вас о большой услуге,— сказала мать Сары. Я старался вспомнить ее фамилию — Камерон, Чендлер? — Сегодня я так спешила, ехала...— она машинально смахнула слезы, словно пыль тряпкой. «Бертрам,— подумал я.— А, вот! Бертрам».

— Да, миссис Бертрам? — сказал я.

— Я забыла взять деньги.

— К вашим услугам.

— Не одолжите ли вы мне фунт? Понимаете, мне надо пообедать в городе. У нас в Грейт Миссинден рано закрывают.

Она снова смахнула слезы, и что-то напомнило мне Сару — какая-то простота в горе, какая-то двойственность, быть может. Интересно, слишком ли часто «трогала» она Генри? Я сказал:

— Пообедаем вместе.

— Что вы, не беспокойтесь!

— Я любил Сару.

— И я.

Я пошел к Сильвии и сказал:

— Это ее мать. Я должен покормить ее. Простите. Можно, я вам позвоню?

— Конечно.

— В книжке вы есть?

— Он есть,— мрачно ответила она.
— Ну, на той неделе.
— Очень буду рада,— она протянула руку.— До свидания.

Я видел, что она знает: время упущено. Слава Богу, это еще ничего не значило — пожалеет немного в метро, невпопад ответит своему Питеру сквозь музыку Бартока. Оборачиваясь к миссис Бертрам, я снова сказал Саре: «Видишь, я тебя люблю». Но любовь, наверное, труднее расслышать, чем ненависть.

Когда мы подходили к воротам, я заметил, что Паркис исчез. Видимо, решил, что он мне больше не нужен.

Мы с миссис Бертрам отправились в «Изола Белла». Я не хотел идти туда, где мы бывали с Сарой, а сейчас, конечно, стал сравнивать этот ресторан с теми. Ни Сара, ни я нигде не пили кьянти, теперь я пил его и об этом думал. Мог бы я заказать и наше любимое бордо, но я и так непрерывно о ней помнил. Пустота была заполнена ею.

— Мне не понравились похороны,— сказала миссис Бертрам.
— Простите?
— Они бесчеловечные. Как конвейер.
— Нет, ничего. В конце концов, помолились.
— Этот священник, он священник?
— Я его не видел.
— Он говорил, что мы сольемся в Великом Духе. Я долго не могла понять. Думала, в великом ухе.— Слезы закапали в суп.— Я чуть не засмеялась, а Генри заметил. Как же, ведь это я!
— Вы с ним не ладите?
— Он очень плохой человек,— она смахнула слезы салфеткой и яростно принялась есть, вздымая вермишель.— Как-то я заняла у него десять фунтов, забыла сумку. С каждым может случиться.
— Конечно.
— Я горжусь, что никому на свете не должна.

Речь ее походила на метро, она шла кругами и петлями. Когда я пил кофе, я стал различать узловые станции: Генри плохой, она — очень честная, она любит Сару, ей не нравятся похороны, Великий Дух — и снова Генри.

— Так было смешно,— сказала она.— Я не хотела смеяться. Никто не любил Сару, как я.— Все мы всегда это думаем и сердимся, когда говорит кто-то другой.— Но Генри этого не понять. Он очень холодный человек.
— Какие же еще могли быть похороны? — сказал я, пытаясь перевести стрелку.
— Сара католичка,— сказала миссис Бертрам, взяла бокал вина и залпом выпила половину.
— Ерунда,— сказал я.
— Она сама не знала.

Тут я испугался, словно совершил продуманнейшее преступление и вдруг увидел трещину в своих замыслах. Глубокая она? Подвластна ли она времени?

— Ничего не понимаю!
— Она вам не говорила, что я была католичкой?
— Нет.
— Так, недолго. Понимаете, мой муж был против. Я его третья жена, и когда у нас все не ладилось, я говорила, что мы, собственно, не женаты. Он очень плохой человек,— прибавила она.
— Это вы католичка, а не Сара.

Она опять хлебнула вина.

— Я никогда никому не говорила. Наверное, я напилась. Напилась я, мистер Бендрикс?
— Ну, что вы! Выпейте еще.

Пока мы ждали вино, она пыталась вернуться на другие станции, но я не дал.

— В каком смысле она католичка?

— Только не говорите Генри!

— Не скажу.

— Мы жили в Нормандии. Сара была маленькая, два года. Муж вечно ездил в Довиль. Это он так говорил, а я знала, что он ездит к первой жене. Я очень сердилась. Мы с Сарой пошли к морю. Она все хотела присесть, но я вела ее дальше. Я ей сказала: «Сара, у нас с тобой тайна». Она уже тогда умела хранить тайны... если хотела. Да, я боялась, но ведь какая месть!

— Месть? Я не совсем понимаю, миссис Бертрам.

— Ну, мужу. Это не только из-за первой жены. Я же вам говорила, да, что он не любил всего этого? Он так орал, когда я ходила к мессе! Вот я и подумала, Сара будет католичка, а он ничего не узнает, если я уж совсем не рассержусь.

— Вы не рассердились?

— Он меня через год бросил.

— Значит, вы смогли спокойно ходить к мессе?

— Ну, понимаете, я ведь не так уж верю! И потом, я вышла замуж за еврея, он тоже... Все говорят, евреи добрые. Не верьте, мистер Бендрикс. Он очень плохой человек.

— Что случилось у моря?

— Не то чтоб у моря. Мы просто пошли по берегу. Ее я оставила у дверей, сама нашла священника. Пришлось ему солгать — так, немножко. Конечно, я все свалила на мужа. Я сказала, что он обещал перед свадьбой, а потом отказался. Я плохо говорю по-французски, это очень помогло. Когда ищешь слово, получается так искренне. В общем, он все сделал, обратно мы ехали в автобусе.

— Что он сделал?

— Крестил ее.

— И все? — с облегчением спросил я.

— Ну, это таинство...

— Я уж было подумал, что Сара настоящая католичка.

— Так и есть, только она не знала. Ах, жаль, что Генри не похоронил ее как следует! — И слезы снова закапали.

— Он не виноват, ведь даже Сара не знала.

— Я все надеялась, что это привьется. Как вакцина.

— У вас что-то не очень привилось,— все-таки сказал я, но она не обиделась.

— Ах,— сказала она,— у меня было столько искушений! Наверное, к концу все уладится. Сара была со мной очень терпелива. Такая хорошая девочка... Никто так не ценил ее, как я.— Она отхлебнула вина.— Если бы я не выходила за плохих людей, если б я ее толком воспитывала, она была бы святая, вы поверьте.

— Так не привилось же,— злобно сказал я и велел подать счет. По спине у меня прошел холодок — то ли простудился, то ли испугался. «Хорошо бы,— подумал я,— простудиться насмерть, как Сара».

По дороге домой в метро я твердил: «Не привилось». Миссис Бертрам я высадил у Марилебона, одолжив ей еще три фунта, потому что «завтра среда, нельзя выйти, приходит уборщица». Бедная Сара, привилась только эта череда мужей и отчимов. Мать успешно внушила ей, что одного мужчины на жизнь мало, а она уж сама поняла, что незачем притворяться, будто это мужья. За Генри она вышла на всю жизнь, кому ж и знать, как не мне.

Но все эти мудрые мысли ничем не были связаны с нечестным делом у моря. «Это не Ты привился,— сказал я Тому, в Кого не верил, выдуманному Богу, Который будто бы — так думала Сара — спас мне жизнь (зачем?) и разрушил, хоть Его и нет, мое единственное счастье.— Нет, не Ты, ведь тогда это просто магия, а в магию я верю еще меньше, чем в Тебя. Всё магия — Твой Крест, Твое Воскресение, Твоя Святая католическая церковь, Твое общение святых».

Я лежал на спине и смотрел, как по потолку плывут тени деревьев. «Это совпадение,— думал я,— мерзкое совпадение чуть не вернуло ее

к Тебе. Нельзя отметить двухлетнего ребенка на всю жизнь, вода и молитва — не клеймо. Если я поверю в это, я поверю и в Тело, и в Кровь. Все эти годы она была не Твоя, а моя. В конце концов Ты победил, можешь не напоминать мне, но она меня с Тобой не обманывала, здесь, на этой кровати, с этой подушкой под спиной. Я входил к ней, не Ты».

Свет ушел, кругом была тьма, и мне снилось, что я хожу по ярмарке с ружьем. Я стрелял в бутылки, вроде бы — стеклянные, но пули отскакивали, словно это сталь. Стрелял и стрелял, ни одна бутылка не треснула, и в пять часов утра проснулся, думая все то же: «Все эти годы ты была со мной, не с Ним».

5

Я мрачно шутил, когда думал, не предложит ли мне Генри переселиться к нему. На самом деле я этого не ждал и очень удивился. Я удивился даже, что он пришел через неделю после похорон, он никогда у меня не бывал. Не думаю, что он вообще заходил дальше, чем тогда, когда я встретил его под дождем. Внизу зазвонил звонок, я выглянул — я не хотел гостей, я думал, что это Уотербери с Сильвией,— и увидел в свете фонаря его черную шляпу. Тогда я пошел вниз и открыл.

— Проходил мимо,— сказал Генри.

— Прошу.

Он неловко топтался, пока я вынимал бутылки из буфета. Потом сказал:

— Кажется, вы занимаетесь Гордоном.

— Мне заказали биографию.

— Будете писать?

— Наверное, да. Сейчас мне не до работы.

— И мне,— сказал он.

— Королевская комиссия еще заседает?

— Да.

— Значит, вам есть о чем подумать.

— Есть? Да, наверное. Пока мы не идем завтракать.

— Во всяком случае, это важная работа. Вот вам херес.

— Она совершенно никому не нужна.

Сколько же он прошел с той поры, как благополучное фото из «Тэтлера» так разозлило меня! На столе у меня лежал, лицом вниз, портрет Сары, увеличенный моментальный снимок. Он перевернул его и сказал:

— Помню, как я ее щелкнул.

Она говорила, что снимала подруга,— видимо, щадила мои чувства. На снимке она была моложе, счастливей, но никак не прекрасней, чем в те годы, когда я знал ее. Хотел бы я, чтобы со мной она смотрела вот так, но любовник чаще видит, как горе застывает вокруг лица его любовницы, словно гипс,— такая уж у нас судьба. Генри сказал:

— Я валял дурака, чтобы она засмеялась. Интересный человек Гордон?

— Скорее да.

— Дом теперь такой странный. Я стараюсь почаще уходить. Вы не могли бы пообедать со мной в клубе?

— Работы много.

Он оглядел мою комнату и сказал:

— Вам негде разместить книги.

— Да,— сказал я.— Я их держу и под кроватью.

Он взял журнал, который прислал Уотербери, чтобы показать перед нашей встречей образец своего творчества, и сказал:

— У меня место найдется. Собственно, вы можете устроиться как бы отдельно.

Я слишком удивился, чтобы ответить. Он быстро продолжал, листая страницы, словно и впрямь занят журналом:

— Подумайте. Не решайте сейчас.

— Спасибо вам, Генри.

— Вы бы оказали мне большую услугу.

«А что? — думал я.— Считают, что писатель выше условностей. Неужели я чту условности больше, чем чиновник?»

— Сегодня,— сказал Генри,— я видел всех нас во сне.

— Да?

— Я плохо помню. Мы вместе пили. Мы были счастливы. Когда я проснулся, я вспомнил, что она умерла.

— Я ее во сне не вижу.

— Лучше бы мы не мешали священнику.

— Но это же глупо. Она такая же католичка, как мы с вами.

— Вы верите в жизнь после смерти?

— Отдельного человека? Нет.

— Это нельзя опровергнуть.

— Ничего нельзя опровергнуть. Вот я пишу роман. Как вы докажете, что ничего такого не было? Сегодня я встретил человека о трех ногах.

— Ужас какой!

— Да, и покрыт чешуей.

— Вы шутите.

— Докажите это, Генри. Не можете — а я не могу доказать, что нет Бога. Я просто знаю, что Его нет, как вы про эти ноги.

— Непременно найдутся доводы.

— Я тоже могу их найти. Сошлюсь на Аристотеля.

Генри резко сменил тему.

— Вам и дешевле будет, если вы ко мне переедете. Она всегда говорила, ваши книги не слишком раскупают.

— Нет, кое-какой успех есть,— сказал я, припомнив статью Уотербери.— Приходит такое время, когда критики просто ладони отбивают, даже заранее. Надо подождать.

Я говорил, потому что не решил, что делать.

— Вы ведь не обижены, правда? — сказал Генри.— Я на вас рассердился тогда, в клубе, но сейчас это неважно.

— Я ошибся. Тот человек — просто глупый болтун, ее занимали теории. Забудьте это, Генри.

— Она была добрая, Бендрикс. Вот сплетничают, а она — хорошая. Она не виновата, что я... ну, не любил ее как надо. Понимаете, я очень осторожный, скучный. Ей нужен был такой, как вы.

— Она меня бросила, Генри.

— Знаете, она меня уговорила прочитать вашу книгу. Там женщина умерла, и ее дом...

— «Честолюбивый хозяин».

— Да, да. Тогда мне понравилось, но вы все напутали, Бендрикс. Вы пишете, что муж ходит по комнатам, передвигает мебель, чтобы казалось, будто он не один. Наливает вино в два бокала.

— Забыл. Как-то уж очень литературно.

— Это неверно, Бендрикс. То-то и плохо, что дом — не пустой. Раньше, бывало, я вернусь, а ее нету, ушла — наверное, к вам. Вот тогда он был пустой. Я ведь по-своему ее любил. Не застану ее и думаю, что сейчас найду письмо: «Дорогой Генри...» Знаете, как в романе.

— Да.

— А теперь он не пустой. Не знаю, как это выразить. Ее никогда нет, но ее ведь нет нигде. Она ни с кем не завтракает, не сидит с вами в кино. Ей негде быть, кроме дома.

— Где же ее дом?

— Вы уж простите меня, Бендрикс. Я измотался, устал... сплю плохо. Нельзя говорить с ней, так поговорю хоть о ней, а кроме вас — не с кем.

— У нее масса друзей. Сэр Уильям...

— Не могу я с ним о ней говорить. Лучше уж с этим Паркисом.

— С Паркисом! — вскричал я. Что ж он, навеки пристал к нам?

— Он говорил, он у нас был в гостях. Странных людей она приглашала. Он сказал, вы с ним тоже знакомы.

— Какого черта ему от вас нужно?

— Он говорит, она сделала что-то хорошее его сыну. Бог его знает когда! Сын болеет. Кажется, Паркис хотел что-нибудь взять на память. Я дал ему ее детские книжки. Их у нее много, все исчирканы карандашом. В конце концов надо от них избавиться. Не продавать же их, правда? Вот и отдал, что тут плохого?

— Ничего. Это он за ней следил, от Сэвиджа.

— Господи, если б я знал!.. А как ее любит вроде бы...

— Он человек, не машина. И чувствительный.

Я оглядел комнату. Там, у Генри, не больше Сары, чем тут, даже меньше. Там она растворяется.

— Хорошо, я перееду,— сказал я,— только разрешите платить мою часть за жилье.

— Спасибо, Бендрикс! Дом — наш собственный. Вы давайте деньги на расходы.

— Предупредите меня за три месяца, когда соберетесь жениться.

Он принял это всерьез.

— Я не женюсь. Мне вообще не следовало жениться. Я причинил ей большой вред, когда женился на ней.

6

И я переехал на северную сторону. Генри торопил меня, так что я потерял плату за неделю и еще заплатил пять фунтов шоферу грузовика, надо же было перевезти книги и костюмы. Мне отвели комнату для гостей, под кабинет приспособили кладовую, была и ванная наверху. Генри поселился в гардеробной, а спальню с двумя холодными кроватями отвели для гостей, которых не бывало. Через день-другой я понял, почему теперь дом не пустой. Я работал в Британском музее, пока не закроют, потом работал дома, ждал Генри, мы вместе шли в «Герб» и выпивали. Как-то он уехал на конференцию, и я привел девицу. Толку не было. Я сразу понял, что ничего не выйдет, и чтобы не обижать ее, сказал, что обещал одной женщине никогда ни с кем не спать. Она все поняла, умилилась, проститутки очень почитают чувства. На этот раз я мстить не хотел, я просто опечалился, что навсегда ушло такое приятное занятие. Потом я видел во сне Сару, мы лежали там, у меня, опять ничего не вышло, но я не печалился, нам было и так хорошо.

Через несколько дней я нашел в шкафу детские книжки. Генри отдал не все. Тут были сказки Эндрю Лэнга в пестрых обложках, Беатрис Поттер, «Дети из Нового леса», «Кукла на полюсе» и книги две для подростков — «Последняя экспедиция» капитана Скотта, стихи Томаса Гуда с надписью «Саре Бертрам за успехи в алгебре». В алгебре! Как человек меняется!

В тот вечер я работать не мог. Я лежал на полу, читал, пытаясь заполнить хоть какие-то пробелы в ее жизни. Иногда любовнику надо стать и отцом, и братом — он ревнует к тем годам, когда его не было. «Кукла на полюсе», наверное, была первой ее книгой — Сара исчиркала все, бестолково, бессмысленно, цветными мелками. В одной из книжек Беатрис Поттер она написала карандашом: «САЧА», а на «Детях из Нового леса»,— аккуратно и мелко: «Это книга Сары Бертрам. Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу». Были и обычные следы, которые есть на всех детских книгах,— анонимные, как птичьи следы на снегу. Когда я закрывал книжку, они исчезали, их уносило время.

Не думаю, чтобы она читала Гуда, страницы были чистые, как тогда, когда учительница или попечитель вручали ей награду. Я уже клал книгу в шкаф, и тут из нее выпал листок — может быть, программа школьного вечера. Почерк я узнал (он устанавливается рано, потом усложняется от времени и от усталости) и прочитал: «Ну и чушь!» Я представил себе, как Сара пишет это соседке, пока учительница идет на место, а родители

почтительно хлопают, и, увидев эти уверенные, нетерпеливые, наивные слова, вспомнил другие: «Я потаскуха и врунья». Передо мной была невинность. Как жаль, что целых двадцать лет ушли только на то, чтобы Сара подумала о себе *это*! Потаскуха и врунья. Неужели я так говорил о ней со злости? Она запоминала мою хулу, это хвала таяла, словно снег.

Я вертел листок, читал, что было 23 июля 1926 года. Мисс Дункан из Королевского музыкального колледжа играла «Музыку на воде» Генделя. Беатрис Коллинз читала «Я брел одинокий, как туча», школьный хор пел старинные арии, Мэри Пиппит играла на скрипке вальс Шопена. Долгий летний день двадцатилетней давности пришел сюда, ко мне, и я ненавидел жизнь, которая меняет нас к худшему. «В то лето,— думал я,— я как раз начал первую книгу. Я так волновался, так надеялся, когда сел писать, я был счастлив». Сунув листок в нечитаную книгу, я положил ее в глубь шкафа, под «Куклу» и Беатрис Поттер. Оба мы были счастливы, нас разделяли только десять лет и несколько графств, а потом встретились зачем-то и вконец измучили друг друга. Я взял «Последнюю экспедицию».

Эту книгу я любил. Теперь казалось, что устарели и героическая борьба со льдами, и жертва, обрекающая на смерть лишь тебя самого. Две войны стояли между нами. Я посмотрел фотографии — бороды, очки, британский флаг, небольшие сугробы, пони с длинными гривами вроде старомодной прически. Даже смерть была «того времени», смерть — и школьница, испещрившая страницы восклицательными знаками. На последнем письме Скотта она написала четкими буквами:

«А что потом, ужели Бог?

Роберт Браунинг».

«Тогда уже,— подумал я,— она думала о Нем. Он пользовался настроением, как соблазнитель, сулящий невыполнимое». Я положил обратно последнюю книгу и запер шкаф на ключ.

7

— Где вы были, Генри? — спросил я. Обычно он спускался к завтраку первым, иногда уходил, когда я еще не вышел, а в это утро его тарелка стояла нетронутой, и я услышал, как хлопнула дверь, прежде чем он вошел.

— Так, гулял,— туманно ответил он.

— Всю ночь? — спросил я, и, чтобы оправдаться, он сказал мне правду:

— Ну, что вы! Отец Кромптон служил сегодня заупокойную мессу.

— Он еще служит?

— Раз в месяц. Я решил зайти, из вежливости.

— Вряд ли он знал, что вы там.

— Я подошел, поблагодарил. Собственно, я пригласил его к обеду.

— Тогда я уйду.

— Не надо, Бендрикс! В конце концов, он тоже был другом Саре.

— Вы не обратились ли?

— Конечно, нет. Но они имеют такое же право на свои взгляды, как мы с вами.

Итак, он пришел обедать. Этот уродливый, неуклюжий человек с носом Торквемады увел у меня Сару. Он поддержал дурацкий обет, который надо было забыть через неделю. В его церковь шла она под дождем, искала убежища — нашла смерть. Меня не хватило даже на вежливость, Генри пришлось все тащить одному. Отец Кромптон не привык обедать в гостях. Так и казалось, что это тяжкий долг. Болтать он не умел, ответы его падали, словно деревья на дорогу.

— У вас тут много бедных? — спросил усталый Генри, уже за сыром. Он перепробовал много тем — книги, кино, недавнюю поездку во Францию, будет ли война.

— Не в том суть,— ответил священник.

Генри не сдался.

— Падает нравственность? — спросил он с той легкой фальшью, без которой не произнесешь таких слов.

— Это вообще не проблема,— сказал отец Кромптон.
— Я думал... знаете, иногда видишь вечером...
— Так бывает в каждом сквере. И потом, сейчас зима.
Тема на этом кончилась.
— Еще сыру, отец?
— Нет, спасибо.
— Наверное, в нашем районе трудно собрать деньги для бедных?
— Дают, что могут.
— Налить вам бренди в кофе?
— Нет, спасибо.
— Вы не против, если мы...
— Нет, не против. Я просто потом не заснул бы, а мне вставать в шесть часов.
— Зачем?
— Молиться. К этому привыкаешь.
— Боюсь,— сказал Генри,— я толком и не молился с самого детства. Когда-то я просил, чтобы Бог помог мне попасть в первую десятку.
— Попали вы?
— Попал во вторую. Наверное, такие молитвы не считаются?
— Всякая молитва лучше, чем ничего. Вы признаете Божью силу, а это своего рода хвала.
Впервые за весь обед он произнес столь длинную речь.
— Я бы сказал,— вмешался я,— что это магия. Вроде того, как трогают дерево или не ступают на какие-то плиты тротуара. В детстве, по крайней мере.
— Ну, немножко суеверия не повредит,— сказал он.— Люди хоть понимают, что этот мир — еще не все. Бывает началом премудрости.
— Да, ваша церковь любит суеверия. Святой Януарий, кровь, видения...
— Мы пытаемся различать их. И потом, не разумней ли думать, что *все* может случиться?
Зазвонил звонок. Генри сказал:
— Я отпустил служанку спать. Разрешите, отец?
— Лучше я открою,— сказал я. Я был рад избавиться от этого тяжелого человека. На все у него есть ответ, любителю его не подловить, он словно фокусник, который раздражает самой сноровкой. Я открыл дверь и увидел толстую женщину в черном, с пакетом в руках. Сперва я подумал, что это наша уборщица, но она сказала:
— Вы мистер Бендрикс, сэр?
— Да.
— Вот это вам.— И она быстро сунула мне пакет, как будто он мог взорваться.
— От кого вы?
— От мистера Паркиса.
Я растерянно вертел пакет. Мне пришло в голову, что это какие-то улики, которые Паркис запоздало прислал мне. Я хотел о нем забыть.
— Вы не дадите расписку, сэр? Он сказал, в собственные руки.
— Карандаша нет. И бумаги. Вообще, я занят.
— Вы знаете, какой он аккуратный, сэр. Карандаш у меня есть.
Я написал расписку на старом конверте. Она ее бережно положила в сумку и поспешила к калитке, я держал пакет. Генри крикнул из столовой:
— Что там, Бендрикс?
— Пакет от Паркиса,— сказал я. Это звучало как скороговорка.
— Наверное, книгу вернул.
— В такое время? И потом, это мне.
— Что же такое тогда?
Я не хотел открывать пакет, ведь мы оба с таким трудом ее забывали. Мне казалось, что я достаточно наказан за мистера Сэвиджа. Голос отца Кромптона говорил:
— Мне пора, мистер Майлз.

— Еще рано.

Я подумал, что если я туда не пойду, нарушу правила вежливости, он скорее удалится. И я открыл пакет.

Генри оказался прав. Это были сказки Эндрю Лэнга, но в книге торчала сложенная записка, письмо от Паркиса.

«Дорогой мистер Бендрикс,— прочитал я, подумал, что он благодарит меня, и нетерпеливо взглянул в конец.— ...При таких обстоятельствах я бы не хотел ее держать. Надеюсь, Вы скажете м-ру Майлзу, что это — не от неблагодарности. Искренне Ваш Альфред Паркис».

Я сел. Я услышал голос Генри: «Не думайте, отец, что у меня узкие взгляды...» — и начал читать сначала:

«Дорогой мистер Бендрикс, я пишу Вам, а не мистеру Майлзу, потому что уверен в Вашем сочувствии, т. к. мы связаны тесными, хотя и прискорбными узами и Вы, человек с воображением, как все писатели, привыкли к странным происшествиям. Как Вы знаете, мой сын страдал в последнее время острыми болями, и, поскольку это не вызвано мороженым, я опасался аппендицита. Доктор сказал, что нужна операция, она неопасная, но я очень их боюсь, т. к. моя жена умерла под ножом, я уверен, что из-за небрежности, и что же я буду делать, если потеряю сына? Я тогда останусь совсем один. Простите за подробности, мистер Бендрикс, в нашем деле мы приучены излагать по порядку, чтобы судья не сказал, что ему не представили ясно фактов. Так вот, я сказал в понедельник доктору: подождем, пока не будем уверены. Я думаю, это от холода, он простыл, когда ждал у дома миссис Майлз, и Вы уж меня извините, я скажу, она очень хорошая женщина, надо было оставить ее в покое. В нашем деле не выбирают, но я с первого дня хотел, чтобы это была какая-нибудь другая особа. Мальчик очень расстроился, когда узнал, как она умерла. Она говорила с ним один раз, но ему показалось, что его мать на нее похожа. Это не так, хотя моя жена тоже очень хорошая женщина, и я каждый день по ней тоскую. Когда у него была температура 103 [1], а это для мальчика много, он стал разговаривать с миссис Майлз, как тогда на улице, и сказал, что он за ней следил, хотя говорить это нельзя даже в его возрасте — у каждого дела своя гордость. Потом он стал плакать, что она ушла, а потом заснул, а проснулся тоже с температурой и попросил подарок, который она обещала ему во сне. Вот почему я побеспокоил мистера Майлза и обманул его. Мне очень стыдно, это ведь я не по делу, только из-за мальчика.

Когда я получил книжку и дал ему, он стал поспокойней. Но я беспокоился, потому что доктор сказал, рисковать больше нельзя, в среду поедем в больницу, а если есть свободная койка, так сегодня. Значит, я не спал, тосковал по моей бедной жене, беспокоился за мальчика. Не постесняюсь сказать *Вам,* мистер Бендрикс, что я очень молился. Я просил Бога, а потом я просил жену что-нибудь сделать. Если на небе кто-нибудь есть, она-то уж там, и еще я попросил миссис Майлз. Если взрослый мужчина способен на такое, не надо удивляться, что мальчику всякое видится. Когда я утром проснулся, температура была 99, живот не болел, так что доктор пришел и сказал, что подождать можно. Мальчик сказал ему, что боль забрала миссис Майлз, тронула правую сторону живота, Вы уж простите за нескромность, и надписала ему книжку. А доктор сказал, его нельзя беспокоить, книжка его нервирует. При таких обстоятельствах я бы не хотел ее держать...»

Я перевернул листок, там был постскриптум: «На книжке что-то написано, но это, конечно, очень давно, когда м-с Майлз была маленькая, только я не могу ему объяснить, а то боли вернутся. Ваш А. П.». Я посмотрел на первую страницу. Карандашом были выведены шаткие буквы, как в других книгах, где маленькая Сара Бертрам записывала свои поучительные стишки:

---

[1] По Фаренгейту (около 39,4° по Цельсию).

Я была больная, получила эту книгу.
Если украдешь, тогда получишь фигу,
А вот если заболел,
Прочитай и будешь цел.

Я пошел в столовую с книгой в руке.

— Что там? — спросил Генри.

— Книга,— сказал я.— Вы читали, что там написано?

— Нет, а что?

— Так, совпадение. Кажется, суеверным можно быть и без католичества.

Я дал ему письмо; он прочитал его и вручил священнику.

— Не нравится мне это,— сказал Генри.— Сара умерла. Я не хочу, чтобы о ней болтали.

— И я тоже.

— Это вроде сплетен.

— Никто не сказал о ней ничего плохого,— вмешался отец Кромптон, кладя на стол письмо.— Ну, я пойду.

Но не двинулся, все глядел на письмо.

— Какая там надпись? — спросил он.

Я толкнул к нему книгу и сказал:

— А, это давно написано! У нее такие надписи во всех книгах.

— Время — странная штука,— сказал отец Кромптон.

— Конечно, мальчику не понять, что она не сейчас написала.

— Святой Августин спрашивал, откуда берется время. Он решил, что оно идет из будущего, которого еще нет, в прошлое, которого уже нет, через настоящее, у которого нет длительности. Не думаю, что мы понимаем время лучше, чем ребенок.

— Я не имел в виду...

Он встал.

— Не расстраивайтесь, мистер Майлз,— сказал он.— Это показывает только, какая хорошая женщина ваша жена.

— Что мне с того? — сказал Генри.— Она в прошлом, ее уже нет.

— Человек, который писал письмо, очень разумен. Совсем неглупо молиться мертвым, а не только о них.— И он сказал снова: — Она была очень хорошая женщина.

Тут я не выдержал. Наверное, меня довело его благодушие — я чувствовал, что его не проймешь никаким доводом. Он, видите ли, так хорошо понял ту, кого и знал-то несколько часов, ну — дней, а мы знали годами. И я сказал:

— Ничего подобного.

— Бендрикс! — крикнул Генри.

— Она могла провести любого мужчину,— говорил я,— даже священника. Она вас обманула, как мужа, как меня. Она всегда врала.

— Она не притворялась.

— У нее были другие любовники, не только я...

— Вы не имеете права,— резко сказал Генри.

— Оставьте его,— сказал отец Кромптон.— Не трогайте его, несчастного.

— Мне не нужна профессиональная жалость. Приберегите ее для своих кающихся.

— Не вам приказывать, кого мне жалеть, мистер Бендрикс.

— Каждый мог с ней спать.

— И не вам говорить о покаянии. Я двадцать пять лет исповедую. Мы не можем сделать ничего, чего бы не сделали святые до нас.

— Мне не в чем каяться, кроме неудачи. Идите к своим свечкам, к своим четкам, в свою мерзкую будочку.

— Вы найдете меня там, когда хотите.

— Это я захочу? Не люблю грубить, но я вам не Сара. Не Са-ра.

Генри сказал:

— Простите, отец.

— Ничего. Я видел страдающих.

Никак я не мог пробить броню его благодушия. Отодвинув стул, я ответил:

— Нет, отец. Я не страдаю. Я ненавижу. Я ненавижу ее, потому что она потаскушка, и его, потому что она в него вцепилась, и вас с вашим Богом, потому что вы ее у нас забрали.

— Вы умеете ненавидеть,— сказал отец Кромптон.

Я чуть не плакал, я никак не мог причинить им боль.

— А ну вас к черту! — сказал я и хлопнул дверью, пускай сидят. «Пускай учит Генри своей премудрости,— думал я.— Если я не с тобой, я буду один. Всегда. Да могу я во все это поверить! Закрою глаза, посижу и поверю, что ты пришла ночью к этому мальчику, коснулась его, спасла. Я тоже просил тебя спасти от меня эту девицу, и ты мне тут же подсунула твою мамашу, так бы они сказали. Но если я поверю в это, я поверю в твоего Бога. Я должен буду Его любить. Лучше уж любить тех, с кем ты спала».

«Надо быть разумней,— думал я, поднимаясь по лестнице.— Сара умерла, мертвых не любят так, как живых, а она — не жива, ее нет. Я не должен верить, что она жива». Я лег, закрыл глаза, попытался быть разумным. Если я и сейчас ненавижу, могу ли я ее любить? Можно ли любить и ненавидеть сразу? Или я *себя* ненавижу? Книги, которые я так ловко пишу, писательскую хватку, которая велела мне соблазнить женщину, чтобы собрать материал. Тело, которое так много наслаждалось, но не могло выразить того, что было в сердце, и недоверчивую душу, которая послала Паркиса, чтобы он присыпал пудрой звонки, рылся в корзинах, крал наши тайны.

Я вынул из ночного столика ее дневник, открыл наугад и прочитал: «Господи, если бы я могла Тебя ненавидеть, что бы это значило?» И я подумал: «Ненависть к Саре — это любовь к ней, ненависть к себе — тоже любовь». Я не стою ненависти — я, Морис Бендрикс, автор «Честолюбивого хозяина», «Увенчанного облика», «Могилы на берегу». Бендрикс-писака. Если Ты есть, думал я, никто кроме Тебя, даже Сара, не стоит ненависти. «Иногда я ненавидела Мориса, но я бы и ненавидеть не могла, если бы я его не любила. Господи, если бы я могла Тебя ненавидеть!..»

Я вспомнил, как Сара молилась Тому, в Кого не верила, и заговорил с той, в кого не верил. Я сказал: «Ты принесла в жертву нас обоих, чтобы я не умер, но разве это жизнь без тебя? Хорошо тебе любить Бога. Ты умерла. Ты с ним. А я болен жизнью, страдаю здоровьем. Если я Его полюблю, я не могу тут же умереть. Мне придется что-то делать. Я трогал тебя, целовал — когда любишь, что-то делаешь. Незачем говорить, чтобы я не страдал, как тогда, во сне. Если я вот так полюблю, всему конец. Когда я любил тебя, я не хотел есть, не глядел на женщин, а полюблю Его — все будет пусто без Него. Я даже работать не смогу, больше не буду Бендриксом. Сара, я боюсь!»

Проснулся я в два часа ночи, спустился в кладовку, взял печенья, выпил воды. Мне было стыдно, что я так говорил о ней при Генри. Священник сказал, что мы не можем сделать ничего, чего уже не делали святые. Быть может, это так, если речь идет о блуде и убийстве, это грехи яркие, крупные, а может святой завидовать, делать подлости? Ненависть моя была мелкой, как моя любовь. Я тихо открыл дверь и посмотрел на Генри. Он спал, не выключив света, прикрыв рукой глаза. Когда не видно глаз, не узнаешь человека. Да, он был просто *человек*, один из нас, словно первый враг, которого солдат встречает на поле боя,— мертвый, неизвестный, не белый и не красный, а человек, такой же, как он. Я положил у кровати два печенья на случай, если он проснется, и выключил свет.

8

Книга не ладилась (я понимал, что только трачу время, но куда же его девать?), и я пошел прогуляться, послушать наших ораторов. Один из них развлекал меня в давние дни, и я обрадовался, что он опять на месте. У него

не было ни политической, ни религиозной миссии — он, бывший актер, просто читал стихи, играл сценки. Слушателям он предлагал назвать что угодно, кто-то кричал, скажем: «Старый Мореход»,— и он тут же с выражением читал четыре строки. Какой-то шутник сказал: «Тридцать второй сонет Шекспира»,— он прочитал четыре строки, тот стал спорить, а он ответил: «У вас плохое издание». Оглядев тех, кто слушал, я увидел Смитта. Может быть, он меня первый увидел, потому что стоял ко мне чистой щекой — той, которую она не целовала; но взгляда моего избегал.

Почему я вечно лез к тем, кто знал ее? Я протиснулся к нему и сказал:

— Здравствуйте, Смитт.

Он прижал платок к больной щеке и обернулся ко мне.

— А, мистер Бендрикс! — сказал он.

— Не видел вас с похорон.

— Я уезжал.

— Вы тут не выступаете?

— Нет,— и он прибавил не сразу: — Я это бросил.

— А дома учите? — не отставал я.

— Нет. И это бросил.

— Надеюсь, не изменили взглядов?

— Я не знаю,— мрачно ответил он.— Не знаю, во что верить.

— Ни во что. Ведь вы этому и учили.

— Учил.

Он стал выбираться из толпы, и я оказался с другой стороны. Уняться я не мог.

— Болят зубы?

— Нет. А что?

— Платок прижали...

Он не ответил, просто убрал платок. Скрывать было нечего. Ничего не осталось, кроме маленького пятнышка. Он сказал:

— Устал объяснять.

— Вылечились?

— Да. Я же говорил, я уезжал из города.

— В больницу?

— Да.

— Удалили?

— Не совсем,— сказал он с неохотой.

— Исцеление верой?

— Я не верю. Я никогда не пошел бы к знахарю.

— Что ж это?

Он неопределенно ответил:

— Новый метод. Электричество.

Я пошел домой и сел за книгу. Какой-нибудь один персонаж всегда не удается мне. Все вроде верно, но что-то не ладится, его надо тащить и толкать, искать для него слова — все мастерство, которое я обрел за годы труда, едва помогает ему казаться мало-мальски живым. Иногда я печально радуюсь, если критик скажет, что он прекрасно выписан,— не выписывал бы я, он бы вообще исчез. Такой персонаж мучает меня, как непереваренный обед. Мне противно писать сцены, где он участвует. Он не удивляет меня, не делает ничего неожиданного. Все персонажи помогают, он — мешает.

И все же без него не обойтись. Я могу представить, что Бог именно так относится к некоторым из нас. Святые, те сами себя творят, вот они и живые. Они могут удивить делом или словом, они — вне сюжета, от него не зависят. А нас надо тащить. Мы упираемся, ибо нас нет, мы прикованы к сюжету, Бог еле-еле втаскивает нас в Свою сеть, мы скучны, у нас нет свободной воли, и польза от нас лишь та, что где-то, когда-то мы помогаем в сцене, в которой движется и говорит живой. Быть может, мы помогаем святым проявить свою, свободную волю.

Услышав стук двери и шаги, я обрадовался. Значит, можно прервать работу. Персонаж не оживет до утра, сейчас пора идти в бар. Я подождал, пока Генри меня крикнет (мы сжились за месяц, как два холостяка, которые

годами не разлучались), но он не звал, он пошел в кабинет. Я подождал и тоже пошел туда, мне хотелось выпить.

Входя в кабинет, я вспомнил, как был у него тогда, в первый раз. Он опять сидел рядом с «Дискоболом», усталый и печальный, но я не позавидовал ему и не обрадовался.

— Выпьем, Генри?

— Да-да. Конечно. Я просто хотел переобуться.

У него были ботинки для города и для загорода, а тут, по его понятиям, был загород. Сейчас он не мог развязать узелок, у него вообще неловкие пальцы. Устав от борьбы, он скинул ботинок. Я его подобрал и распутал шнурок.

— Спасибо, Бендрикс,— видимо, даже такая простая услуга тронула его.— У нас там случилась очень неприятная вещь.

— Да?

— Заходила миссис Бертрам. Вы ее не знаете.

— Знаю. Встречал.

— Мы с ней не ладили.

— Да, она говорила.

— Сара понимала. Она ее почти не звала.

— Что, хочет денег занять?

— Да. Десять фунтов, вечная история — приехала на один день, банки закрыты, то-се... Бендрикс, я не злой человек, но она меня очень раздражает. У нее две тысячи в год. Я ненамного больше получаю.

— Дали вы?

— Конечно. Я всегда даю. Плохо то, что я не удержался, сказал кое-что. Она взбесилась. Я сказал, сколько раз она брала деньги, сколько — отдавала. Это еще бы ничего, она вынула чековую книжку, хотела расплатиться за все сразу. Но она забыла, что чеки истрачены. Думала унизить меня, а унизила себя, бедняга. Вышло еще хуже.

— Что же она сделала?

— Обвинила меня в том, что я не так похоронил Сару. Рассказала какую-то дикую историю.

— Знаю. Она и мне рассказала, когда выпила.

— Вы думаете, она лжет?

— Нет, не думаю.

— Какое странное совпадение, правда? Крестили в два года, тут и вспомнить нельзя, а вернулось... Вроде инфекции.

— Вы сами сказали, это совпадение.

Когда-то я придал ему силы, нельзя же, чтобы он сейчас ослабел.

— Я и не такие встречал. За прошлый год я так устал, Генри, что собираю номера машин. Вот и смотрите. Десять тысяч номеров, кто его знает, сколько из них комбинаций, а я очень часто видел рядом одинаковые номера.

— Да, наверное, тут то же самое.

— Я верю в совпадения, Генри.

Наверху тихо звонил телефон. До сих пор мы его не слышали, потому что здесь, внизу, звонок был выключен.

— О Господи,— сказал Генри.— Наверное, опять она.

— Пускай звонит.— И тут звонок замолчал.

— Я не злой,— сказал Генри.— Она взяла за десять лет не больше ста фунтов.

— Пойдем выпьем.

— Да-да. А, я не обулся!

Он стал обуваться, и я увидел лысину, словно заботы ее проели. Сам я — тоже из этих забот. Он сказал:

— Не знаю, что́ бы я без вас делал.

Я стряхнул с его плеча перхоть, сказал:

— Ну что вы, Генри! — И телефон опять зазвонил.

— Ладно,— сказал я.

— Нет, я подойду. Кто его знает...— Он встал, не зашнуровав ботинки.— Алло! Майлз у телефона.— Он передал мне трубку.— Это вас.

— Да,— сказал я,— слушаю.

— Мистер Бендрикс,— произнес мужской голос.— Я решил вам позвонить. Я тогда солгал.

— Кто это?

— Смитт.

— Ничего не пойму.

— Я сказал, что был в больнице. Нет, не был.

— Какое мне, собственно, дело...

— Очень большое. Вы не слушаете! Никто не лечил меня. Все прошло само, сразу, за ночь.

— Что? Не понимаю...

Он сказал мерзким голосом сообщника:

— Мы с вами знаем. Ничего не поделаешь. Я не должен был лгать. Это...— но я бросил трубку прежде, чем он произнес дурацкое, газетное слово, которым заменяют «совпадение». Я вспомнил сжатую руку, вспомнил, как злился, что мертвых растаскивают по частям, делят, словно одежду. Он такой гордый, что ему непременно нужны откровения. Через неделю-другую будет тут выступать, показывать щеку. В газетах напишут: «Чудесное исцеление оратора-атеиста». Я попытался собрать воедино всю свою веру в совпадения, но смог представить, и то с завистью — у меня ведь реликвии не было,— только больную щеку, прижавшуюся к волосам.

— Кто там? — спросил Генри. Я подумал, рассказать ли, и решил, что не надо. Еще передаст Кромптону.

— Смитт,— сказал я.

— Смитт?

— Ну, этот, к которому она ходила.

— Чего он хочет?

— Щеку вылечил. Я просил, чтобы он мне назвал врача. Один мой друг...

— Электричество?

— Не думаю. Я где-то читал, что бывает истерическая крапивница. Психотерапия, радий...

Звучало неплохо. Может быть, я сказал правду. Совпадение, две машины с одинаковыми номерами, и я устало подумал: «Сколько ж их еще будет? Мать на похоронах, сын Паркиса. Кончится это когда-нибудь?» Я был как пловец, переоценивший свои силы. Он знает, что волна сильней его. Что ж, если я утону, я буду держать Генри. В конце концов, это мой долг — если все попадет в газеты, кто знает, чем кончится? Я вспомнил манчестерские розы, обман не скоро разоблачили. Люди так склонны к истерике. Будут ходить, молиться, гоняться за реликвиями. Генри — известный человек, скандал получится страшный. Журналисты полезут с вопросами, вынюхают эту чушь с крещением. Благочестивая пресса так вульгарна. Я представил себе заголовки. Еще чудес навыдумывают. Нет, надо убить это на корню.

Я вспомнил дневник и подумал: «Нельзя его оставлять, неверно поймут». Чтобы сберечь ее для себя, мы должны разрушать все, что с ней связано. Детские книги и те опасны. И фотографии, нельзя их давать в газеты. Как служанка, надежна? Вот попытались создать игрушечный домик, а и тот под угрозой.

— Пойдем в бар? — спросил Генри.

— Сейчас, минутку.

Я пошел наверх и вынул дневник. Сорвал переплет — он не поддавался, вылезали какие-то нити, все было так, словно я отрывал лапки птице,— и вот дневник лежал на кровати, бескрылый и раненый, кипа бумаги. Последняя страница была сверху, я прочитал: «Когда я прошу боли, Ты даешь мир. Дай и ему. Дай ему, забери от меня, ему нужнее!»

«Вот тут у тебя не вышло,— думал я.— Одна твоя молитва осталась без ответа. Нет у меня мира, и любви нет, только ты, только ты,— говорил

я ей.— Я умею лишь ненавидеть». Но ненависти не ощущал. Я называл других истеричными, а сейчас сам впал в истерику. Я чувствовал, как фальшивы мои слова. Ведь на самом деле я не столько ненавидел, сколько боялся. «Если Бог есть,— думал я,— если даже ты, со всей твоей несмелой ложью, со всем распутством, можешь так измениться, все мы станем святыми, стоит нам прыгнуть, как ты прыгнула, закрыв глаза, навсегда, сразу. Если *ты* святая, быть святым нетрудно. Этого Он может потребовать от каждого из нас. Чтобы мы прыгнули. А я не хочу». Я сидел на постели и говорил Ему: «Ты ее забрал, но я еще не Твой. Я Тебя знаю, Ты хитер. Это Ты ведешь нас на высокое место и показываешь все царства. Ты — Сатана, Ты искушаешь, чтобы мы прыгнули. А я не хочу ни мира Твоего, ни любви. Я хотел очень легкого, очень простого — Сару на всю жизнь, а Ты ее отнял. У Тебя великие замыслы, и Ты разрушаешь наше счастье, как разрушает жнец мышиную норку. Я ненавижу Тебя, Господи, я ненавижу Тебя, словно Ты есть».

Я посмотрел на кипу бумаги, ничью, как клок волос. Нет, хуже. Волос можно коснуться, поцеловать их. Я страшно устал. Я жил ради ее тела, я желал его, а у меня остался только дневник. И я запер его в шкаф, ведь Он опять победит, если я его уничтожу и останусь совсем без нее. «Хорошо,— сказал я ей,— будь по-твоему. Я верю, что ты жива, ты есть и Он есть, но твоих молитв не хватит, чтобы я полюбил Его. Он обокрал меня, вот и я, как этот твой король, украду у Него то, что Ему во мне нужно. Ненависть — у меня в мозгу, а не в желудке, не на коже. Ее не устранишь, это не боль, пятна на щеке. Разве я не ненавидел тебя? Разве я себя не ненавижу?»

Я крикнул Генри:

— Иду! — и мы пошли рядом в «Герб Понтефрактов».

Фонари не горели, влюбленные были там, где пересекались дорожки, а на другой стороне стоял дом с разбитыми ступеньками, где Он вернул мне бесполезную, жалкую жизнь.

— Я думаю днем, как мы будем с вами гулять,— сказал Генри.

— Да.

«Утром,— думал я,— позвоню врачу, спрошу, возможно ли исцеление». А потом: «Нет, не буду. Пока *не знаешь,* можно придумать многое...» Я положил руку Генри на рукав — поддержал его, я должен быть сильным за нас двоих, а он еще не понял своего горя.

— Я только этих прогулок и жду,— сказал он.

В начале я писал, что это книга о ненависти, и, направляясь рядом с Генри к вечернему нашему пиву, я нашел слова, которые, кажется, отвечали этому зимнему духу: «Господи, Ты сделал достаточно, Ты много отнял от меня, я слишком устал, слишком стар, чтобы учиться любви, оставь же меня в покое!»

ДЮЛА ИЙЕШ

Одной фразой о тирании

Перевод с венгерского Александра **ГРИБАНОВА**

В не столь отдаленные времена всю новейшую венгерскую литературу с легкой руки одного гибко мыслящего теоретика было принято разделять на социалистическую литературу Венгрии и литературу социалистической Венгрии, под второй частью формулы разумея — и тем самым легализуя — литературное бытие писателей общегуманистической, как принято было выражаться, направленности.

Дюла Ийеш — и это всегда ощущалось — в подобные схемы не вписывался, оставаясь просто большим поэтом, венгерским и европейским, прямым наследником Петефи и парижского авангарда, в мастерских которого прошел выучку в 20-е годы. Социализм для Ийеша был идеей сугубо этической, гуманизм — инструментом простым и конкретным, с точностью медицинского термометра позволявшим фиксировать разительные даже для нашего века перепады температуры венгерского общества, изведавшего только при жизни Ийеша не менее трех революций и трех диктатур.

Поэтическим кредо Ийеша были правда и искренность, духовная независимость от каких бы то ни было идейных поветрий, поэтому во все времена от Хорти до Кадара уделом писателя — защищенного чуть ли не с сорокалетнего возраста репутацией живого классика — в лучшем случае был худой мир с властями.

Правдивость, однако, никогда не казалась Ийешу вопросом одной только личной храбрости. «Для художника,— записал он как-то в своем дневнике,— быть правдивым — задача наитруднейшая из возможных. И вовсе не потому, что за правду можно и головы лишиться. А потому, что правда — у всех на глазах — таится в вещах так же скрытно, как сила земной гравитации или сила сцепления атомов».

В ту пору, когда Ийеш, не помышляя, конечно, о публикации, написал «Одной фразой о тирании» (а это 1950 год), для подавляющего большинства его современников такой скрытой — хотя и кричащей — правдой был тот факт, что великий эксперимент построения справедливого общества, в который включилась и Венгрия, по сути, с первых же шагов превратился в свою противоположность, вылившись в террористическую диктатуру, направленную от имени народа против самого же народа.

Удивительное по своей цельности и обличительному темпераменту стихотворение Ийеша при жизни поэта увидело свет лишь однажды, в номере «Иродалми уйшаг» (венгерской «Литературки») от 2 ноября 1956 года, когда восставший народ на коротких двенадцать дней избавил печать от цензуры. В дальнейшем оно продолжало подпольное существование, читаемое точно так же, как читали у нас ахматовский «Реквием» или «По праву памяти» А. Твардовского. В том, что его не печатали в течение тридцати лет в относительно либеральной, отмежевавшейся от эпохи Ракоши Венгрии, если вдуматься, нет ничего удивительного. Ответ — в самом стихотворении, в содержащейся в нем «главной правде» о человеческом существовании в условиях несвободы, которых не изменила и кадаровская политика,— менялись лишь степени несвободы, но никак не суть.

Пожалуй, как никому другому — во всяком случае, в венгерской поэзии,— Дюле Ийешу удалось раскрыть в публикуемом ныне произведении внутреннюю природу тирании XX века, природу тоталитаризма — внедряющегося, не ограниченного ничем, даже Богом, как самодержцы былых эпох, вживляющегося в плоть и кровь социального организма, «в сферу мысли и царство грез» и требующего от каждого, в том числе и художника, *добровольного* соучастия во Лжи. Эта мысль — о массовом самообмане и массовом же, активном или пассивном сообщничестве в преступлениях тоталитарного строя как условии его незыблемости — звучит во «Фразе» Ийеша особенно ярко, местами с трагической философской обреченностью, как, скажем, в метафоре реки, скованной руслом, которое сама же прокладывает.

Дюла Ийеш, с творчеством которого читатели «Иностранной литературы» встречаются не впервые (можно вспомнить и ряд превосходных стихотворных публикаций, и повесть «Обед в замке», и роман-эссе «В ладье Харона») [1], предстает перед нами сегодня в несколько новом свете, как писатель — говоря словами А. Солженицына,— одним из первых швырнувший свой камешек «в тупую лбину Голиафа», теперь уже поверженного, выбираться из-под обломков которого и нам, и венграм придется уже без Ийеша.

В. СЕРЕДА

---

[1] Стихи Д. Ийеша см. в «ИЛ»: 1962, № 6; 1973, № 12; 1982, № 11; прозу — в «ИЛ»: 1971, № 9; 1977, № 5, 6.

Одной фразой о тирании

Тирания на первый взгляд —
это топот тысяч солдат,
это толща тюремных стен,
заключающих тело в плен,

это следователь за столом,
это крик во мраке ночном,
это конвоир, коридор,
это суд, скамья, прокурор,

обвинительной речи чад,
запинающийся адвокат
и признания всех во всем;
тиранию мы познаем

в неподвижных глазах судьи,
в ожидании и забытьи,
в том, как четко, резко звучат
на рассвете слова команд:

«Взвод, равняйсь! направо! кругом!»,
в барабанной дроби потом
и в движениях ловких рук,
оттаскивающих к яме труп;

а еще тирания в вестях,
пересказываемых впотьмах
в щель меж дверью и косяком
другом, забежавшим тайком,

она в пальце у сжатых губ,
в том, как вял разговор и скуп,
в том, как холодом веет близ
как решеткой закрытых лиц,

за которыми бьется стон,
но настолько звук заглушен,
что не слышно; она в слезах,
в бесконечных слезных дождях,

умножающих тишину,
обволакивающих страну,
слитых в мокрую пелену;

а еще тирания — рев
славословящих голосов,
треск оваций, что всё гремят,
не смолкая, годы подряд,

она — песен бодрая ложь,
она в тех, куда ни пойдешь,
монументах, чьих глыб гранит
хвастовством и фальшью звенит,

и в любой картине она,
она в кисть саму вплетена,
а еще — в шуршанье колес,
которое вдруг прервалось

ночью у тебя под окном,
и кто-то заходит в дом;

тирания, взявшая власть,
не отдаст и малую часть,
а берет себе всё, как сам Бог
никогда бы не смог;

она входит к нам в жизнь и вот
себе детство и юность берет,
и отцовский мудрый совет,
и очей материнских свет,

так что и ребенок уже
с чужими нáстороже;

ряды вышек вокруг лагерей,
ряды книг на полке твоей,
ряды слов из громких речей —
все принадлежит ей;

она в том, как утром жена,
не остывшая ото сна,
спрашивает: «Дорогой,
когда сегодня домой?»,

она в том, как мы узнаем
о делах друг у друга, в том,
как, минуту назад крепка,
вдруг в руке слабеет рука,

она в том, как в милых чертах
застывает внезапный страх —
ведь и в час любви ее взор
нас высверливает в упор,

и, внедрясь меж «любишь?» и «да»,
контролируя без стыда
трепет сердца и жар ланит,
тирания за всем стоит:

спишь и видишь ее во сне,
она — мухой в любом вине,
и оказывается, что ее
ты ведешь на ложе свое,

потому что уже давно
все одобрено и осквернено
тиранией, а сверх того
ты б не смог полюбить ничего;

с каждым вдохом или глотком,
с пищей, воздухом и питьем
тирания входит к нам в плоть,
и не скрыться, не побороть

этот неуловимый почти
запах трупа куда ни пойди,
это чувство, что в доме у нас
кто-то позабыл закрыть газ;

тирании влезть удалось
в сферу мысли и в царство грез,
так что и под сенью мечты
от нее не свободен ты,

приглядись: небосвод ночной,
как тюрьма, навис над землей,
луч прожектора — Млечный Путь,
и совсем легко заглянуть,

как в глазок, в любую звезду
прямо в камеры тесноту,
и прислушайся: каждый рот
с голоса тирании поет,

бред больного, шелест молитв —
это все она говорит,
храм, парламент и эшафот —
всюду пьеса ее идет,

не стряхнуть, не сморгнуть, не сбить —
тирания в тебе сидит,
словно память или недуг,
просочившийся в кровь и дух;

хоть беги на берег морской,
хоть в леса, все равно с тобой
твое рабство, и нет угла,
где она бы не стерегла,

блеск зарниц — от ее зрачка,
в громе окрик — она близка,
и слабеет сердце в груди —
от нее не уйти,

а когда тишина кругом,
все равно ее тень на всем
и уныл пейзаж за стеклом,
зарешеченным частым дождем,

а потом выпадает снег,
и совсем смирён человек,
и боится взглянуть в глаза
своего любимого пса;

так в конце всех твоих дорог
получаешь ты как итог
тиранию, и чем быстрей
ты бежишь, тем скорее к ней;

как река по рельефу дна
век стремиться обречена,
хоть сама создает свой путь,
так и нам нельзя повернуть;

ты в тюрьме, кричи не кричи,
хоть в твоем кармане ключи,
ее тлением ты пропах,
она в жилах, мышцах, костях,

она в зеркале на столе,
она в холоде и в тепле,
даже в черепе твоем мозг
льется, как податливый воск,

принимая образ лишь тот,
который ей подойдет;
это бросил когда-то ты
спичку среди сухой травы,

и бушует пожар лесной,
окружая тебя стеной,
и не спрятаться никуда,
а если бы затоптать тогда! —

жизнь спеклась в сплошное пятно,
ты забыл про хлеб и вино,
ты забыл, что значит любить,
целовать, добиваться, быть,

только слышится звон твоих
сделанных тобой же вериг,
да звучат голоса детей,
уже отданных ей;

только цепь сковав из нас всех,
закрепила она успех,
как бежать от зловещей тьмы?
тирания — это ведь мы,

свет дневной, ненавистный нам,
загоняет нас по углам,
бродим ощупью, как кроты,
и страдаем без темноты;

даже лучшую песнь души
не спасешь, как ни ворожи,
ибо всякая красота
тиранией взята;

ей и прах твой принадлежит:
ты умрешь — она разъяснит,
кем ты был, за что знаменит,
почему не будешь забыт.

САЛЬВАДОР ДАЛИ

«Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим»

Перевод Н. МАЛИНОВСКОЙ

Часть первая

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Возвращение в Мадрид. Меня исключают из Школы Изящных Искусств без права на восстановление. Поездка в Париж. Встреча с Галой. Мучительная идиллия с моей единственной любовью. Разрыв с семьей

Утром меня выпустили из жеронской тюрьмы, а вечером я уже был в Фигерасе. Как сейчас помню, за ужином подавали баклажаны, а после я отправился в кино. Слух о моем возвращении успел распространиться по городу — повсюду меня встречали овацией.

Дня через три мы уехали в Кадакес, и снова началась моя добровольная аскеза — с каким самозабвением я предавался ей телом и душой во славу живописи и философии! Воспоминания о мадридских кутежах лишь укрепляли меня в аскезе, расцвечивая ее суровую мелодию прелестными обертонами — недавно обретенный жизненный опыт, с которым ничто ранее испытанное не могло сравниться, еще трепетал у меня в руках как пойманная на лету птица. И я знал, что рано или поздно аскеза кончится, я вернусь в Мадрид и вновь предамся разгулу, если мне заблагорассудится. А пока... Чем раньше я вставал, тем точнее запечатлевал остро отточенный карандаш мою мысль на

---

[1] Продолжение публикации фрагментов книги. Начало см. в «ИЛ», 1991, № 12.

белом листе, чем успешнее я справлялся с плотскими искушениями, тем легче обуздывал страсти. Крестовый поход духа, вступившего в борьбу и одержавшего победу, приближал меня к святой земле моей собственной души. А кроме того, чем беспощаднее я был к своему телу, тем скорее старился.

К концу жаркого лета я походил на скелет. Тела, можно сказать, совсем не осталось, и я мог бы соперничать с босховскими виденьями, столь милыми сердцу Филиппа II.[1] Я превратился в какую-то странную причуду природы — тело мое состояло из глаза, руки и мозга. Все прочее исчезло за ненадобностью.

Аскеза кончилась, и я вернулся в Мадрид. Друзья ждали меня с явным нетерпением — «без тебя все было не так!» Сами же они показались мне какими-то опустошенными, потерянными, изголодавшимися — да и немудрено, ведь они привыкли питаться моими фантасмагориями! Меня встретили едва ли не со слезами на глазах, обласкали, вознесли как божество. Мне всячески угождали: один купит башмаки, другой отыщет какой-то особенный галстук, третий добудет билет в театр, четвертый вызовется сложить чемодан, словом, меня обхаживали, денно и нощно пеклись о моем здоровье и расположении духа, наперебой исполняли все мои прихоти: стоило мне подать знак — и бравые эскадроны сметали с пути все препятствия, расчищая дорогу моим фантазиям.

Отец, помня о моих непомерных тратах первого курса, стал выдавать мне ежемесячно крайне скромную, точнее говоря, смехотворную сумму, если соразмерять ее с тратами, которых требовал мой оргиастический образ жизни. Но тем не менее с трогательным простодушием оплачивал, как прежде, мои счета. И все же, как вы понимаете, меня это не устраивало. Правда, друзья обычно выручали. У каждого из нас имелся свой способ добывания денег на крайний случай. Один нес в ломбард родительский дар — кольцо с великолепным бриллиантом, другой закладывал еще не унаследованное имение, третий продавал скрепя сердце автомобиль — и денег хватало при нашей разгульной жизни дня на три. Ореол, реявший над нами, «детьми богатых», также сослужил неплохую службу: кто только не давал нам в долг! Сначала мы составляли список возможных жертв, затем распределяли их между собой. Наконец, наняв два такси, отправлялись к намеченному лицу. Кто-нибудь один шел в кафе, где тот имел обыкновение бывать, или прямо к нему домой. Далеко не всегда посланец возвращался со щитом, и — что поделаешь? — мы двигались дальше. Но случалось, к концу дня набиралась изрядная сумма — превыше всех ожиданий (надо заметить, весьма нескромных — мы не страдали отсутствием аппетита). Время от времени мы возвращали долги, но лишь тем, чей вклад был особенно весом и вселял корыстные надежды на будущее. Так мы поддерживали доверие, но до поры до времени — в конце концов безобразие открывалось и родителям приходилось расплачиваться, ибо отчаявшиеся кредиторы буквально засыпали их нашими счетами и расписками. Так что не кредиторы в конечном счете оказывались жертвами. Ими

[1] Филипп II (1527—1598) — король Испании с 1556 г.; благодаря ему лучшие из работ Босха оказались в Испании. (*Здесь и далее, если не указано особо, прим. перев.*)

становились те, кто давал нам в долг по дружбе, по доброте душевной, а также из почтения к нашим талантам. Мы не дешево ценили свое внимание и, поактерствовав минут пять, недрогнувшей рукой брали деньги. А после, пересчитывая выручку, я закатывал глаза: «Нас обокрали!! Да за одно мое рассуждение о католицизме следовало содрать с них в три раза больше!» Разумеется, мы свято верили, что поступаем безукоризненно честно и не испытывали ни малейших угрызений.

А как-то раз я сам чуть было не оказался жертвой. Мне пришлось выдержать атаку, предпринятую одним художником, неизменно выражавшим восторг по поводу всех моих работ. С редкостным простодушием он раскрыл передо мной душу, такую же пустую, как его кошелек. Он, видимо, думал, что исповедь повлечет за собой если не душевную близость, то по крайней мере содержательную беседу, каковая бальзамом сочувствия и понимания уврачует его душевные раны, а там уж, если я расчувствуюсь должным образом, можно будет намекнуть и на денежное вспомоществование.

— Такие вот мои дела! — вздохнул он, заканчивая исповедь; слезы стояли у него в глазах. Я долго держал паузу. В конце концов он не выдержал и тихо спросил: «А ваши?»

— Мои? Как нельзя лучше! — размеренно проговорил я, глядя в окно. И в эту самую минуту в доме напротив растворилось окно и чья-то рука бросила вниз белый пакет. Довольно долго я смотрел, как он падает, потом обернулся узнать, отчего бедолага замолчал. Оказывается, он рыдал, утирая лицо платком сомнительной чистоты. Мой крепнущий духовный дендизм требовал жертв, и я принес ему очередную жертву, хотя мне было жаль беднягу и даже хотелось подойти, по-братски его утешить. Но эстетский импульс оказался сильнее, и я повел себя прямо противоположным образом. Тем более что сочувствие мое угасло. Жалкий вид быстро вызывает брезгливость.

Я подошел, участливо положил руку ему на плечо, припорошенное перхотью, ссыпавшейся с его жидковатых мышиных волос, и спросил:

— А вешаться не пробовали?

Он сник, я же стал думать о том белом свертке, выпавшем из окна. Уж не Мальдорор [1] ли? Тень Мальдорора омрачала тогда мою жизнь, и тогда же, как затмение, окутала ее еще одна тень — Федерико Гарсиа Лорки. Окутала и едва не погубила природную самобытность моей натуры.

К тому времени я успел познакомиться сразу с несколькими элегантными женщинами — мой мерзостный цинизм отчаянно жаждал утолить на этой ниве нравственный и любовный голод. Я стал избегать встреч с Лоркой и компанией, которая все очевиднее становилась *его* компанией. То был апогей его влияния, которому никто не мог противиться, и, наверное, тогда, единственный раз в жизни, мне довелось узнать нечто подобное мукам ревности. Едва ли не каждый вечер мы всей компанией шли по Пасео де ла Кастельяна в кафе, заранее зная, что и сегодня во всем блеске нам предстанет Федерико, этот огнедышащий алмаз. И часто я вдруг срывался и бежал от них со всех ног, прятался три, четыре, пять дней... Никто так и не выведал у меня тайну этих исчезновений, и пока что — пока что! — я не склонен приподымать завесу.

Разгульная моя жизнь длилась уже почти год, когда я узнал, что исключен из Школы Изящных Искусств — на сей раз уже безвозвратно. Приказ об исключении, подписанный королем 20 октября 1926 года, был напечатан в газете. Причину исключения я уже изложил в главе «Автопортрет в анекдотах».

На этот раз весть об изгнании не застала меня врасплох. Любое профессорское сборище в любой части света поступило бы с обидчиком именно так. Я же нанес им оскорбление по простой причине. К тому времени я твердо решил раз и навсегда покончить со Школой Изящных

[1] Речь идет о герое «Песен Мальдорора» (1869) французского поэта графа де Лотреамона (настоящее имя Изидор Дюкас, 1846—1870). В 1932 г. Дали проиллюстрировал «Песни Мальдорора».

Искусств и с разгульной мадридской жизнью, поставить на ней крест, вернуться в Фигерас, не покладая рук работать год, а потом убедить отца, что мне необходимо продолжить образование в Париже. Туда я поеду не с пустыми руками, у меня будут работы, и я завоюю Париж!

Покидая Мадрид, я устроил себе умопомрачительный прощальный вечер. Я долго блуждал по городу, забредая туда, где прежде никогда не бывал. До последней капли я выжал этот город, где все неизменно — история, аристократия, народ. В чистом и резком октябрьском свете Мадрид казался огромной белой костью в пятнышках розоватой крови. Уже вечерело, когда я направился в Ректорский клуб. Усевшись, как всегда, в углу, я заказал скромную (в сравнении с привычной) дозу – два виски. И растянул ее на весь вечер. Я ушел чуть ли не самым последним, и тут-то ко мне пристала старуха нищенка. Она тащилась за мной и клянчила — я шел своей дорогой. На углу у Испанского банка я столкнулся с прелестной цветочницей — она протянула мне гардению. Я дал ей сто песет за всю корзину, затем повернулся к нищенке, которая не отставала, и одарил ее корзиной гардений. Старуха застыла соляным столбом. Я проследовал дальше и спустя какое-то время оглянулся: лунный свет окутывал махонькую фигурку; грязными скрюченными руками в каких-то наростах и язвах она прижимала к себе корзину белых цветов.

Наутро я разленился до такой степени, что не стал собирать вещи. Так и уехал — налегке, без багажа. Мое появление повергло семью в смятение: «Мало того что исключен из Школы, так еще и вернулся без вещей! Чистой рубашки не захватил! Господи, да что же это? Он умрет под забором!» Я постарался их утешить:

— Клянусь, я ни секунды не сомневался, что вещи сложены! Я просто перепутал с прошлым разом. (Имелось в виду предыдущее возвращение домой — два года назад).

В Фигерасе я понял, что мое исключение поразило отца в самое сердце, не оставив никакой надежды на официальное профессиональное продвижение. В этом душевном состоянии я и запечатлел его с сестрой на одном из моих лучших карандашных рисунков. Взглянув на него, всякий поймет, как тяжело переживал отец исключение — лицо его исполнено горечи и скорби.

В ту пору я сделал много карандашных рисунков, а также начал цикл живописных работ мифологического плана. В них я попытался извлечь рациональное зерно из моих кубистских упражнений и связать геометризацию с вечными основами традиции. Я послал свои картины на групповые выставки в Мадрид и в Барселону, а чуть позже — Далмау [1]; патриарх барселонского авангарда, словно сошедший с портрета Эль Греко, устроил у себя в галерее мою персональную выставку.

Все это произошло без малейшего моего участия; я сидел в Фигерасе у себя в мастерской и работал не покладая рук. Когда же картины мои увидели, развернулась бурная полемика, отзвуки которой донеслись и до чутких парижских ушей. На барселонской выставке Пикассо заметил мою «Девушку у окна» (ту, что стоит спиной к зрителю) и похвалил. Об этой же работе мне писал Поль Розенберг — он просил прислать фотоснимок, но я позабыл и не послал. Я знал, что приеду в Париж и возьму их всех голыми руками. Художник Жоан Миро, [2] уже довольно известный в Париже, известил меня телеграммой, что прибудет в Фигерас смотреть мои работы вместе со знаменитым маршаном Пьером Льобом. Это произвело сильное впечатление на отца — он начал потихоньку привыкать к мысли, что когда-нибудь придется отпустить меня в Париж за славой. Миро решил взять меня под свое покровительство — работы ему очень понравились, а вот Пьер Льоб отнесся к ним весьма скептически. Пока Льоб говорил с сестрой, Миро взял меня за локоть, отвел в сторону и тихонько сказал:

— Честно говоря, эти парижане куда глупее, чем нам отсюда кажется. Совершенные ослы! Вот увидите! И не так-то с ними просто!

---

[1] Жозеп Далмау-и-Рафель (1867—1937), владелец выставочного салона, в прошлом художник.

[2] Жоан Миро (1893—1983) — испанский художник, график, скульптор и керамист.

Действительно, спустя неделю я получил от Пьера Льоба письмо, в котором вместо того чтобы предложить мне выгоднейший контракт, о чем я возмечтал после телеграммы Миро, говорилось примерно следующее: «Обязательно держите меня в курсе Ваших дел. Пока Ваши работы еще не отличает та степень художественной самобытности, на которую я надеюсь. Вам следует много и терпеливо работать — со временем Ваша несомненная одаренность принесет плоды. Полагаю, мне еще представится случай заняться Вашими картинами».

Примерно тогда же отцу написал Жоан Миро — он убеждал его, что мне совершенно необходима поездка в Париж. А кончалось письмо фразой, которую я помню дословно: «Вашего сына ожидает блистательное будущее — в этом я нисколько не сомневаюсь!»

И тогда же Луис Бунюэль предложил мне снять вместе с ним фильм (его мать пообещала финансировать предприятие). Замысел фильма, предложенный Бунюэлем, показался мне убогим до крайности — наивные авангардистские штучки. Предполагалось, что картина будет чем-то вроде экранизованной газеты: происшествия сменяются новостями, новости — анекдотом и так далее. В предпоследнем кадре эта смятая газета будет уже валяться на тротуаре, а в последнем ее сметет дворницкая метла. Концовка была до того дешевой, слезливой и пошлой, что меня просто передернуло. Я сказал Бунюэлю, что все это несусветная чушь, но фильм делать мы будем — другой, ибо я уже написал новый сценарий, короткий и гениальный, совершенно не похожий на то, к чему привык зритель.

Я сказал правду — сценарий действительно был написан. Вскоре Бунюэль известил меня телеграммой о своем приезде в Фигерас. Он пришел в восторг от моего сценария, и нам оставалось только доработать его вместе. Вдвоем мы развили некоторые второстепенные темы фильма и придумали название — «Андалузский щенок» [1]. Бунюэль забрал сценарий и уехал. Он должен был все подготовить, найти актеров и начать съемки. Но вскоре я тоже отправился в Париж и принял самое деятельное участие в постановке. Мы ежедневно намечали режиссерское решение той или иной сцены, а происходило это так: Бунюэль, не перебивая, слово в слово записывал мои указания. Он знал, что чутье у меня безошибочное.

Но я забежал вперед. До поездки в Париж я еще целых два месяца готовился к ней в Фигерасе. И еще я забыл упомянуть, что до появления Пьера Льоба в Фигерасе мы с сестрой и тетушкой побывали в Париже и провели там неделю. Всего-навсего неделю, но за этот короткий срок я успел сделать три важных дела: посетил Версаль, музей Гревен и Пикассо. К нему меня привел Мануэль Анхелес Ортис, гранадский художник-кубист, следовавший за Пикассо, своим учителем, шаг в шаг. Ортис дружил с Лоркой, который нас и познакомил.

В величайшем волнении, так, словно я удостоился аудиенции римского папы, в назначенный час я переступил порог дома художника.

— К вам я пришел раньше, чем в Лувр!

— И правильно сделали! — ответил Пикассо.

У меня была с собою небольшая, тщательно упакованная картина — «Девушка из Фигераса». Четверть часа, не меньше, Пикассо молча разглядывал ее. Потом мы поднялись к нему в мастерскую и два часа он показывал мне свои работы: вытаскивал громадные холсты, расставлял их передо мной — еще, еще и еще. И, выставляя очередную картину, всякий раз бросал на меня такой яростный, живой и умный взгляд, что я невольно содрогался. И я в свой черед не произнес ни слова. Но, спускаясь по лестнице, мы вдруг переглянулись. Пикассо спросил меня одними глазами:

— Уловил суть?

И я, тоже глазами, ответил:

---

[1] Андалузскими щенками в Студенческой Резиденции презрительно называли южан; прозвище означало: слюнтяй, маменькин сынок, недотепа, растяпа и т. п. Фильм Дали и Бунюэля стал не только кинематографическим манифестом сюрреализма, но и эпилогом драматической истории дружбы Лорки и Дали — в герое фильма Лорка узнал себя. См. публикацию писем Дали, адресованных Лорке, в журнале «Диапазон», 1991, № 3.

— Суть уловил.

Вскоре после этого короткого путешествия и состоялись моя вторая выставка в галерее Далмау [1] и третья — в Мадриде, в Салоне художников-иберийцев. Моя известность уже не подлежала сомнению.

Но вернемся к тому, о чем я говорил (полагаю, эти подробности выветрились из памяти Бунюэля). Итак, я в Фигерасе, готовлюсь ехать в Париж. Два месяца я экспериментировал, совершенствуя свое искусство воздействия на расстоянии, используя в качестве подопытной группы компанию художников и литераторов, сплотившуюся вокруг журнала «Друг искусств» [2]. Я вел их куда хотел и тем подготавливал революцию в каталонском искусстве. Причем делал я это издали, не выезжая из Фигераса, а нужно это мне было исключительно затем, чтобы испробовать свои силы перед Парижем, чтобы уяснить, насколько действенны мои *наскоки. Наскоки* эти, весьма разнообразные и даже, возможно, несообразные, призваны были навязать миру, повергнув его в транс ужаса и оцепенения, высочайшую суть моих неукротимых идей, составлявших смысл моей жизни. Не будь этих *наскоков,* мои великие идеи остались бы на обочине истории, а так они заняли в ней свое место. Умение повелевать теми, кто меня окружает, и направлять их действия у меня врожденное. Замечу, что ощущать беспрекословное повиновение даже не приказу, а прихоти весьма усладительно. Люди повинуются мне, сами того не осознавая [3],— это, наверное, для них особый вид очищения.

Когда я прибыл в Париж, в мозгу моем, как набат, звучало название одного из испанских романов — «Или Цезарь или ничто» [4]. Я взял такси и спросил шофера:

— Где тут у вас перворазрядный бордель, знаешь?

— Как не знать! — ответил он с достоинством и каким-то отеческим сожалением.— Садитесь, доставлю.

Я посетил не все, но многие из парижских борделей; некоторые понравились мне необычайно.

И тут я закрываю глаза, чтобы выбрать для вас три места на земном шаре, три воплощения тайны — что из того, что они не сопоставимы друг с другом?

Лестница, что ведет в бордель «Шабанэ», место таинственное и безобразное, стала для меня воплощением эротики. Театр, выстроенный Палладио [5] в Венеции, овеянный тайной и дыханием божества,— воплощением искусства, а вход в королевскую усыпальницу Эскориала — вечным пристанищем тайны и высшей красоты. Так что эротика неминуемо должна была стать для меня отвратительной, искусство — божественным, а смерть — прекрасной.

Убранство борделей пришлось мне по душе. Не могу того же сказать об их обитательницах — они совершенно не гармонировали с обстановкой. И вообще их вид, безнадежно далекий от моего вожделенного идеала — элегантности — вульгарный до колик и предельно жалкий, возбуждал во мне исключительно отвращение. С первой минуты эти препошлейшие созданья, хоть бы даже и с прелестными личиками, для меня просто не существовали. А появлялись они в гостиной с таким видом, как будто только что продрали глаза, не доспали и злы на весь мир. Оставалось

---

[1] Выставка состоялась в декабре 1926 г.

[2] Журнал, редактируемый Жозепом Карбонелем, выходил в Ситжесе с апреля 1926 г. по декабрь 1928 г. В 1929 г. в марте увидел свет последний — сюрреалистический — номер журнала, фактически уже под редакцией Дали.

[3] Недавно, сочиняя предисловие к каталогу моей последней нью-йоркской выставки, которое я подписал псевдонимом Хасинто Фелипе, я подумал, что крайне необходимо — не мне, а кому-нибудь — написать статейку под названием «Дали - антисюрреалист». Такой документ по самым разным причинам пришелся бы весьма кстати, но дипломатические соображения не позволяли мне самому пустить его в ход. И что же? Статья не замедлила появиться и даже называлась она примерно так. Напечатал ее молодой поэт Чарльз Генри Форд в своем журнальчике, не слишком видном, но милом. *(Прим. автора).*

[4] Роман Пио Барохи-и-Несси (1872—1956), написанный в 1910 г.; начинает трилогию «Города».

[5] Андреа Палладио (1518—1580) — итальянский зодчий.

одно — наслаждаться несравненной бордельной атмосферой, роскошным убранством гостиной и, поумерив свои притязания, изредка останавливать взгляд на *креолке,* непременном персонаже прейскуранта. А эти оскалы вместо улыбок, эти вечно раззявленные звериные пасти, призванные завлекать! Нет, женщин следовало искать в других местах. И вести в бордель. Вскоре я поставил на борделях крест, с меня было довольно. Что же до антуража, то бордельных впечатлений мне с лихвой хватит до конца моих дней на все эротические мечтания, включая самые изысканные.

Распростившись с борделями, я посетил Жоана Миро [1]. Мы вместе позавтракали, можно сказать, в полном молчании. Под конец Миро объявил:

— Сегодня вечером познакомлю тебя с Маргерит.

Я ни минуты не сомневался, что речь идет о бельгийском художнике Рене Магритте, который, как тогда мне казалось, *ошибался*. Но сколько тайны было в его заблуждениях! Известие о том, что этот художник — женщина, а не мужчина, как я полагал, повергло меня в транс, и я немедленно вознамерился влюбиться в означенную Маргерит, даже если она окажется не красавицей. Но все-таки спросил у Миро:

— Она элегантна?

— Да что ты! — ответил Миро.— Нисколечки! Скорее простовата.

Мной овладело нетерпение. Простовата она или нет, не важно, я поведу ее в «Шабанэ» и воткну ей в прическу два пера — черное и белое. Уж я расстараюсь, будьте покойны!

Вечером Маргерит зашла в мастерскую Миро на улице Турлак. Она оказалась стройной девушкой с маленьким, подвижным — как вертлявый череп — лицом. Любовный план я немедленно отставил, но пришел в неподдельный восторг. Удивительное существо! И что меня совершенно доконало, она тоже молчала.

Мы отправились ужинать в ресторанчик на площади Пигаль. Ели foie gras [2], причем неплохую, и пили вполне сносное вино. То был, вне всякого сомнения, самый безмолвный ужин в моей жизни: ни он, ни она не произнесли ни единого слова. Только однажды Миро обратился ко мне с вопросом: «У тебя есть смокинг?» И я почувствовал, что это для него крайне важно.

Восстанавливая в памяти картины этих художников, я пытался представить себе, о чем они сейчас думают, и мало того — догадаться, одолев завесу молчания, повисшую между нами, что лежит в основе их творческого общения. Битый час я ломал голову над этой загадкой — и напрасно. Наконец, когда я собрался уходить, Миро произнес:

— Ты должен купить себе смокинг. Нам надо появляться в обществе.

Я далеко не сразу узнал, что Маргерит не имеет ни малейшего отношения к Рене Магритту.

На другой день я отправился заказывать себе смокинг в ателье на углу улицы Вивьен, где, как узнал позже, жил Лотреамон.

Когда смокинг был готов, Миро повел меня на вечер к графине Дато, вдове министра из правительства консерваторов. Мужа ее убили в Мадриде. Народу собралось множество, но запомнилась мне одна только графиня Куэвас де Бера, с которой мне предстояло подружиться. Она была знакома с цветом мадридской художественной интеллигенции, и, беседуя, мы с ней бесстрашно затронули такие темы, что общество содрогнулось. Миро, закованный в доспех крахмальной рубахи, пристально наблюдал за происходящим. И, как филин в анекдоте, *говорил, но про себя.*

От графини мы отправились в «Бато Ивр» выпить шампанского.

Привычно, как человек, не стесненный в средствах, Миро заплатил по счету, и я ему позавидовал. По пути к дому он говорил:

---

[1] Помню, что Миро рассказал мне анекдот, который привез из Марселя. Некто, отбывая в Америку, пообещал другу привезти попугая — и забыл. Что делать? Он раздобыл филина, выкрасил его зеленой краской и понес другу. Спустя какое-то время они встречаются, и путешественник с ехидцей спрашивает: «Ну, как попугай?» — «Большая умница!» — «И что, говорит?» — «Говорит, но про себя». *(Прим. автора).*

[2] Гусиная печенка *(франц.).*

— Тебе придется нелегко, но не отчаивайся. Поменьше болтай (тут-то я понял, что его молчание — не свойство натуры, а сознательно избранная тактика). И еще тебе надо заняться хотя бы гимнастикой. Я, например, беру уроки бокса и ежедневно тренируюсь.

При этих словах лицо его стало жестким и энергичным.

— Завтра отведу тебя к Тристану Тцара [1], главе дадаистов. Очень значительное лицо. Он может позвать на концерт. Не пойдем! Музыка для нас хуже чумы.

Помолчав, Миро добавил:

— Без упорства нельзя! Когда я пишу и у меня не вы́ходит, я бьюсь головой об стену — в кровь.

И исчез, бросив мне через плечо отрывистое «пока».

Я сразу увидал эту стену в пятнах крови — такой же, как у меня. Уже тогда Миро стал делать вещи, нимало меня не вдохновлявшие, но не в том суть. Я УВИДЕЛ эту кровь.

На другой день мы с ним и с дюжиной жеребят [2] обедали у Пьера Льоба.

Из этих художников запомнился мне только Павлик Челищев[3]. Это он затащил меня впервые в жизни в метро. Я сопротивлялся изо всех сил. Ужас, изобразившийся на моем лице, привел его в восторг — он хохотал до слез. Когда же Павлик заявил, что ему выходить раньше, я, утратив самообладание, вцепился ему в рукав. И услышал:

— Ничего страшного! Выйдете на следующей остановке, да смотрите не перепутайте — на следующей! Увидите надпись крупными буквами «ВЫХОД», ее нельзя не заметить. Подыметесь по лестнице и окажетесь на улице. Ничего страшного! Куда другие пойдут, туда и вы. На той остановке много народу выходит!

— А если никто не выйдет???

Однако я доехал, поднялся и вышел. Одолев чудовищный гнет метрополитена, я ощутил в себе великие силы. Не зря Челищев указал мне этот подземный ход, вернее код — то был ключ к успеху. С тех пор я не расстаюсь с этим ключом, открывшим мне тайные подземные русла духа.

Даже самым близким моим друзьям не раз случалось осведомляться: «Куда подевался Дали? Что-то его не видно, уже месяца четыре или больше. Где он? Чем занят?» А Дали никуда не делся. Он просто спустился в метро и отбыл в неведомом направлении и когда-нибудь, ко всеобщему изумлению, *доедет, поднимется, выйдет на свет божий*. Потом снова пропадет и снова доберется куда надо, *поднимется и выйдет*. Грохот поезда, вылетающего из тоннеля, тисками сдавливал сердце и бился в уши цезарианским императивом: *Пришел-увидел-победил, пришел-увидел-победил, пришел-увидел-победил, пришел-увидел-победил, пришел-увидел-победил.*

Одной поездки в метро оказалось более чем достаточно — с тех пор ноги моей там не было. Я брал такси, заставлял шофера часами дожидаться и под конец выдавал умопомрачительно разорительные чаевые.

Я еду! Слышите, еду! Я приехал! И главное — вовремя. Начались съемки «Андалузского щенка». Пьер Бачев оказался именно таким, каким я представлял себе главного героя. Уже тогда он начал принимать наркотики, от него постоянно пахло эфиром. Вскоре после завершения съемок Бачев покончил с собой.

В самое сердце образованного, простодушного, изысканного Парижа я вонзил этот фильм о юности и смерти — бестрепетный, непреложный иберийский клинок, чья рукоять замешена на нашей скальной, сочащейся кровью породе, а лезвие закалено кострами Святейшей Инквизиции и пламенными гимнами в честь воскрешения во плоти.

---

[1] Тристан Тцара (наст. имя Сами Розенштох, 1896—1963) — французский поэт и эссеист, один из теоретиков дадаизма и сюрреализма.

[2] По-французски poulain, слово из профессионального лексикона, обозначает художника, подписавшего контракт с маршаном.

[3] Павел Федорович Челищев (1898—1957) — живописец и театральный художник; с 1923 г. жил во Франции, затем в США.

Наш «Андалузский щенок» в один вечер прикончил псевдоинтеллектуальный авангард, царствовавший все послевоенное десятилетие.

Когда в первом кадре мы явили миру девичий глаз, взрезаемый бритвой, эта гнусь, которую именуют абстрактным искусством, получила смертельную рану, пала к нашим ногам и более уже не поднималась. С того дня в Европе не осталось места для дурковатых ромбиков мсье Мондриана[1].

Бутафоры в кино — люди закаленные и навидались всякого: что ни попроси, не удивятся. Но когда мы стали снимать «Щенка», ленту короткую и по части антуража непритязательную, даже у видавшего виды мастера, как он сам после признался, глаза полезли на лоб. Что же нам от него понадобилось? Ну, например, голый манекен с двумя живыми морскими ежами под мышками. Или такой грим для Бачева, чтобы казалось, что у него нет рта; затем такой, где на месте рта у него вдруг вырастают волосы — не усы, а именно волосы, как под мышками — очень нужно постараться сделать похоже! Нам также требовалось четыре дохлых полуразложившихся осла[2] — они должны возлежать на роялях; муляж отрезанной руки, не отличимый от настоящего обрубка, коровий глаз и три муравьиных кучи.

Это было, я вам доложу, зрелище, когда мы снимали сцену с ослами на роялях. Я самолично довел до блеска картину разложения, вылив на туши две дюжины пузырьков клея, затем ножницами расширил ослам глазницы и раззявил во всю ширь их пасти — чтобы зубы торчали наружу, и в довершение всего запихнул в каждую пасть еще по одной челюсти — чтобы казалось, что ослы, хоть и сдохли, но все еще потихоньку блюют, извергая что-то еще, кроме своей смерти, и блевотина с частокола зубов стекает на клавиши. Зрелище пробирало до костей. Это вам не пятьдесят гробов друг на дружке в чулане!

«Андалузский щенок» поставил крест на порывах Миро приобщить меня к светской жизни.

— Пожалуй, я начну с дохлых ослов,— сказал я ему.— Остальное приложится.

И не ошибся — приложилось.

Как раз тогда в «Ла Куполь» я познакомился с Робером Десносом[3], он пригласил меня к себе. Дело в том, что я имел обыкновение повсюду носить с собой какую-нибудь картину — на всякий случай, в качестве образца. Деснос вознамерился ее купить, но денег при нем не было, и мы пошли. Он, конечно же, оценил могучую самобытность моей манеры и ту работу — «Первый день весны», в которой либидо воплощено в разяще-зримых символах. «В Париже никто так не может»,— заметил он. И вдруг пустился рассуждать о Робеспьере — взахлеб, с какой-то маниакальной страстью, настырно, отрешенно и монотонно, как в кошмарном сне. У меня стали слипаться глаза.

Я давно заметил, что стоит заговорить со мной о Французской революции, как я делаюсь болен. Вот и в этот раз — наутро началась жесточайшая ангина. Болел я долго и все это время провалялся у себя в комнате, страдая от одиночества, заброшенности и крайнего уныния. Тут-то я наконец заметил, что отель, в котором живу, по части чистоты не дотягивает ни до какого уровня, и преисполнился омерзения.

Уже который день я возлежал на постели, уставя глаза в потолок, и вдруг увидал, что по нему ползают какие-то твари, не то две, не то три. Вши? Тараканы? Потолок высокий — не достать, и я принялся швырять в них подушкой, чтобы ссыпались на пол. Но докинуть не смог, и, обессиленный, измотанный болезнью, рухнул на постель и заснул, совершенно

---

[1] Пит Мондриан (1872—1944) — голландский художник-абстракционист.

[2] Эти ослы были призваны напомнить — кроме всего прочего — об ослике Платеро, персонаже книги стихотворений в прозе Хуана Рамона Хименеса (1881—1958), выпады против которого становятся непременной принадлежностью эстетических деклараций Дали, начиная с 1927 г. Об этом также см. публикацию в журнале «Диапазон».

[3] Робер Деснос (1900—1945) — французский поэт.

забыв, что эта парочка расположилась прямо над моим ложем. Проснувшись, я первым делом вперился в потолок и увидел одну-единственную тварь. Значит, вторая ночью свалилась на меня! Эта мысль была нестерпима — я вскочил, перетряхнул все — одеяло, подушки, простыни, наволочки, скинул с себя рубаху, обшарил себя с ног до головы и — о, ужас! — нащупал (еле-еле дотянулся) какую-то мерзость, прилепившуюся к спине. Я попытался отколупнуть, но не тут-то было — как вросла.

Я кинулся к зеркалу. Никаких сомнений — эта тварь впилась мне в спину и лезла внутрь, я же вижу, как ее гладенькая круглая спинка набухает моей кровью! Наверное, это клещ, я знаю, есть такие клещи, они вцепляются в собачьи уши и выдрать их можно только с мясом. Я стиснул зубы, зажмурился, лицо исказила страдальческая гримаса. Я был готов на все, только бы избавиться от крохотного кошмарного чудовища. Зажав эту тварь между большим и указательным пальцами и нацелившись туда, где ее брюшко переходило в мое тело, я впился острым ногтем в собственную спину. Без толку. Я снова попытался поддеть эту горошину и рванул что было мочи, не обращая внимания на боль. Но клещ не отцеплялся ни в какую. Он словно слился со мной, врос в мою плоть, стал моим телом — то было уже не членистоногое, клещ превратился в грозного зародыша, в моего брата, сиамского близнеца — и этот чудовищный живой горб будет расти — что за мука, что за адская кара!

В отчаянии я решился на драконовское средство и с яростью, сравнимой лишь с ужасом, владевшим мной, схватил бритву, зажал эту тварь ногтями и стал вырезать ее с мясом. У меня долго ничего не получалось, но я кромсал, кромсал и кромсал, одурев от крови, пока, наконец, не выковырял клеща из раны. И в полуобмороке рухнул на пол. Вокруг растекалась кровавая лужа. Мне показалось, что остановить кровь уже не удастся. Я подполз к звонку — вызвать горничную — и заметил, что позади остается кровавый след. При виде громадной кровавой лужи у шкафа у меня похолодело внутри. Кое-как я добрался до постели, попытался перевязать рану простыней, но она тут же напиталась кровью — все было бессильно перед этим губительным потоком. Держась за стену, я дотащился до ванной. Кровь хлынула в раковину.

Казалось, кровотечение только усилилось от воды. Я решил позвонить горничной вторично и снова двинулся в комнату. Окинул ее глазами — и содрогнулся. Постель в крови, кровь всюду: на полу — лужа, на стенах — кровавые разводы, отпечатки кровавых ладоней. Я нажал кнопку звонка и не отпускал до тех пор, пока не пришла горничная. Она открыла дверь, издала дикий вопль при виде кровавого наводнения и тут же исчезла. В скором времени из коридора донесся топот — ко мне спешили люди. Еще секунда — и толпа под предводительством директора отеля ворвалась ко мне в комнату и оцепенела, лишившись дара речи. Как же им хотелось узнать, кто палач и где жертва!

— Ничего страшного...— проговорил я, едва слышно.— Меня... меня укусил... этот, как его...— Я не знал, как по-французски «клещ».

Директор ободряюще осклабился, желая меня успокоить и показать всем своим видом, что готов понять и принять мои объяснения, хоть бы и самые чудовищные,— он ведь тоже человек!

— Меня укусил *клоп!*

Наконец появился врач. Но еще до его прихода я все понял. Не было ни клопа, ни клеща, ни таракана, ни сиамского близнеца — одно воображение. И родинка, которую я сто раз видел. Врач сказал, что истребление родинки — вещь вообще крайне опасная, а уж вырезать ее самому — дичайшее безумие. Я пытался объяснить ему про клопа, который в меня вцепился, как мне почудилось, уверял, что хотел отколупнуть этого клопа, но врач не поверил ни единому слову.

— Если бы родинка находилась у вас на лице,— говорил он укоризненно,— я бы еще мог понять! Хотя и в таком случае трогать ее не рекомендуется. Но на спине!!! — и он негодующе фыркнул.

Потрясение, которым отозвалась во мне эта кровавая оргия, долгое затворничество в грязной гостинице и недавняя болезнь повергли меня

в беспросветную тоску. «Андалузский щенок» еще не вышел на экраны, но я уже совершенно охладел к фильму — он никуда не годен! И будь на то моя воля, я бы, не задумываясь, истребил его собственной рукой и не допустил премьеры. Какая премьера, когда этой ленте, где дурно все, начиная со сценария (теперь я видел его провалы) и кончая актерами, недостает по меньшей мере дюжины дохлых ослов!

А ведь кроме «Щенка» я ничего не сделал. Сунулся было в общество — и что? Ровным счетом ничего. Я скован, застенчив, блистать не способен — одно унижение. Камил Гоэманс, маршан, сказал, что заключит со мной контракт, но где тот контракт? Одни обещания, да и то туманные — когда-нибудь позже, может быть, осенью, когда я привезу из Кадакеса летние работы, он «посмотрит».

И элегантной женщины, той, что разделила бы со мной любовные грезы, как не было, так и нет. Да что там элегантной — никакой. Измученный жаждой любви, я рыскал по всему Парижу, искал ее, вынюхивал, как пес, но предмета своих вожделений так и не встретил, а если и случалось что-то похожее на чудо, если передо мной вдруг возникала женщина, хотя бы смутно напоминающая ту, о которой я грезил, я терялся. Ни разу, ни единого разу я не сумел превозмочь проклятую застенчивость! Вечер за вечером я слонялся по городу там и сям, обходил бульвары, кафе, забегаловки, надеясь на встречу,— увижу ее, подмигну, а там... Я был убежден, что тысячи женщин, мучимых тем же любовным порывом, что и я, ежевечерне рыщут по улицам в поисках приключений. Оказывается, нет. Иногда я впадал в такое отчаянье, что очертя голову устремлялся за сущей уродиной. Вперял в нее безумный, пылающий взор, не отставал ни на шаг, преследовал, куда бы она ни направлялась, вскакивал за ней в трамвай, садился рядом или напротив и порывался со всею деликатностью нежно сжать ее коленку. Она отшатывалась и вскакивала. Я выходил на ближайшей остановке, озирался — вокруг было столько женщин! (Мужчин я в ту пору вовсе не замечал, равно как стариков и детей.) И что же? Ни одна даже не взглянет, не повернет головы, они идут мимо — прелестные, недосягаемые, чужие, безнадежно чужие!

«Ну, что,— думал я, раздавленный неутолимым порывом,— прибрал их к рукам? Ведь, кажется, собирался? И не их одних, а «весь Париж»? Как же! Поди прибери, когда даже уродины тебя знать не хотят».

Все чаще я скрывался в дальней аллее Люксембургского сада и плакал.

Однажды Гоэманс, тот, кому предстояло стать моим маршаном, пригласил меня в «Бал Тамарэн». Мы расположились на галерее. Когда в зал вошли двое — платье дамы было расшито черными блестками,— Гоэманс сказал:

— Это Поль Элюар, поэт, из сюрреалистов. Очень известен, к тому же покупает картины. Он с подругой, а жена его сейчас в Швейцарии.

Мы провели вечер вместе с ними за шампанским.

Элюар был для меня легендой, да и держался он, как подобает легендарному персонажу. Пил не спеша, рассеянно взирая на красавиц. Мы уговорились, что летом он посетит меня в Кадакесе.

На другой день я решил, что пора возвращаться в Испанию. Перед отходом поезда я обедал в «Гар д'Орсэ». Мне принесли лапшу, и я принял ее как дар, как манну небесную. Впервые после болезни мне захотелось есть. И каждая лапшинка, казалось, приговаривала: «Забудь болезнь, забудь Париж, на что он тебе сдался, нечего здесь к рукам прибирать!» Впоследствии я на собственном примере убедился, что только здоровый человек может что бы то ни было прибрать к рукам. А если хотелось и не прибрал — значит, болен. Тот, кто окажется на гребне волны, не болеет, даже если от природы слаб здоровьем, нервен и быстро устает[1]. Так что

---

[1] Уже в первые дни войны, в особенности гражданской, можно предугадать, кто возьмет верх. Те, кому назначено стать победителями, на удивление крепки и просто пышут здоровьем — им все нипочем, а обреченные на поражение с каждым днем чахнут. У тех прекрасное пищеварение, все им идет впрок, а эти тощают, мучаются желудком, глохнут, покрываются коростой, всякая зараза к ним так и липнет. Медицинская статистика в этом плане представляет несомненный научный интерес. *(Прим. автора).*

и здесь границы между телом и духом, оказывается, не существует, и поговорку про дух, наделяющий своей силой тело, в котором обитает, следует понимать буквально и чтить как заповедь.

Я вернулся в Кадакес, и на меня нахлынуло детство. Семь лет ученья, три года в Мадриде, жизнь в Париже — все вдруг кануло в туман и пропало. Я очутился среди своих детских фантазий, радостей и страхов. Вновь перед моим потрясенным распахнутым взором пронеслись образы детства — я сроднился с ними бесконечно давно, когда не знаю, но еще в те незапамятные годы они стали частицей моей души. Олененок, весь зеленый, с рожками цвета жженой сиены — откуда он взялся? Ну, конечно же, с переводной картинки. Он стоит у меня перед глазами как живой — можно писать с натуры.

Другие образы были куда сложнее и многозначнее, как, например, вот этот: кроличий профиль, причем глаз зверька оказывается в то же самое время глазом громадного пестрого попугая. И мало того: тем же самым глазом смотрит рыбья голова, вместившая и кролика, и попугая. Иногда у этой рыбы я замечал прилипшего кузнечика — у самой пасти. Еще, особенно в море, на веслах, перед глазами у меня вдруг возникала целая стая крохотных разноцветных зонтиков. И не только на веслах — они появлялись всякий раз при физическом усилии. Эти маленькие купола мерцали, переливаясь всеми цветами радуги, как волшебная завеса, и воспоминание о ней всякий раз приводило меня в несказанный восторг.

Я целиком погрузился в чудный мир моих детских фантазий и в конце концов решил запечатлеть их на полотне в точности такими, какими видел; столь же мощными, в том же порядке. А расположу я их по наитию, не обдумывая заранее композицию: пусть рука работает сама, автоматически, пусть ее ведет чувство. Все мои эстетические привязанности вкупе с художественным вкусом останутся в стороне — здесь им не место. Только инстинкт, природный порыв, только наслаждение. Так я написал воистину сюрреалистическую картину — ей это наименование принадлежит по праву.

Я просыпался на рассвете и, не умываясь и не одеваясь, садился к мольберту, который стоял рядом с кроватью. Первое, что я видел, пробудившись, была моя картина. И последнее, что видел, засыпая. Я даже старался заснуть, глядя на нее — чтобы перелить ее в сон и не расставаться. Часто я просыпался среди ночи, зажигал свет — на минутку, чтоб только взглянуть на картину. А иногда в полусне она мне являлась в полосе лунного света. Дни напролет я просиживал у мольберта, вперив глаза в полотно, ловя, как медиум (ну, в точности, как медиум) долгожданное *виденье,* порожденное моим воображением. Случалось, мне мерещились те же самые образы, что я переносил на картину. И тогда я схватывал самую их суть и писал, писал изо всех сил, ощущая во рту яростный привкус слюны, должно быть, такой же жгучей, как та, что пенится в пасти охотничьего пса, когда он вонзает зубы в дичь, сраженную метким выстрелом.

А иногда я сидел часами — и ничего. Но я сидел в полной отрешенности с кистью наизготовку, готовый ринуться на призрачное поле моего полотна, едва прогремит выстрел и мозг мой сразит очередную жертву воображения, и она падет, истекая кровью. Но, бывало, выстрел не попадал в цель. А иногда я пускался в погоню за дичью и, только окончательно выбившись из сил, понимал, что ошибся: то была не куропатка — просто на ветке подрагивал листок, задетый пулей. Моля о прощении, я склонял дурную голову перед своим властелином и чувствовал, что благие руки воображения не оставили меня, а, напротив, почесали за ушком — я закрывал глаза, млея от наслаждения.

Но вдруг голова моя начинала зудеть, и я принимался чесаться обеими руками, раздирая себе лоб. Я же совсем забыл вам сказать, что все эти маленькие разноцветные зонтички, кузнечики и головы попугаев копошились прямо у меня под кожей. Больше всего это походило на веселый муравейник или на лежбище червей. Но зуд прекращался, и суровое спокойствие Минервы вновь осеняло мое чело; холодная рука разума ложилась мне на лоб: «Ну-ка, вставай, идем поплаваем!» И я карабкался на скалу,

отыскивая безветренное местечко, и жарился на солнце до изнеможения, а после кидался в ледяную берлинскую лазурь, плескавшуюся под скалой.

В те дни у меня в первый и в последний раз в жизни случилась галлюцинация. Тогда меня вообще необычайно радовали всяческие проявления моей психической ненормальности, я даже пытался вызывать их нарочно. Всякий день я тащил к костру моего безумия очередную охапку хвороста — чтоб разгорался! Но когда заметил, что это опасно, что безумие, набрав силу, может исказить мою жизнь и отравить воздух, которым дышу, я дал этой шельме хорошего пинка и начал крестовый поход: мне нужно было отвоевать себе жизненное пространство. Не прошло и года, как свой прежний девиз «Через иррациональное к иррациональности» я поменял и начертал на своем щите другой, истинно католический — «победить иррациональное!» Ибо к тому времени, о котором веду речь, иррациональное, мое недавнее божество, было низвергнуто в пыль. Однако, почитая его, я успел вытрясти себе на пользу множество тайн, а кое-чем и само иррациональное соизволило со мною поделиться. Но все же у меня достало мужества двинуться в крестовый поход. Я упорно сражался, являя образцы героизма, когда же иррациональное стало мне угрожать, я бестрепетно стер его в порошок, да еще чуть не увлек за собой и всех остальных сюрреалистов[1].

Итак, 1929 год. Я снова здесь, в Кадакесе, городе моего детства и юности — синее море, беленые стены. Я вырос, возмужал и готов был расшибиться в лепешку, чтоб только тронуться умом, вернее, взлелеять росток безумия, которому было назначено взрастать в моей стенающей душе.

Дошло до того, что у меня начались припадки неудержимого смеха. Я хохотал до упаду в буквальном смысле слова — приходилось ложиться, чтобы передохнуть. От смеха у меня начинало болеть внутри. Над чем же я смеялся? Да над чем угодно. Ну, например, вообразятся мне ни с того ни с сего три доблестных сутаноносца. И несется эта милая троица гуськом во всю прыть прямехонько к японскому мостику, каких в Царском Селе видимо-невидимо. И вот тут-то я как наподдам тому, что приотстал,— кругленькой этой коротышке, что как раз выкатывается с мостика на берег! Бедолага растянулся, лежит, озирается, дрожит, как мышь в мышеловке, а после как вскочит, да как даст стрекача, как понесется обратно, бросив своих приятелей...

Страх монашка веселил меня так, будто я ничего смешнее отродясь не видел. Как вспомню его, хохочу — не могу сдержаться ни при каких обстоятельствах.

Пришла телеграмма от Камила Гоэманса, моего маршана. Пользуясь помощью и советами отца, я заключил с ним путем взаимной переписки соглашение, по которому Гоэманс обязался выплатить мне три тысячи франков и ближе к зиме выставить у себя в парижской галерее мои картины. Он получает оговоренный процент с каждой проданной работы и три картины по своему выбору. Отец счел предложенный контракт честным, и я без колебаний подписал. Надо сказать, что тогда я и не подозревал о ценности денег и не знал им счета. Я искренне верил, что пятисот франков — если они в мелких купюрах — должно хватить на дольше, чем тысячефранковой ассигнации. Вольно́ вам не верить, однако мои тогдашние друзья могут подтвердить непреложную истинность моих слов. Да и вообще не верить мне у вас нет оснований, ибо я имею обыкновение сам уличать себя во лжи, а главное — первым!

Приехал Гоэманс и, увидев еще незаконченные «Угрюмые игры», пришел в восторг. Вслед за ним приехал Рене Магритт с женой. Элюар написал, что скоро будет. Явился и Луис Бунюэль.

---

[1] Не получилось. Очень скоро сюрреалисты ударились в политику, и эта раковая опухоль погубила движение. Они, правда, успели взять на вооружение мой лозунг, единственно возможный для всякого, у кого есть глаза и уши. А что им еще оставалось? Но и это не помогло. Тогда я осознал, что мой путь лежит в стороне от всех дорог. Я понял, что мне предстоит выстоять одному и погибнуть в одиночку. *(Прим. автора).*

Так что в три дня я вдруг очутился среди сюрреалистов. Привело их ко мне, конечно же, любопытство, растревоженное моей редкостной индивидуальностью, ведь Кадакес в ту пору не числился среди знаменитых курортов Средиземноморья и путешественники могли рассчитывать разве что на убогую гостиницу. Только имея собственный дом, можно было жить в Кадакесе в свое удовольствие, не страдая от неудобств.

Мои припадки смеха изумляли друзей. Стоило мне расхохотаться, как на их лицах мелькало знакомое недоумение, что повергало меня простотаки в безумное веселье. Как-то раз на пляже, где мои гости наслаждались вечерней прохладой, завязалась философская дискуссия. Я тоже решил сказать свое слово — раскрыл было рот — и захохотал. В конце концов я вообще перестал разговаривать — не мог, давился смехом. Друзья-сюрреалисты смирились, полагая, что гению, то есть мне, позволительно иметь свои слабости. «Только не спрашивайте Дали, что он об этом думает,— предупреждали они новых собеседников,— а то он расхохочется на полчаса!»

День ото дня мои припадки становились все продолжительнее и яростнее и гости уже начали поглядывать на меня озабоченно-сочувственно и шушукаться по углам — кажется, меня жалели. Это обстоятельство изрядно развеселило меня. Им-то откуда знать, что я хохочу над тем, что лезет мне в голову!

Вот так же я покатывался со смеху, когда к нашему дому подъехало такси. Из него вышли Поль Элюар, поэт-сюрреалист, и его жена. Приехали они издалека — из Швейцарии, где навещали Рене Кревеля[1], и сильно устали с дороги. Мы тут же проводили их в гостиницу «Мирамар» и дали возможность передохнуть. Встречу назначили на вечер.

У Галы, жены Элюара, было на редкость умное лицо, но мне показалось, что она раздражена и жалеет, что приехала. В пять вся наша сюрреалистская компания зашла за ними. Мы расположились в тени платанов и заказали вино. Я выпил немного перно и похохотал — всего один раз и недолго. Элюару объяснили, в чем дело. Он счел казус любопытным, хотя все прочие не обратили на мой гогот ни малейшего внимания — привычка сделала свое дело! — просто лица их поскучнели. Они пережидали — ведь «рано или поздно Дали смолкнет!»

Тем же вечером я завел с Галой серьезную беседу. Она поразилась, обнаружив в моих рассуждениях последовательность и цельность. Гала даже оповестила меня, что там, под платанами, я ей показался до невыносимости агрессивным, не говоря уж о моей элегантности. Одна набриолиненная причесочка чего стоит. Как у профессионального танцора-латиноамериканца: «А ля аргентинское танго»,— сказала Гала.

Меня давно, еще в Мадриде, одолела страсть к украшениям. В своей комнате я обыкновенно пребывал в голом виде, но, выходя на люди, битый час проводил перед зеркалом: прилизывал волосы, мазал их бриолином, с величайшей тщательностью выбривался, наглаживал брюки и в довершение всего надевал шелковую рубашку и умопомрачительные сандалеты. Еще я носил ожерелье, якобы жемчужное, и браслет в виде цепи из металлических звеньев. Я самолично нарисовал для портного эскиз ночной рубашки из плотной ткани, с большим вырезом и широкими рукавами и заказал себе несколько штук. В этом балахоне я походил на девушку.

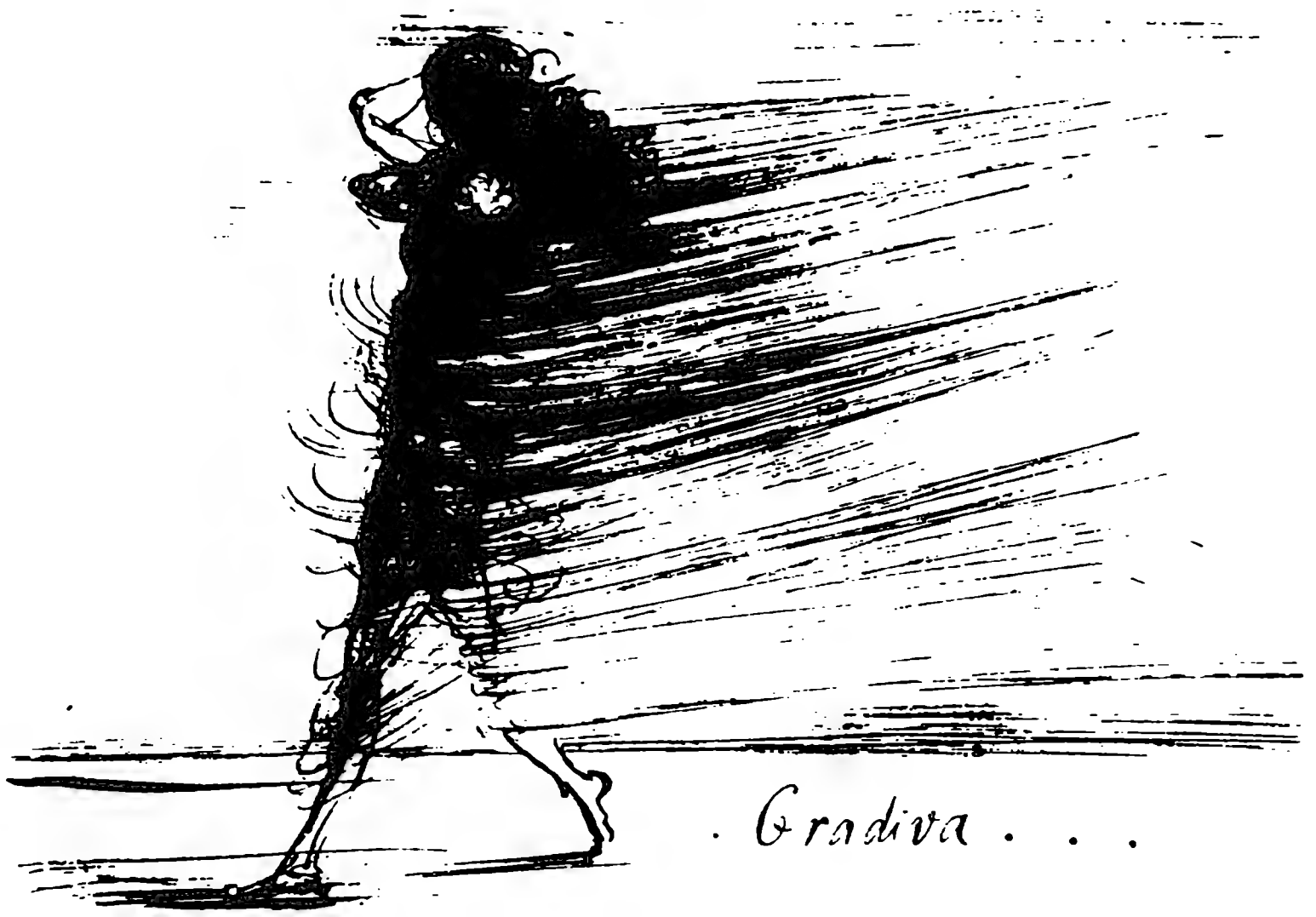
По возврате мы разговорились с Элюаром. Я сразу понял, что передо мною настоящий, великий поэт, то есть такой, как Лорка. Я ждал и жаждал его похвал Кадакесу, но Элюар *не успел его разглядеть.*

Мы проводили его с Галой до гостиницы и договорились встретиться завтра утром, в одиннадцать, возле нашего дома, на берегу — надо же поплавать.

Обдумывая и мастеря свой наряд, я измучился, но вот я наконец готов. К чему готов? На что? Кадакесский колокол отзвонил одиннадцать. Я подошел к окну. ОНА стояла на берегу. Вы спросите: «Кто?» А я скажу: «Не

---

[1] Рене Кревель (1900—1935) — французский поэт-сюрреалист.



перебивайте!» ОНА стояла на берегу — и этого было достаточно. Гала, жена Элюара. Это ОНА! Галюшка Возрожденная! Я узнал ее по обнаженной спине. Это ее кожа, нежная и гладкая, как у ребенка. Эти выступающие ключицы; сильные, как у молодого атлета, спинные мышцы — и женственно-плавная, изящная линия бедра. Контраст между ними подчеркивала тонкая, может быть, слишком тонкая талия — мастерский, завершающий штрих!

И я вчера провел с ней целый день — и не заметил? Не разглядел? Даже ничего не почувствовал? Не понял? Нет, понял, но не осознал. Разве не для нее я вырядился с утра самым дурацким, дичайшим образом? Для нее — то был мой свадебный наряд. Разве не для нее я умащался козьим пометом и лавандовым маслом, разве не для нее изорвал в клочья свою лучшую рубаху тончайшего шелка, разве не для нее искровянил себе бритвой подмышки? Но вот она пришла, и я не решаюсь предстать перед ней в таком виде. Я глянул в зеркало и впал в отчаянье. «Ты смахиваешь на дикаря,— сказал я своему отражению,— и я тебя презираю».

Да, смахиваю, но ведь состояние дикости — это всего-навсего проявление атавизма, свойственный людям вид душевного нездоровья!

Я немедленно скинул дурацкий наряд, снял украшения и кинулся мыться, чтобы истребить исходивший от меня зубодробительный аромат. Но ожерелье, якобы жемчужное, и красную герань за ухом решил оставить, только цветок выбрал поменьше.

И понесся навстречу Гале, но вместо того чтобы приветствовать ее, расхохотался. Она обратилась ко мне с каким-то вопросом, и ответом ей снова был тот же истерический хохот. Я не мог вымолвить ни единого слова. Друзья-сюрреалисты, как я уже сказал, смирились и только потихоньку скучали — «ну, это на целый день!» Заслышав мой смех, они рассаживались на берегу и начинали с рассеянным видом кидать камешки в море. Бунюэль пребывал в страшном раздражении — он приехал в Кадакес, полагая, что мы будем писать сценарий нового фильма, я же впал в транс и самозабвенно лелеял свое безумие. Я думал только о том, как бы половчее свихнуться, и о Гале.

Говорить с нею я не мог, зато всячески старался услужить ей: кидался за подушкой, чтобы поудобнее усадить на тахте, бежал за стаканом воды, предлагал пойти к скамейке, откуда открывается изумительный вид. И с несказанным восторгом сто раз на дню помогал переобуть сандалии. И если на прогулке моя рука ненароком касалась ее руки, меня пробирала дрожь, и дождь мелких зеленых яблок, плодов моей любовной мечты, обрушивался на мою голову — так, словно бы не руки наши соприкоснулись, а мощная великанья десница сотрясла деревце моей страсти, осыпая незрелые плоды.

Но Гала, угадывая мое состояние — ее интуиция не знает себе равных,— все же не поняла, что причиной ему была моя безумная любовь. С каждым днем ее интерес ко мне, причем интерес чисто практического свойства, возрастал. Она считала меня гением, правда, полусумасшедшим, но с высокими нравственными ориентирами. И возжелала воплощения в жизнь своего личного мифа. Воплотить же его мог только я.

Утром я зашел за Галой в гостиницу «Мирамар», и мы отправились к скалам, называемым Эль Кексальс (Зубы). Поразительное место, пропитанное какой-то *вселенской тоской.* Я ждал, что Гала сама начнет разговор, раз она того хотела, но время шло, она молчала, и я понял, что она не знает, как начать. Я чуть было не сказал ей:

— Что с вами? Что вас тревожит? Давайте поговорим. Пусть все решится раз и навсегда!

Но молчал, потрясенный самим ее присутствием. Нет, не нужно ни исповедей, ни признаний. Я читаю ответ в тонком рисунке ее лица, в изящных пропорциях ее фигуры. Вот она идет с гордым видом победительницы, повергая в трепет, и я, ощутив, что не утратил чувства юмора, формулирую эстетический постулат: «И у Победы сумрачное лицо — потому что нахмурены брови». Что ж, пусть хмурится.

Я дотронулся до нее, обнял за талию, и Гала едва ощутимо сжала мою руку, вложив в это легкое движение всю свою душу. Этот миг следовало ознаменовать приступом хохота — и я нервно рассмеялся, понимая всю неуместность своего поведения и предвидя свои грядущие страдания по этому поводу. Но Галу мой хохот не оскорбил, более того — она пришла в экстаз. И, явив нечеловеческое самообладание, вновь, чуть сильнее, сжала мне руку — а не отшвырнула ее брезгливо, как сделала бы всякая другая! Интуитивно, как медиум, она угадала истинный смысл моего смеха, столь же загадочного для нее, как и для всех остальных. Она поняла, что это не *веселый* смех, вообще свойственный людям. Нет! И не смех скептика. А смех фанатика! Ни тени фривольности не было в нем — нет! Был ужас, буря, бездна. Изо всех моих убийственных взрывов хохота этот, разразившийся в ее честь, оказался самым убийственным: я кинулся в бездну, к ее ногам — с какой заоблачной высоты!

И она сказала: «Дитя мое! Мы никогда не расстанемся!» Ей было предназначено стать моей Градивой[1], *той, что идет впереди,* моей победой, моей женой. Но прежде она должна была вылечить меня — и вылечила.

В начале нашей любви с Галой я был явно нездоров душевно. Припадки хохота, знаменовавшие теперь эйфорию, становились все тягостнее, их сопровождали судороги и прочие симптомы истерии. Я, конечно, выказывал полнейшее удовлетворение по этому поводу, но все же начал в глубине души тревожиться. Я возвращался, а вернее *впадал* в детство, и оттого мне стало казаться, что Гала — та самая девочка, что являлась мне *в воспоминаниях о том, чего не было,* та, кого я называл Галюшка — это ведь уменьшительное от Гала. И все сильнее меня мучил комплекс высоты — мне хотелось столкнуть кого-нибудь вниз или броситься самому с обрыва. Однажды я нарочно завел Галу на одну из самых высоких скал мыса Креус, и, когда мы взобрались на самый верх, там, на гранитном утесе, именуемом Орлица (скала и вправду похожа на орлицу, распростершую крылья над бездной), во мне явственно шевельнулось преступное намерение. Там я предложил Гале игру, которую сам выдумал: мы откалывали большие куски гранита, подтаскивали их к самому краю, скидывали вниз и смотрели, как бесконечно далеко внизу они низвергаются в море или разлетаются вдребезги, ударяясь о камни. Я мог часами ворочать камни ради этого зрелища, и только опасение, что когда-нибудь я столкну в бездну не камень, а Галу, удерживало меня. Я перестал водить ее на скалу, где меня охватывал неописуемый трепет, следствие близкой опасности и восторга, сладостного и губительного.

---

[1] «Градива» - роман В. Йенсена, проанализированный Зигмундом Фрейдом в работе «Der Wahn und die Träume». Градива — имя той, что излечивает героя от душевной болезни. Ничего не зная о толковании Фрейда и прочитав первые несколько страниц романа, я воскликнул: «Гала, жена моя, ты — истинная Градива!» *(Прим. автора).*

Гала явилась и посягнула на мое одиночество, разрушила его, и я, ощутив это, испытал смятение. Случалось, я осыпал ее совершенно незаслуженными упреками — мешаешь мне работать, прокралась ко мне в душу, погубила мое «я»! И еще я был убежден, что когда-нибудь она обязательно меня обидит. И когда на меня накатывал страх, говорил ей:

— Ты не должна меня терзать, слышишь? Никогда! Обещай мне. И я никогда не причиню тебе обид. Мы не станем вредить друг другу.

Я знал, что близится *час великого испытания,* великого испытания любовью. А моя любовь, конечно, не похожа на любовь других людей — я же до известной степени безумен. И чем ближе был час принесения жертвы, тем страшнее мне становилось — я не осмеливался даже думать о том, что предстояло. Не раз, проводив Галу до гостиницы «Мирамар», я тяжело вздыхал и восклицал: «Это ужасно!»

— Что — ужасно? — осведомлялась Гала, не понимая причин моего транса.

Ты ведь ждал этого всю жизнь и вот, наконец — Она явилась! Пробил час, а ты дрожишь от страха, Дали!

Тем временем припадки хохота и прочие симптомы истерии усугублялись, хотя я сумел выработать какие-то способы защиты — мозг мой выказал недюжинную сообразительность и гибкость. Как искусно я, словно тореро, вел бой с быком страсти, одолевавшим меня, как мастерски я играл плащом, дразня зверя, нападал и уворачивался от рогов, зная, что в конце концов мы встанем друг перед другом и не будет пути назад и все решится: он покончит со мной или я с ним.

Гала все чаще говорила *о чем-то,* что неизбежно должно произойти, о чем-то *важном* для нас обоих — *что все решит.* Но разве могла она положиться на меня, когда мое возбуждение достигало уже степеней невменяемости, когда надо мною уже реял ореол безумия, а позади волочился шлейф симптомов, не оставляющих места для сомнений? Мало того — мое безумие в конце концов нарушило свойственное Гале душевное равновесие: безумие заразительно.

Мы молча, подолгу, до изнеможения блуждали по оливковым рощам и виноградникам, словно надеясь, что сумеем скинуть непосильную ношу таимых чувств, скрученных тугим узлом, освободиться от давящего ярма немоты.

Но воле не дано править нами. И сколько ни истязай себя, душа и тело, пока их гонит вперед жестокая неутоленная страсть, не заметят усталости и не порадуются отдохновению. О, эти наши долгие прогулки вдвоем! Оба, она и я,— безумцы. Потрясающее, должно быть, зрелище. Иногда я бросался к ее ногам и целовал ремешки сандалий.

В те дни я начал писать «Укрощение страстей», где страсти изображены в виде ужасающих львиных морд.

— Скоро ты узнаешь, что мне от тебя нужно! — говорила Гала.

Это будет похоже на львиный оскал, думал я, готовя себя к неизбежному открытию и мучаясь страхом.

Я не торопил Галу, не просил сказать, что ее тревожит. Больше того — я ждал ее слов, как ждут приговора, который неминуемо будет приведен в исполнение. Она скажет — и сожжет мосты. Я никогда еще не *предавался любви* и воображал, что это нечто чудовищное, зверское и вообще мне не по силам — «куда мне!» И с маниакальным упорством твердил: «Помнишь, мы обещали не огорчать друг друга?» Гала злилась.

Эта идиллия тянулась до самой осени. Друзья-сюрреалисты отбыли в Париж и Элюар с ними. Гала осталась в Кадакесе. Каждый раз, встречаясь, мы понимали: «Пора! Пора разрубить этот узел!» Уже гремели по холмам охотничьи выстрелы, все раньше до боли ясную синеву августовских небес сменяли сумерки, разбавленные наплывающими облаками; начинался сбор винограда — пришла пора срывать и гроздья нашей страсти.

Гала сидела на глянцевом крае скалы и ела черный виноград, становясь все прекраснее, все ослепительнее с каждой ягодой. И так день за днем. В напряженной тишине я физически ощущал, как она наливается сладостью,

отбирая ее у ягод. Я дотрагивался до нее и понимал, что касаюсь не плоти, а небесной золотистой виноградной мякоти. И оба, она и я, думали — завтра! Я выбирал для нее две грозди и спрашивал: «Белую или черную?»

В тот — назначенный — день на ней было белое платье из легкой ткани. Оно трепетало на ветру, пока мы поднимались в гору, и меня била дрожь. Ветер крепчал, я предложил вернуться.

Мы спустились к морю и укрылись от ветра на скамье, вырубленной прямо в скале. То было одно из самых пустынных и диких мест Кадакеса, одно из стержневых, *доисторических* его мест. *Чесночная долька* [1] обреченного молодого месяца в пелене извечных слез, вдруг вставших комом у меня в горле, стыла в сентябрьском небе прямо над нами. Но нет, сейчас не до слез! Надо разрубить этот узел.

Лицо Галы изобличало непреклонную решимость. Я обнял ее и спросил:

— Что мне сделать с тобой?

Она хотела ответить, но от волнения не сумела вымолвить ни слова и, наконец, тряхнула головой. По лицу ее текли слезы. Но я не отставал: «Что мне сделать?» Гала, наконец, решилась и жалобным девчоночьим голосом проговорила:

— А если я скажу и ты не захочешь, ты никому не скажешь?

Я поцеловал ее в губы — впервые в жизни я так целовал. Я и не подозревал прежде, что это такое.

Я схватил ее за волосы, оттянул назад ее голову и заорал срывающимся в истерику голосом:

— Скажи, что сделать с тобой! Скажи внятно, грубо, непристойно, чтоб стало стыдно! Скажи!

У меня перехватило дыхание. Я ждал, глядя на нее во все глаза, чтобы не упустить ни слова, чтобы впитать их все, выпить до капельки, упиваясь агонией, ибо страсть меня убивала. И тогда лицо Галы озарилось неземной прелестью, и я понял, что она меня не простит и не пощадит — она скажет. Вырвавшись на простор безумия, страсть моя бушевала. Я понял, что времени мне отпущено ровно на одну фразу и вскричал, тиранствуя и издеваясь:

— Что мне с тобой сделать?

И Гала — лицо ее вдруг стало суровым, светлым и самовластным — приказала:

— Прикончи меня!

Сомнений быть не могло: она сказала именно то, что сказала. И осведомилась:

— Сможешь?

Я был ошеломлен, растерян, подавлен. Вместо приказа любить, которого я ждал и страшился, затягивая отсрочку, я услышал совсем другое — как дар Гала возвращала мне *мою страшную тайну*.

— Сможешь? — снова спросила она.

И в голосе ее зазвенело презрение — она усомнилась во мне. Из гордости я взял себя в руки. И вдруг испугался. Гала свято верит и моему безумию и нравственной силе, и я должен во что бы то ни стало спасти эту веру. Я вновь сжал ее в объятьях и со всею суровостью, на которую был способен, ответил:

— Да!

И впился в ее губы, а в душе у меня звучало: «Нет! Я тебя не убью!».

Исполненный притворной нежности, тот, иудин поцелуй, спас ей жизнь и воскресил во мне душу.

Гала принялась во всех подробностях объяснять мне смысл и причину своей просьбы, и я вдруг понял, что и ее душу сотрясают страсти, что и ей приходилось терпеть крах и метаться между разумом и безумием. Она говорила, и постепенно я начал понимать, что с ней стряслось. Она убеждала меня, не колеблясь, исполнить ее повеление — убить ее. Ведь нет и не

---

[1] Эта метафора — цитата из романса Лорки «Погибший от любви».

может быть никаких нравственных преград на моем пути к убийству. Мы с ней обо всем договоримся, и ее смерть легко сойдет за самоубийство. Я покажу ее прощальное письмо — и все поверят.

Гала описала ужас, в который с раннего детства повергала ее одна только мысль о *смертном часе*. Она хотела, чтобы смерть настигла ее нежданно, вдруг, она хотела чистой смерти, не замаранной грязью кромешной жути последних минут.

И меня осенила блистательная мысль — я сброшу Галу с колокольни толедского собора. Именно там я уже испытал подобное искушение, когда поднялся на колокольню вместе с прелестной девушкой, мадридской знакомой. Но Гала отвергла этот план — падая, она успела бы испытать чувство ужаса. Да и по многим другим соображениям план с толедской колокольней был нами отвергнут — как бы я объяснил, например, свое там присутствие? Что до яда, то мысль о нем даже не приходила мне в голову, меня *тянуло к безднам*.

Повествуя о тайной жизни Галы (тем более что она дала мне это право), я мог бы пролить свет на причины ее просьбы, но не стану. В этой книге я потрошу бренное тело только одного человека — себя самого! — и предаюсь я этому живодерскому занятию не из садистических и не из мазохистских наклонностей. А по причине нарциссизма. Я делаю это по собственной воле и в полном согласии со своей иезуитской натурой. Замечу, что таковое вскрытие не имеет ничего общего с какой бы то ни было эротикой. Вся одежда на месте, не говоря уж о тайнах; не содраны ни кожа, ни мясо. И скелет в целости. Я спрячу — и укажу где искать, сам нащупаю язвочку, что затаилась внутри, дотянусь до глубинных жил вконец расстроенной человечьей гитары и ни на миг не забуду, что прелюдия стократ упоительнее угрюмых финальных аккордов.

Итак, Гала отлучила меня от преступления и излечила от безумия. Благодарю! И жажду ее любить! (Жениться на ней я был просто обязан.)

Симптомы истерии исчезали один за другим, как по мановению руки. Мой смех снова покорился мне, я мог улыбнуться, мог расхохотаться и смолкнуть, когда захочу. Сильный и свежий росток здоровья пробился в моей душе.

Поезд отошел от перрона фигерасского вокзала, увозя Галу в Париж, и я, потирая руки, воскликнул: «Вот оно, вожделенное одиночество!»

Только теперь мое одиночество и стало одиночеством в полном смысле слова, и я полюбил его еще сильнее. Я заперся у себя в мастерской в Фигерасе и не выходил целый месяц. Продолжилась привычная мне монашеская жизнь. Я быстро закончил живописный портрет Поля Элюара, начатый летом, и два больших полотна; одному из них предстояло стать знаменитым.

На нем изображена огромная, желтая, словно воск, голова: мясистая щека, длинные ресницы, нос касается земли. Рта на лице нет — вместо него прилепился громадный дохлый кузнечик. Брюшко его разлагается со страшной силой — кишит муравьями. Муравьи лезут и туда, где полагается быть губам, расползаются по лицу. Оно печально. Архитектурные детали начала века довершают картину. Называется она «Великий рукоблуд».

Закончив эту и другие работы, я упаковал их с маниакальной тщательностью и отправил в Париж. Выставка в галерее Гоэманса открылась 20 ноября и продлилась до пятого декабря.

Я перебрался в Париж. И первым делом двинулся за розами для Галы. Естественно, в лучшую из цветочных лавок. И потребовал самый лучший букет. Мне предложили красные розы, действительно, необычайно красивые. Я ткнул пальцем в огромный букет на витрине и спросил:

— Сколько?

— Три франка.

— Десяток таких!

Торговец несколько переменился в лице, но не двинулся с места. Может, у него нет столько? Я написал на карточке несколько слов Гале, взял счет и увидел цифру — 3000 франков. Таких денег у меня не было.

Я обратился к торговцу, дабы он объяснил мне тайну ценообразования. Выяснилось, что в букете, который мне приглянулся, было сто роз по три франка каждая. А я-то думал, что весь букет стоит три франка! Кончилось тем, что я накупил роз на двести пятьдесят франков (столько у меня было с собой).

Все утро я бродил по улицам, в полдень зашел в кафе и заказал три перно. Ближе к вечеру в галерее Гоэманса повстречал Поля Элюара. Он сказал, что Гала крайне изумлена тем, что я не посетил ее и даже не известил, когда намереваюсь посетить. Я страшно удивился, ибо собирался растянуть ожидание на несколько дней, чтобы до последней насладительной капельки испить *чашу кануна.*

Я отправился к ней в тот же вечер и остался ужинать. Поначалу Гала выказывала мне свое неудовольствие, что, впрочем, не мешало нам пировать. На столе было множество самых разных бутылок, и в том числе — русская водка. При виде их весь алкоголь, поглощенный мною в Мадриде, восстал, подобно Лазарю, и приказал мне: «Иди!». Я пошел. Полагаю, что никакому другому покойнику не удалось бы так впечатлить собравшихся. И ведь до чего резов и живуч оказался мой разгульный мадридец, а ведь провалялся в склепе мертвец мертвецом все лето! А теперь мало того что воскрес, так еще и разбудил во мне красноречие. Восстал и повелел: «Говори!» И я заговорил. Собравшимся предоставился случай удостовериться, что я владею не только кистью, но и словом, и вовсе не идиот. А так как говорил я вдохновенно, Гале без труда удалось убедить друзей-сюрреалистов (а убеждает она как истинный фанатик) в том, что я еще и пишу, причем не что-нибудь, а философские произведения — и какие!

Уже в 1929 году я восстал против *всеобъемлющей революции* — дилетантского лозунга послевоенной эпохи, хотя именно я, не зная страха и опасений, погрузился в глубины подсознания и безумия, чтобы раскопать, что же кроется у революции в сердце. Уже тогда давал о себе знать и мой скепсис, и мой макиавеллизм и постепенно прояснялась моя высокая цель — вечная Традиция.

Мне тогда казалось, что мое место среди сюрреалистов. Больше ни с кем мне было не по пути. Глава сюрреалистов Андре Бретон по праву возглавлял движение. Я вознамерился захватить власть и начал, действуя тайно, непредсказуемо и непоследовательно, с показной покорности. Я составил полный реестр своих слабых и сильных сторон, равно как и список достоинств моих друзей — да, друзей. И сформулировал аксиому, которой с тех пор неукоснительно следую: если ты ввязался в войну и жаждешь полного триумфа своей творческой индивидуальности, истреби для начала ближайшее окружение. Всякий союз ущемляет личность. Сообщество хуже смерти, так что бей наверняка и держись в одиночку!

Но рядом все время была Гала, и любовь учила меня прощать и пренебрегать. Мне стало казаться, что еще не время объявлять войну, к которой исподволь готовился мой мозг, строя планы обороны и нападения. И я, честолюбивейший из художников, уехал с Галой праздновать медовый месяц за два дня до открытия своей первой выставки в Париже. Уверяю вас, что, путешествуя, мы с Галой были заняты исключительно друг другом и ни единым словом не обмолвились об этой выставке, о *нашей* выставке.

Любовная идиллия продолжалась и в Барселоне, и в Ситжесе, небольшом городке вблизи каталонской столицы, где мы бродили по пустынным пляжам, озаренным ясным зимним солнцем Средиземноморья. За весь месяц я ни разу не написал родным, и меня ежеутренне слегка угрызало чувство вины. В одну из таких минут я сказал Гале:

— Так вечно продолжаться не может! Ты же знаешь, я должен жить один.

Гала уехала в Париж, а я — в Фигерас.

Буря разразилась в родительском доме за обеденным столом, и устроил ее я, едва отец намекнул на свои обиды. Его огорчало высокомерие, сквозившее теперь в моем отношении к семье. Упомянул он и о деньгах. У меня был контракт с галереей Гоэманса на два года, но я не помнил, на

каких условиях его заключил, а, подумав, понял, что не уверен и в сроке — на два года или на три, а, может, и на год. Отец умолял отыскать бумагу. Я сказал, что не знаю, куда она подевалась,— вот через три дня поеду в Кадакес и там на досуге отыщу. Мимоходом я сообщил, что деньги, полученные от Гоэманса, благополучно истрачены. Еще на вокзале я вывернул карманы и обнаружил две ассигнации, донельзя замусоленные и драные. Ясно было, что нигде их не примут, и я почел за лучшее швырнуть их в мусорную корзину на площади у привокзального сквера, дабы не отягчать себя впредь этим грузом. Далее я еще раз обследовал карманы и портмоне, сложил найденное в кучу и пересчитал: три тысячи франков — все, что осталось от путешествия.

На другой день после скандала в Фигерасе объявился Луис Бунюэль и привез предложение от виконта де Ноайля снять фильм — какой нашей душе угодно. От Бунюэля же я узнал, что упомянутый виконт купил мои «Угрюмые игры» и что все прочие картины с выставки тоже распроданы по цене от семи до двенадцати тысяч франков. Успех вскружил мне голову. Я уехал в Кадакес и погрузился в работу над фильмом «Золотой век». Я жаждал воплотить в нем всю свойственную любви жестокость, впитавшую сияние католической мифологии. Уже тогда величие и роскошь церкви притягивали и чаровали меня. Я сказал Бунюэлю:

— Мне понадобится целая куча архиепископов, мощей и дарохранительниц. Представляешь, церковные иерархи в расшитых золотом митрах плещутся среди застывших геологических бедствий мыса Креус!

Бунюэль, простодушный и упрямый, как все арагонцы, вознамерился сделать из фильма антиклерикальный памфлет, но я стоял на своем:

— Нет, нет и нет! Нельзя вышучивать! Мне это скопище епископов страшно нравится, я серьезно, они мне просто ужасно нравятся! Если хочешь, введем несколько сцен с богохульством, но снять их надо со страстью, с фанатизмом, тогда это будет настоящим, великим кощунством!

Бунюэль забрал наши наброски и уехал готовить съемки «Золотого века». Уговорились, что я тоже приеду, позже.

Я остался в Кадакесе один. Под лучами зимнего солнца я запекал в костре не меньше трех дюжин морских ежей и от пяти до семи котлет, а в ужин тешил себя рыбным супом и треской с помидорами или жареным окунем, обсыпанным укропом. Однажды в полдень, выковыривая из скорлупы морского ежа, я вдруг увидел белого кота. У него что-то торчало прямо из глаза и, стоило коту пошевелиться, сверкало, как ртуть. Я бросил ежа и подошел к коту. Он не убежал, а стоял и неотрывно смотрел на меня. И я разглядел, что́ у него в глазу. То был громадный рыболовный крючок — его зазубренный кончик торчал из выпученного окровавленного глаза. Видеть этот глаз было выше человеческих сил, но когда я понял, что вынется этот крючок только вместе с глазом, я потерял самообладание. Переносить этот неописуемый ужас я не мог — схватил камень и кинул в кота. Но еще долго, несколько дней, причем в лучшие мои минуты (что было просто-таки нестерпимо), когда я брал поджаренный хлебец и возлагал на него извлеченную из ежиного панциря трепещущую коралловую мякоть [1], передо мной возникало это виденье — белый кот с серебряным крючком в глазу — и я давился лакомым куском и цепенел, как тоскующий паралитик. В конце концов я понял, что кот был вестником.

Через несколько дней я получил от отца письмо, в котором он объявлял мне, что я ему больше не сын. Я не намерен раскрывать здесь тайные причины, подвигшие отца принять это решение — это касается только нас двоих. Я не стану бередить рану, повлекшую за собой целых семь лет разлуки,— мы оба достаточно выстрадали.

Когда я прочел письмо, мне страшно захотелось постричься наголо. Но этого мне показалось мало — я велел обрить себе голову. Свои черные кудри я похоронил в могиле, которую самолично вырыл ради такого случая

[1] Не знаю ничего вкуснее морских ежей, особенно тех — пунцовых, круглых, что ловятся по всему Средиземноморью между скал, у самого берега, в мае. Отец мой тоже их любит, даже еще сильнее, чем я. *(Прим. автора.)*

на берегу. Заодно схоронил там же целую груду ежиных скорлуп — останки моих полуденных трапез. А после поднялся на холм, откуда виден весь Кадакес, и там долго сидел под оливами, глядя на пейзаж моего детства, отрочества, юности и всей моей жизни.

В тот же день я заказал такси от Кадакеса до самой границы — а там пересяду на поезд и прямо в Париж. Дожидаясь такси (оно запаздывало), я позавтракал: морские ежи, жареный хлеб, терпкое красное вино. И вдруг заметил на беленой стене свою тень. Я взял морского ежа, водрузил его себе на голову и встал прямо перед тенью — Вильгельм Телль!

Дорога из Кадакеса к перевалу Пертус вьется змейкой, поднимаясь все выше, и с каждого поворота виден — далеко внизу — Кадакес. С последнего поворота он кажется маленьким белым комочком. Путник, любящий этот городок, здесь обязательно повернет голову и бросит прощальный взгляд, словно обещая возвратиться. Прежде я всегда невольно оборачивался и отыскивал глазами Кадакес. Но в тот день, когда такси увозило меня к границе, так и не обернулся — смотрел вперед.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Приобщение к светской жизни. Костыли. Аристократия. Лазурный берег. Лидия. Порт-Льигат. Изобретения. Малага. Нищета. «Золотой век»

Не успел я приехать в Париж, как заторопился обратно. Мне не терпелось испробовать новые живописные решения — я уже нащупал их в Кадакесе, когда разрыв с семьей прервал мои изыскания. Я задумал изобразить *человека-невидимку,* но работать хотел за городом. И твердо решил не расставаться с Галой. Уже одна только мысль о том, что в мастерской рядом со мной будет женщина,— живая, настоящая, со своими причудами, руками, ногами и персиковым пушком на коже — сводила меня с ума. Я просто не мог в это поверить. Гала согласилась ехать со мной — но куда? А тем временем я, внутренне робея, провозгласил наудачу кое-какие лозунги, дабы расшатать, уже бесповоротно, моральные устои моих друзей-сюрреалистов. Мое влияние не должно ослабевать в мое отсутствие! Вот что я провозгласил: «Долой Рембо — да здравствует Раймон Руссель! [1] Долой африканские штучки — да здравствует стиль «модерн»! — Долой скульптуру! Натюрморт-обманка куда лучше! Нечего измышлять — подражайте!»

Я знал, что этого им хватит не на один год, и решил обойтись без пояснений. Краснобаем я еще не стал, говорил редко и лишь самое необходимое, однако неизменно повергал слушателей в тоску. Ошметки моей патологической застенчивости давали о себе знать — я был неловок в общении, страшно скован и вдобавок понимал, приступая к монологу, какому испытанию подвергаю собравшихся. И все-таки обрушивал им на головы лавину красноречия, исполненного исступленной испанской ярости, изливая все, что так долго копилось в душе, пока я молчал и мучился, а они болтали ни о чем, легко ведя обычную французскую беседу, столь изящную, что отсутствия в ней мысли — стержня, костяка! — никто и не замечал.

Как-то я был зван на ужин к виконту де Ноайль. Я всегда робел в этом доме, и мне особенно льстило, что на той же самой стене, между Ватто и Кранахом, висят мои «Угрюмые игры». Увидав цвет высшего общества и множество художников, я сразу понял, что они собрались ради меня. Мое смущение умиляло виконта. Всякий раз, когда метрдотель приближался ко мне с торжественным видом и, склонившись, таинственным шепотом сообщал название и год сотворения того или иного вина, душа моя уходила в пятки: мне казалось, что он намерен объявить что-то ужасное — что Галу сбило такси или что какой-нибудь друг-сюрреалист заявился сюда, чтобы

---

[1] Раймон Руссель (1877—1933) — французский писатель, предтеча сюрреализма.

надавать мне по шее. Завидев приближающегося метрдотеля, я бледнел, вскакивал, а он, чтобы успокоить меня, чуть быстрее и громче, чем следовало, произносил, сверившись с этикеткой бутыли, покоящейся в изящной плетенке: «Романэ, урожая 1923 года». И наполнял этим перепугавшим меня до последней степени распрекрасным вином бокал, который я опустошал одним глотком в надежде одолеть проклятую застенчивость и вымолвить хотя бы несколько слов.

Меня всегда (а в ту пору особенно) восхищали люди, способные целый вечер играть первую скрипку в общей беседе, когда им на самом деле ровным счетом нечего сказать. Они же с завидной непринужденностью ведут разговор о том о сем, наслаждаясь всеобщим вниманием, и ухитряются поглощать изысканные блюда в неимоверном количестве. Мало того — они позволяют себе и передохнуть, так точно отмерив паузу, что никто не успевает перехватить инициативу, если же это все-таки случится, они, не моргнув глазом, придушат попытку в зародыше, да так, что вам же еще и станет неловко, что встреваете в разговор, подобно неотесанной деревенщине, со своим дурацким мнением, когда вас не просят.

На этом приеме у виконта я сделал целых два открытия. Во-первых, выяснил, что аристократы, как тогда говорили, *общество,* куда острее воспринимают мои идеи, чем художники и люди искусства. Дело в том, что в *обществе* еще сохранились кое-какие пережитки прошлого — то есть культуры, цивилизации, вкуса — всего того, что средний слой радостно принес в жертву юной идеологической поросли коллективистского толка. И, во-вторых, я столкнулся с *пролазами.* Эти акульи стайки так и вьются там, *наверху,* у столов, уставленных хрусталем и серебром. Вьются, вынюхивают, выслеживают, наушничают, холуйствуют, угодничают, высматривая тем временем самый лакомый кусок, и вцепляются намертво. Эти открытия я решил использовать себе на благо. Пусть общество обеспечит мне поддержку, а пролазы завистливыми своими наветами вымостят дорогу к славе. Я сплетен не боюсь. А когда сплетню в конце концов поднесут мне на блюде, я ее обследую, изучу во всех подробностях и — уж будьте покойны! — сумею извлечь из нее немалую пользу. Копошение этих мелких тварей. пролаз, конечно же, мешает плыть кораблю славы. Но на то ты и капитан — держи курс, ни на минуту не выпускай руль! Эти твари, из кожи вон лезущие, чтобы выбиться в люди, мне не интересны. Подумаешь, выбиваются! Важно — выбиться. Что с того, что вы, к примеру, ищете часы? Важно найти. Я не ищу, я — нахожу.

Едва ступив на платформу парижского вокзала, я понял, что слава уже осенила меня — я ощутил трепет ее крыльев. Однако вознесся я столь стремительно, что оказался в полном одиночестве — ни приятелей, ни паспорта, ни багажа. Пришлось обзавестись багажом и кликнуть носильщиков. Я даже чуть было не отправился за визой, но вовремя сообразил, что рискую провести под чиновничьими дверями остаток жизни. А что до носильщиков, то в них недостатка не оказалось — великое множество народу изъявило готовность тащить мои чемоданы. Правда, надолго волонтеров не хватило — да и кто бы выдержал эти марш-броски, задуманные мной, эти изнурительные переходы и в дождь и в жару? Естественно, они перемерли в дороге. Я нанял других.

Хотите знать, как мне удалось добиться поддержки великосветского общества? До смешного просто. Для начала я предложил ему свою поддержку. Ведь что такое аристократ? В сущности, человек как человек, только вот вместо того чтобы стоять, как все, на двух ногах, он, подобно цапле, стоит на одной. Отсюда и благородная осанка: видите, я возвышаюсь, я смотрю на вас сверху вниз, а если и касаюсь земли, то исключительно ради сохранения равновесия. А так как величественная поза с поджатой ногой весьма неустойчива, аристократы окружают себя, дабы на кого-нибудь опереться, сонмами других *одноногих,* будь то художники, гомики или наркоманы. Не зря аристократия ищет опору — она уже чует, как всколыхнулась земля под суровой поступью Народного фронта.

Я решил присоединиться к толпе этих немощных снобишек, что подста-

вляли плечо клонящейся к упадку аристократии, хранившей трогательную верность своим традициям и вышеописанной позе. Однако, в отличие от тех бедолаг, я пришел не с пустыми руками. Я принес целую кучу костылей! Потому что меня осенило: аристократии позарез нужны костыли, и в преогромном количестве,— надо же сохранять хотя бы видимость устойчивости! Я изобрел *патетический костыль,* опору моего детства, всемогущий символ послевоенных лет, а также множество самых разных подпорок для поддержания так называемых *астральных черепов,* не говоря уж о костылях, позволяющих как угодно долго сохранять крайне неудобные изысканные позы, доводя их до последних степеней совершенства, и в том числе — арабески балетных прыжков. Я нашел способ пришпиливать бабочек-балерин в полете! Итак, костыли. Великое множество костылей.

Кроме всего прочего, я изобрел махонький лицевой костылик — золотой, изукрашенный рубинами. Его навершие, призванное поддерживать кончик носа, я сделал гибким, а другой конец мягко закруглил — ведь ему предстояло упираться в нежную ямку над верхней губой. Это так называемая носовая подпорка. На них особенно падки разного рода снобы и отдельные экземпляры преступно элегантных женщин. Вещица совершенно бесполезная — вроде монокля, который втыкают в глаз исключительно ради удовольствия поддаться порыву эксгибиционизма и одним махом обнажить лицо.

Символика моих костылей пришлась в самую пору еще не осознавшей себя мифологии нашего века, и потому костыли до сих пор еще никому не надоели, а, напротив, радуют ваши сердца. И, странное дело, чем больше подпорок я ставлю, полагая, что пора бы и попривыкнуть, тем сильнее всеобщее любопытство: «А зачем столько?» Наставив чуть не тысячу костылей, дабы укрепить едва державшуюся на одной ноге аристократию, я взглянул ей в глаза и с подобающей случаю честностью объявил:

— Сейчас я тебе двину как следует!

Аристократия поежилась и шевельнула поджатой, как у цапли, ногой:

— Изволь! — и стиснула зубы, преисполняясь решимости перенести муку, подобно стоикам, без единого стона.

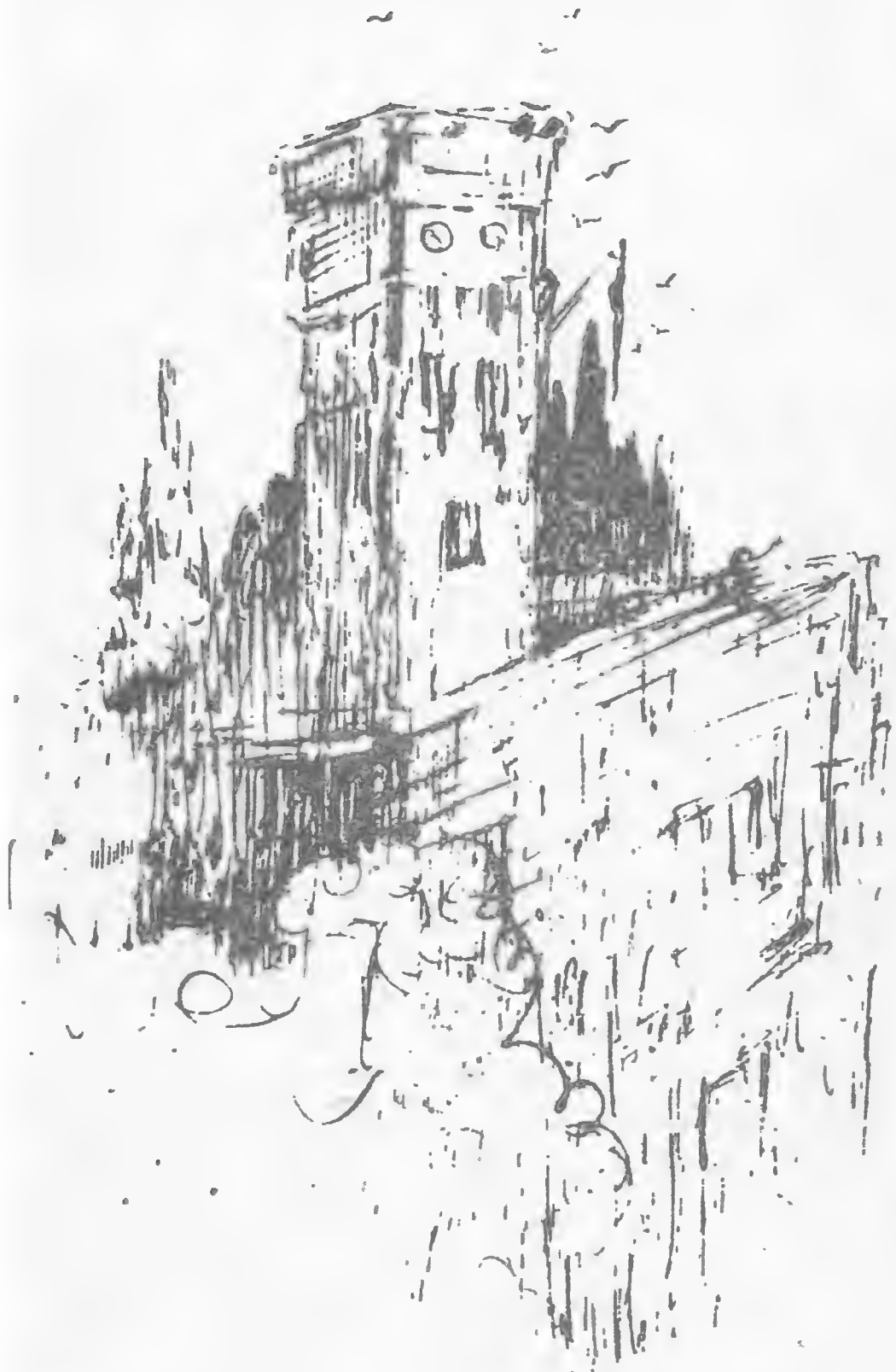
Я пнул ее что было силы. Она не шелохнулась. Ай да костыли!

— Благодарствую! — молвила аристократия.

— Не скучай! — ответствовал я, целуя протянутую руку.— Я вернусь! Нога твоя горда, а подпорки мои умны — и оттого тебе не страшны революции, взлелеянные *мыслящими* людьми,— уж я-то их знаю как облупленных. Старушка моя, ты смертельно устала, ты свалилась с пьедестала, и только одна пядь твердой земли оставлена твоей бедной ноге! Так знай: случись тебе помереть, я тут же опущу туда свою ногу — след в след — и подожму вторую, как цапля. И, не зная усталости, буду потихоньку стариться в этой прекрасной позе.

Зная, что друзья-сюрреалисты еще долго будут переваривать мои лозунги, пролазы не сразу измыслят достойный навет, да и аристократам понадобится время, чтобы понять, как им меня недостает, я отбыл на Лазурный берег. Гала отыскала уединенную гостиницу, и мы скрылись. Одну из наших двух комнат — ту, что побольше,— я превратил в мастерскую. Еду нам почти всегда носили в номер; лишь изредка мы спускались в столовую и целых два месяца вовсе не выходили на улицу.

К концу этого добровольного затворничества, заполненного любовью и работой, «Человек-невидимка» был готов лишь наполовину. В письме виконт де Ноайль сообщил, что галерея Гоэманса на грани краха, и потому он, виконт, дабы избавить художника от забот о заработке, решил предложить мне финансовую помощь. Ровно через два месяца после того как мы переступили порог этой гостиницы, день в день, мы, бледные, как смерть, вышли на улицу, чтобы на вольном воздухе обсудить это предложение и тут же обессилили — так непереносимо показалось нам поначалу ослепительное зимнее утро. Но солнце грело так чудно, что вскоре мы воспряли духом и решили поесть в кафе — нам не хотелось возвращаться в гостиницу. В первый раз за два месяца мы заказали вино. И, еще не приступив к обеду,



CRUTCHES

приняли решение. Гала вернется в Париж, чтобы стребовать с Гоэманса долг, а я отправлюсь в Гиер, к виконту, в Шато-де-Сен-Бернар со следующим предложением: я пишу для него большую работу, а он платит мне вперед двадцать тысяч франков. На них и на те деньги, что Гала выручит в Париже, мы выстроим небольшой домик в Кадакесе. У нас будет где работать, у нас будет убежище — ведь более всего на свете я люблю тамошний пейзаж и никакого другого мне не надо.

Мы вернулись в один день — Гала из Парижа, я — из Гиера. Гала привезла деньги, я же получил от виконта чек. Целый вечер я его разглядывал, и тогда, впервые в жизни, у меня мелькнуло подозрение, что деньги что-нибудь да значат.

И грянул жестокий бой — пришел час моего единоборства с жизнью, а я-то до последней минуты надеялся, что как-нибудь обойдется. Ведь обходилось — до той поры мне приходилось одолевать лишь воображаемые препятствия, причем все преимущества были на моей стороне. К тому же мне помогала любовь, это она — безумная любовь — спасла меня от безумия.

Итак, я возвращаюсь в Кадакес — уже не сын всеми уважаемого нотариуса Дали, а побродяжка, изгнанный из родного дома, да еще спутавшийся с чужой женой, вдобавок ко всему — русской!

Как же мы будем жить в Кадакесе? Мы можем рассчитывать на помощь только одного человека во всем городе — это Лидия [1]. Умница, местная рыбачка лет пятидесяти, вдова Нандо, «синеглазого моряка со спокойным взором». Писатель Эухенио Д'Орс довольно давно — ему было тогда лет двадцать — снимал у нее комнату. Беседы Д'Орса с каталонскими художниками, гостившими, как и он, в Кадакесе, произвели на Лидию, натуру поэтическую, неизгладимое впечатление. Д'Орс не раз выходил в море вместе с мужем Лидии Нандо, и, бывало, расположится в лодке, попросит Лидию принести стакан воды, выпьет, поблагодарит и скажет: «Ай да Лидия! Ну что за умница!».

А вскоре, той же зимой [2] вышла в свет проникнутая неоплатонизмом книга Д'Орса, которой предстояло стать знаменитой,— его «Умница», и Лидия объявила: «Умница — это я». Книгу она выучила наизусть и с тех пор принялась писать Д'Орсу письма символико-аллегорического содержания. Д'Орс на послания не отвечал, но вел ежедневную рубрику в «Голосе Каталонии», и Лидии вздумалось считать его заметки пространными ответными письмами в иносказательной форме. «У него нет другого выхода!» — объясняла Лидия, ссылаясь на некую Даму, именуемую «Августовской Мадонной», и некоторых других дам, ее соперниц, способных на все: «Они перехватят письма!» Потому-то Д'Орс и она сама вынуждены прибегать к иносказаниям!

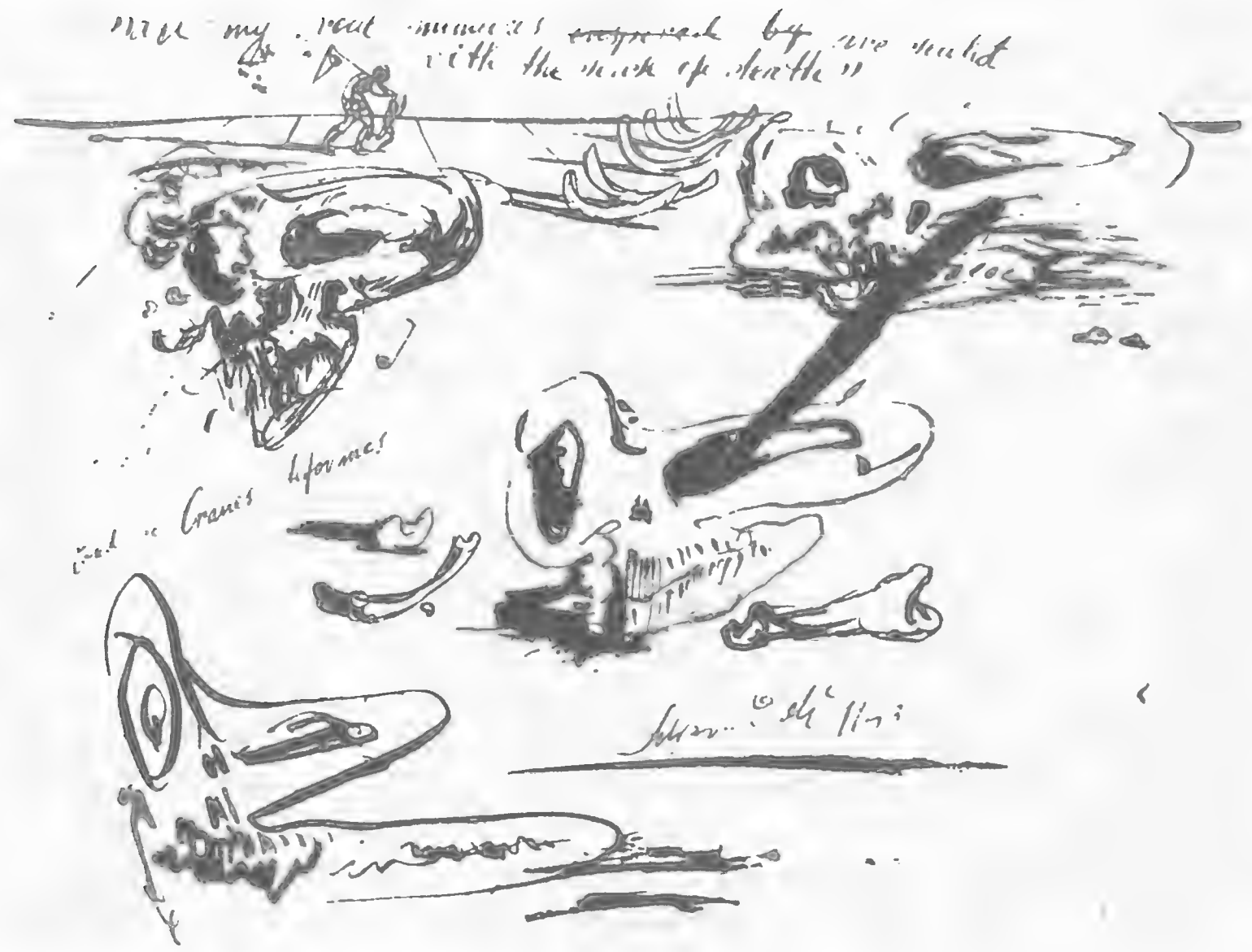
Не знаю никого, чей параноидальный дар мог бы сравниться с изумительным даром Лидии. В этом смысле ее мозг уступает разве что моему. Поражает ее способность устанавливать четкие связи всего на свете с ее собственной навязчивой идеей, равно как и царственное пренебрежение несообразностями. А непревзойденное умение впиться в какую-нибудь мелочь и с таким блеском, так убедительно ее истолковать, что диву даешься — и почти веришь всей этой ахинее! Статейки Д'Орса она толковала просто потрясающе и до того ловко играла словами, что просто оторопь брала. С такой параноической страстью она навязывала внешнему миру облик своей собственной души, что несчастная реальность уже не сопротивлялась.

Как-то Д'Орс опубликовал изысканнейшее эссе о Пуссене и Эль Греко.

---

[1] Лидия Ногер Сава (ок. 1880 — ок. 1950). О ней см. также в воспоминаниях Аны Марии Дали («Литературная Армения», № 2, 1991) и в письмах Лорки Ане Марии (Ф. Гарсия Лорка. «Самая печальная радость...», с. 341).

[2] Речь идет о 1911 г. Дали неточен — Э. Д'Орсу было тогда не двадцать, а тридцать лет, а Лидии чуть больше.



В тот же вечер к нам явилась Лидия, торжествующе потрясая газетой. Она уселась, расправила складки на юбке — верный признак того, что монолог будет долгим, ибо ей «есть что сказать», и, приложив палец к губам, словно призывая хранить тайну, прошептала:

— Он начал статью с того, чем я кончила письмо!

Дело в том, что Лидия в своем последнем письме упомянула о двух колоритных местных персонажах. Прозвище одного — Пуса, а другого, преизряднейшую шельму греческого происхождения, все называли, естественно, «греком». Так что совпадение бросалось в глаза — Пуссен и Эль Греко! Лидия принялась педантично перелагать каждое слово Д'Орса, каждую его фразу; она разобрала по косточкам все его философские и эстетические построения, истолковав их как характеристики вышепоименованных типов. Она доказала это как теорему — четко, убедительно, внятно, неопровержимо, можно сказать, гениально!

А возвратившись домой, водрузила на нос очки, взяла перо, чернильницу и лист наилучшей почтовой бумаги, обретенной ради такого случая, и начала очередное письмо Мастеру (так она называла Д'Орса). Ее сыновья, промышлявшие, как и покойный Нандо, морем, молча чинили сети, взирая на мать. С первых же строк Лидия обычно брала быка за рога. К примеру, так:

«Семь войн, семь смертных списков иссушили родники Кадакеса. Умница мертва. Эти двое — грек и Пуса — погубили ее. Но и новоявленное Общество козлов-анархистов приложило руку. Если надумаете посетить наши места, сделайте милость, упомяните о том в газете. Мне надо бы знать заранее о Вашем приезде, иначе не поспею съездить в Фигерас за мясом. Летом у нас столько народу околачивается! Всё разбирают».

Как-то Лидия сообщила мне: «Позавчера Д'Орс был в Фигерасе на банкете». Я знал, что это не так, но все же осведомился, откуда у нее сведения. Лидия отвечала:

— Из меню! Оно напечатано в газете!

И показала мне меню с отчеркнутой ногтем строчкой: Horse d'oeuvre [1].

— Действительно, так и написано — Орс. Но что значит oeuvre?

Она на секунду задумалась.

— Oeuvre значит «инкогнито» — тайком! Он не хотел, чтобы знали!

Теперь вы имеете представление о Лидии из Кадакеса. Добавлю лишь, что, несмотря на все возвышенные фантазии насчет Мастера и Умницы,

---

[1] Закуска *(франц.)*.

Лидия крепко стояла на земле обеими ногами. И это прекрасно понимали обитатели Кадакеса.

— Вы думаете, у нее не все дома? — случалось мне слышать, и не раз.— Как бы не так! Ее нипочем не проведешь. И вообще — ей палец в рот не клади!

Это правда. При всем при том Лидия была от мира сего — от земли, от моря, чего не скажешь о ее сыновьях, которые кончили сумасшедшим домом. Братья свято верили в открытое ими вблизи Кадакеса ценнейшее месторождение и всякий раз, когда ночь выдавалась лунной, брали тачки и возили туда землю, чтобы засыпать свою драгоценную находку — «а то вдруг кто найдет». Мне одному они доверили свою тайну — не зря же я подолгу беседовал с их матушкой о Мастере и Умнице. Однажды они пришли к нам и вызвали меня; это было примерно за год до моего знакомства с Галой. Я повел их к себе, запер дверь и спросил, что же это за месторождение. Братья потребовали закрыть ставни и, самолично убедившись, что не осталось ни щелочки — ведь могут подслушать! — еще раз переглянулись, словно бы советуясь: ну что, скажем? И, не в силах долее хранить страшную тайну, решились:

— Там радий!

— Неужели? И много?

— Да вот такие глыбы! — и братья широко расставили руки.

Сыновья Лидии жили в Порт-Льигате, откуда до Кадакеса пятнадцать минут ходьбы. Там, у самого моря, стояла их жалкая лачужка с провалённой крышей, обвешанная рыболовными снастями. Там, сразу за кладбищем, начинается иссушенный, каменистый, инопланетный пейзаж — другого такого нет на земле. Утром, четкий и строгий, он светится какой-то дикой, горькой радостью, а в сумерках набухает болезненной жгучей тоской. Оливы, сияющие и парящие утром, на закате сереют, наливаясь тяжелым свинцом. Утренний бриз морщит волны улыбкой, а под вечер море у Порт-Льигата замирает озером, отражая небесную драму заката.

Пока мы с Галой отшельничали на Лазурном берегу, нам никто не писал — только Лидия. Я всегда дорожил ее письмами — мощными документальными свидетельствами великолепного параноидального дара, и неизменно подвергал их анализу. Когда виконт де Ноайль предложил мне деньги, мне тут же пришло в голову, что надо купить у сыновей Лидии их лачужку и привести ее в порядок. Ведь на всей земле нет места лучше, чем этот берег. Я немедленно решил — решаю я всегда вдруг и, на посторонний взгляд, очертя голову,— что всенепременно поселюсь там и только там. Я написал Лидии, она ответила, что согласна и ждет нас.

Была зима, когда мы приехали в Кадакес. В гостинице «Мирамар» нам не нашлось места — здесь держали сторону отца, и мы поселились в скромном пансионе, где нас гостеприимно встретила одна из бывших наших служанок.

Мы наняли плотника и объяснили ему вплоть до мельчайших подробностей — таких, как число ступеней и размеры слухового окошка,— что надо делать. Заботы Людовика II Баварского о своих дворцах не идут ни в какое сравнение с теми, что завладели в те дни моим сердцем.

Итак, в нашем доме будет одна-единственная комната в четыре квадратных метра — столовая, она же спальня, мастерская и прихожая. Далее лесенка из трех ступенек и площадки с тремя дверьми: душ, уборная и кухня, такая маленькая, что негде повернуться. Такой я ее и задумал — кухня должна быть как можно меньше ради сходства с внутриутробным раем. Мы привезли из Парижа стекло и никель и расписали стены. Я не имел тогда возможности воплотить свои умопомрачительные декоративные замыслы и задался другой целью: так выверить все пропорции, чтобы создать дом для двоих, для *нас двоих*.

Оставив плотнику подробные указания и заплатив ему вперед (на что ушла вся наличность), мы уехали в Барселону. В каталонской столице

я первым делом отправился в банк с чеком виконта де Ноайля на двадцать тысяч франков. И был поражен тем, что кассир чрезвычайно учтиво обратился ко мне: «Добро пожаловать, сеньор Дали!» Если б я знал, что известен всей Барселоне, то принял бы это как должное и, наверное, обрадовался такому свидетельству своей популярности, но я понятия о ней не имел и перепугался. Обернувшись к Гале, я прошептал:

— Он меня знает, а я его — нет!

Гала разозлилась — опять эти детские страхи, эта провинциальная неуклюжесть! Я расписался на обороте чека, но, когда кассир протянул за ним руку, заявил, что чека не дам и объяснил Гале:

— Когда принесет деньги, тогда и отдам чек!

— Что он, съест твой чек, что ли?

— Может, и съест!

— Да с какой стати?

— А с такой, что я бы на его месте — съел!

— Да хоть бы и съел! Деньги твои никуда не денутся!

— Деться не денутся, да что толку? Все равно ни грибов, ни дичи на ужин нам сегодня не видать!

Кассир взирал на нас с бесстрастным видом — ему было не слышно, о чем мы говорим (я предусмотрительно отвел Галу в сторону). Наконец, она меня убедила. Я подошел к кассе и, смерив служителя презрительным взглядом, кинул в окошко чек:

— Извольте!

Я так и не смог привыкнуть к унылой нормальности людей, которые населяют мир,— приходится ведь иметь с ними дело! *Нормальность* ставит меня в тупик. Я-то знаю: *«То, что может случиться, никогда не случается»*. Скажите на милость, почему человек должен держать себя в точности так, как прочие люди, как масса, как толпа? Почему в человеке так мало индивидуального?

Ну, почему, например, человеку не развлечься, пустив под откос парочку поездов? Раз уж тысячекилометровые сети железных дорог опутали и Европу, и Америку. А ведь, заметьте, число тех, кто развлекается подобным образом, ничтожно в сравнении с числом тех, для кого лучшее из развлечений — это путешествие.

Не понимаю, почему у людей так неразвито воображение. Не понимаю, почему водителю автобуса до сих пор не взбрело в голову кинуться вниз головой в окошко. Нельзя же упускать случай насолить жене и заодно повеселить окрестную ребятню!

Не понимаю, почему до сих пор никого из тех, кто производит унитазы, не посетила счастливая мысль поместить бомбу в сливной бачок, чтоб она взорвалась, когда власть имущий дернет за цепочку!

Не понимаю, почему все ванны похожи друг на друга как две капли воды. Как можно их делать одинаковыми? Почему до сих пор нет такси с дождевальной установкой в салоне (разумеется, за дополнительную плату). Представляете, садишься — и натягиваешь плащ, стуча зубами от сырости, а за окошком сияет солнце.

Не понимаю, почему в ресторане мне так ни разу и не подали тушеных телефонов взамен печеных лангуст!

Почему, спрашивается, шампанскому надлежит быть холодным, а телефону — до тошноты горячим и липким? Нет, нет и тысячу раз нет! Это телефон следует подавать в серебряном ведерке со льдом!

И вообще, можно наделать столько восхитительных телефонов: телефон-frappé [1], телефон цвета мяты, телефон-стимулятор, телефон с трубкой-лангустой, телефон в лакированной кобуре — исключительно для любителей сирен! — с напальчниками из меха горностая; телефон имени Эдгара Аллана По с дохлой мышью внутри, телефон имени Бёклина [2], запрятанный в дупло кипариса (и обязательно с аллегорическим изображением смерти — скелет с серебряной косой на диске), телефон-самоход,

[1] Охлажденный *(франц.)*.

[2] Арнольд Бёклин (1827—1901) — швейцарский художник.

телефон-липучка, телефон-черепашка (берем живую черепаху и присобачиваем телефон к панцирю)... Список можно продолжать до бесконечности.

Нет, никогда я не пойму людей, которые изо дня в день делают одно и то же — и счастливы. Вот почему известие о том, что банковский служащий ни при какой погоде не съест мой чек, повергло меня в шоковое состояние. Примерно то же произошло со мной, когда я осознал, что художникам еще не пришло в голову изобразить *растекшиеся часы*.

В конце концов я, естественно, получил деньги по чеку виконта, и мы вкусили ужин, о котором мечтали,— дичь, шампанское и бесконечная беседа о нашем доме в Порт-Льигате. Но на другой день Гала слегла — плеврит, и я необычайно разволновался. Впервые в жизни величественные стены храма моего эгоизма дрогнули, ощутив глухие толчки вылупляющегося альтруизма. Неужели я ее и вправду люблю?

Пока Гала болела, я получил приглашение из Малаги. Один знакомый звал нас в Малагу, извещая, что намерен купить мою картину и оплатить дорожные расходы. Оставив деньги виконта в сейфе барселонской гостиницы, ибо они предназначались на постройку дома — святое дело! — мы, едва Гала поправилась, отбыли в Малагу. Путешествие длилось три дня. Мы ехали вторым классом, и Гала подолгу сидела у окна, склонив голову ко мне на плечо.

Странно, оказывается, эта головка, состоящая, казалось бы, из одних фантазий, ужасно тяжелая! Такая махонькая, а словно отлита из свинца. Я решил поразмыслить об этой черепушке. Она, конечно же, ослепительно белая, страшно опрятная, а какие зубы! Зубы на редкость хороши — гладкие, ровные, крепкие и сияют, как зеркало.

Причем каждый зубик отражает алый костер язычка, вырывающийся из влажного колодца гортани. Далее я сравнил ее череп в чистом виде — без языка, слюны, миндалин и вообще всякой плоти — с моим. Удручающее зрелище! Мои убогие челюсти нельзя даже ставить рядом с тем совершенным орудием защиты и нападения, которое явилось моему мысленному взору при созерцании черепа Галы! У меня с детства какой-то стариковский рот. При виде моих зубов дантисты обычно лишаются чувств или издают вопль. Впрочем, не знаю, что именно они при этом испытывают — ужас или просто потрясение. С какой стати мои челюсти устроены столь удивительным образом, никто из дантистов пока не понял. Один из докторов сообщил мне, что оные челюсти являют собой беспримерную картину зубовного безобразия — равных ей нет и быть не может. Ну хоть бы один зуб расположился у меня там, где ему полагается,— так нет же! Мне недостает двух коренных зубов — они просто не выросли, как и два нижних резца после выпадения молочных (выпали они, кстати, первыми). Прочие же зубы повырастали, но не на своих местах.

Словом, я представил рядом с черепом Галы свой череп. Увы мне! Во-первых, этот зубовный разброд, а во-вторых, запавший подбородок — он кажется и вовсе проваленным в сравнении с мощно вылепленными глазницами, свидетельством ненасытности взора (отсутствие глаз, заметьте, ни в коей мере не снижает впечатление). И, конечно же, мой череп куда темнее, охристее. Это цвет перегноя, цвет густо унавоженной земли, а у Галы, как я уже сказал, череп белый с голубоватым небесным отливом. Он похож на те гладкие, почти прозрачные, полудрагоценные камушки, что ее мать собирала на берегу Черного моря и складывала в коробочку, обтянутую изнутри узорчатым ситцем. О, если б нас с Галой так и похоронили — вместе, рука в руке!..

Пока я мечтал, череп Галы, сморенной сном, сполз ко мне на колени. Я вернул его на место — то есть водрузил к себе на плечо, хотя оно и затекло под этой изрядной тяжестью. Я оглядел вагон — передо мною мерно, следуя ритму поезда, покачивались черепа неведомых путешественников. Мухи неспешно прогуливались по физиономиям. Так, в компании сонных мертвецов, мы и прибыли в Малагу.

И очутились в пекле. Андалузия покорно сносила африканский зной — здесь царствовала жара. Меня известило об этом накаленное ослепительное

небо без единого облачка. Шофер такси вознамерился растолкать дремлющего в тени носильщика, но не тут-то было. Шофер пихнул его — тот и не шелохнулся. Немного погодя шофер пихнул посильнее. И тогда носильщик по-египетски четким жестом воздел руку, указуя куда-то в неведомое будущее: «Успеется!»

Мы сняли домишко в Торремолиносе, рыбацком поселке всего в нескольких километрах от Малаги. Скалистый берег — и цветущее поле гвоздик.

Начался наш медовый месяц, исполненный страсти. Мы загорели, как рыбаки, и походили на бедуинов. А я внезапно ощутил какую-то яростную потребность в оливковом масле. Мое утро начиналось с анчоусов в масле, которое я, разделавшись с рыбешками, выпивал до капельки, словно амброзию. Если же что-нибудь оставалось, я умащивал маслом волосы и грудь. По этой причине кудри мои сделались необычайно густы, и я переломал все гребни. Работа над «Человеком-невидимкой» продвигалась.

Изредка нас навещали здешние друзья-сюрреалисты. Они уже успели дико возненавидеть друг друга по идеологическим причинам и разойтись на правых и левых. Идейная рознь — что раковая опухоль. Я еще тогда понял, что рано или поздно она обернется клубком змей и грянет великая бойня, наша гражданская война, жесточайшая и самоистребительная. Она предстала передо мной огромной головой Медузы Горгоны, но лицо ее располагалось не там, где ему надлежало быть, а на животе, из которого полукругом вместо волос выползали змеи кишок. Изголодавшиеся, алчущие крови и наслаждения, они вцеплялись и пожирали друг друга.

Однажды утром принесли кучу писем — и все с плохими новостями. Гоэманс, задолжавший мне месячный заработок, обанкротился; Бунюэль без меня начал съемки «Золотого века», а наш плотник, вместо того чтобы сообщить об окончании работ, ввиду каких-то дополнительных расходов требовал прибавки, так что сумма предполагаемых трат возросла вдвое. В довершение всего наш малагский приятель оказался в отъезде и вернуться должен был едва ли не через месяц. Денег у нас осталось на два, от силы на три дня. Гала предложила телеграфировать в Барселону, пусть вышлют деньги. Я заупрямился: те деньги нельзя трогать, это на дом! Запас священный и неприкосновенный. Впрочем, как только что выяснилось, он покроет лишь половину расходов. Кончилось тем, что мы телеграфировали в Париж друзьям — просили в долг до распродажи картин. Но прошло три дня, а ответа на телеграмму мы так и не получили.

Произвели ревизию и, обшарив все мои карманы, пересчитали мелочь — набралось на две песеты. В доме у нас не осталось ни крошки хлеба. Служанка ушла. Я понимал, что нищета постигла нас исключительно по причине моего упрямства, но это не помешало мне воспринять случившееся трагически.

Палящий африканский зной за месяц расплавил мне мозги. Мир представал лишь в двух красках — черной и красной. С утра, к примеру, я узнал,

что в одном из соседних домов произошло преступление. Безумная дочь в припадке ярости избила мать клещами до полусмерти. Вечерняя новость оказалась под стать утренней: развлекаясь, таможенник перестрелял из окошка всех окрестных ласточек. Напрасно Гала убеждала меня, что наше положение не из приятных, конечно, но не более того.

Я ничего не хотел слышать. Мне было угодно перестрадать, раз уж представился случай, трагедию нищеты и испытать порождаемую безденежьем холодную ярость. Я желал сыграть эту драму со всем присущим мне блеском — и забыть раз и навсегда. Слишком давно, с первых денежных затруднений вызревал во мне этот спектакль. Я, Сальвадор Дали, вместо того чтобы продолжать работу, должен думать, где взять деньги,— это чудовищно, унизительно, наконец, оскорбительно! И рядом со мною влачит нищету Гала — моя Гала! То была последняя капля. Чаша моего терпения переполнилась.

Я вскочил и, терзаясь тем, что оставляю Галу за сборами, одну и в печали, хлопнув дверью, очутился на улице и зашагал через цветущее поле прямо к морю. Красные гвоздики, скошенные моей тростью, взлетали, словно кровавые брызги на беспощадных полотнах Карпаччо [1].

Согласно закону возмещения, постулату о неустойчивости равновесия и принципу разнородности недостаток чего-либо дает в конечном итоге новую систему соотношений. По легенде, у аргонавтов были замечательно крепкие челюсти и волевые подбородки, которые принято соотносить с могучей победительной силой. Однако, опираясь на собственный опыт, берусь утверждать противоположное. Если и встречались мне эти образцовые челюсти при выдвинутой нижней — вот он, знак несокрушимого упорства! — то исключительно в безликом месиве толпы. У тех, кто стоит выше среднего уровня, эта особенность не наблюдается. У богачей, кстати, всегда плохие зубы. Деньги вообще старят — глядишь, он еще и не разбогател, только собирается, а лицо уже в морщинах и зубы повыпадали. Деньги как те плотоядные цветы с одуряющим ароматом: подлетит бабочка, чуть подышит — и рухнет в цветочную пасть. О, мои жалкие, щербатые, милые мои зубы с никуда не годной эмалью — знаки и символы моей старости! Придет день — и вы будете грызть золото и только золото!

На сей раз в письмах оказались хорошие новости, а также чек от директора барселонской гостиницы, по которому я получил деньги в малагском банке.

Мы решили возвращаться в Париж и по пути ненадолго задержались в Мадриде и Барселоне и два часа провели в Кадакесе — посмотрели на стройку. Дом наш, если это можно назвать домом, пока что являл собой прискорбное зрелище. И все же он уже был отмечен печатью нашего обоюдного фанатизма — и я впервые различил сквозь вязь моего безумия ясную, выверенную и земную мелодию Галы. Стояли стены, зияли дверной проем и окно — передо мною было воплощенное героическое деяние.

Но не только дом требовал от нас подвигов. Истинный героизм нам пришлось проявить в Париже, защищая свою индивидуальность. Борьба была яростной и жестокой, и мы выдержали бой с честью.

Бунюэль только что кончил «Золотой век». Меня ожидало ужасающее разочарование — фильм оказался пародией на мой замысел. Зримая, телесная поэзия католицизма обернулась грубой антиклерикальной сатирой. И тем не менее лента производила довольно сильное впечатление. Неутоленная любовь героя на сцене, где он, сломленный желанием, сосет палец ноги мраморного Аполлона, была, бесспорно, хороша. Сразу после съемок Бунюэль, предвкушая грядущие триумфы, отбыл в Голливуд. Премьера состоялась без него.

Публика благоволила к сюрреализму, и премьера прошла спокойно, если не считать нескольких выкриков и неуместных взрывов хохота, потону-

---

[1] Витторе Карпаччо (ок. 1455 — ок. 1525) — венецианский художник.

вших в рукоплесканиях. Смятение и страсти, разбуженные нашим фильмом, не сразу выплеснулись наружу. Буря разразилась спустя два дня. Когда на экране вслед за роскошным авто и ливрейным лакеем появился крупный план дарохранительницы на тротуаре и прелестные ноги выходящей из автомобиля дамы, дюжина так называемых camelot du roi [1] вскочила и стала швырять в экран пузырьки с чернилами, а кто-то, заорав «Долой бошей!», стрельнул из револьвера и кинул гранату со слезоточивым газом. Показ прервался, а разбегающихся зрителей дубинками измолотили молодчики из «Аксьон франсэз». В здании «Стюдио 28» перебили входные стеклянные двери и растерзали выставку картин и книг в фойе. Чудом удалось спасти мою картину — как только началась заварушка, один из служителей уволок ее в туалет. Но все остальное разнесли вдребезги. Полиция явилась, когда крушить было уже нечего.

На другой день разразился скандал в печати, надолго запомнившийся читателям. Итогом погрома и яростной газетной полемики стало снятие фильма с экрана. Прокат был запрещен особым приказом комиссариата парижской полиции. Я испугался — вдруг меня вышлют из Франции, но общественное мнение высказалось в пользу «Золотого века». Да и со мною никто не захотел связываться — опасались: «Кто знает, что еще выкинет этот Дали! Возьмет да закатит еще один «Золотой век»!

Скандал вокруг фильма повис надо мною дамокловым мечом, но я не отрекся ни от соавторства, ни от кощунства и принял удар, хотя имел все основания увильнуть. И совсем не потому, что боялся скандала. Да я бы с огромным удовольствием дал повод для куда более громкого скандала, но не из-за ерунды же, не из-за наивных нападок на церковь! Скорей уж я бы шокировал общество своим религиозным фанатизмом. Я понимал, что фильм производит сильное впечатление, еще и поэтому никто бы не уразумел, чем он мне так противен. И хотя это создавало ложное впечатление о моих взглядах, которые становились все реакционнее, я взял на себя ответственность за «Золотой век».

Впрочем, поди пойми, где у меня кончается юмор и начинается яростный, нутряной фанатизм! Понять, естественно, не поняли, но в конце концов

[1] «Королевские молодчики» *(франц.)* — организация французских монархистов.

оставили меня в покое. С тех пор так и повелось, скажут: «Дали в своем репертуаре!» и пожмут плечами. А Дали тем временем говорит то, что ему угодно сказать, и сказанное ставит крест на том, что еще не было — и теперь уже не будет — сказано, а заодно и на многом из того, что все-таки сказалось, ибо в свете сказанного те слова оказываются пустым звуком. Так что не советую утруждаться, облекая свои мысли в слова,— напрасный труд! Меня сочли безумцем из безумцев, сюрреалистом из сюрреалистов, мятежником из мятежников, кощунником, святотатцем! Какая тьма у меня за спиной! Но тем ярче свет ослепительного неба моей католической геометрии с классической пирамидой чинов ангельских и архангельских.

Да, мое небо куда пронзительней и зримей, чем образцовая преисподняя «Золотого века», а в моем классицизме куда больше сюрреализма и романтизма, чем в них обоих вместе взятых. А в моей верности традиции и в моей реакционности куда больше мятежа и кощунства, чем во всех ваших ублюдочных революциях!

Все, что творилось в искусстве после войны, оказалось подделкой. На всем этом нужно было ставить крест. Нужно было возвращаться к традиции и в живописи и во всем остальном. Все прочие пути ведут в тупик. Люди и так уже разучились рисовать, писать, слагать стихи. Искусство неуклонно сползает все ниже и ниже и становится все однообразнее, ибо ориентируется на единые международные образцы. Уродливо и бесформенно — вот главные характеристики такого искусства, вот симптомы недуга. Пустая *философическая* болтовня, прежде знавшая свое место — за чашкой кофе, уже осквернила наши мастерские и полилась на холст, на чистый лист. А муз, богинь вдохновения, с Парнаса, запечатленного Рафаэлем и Пуссеном, уже сволокли на улицу — на потребу похотливой толпе. Художники обнимаются с власть имущими, упражняются в демагогии наипошлейшего толка. А с какой мерзостной прытью кинулись они служить буржуизации всего и вся, до хрипоты воспевая машинерию, прогресс и это тошнотворное благополучное сытенькое бытие — эту жизнь без доблести и смысла, где нет места ни трагедии, ни душе. Не могу передать, до какой степени все это было мне отвратительно. И я работал как вол.

Публикация фрагментов книги будет продолжена

ЭДВАРД БЭР

Целуй руку, которую не можешь укусить

Перевод с английского И. ПРОХОРОВОЙ

Роковые соблазны

До чего же все-таки прекрасна международная жизнь! Стоит только вспомнить визиты: аэропорты, приветствия, каскады цветов, объятия, оркестры, расписанный по минутам протокол, и затем - - лимузины, приемы, уже готовые и переведенные тосты, блистательные празднества, чествования, конфиденциальные разговоры, глобальные темы, этикет, роскошь, подарки, челядь, и, наконец, к концу дня, усталость, да, усталость, но какая восхитительная и умиротворяющая, какая возвышенная и почетная, благородная и заслуженная, какая подлинно международная!

Рышард Капусцинский. «Император».

В 1978 г., накануне визита Чаушеску в Великобританию, генерал Ион Пачепа сбежал в Америку. Это предательство было, пожалуй, самым большим потрясением для Чаушеску до его собственного унизительного побега 22 декабря 1989 г. и последующего ареста. Будучи главой Управления зарубежной информации, Пачепа имел неограниченный доступ к Чаушеску и виделся с ним почти каждый день. УЗИ, независимая от Секуритате и отчасти даже соперничающая с ней организация, занималась грязными делишками, была вербовочным центром и разведывательным органом, осуществлявшим анализ всех аспектов международной жизни. Хотя, подобно ЦРУ и английской разведке, в задачу УЗИ не входил контроль над внутренними делами, управление, однако, осуществляло слежку за румынской зарубежной диаспорой, вербуя агентов не только за границей, но и дома. Сам Пачепа был крайне опытным аналитиком, и его побег оказался для Чаушеску ударом, от которого тот никогда полностью не оправился. В одну ночь вся агентурная сеть была свернута, офицеры контрразведки уволены или отправлены на пенсию, а их места заняты значительно менее квалифицированными сотрудниками из Секуритате, многие из них даже плохо знали язык страны, к которой их приставили.

Возможно, что многодневное дознание, проведенное в отношении Пачепы в Соединенных Штатах, выявило большое количество ценного материала о международной деятельности УЗИ, но книга беглеца «Красные горизонты» (1987) крайне разочаровала многих профессионалов, несмотря на все ее сенсационные откровения об образе жизни и привычках супругов Чаушеску. Написанная деревянным языком бульварной журналистики, книга представляла собой ежедневную, почти ежеминутную хронику деятельности Пачепы за последний месяц (март 1978) перед бегством в Америку. Книга также изобиловала кулуарными подробностями о жизни четы Чаушеску, преподнесенными в таком карикатурно-скабрезном виде, что супруги казались не реальными людьми, а классичес-

---

Окончание. Начало см. в № 4.

кими негодяями из фильмов о Джеймсе Бонде. Елена Чаушеску представлена в книге эдакой ненасытной сексуальной хищницей, беспрестанно тянущей Николае в постель, смакующей снятые скрытой камерой фильмы о законных и незаконных любовных утехах высокопоставленных чиновников, поглощающей икру и шампанское, равнодушной ко всему, кроме норковых шуб и почетных докторских степеней. Чаушеску рисовался бессовестным шарлатаном, погрязшим в темных делишках, вроде шантажа «сексуальным компроматом» зарубежных дипломатов или подпольной добычи технологических секретов и их продажи за валюту Советскому Союзу.

Безусловно, шпионство и накопительство были излюбленным занятием обоих Чаушеску, но Пачепа настолько упрощал их характеры, что невольно напрашивался законный вопрос (так, впрочем, и оставшийся без ответа) о личности самого рассказчика. Не являлась ли книга грубо сработанной, инспирированной ЦРУ пропагандистской фальшивкой? Весь опус был настолько карикатурен, что приведенные в нем портреты супругов оставляли впечатление неправдоподобия. Возможно, одна из причин такого несоответствия заключалась в чрезмерно подробной реконструкции бесед Елены и Николае с их подручными. (Это все равно что написать историю правления президента Никсона, пользуясь только магнитофонными записями Уотергейта.) Другой недостаток книги в том, что Пачепа описал лишь собственные встречи с Чаушеску, которые естественным образом концентрировались вокруг обсуждения проблем шпионажа и грязных политических махинаций, то есть специализации самого Пачепы. Нетрудно предположить, что помимо этих вопросов Чаушеску занимали и другие сферы государственного управления, однако в «Красных горизонтах» об этом нет ни слова. И, наконец, при всем пафосе срывания всех и всяческих масок, Пачепа о себе самом хранит целомудренное молчание. Хотя понятно, что вряд ли он мог стать во главе румынской разведки, не предъявив известному своей подозрительностью Кондукатору веских доказательств беспредельной надежности и верности, Пачепа весьма деликатно обходит стороной собственное прошлое.

Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что вопреки всем темным сторонам личности Чаушеску, столь подробно описанным в «Красных горизонтах», внешний мир относился к нему серьезно, считая его (после Хрущева и Брежнева) третьим по значению лицом в европейском коммунизме, по популярности превзошедшим даже Тито. Ни один лидер коммунистической державы не мог соперничать с Чаушеску по числу зарубежных визитов как на Запад, так и в страны третьего мира. Отчасти это объяснялось тем, что с 1965 г. Румыния стала театром одного актера, а поскольку Чаушеску рассматривал дипломатию как искусство личных контактов, то он выбрал амплуа неутомимого путешественника. Этому способствовала и его ненасытная жажда международного признания, которая, кстати, заодно помогла ему внушить румынам представление о его величии и доказать самому себе, что он заслуживает особого статуса Кондукатора.

Главы государств, встречавшиеся с Чаушеску с начала 1970-х гг., отмечали разительные изменения, происходившие с течением времени в характере Николае и Елены. Жискар д'Эстен рассказывал, что во время первого официального визита Кондукатора в Париж Чаушеску произвел на него скорее «среднее», нежели «плохое» впечатление. В 1978 г., когда Чаушеску в последний раз приехал во Францию, он показался президенту «отвратительным, чванливым, закосневшим в самоуверенности и чувстве незыблемой правоты». В 1979 г., во время ответного визита Жискар д'Эстена в Румынию, его негативное впечатление лишь усилилось: «Создавалось впечатление, будто он думал, что имеет дело с коррумпированными идиотами». Особенно позабавила Жискар д'Эстена и его жену Анн-Аймон одна фарсовая сцена. Когда они прибыли в бухарестскую резиденцию для высокопоставленных гостей, у ворот их приветствовала небольшая группа людей, кричавших «Ура! Ура!». Затем, когда они при-

ехали в Сибиу и остановились в бывшем королевском дворце, их встретила криками «Ура!» другая группа, в которой, однако, д'Эстены узнали тех же самых людей, очевидно, привезенных для этой церемонии из Бухареста на автобусах.

Необходимо, однако, отметить, что несмотря на всю свою сталинскую риторику и интеллектуальную немощность, Чаушеску все-таки обладал проницательностью в международных делах или, по крайней мере, мог внушить даже таким людям, как де Голль и Никсон, что обладает ею. Его идеи национальной независимости (хотя в основном и заимствованные) позволили Румынии на протяжении почти двух десятилетий играть роль, не свойственную обычно таким маленьким государствам. Еще в июне 1966 г. он призвал распустить НАТО и Варшавский пакт, его проект о Балканской безъядерной зоне получил сочувственную поддержку греческого премьер-министра Андреаса Папандреу. Хотя его интерес к ближневосточной проблеме был сугубо эгоистическим, к его мнению с одинаковым вниманием прислушивались арабы, израильтяне и западные государственные деятели. Он занял мудрый нейтралитет, отказавшись одобрить или осудить вторжение СССР в Афганистан (при голосовании в ООН Румыния была среди воздержавшихся). Он извлек значительные выгоды из бойкотирования советского вето на участие в Олимпийских играх 1984 г. в Лос-Анджелесе. Как писал бывший посол Фандерберк: «Румыны стали истинными героями в глазах американцев как раз в тот момент, когда Чаушеску уже сближался с Советами, все больше попирал права человека и разворачивал антирелигиозную кампанию». По его словам, госдепартамент, упрямо деливший коммунистических лидеров на «плохих» и «хороших», ничего не хотел знать об этом. Это особенно разозлило Фандерберка, потому что и показания Пачепы, и его собственные надежные источники подтверждали тот факт, что решение Чаушеску послать команду в Америку делалось с полного, хотя и молчаливого, согласия Советского Союза, которому, очевидно, было выгодно представление о Румынии как о «диссидентском», независимом коммунистическом государстве.

Но несмотря на все разоблачения Пачепы относительно двойной игры Чаушеску с Арафатом и СССР, всеми его действиями руководило, в первую очередь, амбициозное желание оставить неизгладимый след в истории и добиться международного признания путем урегулирования ближневосточного конфликта с помощью добрых советов. Между прочим, настойчивые и безрезультатные попытки Чаушеску убедить Арафата в необходимости создать палестинское правительство в изгнании на поверку оказывались не такими уж и бессмысленными. Было даже нечто трогательное в том, с какой одержимостью Чаушеску стремился доказать, что это он, а не Джимми Картер является главным посредником в ближневосточных делах.

Западный мир не особенно обольщался по поводу оборотной стороны личности Чаушеску. Даже внутри коммунистического блока его маниакальный страх перед покушением и принимаемые меры безопасности вызывали веселую насмешку. Дегустаторы и персональные повара, пользование собственными постельными принадлежностями (даже в Букингемском дворце), неспособность поддерживать светский разговор и настороженная официальность в отношениях делали супругов никудышными гостями. «Главы государств и правительств,— сказал Жискар д'Эстен,— расценивали визит Чаушеску как неизбежное стихийное бедствие».

Жискару пришлось пережить подобное бедствие дважды. В первый раз, после визита Чаушеску в Париж (1978 г.), французские чиновники, ответственные за прием государственных лиц, в ужасе обнаружили в Марли, временной французской резиденции Чаушеску, ужасный разгром — вырванные из стены электрические и телефонные провода (очевидно, это сделали охранники из Секуритате в поисках подслушивающих устройств). Вдобавок оказалось, что президентская рать прихватила с собой часть домашней утвари — часы, пепельницы, эстампы и прочие плохо лежа-

вшие предметы. При последовавшей за этим встрече с королевой Елизаветой Жискар д'Эстен, зная о предстоящем визите Чаушеску в Букингемский дворец (июнь 1978), предупредил Ее Величество о привычке румынской правительственной делегации прихватывать с собой все, что умещается в чемодане. Он счел своим долгом предупредить и короля Хуана Карлоса, ибо супруги Чаушеску намеревались вскоре посетить Испанию. Королева Елизавета наказала служителям дворца не спускать с румын глаз, и воровство удалось свести до минимума. Королева была благодарна за предупреждение; более всего ее поразило подозрение Чаушеску («этого ужасного человечка», как она его называла среди своих), что к комнатам, отведенным ему в Букингемском дворце, подключена подслушивающая система. Она с насмешливым изумлением наблюдала, как Чаушеску в целях «конспирации» проводил утреннее совещание со своими приближенными в дворцовом саду: Кондукатор гордо шествовал впереди, а его помощники, подобно гадким утятам, ковыляли сзади.

С большим трудом согласилась Елизавета играть перед супругами Чаушеску роль гостеприимной хозяйки. Правительство Каллагэна долго уговаривало ее, ссылаясь на то, что Чаушеску согласился приехать в Англию только на этих условиях, а острая экономическая необходимость для Англии продать Румынии самолеты и вооружение превращали это радушие в обязательную повинность. Президент Жискар д'Эстен тоже был вынужден пригласить Чаушеску из-за торговой сделки, затрагивавшей интересы компании «Рено».

Королева Елизавета всегда была прекрасно осведомлена о странах, лидеров которых ей приходилось принимать, а в 1978 г. культ личности Чаушеску и его ненасытная мегаломания уже цвели пышным цветом, о чем и было подробно доложено королеве английским министерством иностранных дел. Явное нежелание Ее Величества принимать подобного гостя диктовалось, впрочем, и другими причинами. Чаушеску стоял во главе той самой партии, что изгнала румынского короля Михая, приходившегося королеве дальним родственником, причем расправилась с его сторонниками сразу по возвращении короля в Бухарест из Лондона, где он присутствовал на бракосочетании принцессы Елизаветы с принцем Филипом. РКП также приписала себе заслугу антинацистского переворота, который в действительности 23 августа 1944 года осуществил король Михай.

Английская королевская семья настолько блистательно владеет искусством светского этикета, что способна найти подход практически к любой персоне, однако попытка развлечь супругов Чаушеску оказалась поистине титанической задачей даже для нее. Правда, на фотографиях, запечатлевших румынскую чету в обществе королевы Елизаветы и принца Филипа, лица гостей выражают явную благожелательность по отношению к хозяевам. По словам бывшего румынского придворного, это была первая улыбка Кондукатора со времени бегства Пачепы.

В период визита Чаушеску в Англию Румыния в глазах общественного мнения была страной, пережившей ужасное землетрясение и нуждавшейся в помощи, которая и была ей предоставлена в невиданных дотоле масштабах. Когда в марте 1977 г. произошло это бедствие, Николае и Елена были в очередном официальном турне (в Лагосе); они спешно вернулись на родину, где Чаушеску взял на себя полномочия по борьбе с последствиями стихийной катастрофы. Огромные разрушения, вызванные землетрясением, пробудили давний интерес Николае к обновлению и, как следствие этого, преображению города и деревни. По иронии судьбы, естественный ущерб, причиненный историческим и архитектурным памятникам, подстегнул Чаушеску к планомерному уничтожению городов и сел, причем в таких чудовищных масштабах, что это отвратило от него доселе сочувственное общественное мнение. До 1977 г. его знали, в первую очередь, как диссидентствующего коммунистического лидера, бросившего вызов Советскому Союзу и порвавшего с ним. После 1977 г. его стали воспринимать как бандита, Дракулу, правящего с помощью бульдозера.

Как отметил Марк Элмонд в книге «Закат без падения», «пытаться понять масштабы деятельности Чаушеску путем сопоставления с деятельностью западных архитекторов-социалистов или коррумпированных предпринимателей — это смотреть на события в Румынии сквозь уменьшительное стекло». Корреспонденты, начавшие писать о святотатственных разрушениях византийских церквей и особняков XVIII века, в итоге сфокусировали свое внимание на более широких проблемах, включая запреты на разводы и аборты,— при этом они, кажется, не совсем отдавали себе отчет, что драконовские законы, запрещавшие аборты и разводы, существовали в Румынии с 1966 года. Нечего и говорить, что Секуритате извлекала немалую выгоду из этих ограничений: обещание облегчить процесс развода или закрыть глаза на незаконный аборт оказывалось достаточной приманкой для регулярного пополнения и без того внушительной армии осведомителей.

«Землетрясение 1977 года было спусковым крючком»,— выразился профессор Дан Бериндей. После возвращения из азиатского путешествия 1971 г. Чаушеску грезил о геометрическом Пхеньяне с его бесчисленными широкими проспектами и мириадами одинаковых домов. Подобная архитектура неприемлема для тех, кто считает город живой и многообразной сокровищницей прошлого. Бóльшая часть старой Барселоны, с точки зрения стандартов городского планирования, представляет собою трущобы, но уничтожение ее извилистых боковых улочек обернулось бы истинной культурной и архитектурной трагедией.

Однако подобные эстетические соображения не занимали супругов Чаушеску, а их представления об архитектурных принципах зарубежных городов ограничивались панорамой, открывавшейся из окна лимузина во время их бессчетных официальных визитов. Этот сплав культурной и эстетической невежественности, марксистско-ленинских штампов и ненасытной «гигантомании» со всей неизбежностью привел к катастрофическим последствиям.

По замечанию профессора Тронда Гилберга, Карл Маркс был типичным продуктом индустриальной революции, а потому — убежденным урбанистом, с презрением говорившим об «идиотизме деревенской жизни». При коммунизме, предсказывал Карл Маркс, в развитом индустриальном обществе различия между городом и деревней будут в итоге стерты. «Узкий взгляд на марксизм», свойственный Чаушеску, толкал его к прямолинейному внедрению в жизнь марксистских теорий и сталинской доктрины индустриализации (в одной из своих речей он поставил задачу «радикального уничтожения основных различий между городами и деревнями»). Эстетические и исторические моменты просто не брались в расчет. Еще задолго до 1977 года Чаушеску выдвинул лозунг — «систематизация, модернизация, цивилизация» —, призванный уничтожить «питательную среду для буржуазного либерализма», зиждящегося на «различных формах частной собственности»; еще до землетрясения 1977 года Кондукатор предпринял некоторые шаги в этом направлении. И если в Польше после войны коммунистические власти взялись любовно восстанавливать старую часть Варшавы, стертую нацистами с лица земли, то Чаушеску не только принялся уничтожать традиционные деревни и переселять жителей в пригородные барачные трущобы, но и начал процесс разрушения исторического центра Бухареста, к счастью прерванный его свержением.

В сельской местности деревенским жителям приказывали эвакуироваться, а их дома сносили бульдозерами. Затем их селили в бетонные коробки, зачастую с коммунальными кухнями и общими саунами. Таким образом было уничтожено пять тысяч деревень, и тысячи других ждали своей очереди. Целью этого вандализма провозглашалось избавление от «архаичной» деревенской жизни и от разницы между заводскими и сельскохозяйственными рабочими. Само собой разумеется, за людьми, согнанными под одну барачную крышу, установить слежку было легче, чем за живущими в отдельных домах. Вследствие постоянных производственных неурядиц, некачественности строительных материалов, непродуманности

затрат и коррупции качество построек в этих новых «деревенских пригородах» было ужасное, а во многих домах не было водопроводов и канализации. В новых комплексах невозможно было держать кроликов, кур, уток или гусей, служивших для постоянно нищавших румын некоторым подспорьем.

В городах «систематизация» и «модернизация» протекали в несколько иной форме. В 1977 году началось постепенное разрушение церквей, проходившее под охраной милиции, ибо отдельные «консерваторы», прихожане или какие-нибудь студенты архитектурного института пытались пикетировать предназначенные на слом строения. Но самое грандиозное разрушение целого квартала Бухареста было задумано в 1978 г. и не имело никакого отношения к последствиям землетрясения.

С тех пор как Чаушеску сделался генсеком, он мечтал возвести монументальное сооружение, под крышей которого разместились бы все основные румынские государственные и партийные институты власти. С этой целью в 1978 г. он объявил конкурс на лучший проект «Народного дворца». Никому не известная 25-летняя выпускница архитектурного училища Анка Петреску, вооруженная решимостью, по мощи равной лишь ее собственному равнодушию к историческому прошлому Бухареста, пробилась сквозь строй именитых архитекторов и привлекла внимание Чаушеску. Не будучи членом монаршего клана (ложные слухи приписывали ей родственные связи с Еленой на основании совпадения их девичьих фамилий; однако фамилия Петреску очень распространена в Румынии), ей все же удалось выиграть состязание — во многом благодаря тому, что основные усилия она бросила на изготовление макета из папье-маше размером чуть ли не в натуральную величину.

«Я знала, что Чаушеску особенно нравились традиционные архитектурные формы с налетом французского неоклассицизма»,— рассказывала Петреску. Среди прочих проектов было представлено несколько современных решений, в том числе и план сооружения в стиле Хрустального дворца (по слухам, будучи в Лондоне, Кондукатор посетил Хрустальный дворец, который произвел на него большое впечатление). Но соперники не были страшны Анке Петреску — она атаковала помощников Чаушеску с бóльшим напором и умением. Решающим фактором победы оказалось ее утверждение, что Народный дворец (после смерти Чаушеску переименованный в Дом республики) должен занимать почти всю Арсенальную гору, а его фасад (высотой 100 м и шириной 200 м) выходить на грандиозный бульвар Победы социализма, по протяженности равный Елисейским полям. Для осуществления сего требовалось снести весь квартал Уранус и застроить его безжизненными бетонными коробками в чистейшем пхеньянском стиле.

Хотя собственно демонтажные работы начались только в 1984 г., план преобразования района Уранус разрабатывался уже с 1978 г. В смету колоссальных расходов входили средства на строительство огромного подземного убежища и подземной узкоколейки исключительно для личного пользования супругов Чаушеску; план не предусматривал соединения Народного дворца с городской станцией метро. Пока утверждался бюджет строительства дворца, министр здравоохранения Прока обивал пороги кабинета Чаушеску, тщетно надеясь получить высочайшее согласие на продление послеродового отпуска матерям; получив отказ, министр подал в отставку. Увеличение послеродового оплачиваемого отпуска с 3 до 6 месяцев потребовало бы от правительства полмиллиарда лей, тогда как на строительство дворца ушло в 12 раз больше — по меньшей мере 6 миллиардов.

С самого начала Чаушеску принял горячее участие в проекте. Рождение румынского «нового человека» на поверку оказалось делом весьма нелегким; социальная инженерия, как и сталинская экономика, породила непредвиденные сложности. По мере того как румынская экономика буксовала все безнадежнее, планы индустриализации и строительства нефтеперерабатывающих и агроиндустриальных комплексов оборачива-

лись катастрофическими убытками, эйфория начала 70-х годов поблекла, а затем и окончательно угасла, штурвал государственного корабля все больше ускользал из рук Чаушеску. Статистика постоянно и вынужденно фальсифицировалась, и супругам не оставалось ничего иного, как чехвостить безответных подчиненных за невыполнение грандиозных и нереальных планов. Наконец-то появился проект, который они могут полностью контролировать: от формы фонтанов, долженствующих украсить бульвар Победы социализма, до размера дверных ручек и золоченых мозаик в кабинетах Елены, отделанных красным деревом. Команда архитекторов во главе с Анкой Петреску готова была беспрекословно осуществить высокую мечту супругов: оставить Румынии в наследство самое большое здание в мире. Тот факт, что для этой цели требовалось разрушить четвертую часть Бухареста и что здание не имело ни малейшего функционального значения, ибо Государственный совет, президентская служба, Центральный комитет и Совет министров располагались в прекрасных особняках,— совершенно не беспокоил Николае и Елену.

Для архитектора Марианы Челак, не привлеченной к разработке проекта, но хорошо знавшей Уранус, поскольку в детстве она ездила туда к учительнице музыки, разрушение района было «актом подлинного насилия». Здесь, по ее рассказам, располагались красивейшие дома, зачастую окруженные садами, монастыри в зелени каштанов, школы, магазинчики, церкви. «Я пыталась понять, что творится в голове Чаушеску»,— говорила она.

По злой иронии судьбы первоначальная победа, одержанная ничтожной Анкой Петреску над более маститыми коллегами, в итоге обернулась для нее самой беспросветным кошмаром, ибо венценосная чета оказалась патроном невыносимым. В отличие от Гитлера, выбравшего себе певца гигантизма — Альберта Шпеера и затем полностью на него положившегося, супруги Чаушеску следили за каждым этапом разработки и строительства Народного дворца так же подозрительно и привередливо, как и за своей личной прислугой.

Несмотря на безоговорочную веру Чаушеску в ленинскую идею о насильственном преобразовании действительности, на практике он оказался чрезвычайно нерешительным покровителем, пребывавшим в постоянной душевной сумятице, неспособным принять окончательное решение и даже четко сформулировать свои желания. «Мы знали, что он не в состоянии оценить эффект колонны и двери в уменьшенном виде,— рассказывала Анка Петреску,— и нам приходилось делать макеты колонн и окон в натуральную величину, и даже тогда он толком ничего не мог сказать». Сначала колонны были дорическими, затем ионическими, потом снова дорическими. Согласно первоначальному проекту, крыша дворца была плоская, «но он захотел куполообразную, как у здания университета», потом, по размышлении, он распорядился добавить еще два этажа для кабинетов. Двери и окна, имевшие наверху овальную форму, стали по его требованию прямоугольными. Он рвал и метал, обнаружив, что достроенные этажи оказались слишком темными, с низкими потолками, и приказал прорезать дополнительные окна.

Он сам придумал массивный изогнутый флагшток для крыши дворца, образец невыразимого уродства. Сверх того, он совершенно не мог постичь законов масштаба и перспективы. Поскольку проект комплекса неудержимо разрастался и занимал все большую площадь, сам дворец стал казаться меньше, и Чаушеску теперь захотел сделать его еще грандиознее. Окружавшие его подхалимы потакали всем желаниям Кондукатора и дружно одобряли любые его приказания и перемену решений.

Мариана Челак, сочувственно наблюдавшая за работой своих коллег, доведенных до нервного срыва бесконечными приказами и контрприказами Кондукатора, совершенно убеждена, что сам Чаушеску никогда не считал свое поведение аномальным, а то, что другие принимали за нерешительность, было одной из форм проявления бурно развивавшейся паранойи.

Дом республики не только самое большое здание в мире, но, безусловно, и самое уродливое, однако повинна в этом не одна Петреску. Изначальный проект, при всей его отталкивающей тяжеловесности, не чужд был некоторой симметрии. Все переделки, внесенные Чаушеску, как и его отбор вариантов, были неизменно во зло. Несмотря на огромные расходы, здание производит впечатление нелепого компромисса.

Необъятный зал для «заключения договоров» украшен самыми большими и самыми вычурными в мире канделябрами, но бетонный балкон, опоясывающий это внушительное помещение, уже начинает разрушаться. Последующие поправки к оригинальному плану привели к нарушению общих пропорций; попытки экономии вылились в частичную замену камня прессованными плитами, мрамора — цветным камнем (но тем не менее на строительство ушло такое количество мрамора, что в течение нескольких лет на румынских кладбищах нельзя было установить мраморного надгробия). На фасаде образовались трещины; здание плохо отапливалось зимой, поскольку Николае запретил «из эстетических соображений» устанавливать радиаторы и другие обогревательные приборы.

Если бы Елена Чаушеску единолично распоряжалась строительством Народного дворца, то дело бы, несомненно, двигалось быстрее. Жительница Петрешти вспоминает, что, когда Елена в 1986 г. посетила свою родную деревню, она даже не вышла из машины; «мы видели, как она пальцем показывала то на один, то на другой дом». На следующий же день появилась команда подрывников и смела с лица земли все то, на что указывала Елена. Очевидно, она решила своим собственным, индивидуальным способом привнести систематизацию, модернизацию и цивилизацию в родную деревню.

Современные строения, призванные превратить Петрешти в образцовый новый город, в стилистическом отношении были на редкость безвкусны. Дворцы и охотничьи замки, возведенные в каждой области на потеху супругов Чаушеску, выдавали ту же мелкобуржуазную ментальность выскочек. Стиль внутреннего убранства Весеннего дворца с трудом поддается определению; в лучшем случае его можно назвать причудливым сплавом саудовско-аравийского, шотландско-байронического и франко-ренессансного стилей, с легким налетом кремлевского. Вереницы комнат были меблированы длинными обеденными столами и пышно драпированными, крайне неудобными креслами. Личные покои четы Чаушеску с золотой сантехникой в ванной комнате были сколь роскошны, столь и неудобны, а кровати — жестки, как нары. Огромные зеркала в спальне Елены были вставлены в резные рамы с инкрустацией из золота, серебра и полудрагоценных камней — готовые экспонаты для музея кича. В пристройке располагался закрытый бассейн, украшенный аляповатой стенной росписью; во всех дворцах имелся специальный кинозал. Книг нигде не было видно, и все здание имело странный, нежилой вид. Чудесен был сад, окруженный лишь низким забором (жесточайшие меры безопасности, действовавшие в радиусе нескольких километров от резиденции, позволяли обходиться без колючей проволоки и электрической ограды).

Когда супруги путешествовали, с ними ездила и вся обслуга. Официанты, повара и телохранители работали почти без выходных; один из охранников выполнял вдобавок обязанности киномеханика. По словам бывшего управляющего супругов, они особенно любили телесериал «Коджак», а также «Анжелику» с Мишель Мерсье в главной роли. Они без конца смотрели «Жизнь наверху», «Великого Гэтсби» и экранизацию повести Франсуазы Саган «Любите ли вы Брамса?». Прислуге разрешалось смотреть фильмы только из кабины киномеханика. Управляющий также дал понять, что они не брезговали и «фильмами, показывающими физическую любовь».

«Царская охота» была традиционно любимым развлечением коммунистических лидеров — от Тито до Брежнева, но Чаушеску по охотничьему азарту и размаху оставил их далеко позади. Поскольку главная цель

местных партсекретарей заключалась в том, чтобы ублажить Чаушеску, они своей первоочередной задачей — после инсценировки пышных чествований — считали обеспечение Николае необходимым охотничьим снаряжением. С 1970-х годов огромные территории перешли в его исключительное пользование, и в конце жизни Чаушеску владел самыми обширными в мире охотничьими угодьями. Ему принадлежали 23 охотничьих домика, в том числе 15 «загородных дворцов», убранных в стиле Весеннего дворца, но вдобавок увешанных трофейными шкурами и рогами.

В окрестностях Азуги, между Синаей и Брашовом, были специально построены целых три охотничьих дома; любимое пристанище Чаушеску — массивный псевдошвейцарский деревянный коттедж — круглосуточно охранялся Секуритате. Существовал приказ, согласно которому никто не имел права посещать этот дом кроме Николае и Елены, а также их редких гостей. Поэтому, когда однажды Зоя Чаушеску, проезжавшая мимо, остановилась, чтобы попить воды, ее не пустили в коттедж.

Управляющая этого коттеджа была (и по сю пору остается) ярой сторонницей Николае, но, подобно всем остальным, ненавидит Елену. «Он был добрым человеком,— рассказывала мне она.— Однажды сторожевая собака Секуритате укусила Корбу [любимого лабрадора Чаушеску], и когда Николае узнал, что охранники застрелили эту собаку, он ужасно рассердился». Она вспомнила, как однажды, совсем не по ее вине, дым из камина заполнил комнату. «Елена тут же начала вопить, обвиняя меня в саботаже и попытке отравить «Товарища». Она грозилась отдать меня Секуритате. Николае сказал: «Не волнуйся так, дорогая, прокопченное мясо дольше хранится».

На охотничьи развлечения Чаушеску тратились весьма изрядные суммы. Диких зверей (некоторых из них специально импортировали) всячески холили и лелеяли и кормили отборным зерном и мясом. Бывший управляющий одной из таких охотничьих «ферм» рассказывал, что, в то время как в деревне ягнята погибали от истощения, он давал зерно диким кабанам и мясо медведям. «Чаушеску был заядлым охотником,— сказал он.— Стреляя из ружья марки «Холланд энд Холланд» [любимое охотничье оружие английских аристократов], он был способен за короткий отрезок времени убить огромное количество зверей».

Управляющий упомянул, что во время одного охотничьего рейда Николае убил 66 черных горных козлов, весьма редких и занесенных в «Красную книгу» животных. Недалеко от Синаи был устроен специальный подъемник, чтобы расстреливать перепуганных зверей сверху. В штат обслуги Чаушеску неизменно входил профессиональный охотник, ответственный за бесперебойную поставку дичи для Кондукатора: дикие козлы ввозились из Австрии, медведи — с Аляски. В Рыушоре (округ Арджеш) за животными круглосуточно наблюдал ветеринар и кормил их сыром, рыбой, мясом, яблоками и морковью. Целый научно-исследовательский институт пять лет занимался проблемой адаптации полярных медведей в условиях горных районов Румынии (медведи неизменно дохли). Вследствие крайней загруженности Кондукатора его охотничьи экспедиции продолжались, как правило, не более двух дней, но зато они организовывались с невиданным размахом. Профессиональный охотник вспоминал, что во время одного такого увеселения для доставки гостей потребовалось два самолета, четыре вертолета и шесть машин. Хотя все единодушно воспевали меткость Чаушеску, он был на самом деле весьма средним стрелком. Дело в том, что зверей специально подготавливали к бойне: держали на особой диете, так что медведи — любимая мишень Чаушеску — были практически «зоосадовскими» животными; непосредственно перед охотой их накачивали транквилизаторами и выгоняли на место, где их легче всего можно было подстрелить. При этом создавалось впечатление, будто это дикие животные и только охотничье мастерство Чаушеску позволяет ему убивать их.

Как и в случае с проектом Народного дворца, в страсти Кондукатора к убийству животных (заметно усилившейся в последнее десятилетие его

жизни) нельзя не усмотреть ту же попытку бегства от стоявших перед ним неразрешимых задач. Горы убитых зверей были своего рода доказательством его могущества, пусть даже в весьма ограниченной сфере деятельности. Личный пилот Чаушеску Василе Малуцан вспоминал об этих охотничьих путешествиях как о страшном кошмаре для него и его экипажа, поскольку им часами приходилось сидеть без еды, пока Кондукатор упивался стрельбой, а если он оставался на ночь, то и ночевать в припаркованных вертолетах, дрожа от пронизывающего холода (подобное равнодушие к судьбе подчиненных в полной мере распространялось и на журналистов, сопровождавших супругов в зарубежных поездках; например, в США им выдавались суточные в размере 8 долларов).

Чаушеску коллекционировал охотничьи трофеи с той же страстью, как Елена — свои почетные степени, и между ним и болгарским лидером Тодором Живковым завязалась дружеская борьба за лучшую охотничью коллекцию. К декабрю 1989 г. Чаушеску был обладателем 244 оленьих трофеев и 385 медвежьих. По словам его бывшего подчиненного, в год он убивал тысячи животных. Больше всего он любил свое ружье с оптическим прицелом, подаренное ему королевой Елизаветой: оно напоминало о его звездном часе.

Секуритате

> И как следствие усиленной заботы Нашего Благодетеля о поддержании сил порядка и его величайшей щедрости в этом вопросе, в последние годы его царствования вовсю расплодились полицейские и отовсюду выросли уши: они торчали из земли, вылезали из стен; они таились в кабинетах, шныряли в толпе, стояли у входа, маячили на рынках. И чтобы защититься от нашествия стукачей, люди выучили — незнамо как, где и когда, без учебников, словарей и курсов — другой язык и столь мастерски им овладели, что нежданно-негаданно мы, простой и необразованный народ, стали двуязычной нацией... Один язык служил для внешнего обихода, другой — для внутреннего. Первый был сладостным, второй — полон горечи, первый — отшлифован, второй — шершав; один выводил в люди, другой берег от дурного глаза.
>
> Рышард Капусцинский. «Император»

Тот, кто пристально изучал Восточную Европу еще до краха коммунистической системы, когда все сателлиты Союза были подлинно полицейскими государствами, хорошо помнит, какие огромные средства тратились там на слежку и надзор. Туристы могли чувствовать себя в относительной безопасности только до той поры, пока не пытались, положившись на свой статус, наладить контакты с диссидентами. Во всех странах, будь то Восточная Германия или Чехословакия, Болгария или даже (до 1986 г.) Венгрия, действовала одинаковая в своей основе догорбачевская тоталитарная советская система, зорко следящая за посольствами, отелями, иностранцами всех мастей и, разумеется, гражданами своей страны.

Нигде, даже, пожалуй, и в сталинской России не было такого всемогущего сыскного аппарата, как в Румынии при Чаушеску. Румынская секретная полиция проникла во все сферы румынской жизни, ее боялись больше самого Чаушеску, и она пользовалась еще более мрачной славой, чем советский КГБ. Причина заключалась не только в том, что Секуритате теснейшим образом сотрудничала с РКП на всех ее уровнях, но и в том, что тайная полиция (более гибкая и многофункциональная организация, нежели КГБ) пронизала все уровни государственной деятельности. Румынское министерство торговли было не просто рассадником агентов Секуритате, но, по существу, ее собственным ведомством. Секуритате обладала также самостоятельной сетью торговых компаний с дочерними филиалами за рубежом и даже банками. Она к тому же в большой степени опиралась на информационную агентурную сеть, действовавшую внутри РКП.

Силвиу Брукан, старый коммунист (и бывший сталинист), отстранен-

ный в середине 60-х годов от кормила власти, а в 70—80-х годах ставший ведущим диссидентом и посаженный за это под домашний арест, в статье, которая появилась в лондонской ежедневной газете «Индепендент» 28 ноября 1987 г., попытался опровергнуть «распространенное на Западе заблуждение, что этот режим держится исключительно на плечах репрессивных структур государства. На самом деле главный инструмент власти находится в руках коммунистической партии, а силы безопасности играют лишь второстепенную роль и имеют дело только с исключительными ситуациями». Секуритате опутала страну такой хитрой и прочной паутиной и так искусно научилась ткать дезинформацию, что западные разведывательные службы задавались вопросом, не является ли даже письмо Брукана, написанное под угрозой известного риска, очередной уловкой Секуритате. Румынская тайная полиция была настолько вездесущей, что в итоге превратилась в своего рода пугало; ее и без того достаточно большая власть многократно увеличивалась в воображении румын. Както раз в середине 80-х годов Мариану Челак (известную диссидентку и архитектора) привезли на большой завод, чтобы наглядно продемонстрировать сыскные способности охранки. Все телефонные разговоры записывались на пленку, и в качестве доказательства ей представили кассету под номером 6432. «Главный абсурд состоял в том,— рассказывала она,— что, хотя они действительно записывали все разговоры, никто очевидным образом этими разговорами больше не интересовался и не анализировал их содержания. Одного сознания, что все записывается и прослушивается, оказалось достаточным, чтобы превратить людей в трусов. Инструментом Секуритате было обычно человеческое чувство страха». Челак также высказала ряд насмешливых замечаний по поводу упрощенного представления Запада о деятельности секретной полиции. «Мне кажется, на Западе сложился несколько романтизированный образ системы»,— сказала она и пояснила на собственном примере: когда она стала публично высказываться против разрушения румынских исторических памятников, ее уволили с работы. «Я думаю, что звонок партийного босса или чиновника Секуритате совсем не обязательно предполагал увольнение,— сказала она.— Мои начальники выгнали меня, подчиняясь своеобразному рефлексу Павлова».

Как объяснил Ливиу Турку, бывший сотрудник тайной полиции, в 1987 г. эмигрировавший в США: «Представьте себе огромный аппарат, распускающий слухи и наводящий страх и ужас, и созданную им атмосферу, в которой люди панически боятся, что, если они допустят хоть малейшую оплошность, квалифицированную как акт неповиновения Чаушеску, они бесследно исчезнут. Именно страх парализовал румынское население; самым выдающимся образцом дезинформации был слух, специально распускаемый Секуритате, что каждый четвертый румын является ее осведомителем».

Начиная с 1978 года, Румыния все больше попадала в тиски тяжелого экономического кризиса, из которого не было выхода до тех пор, пока Чаушеску цеплялся за сталинский принцип единовластия. Первая забастовка шахтеров (после долгих и жарких дебатов по поводу рабочего графика и урезанных пенсий) произошла в сентябре 1972 года в долине Жиу. Еще более мощная забастовка вспыхнула в августе 1977 года и охватила 35 тысяч человек; в ходе репрессий, устроенных Секуритате, два инженера, выступивших на стороне рабочих, погибли в «автомобильной катастрофе». Попытка создать «независимый» профсоюз закончилась отправкой зачинщиков в психиатрические больницы, а остальных — под суд за «преступления против социализма». Однако в октябре 1981 г. горняки вновь забастовали. На этот раз Секуритате не ограничилась карательными отрядами и отдельными расправами; она депортировала в другие районы страны такое количество шахтеров и членов их семей, что, по мнению Пауля Гомы, поддерживавшего тесный контакт с мятежниками, состав населения в долине Жиу коренным образом изменился. Секуритате перевела в этот район часть бывших военнослужащих, а также своих собственных агентов, срок контракта с которыми в скором времени ис-

текал, и произвела их в шахтеры. Это отчасти объясняет, как удалось Илиеску в июне 1990 года использовать шахтеров для разгона студентов и своих политических противников, митинговавших на улицах Бухареста.

Мариана Челак разделяет мнение многих других диссидентов, что репрессивные меры Секуритате, направленные против отдельных интеллектуалов, которые действовали, так сказать, в вакууме, были куда слабее, нежели против любых форм организованной оппозиции. Истязания одиночек носили скорее психологический, чем физический характер. Например, несколько раз Челак извещали, что ей следует прибыть по такому-то адресу для допроса; ее заставляли долго ждать, а затем несколько часов подряд допрашивали, но неизменно отпускали домой. С Даном Петреску (одним из двух известных диссидентов города Яссы) обращались подобным же образом, но после допросов, рассказывал он, чиновники Секуритате затевали «нормальный разговор», шутили и даже выражали некоторое подобие раскаяния за издевательства «по долгу службы».

Известный историк Дину Джуреску (в 1988 году получил политическое убежище в США и работал в Техасском университете, но вскоре после декабрьской революции вернулся в Румынию и ныне преподает в Бухарестском университете) объяснял, как он, после уведомления «курировавшего» его чиновника Секуритате об очередном обеде в западном посольстве — сокрытие подобных фактов грозило допросом и даже домашним арестом,— воспроизводил затем приукрашенные варианты своих бесед с зарубежными коллегами. «Иногда мне казалось,— вспоминал он,— что я совершаю почти что благое дело, выбирая для пересказа именно те разговоры, которые касались необходимости посылать румынских студентов на практику за границу или ущерба, наносимого отечественной науке нашим вынужденным изоляционизмом».

Чиновник Секуритате, которому он докладывал, пожилой и явно скучающий человек, просто передавал отчеты историка в соответствующие инстанции и не терзал его без особой нужды. «Пока я оставался единственным румынским гостем, моя миссия была мне не в тягость,— рассказывал Джуреску.— Проблемы возникали, когда за посольским столом собиралось несколько наших, ибо я начинал терзаться мыслью, насколько добросовестными осведомителями окажутся остальные и вообще не являются ли они провокаторами».

В 1980 году Румыния уже не внимала директивам Чаушеску, что невольно отражалось в его речах, наполненных бесконечной статистикой, которая подтверждала, что под его просвещенным руководством страна достигла невероятного расцвета, а также инвективами в адрес его подчиненных и партаппаратчиков, ответственных за «недостатки». В 1982 году, во время очередного внезапного рейда по бухарестскому рынку, Чаушеску при всем честном народе уволил сопровождавшего его министра сельского хозяйства, пеняя ему на скудость ассортимента продовольственных товаров. Подобное гарун-аль-рашидовское поведение можно рассматривать просто как хорошую пропаганду, однако оно подчеркивает тот факт, что по вопросу о продовольствии у Чаушеску не было никаких конструктивных решений, а потому оставалось только делать театральные жесты.

По мере того как государственный штурвал ускользал из рук Чаушеску, Секуритате во все возрастающей степени из сугубо репрессивного аппарата превращалась в систему управления. Если она и не могла излечить наследственных язв сталинской экономики, усугубившихся нефтяным кризисом 70-х годов, то по крайней мере была способна обеспечить послушание. И что еще существеннее, она служила сторожевым псом режима, готовая в случае нужды предупредить Чаушеску о готовящемся против него заговоре, ибо Кондукатор хорошо знал по опыту прошлого, что в смутные времена пост генерального секретаря становился весьма и весьма опасным. Разве не он сам был свидетелем или участником бесчисленных падений его коллег и начальников — от Ште-

фана Фориша до Пэтрэшкану, Аны Паукер, Дрэгича и Апостола? Разве не он сам разрушил посмертную репутацию своего непосредственного предшественника Георгиу Дежа?

Постепенно сыскная деятельность Секуритате распространилась и за рубеж; началась слежка за дипломатами, подозреваемыми в излишнем «либерализме». Корнелиу Мэнеску, один из самых талантливых румынских дипломатов, представитель Румынии в ООН и позднее министр иностранных дел, сообщил в телеинтервью (в январе 1990 г.), что «в конце концов наши посольства почти повсеместно превратились в вотчины Секуритате». Хотя между министерствами иностранных и внутренних дел как будто бы существовала договоренность о пропорциональном соотношении в посольствах настоящих дипломатов и агентов Секуритате, к середине 70-х годов процент сотрудников тайной полиции резко и необоснованно возрос. Они весьма преуспели в слежке за коллегами, но сами как дипломаты были абсолютно беспомощны.

Бывший посол в Вашингтоне Мирча Малица рассказывал мне, что Секуритате, стремясь по возможности изолировать его от контактов с американскими коллегами, систематически урезала фонды на все виды представительской деятельности.

Однако он нашел выход из положения, во-первых, экономя на других расходах, а во-вторых, заменив официальные приемы для американских журналистов непринужденными и недорогими завтраками, которые вашингтонские корреспонденты регулярно и с удовольствием посещали (к великой и бессильной ярости местного персонала Секуритате).

Сама же Секуритате тратила на свои нужды поистине бесчисленные средства, и, вероятно, Чаушеску иногда сам поражался, куда уходят деньги. «Я подсчитал,— сказал Силвиу Брукан,— для того, чтобы просто держать под наблюдением и меня и мой дом, т. е. задействовать персонал, машину и т. д., они расходовали в среднем 200 тысяч лей в месяц».

В число любимых проделок Секуритате входила расправа с эмигрировавшими диссидентами, причем руками наемных убийц нерумынского происхождения. Однако налаженная система иногда давала осечку. Так произошло, когда тайная полиция в 1981 году попыталась уничтожить двух самых известных румынских изгнанников — писателей Вирджила Тэнасе и Пауля Гому. Агент по имени Хайдуку, направленный во Францию для того, чтобы нанять убийц, немедленно предложил свои услуги французской службе безопасности. Писателей-диссидентов сразу законспирировали, а Кондукатора дезинформировали сообщением о том, что покушение якобы состоялось. Через длительный промежуток времени перевербованный агент Хайдуку все же раскрыл карты, поставив Чаушеску в крайне щекотливое положение. Этим инцидентом поспешил воспользоваться президент Франсуа Миттеран, давно искавший предлог, чтобы отменить намеченный на 1982 год официальный визит в Румынию.

Любимейшим чтением супругов Чаушеску были секретные документы, собранные Секуритате, особенно те, что касались интимных сторон жизни их ближайших коллег и сподвижников по РКП. Когда после смерти Елены Чаушеску в Весеннем дворце вскрыли ее личный сейф, то наряду с драгоценностями в нем обнаружили энное количество запечатанных конвертов, содержащих в себе свежие развернутые донесения Секуритате о высокопоставленных румынских сановниках, приближенных к Ее Превосходительству. Одной из первоочередных задач Секуритате считалось наблюдение за детьми Чаушеску. Иногда сыскная деятельность тайной полиции сильно смахивала на сюрреалистический спектакль.

Бывший король Румынии Михай рассказывал, что его дом в Швейцарии (в местечке Версуа под Женевой), а также члены его семьи находились под постоянным наблюдением Секуритате, хотя король с самого начала подчеркнуто отстранился от любой политической активности. Какие-то темные личности из отдела «грязных делишек» Секуритате развлекались тем, что посылали королевской семье анонимные письма, угрожая убийствами и похищениями. «Некоторые из этих писем приходили

якобы от бывших членов Железной Гвардии,— рассказывал король,— но коммунистическая фразеология и топорный стиль посланий выдавали их авторов с головой». Несмотря на шантаж, ни сам Михай, ни члены его семьи не изменили привычного образа жизни, единственная принятая ими мера предосторожности состояла в просьбе отправлять все стекавшиеся к ним посылки и непрошеные дары (включая цветы) на предварительную экспертизу в местное полицейское отделение. «Мы по возможности старались не давать незнакомым людям наш адрес и телефон и иногда ездили в город разными маршрутами»,— сказал он. Опытная швейцарская полиция, в свою очередь, тоже установила негласное наблюдение за домом бывшего короля.

Со дня насильственного изгнания из Бухареста и до декабря1989 года Михай не получил ни единой весточки из Румынии — ни письма, ни телефонного звонка; но сразу же после революции на него обрушился ворох телеграмм, писем и телефонных звонков с пожеланиями благополучия. Даже через год после смерти Чаушеску объем получаемой им почты производил весьма внушительное впечатление. Совершенно очевидно, пояснял король, что, несмотря на все попытки Чаушеску предать его имя забвению, в Румынии оставалось еще много людей, помнивших его роль в августовских событиях 1944 года. После смерти Кондукатора к королю стали стекаться многочисленные посетители, в том числе и молодежь. «Они почти ничего не знают о прошлом своей страны,— рассказывал Михай,— но горят желанием понять, что же действительно произошло в Румынии». (Будучи британским подданным — по личной просьбе королевы Елизаветы ему даровали почетное гражданство,— бывший король не может приехать в Румынию без визы, в которой ему режим Илиеску до сих пор отказывает. Когда ему в последний раз — в апреле 1990 года — отказали во въезде, он шутя намеревался предъявить свой румынский паспорт, срок действия которого истек в 1954 году, и извиниться за то, что он не смог вовремя продлить его «ввиду уважительных обстоятельств».) Принцессы София и Маргарита посетили Румынию дважды — в январе и сентябре 1990 года с намерением основать фонд охраны и реставрации исторических памятников, бороться с загрязнением окружающей среды и внести свой вклад в улучшение народного здравоохранения. Их с энтузиазмом встретил румынский кабинет министров, однако телефон в их временной резиденции четыре дня был отключен. «Старые традиции,— объяснил один бывший румынский коммунист, хорошо знавший повадки Секуритате,— отмирают с трудом».

Силвиу Брукан имел возможность собственными глазами убедиться в том, с какой тщательностью работала Секуритате. После революции ему удалось раздобыть досье на самого себя, причем это был экземпляр, сделанный тайной полицией для личного пользования Чаушеску. Досье было красиво оформлено, толщиной и форматом напоминало сброшюрованный киносценарий. В правом верхнем углу переплета было начертано «совершенно секретно» и «в одном экземпляре»; о том, что это копия лично для Чаушеску, свидетельствовал неестественно крупный шрифт донесений. (Николае был близорук, но терпеть не мог очки, которыми не пользовался даже дома. Поэтому все доклады печатались для него особым шрифтом, по размеру почти в три раза превышавшим обычные типографские стандарты.) Досье на Брукана, случайно сохраненное румынским рабочим, посланным в числе многих других после смерти Чаушеску на уничтожение архивов Секуритате, было столь подробным, что содержало некоторые детали о его прошлой жизни, о которых он сам давным-давно забыл. Этот 100-страничный документ показывал, что в течение нескольких десятилетий он находился под неусыпным наблюдением Секуритате и что некоторые из его ближайших друзей регулярно поставляли о нем информацию, ибо ряд фактов нельзя было добыть из других источников. Брукану также попал в руки еще один, правда более короткий, «компромат» на самого себя. Когда происходили события, способные особенно заинтриговать Чаушеску, Секуритате изготавливала для

него особые переплетенные буклеты. Буклет о Брукане докладывал о его телефонном разговоре с журналистом из Би-би-си, произошедшем в 1989 году; между прочим, буклет был не напечатан, а написан от руки профессиональным каллиграфом, работавшим в штате тайной полиции, причем сделано это было с таким невероятным мастерством, что сначала, когда Брукан мне его показал, я никак не мог поверить, что это не высококачественная факсимильная печать. Лишь едва заметные следы чернил на оборотной стороне листа указывали на ручную работу.

Наряду с такого рода документами, контейнерами свозившимися в кучу и сжигавшимися в марте 1990 года, существовали также сотни доносов на представителей высшего партийного эшелона, поскольку Чаушеску, подобно Сталину, шпионил не только за врагами или мнимыми оппонентами, но также, и в первую очередь, за собственными подчиненными. Электронный шпионаж за министрами, областными партсекретарями, высшим командным составом и правительством был делом обычного рода. В гостиницах целые этажи отдавались под установку подслушивающих устройств, а все туристические бюро были общеизвестными вотчинами Секуритате. Понятно, почему, например, обслуживающий персонал в ресторане столичной гостиницы «Интерконтиненталь» (после декабрьских событий 1989 года оставшийся в том же составе) в нынешнюю, постчаушескинскую эпоху имеет столь мрачный вид.

Говорят, что каждый десятый, а может быть, и каждый четвертый румын служил штатным или внештатным осведомителем Секуритате. Очевидно, самой крупной «дезой» тайной полиции следует считать намеренно распространяемый ею слух о том, что все телефоны в Румынии оснащены «жучком», благодаря чему Секуритате имеет возможность прослушивать свыше 10 миллионов телефонных разговоров. Профессор Дан Бериндей рассказал мне, как однажды он встретил на улице своего прежнего студента, теперь работавшего, по его собственным словам, в «области безопасности», который вдруг спросил его: «Ой, хотите послушать, что говорят ваши соседи, супруги Попеску?» У него с собой был аппарат, приспособленный к подслушиванию разговоров, ведущихся внутри квартир, великолепную работу которого он тут же с готовностью и продемонстрировал.

Несомненным остается лишь факт, что в тот или иной период своей жизни каждый румын независимо от социального статуса неизбежно сталкивался с неким образованным и очаровательным незнакомцем, досконально все о нем знавшим и усиленно предлагавшим ему наладить необременительное, но постоянное сотрудничество с Секуритате; причем очень часто объекты внимания тщетно напрягали свое воображение, силясь понять, какая может быть логическая связь между ним и проблемами безопасности. Когда один ведущий архитектор-проектировщик спросил своего собеседника, какую, к черту, пользу он может принести своими донесениями, ему был дан ответ: «Вы работаете в той области, о которой нам мало что известно». Очевидно, смысл тотального дознания заключался в устройстве такого государственного порядка, при котором Секуритате в любой сфере — в больницах, школах, университетах, типографиях, банках, театрах — в любой момент могла проверить степень благонадежности подданных. «Мы, румыны,— писал Пауль Гома,— живем при румынской оккупации, оккупации более жестокой, нежели любая иноземная».

В книге «Красные горизонты» Пачепа приводит множество свидетельств маниакальной одержимости Чаушеску электронными подслушивающими устройствами, и, вне всякого сомнения, дай ему волю, с течением времени он нашпиговал бы «жучками» всю страну. В действительности в этом не было особой нужды, ибо румыны и так были убеждены, что их телефоны и спальни прослушиваются, что никто не может избежать слежки.

Что больше всего отличало Секуритате от тайной полиции других тоталитарных стран, так это культурный и социальный уровень ее осведо-

мителей, или, пользуясь менее уничижительным французским термином, ее «почетных корреспондентов». Разумеется, всегда существовали вульгарные стукачи, работавшие на Секуритате по приказу партии. Однако в связях с охранкой подозревались и многие видные врачи, писатели и кинорежиссеры; к сожалению, столь многие, что любимой застольной темой у румын, причем куда более интригующей, нежели сплетни о том, кто с кем спит, всегда служили гадания, кто из знакомых работает на тайную полицию. Осведомителями становились даже ведущие интеллектуалы, например, (почти наверняка) известный переводчик французского поэта Анри Мишо и писатель-диссидент Саша Ивасюк. Так широк был круг румын, в то или иное время соприкасавшихся с Секуритате, что в постчаушескинскую эпоху руководители Фронта Национального Спасения без труда расправлялись со своими потенциальными соперниками, обнародовав их давние связи с охранкой.

Вот что случилось буквально спустя несколько недель после смерти Чаушеску. Одним из виднейших представителей первоначального состава Фронта Национального Спасения (ФНС), взявшим на себя руководство Румынией после 22 декабря 1989 года, был Думитру Мазилу, юрист, работавший в ООН и в 1988 году представивший на ее рассмотрение анонимный, но весьма красноречивый документ, обличавший методы правления Чаушеску (за что в итоге он был посажен под домашний арест). Мазилу схлестнулся с Илиеску по поводу обстоятельств суда и казни супругов Чаушеску, разъяренный тем, что все произошло без его ведома, и понимая, что этот шаг сильно подрывает доверие к новому режиму. 12 января 1990 года он примкнул к антиправительственной демонстрации, участники которой требовали восстановить смертную казнь, отмененную лидерами ФНС сразу же после смерти Чаушеску. Однако истинной целью участия Мазилу в демонстрации был его протест против стремления ФНС превратиться в политическую партию. Вскоре после этого Мазилу пришлось подать в отставку: в газету «Ромыния либерэ» неизвестным путем попали документы, свидетельствующие о тесных связях Мазилу с Секуритате. «Я познакомился с Мазилу, когда он был полковником тайной полиции»,— заявил прессе Силвиу Брукан. «Ромыния либерэ» опубликовала сообщение, что Мазилу возглавлял школу по подготовке кадров Секуритате. Сам Мазилу утверждал, что в начале 70-х годов он всего лишь в течение нескольких месяцев преподавал основы законодательства в «университете» при министерстве внутренних дел и что никакого воинского звания он не имеет.

Весь эпизод наглядно подтверждает, как неистребим человеческий соблазн идти старыми, проторенными путями. Новые властители Румынии не нашли ничего лучшего, как протянуть руку в прошлое и вытащить оттуда уцелевшие досье тайной полиции, ибо отнюдь не все документы были уничтожены после смерти Чаушеску. Неудивительно, что руководители ФНС, подобно Брукану, так страстно жаждали найти и уничтожить компрометирующую их информацию.

Секуритате пережила революцию без какого-либо существенного ущерба; она была переименована в Румынскую разведывательную службу (SIR), воинские звания упразднены, но ее члены служат теперь верой и правдой режиму Илиеску. Их преданность правительству «новых людей» не вызывает ни малейших сомнений: им некуда больше податься.

Контингент тайной полиции представляет собой довольно мощную интеллектуальную силу, ибо Секуритате в течение многих лет вербовала как самых блестящих, так и самых беспринципных государственных служащих, для многих из которых попасть туда означало получить хорошее университетское образование. По рассказам диссидента Дана Петреску, бывшего школьного учителя в городе Яссы, большинство талантливых ребят в его школе тайно мечтали быть завербованными. Хотя в Секуритате, разумеется, имелся необходимый «джентльменский набор» головорезов и заплечных дел мастеров, в целом это была очень профессиональная организация. По возможности Чаушеску следил за тем, чтобы избиения,

убийства и самые грубые формы устрашения проводились не румынами, а заезжими «гастролерами» (обычно палестинцами). Это обстоятельство, очевидно, и породило совершенно безосновательный слух о том, что во время событий 22—25 декабря 1989 года стрелковые отряды и снайперы, орудовавшие на улицах Бухареста, были подразделениями «арабских боевиков».

К середине 80-х годов высший командный состав Секуритате со всей очевидностью осознал, что Николае и Елена Чаушеску становятся тормозом общественного развития. К 1989 году, когда перестройка в Советском Союзе шла полным ходом, уже многие понимали, что Чаушеску обречен. Секуритате к этому времени совершенно прекратила информировать супругов об истинном отношении к ним румынского народа. Генерал Юлиан Влад, сверхэлегантный шеф тайной полиции, щеголявший в безупречно сшитых цивильных костюмах, столь же мало спешил представлять чете подобные отчеты, как в свое время приближенные Калигулы — просвещать безумного императора относительно подлинных умонастроений римских подданных. Пресмыкательство и естественное желание избежать неприятностей и личных унижений постепенно привели к тому, что Секуритате ограничилась поставкой только такой информации, которая была угодна обоим Чаушеску, к тому же в последние годы их правления личные помощники Елены просматривали всю корреспонденцию, ложившуюся на президентский «поднос», и отбрасывали все «неподходящее», что могло бы задеть достоинство президента. В конце концов этот уникальный инструмент наблюдения, усмирения и подавления совершенно утратил свою важнейшую функцию барометра общественного мнения.

Однако даже генерал Влад не нашел в себе силы скрыть правду о событиях в Тимишоаре, хотя он, разумеется, всячески подчеркивал сугубо этнический характер конфликта, намекал на иностранное вмешательство и неизменно принижал его значение для страны в целом.

Первоначально события в этом симпатичном трансильванском городке разворачивались довольно медленно и не выходили за рамки локального конфликта. 17 ноября 1989 года маленькая толпа верующих собралась возле дома популярного в народе протестантского священника Ласло Текеша. Будучи открытым противником режима Чаушеску и к тому же венгерским националистом, Текеш доставлял немало хлопот Секуритате, которая в конце концов убедила высшее духовенство перевести его в менее «заметный» сельский приход. В связи с этим неожиданно возник слух — первый в ряду последующих гиперболических искажений, что Текеша отправляют то ли в тюрьму, то ли в ссылку. Ежедневная парижская газета «Либерасьон», всегда уделявшая пристальное внимание событиям в Румынии, упомянула даже о грозящей ему «депортации». Очевидно, вследствие специфического нравственного климата и поведенческих стандартов румынского общества диссиденты и тогда и потом стремились представить дело Текеша в преувеличенно драматическом свете.

Истинная подоплека событий была совершенно иной, и Чаушеску мог бы с полным правом возразить (если бы нашелся тот, кто еще смел предъявлять ему претензии), что он не имеет никакого отношения к увольнению Текеша с должности и что закон на его стороне, поскольку вовсе не правительство и не Секуритате распорядились выслать Текеша из Тимишоары, а его собственный епископ. Ввиду того, что Текеш отказался уезжать, епископ позвонил в местный полицейский участок с просьбой выселить того из дома, являвшегося собственностью церкви: после уведомления о новом назначении Текеш становился незаконным жильцом. Именно вялая попытка местной полиции выгнать Текеша из приходского дома и вызвала 17 ноября демонстрацию протеста.

Дело Текеша еще раз подтверждает былое «манипуляторское» искусство Чаушеску. В отличие от Польши, где католическая церковь с самого начала коммунистического правления выступала как оппозиция правительству, румынские религиозные пастыри жили в полном мире и согласии

с Кондукатором, восседая в Великом Национальном Собрании в качестве почетных членов. По замечанию Пауля Гомы, никого из священнослужителей, будь то протестанты или православные, нельзя было привлечь к античаушескинскому сопротивлению, ибо «они немедленно порывались вызвать Секуритате». Американский посол Фандерберк, посетив однажды рождественскую службу в румынском православном соборе, в негодовании покинул церковь, «когда услышал, как священник упомянул Чаушеску после Иисуса Христа».

Пикетирование дома Текеша продолжалось весь ноябрь. 27 ноября открылся XIV съезд румынской компартии. Иностранные наблюдатели, предсказывавшие вероятное восстание партии против клана Чаушеску, в очередной раз ошиблись. Всего несколько дней назад пала Берлинская стена, но упоминания о распаде коммунистического блока носили весьма отрывочный и предельно эвфемистический характер. Съезд был примечателен, главным образом, «страусиным» поведением его делегатов, которые безропотно высидели бесконечные речи Кондукатора, победоносно трубившего о положении в стране и достижениях «научного социализма». Хотя непрекращающееся пикетирование дома Текеша вызывало некоторое беспокойство, на заседании об этом инциденте не было сказано ни слова; съезд проходил под «бурные продолжительные аплодисменты», венчавшие речи Чаушеску. В однообразных подхалимских речах делегатов все же время от времени проскальзывали глухие намеки на «определенные тенденции к переходу на капиталистический путь развития и возвращению к капиталистической системе ценностей, возобладавшие в соседних социалистических странах». Чаушеску к этому времени пришел к твердому убеждению (хотя он никогда этого прямо не высказывал), что теперь Советский Союз вкупе с «западными империалистами» решил добраться и до него.

Его антимосковская позиция на съезде таила в себе изрядный элемент донкихотства. В двух различных докладах он потребовал отмены германо-советского пакта 1939 года, в результате которого Сталин в 1940 году присоединил к себе Бессарабию. В былые времена этот агрессивный, вызывающий национализм снискал бы Чаушеску не только аплодисменты делегатов съезда, но и горячее одобрение западного мира. Ничто так не свидетельствовало о полной потере Кондукатором чувства реальности, как его неспособность понять, что в нынешней ситуации подобный антисоветский словесный хлам не вызовет даже элементарного любопытства. Он никак не мог осознать, что с началом перестройки и гласности, их распространением на Восточную Европу интерес международного сообщества к Румынии окончательно угас. Отныне на мировой сцене не находилось роли для эксцентричного антигорбачевско-сталинистского лидера маленькой восточноевропейской страны, пораженной жесточайшим экономическим кризисом. Если в какой-то мере Румыния и привлекала внимание Запада, то только в связи с главным вопросом: как долго удастся продержаться Чаушеску в изменившемся восточноевропейском климате и каков будет его конец?

Даже если некоторые делегаты и ощущали эти настроения, то они никак своих мыслей не выдали. Из 3308 участников съезда никто не проголосовал против переизбрания Кондукатора на пост генсека, не было среди них и ни одного воздержавшегося. После закрытия съезда на площади перед королевским дворцом собралась большая толпа, и супруги Чаушеску совершили ритуальный выход на балкон, купаясь в хорошо срежиссированном народном обожании. Толпа скандировала: «Чаушеску — народ», «Независимый социализм» и «Нет вмешательству». Эти три лозунга были утверждены отделом пропаганды ЦК как наиболее соответствующие моменту, укрепляющие бодрость духа Чаушеску и подразумевающие, что возникшее в последнее время противодействие режиму — дело рук вражеских агентов.

К слову сказать, бегство олимпийской чемпионки Нади Команечи и ее приезд в Нью-Йорк 1 декабря вызвал куда большее оживление в западной

прессе, нежели XIV съезд РКП. И в конце концов дело Текеша, тянувшееся весь ноябрь и всю первую половину декабря, стало той искрой, из которой возгорелось яростное пламя.

16 декабря 1989 года большая толпа народа, в том числе женщины и дети, снова собралась перед домом Текеша. Этой же ночью большая группа молодежи прошла по центру Тимишоары, скандируя лозунги в его защиту. Но вскоре толпа начала кричать «Долой Чаушеску!», «Долой коммунизм!», «Даешь демократию!». Полиция и пожарные с водометами окружили демонстрантов, но весь город уже пришел в волнение. Другая группа демонстрантов, вдохновленная разгоравшимся бунтом, ворвалась в здание городского муниципалитета и местного комитета партии и стала выбрасывать из окон на улицу многочисленные досье, портреты Чаушеску и коммунистическую литературу; вскоре на улице вовсю запылали костры. Полиция и подоспевшие бронемашины открыли огонь, кося людей налево и направо. Секуритате собирала трупы и уносила их с собой, а смелевшая на глазах толпа кричала им вслед: «Отдайте наших мертвых!»

Известие о драматических ночных событиях в Тимишоаре, как огненный ветер, распространилось по всей стране, причем число жертв с каждым пересказом увеличивалось в геометрической прогрессии. С крушением коммунизма в соседних странах румыны обрели возможность своевременно узнавать новости, для этого им было достаточно настроить приемник на волну венгерского или восточноберлинского радио. Подогреваемые слухами и репортажами из Венгрии и Югославии люди жадно передавали из уст в уста сведения о 4 тысячах, потом о 6 тысячах и даже 40 тысячах убитых в Тимишоаре.

После 22 декабря по телевизору показали тела людей, якобы погибших от пыток в застенках Секуритате. В действительности трупы были «заимствованы» с кладбища бедняков в Тимишоаре и из больничных моргов (т. е. смерть этих людей наступила вследствие естественных причин), однако эти кадры оказали на румын колоссальное воздействие. В ту же ночь 16 декабря антиправительственный бунт вспыхнул в Араде и других городах Трансильвании. Наконец-то до сознания Чаушеску дошел тот неутешительный факт, что в Тимишоаре началось настоящее восстание, грозящее перекинуться на всю страну, и, что самое прискорбное, армия не принимает решительных мер против бунтовщиков.

Не желая признавать никаких обстоятельств, способных воспрепятствовать его зарубежной поездке, Чаушеску не отменил своего решения посетить Иран. Но перед отъездом (вечером 17 декабря) он провел с членами политического исполнительного комитета РКП бурное совещание по поводу произошедших в Тимишоаре событий. Записанное на пленку, это заседание поучительно во многих отношениях, и не в последнюю очередь благодаря сохранившимся словам Чаушеску, раскрывающим его трактовку дела Текеша. «Предлогом [для смуты] послужила история с так называемым «церковным реформатором», наказанным его собственными церковными властями и переведенным в другую область,— начал Чаушеску.— Он не хотел выезжать из дома. Тогда епископ обратился в суд, который вынес решение выдворить его оттуда». Чаушеску правильно излагал суть дела, но был не в силах признаться перед подчиненными, что дело о выселении было лишь предлогом, а истинной мишенью был сам священник.

«Здесь мы имеем дело с вмешательством иностранных кругов,— продолжал он,— с иностранной шпионской сетью, тянущейся из Будапешта... Более того, всем известно, что и на Востоке [т. е. в Москве] и на Западе хотят, чтобы в Румынии произошли известные изменения. И вот Восток и Запад взялись изменить течение событий в Румынии и пользуются для этой цели всеми возможными способами».

Затем Чаушеску яростно обрушился на тех, кто позволил жалким протестам перерасти в мятеж; особенно досталось здесь министру обороны генералу Василе Миле: «В руководстве министерства обороны и министерства внутренних дел процветают пораженческие настроения. Вчера

вечером я разговаривал с ними и приказал устроить демонстрацию силы с применением танков... Я отдал приказ, а вы устроили какой-то парад... Вы должны были послать в центр города моторизованные подразделения. Вот что означает демонстрация силы. Так где же она? А что произошло с войсками министерства внутренних дел? У меня сложилось впечатление, что они вообще не были вооружены».

Министр внутренних дел Тудор Постелнику подтвердил правильность этого впечатления.

Чаушеску вскипел: «А почему, хотелось бы знать? Я ведь приказал, чтобы они были вооружены. Кто отдал такой приказ? Хулиганы врываются в партийные здания, нападают на солдат и офицеров, а те и в ус не дуют? Чем занимались ваши офицеры, Миля, почему они сразу же не вмешались, почему они не стреляли? Они должны были стрелять, сначала в воздух для предупреждения, затем — по ногам, чтобы их утихомирить... Врага нельзя победить молитвами, его надо уничтожить. Социализм не построишь ложью и заверениями в преданности, его возводят в борьбе. И мы будем сражаться за его построение. Сейчас по всей Европе идет капитуляция, подписываются пакты с империализмом об уничтожении социализма».

Чаушеску приказал шефу Секуритате генералу Владу принять участие в заседании. Когда через несколько минут Влад появился, гнев Чаушеску излился и на него. «Почему войска не были вооружены?» — спросил его Кондукатор.

«Я думал, что в этом нет необходимости»,— ответил Влад.

«А почему вы об этом мне не доложили? — закричал Чаушеску.— Я ведь разговаривал с вами всю ночь. С этого момента,— возвестил Кондукатор,— если политический исполнительный комитет не возражает, министр обороны, министр внутренних дел и начальник службы безопасности отстраняются от должности. С этого момента я становлюсь во главе армии. Подготовьте мне указ... Так больше не может продолжаться. Всю ночь напролет я говорю с ними каждые десять минут, а потом выясняется, что они не удосужились выполнить мои приказания».

Генералу Владу пришлось пережить еще одну жестокую выволочку. «Слыхали ли вы, что такое чрезвычайное положение?» — осведомился у него Чаушеску.

«Да, товарищ, я отдал об этом приказ»,— ответил Влад.

«Даже сейчас вы не желаете говорить мне правду»,— отрезал Чаушеску.

«Если бы хоть один солдат начал стрелять, они бы все тут же разлетелись, как куропатки,— вклинилась в разговор Елена Чаушеску.— Нужно было в них стрелять, а упавших — подобрать и бросить в камеры. Ведь так вам было приказано? Никто из них не должен был уйти».

Присутствующие смиренно признали, что вели себя недостойно. Чаушеску исторг из них клятву в следующий раз действовать более решительно. «Товарищ генеральный секретарь, я обещаю вам,— произнес министр внутренних дел Постелнику,— что такое больше не повторится. Пожалуйста, не лишайте меня своего расположения, и я делом докажу, на что способен».

Миля признался, что «вначале недооценил опасности». Влад уверил Кондукатора: «Выполняя ваши приказания, я приложу все силы, чтобы вновь заслужить ваше доверие».

Наконец Чаушеску немного смягчился и отменил свое решение уволить провинившихся. «Хорошо,— сказал он,— попробуем еще раз, товарищи».

Главное, чего так и не понял Чаушеску — даже когда совещание подходило к концу,— это то, что ключевые фигуры в исполнительном комитете уже созрели для предательства, ибо генерал Миля по-прежнему запрещал войскам стрелять в людей, а генерал Влад и не думал выполнять приказы. Он прекрасно понимал, что судьба их Кондукатора в любом случае незавидна: даже если демонстрантов удастся подавить силой, как

того требовал Чаушеску, это позволит выиграть немного времени, но зато породит еще большую ненависть. Он знал также, что сегодня он лишь чудом удержался на своем посту и в следующий раз Чаушеску расправится с ним в одночасье. И уж у кого-у кого, а у Влада не было никаких иллюзий по поводу «иностранных агентов», благодаря интенсивной работе Секуритате он располагал достоверными сведениями о настроении простых румын. На совещании он едва избежал опалы и даже, возможно, ареста.

Честно говоря, трудно объяснить «чистосердечное раскаяние» членов Исполнительного комитета иначе, чем стремлением выиграть время, уйти от возмездия и выпутаться из безнадежного положения. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что 17 декабря Миля и Влад замыслили «предательство», однако «самоубийство» Мили три дня спустя и постоянное мелькание Влада в министерстве обороны, ЦК и на ТВ в разгар декабрьских событий — вплоть до дня расстрела Чаушеску — явно свидетельствуют о том, что он и, по крайней мере, некоторые круги Секуритате были в сговоре с Фронтом Национального Спасения с самого начала бухарестских событий (если не раньше), что они составляли часть конспиративной сети, существовавшей, конечно, еще до того, как началось стихийное восстание масс. Главный вопрос, который меня сейчас волнует, заключается в следующем: как долго существовал этот заговор, и неужели народ Румынии, сотнями тысяч поднявшийся против ненавистной четы, был всего-навсего искусно спровоцирован на этот подвиг?

Заговоры

Приходится признать, что в последние годы царствования у Нашего Благодетеля успехов было несколько меньше, а проблем несколько больше.

Рышард Капусцинский. «Император».

Румынское декабрьское народное восстание, транслировавшееся ТВ на весь мир, а также побег и казнь Чаушеску с течением времени приобрели некоторый мифический ореол. Многие эпизоды событий, происшедших между 22 и 26 декабря, отпечатались в нашей памяти столь же ярко, как знаменитая фотография 1968 года, которая запечатлела южновьетнамского генерала Ло Ана, лично расстреливающего в Сайгоне вьетконговца. В Восточной Европе, где тоталитарной марксистско-ленинской тирании уже был нанесен сокрушительный удар, падение последнего сталиниста вызвало живейший интерес и бурную радость. Каково же было негодование, когда вдруг выяснилось, что не только количество жертв сильно преувеличено, но и само восстание оказалось не вполне той спонтанной романтической революцией, какой оно вначале представлялось многим.

Эта новая информация породила в свою очередь два совершенно возмутительных и несостоятельных, на наш взгляд, предположения.

Первое (просмакованное вначале во французских средствах массовой информации, а затем в книге Мишеля Кастекса) состояло в том, что вся революция с ее дутыми цифрами потерь была тайно инспирирована Советским Союзом, который жаждал свержения Чаушеску и использовал послушные ему информационные агентства Восточной Германии и Венгрии для распространения всевозможных ложных сведений. Второе рассматривало восстание не как спонтанный акт, а как детально подготовленный заговор, во главе которого стояла небольшая группа военных и штатских чиновников из верхних эшелонов власти.

Как мы покажем ниже, мысль о свержении Чаушеску действительно зрела в узком кругу румынских высокопоставленных лиц. Однако было бы совершенно неправомочно принять циничную теорию о том, что восстание от начала до конца развивалось по тщательно разработанному сценарию. Скорее можно говорить, что события, начавшиеся 21 декабря в Тимишо-

аре, а затем перекинувшиеся на Бухарест, вся эта серия самопроизвольных демонстраций были очень быстро взяты под контроль небольшой группой опытных заговорщиков, ждавших своего часа по меньшей мере лет пять.

Чтобы понять смысл декабрьских событий 1989 года и уяснить, что побег Чаушеску был в некотором смысле предопределен, нужно вернуться на двенадцать лет назад, в период сильнейшего бухарестского землетрясения 1977 года.

Супруги Чаушеску в этот момент были в Африке, в одной из своих бесчисленных официальных поездок. И вместо того, чтобы немедленно начинать спасательные работы, дворня Чаушеску, оставленная им в Бухаресте, первые часы после катастрофы потратила на обсуждение содержания телеграммы, которой следовало оповестить Кондукатора о постигшем страну несчастье. И пока они обговаривали каждую фразу, каждый оттенок и каждое прилагательное, чтобы, с одной стороны, приуменьшить размеры катастрофы, а с другой — показать свою расторопность, драгоценное время было безвозвратно упущено.

Для горстки недовольных опальных руководителей, подобно генералам Ионицэ и Милитару, еще с середины 70-х годов убежденных, что Чаушеску ведет страну к гибели, и ломавших голову, как от него избавиться, ситуация была предельно ясна: если чета Чаушеску отсутствует, в стране не принимаются никакие решения; следовательно, путч следует осуществить, когда Елена и Николае уедут в очередное зарубежное турне.

Конечно, Секуритате бдительно следила за всеми ведущими фигурами румынского истеблишмента, особенно за теми, кто попал в немилость, однако последние иногда изыскивали возможность видеться друг с другом, не привлекая внимания надсмотрщиков. Даже в самой Секуритате образовался узкий круг людей, недовольных сползанием страны в кризис и потому закрывавших глаза на разговоры злоумышленников. Более того, горстка людей в тайной полиции уже согласна была на роль связных, а некоторые подумывали и об активной роли в заговоре против Чаушеску. В действительности с 1971 года существовало несколько заговоров, из них лишь последний претворился в жизнь, ибо народное восстание дало шанс для долгожданного захвата власти.

Еще в 1970—1971, а затем и в 1975—1976 годах три армейских генерала, в том числе тогдашний министр обороны Ион Ионицэ, тайно обсуждали возможность переворота, но быстро пришли к выводу, что шансов на успех почти нет. Позднее, в начале 80-х годов, небольшая группа бывших государственных деятелей, как военных, так и штатских, осмелилась, правда, в крайне осторожных выражениях, сформулировать немыслимое: нужно избавляться от Чаушеску.

Самый крупный военный чин в маленькой группе заговорщиков 1983—1984 годов был все тот же Ион Ионицэ, бывший близкий друг Чаушеску. У него были веские основания для недовольства, ибо Чаушеску по своей гадкой привычке сначала возложил на него вину за ряд крупных государственных просчетов, не имевших никакого отношения к его ведомству, а затем в 1976 году под шумок и вообще отстранил от дел. Ионицэ был убежден, что необходимо жестоко расправиться не только с Чаушеску, но и с его «кухонным кабинетом», беззастенчиво потакавшим всем прихотям Кондукатора и уводившим его все дальше от реальности. Второй крупной военной фигурой, разделявшей данные взгляды, был отставной начальник штаба армии генерал Николае Милитару, пользовавшийся значительным авторитетом в среде высшего офицерства. Самым решительным образом был настроен третий член военной триады — бывший генерал-майор Штефан Костял, тот самый Костял, который в 30-х годах сидел в одной камере с Чаушеску. Костял, единственный из всех трех, действительно пострадал от режима: когда его вынудили уйти в отставку за то, что он женился на русской, Костял, упрямый мадьяр с великолепной военной выправкой, потребовал пересмотра дела и в 1971 году выступил

перед военной комиссией с жесткой и подробной критикой деятельности Чаушеску. Результаты последовали незамедлительно: его лишили звания, перестали платить пенсию и сослали в далекую провинцию, где он был вынужден несколько лет проработать чернорабочим.

Дело Костяла вызвало отрицательную реакцию благодаря официальной легенде (успешно распространенной с помощью Секуритате в партийных кругах), что Костял — просто советский шпион. Это был весьма действенный способ дискредитации, поскольку Костял подобно всем членам старой гвардии, в том числе и Пырвулеску, до самого конца оставался ярым приверженцем советского курса.

В этот заговор вошли и несколько штатских, лидером которых стал Силвиу Брукан, занимавший при правительстве Георгиу Дежа сначала пост главного редактора газеты «Скынтейя», затем представителя в ООН и посла в Вашингтоне вплоть до 1963 года. Будучи старым коммунистом, Брукан был весьма сведущ в искусстве конспирации. Он пользовался несколько двусмысленной репутацией бывшего сталиниста и любителя выворачивать факты в свою пользу. Он, например, утверждал, что перестал служить Чаушеску, потому что с самого начала не доверял ему. Однако профессор Арделяну, а также былые коллеги и соратники по партии, вроде Малицы, подчеркивают, что к отставке Брукана привели, в первую очередь, его сталинистская репутация и тесная связь с Аной Паукер и так называемой «Одесской группой». С годами, правда, Брукан стал ценить связи с американцами и западноевропейскими интеллектуалами, начал (возможно, сперва просто в пику изгнавшему его режиму) довольно рискованно высказываться против политики Чаушеску, даже устанавливал контакты с западными дипломатами, аккредитованными в Бухаресте, и посещал западных журналистов.

Через доверенных связных и посредников Брукану, Ионицэ и Милитару удалось обменяться своими крамольными взглядами и даже выработать предварительный план нейтрализации верной клики Чаушеску — людей типа Илие Чаушеску, Бобу, Постелнику, а также Иона Комана (члена ЦК, ответственного за координацию действий суда, Секуритате и армии), и осуществления переворота в отсутствие Чаушеску. Для реализации подобных планов нужно было установить сотрудничество с членом «заветного круга» Чаушеску — кем-нибудь из Исполнительного комитета РКП, поскольку сведения о передвижениях Кондукатора держались в таком секрете, что даже армейские генералы не знали заранее, когда и куда он отправится.

Они принялись составлять список офицеров, склонных, по их мнению, к сотрудничеству и в итоге остановились на нескольких именах. Когда я спросил, фигурировало ли в списке имя Виктора Стэнкулеску (генерала, организовавшего суд и казнь Чаушеску), Костял ядовито ответил, что привлечение Стэнкулеску было бы равносильно немедленному провалу заговора. «Он был на короткой ноге с генералом Илие Чаушеску, братом Николае, и считался в армии ищейкой Чаушеску»,— добавил Костял. Однако, по его словам, в Исполнительном комитете партии все же нашелся человек, который снабжал их ценной предварительной информацией об «экскурсионных» планах Чаушеску; существовало также несколько генералов, хотя и не захотевших примкнуть к заговору, но согласных хранить о нем молчание. Еще одной весомой фигурой заговора был полковник Секуритате по фамилии Мэгуряну, обладавший большими связями в этой структуре.

План переворота предусматривал захват радио и ТВ, что спровоцировало бы, по мысли заговорщиков, массовые демонстрации по всей стране. Но они прекрасно понимали, на какой риск идут: на стороне Чаушеску безоговорочно остались бы войска Секуритате и части «спецназа» общей численностью до 25 тысяч человек. Сами заговорщики могли безусловно опереться только на часть, охранявшую склад боеприпасов и вооружения в Тырговиште.

На этом этапе, в 1984 году, заговорщики отнюдь не собирались

покончить с коммунистическим режимом как таковым; они скорее хотели восстановить коммунистическую законность, по их убеждению, грубо попранную Чаушеску. По традиции первый секретарь избирался ЦК, но Чаушеску, для того чтобы занимать этот пост пожизненно, изменил устав и позволил послушному Великому Национальному Собранию вновь и вновь переизбирать его на эту должность.

Конспираторы неоднократно обсуждали кандидатуру возможного преемника Чаушеску, того, кто смог бы ввести в стране «коммунизм с человеческим лицом» и восстановить партию в ее «законных правах»; в итоге все дружно сошлись на кандидатуре Иона Илиеску. Когда об этом решении через посредника оповестили самого Илиеску, он ответил несколько двусмысленно, в том духе, что он-де не будет принимать активного участия в заговоре, но в случае успеха последнего готов служить общему делу, если его об этом попросят. Костял подтвердил, что тайные переговоры с Илиеску были эпизодическими и крайне туманными.

Заговор 1984—1985 годов провалился, участники не успели осуществить ни единой акции. Причина была довольно простая: слишком много людей оказались втянутыми в его орбиту. Брукан считает, что их выдали два армейских генерала — Гомою и Попа. Поскольку заговорщики все же соблюдали элементарные правила конспирации, то детали плана были известны лишь Костялу, Милитару и Брукану. Два «осведомителя» знали только, что нечто затевается в связи с поездкой Чаушеску в Западную Германию, назначенной на октябрь 1985 года, и что пехотная дивизия, дислоцированная в Бухаресте, имеет к этому какое-то отношение. Перед самым отлетом в Бонн, повинуясь якобы внезапному решению, Чаушеску отдал дивизии приказ покинуть Бухарест и помочь крестьянам в уборке урожая; одновремено с этим он сменил командира дивизии. Этого было достаточно, чтобы убить замысел в зародыше.

Правда, вскоре Костял обнаружил — исходя из вопросов, которые ему задавали в Секуритате,— что тайной полиции известно о заговоре гораздо больше, чем могли поведать ей люди, не принимавшие непосредственного участия в разработке плана.

Действительными предателями, и в этом Костял убежден по сей день, оказалась группа так называемых диссидентствующих чиновников Секуритате (как штатских, так и военных), неразумно привлеченных к заговору генералом Милитару, который, по утверждению Костяла, совершенно нє подозревал об их двурушничестве. Эти пресловутые диссиденты от Секуритате исправно передавали Чаушеску все детали заговора по мере их разработки. В действительности, сказал мне Костял в октябре 1990 года, Секуритате провела блистательную дезинформационную операцию. «Николае Чаушеску знал обо всем с самого начала,— утверждал он.— Сотрудник Секуритате Вирджил Мэгуряну, имевший самое непосредственное отношение к заговору 1984—1985 годов, был самым настоящим провокатором. Он и другие офицеры тайной полиции притворялись, что помогают нам, а сами все время вели двойную игру». По иронии судьбы, сразу же после свержения Чаушеску Мэгуряну встал во главе Румынской разведывательной службы (постчаушескинского варианта Секуритате) и, таким образом, оказался одним из самых могущественных людей в Румынии.

Трудно поверить, но после 1985 года Костял был единственным заговорщиком, подвергшимся преследованию со стороны Секуритате; Брукан и Милитару получили лишь строгое устное предупреждение ни при каких обстоятельствах не встречаться друг с другом. В один прекрасный день полицейские явились в маленькую бухарестскую квартирку Костяла и арестовали его «за незаконное хранение валюты» — несколько монет общим достоинством в 2 доллара из детской коллекции его сына. Чаушеску всеми силами пытался поддержать видимость, что в Румынии не существует такого явления, как политический преступник. Костял был вновь сослан в провинцию, в город Куртя-де-Арджеш.

В 1989 году Костял вернулся в Бухарест, но оставался под постоянным наблюдением Секуритате. «У сыщика из Секуритате был ключ от моей

квартиры,— рассказывал он,— и он наведывался ко мне, когда хотел, да к тому же пил на халяву мою цуйку (румынскую сливянку)». В феврале 1989 года Брукан оказался инициатором и одним из шести «подписантов» открытого письма Чаушеску с критикой его руководства (письмо подписали также Апостол, Бырлэдяну, Мэнеску, Пырвулеску и Рэчану). Вопреки неусыпной слежке Брукану удалось через третьих лиц возобновить тайную связь с генералом Милитару. Разумеется, в 1989 году положение было уже совсем иным: генерал Ионицэ умер (в 1986 году), а румынский народ (за исключением малочисленной группы высших номенклатурных работников) терпел ужасающие лишения — страдал от нехватки электричества, еды и предметов первой необходимости. Даже сотрудники Секуритате и партийные боссы ощущали на себе воздействие чаушескинского режима экономии и равнодушия Кондукатора к жизненным условиям его сограждан. За пределами Румынии страны Варшавского пакта готовились к решительному разрыву с коммунизмом. Заговорщики понимали, что любое их действие немедленно вызовет народный взрыв.

Милитару, сам находясь под постоянным наблюдением, ухитрился в течение первых шести месяцев 1989 года связаться через посредников с двадцатью генералами и другими высшими командными чинами румынских военно-морских и военно-воздушных сил, а также наладить контакт с Бруканом. Костял был весьма ограничен в своих действиях, его телефон и квартира прослушивались, машина Секуритате безотлучно стояла у подъезда его дома. Не имея свободы маневрирования, Костял решил письменно напомнить румынам, что он по-прежнему занимает твердую античаушескинскую позицию. Он принялся писать «открытое письмо Чаушеску», сперва надеясь опубликовать его либо в парижской «Либерасьон», либо в какой-нибудь немецкой газете. Он рассчитывал воспользоваться каналами связи через Раду Филипеску, влиятельного чиновника из министерства здравоохранения, отца хорошо известного диссидента. Однако попытки пробиться в газету не увенчались успехом, и неоконченное письмо открыто лежало у Костяла на столе, где, он знал, его обязательно увидят и сфотографируют сотрудники тайной полиции. В этой форме противостояния была известная логика: Костял хотел, чтобы сыщики из Секуритате думали, что он, в подражание Брукану, намерен выступить с открытым протестом и не замышляет ничего тайного. И Милитару и Брукан вновь попытались связаться с Илиеску, но на этот раз тот оказался еще более осторожным и неприступным. Снова и снова, прибегая к посредникам, Костял призывал Милитару и Брукана убедить Илиеску принять более активное участие в заговоре. «Чего мы дожидаемся? — вопрошал он Милитару в записке, тайно переданной в марте 1989 года.— Надо действовать!» Илиеску, по словам Костяла, продолжал твердить, что еще не время. В апреле 1989 года Костял еще раз попытался ускорить события. «Если Илиеску не хочет помочь,— передал он Брукану и Милитару со связным,— то оставим его и все сделаем сами». Милитару давал уклончивые ответы.

Костял продолжал шлифовать открытое письмо Чаушеску. Он намеренно включил в него ряд мыслей, изложенных им перед военным комитетом еще в 1971 году, зная, что многие военные уловят сходство и придут к определенным умозаключениям. Он хотел вдохновить румынских офицеров, убедить их, что сопротивление Чаушеску возможно и осуществимо, что он, Костял, еще двадцать лет назад прибег к этим действиям, задолго до того, как Румыния дошла до такого ужасного состояния.

2 июня 1989 года Секуритате решила допросить Костяла. На этот раз он был готов к встрече. Предупреждая очередные нелепые обвинения в том же духе, что и в 1984 году, когда ему инкриминировали незаконное хранение валюты, он с порога заявил вызвавшему его на допрос офицеру: «Если собираетесь арестовать меня, то арестуйте за дело, и давайте поговорим о Чаушеску»,— потом вспылил и предупредил, что в один прекрасный день тот тоже будет арестован. Костяла сразу же обвинили в «оскорблении государственного лица». Затем последовала долгая игра

в кошки-мышки. Костяла допрашивали в местном отделении Секуритате весь день, но вечером отпустили домой. На следующий день его опять привезли на допрос. Так продолжалось две недели. Потом его продержали в Секуритате сутки и подвергли более жесткому допросу. Однако допросы не носили целенаправленного характера; очевидно, Секуритате не подозревала, что Костял является составным звеном заговора против Чаушеску, а просто пыталась отвадить его от любой дальнейшей «антикондукаторской» активности. «Какая муха тебя укусила? — спросил его один сотрудник Секуритате.— Ты что, действительно хочешь свободы, как в Венгрии, с барами для голубых, натыканными по всему Будапешту?»

В это время жена Костяла была в России, но когда она вернулась в Бухарест, Костяла немедленно отпустили; видимо, Секуритате боялась, что та может обратиться в советское посольство с просьбой разыскать мужа, а румынская тайная полиция всегда была крайне чувствительна к вещам подобного рода. С момента возвращения жены Костял ежедневно стал заходить в советское посольство, не для того, разумеется, чтобы встречаться с дипломатами, ибо у него не было здесь контактов, а просто чтобы почитать газеты и посидеть в библиотеке. Весь смысл заключался в том, чтобы Секуритате думала, будто у него *налажен* контакт с посольством, которое, в случае его «исчезновения», может поднять вокруг его имени шум. «Это была форма самозащиты,— рассказывал Костял.— Брукану, например, регулярно звонили американские и английские дипломаты, чтобы удостовериться, что он жив и здоров».

В октябре Секуритате приказала ему не уезжать из города и ни с кем не видеться. Он попытался устроить «случайную» встречу в супермаркете с Раду Филипеску, однако безуспешно, поскольку в магазине его со всех сторон обступили сотрудники Секуритате, следившие за ним неотступно. Они радостно приветствовали его: «Эй, какими судьбами? Рады видеть тебя! Какой сюрприз!» Жена Костяла решила еще раз съездить в Москву.

Втайне Костял очень переживал, что остальные заговорщики, особенно Илиеску, проявляют такую пассивность. Он не мог понять, почему ничего не происходит, и смутно чувствовал, что его выводят из игры, что его считают слишком нетерпеливым, слишком напористым.

У него мелькнула мысль незаметно скрыться из Бухареста и приехать в Тимишоару, где у него было много друзей, однако он быстро отказался от этой идеи, понимая, что подвергнет их большому риску.

День шел за днем, в Тимишоаре начались беспорядки, но по-прежнему ничего не происходило. 20 декабря Костялу позвонила жена и сказала, что она прилетает на следующий день. 21 декабря под неотвязным конвоем машины Секуритате Костял отправился в аэропорт встречать жену. Она не прилетела, но пока он ждал в аэропорту, пришла весть о начале революции: толпа только об этом и говорила. Как и многие тысячи румын, Костял всю ночь бродил по улицам, празднуя свержение диктатора: машина Секуритате, между тем, исчезла. Однако Костял старался по возможности не отходить надолго от телефона; он был уверен, что его собратья по заговору позвонят ему. Но телефон молчал...

На следующий день машины Секуритате у подъезда опять не было видно. Утром Костял отправился на площадь у здания ЦК, которая находилась всего в 500 шагах от его квартиры. Он пришел как раз в тот момент, когда перегруженный вертолет, ведомый подполковником Василе Малуцаном, с трудом взлетел с крыши ЦК. Кто-то в толпе узнал Костяла и закричал: «Это Костял, он против Чаушеску!», но генерал его одернул. «Мне не нужны были признания такого рода,— рассказывал он.— Мне нужны были результаты».

Костял помнил, что, согласно планам, разработанным в 1984—1985 годах, заговорщики должны собраться в здании министерства обороны. Он направился туда, вошел через главный вход и потребовал встречи с дежурным офицером. «Как доложить?» — спросил его солдат на вахте.— «Генерал Костял»,— ответил он и вскоре предстал пред очами генерала Стэнкулеску, сидевшего с загипсованной от лодыжки до колена

ногой. «Все спокойно, войска в казармах»,— доложил Стэнкулеску, обращаясь к нему как к старшему по чину. Костял немедля приступил к делу. «Где генерал Илие Чаушеску?» — спросил он. «В своем кабинете»,— ответил Стэнкулеску. «Я не поверил,— вспоминал потом Костял,— и пошел удостовериться сам». Действительно, брат Чаушеску сидел за столом в своем кабинете как ни в чем не бывало. Возвратясь в кабинет Стэнкулеску, Костял сказал: «Арестуйте этого человека». Стэнкулеску заюлил. «Мы потом это обязательно сделаем»,— заверил он. «Нет, вы это сделаете сейчас,— сказал Костял.— И еще, пошлите транспорт и привезите сюда Илиеску, Милитару и Корнелиу Мэнеску [бывшего министра и одного из заговорщиков]». И снова Стэнкулеску стал увиливать. В данный момент машину достать невозможно, сказал он, кроме того, он не знает, где эти люди живут. Сам он не может передвигаться из-за перелома ноги.

Костял был убежден, что Стэнкулеску просто «выжидал, чья возьмет верх». Во время его разговора со Стэнкулеску вошел офицер и доложил, что по телевизору показывают выступление генерала Милитару. Костял приказал офицеру позвонить на телестанцию: «Передайте генералу Милитару, что генерал Костял находится в министерстве обороны и ждет его к себе немедленно». Стэнкулеску продолжал жаловаться на ногу; он сломал лодыжку, говорил он, и ему очень больно ходить. Костял твердо убежден, что Стэнкулеску попросил медсестру наложить ему гипс и успешно симулировал «перелом». Совсем недавно Чаушеску направил его в Тимишоару на подавление беспорядков, и тот честно выполнил приказ Кондукатора: Тимишоара была одним из тех немногих мест в Румынии, где армия стреляла в демонстрантов — хотя, как гневно заметил Чаушеску на заседании 17 декабря 1989 года, и не настолько активно, чтобы окончательно погасить смуту. После «самоубийства» министра обороны, генерала Мили, Стэнкулеску был отозван в Бухарест, и Костял уверен, что Чаушеску намеревался сделать его министром.

Вскоре в кабинете Стэнкулеску появились Илиеску, Милитару, а также генерал Юлиан Влад в окружении небольшой группы людей. Рядом с Илиеску терлись двое штатских, которых Костял никогда прежде не видел. «Зачем тебе телохранители,— сказал Костял Илиеску.— Убери их отсюда». «Нет-нет,— ответил Илиеску,— это люди моей команды». Костялу сказали, что их зовут Джелу Войкан Войкулеску и Петре Роман. Роман вскоре после этого стал премьер-министром, а Войкан был той мистической фигурой, которая приложила руку к суду над Чаушеску 25 декабря 1989 года.

Слова Петре Романа (в интервью французскому телевидению) о том, что он оказался в здании ЦК «случайно», звучали крайне неубедительно. С момента известных событий, сначала внутри здания ЦК, затем на телевидении, Илиеску и Роман неоднократно обнаруживали поразительное, почти сверхъестественное взаимопонимание. Их судьбы (оба вышли из семей румынских сталинистов-коммунистов) были на удивление схожими. Как известно, Чаушеску всегда благоговел перед людьми, подобными Вальтеру Роману, одному из легендарных участников интернациональных бригад, возможно, потому, что их бурное прошлое так разительно отличалось от его собственной однообразно-трудовой юности. По выражению профессора Арделяну, «таким людям, как Вальтер Роман, Чаушеску не мог отказать ни в чем». Во всяком случае, свою юность Петре Роман провел в куда более привилегированных условиях, нежели некоторые племянники Чаушеску. Как утверждала Надя Бужор: «Я бы никогда не смогла себе позволить роскошь жить во Франции пять лет, приезжая и уезжая, когда мне вздумается». Говорят, президент Франсуа Миттеран был весьма раздражен грубостью французских телерепортеров, тщетно пытавшихся расспросить Петре Романа о его прошлом. В «системе», созданной Чаушеску, тот, кому разрешалось жить пять лет во Франции, должен был дать «железобетонные гарантии режиму», сказал своему помощнику проницательный и циничный французский президент.

С самого начала, вспоминал Костял, он почувствовал, что тяготит

Илиеску, «нежелателен» и что, несмотря на все его заслуги в организации заговоров в 1984 и 1989 годах, Илиеску предпочитает закладывать основы Фронта Национального Спасения с новыми людьми, в число которых входят Роман и Войкан. Было совершенно ясно, что Илиеску вознамерился взять бразды правления в свои руки; от его былой нерешительности не осталось и следа. На повестке дня стоял вопрос о названии организации, долженствовавшей под предводительством Илиеску «взять на себя ответственность за судьбу нации».

Костял предложил назвать ее Народным фронтом, но Илиеску отверг это предложение, сказав, что Фронт Национального Спасения звучит гораздо лучше.

Вслед за этим Илиеску «со товарищи» стали подбирать кандидатуры на посты в ФНС. Назывались различные фамилии, в том числе и генерал армии Буркэ. Илиеску сказал, что это подходящий человек на пост министра обороны. Костял снова возразил, напомнив, что Буркэ отказался участвовать в заговоре 1984 года, хотя, правда, не стал и предателем.

У Костяла разгорелся также горячий спор с Илиеску по поводу судьбы Румынской коммунистической партии. Илиеску и его сторонники хотели ее распустить, а Костял желал «положить ей конец достойно», предложив созвать специальный съезд, как то сделал Дубчек в 1968 году, чтобы реформировать партию изнутри. Группа, прибывшая вместе с Илиеску, планировала вернуться в здание ЦК; никто не пригласил Костяла следовать за ними. «Тебе лучше остаться здесь,— сказал ему Милитару,— можешь присоединиться к нам позже, если захочешь». Стэнкулеску ушел вместе с Илиеску, чтобы, по выражению Костяла, «остаться с ним уже навсегда». Где-то между делом он снял гипс, ибо ни 23 декабря, ни позже никаких признаков перелома его нога больше не обнаруживала. Костял был глубоко уязвлен, как бесцеремонно его отодвинули в сторону.

Однако, проглотив обиду, Костял все же появился в здании ЦК в этот день. Вначале наспех созданная революционная охрана вообще не хотела пропускать его внутрь, но он в итоге пробился и пошел на поиски Илиеску, Милитару и остального ядра Фронта Национального Спасения. Везде царила суета и неразбериха, вспоминал он. «Мне сказали, что они на шестом этаже, но их там не было. Господствовало боевое настроение, у окон стояли молодые солдаты с автоматами наготове и стреляли куда попало, бесцельно изводя огромное количество патронов».

На четвертом этаже Костял обнаружил охранников с повязками на рукаве, стороживших нечто вроде оперативного штаба. Они тоже вначале не хотели пропускать его, но в итоге ему снова удалось миновать кордон. «Илиеску там не было,— рассказывал Костял,— но я увидел генерала Влада, Аврама (бывшего министра промышленности) и помощника Илиеску Н. С. Думитру».

Отдельные снайперы еще продолжали активные действия в городе, и по ним велся ответный огонь из танков и бронемашин; при этом расходовалось огромное количество боеприпасов. Костял указал Думитру, что солдатам, стреляющим из окон куда попало, можно найти лучшее применение, поставив их охранять подъезды к подземным тоннелям здания, поскольку в глубине этих тоннелей были расположены бункеры с хорошо налаженной системой теле- и радиосвязи, с запасами еды и вооружения. Как пояснил Костял: «Я боялся, что ударные отряды 5-й дивизии Секуритате готовят контратаку». Поведение Влада, вспоминал Костял, было весьма двусмысленным: «Он притворялся верным слугой революции, но, по моим наблюдениям, намеренно вносил сумятицу и неразбериху». Влад вышел на связь с генералом Мучану, ответственным за противовоздушную оборону в районе аэропорта Бэняса, и устроил ему разнос по телефону, обвиняя его в предательстве. «Я знаю Мучану,— сказал Костял Владу,— он не предатель, у него честные намерения».

Под влиянием мгновенно принятого решения и понимая, что в Бухаресте ему не найдется применения, Костял высказал желание поехать в Бэнясу на помощь Мучану. Был издан приказ о том, чтобы все самолеты

оставались на земле, и у Мучану хлопот был полон рот; к тому же он чрезвычайно опасался возможного налета румынских «камикадзэ» — преданных Чаушеску подразделений Секуритате. Костял отправился в Бэнясу и пробыл там до 26 декабря. В течение этих трех дней произошло несколько атак на аэропорт; много хлопот доставили также запущенные тайной полицией аэростаты, имитирующие вертолеты и сбивающие с толку радары.

Пока 22 декабря Костял тщетно искал заговорщиков, они, т. е. Илиеску и ядро ФНС, как ни в чем не бывало заседали в здании ЦК, правда, в комнате, которую Костял так и не смог найти. Магнитофонная запись заседания, сделанная без ведома руководящей группы, свидетельствует о неописуемой неразберихе, царившей в зале. Илиеску все время безуспешно порывался поговорить по телефону со Стэнкулеску (который находился на другом этаже, очевидно, уже разрабатывая сценарий суда над Чаушеску), в то время как Роман критиковал первый вариант воззвания ФНС («в нем нет ничего для людей, стоящих за стенами здания»). И перекрывая весь этот гвалт, вдруг раздался голос охранника, сторожившего вход в комнату: «Здесь Апостол. Он хочет войти». В ответ прозвучало (Илиеску?): «О Боже!» а Роман сказал: «Делай, что хочешь, но *его* не пускай!» На пленке слышно, как генерал Милитару говорил о Фронте Национального Спасения: «Но этой организации уже шесть месяцев, она уже существовала за шесть месяцев до революции!» На этом этапе еще присутствовало много «стихийных» вождей, подобно поэту Мирче Динеску, знаменитому актеру Иону Карамитру (который на короткое время стал вице-президентом), были и другие случайные участники, вроде военного архитектора майора Лукоя, который 21 декабря в военной форме прошел в здание ЦК «просто как представитель армии», конечно, ничего не зная о существующем заговоре.

Изучая магнитофонную запись, можно заключить, что на этом этапе Илиеску прежде всего волновал вопрос, как придать захвату власти видимость законности. На заседании присутствовал старый экономист Бырлэдяну, который очень беспокоился за международный престиж Румынии: «Мы должны заявить, что сохраняем все договоренности и не намерены менять курс». Он очень волновался, как бы Горбачев не подумал, что Румыния собирается покинуть социалистический лагерь. Илиеску на это ответил: «Я уже связался с Советским Союзом и объяснил ситуацию, так что они передадут в Москву, кто мы такие и чего мы хотим».

Он, несомненно, имел в виду советское посольство, однако его замечание никак не свидетельствует о причастности Советского Союза к заговору. Напротив, его слова скорее доказывают, что СССР (чей посол во время беспорядков в Тимишоаре был в отпуске) прямо не замешан в этих тайных замыслах. Правда, его заявление можно истолковать как прямое свидетельство того, что советские дипломаты знали Илиеску, однако в этом не было ничего необычного: как самый высокопоставленный «пассивно-диссидентствующий» румынский коммунист Илиеску был тем лакомым куском, на который любой уважающий себя дипломат не мог не положить глаз. Роман также проявил необычайную активность в дискуссиях. Кто-то пытался его окоротить («Никто не знает, кто ты такой»), но Роман возразил: «Нет, знают. Это я читал воззвание по ТВ, и я знаю людей в венгерском посольстве. Я даже разговаривал с венгерским министром обороны». Илиеску затем указал на другую необходимую задачу — объявить амнистию и освободить политических заключенных. В переполненной комнате собрались не только лидеры ФНС; здесь также был Брукан — участник заговоров 1984—1985 и 1989 годов, студенты, рядовые демократы, то поддерживавшие, то критиковавшие выступающих. Стоял ужасающий шум. В какой-то момент послышался возглас молодого человека: «В новое правительство должны войти люди, непосредственно начавшие революцию и участвовавшие в ней». Его заставили замолчать и вывели из зала.

Внезапно один из присутствующих объявил (очевидно, в результате неправильно понятых замечаний Костяла), что Секуритате подложила

бомбу замедленного действия, которая теперь тикает где-то внутри здания. «Пойдемте отсюда»,— прозвучал голос Романа. Собрание лихорадочно закончилось, и все двинулись к румынскому телецентру. Здание ЦК все еще наводняли сотни людей, большей частью демонстранты с площади. Никто не позаботился предупредить невинных простаков о бомбе (к счастью, воображаемой).

По настоянию Брукана 24 декабря был арестован генерал Влад. Через месяц Костяла, вернувшегося после 26 декабря в свою бухарестскую квартиру, вызвали в министерство обороны. Вместе с четырьмя другими бывшими генералами-резервистами его официально восстановили в чине отставного генерал-майора и назначили пенсию, соответствующую размеру его жалованья перед увольнением, т. е. 4500 лей в месяц. Полковника Секуритате, который почти ежедневно допрашивал Костяла летом 1989 года, отправили на пенсию, и он теперь получает 6500 лей в месяц.

В феврале 1990 года Милитару и Костял выяснили по телефону отношения и полностью примирились. Милитару убеждал Костяла, что его попросту обманули и во время революции он не мог действовать иначе. Он высказал также опасение, что Илиеску пытается отделаться от него. «Уйди сам,— посоветовал ему Костял.— Не позволяй им выкинуть тебя». На следующий же день Илиеску, не на шутку озабоченный ростом антиправительственных демонстраций, вызвал к себе Милитару и попросил его подать в отставку, якобы подозревая его в некоторой сопричастности этим беспорядкам. «Человеком, который подтолкнул его (Илиеску) к этому поступку,— сказал Костял,— был Стэнкулеску. Яго в революции еще страшнее, чем в любви».

«Смена верхов — радость для дураков»

(Старая румынская пословица)

Все революции пожирают своих детей, но румынская отличалась особой плотоядностью. В силу своей двойственной и несколько подозрительной природы она, не успев проглотить детей, тут же изрыгнула их обратно. Острое разочарование, пришедшее на смену первоначальной радости, облегчению и надежде, невыносимой болью отозвалось в сердцах простых румын.

Легко понять их уныние: они так настрадались от коварной, безумной и глупой четы, создавшей мощный аппарат угнетения и державшей их в многолетнем психологическом страхе. По иронии судьбы Чаушеску в конце концов сам стал жертвой собственной системы; тот самый высококвалифицированный орган безопасности и дезинформации, отцом-благодетелем которого он являлся, дезинформировал его самого относительно степени лояльности и законопослушности румынского народа.

Другие восточноевропейские страны по праву гордятся тем, как они боролись со сталинизмом и коммунистической бюрократией. Румыны же могут только оплакивать тот день, когда они провозгласили Чаушеску символом новой, «либеральной» эры. Им понадобилось всего несколько лет, чтобы понять, что антисоветизм и национализм не обязательно тождественны либерализму и что можно бросить вызов Москве и при этом быть еще бóльшим тираном, нежели правители советской империи, которым Чаушеску так успешно противостоял.

Оглядываясь назад, многие румыны испытывают чувство раскаяния не только за то, что подыгрывали системе, но и за то, что позволили ей так долго влачить свое существование. К концу жизни Чаушеску был сущим демоном, но демоном изрядно полинявшим, из давно устаревшей мифологии. Вот что рассказал мне Кеннет Очинклосс, редактор «Ньюсуик» и последний западный журналист, бравший у Чаушеску интервью (за четыре месяца до его смерти): «И вот этот маленький человечек вошел в комнату;

в нем не было ни импозантности, ни обаяния, ни красноречия. Он производил впечатление жалкого существа, совершенно выключенного из реальной жизни Румынии, живущего в прошлом, в мире грез». В интервью «Ньюсуик» Чаушеску начисто отрицал как трудности любого рода, так и наличие недовольства. Он был достаточно осведомлен о неприглядной репутации Сталина (по крайней мере, в западном мире) и потому настоял, чтобы его похвалы Сталину как «человеку порядка» не записывались, но это было, пожалуй, единственным свидетельством его связи с реальностью. По-настоящему Кондукатор оживился лишь тогда, когда заговорил о славных днях 1968—1970 годов. Гуляя с Очинклоссом по саду в Брашове, он предавался бесконечным воспоминаниям о разговорах с Менахемом Бегином. Указав на садовую скамью, он заявил: «Вот здесь сидел Бегин, когда разрабатывал то, что обернулось потом Кемп-Дэвидским соглашением», беззастенчиво преувеличивая при этом свою посредническую роль.

К этому времени Чаушеску был желанным гостем только в кучке африканских и ближневосточных стран. Он не мог не заметить поведения представителей госдепартамента во время его последнего визита в Соединенные Штаты (в 1977 году при Картере) — те дали понять, что сожалеют о его приезде и что больше никогда его не пригласят. Кондукатора, очевидно, также посещало предчувствие смерти: последнюю неделю перед казнью он читал на сон грядущий напечатанный специальными крупными буквами доклад Секуритате об обстоятельствах смерти египетского президента Анвара Садата, убитого в 1981 году.

Окидывая взглядом прошлое, невольно поражаешься, как ему вообще удалось так долго продержаться, ибо к середине 80-х годов отнюдь не только простые румыны испытывали ненависть к супругам Чаушеску: сама Секуритате в большинстве своем была настроена против него. В последние годы правления Чаушеску ненависть проникла даже в ряды номенклатуры и его нерушимого оплота — «коммунистических застрельщиков», в чью обязанность входила подготовка «народного признания» в виде празднеств и массовых митингов. К концу даже работники Секуритате, выслеживающие диссидентов, и телохранители семьи Чаушеску, возвращаясь домой, видели полуосвещенную квартиру и измученную очередями жену; так что лицезрение самодовольной, маниакально-спесивой четы, греющейся в лучах собственного культа, вызывало всеобщий праведный гнев, а сами супруги уже воспринимались как персонажи «черных» анекдотов. Чиновники ЦК открыто жаловались гостям на ухудшение своего жизненного уровня и ужасные условия труда, ибо к середине 80-х годов супруги Чаушеску совершили главную, непростительную для гангстеров ошибку: они перестали заботиться о своих подручных. Алчность поглотила их целиком, а к народу, пассивно сносившему это «божественное правление», кроме презрения, они ничего не испытывали.

Когда разразились события 21—25 декабря 1989 года, переданные по ТВ прямым эфиром на весь мир, большинство людей на Западе совершенно неправильно истолковали происходящее. По их мнению, для того чтобы вызвать такой взрыв ярости и ненависти, Чаушеску должен был быть чудовищем на манер Нерона и Калигулы, чуть ли не вампиром из «готического» фильма ужасов.

В действительности он таковым не был; его злодеяния облекались в более двусмысленную форму. Возможно, самой отвратительной чертой диктатуры Чаушеску была не жестокость, а мелочная гнусность; несмотря на всю ненависть, которую эта диктатура породила, она никогда не была кровавой. Да, страх, как густой туман, окутывал Румынию, но в ней не существовало гулагов, пыток и массовых исчезновений на сталинский манер. При разгоне «шахтерами» демонстрантов в Бухаресте 14—15 июня 1990 года (через полгода после смерти Чаушеску) проломлено голов и пролито крови было больше, чем за два последних года правления Кондукатора.

И скорее воспоминания о психологической, нежели физической же-

стокости Чаушеску заставляли седовласых мужей плевать на портрет Кондукатора и сокрушаться, что он умер слишком легкой смертью в то роковое Рождество 1989 года. Их жажда мести, столь долго таимая и наконец с яростью вырвавшаяся наружу, проистекала от стыда за впустую прожитые годы, ибо величайшая безнравственность чаушескинской эпохи заключалась в том, что элементарное человеческое благополучие — повышение по службе, комфортабельное жилище, хорошая зарплата, минимальные материальные блага — все то, что в других обществах достается людям по праву, в коммунистической Румынии приобреталось не иначе, как в обмен на душу, как подачка за «предательство друзей, соседей, сослуживцев», а в результате оказывалось, «что награда была ничтожно мала» (как с грустью признался один румынский тележурналист, размышляя о собственном нравственном перерождении в сторожевого пса режима).

Память об этих деяниях никогда не изгладится из души многих румын, и память эта столь же горька, как и воспоминания бывших узников ГУЛАГА и нацистских концлагерей. И те и другие получили ужасную травму, но в случае с румынами травма была главным образом психологическая, а не физическая, если, конечно, не считать последствий недоедания, подпольных абортов и смерти престарелых людей, которым отказывали в лечении «по возрасту». Наверно, Чаушеску все же знал об этих фактах, но весьма вероятно, что он мог пребывать в полном неведении относительно сиротских приютов, переполненных больными СПИДом, и брошенных детях, которых упрятывали в психиатрические больницы, поскольку врачи усиленно скрывали от него (особенно в последние годы) все сведения, способные омрачить лелеемый Кондукатором образ Румынии как земного рая для трудящихся.

Эта легенда о «рабочем парадизе» была частью марксистско-ленинско-сталинской мифологии. Но хотя Чаушеску всегда выказывал открытое презрение религиозным институтам и подчеркнутое уважение рабочему классу («Я буду давать ответ только Великому Национальному Собранию и представителям рабочего класса»,— говорил он своим обвинителям в последние часы его жизни), его слова — не более чем клишированная абстракция. В реальной жизни он был способен разговаривать с простыми рабочими лишь в официальной и строго контролируемой ситуации. «Я всегда был недостаточно хорош для него,— сказал Флоря, двоюродный брат Николае, живший через дорогу от него в родной деревне Скорничешти и всю жизнь проработавший фермером и деревенским кузнецом, типичный образец радушного и трудолюбивого крестьянина и «сельского пролетария», которых столетиями рождала румынская земля.— После войны мы не встречались ни разу».

До смерти Чаушеску румын объединял хотя бы один общий фактор — ненависть к Кондукатору. «По крайней мере,— сказал представитель «Группы за социальный диалог», одной из прогрессивных общественных организаций, возникших после декабря 1989 года,— мы были объединены нашей общей ненавистью к супругам Чаушеску». «Когда мы от них избавились, то вдруг оказалось, что мы не знаем, как себя вести, и теперь страстно ненавидим друг друга,— сказала Ана Бландиана, известнейшая румынская поэтесса и одна из немногих подлинных диссидентов.— В свете событий, произошедших после 25 декабря 1989 года, и последующих действий новых властей я начинаю задумываться, а имели ли мы право так строго судить Чаушеску?»

Исчезновение тиранической четы, конечно же, привело к большим изменениям: появилось несметное количество газет всех оттенков, вплоть до националистических и неофашистских (например, «Ромыния маре», чьи издатели Эуджен Барбу и Корнелиу Вадим Тудор были крупнейшими одописцами чаушескинской эпохи). Казалось, будто все демоны, издавна преследовавшие Румынию и застывшие в оцепенении под ледяным дыханием коммунизма, разом проснулись снова.

«После Чаушеску любое новое лицо казалось поначалу ангельским»,—

рассказывала Габриела Адамештяну, член «Группы за социальный диалог». Однако инерционная сила системы, созданной Кондукатором, и способ, которым от него избавились, не позволили Румынии вступить на путь изменений, характерный для Польши и Чехословакии. Для того, чтобы лучше объяснить западному миру суть послереволюционных процессов в Румынии, один румынский эмигрант (ныне гражданин Франции) привел следующий пример: «Представьте себе, что бы происходило во Франции, если бы в ней на 40 лет воцарился нацистский режим, не было бы де Голля, а послереволюционное правительство сформировалось бы из последователей Пьера Лаваля» [1].

Дело в том, что в постчаушескинской Румынии полиция, суды и государственные структуры остались по существу нетронутыми. Грустный парадокс состоит в том, что в массовом сознании поселилась иллюзия, будто ненавистной Секуритате больше не существует. Новоиспеченная служба румынской разведки (SIR), конечно, произвела чистку аппарата, избавившись от крайних элементов, безоговорочно скомпрометировавших себя служением Чаушеску, однако костяк организации, ее состава и служб остался целым и невредимым.

Для новых правителей бывшая Секуритате таила в себе одновременно и угрозу и соблазн. Почти все постчаушескинские политики боялись этих людей, боялись имеющихся у них сведений и еще больше боялись тех архивов, которые оставались в их руках, ибо разоблачение, по словам бывшего сотрудника Секуритате Ливиу Турку, «обернулось бы для них катастрофой». В практику Секуритате входило планомерное развращение министров, высшего чиновничества, полиции и судебных работников всевозможными подачками и значительными привилегиями; «в конце концов это приняло такие масштабы, что бюрократы вообще не желали выполнять свою работу без подобного рода вознаграждения». Немногие могут похвастаться отсутствием пятен на их совести или невмешательством Секуритате в их жизнь — в виде помощи при разводе, получении заграничного паспорта, зарубежной поездки, а то и просто шантажа. «Если говорить о нравственном возрождении,— сказал Турку,— то я уверен, что для его достижения должно смениться по меньшей мере два поколения, и, возможно, именно этот факт составляет величайшую трагедию Румынии».

Но для новых властей предержащих бывшая Секуритате с ее штатом сотрудников, оказавшихся в безвыходном положении, таила в себе также и большие возможности. Методы расправы с диссидентами (продемонстрированные уже в январе, но особенно наглядно — 14—15 июня 1990 года, когда «шахтеры» разгоняли студенческие антиправительственные демонстрации на улицах Бухареста) служили неопровержимым доказательством не только того, что Секуритате жива, но что в своем новом обличье она стала верным слугой нового режима. Конечно, ее манеры (по сравнению с тотальным контролем и психологическим террором недавнего прошлого) значительно смягчились, и все же уникальная тактика Секуритате — сочетание слухов и угроз — осталась неизменной. Вскоре после того, как Фронт Национального Спасения нарушил свое прежнее обещание не превращаться в политическую партию, диссидентам стали поступать анонимные письма и телефонные звонки — это был излюбленный способ запугивания, с успехом применявшийся тайной полицией в эпоху Чаушеску. Письма оппозиционеров вскрывались, их иностранная корреспонденция изымалась, их телефоны прослушивались или вообще отключались на несколько дней. Как выразился один диссидент, разными способами «они [т. е. Секуритате] твердо решили оправдать свое существование». Почти наверняка можно утверждать, что именно оперативные службы экс-Секуритате активно внедряют в сознание масс мысль о том, что в постчаушескинской Румынии «тот, кто не с ФНС, тот наш враг».

Другим источником разочарования для румын стало невыполнение

[1] Пьер Лаваль — глава коллаборационистского правительства во Франции во время второй мировой войны; казнен после освобождения Франции (*Прим. перев.*).

новым правительством своего «революционного» обещания создать новое, независимое ТВ. Постчаушескинское ТВ было на удивление бесцветным: какие бы ни происходили важные международные события, первые 15—20 минут программы новостей неизменно отводились деятельности президента Илиеску, его правительства и парламента. Создавалось впечатление, будто смотришь чешскую или польскую программу старого «розлива» — до эпохи Дубчека или Солидарности. Диссидентов допускали до эфира чрезвычайно редко, и даже эти передачи мало походили на прямой обмен мнениями. Когда по ТВ прошла трансляция собрания оппозиции в Брашове (сентябрь 1990 года) и состоялось интервью с бывшим коммунистом, а ныне диссидентом Бруканом, эти передачи (именно в силу их необычности) вызвали огромный резонанс.

Бывший дипломат Мирча Кодряну как-то заметил, что будь Елена Чаушеску жива, ее бы судили «за геноцид, но не людей, а культуры и образования». Тенденциозное освещение новостей по ТВ и крайняя пристрастность и нетерпимость, свойственные всем без исключения румынским газетам, отражают степень испорченности людских сердец и умов. Западные доброжелатели проявили большую наивность, полагая, что постчаушескинский режим полностью порвет с прошлым. Сам способ, которым пользуются новые лидеры для отстаивания своей позиции, весьма напоминает тактику бывшей коммунистической партии, ухитрявшейся протаскивать решения, минуя нежелательные дискуссии.

В правительствующем «клубе» ФНС существовали свои секреты, свои особые правила. Как успел заметить уже на второй день восстания генерал Костял, двери туда закрылись очень быстро.

Многие из румынских диссидентов довольно скоро распростились со всякими иллюзиями. Ана Бландиана была вторым по счету (и столь же краткосрочным, как и первый) вице-президентом «правительства» ФНС, переименованного вскоре в Совет. После первого заседания Совета, вспоминала она, в него входили несколько известных диссидентов, студентов и других людей, сражавшихся на улицах во время революции. Через несколько дней Бландиана подала в отставку с поста вице-президента. На втором заседании Совета, отметила она, вместо 40 человек присутствовали 140, причем студентов среди них уже не оказалось — «их оттуда выпихнули». Новые члены были из министерств и из провинции, причем, по замечанию Аны, «кроме делегатов из Арада, Брашова, Сибиу и Тимишоары, где активно действовала оппозиция, подавляющую часть новых членов составляли бывшие коммунистические активисты, которые одерживали верх в силу своей многочисленности». Они послушно проглатывали любое решение нового ФНС без малейшей попытки критики.

Недавно около Питешти я стоял в длинной очереди на заправку; приходилось ждать — перебои с электричеством. Один из водителей воскликнул: «При Чаушеску у нас было электричество, но не было бензина, а сейчас нет ни того, ни другого». Никто не засмеялся; люди, столпившиеся возле бензоколонки, смущенно отвернулись. Даже спустя год после смерти Чаушеску им было трудно шутить над прошлым, ибо оно сотнями нитей вплеталось в настоящее, прошедшая и нынешняя эпохи перекликались слишком часто. Ответственность за это, несомненно, ложится на новые власти.

Еще более ужасным откровением оказалось для многих румын осознание, что эпоха Чаушеску продолжает жить в них самих. Когда я попытался взять интервью у одного бывшего министра (и к тому же прекрасного врача), получившего образование в Великобритании и, по слухам, явного англомана, то, к своему удивлению, в приемном покое больницы я увидел испуганного и в то же время раздраженного субъекта, который, вместо того, чтобы просто ответить на мои вопросы о Чаушеску, был всецело поглощен выяснением проблемы, как мне удалось его разыскать. Он решительно намеревался доложить об этом возмутительном вторжении в частную жизнь соответствующим органам. Он говорил таким резким, прямо-таки инквизиторским тоном, что я не удержался от несколько

колкого замечания, вроде того, что в чаушескинскую эпоху я вряд ли мог ожидать иного приема, но меня поражает, как мало повлияли на него изменения, происшедшие после декабря 1989 года. «Мне кажется,— сказал я,— что Чаушеску по-прежнему живет — по крайней мере, в сердцах и умах тех, кто с ним соприкасался». Явно потрясенный, врач на какое-то время замолчал, и уже совсем иным тоном, со слезами на глазах произнес: «Я не знаю, что на меня нашло. Я не знаю, зачем я начал задавать вам эти вопросы. Они бессмысленны. Наверно, действительно во мне сидит нечто от Чаушеску, и мне никогда не избавиться от этого».

Я вспоминаю кладбище в Скорничешти и разоренную могилу отца Чаушеску, Николае-Андруцэ (единственная могила, где, по настоянию сына, отсутствовал крест); кажется, будто осквернители стремились вырвать с корнем весь род Чаушеску. Я думаю о гладких безымянных могилах самих супругов Чаушеску, похороненных после своего бесславного бегства и страшной смерти на бухарестском кладбище.

При жизни они искренне верили, что навсегда войдут в историю как выдающиеся устроители нового общественного порядка.

В некотором смысле их честолюбивые замыслы осуществились. Их дело продолжает жить в непрекращающейся взаимной ненависти и нетерпимости румын, в расколах и конфликтах страны, во всеобщей подозрительности раздавленных стыдом и виной людей. Как долго, спрашиваю я себя, придется нести это наследство?

Лишь одна группа населения оказалась чистой и незапятнанной: всех, кому довелось общаться с новым поколением румынских студентов, поражает широта их мировоззрения (и это вопреки многолетнему школьному доктринерству), их смелость и их свободная речь, лишенная шелухи и отголосков марксистско-ленинских штампов. Наверно, все-таки величайшее свое преступление супруги Чаушеску совершили после смерти: они так изуродовали умы и сердца новых правителей Румынии, что те снова вступили на путь столкновения со студентами и интеллектуалами без малейшей надежды на взаимопонимание и единение.

Итак, казнь Николае и Елены, призванная опустить занавес над эпохой, память о которой жаждали исторгнуть из сердца почти все румыны, на поверку оказалась лишь первым актом новой кровавой мелодрамы. Супругам Чаушеску все же удалось, хотя и неожиданным способом, добиться своей цели, они действительно оставили след в истории своей страны. Невидимые, но вездесущие, они по-прежнему отбрасывают свою тень на новую Румынию.

Религия и художественное сознание

МАРИАМ САЛГАНИК

ГАРМОНИЯ ИСЛАМА

Заметки на полях одной книги

Поводом для написания этих строк послужила книга. Книга, которая во времена не столь отдаленные не имела права на существование для читателя в нашей стране, а если и была бы упомянута, то исключительно во всем нам памятном саркастически покровительственном тоне. Называется книга «Исламское искусство и духовность» [1]. Ее автор — профессор Сайед Хоссейн Наср, истово верующий мусульманин, рассматривает исламское искусство и литературу *изнутри,* видя их истоки в Божественном откровении, причем анализирует их с помощью западных научных методик, которыми прекрасно владеет.

Профессор Наср двадцать лет преподавал в Тегеранском университете, был его проректором, но впоследствии предпочел фундаменталистскому Ирану американское свободомыслие — сейчас он профессор университета Джорджа Вашингтона на кафедре изучения ислама. Он написал более двух десятков книг об исламе, которые переведены на множество языков, но эта, об исламском искусстве и литературе в их связи с духовной сущностью ислама, кажется мне наиболее значимой для нас именно сегодня — и вот почему. Это не история мусульманского искусства, не искусствоведческое или литературоведческое исследования, хоть и есть в ней черты и того и другого — «это книга, объясняющая, какой смысл вкладывают в исламское искусство те, кто живет внутри цивилизации, созданной этой религией... книга для людей, желающих лучше понять ислам и мусульманскую цивилизацию».

Иными словами — книга, призванная помочь нам с вами увидеть мир глазами мусульман, написанная одним из них. На свете сейчас миллиард мусульман, в нашей стране — шестьдесят миллионов, что превышает население любой отдельно взятой мусульманской страны, за вычетом Пакистана. Казалось бы, даже этой незамысловатой арифметики должно быть достаточно, чтобы постараться понять духовный мир ислама, уже не говоря о том, что «исламский фактор» играет всевозрастающую роль в мировых делах.

Как бы отныне ни называлась земля, на которой все мы родились и которую все мы будем считать своей, она, по сути, была, есть и будет Евразией — в историческом, географическом, культурном и психологическом планах — еще много-много лет. Но вот беда — все мы сейчас отстоим дальше от осознания своего евразийства, чем когда бы то ни было раньше: за период советской истории и подавления жителей державы единой идеологией маятник национального самосознания был с такой силой оттянут в сторону единства, что сейчас он круто идет по направлению к дробности, и этот процесс неостановим, пока не будет израсходована энергия маятника.

Жители страны, на долгие десятилетия отлучившей их от религии, с пылом бросились заново открывать для себя веру в Бога — что совершенно естественно. При этом появились даже адепты бога Кришны, последователи секты преподобного Муна и многие другие. Однако у абсолютного большинства так и не возникло желания поинтересоваться, во что, собственно, верует каждый пятый из живущих рядом с нами. Почему?

Надо сказать, что, когда в 70-е годы хиппи, взбунтовавшиеся против западной цивилизации, ринулись сначала в японский дзэн, потом в куда более красочные индусские культы, они тоже обошли стороной ислам. Почему?

Возможно, причина в том, что ислам — авраамическая религия — показался им недостаточно удаленным от привычных вер, возможно, в глубинах западного сознания еще витает смутная тень крестовых походов — не знаю. Как бы то ни было, но ислам не сделался фактором контркультуры. А жаль. Если бы сделался, то и наша образованщина, послушная любому дуновению западного ветра, заинтересовалась бы религией своих соотечественников, задумалась бы над тем, какой взгляд на мир, какое представление о Боге и о человеке воплотилось в завораживающую красоту Самарканда и Бухары, знакомую каждому хотя бы по цветным открыткам. Увы.

В Коране сказано: Аллах красив и Он любит красоту.

Аль-Джамиль, Прекрасный — одно из имен Бога.

Образованщина с готовностью повторяет вслед за Достоевским — красота спасет мир! А что это, собственно, значит — только христианская и только христиан? В таком случае, мусульманская будет спасать только мусульман?

Может быть, все-таки речь о высшей гармонии, о красоте божественной, и истина в сказанном давным-давно: перегородки между религиями не достают до неба...

Для нас, живущих в России в тяжкие времена всеохватной смуты,— никто из нас ни время это, ни пространство не выбирал, но каждый несет ответственность за свои мысли и поступки в годы выбора — так вот, для нас способность понять ближнего и дальнего,

---

[1] *Seyyed Hossein Nasr. Islamic Art and Spirituality. New Delhi. 1990.*

в особенности когда это касается людей разных вер, это не предмет умозрительных упражнений, а вопрос выживания при сохранении облика человеческого.

Между тем мы, жители вчерашней страны Советов, считаемся ли мы христианами, мусульманами, иудеями или буддистами — мне кажется, мы все плохо понимаем, что такое религия.

Несколько поколений наших соотечественников привыкли произносить слово — Господи! свистящим злобным выдохом в минуты нестерпимого отвращения к ближнему своему.

Длительная отлученность от религиозных навыков оставила на всех нас глубокий след и бесполезно притворяться, будто это не так. Среди великого множества радостно — и мстительно — изображающих набожность лишь единицы ищут истинного приближения к Богу, а для остальных религия скорее политическая позиция, и от этого вера не столько соединяет, сколько с новой силой разделяет людей нашей изнуренной ненавистью страны.

Не в том ли главная причина быстрого усвоения массовым сознанием чудовищно искаженного образа ислама как веры агрессивной — прежде всего агрессивной,— примитивной, тупой, предписывающей своим последователям одно только нерассуждающее подчинение?

Ведь не всегда же так было.

Вспомним образы мусульман в нашей классической литературе XIX века — и не забудем при этом о затяжной кавказской войне — какие гордые и сильные люди предстают перед нами, какого отважного и благородного противника рисуют русские писатели! Или вспомним восхищение великих художников — Пушкина ли или Гёте — творениями мусульманского гения и спросим себя, что изменилось?

Не ислам — чем он был, тем и пребудет вовеки.

Изменился мир и, по словам Арнольда Тойнби, народы мира сблизились физически прежде, чем научились понимать друг друга. В тесном и непонятном мире плодятся страх и недоверие, укрыться от которых хочется среди «своих» — в этом одна из причин появления религиозного фундаментализма с его нетерпимостью к «чужим», и в частности фундаментализма исламского, экстремальные формы которого больше всего способствуют созданию образа ислама как религии ненависти.

Связь между религией и политикой невозможно отрицать, но невозможно и выстраивать прямую причинно-следственную связь между ними.

Без сомнения, откровение Корана формирует образ мышления мусульманина, но едва ли непосредственно из этого вытекают предпосылки к появлению мусульманского фундаментализма — явления политической жизни — и еще меньше появление такого монстра, как Саддам Хуссейн. Существует ли прямая связь между христианством и двумя мировыми войнами или, скажем, деяниями одиозных латиноамериканских диктаторов, или все-таки вопрос подобным образом не ставится?

Вспомним и азбучную истину: вера и религиозный фактор в политике отнюдь не одно и то же, хоть и отделить их тоже нельзя. Разные аспекты веры в разные времена становятся главенствующими, но изменяется ли от этого ее суть? Ислам не единственная прозелитирующая религия, не одни мусульмане насаждали истинную веру огнем и мечом, не только им приходилось и защищаться от ревнителей других вер — все это было и, похоже, еще не кончилось.

Истинное поле битвы любой религии — душа человека, и не бывает в ней побежденных. Вот об этом и написана книга Сайеда Хоссейна Насра. Он писал ее, главным образом, для иноверцев, но и мусульмане, пережившие целую эпоху отторжения от веры отцов, без сомнения, многое почерпнут из нее.

Мусульмане — люди Книги.

Книга божественного откровения играет очень важную роль во всех трех авраамических религиях, но как бы ни склонялись перед авторитетом Священного Писания иудей и христианин — это не идет ни в какое сравнение с буквалистским трепетом мусульманина перед Кораном.

Перед благородным Кораном.

Священные книги иудеев и христиан написаны, отчасти записаны, в то время как Коран есть нечто вроде факсимильной копии того, что находится на седьмом небе.

Мне всегда казалось, что перевод Корана на любой язык отдает кощунством: ведь священна и форма, не только смысл, как же можно переписывать эту Книгу другими буквами, нарушая сочлененность смысла и формы, заключающей его в себя?

Сайед Хоссейн Наср пишет:

«Предвечный акт сотворения был и предвечным словом, которое есть начало всех звуков и начало благородного Корана как звуковой вселенной».

Но у звука есть визуальное воплощение — буква, и если слово несет в себе откровение, то каллиграфия — зримый образ духовной реальности.

«Каллиграфия есть геометрия Духа»,— говорят мусульмане.

«Буквы, слова и стихи Корана — это не просто элементы письменного языка, но существа, а каллиграфические формы служат их физическими и зримыми воплощениями. Писание и прочтение этих букв, слов и стихов приводит человека в соприкосновение с существами, с талисманами, явившимися изначально с далекого «другого» берега вселенной, чтобы направить человека на путь возвращения к Единосущему...» — это опять Наср. Впрочем, и далее цитировать я собираюсь только его.

Бог мусульманина незрим — сосредоточением на имени Бога и на слове Бога, на единственном визуальном приближении к Нему, когда слово изображено, дано правоверному приблизиться к бесконечному и вечному. Отважно отказываясь от любых опор, которые постепенно содействовали бы его продвижению к образу Единосущего, мусульманин старается даже предметы быта сделать носителями Божьего слова, украшая их коранническими надписями.

Калам, очиненная тростниковая палочка, которой выводятся буквы, в богословском смысле становится символом космогонического акта, но — поскольку творцом может быть один только Аллах — задача художника в том, чтобы и самому стать каламом в Божественной руке через совершенное подчинение своего «я» верховной воле.

Сказано: «рука Аллаха превыше всех других рук» — и художник даже собственную жизнь творит как совершенное произведение искусства. Секрет исламского искусства — в полном отказе художника от себя, в сосредоточении на Высшем начале и безусловном подчинении ему. Смысл же искусства — не в преодолении природы вещей и природы человека, ибо они теоморфны, но, напротив, в выявлении их внутренней сути. С другой стороны, задача исламского искусства не в имитации природных форм, но в отражении их принципов — ислам вообще не допускает низведения высшего к низшему, интеллектуального к телесному, священного к мирскому, он утверждает их иерархическую гармонию. Характерная для западной цивилизации дихотомия, скажем, между священным и светским в исламском мире попросту отсутствует.

На этих принципах и формируется духовный мир. Homo Islamicus.

Его антипод — человек, которого Наср называет «прометейским», тот, «кто восстает против небес, ища для себя роль небожителя на земле, не подчиненного небесной воле».

Если мусульманину определена двуединая роль: *абдаллаха*— раба Божьего и *халифаталлаха* — наместника Бога на земле, то в обеих ипостасях он равно находится в подчинении высшему началу, то есть в гармонии с миропорядком Творца.

Более того, *шариат,* Божественный закон, который регулирует взаимоотношения Бога, человека и общества куда более детально, в значительно бóльшей степени, чем христианство — если взять эту религию для сравнения — расширяет ислам от религии до образа жизни. В этом отношении ислам сравним, пожалуй, только с индуизмом.

Основа основ мусульманского образа жизни заключается в поддержании гармонического равновесия человека и природы, природы, которая есть изначальный Господень храм. Мечеть, по сути, являет собой образ природы — и достаточно представить себе любое произведение мусульманской сакральной архитектуры, чтобы убедиться в том, насколько вещественна эта сопряженность.

Прометейство же по натуре антагонистично исламской концепции приятия и гармонизации всего сущего, или, точнее, концепции восприятия и выявления гармонии, изначально присущей мирозданию.

Для мусульманина Прометей — безумец, который, не ведая, что творит, грубо вторгается в Божьи предначертания.

А что, если прометеев дар, коим он желал облагодетельствовать человечество, и был первым шагом на пути к экологической катастрофе, первой озонной дырой, пробитой в Небе? И орел, терзавший печень титана,— не метафора ли это мук, неизбежно ожидавших человечество, возомнившее себя богоравным?

Мечеть, как метафора природы-храма, как метафора природного единства, равновесия и покоя, есть выражение смирения перед непостижимым величием Божественного промысла, несовместимого с прометейским гуманизмом.

Это миропонимание противоположно ренессансным стараниям возвести человека на место, принадлежащее одному только Богу.

Сайед Хоссейн Наср пишет:

«Если человек, взращенный в мусульманской традиции, находит титаническую скульптуру Микеланджело давящей, или церковь в стиле рококо стесняющей душу, то причина в его чувстве смирения перед Богом, которое внушила ему исламская духовность, а также в его отвращении к самовозвеличению человека за счет Бога. Дело же не в том, что мусульманин не в силах творить искусство титаническое и прометейское — современность предлагает нам достаточно примеров обратного, но мусульманин не пойдет по пути такого искусства, если исламская духовность глубоко запечатлена в его душе».

Искусство, литература и в особенности сакральная архитектура ислама — все это обязано быть продолжением природы, сотворенной Аллахом, в мире, сработанном человеческими руками.

...Рука Аллаха превыше всех других рук.

А мечеть — это линза, которая фокусирует Божью благодать, чтобы потом рассеять ее по мусульманскому миру.

«Делая мечеть продолжением изначальной природы, ислам подчеркивает изначальную природу в человеке. Ислам стремится возродить и укрепить ее в человеке, пробуждая его от снов забвения, пробуждая его к осознанию реальности Единосущего, Абсолюта — что и составляет суть изначального человека и смысл человеческой жизни.

Прежде чем простереться перед Богом в смиренной молитве, человек предстает перед Ним во весь рост — как буква «*алиф*», с которой начинается имя Аллаха».

Мусульманин не нуждается в посредниках для общения с Богом: он вступает в это общение не как падшая тварь, но как Его наместник на земле, осознающий свою богоподобную сущность. При этом мусульманин ни на миг не забывает, что он духовно нищ перед Богом, а пустота интерьера мечети призвана внушать ему гордость за отречение от притязаний на что бы то ни было.

В архитектуре мечети воплощен весь космос мусульманина, и, просто рассматривая мечеть, мы, иноверцы, можем убедиться в его строгой иерархической гармонии.

Верхняя точка купола классической мечети символизирует Единосущего; пространство купола — это Дух, октагональная основа — ангельский чин, а само четырехугольное здание служит символом земного бытия. Особое значение имеет пустота.

«Пустота даже самой богато орнаментированной мечети связана как с концепцией *факра* — нищеты в духе, так и с другой, отождествляющей незримое и непроявленное с духовным. В Коране есть множество упоминаний незримого мира — и мира зримого; первый соотносится с духом, второй — с материей, плотью. Пустота мечети знаменует одновременную нищету в духе и наличие Духа, что, конечно, вытекает из мусульманского представления о Божественном единстве».

Вытекает отсюда и другое — хорошо всем известный ан-иконизм сакрального искусства мусульман, а также эстетические склонности мусульман, проявляющиеся в их быту, и тоже, несомненно, всем знакомые. Традиционное мусульманское жилище отличается минимальной меблировкой, ритуальной чистотой пола, почти обязательным наличием коранических изречений, но главное — мусульманское жилище должно быть свободным, ибо пустота есть напоминание о присутствии Незримого.

И еще об одной черте исламского искусства: мусульманские орнаменты — буквенные ли, или составленные из так называемых арабесок, всегда отличаются строгой геометричностью. По идее, орнаменты на поверхности призваны иллюстрировать внутреннюю структуру материи. Профессор Наср приводит удивительный факт: недавние исследования обнаружили чрезвычайную близость геометрических орнаментов к структурам живой и неживой материи, полученным при помощи электронных микроскопов и других современных инструментов.

Гармония исламского миропонимания прочно зиждется на несмешении различных уровней бытия. Нет Бога кроме Бога — идея богочеловека исламу принципиально чужда. Человек есть только человек и не более того, пророк Мухаммед составляет исключение лишь в том, что он — совершеннейший из людей. Земной круг — одно, а круг ангельский — нечто совсем иное, поэтому человеку бессмысленно посягать на то, что находится вне пределов его природы.

«Исламская архитектура не создает напряженности, не увлекает человека ввысь к небесному идеалу — в отличие от готических соборов, в основу которых положена отличная от мусульманской духовная перспектива. Пространство сакральных зданий ислама покоится равновесно и благородно в неподвижности, отвечающей внутренней природе вещей, как они есть; здесь нет устремленности к идеалу, соотносимому с иным уровнем существования и чуждому природе наличествующего материала».

Сайед Хоссейн Наср особенно выделяет это качество ислама, называя его мусульманским реализмом.

Мусульманский реализм — невмешательство в природный порядок вещей и отношение к природе как к первичному храму — делает экологичным мусульманский образ мышления и жизни.

«Мусульманский город плавно возносится над поверхностью земли, максимально использует необходимые ему природные ресурсы, а будучи оставленным жителями, мягко возвращается в земное лоно».

Кто бывал в мусульманских городах, тот знает, что надо миновать кварталы современной утилитарной застройки с их грубой функциональной геометрией, чтобы оказаться в переплетениях улочек и переулочков, уму непостижимым образом творящих гармонию человеческого поселения, целесообразность которой не в преодолении естества, но в его учете и понимании. Как металлические опилки на магнит, ориентированы традиционные кварталы на два взаимоуравновешенных жизненных полюса: на мечеть и на базар. Дворец, как центр власти, скорей отталкивает их за пределы окружающих его парков, но два других центра — притягивают. Как бы величественна ни была мечеть, ее купол и минареты с завораживающей естественностью вписываются в ландшафт.

«Купол мечети был бы единственным в совершенстве своей красоты, если бы небесный свод не повторял собой его линию...»

Говорят, это было сказано о Самарканде...

«Не делая различия между сакральным и профаническим, интегрируя религию во все аспекты жизни, а саму жизнь в ритмику обрядов и правил, предписываемых религией, ислам создает жизненное единство.

Мечеть в традиционном исламском городе есть не только религиозный центр, но средоточие всей жизни общины, ее культурной, социальной, политической и, до известной степени, экономической деятельности. Мечеть органически связана с базаром — или экономическим центром, и с дворцом — или властным, политическим центром, со школой — или интеллектуальным центром и т. д. Жилища всегда расположены в непосредственной близости, поэтому труд, отдых, молитва и семейная жизнь тоже сплетены в единство. Можно молиться в лавке, заключать сделки в мечети, учить детей дома или в мечети».

Но все это — как бы горизонтальные связи мечети. По вертикали же она соотнесена прежде всего со Словом, даже с буквой: разве не буквы являются зримым воплощением Божественного слова?

Дервиши погружаются в транс, сосредоточиваясь на графическом изображении Святого имени, дабы приблизиться к познанию Наименованного.

От «харф» — буква и «нукта» — точка взяли свои названия эзотерические секты *хуруфи* и *нуктави*, последователи которых видят в формах арабского алфавита саму суть Аллаха. Правда, ортодоксальный ислам отвергает эти секты.

Жизнь рядового мусульманина проходит в постоянном созерцании зримого Слова, каждая буква которого «раскрывает свою красоту со страниц Корана, со стен мечетей и иных сооружений, с ковров и покрывал, с одежды и посуды».

Вот почему место, занимаемое в мусульманском мире литературой, а под литературой прежде всего понимается поэзия — несравненно выше и значительней того, что отводится ей в европейской, в западной культуре.

Конечно, число грамотных даже в наиболее развитых странах ислама невелико по сравнению с той же Европой. Однако, не говоря уже о том, как численно мала европейская поэтическая аудитория, поэзия ислама исстари живет в устной передаче, ее принято читать нараспев, почти петь, ее невозможно отделить от музыки, а толпам, готовым всю ночь слушать стихи на так называемых мушаирах, могли бы позавидовать самые громкие рок-звезды.

Высочайшие образцы классической поэзии равно цитируют по памяти и образованные, и неграмотные — так можно ли здесь неграмотных считать вполне необразованными?

Тот же, кто стихи слагает,— он окружен всеобщим почитанием.

Гармония изначально присуща мирозданию, но она не всегда отчетливо проявляется в материальном мире. Поэзия возникает как раз тогда, когда гармония подчиняет себе материал — или слово. Отзываясь эхом на фундаментальную гармонию вселенной, поэзия помогает человеку, способному воспринять ее, возвратиться в состояние высшей озаренности, тоже изначально ему присущее, но утраченное от жизни в мирской суете.

Поэт — флейта, которая делает слышимым дыхание Бога.

Однако Книга, та, что всегда с большой буквы, благородный Коран, при всей своей поэтичности, конечно же, не входит в категорию поэзии, ибо поэзия все-таки остается

делом человеческим, а Коран есть физическое воплощение Божественного слова.

Пророк Мухаммед был строг к поэтам, с недоверием относился к их способности умерить поэтическое тщеславие и склониться перед высшей истиной.

Но как раз ислам подарил человечеству поразительные примеры поистине духовидческой поэзии, поэзии такой возвышенности и прозрачности, что иная реальность предстает в ней куда более ощутимой и прочной, нежели та, в которой мы живем изо дня в день.

О поэзии ислама нельзя говорить, не говоря о суфизме, а говорить о суфизме очень трудно.

Кто они такие — суфи? Неясна даже этимология слова суфизм, или *тасаввуф*, как зовут этот путь те, кто по нему идет.

Чаще всего слово *тасаввуф* выводят из корня «суф» — шерсть — в грубошерстные накидки облачались аскеты, стремившиеся отрешиться от формы во имя познания сути.

Невозможно удержаться от соблазна и не процитировать описание суфизма из книги Сайеда Хоссейна Насра; оно несколько более пространно, чем это принято в статьях:

«Суфизм есть путь, открывающий доступ к тишине, таящейся в сердцевине человеческого существования, тишине, которая является прекраснейшей формой музыки, слышимой только святыми, источника всех осмысленных действий и поступков человека, собственно, смысла его бытия.

...Суфизм раскрывает перед человеком возможность познать себя и, таким образом, познать Бога — и услышать музыку тишины. Следуя доктринам и методам этого пути, человек может уяснить себе, кто он есть, умереть для иллюзорного представления о себе, но воскреснуть в своей подлинной сути.

...Цель суфизма увести человека от мира форм в мир Духа, но поскольку жизнь человеческая проходит в мире форм и в начале духовного пути человеку от форм не отрешиться, суфизм использует их для обращения человека к внутреннему миру.

Форма есть покрывало духовного мира, но вместе с тем — и символ его, а также и лестница, по ступеням которой совершается восхождение к Духу, к союзу с ним.

По словам Аухади Кирмани:

> Я всматриваюсь в форму потому,
> что прозреваю в ней след духа.
> Весь мир из форм, мы в них живем
> и лишь сквозь них нам виден дух.

Только единицы способны достичь состояния полной отрешенности от материального мира — *таджарруда* без помощи материальных форм. Бóльшая же часть духовно одаренных приближается к Духу через формы, но формы столь утонченные и совершенные, что в них почти не остается непрозрачности многообразия — как в зеркале в них отражается красота единства духовного мира.

...Хотя существует множество вариантов пути к союзу, все они могут быть сведены к трем основным стадиям. Первая — это *кабз*, сокращение души. На этой стадии должны отмереть некоторые аспекты души, поэтому этот отрезок пути связан с аскезой, с покаянной молитвой, с теофанией справедливости и величия Бога.

Вторая стадия — *баст*, расширение, душа расширяется, превосходя пределы, отведенные ей человеческим существованием, объемля собой всю вселенную, пока человек не восклицает вместе с Саади:

> Я радостен в мире, ибо мир радостен в Нем!

Это стадия экстатического счастья, на которой проявляются красота и милосердие Бога.

И третья стадия: *висаль биль-Хакк*, единение с Истиной, когда позади остается все бренное, и человек соединяется с вечным».

Разорвать завесу, отделяющую личность от истины, прозреть и пережить экстаз нераздельного единения личности и истины — можно понять, отчего *тасаввуф* так тянул к себе людей искусства, отчего он стал животворным источником величайших его творений.

Едва ли можно понять исламское искусство без понимания того, что вкладывает в свой труд художник-мусульманин и что извлекает — стремится извлечь — слушатель или зритель из плодов художнического труда. Я думаю, что очень важно всегда помнить о вечной разнице в восприятии искусства человеком, воспитанным в той же системе координат, и другим — использующим эту систему координат для познания, пусть даже использующим очень умело. И в совершенно особой степени относится это к религиозному искусству.

Не случайно, упоминая об отсутствии в исламе мистериального театра, Наср объясняет это самой природой ислама, который исключает драматическое противостояние небесного и земного, равно как и героическую жертвенность с искуплением в виде божественного вмешательства. Единственным приближением к театральному действу он считает скорбный шиитский ритуал *тазии*, который попросту невозможен без душевной сопричастности к происходящему всех, принимающих в нем участие.

Подобное соучастие, сопричастность необходимы и для восприятия исламской поэзии — может быть, в меньшей мере,— ибо существует различие между тем, как представляет себе назначение поэзии Восток и как — Запад.

«Запад со времен Ренессанса последовательно разделял искусство и мысль, интеллектуализм и чувственность, логику и поэзию — в результате чего оказалась почти совершенно забытой традиционная доктрина: поэзия и логика соотносятся с одной и той же Реальностью, соединяющей их, но выходящей за их границы.

Восток же сохранил эту связь — при всех различиях в ее проявлениях в искусстве Дальнего Востока, индусского мира и сферы ислама. Здесь логика исследует законы движения человеческого ума от познанного к непознанному, поэзия — посвящает себя исследованию языка, сформированного теми же принципами красоты и гармонии, которые лежат в основе мироздания и управляют космосом.

Восточная поэзия всегда содержит в себе логический аспект, а многие научные труды Востока изложены стихами — что, кстати, облегчает их усвоение».

В соответствии с восточной традицией внутренняя реальность космоса, которая поддается интеллектуальному восприятию, зиждется на той же гармонии, что проявляется и в вещном мире. Более того, она же отражена и в языке — он сам есть слепок и с души человека и с космоса.

«Языковая субстанция - слово -- есть замена материальной субстанции вещного мира, и она строится на принципах космической гармонии. Как говорят индусы (в «Аттарейе-Брахмане») --- сама вселенная, правильно воспринятая интеллектом, «глазом сердца», есть плод сочетания гармонии и слова...»

Исходя из этого, на Востоке считается, что логика вступает в противоречие с поэзией, только если логика принимает характер чистой рациональности, а поэзия из выражения истинного знания вырождается в субъективизм.

По словам Джами:

Что есть поэзия? Песнь птицы интеллекта.

Что есть поэзия? Слепок с вечности.

Сайед Хоссейн Наср оговаривается: конечно же, такая концепция поэзии далека от общепринятых литературоведческих теорий, но удалена от профанической поэзии и поэзия восточной традиции, аналогом которой на Западе могут считаться «Божественная комедия» или «Потерянный рай», где выражение субъективного опыта поэта уступает место его видению трансцендентальной реальности — поэт становится всего лишь гидом на пути к ней.

Примером может служить творчество поэта суфи Фарид ад-Дина Аттара, жившего в XIII веке, во времена, «когда шесть веков развития исламской духовности уже создали традицию невероятного богатства, когда интенсивность духовной жизни напоминала период рождения ислама».

Бессмертный вклад Аттара в развитие суфийской мысли -- его поэма «Язык птиц».

Сначала об этом названии — «Язык птиц». По кораническому преданию, Аллах научил царя Соломона понимать птичью речь, что означает способность к диалогу с существами иного порядка, способность воспринимать поиск истины путем, отличным от собственного. Поиск истины — поскольку речь идет о существах крылатых, одаренных природным умением полета, преодоления прикованности только к земному.

«Все те, кто чувствует себя не вполне дома в этом мире мимолетных теней, кого влечет обратно их заоблачная родина — они принадлежат к породе птиц, ибо крылаты их души, даже если и не умеют они по-настоящему воспарить к высотам Божественного присутствия»,— так начинает Сайед Хоссейн Наср главу, посвященную «Языку птиц».

Сам по себе сюжет не столь уж сложен и разрабатывался ранее предшественниками Аттара.

Птицы собираются, чтобы выбрать себе повелителя — им трудно жить без старшего. Удод объявляет, что лучшим монархом была бы птица Симург, но Симург обитает на вершине космической горы Каф, а путь на вершину и тяжел, и опасен. Птицы колеблются, их влечет к вершинам истины, но «душе тяжело преодолеть земное притяжение. Душа пылает множеством страстей и находит множество предлогов, чтобы отказаться от власти всеочищающего огня...»

Попугай, традиционно символизирующий привязанность к земному, говорит, что его служение в том, чтобы отыскать живую воду и тем дать людям долгожительство.

Утка, которая проводит жизнь в воде что означает внешнее соблюдение религиозных обрядов без проникновения в их суть,— не решается расстаться с водоемами.

Соловей, вечно влекомый внешней красотой, но не способный в непригязательной форме прозреть красоту Бога, уверяет, будто его любовь к розе и есть предел духовности.

Каждая птица символизирует определенный человеческий тип, объединяет же их крылатая натура и тяга к полету.

Птицы отправляются в путешествие. Их было тридцать, тридцать птиц, *си-мург* по-персидски. Претерпев тяжкие испытания, они достигли цели и увидели -- Симург и есть они, все тридцать птиц, но в то же время Симург и отличается от них, ибо Симург — Душа каждой из их душ.

Так отразил Аттар суфийскую концепцию *вахдат аль-вуджуд* -- единства всего сущего, которое во внешнем мире может выглядеть многообразием, но является Единосущным по сути.

Однако это положение -- одно из самых главных в *тасаввуфе* - не есть главное в поэме Аттара: Наср обращает особое внимание на вставной эпизод -- на историю почтенного суфийского законоучителя и его любви к юной христианке.

Шейх Санан окружен уважением учеников и сограждан, полвека жизни он отдал многотрудному поиску пути к Истине, но любовь к иноверке оказывается сильней -- Шейх порывает с прошлым и даже отрекается от веры отцов. Шейх надевает монашескую рясу, он пьет вино, он и монастырских свиней не брезгует пасти.

Тщетны все старания учеников образумить учителя, но когда Шейх видит вещий сон, в котором сам пророк призывает его вернуться к вере отцов, Шейх внемлет этому призыву. И тут происходит вот что: его христианская возлюбленная, потрясенная силой духа Шейха, сама принимает ислам.

Конечно, этот поразительный эпизод есть продолжение темы диалога между теми, кто движется к истине, но разными путями; конечно, ислам диалогичен по самой своей природе, однако если вспомнить, что Шейх Санан -- наставник в эзотерической вере, то можно согласиться с выводом, который делает Наср:

«Кажется, что Аттар классическим языком суфийской поэзии стремится доказать, что подлинный экуменизм может быть только эзотеричным, ибо только эзотерическое позволяет прозреть суть других формальных вселенных».

Оставаясь в пределах формальной вселенной ислама, суфийская поэзия открыла в ней новое, глубинное измерение, сблизила ислам с мистическими традициями других религий.

Бог един, но сколь многообразны пути Его постижения.

Одна из лучших глав книги посвящена жизни и творчеству Джалаладдина Руми, автора непревзойденных «Маснави», отрицавшего, что он поэт, ибо, по его утверждению, стихи писались помимо его воли - от соприкосновения с тем миром, где все есть гармония. Руми основал суфийское братство мавлавийя членов этого братства европейцы звали «кружащимися дервишами»: чрезвычайно сложный танец, кругообразность которого была призвана символизировать движение сфер вселенной и помогать отождествлению дервиша с Высшим началом,

заметно выделял мавлавийя среди прочих суфийских братств.

Мусульманский мир отводит «Маснави» совершенно особое место: Джами назвал это стихотворное собрание «Кораном персидской литературы».

В творчестве Джалаладдина Руми, «несравненного метафизика, способного передать простым языком и конкретными метафорами наивысшие из истин», окончательно утвердилось в суфийском искусстве новое толкование *джихада* — священной войны против неверных как великой битвы добра со злом в душе человека. Война с неверными это «малая битва», «великая битва» — это освобождение души человека от всего, что мешает ее соединению с Единосущим.

Но здесь, настаивает Руми, важно видеть различие между внешними формами — *сурат* и потаенной сутью — *мана*. Понятно, что в материальном мире все обладает формой, но форма есть не более чем метафора незримой сути. Никакая реальность не исчерпывается внешними проявлениями, а потому знание на уровне формы не может быть полным. Проникая же в суть сущего, человек возвышается до осознания трансцендентального единства сущего.

«Проводя различие между формой и сутью,— пишет Наср,— Руми приходит к герменевтическому истолкованию всей действительности, и «космического Корана», и «явленного Корана», а также раскрывает высшее единство бытия и религий... В этом его философия искусства».

Для мусульманина искусство всегда отделено от жизни — жизнеподобие, имитация реальности принципиально чужды ему. Искусство ислама есть, скорее, продолжение жизни, продолжение реальности, но оно использует для этого свои собственные средства.

Лучшим примером воплощения этого принципа может служить миниатюра — пространство миниатюры и физическое пространство, в котором проходит человеческая жизнь, разделены отчетливо и нарочито, ибо двухмерное пространство миниатюры должно ввести смотрящего в алам-аль-хайял, мир воображения, промежуточную ступень для дальнейшего восхождения духа.

В миниатюрной живописи, замечает Наср, «пространство отображено так, чтобы глаз, переходя с плана на план, все время ощущал различие между двухмерным и трехмерным мирами. Однако миниатюра не позволяет взгляду упасть в одно лишь трехмерное пространство, ибо тогда сотрется грань между материально существующим и воображенным».

Книга Насра оставляет удивительное впечатление — изяществом мысли, безупречной логичностью научного анализа, равно как и тем, без чего такую книгу невозможно написать,— влюбленностью в искусство ислама.

Наср совершенно прав:

«Одним из важнейших аспектов исламского искусства сегодня сделалась его способность раскрывать сердце ислама более непосредственно и внятно, чем многие высокоученые трактаты. Образчик традиционной каллиграфии или арабесок более красноречиво говорит о глубине и благородстве, характерных для учения ислама, чем апологетические труды модернизаторов ислама или так называемых активистов... Исламское искусство более всего другого способно противостоять крайне негативному образу ислама, рисуемому теми, кто о нем пишет как о яростной, иррациональной и фанатической силе».

Конечно, как я уже говорила, нельзя забывать и об эффекте, который производят действия фундаменталистов — чего стоит хотя бы чудовищная история с Сальманом Рушди!

К тому же есть разница — да еще какая! — между интерпретацией ислама, предлагаемой профессором Насром, и тем, как понимает его какой-нибудь узколобый деревенский мулла.

В любом случае нельзя не согласиться с Насром и не разделить его боль, когда он пишет:

«Многие западные историки искусства либо остались равнодушны к духовному смыслу исламского искусства, либо не сумели понять его органическую связь с религией, давшей этому искусству жизнь. Значительно труднее понять тех мусульман, которые во имя социальной справедливости принижают роль искусства в исламе, низводя его до категории роскоши, излишества — сознательно или неосознанно разделяя столь популярный нынче на Западе взгляд на искусство и на красоту как на предмет роскоши... Они забывают, что красота — один из атрибутов Аллаха.

...Стремясь возвратить ислам к его первоначальной «чистоте», они создают вакуум в душах мусульман и разрушают как раз то, что призвано помочь исламу выжить».

У книжной витрины

АНДРЕ БАРИЛАРИ
Разорванный горизонт

Andre Barilari. L'Horizon rompu. «Julliard»

Главный герой исторического романа французского писателя Андре Барилари носит красноречивое имя Бускано (испанский корень «buskar» — «искать»). Его, бывшего семинариста и блестящего астронома, берет с собой в плавание Христофор Колумб и велит ему исправить неточности, допущенные Птолемеем. Потерпев крушение, 18 января 1493 года Бускано оказывается на неизвестном острове, спешно названном «Эспаньола». Такой поворот событий преображает героя: у него открываются глаза, и он уже не желает нести туземцам свою веру и культуру. Он принимает местные обычаи, женится на прекрасной дикарке Пирипе и благодаря своим познаниям обретает среди индейцев почет и уважение, становится «Человеком-солнце». Но и в новом качестве Бускано продолжает исследования, для чего совершает путешествие к ацтекам, в Мексику, где встречается с «коллегой» — главным жрецом.

Все годы своей «туземной» жизни герой ведет дневник (он-то и составляет основу книги), который в конце концов, по морскому обычаю, кладет в бутылку и бросает в океан. И вот, проблуждав пять столетий, послание достигает европейских берегов... Роман Андре Барилари — это одновременно приключенческое повествование, философская элегия, реалистичный бортовой журнал с элементами вымысла, а потому он в равной степени может заинтересовать поэта, подростка, искателя приключений и мыслителя.

ПАТРИК ЗЮСКИНД
История господина Зоммера

Patrick Süskind. Die Geschichte von Herrn Sommer. «Diogenes»

Вышедший в 1985 году роман «Парфюмер» (читайте его в «ИЛ» 1991, № 8) принес Патрику Зюскинду всемирную славу. В 1991 году цюрихское издательство «Диогенес» выпустило его новую книгу, «История господина Зоммера».

На берегу Штарнбергского озера, в котором когда-то утонул сказочный король Людвиг, растет мальчик — двойник автора.

Время действия — эра Аденауэра. Мальчик учится кататься на велосипеде и переживает первую любовь. Он входит в мир образованного бюргерства с его ритуалами, среди которых и посещение фортепьянных уроков в доме некоей старой девы. Умело выстроенный ряд эпизодов рассказывает о том, как человек учится жить. Уважение и самоуважение, отречение и примирение — вот большие темы этого маленького произведения. А сквозь него проходит давший книге заглавие господин Зоммер, имени которого никто не знает. Однажды мальчик едет с отцом на машине в непогоду и видит на дороге промокшего прохожего — это господин Зоммер. Они хотят подвезти его, но слышат раздосадованное: «Да оставьте меня наконец в покое!» Несколько лет спустя мальчик оказывается свидетелем самоубийства господина Зоммера. Он не вмешивается, помня эту жалобную фразу. Со смертью Зоммера начинается взросление мальчика.

АНДРЕ ГЛЮКСМАН
Одиннадцатая заповедь

Andre Glucksmann. Le XI[e] Commandement. «Flammarion»

В последнее время многие страны (и облик планеты в целом) стремительно меняются, и, возможно, за неполных два года — с ноября 1989 (Берлин) по август 1991 (Москва) — идеи мира, свободы и человечности распространились больше, чем за два предыдущих столетия. Однако праздновать полную победу над тоталитаризмом рано, считает современный французский философ Андре Глюксман и всесторонне развивает этот тезис в своей новой книге. Заявленную в названии «одиннадцатую заповедь» автор формулирует так: «Пусть ничто бесчеловечное не оставит тебя безучастным». Это своего рода призыв не складывать оружия перед лицом всего того, что мешает жить людям. Ведь благодаря тем, кто следовал этой заповеди — А. Сахарову, А. Солженицыну, В. Гавелу,— многие смогли избавиться от опасных и зловещих утопий, многие поняли, что, как это ни парадоксально, глобальные трагедии и несчастья могут идти по стопам идеологий, обещающих построение земного рая для всеобщего блага.

В отличие от большинства оптимистично настроенных западных интеллектуалов и мыслителей Андре Глюксман готов к очередному «крестовому походу» против любой «империи зла» — как оставшейся от прежней эпохи, так и нарождающейся сейчас.

МАЙКЛ КАММЕН

Мистические струны памяти

Michael Kammen. Mystic Chords of Memory. «Knopf»

Американский историограф Майкл Каммен был удостоен Пулицеровской премии за книгу «Нация парадоксов» (1972). В новой работе он анализирует прошлое своей страны, начиная со второй половины XIX века, исследует взаимосвязь между национальной историей и коллективной памятью нации со времен первых колоний в Америке.

По его мнению, не национальное прошлое формирует мифологию народа, а, наоборот,— национальные мифы конструируют образ исторического прошлого. Таким образом, история являет собой своеобразный спектакль, вереницу сцен, которые нация лицезреет сквозь замутненный бинокль, причем аберрация зрения происходит из-за воздействия на общественное сознание традиций, предрассудков, самовнушения и стереотипов. Ученый показывает, как американцы искажали историю страны, сообразуясь с требованиями текущего момента и состоянием национальной психологии.

В середине XIX века в Америке еще считали, что история — это все связанное со Старым Светом, а потому может быть предано забвению. Курсы американской истории редко включались в школьные программы. По мнению М. Каммена, для молодой плюралистической нации цементирующим моментом было скорее ее будущее, нежели прошлое. Пробудившийся после Гражданской войны интерес американцев к национальной истории усилился в XX веке. После второй мировой войны, считает М. Каммен, патриотизм превратился в Америке в светскую религию. Правда, эти чувства по-разному проявлялись в эпоху относительно спокойного периода процветания и в нестабильной обстановке, вызванной вьетнамским конфликтом. 1970-е гг. стали периодом ностальгии — «истории без чувства вины», как определяет это состояние национальной души М. Каммен. Американцы чтят свое прошлое, не оставаясь у него в плену. Но М. Каммен утверждает, что, несмотря на возросший интерес к истории страны, они по-настоящему не знают ее.

АНРИ ТРУАЙЯ

Николай II. Последний царь

Henri Troyat. Nicolas II. Le dernier tsar. «Flammarion»

Перу Анри Труайя, лауреата Гонкуровской премии и члена Французской академии, принадлежит несколько биографических книг о всемирно известных русских писателях (см. «ИЛ» 1985, № 2). Интерес автора к «русской теме» вполне понятен, если учесть, что Лев Тарасов (таково его настоящее имя) родился в России. И вот еще одна биография — на сей раз последнего русского царя. Анри Труайя оставляет за фантазерами и мистиками право доказывать, что с убийства Столыпина в 1911 году началось крушение Российской империи. А за историками он оставляет право обсуждать реальность и вероятность экономического «взлета» России в результате энергичных действий Витте. В центре книги — прежде всего личность самого Николая II, его человеческие черты, его окружение, дневники царя и юного царевича Алексея, роковая фигура Распутина и кровавый финал в Екатеринбурге, когда большевики уничтожили монарха, которого с самого начала царствования преследовали трагические неудачи... Жизнь и гибель императорской семьи в такой стране, как Россия,— предмет, по-прежнему волнующий умы и сердца.

ЛИДИЯ ФЛЕМ

Фрейд-человек

Lydia Flem. L'Homme Freud. «Seuil»

В 1986 году психоаналитик из Брюсселя Лидия Флем опубликовала книгу «Каждодневная жизнь Фрейда и его пациентов», о содержании которой ясно говорит ее название. Однако о личности основателя психоанализа, великого мыслителя и смелого ученого, разумеется, невозможно рассказать в одной книге, и Лидия Флем продолжила тему. Теперь в центре внимания автора находится Фрейд как неутомимый писатель, который «в порыве вдохновения непостижимым образом сводит воедино Рим, Афины и Иерусалим», который постоянно ставит перед собой вопросы (и отвечает на них!), основываясь на личном опыте, на литературных и исторических фактах, на данных археологии и философии, на простых проявлениях жизни и художественном ее восприятии. И столь же настойчиво и тщательно Лидия Флем прослеживает все те нити, которые, благодаря мысли Фрейда, сплелись и образовали ткань психоанализа. По мнению критики, эрудиция и бережный подход к материалу позволили автору новой биографии Фрейда достичь цели и раскрыть взаимосвязь писательского творчества и других сфер культуры.

ФРЕДЕРИК ТРИСТАН

Мастерская утраченных грез

Frédérick Tristan. L'atelier des rêves perdus. «L'Aube»

Издательство «Л'Об» приступило к выпуску новой серии под названием «Жизнеописание», идея создать которую принадлежала Герману Гессе. В его определении тема книг звучит так: «Вымышленная автобиография с действием, происходящим в какую-нибудь из прошлых эпох». Среди первых авторов, принявших участие в этой затее,— известный французский писатель, лауреат Гонкуровской премии Фредерик Тристан (о романе «Заблудшие», см. «ИЛ», 1984, № 4).

В его романе «Мастерская утраченных грез» о себе рассказывает немецкий худож-

ник, живущий в Германии конца XVI века. Он жаждет приключений и покидает свой пышный Франкфурт с его ручными печатными прессами и гравюрами. Любовь к искусству и поиски идеальной девушки приводят героя в великолепную тициановскую Венецию, а затем и дальше — в города Средиземноморья, в Прагу, в Лондон... В своих дальнейших странствованиях художник сталкивается с пиратами и случайными женщинами, попадает в волшебный гарем султана в Константинополе, знакомится с загадочными учениями алхимиков и астрологов, с магией, с масонством. Фантазия Фредерика Тристана проносит его литературное «второе я» по ренессансной Европе, среди великих эстетических грез безумного века.

ДОМИНИК ФЕРНАНДЕЗ
Порфирио и Констанция

Dominique Fernandez. Porfirio et Constance. «Grasset»

Романист, эссеист, литературный критик Доминик Фернандез играет заметную роль в современной культурной жизни Франции; он удостоен премии Медичи (1974) за повесть «Порпорино» и Гонкуровской премии (1982) за романизированную биографию Пьера Паоло Пазолини «В руке ангела». Его новая книга «Порфирио и Констанция» представляет собой вторую часть дилогии (первая — «Школа на Юге» опубликована в прошлом году), посвященной родителям автора, непохожести их судеб, их встрече и взаимной любви, несмотря на которую они так и не смогли до конца понять друг друга.

Действие романа происходит в довоенной Франции, и главные герои оказываются непосредственными участниками характерной для 30-х годов острой политической борьбы между «правыми» и «левыми» всех оттенков. Упрямая, наделенная ясным, трезвым умом интеллектуалка Констанция критически оценивает власти и общество, между тем как исполненный воодушевления южанин Порфирио (в романе он — уроженец Сицилии) крайне необдуманно бросается в идейные схватки, живя сиюминутными интересами. В результате он увлекается деятельностью вожаков, кидающихся от коммунизма к фашизму, и не вполне осознанно становится коллаборационистом. В образе Порфирио легко угадываются черты отца автора — полумексиканца-полуфранцуза Рамона Фернандеза, известного журналиста довоенной поры. Оба — Порфирио и Констанция — пытаются освободиться от груза прошлого, создать семейный очаг, однако сухость и властность одной и неумелость другого мешают им достичь этого.

АМАДУ АМПАТЕ БА
Амкулель, туземное дитя

Amadou Hampâté Bâ. Amkoullel, l'enfant peul. «Actes Sud».

Амаду Ампате Ба еще при жизни стал легендой. Крупный представитель западноафриканской культуры, поэт, романист, лауреат международной премии за лучшее франкоязычное произведение, член исполнительного совета ЮНЕСКО, он был воплощением мудрости и древнейших литературных традиций своего народа. Ровесник века, Амаду Ампате Ба скончался в своем последнем пристанище в столице Кот-д'Ивуара Абиджане в мае прошлого года, за несколько месяцев до выхода в свет книги его воспоминаний.

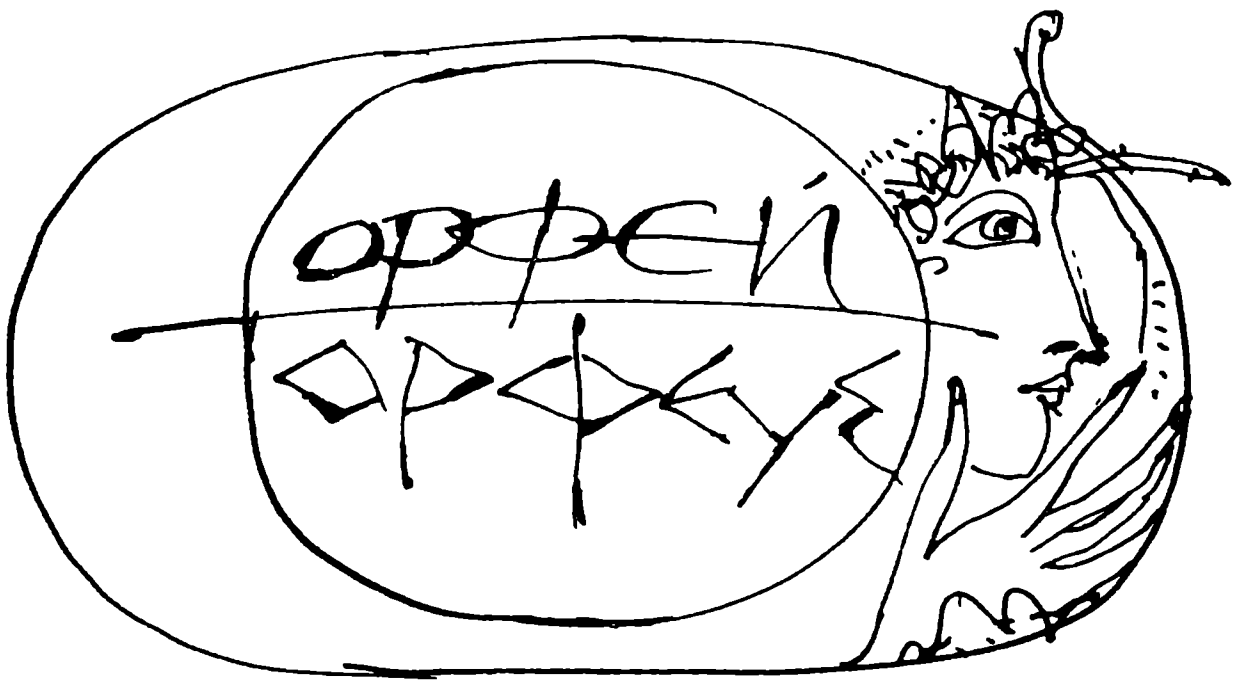
«Амкулель, туземное дитя» повествует о первых годах жизни автора, об учебе в мусульманской, а затем и в «белой» школе, о первых встречах черного ребенка с европейцами. Местные жители прозвали их «люди со вспыхивающей кожей», поскольку европейцы мгновенно краснели, когда сильно сердились. И вот, набравшись храбрости, африканский мальчик дотронулся до белого человека и, не получив, к своему удивлению, ожидаемого ожога, продолжал изучать столь диковинные существа, почему-то ходившие в скорлупе (так он называет одежду)... Амаду Ампате Ба не ограничивается рамками личной биографии и, рассказывая историю своего древнего народа, описывает битвы, изгнания, старинные обычаи и предания. Благодаря такой подробности и широте изложения, сын анимизма, Корана и Третьей Республики приближается в своих мемуарах к эпическим произведениям.

Курьер «ИЛ»

Болгария

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ

Никогда за последние десятилетия спектр литературных изданий Болгарии не был столь богат и многообразен. Выходят не только старые газеты и журналы, хотя иногда под другими названиями («Литературен фронт» стал «Литературен форум», а «Септември» — «Летописи»), но появилось и несколько новых. В конце 1991 года вышел первый номер «Везни», продолжающего традиции одноименного журнала, который в 20-е годы издавал замечательный поэт Гео Милев, поклонник Верхарна, Маяковского и экспрессионистов. Сегодняшняя редакция стремится расширить эстетические рамки болгарской литературы и представить ту линию в ней, которая тяготеет к авангарду, к эксперименту в поэзии и прозе. Главное внимание уделяется осмыслению опыта западного и русского искусства начала XX века. В номере публикуются статьи о сюрреализме, Фрейде, творчестве С. Дали, новые переводы стихов Б. Пастернака, «Краткая повесть об Антихристе» В. Соловьева. Некоторые черты культурной жизни Болгарии наших дней отражены в заметках о театральных премьерах, рассчитанных на обывательский вкус, об издании эротического романа «Эммануэль». О состоянии болгарской литературы говорит в интервью популярный поэт Д. Дамянов. Он считает, что в условиях нарождающейся рыночной экономики писатели оказались в более тяжелом положении, чем раньше, а обедневший народ перестает интересоваться серьезными книгами. Тем не менее редакция «Везни» ставит своей целью пропагандировать истинное искусство, используя ту свободу, которая предоставлена художнику после крушения тоталитаризма.



Журнал «Орфей», как сказано в обращении к читателям — издание частное, независимое, посвященное изящной словесности, искусству и бизнесу,— будет публиковать произведения не только болгарских, но и зарубежных авторов.

Его редактор поэт Л. Левчев обратился к своим друзьям — писателям разных стран с просьбой поддержать его начинание. Свое согласие сотрудничать с журналом дали известные писатели Ж. Амаду, Э. Роблес, Э. Гийевик, А. Боске — их приветствия помещены в первом номере. Здесь помещены стихи известной поэтессы Б. Димитровой и молодых поэтов — француза Ф. Комба и японца Кэна Нагая, статья болгарского критика Ч. Добрева о Достоевском и другие материалы. Журнал богато иллюстрирован, а его эмблемой избран рисунок греческого поэта Янниса Рицоса — Орфей, устремляющий взгляд в будущее,— символ любви и единения с природой.

Индия

БОМБЕЙ — КАНН — МИССИСИПИ

Молодой режиссер Мира Наир начинала свой творческий путь с документалистики, но уже первый ее полнометражный художественный фильм «Салаам, Бомбей!» (см. о нем «ИЛ», 1989, № 6), рассказывавший о жизни уличных детей, с огромным успехом прошел во многих странах, удостоился «Золотой камеры» на Каннском фестивале (1988) и выдвигался на получение Оскара, а на следующий год Мира Наир была в Канне в составе жюри.

И вот теперь на экраны выходит ее новый фильм «Миссисипи Масала», снятый в США. Он повествует о любви негра с американского Юга и молодой индианки, семья которой была вынуждена бежать из Уганды от преследований репрессивно-

Мира Наир

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

го режима. Нетрудно себе представить, насколько сильна эта «масала» (смесь пряностей). «Меня интересуют темы жизни на чужбине и расизма в их взаимосвязи»,— признается кинорежиссер, и она знает, о чем говорит: когда обсуждался проект фильма, американцы потребовали, чтобы в нем была роль и для представителя белой расы.

Испания

ПОБЕЖДАЕТ ПРОСТО ХОРОШАЯ ЛИТЕРАТУРА

Любопытными и отчасти неожиданными оказались результаты опроса профессиональных читателей, который провела крупнейшая мадридская газета «Паис». Пятидесяти восьми известным испанским писателям, критикам, издателям было предложено назвать имена наиболее интересных, на их взгляд, авторов, а также лучшие произведения, созданные за последние шестнадцать лет. Точка отсчета — 1975 год — выбрана не случайно: это конец франкизма.

Поистине удивительно, что в число пятнадцати наиболее популярных авторов не вошли Делибес, Бальестер, Села. А ведь эта «святая троица», как шутливо именует их испанская пресса, неизменно лидировала при различных предыдущих опросах. Однако на сей раз пальму первенства получил Эдуардо Мендоса: сразу два его романа — «Правда о деле Савольта» (1975) и «Город чудес» (1986) — заняли призовые первое и третье места. Примечательно, что «Город чудес» критики ставят в один ряд с такими европейскими бестселлерами, как «Имя розы» У. Эко и «Парфюмер» П. Зюскинда. С успехом можно поздравить и Хавьера Мариаса, чья книга «Все души» (1989) получила «серебро».

Наиболее популярными писателями признаны Эдуардо Мендоса, Хуан Бенет, Хуан Марсе, Хавьер Мариас. И лишь за ними следуют именитые Мануэль Васкес Монтальбан и Альваро Помбо. Реже обычного назывались имена братьев Гойтисоло.

Помимо испаноязычных авторов предлагалось определить и лидеров каталанской, галисийской и баскской литератур. Здесь итоги, скорее, закономерны, поскольку победителями стали уже успевшие заявить о себе Мерсе Родореда, Жозе Луиш Мендеш Феррин и Бернардо Атксага.

Анализируя результаты опроса, следует отметить жанровое разнообразие выбранных книг: от фантастики и приключенческих книг до мемуаров с описанием мельчайших подробностей самой что ни на есть обыденной жизни. Читателей привлекает не столько тема, сюжет или модное имя, сколько хороший слог, а потому побеждает не жанр, не направление, а просто хорошая литература.

США

ВЕЛИКОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО

На протяжении тридцати лет Гарольд Бродки оставался нерешительным Гамлетом американской прозы, а его неопубликованный роман «Пир зверей» — притчей во языцех. Г. Бродки дебютировал в 1958 г. сборником рассказов «Первая любовь и другие огорчения». Потом его рассказы время от времени появлялись в различных журналах и дали некоторым критикам повод объявить недавнего дебютанта «американским Прустом».

В 1964 году Г. Бродки передал рукопись своего первого романа «Пир зверей» издательству «Рэндом хаус», которое тут же анонсировало его выход. Однако писатель продолжал дорабатывать рукопись так долго, что «Рэндом хаус» отказалось от нее и передало издательские права компании «Фаррар, Страус энд Жиру». В 1970 г. роман был анонсирован в новом издательстве, но Бродки все никак не мог поставить последнюю точку. В 1979 г. рукопись перекупил «Кнопф» и, естественно, объявил о предстоящем выходе романа. Но в 1988 году Г. Бродки опубликовал книгу новелл, куда, по-видимому, включил фрагменты «Пира зверей». Роман между тем вновь вернулся в «Фаррар, Страус энд Жиру». И вот теперь наконец magnum opus Г. Бродки увидел свет в этом издательстве под названием «Беглый дух».

Роман представляет собой почти бессюжетное повествование автобиографического характера. Видимо, желая подтвердить справедливость давнего приравнивания его пера к прустовскому, Бродки нередко пытается воссоздать воспоминания о чувственных впечатлениях детства — запахах, вкусе — и детских переживаниях.

Критики с жадностью прочитали долгожданную книгу и — не смогли скрыть разочарования. По словам журнала «Тайм», «вряд ли можно осуждать читателей, которые сочтут эту книгу великим надувательством». Г. Бродки в течение трех десятилетий удавалось поддерживать миф о своем литературном таланте, но теперь этот миф лопнул как мыльный пузырь.

Рецензенты упрекают писателя в отсутствии чувства меры, велеречивости и наивности его философствований. Словом, роман Г. Бродки стал одним из наиболее курьезных событий текущей литературы США.

Франция

ФРАНЦУЗЫ И КНИГИ

Парижский журнал «Нувель обсерватёр» опубликовал несколько статей, посвященных ситуации на книжном рынке и читательскому спросу во Франции. В 1990 году французы поставили национальный рекорд, купив 324213 тыс. книг! Причем эта гигантская цифра была получена после трех лет постоянного увеличения спроса на книги. Поэтому, когда в первой половине 1991 года наметился некоторый

Жорж Санд. Рисунок Альфреда де Мюссе.

Жорж Санд и Альфред де Мюссе плывут из Марселя в Геную.

(Журнал «Магазин литтерер»)

спад, издатели и владельцы книжных магазинов встревожились и стали искать его причины. По мнению специалистов, свою роль сыграли политические события (в частности, война в Персидском заливе), а также появление большого числа малоинтересных книг.

Выяснились и некоторые парадоксальные факты, опрокидывающие довольно распространенные заблуждения. Например, оказалось, что телевидение ничуть не отвлекает французов от чтения, напротив, многие заядлые телезрители читают больше остальных. Весьма неоднозначной оказалась связь чтения и уровня образованности: люди с высшим образованием по-прежнему лидируют среди читателей, однако школьники и студенты теперь гораздо реже проводят свободное время с книгой в руках. Что касается ситуации в Европе, здесь французы, можно сказать, не ударили в грязь лицом, заняв пятое место по расходам на книги на душу населения. И хотя немцы и скандинавы их обогнали, зато англичане, итальянцы и бельгийцы остались позади. К тому же некоторые немецкие исследователи считают, что Германия обошла Францию за счет приобретения книг университетами и библиотеками, тогда как частные лица в обеих странах тратятся на книги приблизительно одинаково. К этому можно добавить, что при любой статистике среди важнейших показателей остаются художественные достоинства книги, ее качественный уровень, а не только впечатляющие тиражи и коммерческий успех. В конце концов, по выражению одного французского журналиста, культура не продается на вес, а литературе не страшны ни огонь, ни телевидение, ни видеотеки. Погубить ее может лишь одно — плохие книги, а в результате — охлаждение людей к чтению.

Житель Америки, 1577 год.

(Журнал «Лир»)

«КОЛУМБИАНА» ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ

К 500-летнему юбилею открытия Америки французские издатели порадовали читателей новинками, которые можно объединить в серию «Колумбиана». И одним из крупных авторов в этой серии является, пожалуй, сам великий мореплаватель: издательство «Декуверт» выпустило трехтомное собрание его письменного наследия под заголовком «Открытие Америки» («Бортовой журнал: 1492—1493 гг.»; «Путевые заметки: 1493—1504 гг.»; «Записи и документы: 1492—1506 гг.»). Взглянуть на случившееся пять веков назад глазами другой стороны — индейцев — предлагают в первом томе своего исследования «История Нового Света» Серж Грузински и Кармен Бернан (изд-во «Файяр»).

Любопытно, что писатели-историки далеко не единодушны в оценке этого события и его последствий для Европы. Так, Цветан Тодоров в «Открытии Америки» («Пуан/Сёй») утверждает, что столкновение двух культур перевернуло интеллектуальную жизнь Запада; разделяющий эту точку зрения Бернар Венсан красноречиво выразил ее в названии своей книги — «Великолепный 1492 год» («Обье»). Не уступая своему коллеге ни в полноте анализа, ни в красноречии, известный рома-

нист и знаток иберийской истории Бартоломе Беннасар приходит к совершенно иному выводу: Новый Свет — это продолжение Старого, а 1492 год немногим переломнее предыдущих и последующих лет («1492 год: Новый Свет?», изд-во «Перрэн»).

Золотую середину в научном споре отыскали Ги Мартиньер и Консуэло Варела («Мир в 1492 году», изд-во «Декуверт»): это открытие не имело бы столь безусловно важных последствий для Европы, если бы не особенности ее собственного развития в тот период (в частности, окончание мусульманского правления в Испании, расцвет изобретательского дела наряду с исчерпавшим себя культурным запасом эпохи Возрождения, поворот политики в сторону экспансии). Но, несмотря на разногласия ученых, вряд ли кто-либо станет оспаривать решение Жана Фавье, включившего сюжет об открытии Америки в свою документальную книгу «Великие географические открытия со времен Александра Македонского до Магеллана» («Файяр»).

МУЗЕЙ ЖОРЖ САНД

Увлекательное путешествие в романтический мир Жорж Санд теперь стало возможным благодаря созданию музея под открытым небом на родине писательницы в деревушке Ноан, провинция Берри. Осуществление этого грандиозного проекта потребовало многих лет работы, а центром экспозиции стал дом писательницы, где она провела последние годы жизни.

Музей, названный «Романтическим парком Жорж Санд», предложит посетителям прогулки по неизведанным беррийским уголкам, тесно связанным с жизнью и творчеством известной французской романистки.

ВМЕСТО ОДНОЙ МАДАМ — ДВЕ МАДЕМУАЗЕЛИ

Благодаря Александре Рипли американская литература получила «Скарлет» — продолжение знаменитого романа «Унесенные ветром». Французы, видимо, решили не отставать от американцев и даже кое в чем перещеголяли их: недавно в двух разных издательствах вышли две книги разных авторов под одним и тем же названием — «Мадемуазель Бовари».

Раймон Жан определяет свое произведение как «повесть» и всячески подчеркивает, что не стремится в буквальном смысле дописывать за Флобера его шедевр. Другой автор, Максим Бенуа-Жанен, напротив, в своей книге сохраняет и язык, и структуру «Госпожи Бовари»; в предисловии даже сказано, что рукопись принадлежит современнику Флобера и что сам Флобер будто бы позволил автору написать это продолжение после своей смерти.

«Мадемуазели Бовари» довольно сильно разнятся и по сюжету. У Бенуа-Жанена все превращено, по его собственному выражению, в «комедию провинциальных нравов» с самыми невероятными ситуациями: Берта (которую, как известно, после смерти Шарля отправляют работать на прядильную фабрику) оказывается в публичном доме, куда ее пристраивает подруга по прядильне — лесбиянка, и становится любовницей Родольфа, бывшего любовника своей матери, а затем выходит за него замуж. У них рождается мальчик, которого Берта отдает Ноэми, жене бездетного владельца прядильни. Когда Родольф умирает, Берта осуществляет мечту Эммы Бовари и отправляется в Париж, где находит Лёрё и, отравив его из мести, становится любовницей Жерома де Вийера, племянника Ноэми, который, как выясняется в финале, является внебрачным сыном Шарля...

Не менее фантастичные события происходят в книге Раймона Жана. Один из поклонников Берты дает ей почитать роман под названием «Госпожа Бовари»; Берта разыскивает автора и встречается с ним в Круассе; она оказывается в постели с Флобером, и уже вместе они переживают перипетии судебного процесса над автором «безнравственного произведения»; ну а в конце концов инспектор возвращает беглую сироту домой.

В обеих книгах немало окололитературных аллюзий, особенно преуспел в них М. Бенуа-Жанен: тут и братья Гонкур (с ними встречается Берта), и Бодлер с непременным опием, и Бувар и Пекюше (воспитатели племянника Ноэми, а затем и самой Берты), и даже знаменитый попугай, который с легкой руки

Джулиана Барнса (имеется в виду его известная книга «Попугай Флобера») возникает всюду — и в повествовании, и на обложке книги Раймона Жана... Пожалуй, Клоду Шабролю вскоре придется работать над новой экранизацией — на сей раз уже «Мадемуазель Бовари».

ХОЛОСТЫЕ, НО БОЕВЫЕ

Литературовед и критик Жан Бори давно исследует любопытную тему: роль и место писателей-холостяков в литературной и общественной жизни. Еще в 1976 году Жан Бори опубликовал книгу «Холостые французы», а недавно в издательстве «Грассе» вышла в свет его новая работа «Гюисманс — дьявол, холостяк и бог». Посвящена она французскому писателю Жорису Карлу Гюисмансу (1848—1907), который может служить классическим образцом любого из трех определений, содержащихся в названии. Остановимся, однако, на среднем.

Гюисманс не только сам убежденный холостяк — таковы и практически все герои его книг, даже если формально они иногда имеют статус семейных. Внутренняя независимость, подчеркнутая внешними проявлениями,— вызов, прежде всего, узколобым, обывательским нравам, пуританской морали. В этом смысле холостяк — самостоятельная, свободная личность, Одиссей, которого на Итаке ждет что угодно и кто угодно, кроме Пенелопы. Особую группу являют собой холостые художники: по мнению Жана Бори, этот признак сближает их произведения больше, чем принадлежность к любому литературному течению или школе, а их бессемейность выходит за рамки индивидуальной психологии или социального положения. Возникает отдельный круг творцов, для которых важно признание или порицание только равных им собратьев по личной свободе, как и они, хранящих верность не жене или любовнице, а своему перу, своему таланту.

Холостяк (мужской род, единственное число) отказывается от брака — этого странного института, где высокие, чуть ли не святые помыслы и обещания перемешаны с торгашеским расчетом и завуалированными, но весьма твердыми расценками. Ж. К. Гюисманс предпочитал более откровенные тарифы: «Бордель — вот что действительно истинно; по крайней мере, оттуда после всего выходишь свободным» (из письма Арижу Пренсу, 8 сентября 1888 года). Отвергая брак со всеми его безрадостными сторонами (женские болезни, орущие дети, пресловутые постельные «супружеские обязанности»), писатель нисколько не подавляет в себе сексуальность: уж коли появится желание — держитесь юбки или брюки! Благо, простор для фантазии имеется (была же у знаменитых холостяков братьев Гонкуров общая любовница).

В новой книге, как и в предыдущей, Жан Бори рассказывает о Бодлере, Флобере, братьях Гонкурах и Гюисмансе — литературных холостяках конца XIX века. Но и сто лет спустя остался актуальным протест против конформизма, пошлости и принуждения, выраженный через отказ от семейной жизни. И в конце XX века необычайно современен парадокс Оскара Уайльда, изреченный им сто лет назад в «Портрете Дориана Грея»: «В наше время холостяки живут, как женатые, а женатые — как холостяки».

ПОБУДЬТЕ ДЕНЕК С МАРСЕЛЕМ

«Пруст, суббота, 27 ноября 1909 года» — так называется не совсем обычная книга, опубликованная издательством «Латтес» в серии «Один день». Вот что говорит в послесловии автор книги Ален Бюизин: «Я давно мечтал уместить в одном дне из жизни писателя как можно более полную его биографию». Для этого нужно было выбрать какой-то типичный, характерный день и вложить в рассказ о нем целую личную историю — нечто вроде традиционных китайских новелл, где представлены лишь некоторые самые главные события в биографии героев. При этом Ален Бюизин столкнулся с массой трудностей: тут не обойтись без придуманных элементов, невозможно ни соблюсти хронологическую последовательность, ни достоверно проверить каждый факт — ведь многое исчезло безвозвратно.

Как же провел Марсель Пруст 27 ноября 1909 года? Встал в три часа пополудни, позавтракал, привел себя в порядок и пригласил нескольких друзей пойти в театр, а затем поужинать в ресторане. До того позвонил старый приятель Люсьен Доде, а после ужина Пруст продолжил работу над своим будущим шедевром «В поисках утраченного времени». По ходу действия одна за другой появляются ассоциации: вспоминаются то прежние дома и встречи, то лучший друг, таксист Агостинелли,— его трагическую гибель в авиакатастрофе пять лет спустя Пруст будет тяжело переживать. А пока он, подобно Леопольду Блуму из «Улисса», переплетая настоящее и прошлое, близкое и далекое, проносит перед читателем ту субботу; однако, в отличие от Джойса, Алену Бюизину понадобилось всего 200 страниц.

Чили

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

В возрасте 15 лет уроженец Чили Рауль Руис поставил себе задачу: написать сто пьес. И вот теперь, к пятидесяти годам, исполнил задуманное. Многие из этих пьес послужили сценариями для его фильмов, а «Три печальных тигра» (1968 г.) стали началом международного признания Рауля Руиса как представителя авангардизма в киноискусстве. Кроме того, он руководил Культурным центром в Гавре, ставил Кальдерона для Авиньонского театрального фестиваля и преподавал в Гарварде (см. о нем «ИЛ», 1987, № 1). В его новой постановке сочетаются кино и театр: для «Изгнания мавров» (по знаменитой картине Веласкеса) Рауль Руис решил прибегнуть к аллегорическому изображению сложных взаимоотношений христианства и ислама. На его картинах-монтажах представлены великие потрясения и «отвратительные страницы» истории Испании. Стараясь обойти некоторые мусульманские запреты на изображения, художник-постановщик создает особый мир, состоящий из отражений и иллюзий. Рауль Руис осуществляет свою мечту «драматурга-волшебника»: «Показать все и сказать обо всем».

По материалам журналов «Лир», «Магазин литтерер», «Нувель обсерватёр» (Франция), «Тайм», «Ньюсуик» (США), «Кензен литтерер» (Франция), газеты «Паис» (Испания), и материалам наших корреспондентов.

Авторы этого номера

МИЛАН КУНДЕРА (MILAN KUNDERA; род. в 1929 г.) — чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. С 1975 г. живет в Париже. (В 1979 г. был лишен чехословацкого гражданства.) На родине опубликовал сборник стихов «Монологи» («Monology», 1957), пьесу «Владельцы ключей» («Majitelé klíčů», 1962), сборник рассказов «Смешные любовные истории» («Smešňé lásky», 1963). Последующие произведения писателя издавались уже за границей: романы «Жизнь не здесь» («Život je jinde», 1970; отмечен во Франции премией Медичи, в Италии — премией Монделло), «Прощальный вальс» («Valčík na rozloučenou», 1972), «Книга смеха и забвения» («Kniha smichu a zapomění», 1978), «Бессмертие» («Nesmrtelnost», 1989), «Шутка» («Zert», 1967; перевод романа опубликован в «ИЛ», 1990 , № 9—10).

Роман «Невыносимая легкость бытия» переведен на многие языки мира, зарубежная литературная критика считает его одним из главных литературных событий десятилетия. Публикуется по изданию «Nesnesitelná lehkost bytí». Canada, Sixty-Eight Publishers, 1985.

ГРЭМ ГРИН (GRAHAM GREENE; 1904—1991) — английский писатель, чьи произведения широко читаемы в нашей стране. Его романы, повести, рассказы, публицистику печатали издательства и литературные журналы. На страницах «Иностранной литературы» были напечатаны романы: «Тихий американец» (1956, № 6—7), «Наш человек в Гаване» (1959, № 3—4), «Ценой потери» (1964, № 9—10), «Комедианты» (1966, № 9—10), «Сила и слава» (1987, № 1—2), «Монсеньор Кихот» (1989, № 1—2), повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» (1982, № 6), «Десятый» (1986, № 12), а также рассказы, очерки, публицистика.

«Конец одного романа» вышел в Англии в 1951 году («The End of the Affair». London, William Heinemann).

САЛЬВАДОР ДАЛИ (SALVADOR DALI; 1904—1989) — испанский живописец, график, театральный художник; автор цикла теоретических работ и манифестов нового искусства (1927—1929), романа «Скрытые лица» («Rostros ocultos», 1944), книги «Дневник одного гения» («Diario de un genio», 1964; рус. пер., М., 1991). Жил в Париже, Испании, США. Автобиографическая книга «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» была впервые опубликована на английском языке в Нью-Йорке в 1941 году. Страницы рукописи, написанные по-английски, чередуются с испанским и каталанским текстом. Поля рукописи изобилуют рисунками, которые воспроизведены во всех изданиях. Часть их сопровождает и предлагаемую нашим читателям публикацию фрагментов книги. Начало публикации см. в «ИЛ», 1991, № 12. («The Secret Life of Salvador Dali by Salvador Dali». New York, The Dial Press, 1941).

САЛГАНИК МАРИАМ ЛЬВОВНА — литературный критик-индолог, переводчик с английского. Автор многих статей по проблемам литератур стран Азии и Африки. Переводила прозу и поэзию современных писателей Индии, Пакистана, Бангладеш, в том числе повести Ананта Мурти «Самскара» («ИЛ», 1984, № 12), Бапси Сиддхвы «Огнепоклонники» (Библиотека «ИЛ», 1988), роман В. С. Кхандекара «Король Яяти» («ИЛ», 1988, № 5—7) и др.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА - - переводчик, критик. В ее переводах издавались многие произведения чешских и словацких писателей, в том числе В. Кёрнера «Ангел милосердия», Р. Слободы «Разум», Л. Фелдека «Ван Стинхоут» и др. В «Иностранной литературе» напечатаны ее переводы романов Иржи Кршенека «Дички» (1975, № 5 6), первая книга трилогии Винцента Шикулы «Мастера» (1979, № 4- 5), главы из романа Петера Яроша «Тысячелетняя пчела» (1982, № 5- - 6), Душана Митаны «Конец игры» (1987, № 5-–6), Милана Кундеры «Шутка» (1990, № 9-–10). За переводческую деятельность Н. Шульгина удостоена словацкой литературной премии имени П. Л. Гвездослава.

ТРАУБЕРГ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА - переводчик, с английского и испанского языков. В ее переводах вышли романы Г. К. Честертона «Человек, который был Четвергом» (Библиотека «ИЛ», 1989), «Перелетный кабак», «Возвращение Дон Кихота», К. С. Льюиса «Мерзейшая мощь», Х. Гойтисоло «Печаль в раю», М. А. Астуриаса «Маисовые люди», М. Варгаса Льосы «Город и псы» и др., новеллы Пиранделло, Камило Хосе Селы и др.

СОКОЛОВА-ДЕЛЮСИНА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА - переводчик с японского. В ее переводе вышел сборник драм театра Но «Классическая японская драма» (1979), публиковались рассказы Дадзая Осаму, стихи древних и современных японских поэтов («ИЛ», 1982, № 7), стихи Бусона («ИЛ», 1990, № 11).

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ РОДИОНОВНА - - филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик. Автор статей об испанской литературе XX века. В ее переводах публиковалась проза и пьесы Ф. Г. Лорки («ИЛ», 1982, № 4), эссеистика и афоризмы Р. Г. де ла Серны, сказки и рассказы Р. Дарио, рассказы и эссе А. М. Матуте и др.

К нашим читателям

Как и вся отечественная литературная журналистика, ежемесячник «Иностранная литература» переживает тяжелые дни.

Редакция имела основание думать, что 1991 год журнал завершил успешно: прекратились многомесячные опоздания, номера стали выходить вовремя, читателями и прессой замечены многие публикации: «Костры амбиций» Тома Вулфа, «Парфюмер» Патрика Зюскинда, романы Э. Бёрджеса, Милорада Павича, Э. Доктороу, лучшие образцы документальной прозы и публицистики. Подписчики оказали нам доверие — их численность (случай уникальный в этом году в семье «толстых» журналов) не только не упала, но и несколько возросла. Судя по письмам, поступающим в редакцию, большинство читателей одобряют принципы отбора произведений зарубежной литературы и общее направление нашего издания, положительно оценивают попытки, избегая дешевой скандальности, придать журналу более современный и проблемный характер.

Все это могло бы лишь радовать сотрудников редакции, если бы не производственные трудности, резкий скачок цен на типографскую бумагу, полиграфические услуги и услуги доставки, имевший в последние месяцы катастрофический характер. Объявив, что один номер обойдется подписчикам в 1992 году в 3 руб. 75 коп., мы выходим ныне при фактической себестоимости (данные на март месяц) в 21—22 рубля за каждую получаемую вами журнальную книжку.

В целях экономии бумаги мы вынуждены будем предложить читателям до конца года два или три сдвоенных номера, первый из которых лежит перед вами. Исходя из интересов читателей, мы выпускаем эти номера в расширенном объеме, компенсируя нарушенную периодичность достаточно богатым и разнообразным содержанием. Так, увеличение объема данного номера с 256 до 320 страниц дало нам, к примеру, возможность предложить вашему вниманию сразу два романа: современный бестселлер Милана Кундеры и неизвестную доселе в русском переводе книгу Грэма Грина.

В отличие от некоторых других наших коллег по журнальному делу редакция «ИЛ» решила не проводить переподписку в течение текущего года, даже неся на этом серьезные убытки. Мы поступаем так потому, что понимаем: люди живут трудно, с каждым днем все бережливее считают рубли, и круг наших читателей рискует заметно сузиться, а журнал дорожит своей широкой демократической аудиторией. Нам небезразлично то, что нас читают не только в столице (здесь лишь одна восьмая наших подписчиков), но и на окраинах страны, вплоть до Курил и Камчатки, в других государствах СНГ. Журнал пользуется вниманием не в одних крупных городах и культурных центрах, но и в маленьких городках, поселках, где достать хорошую книгу, в частности переводную, огромная проблема. Для многих учителей, библиотекарей, инженеров, врачей, людей рабочих профессий, живущих в отдаленных уголках страны, надежная

подписка на журнал — единственное окно, распахнутое в широкий мир современных литературных интересов, мир западной и восточной культуры.

«Иностранная литература» меньше всего хотела бы под давлением растущих цен стать элитарным изданием, рассчитанным на знатоков и снобов или просто состоятельных людей, выписывающих журнал из соображений престижа. Но нам не хотелось бы и вздувать тираж любой ценой, гнаться за расхожими вкусами, потакать нетребовательному читателю, подстраиваться к рыночной конъюнктуре — иначе Альбера Камю и Томаса Манна легко вытеснят из культурного обихода общедоступный Чейз и бесконечная эпопея «Анжелики».

Мы ищем союзников такому пониманию журнального дела всюду — в российском правительстве, среди бизнесменов нового поколения, в зарубежных культурных кругах.

Приходится вновь и вновь разъяснять: во всем мире существует понятие «некоммерческое издание». К числу таких изданий, самоокупаемость которых в условиях рынка, во всяком случае на ближайшее время, является иллюзией, принадлежит и «Иностранная литература». Как литературное, просветительское по целям издание оно вправе рассчитывать на помощь и поддержку государства, если правительство заинтересовано в том, чтобы сохранить культурный и интеллектуальный потенциал народа, уровень образованности в обществе. Не это ли, к слову сказать, будет определять в конечном счете судьбу реформ в России?

Мы надеемся и на поддержку меценатов из деловых кругов, наиболее просвещенной части новых российских банкиров и предпринимателей. (Так, в трудную минуту протянул нам руку помощи банк «Деловая Россия».)

Редакция использует все формы сотрудничества с деятелями зарубежной культуры, культурными организациями на Западе, такими, как Институт имени Гёте в Германии или Британский совет, Центр «Великобритания — Россия» в Лондоне, чтобы обеспечить поддержку нашего издания. В конце концов, в Москве более 120 посольств государств мира и лишь одно регулярно действующее Посольство мировой культуры на Пятницкой — журнал «Иностранная литература».

Сейчас в редакции уже готовятся осенние номера, содержание которых, мы уверены, не разочарует читателей. Вопрос в том, чтобы выпустить их в свет, несмотря на все сюрпризы экономической политики и зигзаги «дикого» монополизированного рынка.

Мы твердо намерены сохранить журнал в любых условиях и надеемся на понимание и поддержку наших читателей.

Главный редактор В. Я. ЛАКШИН

17 – 114

ИНДЕКС 70394